

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ
КОЛЕСО

АПРЕЛЬ
СЕМНАДЦАТОГО
КНИГА 1

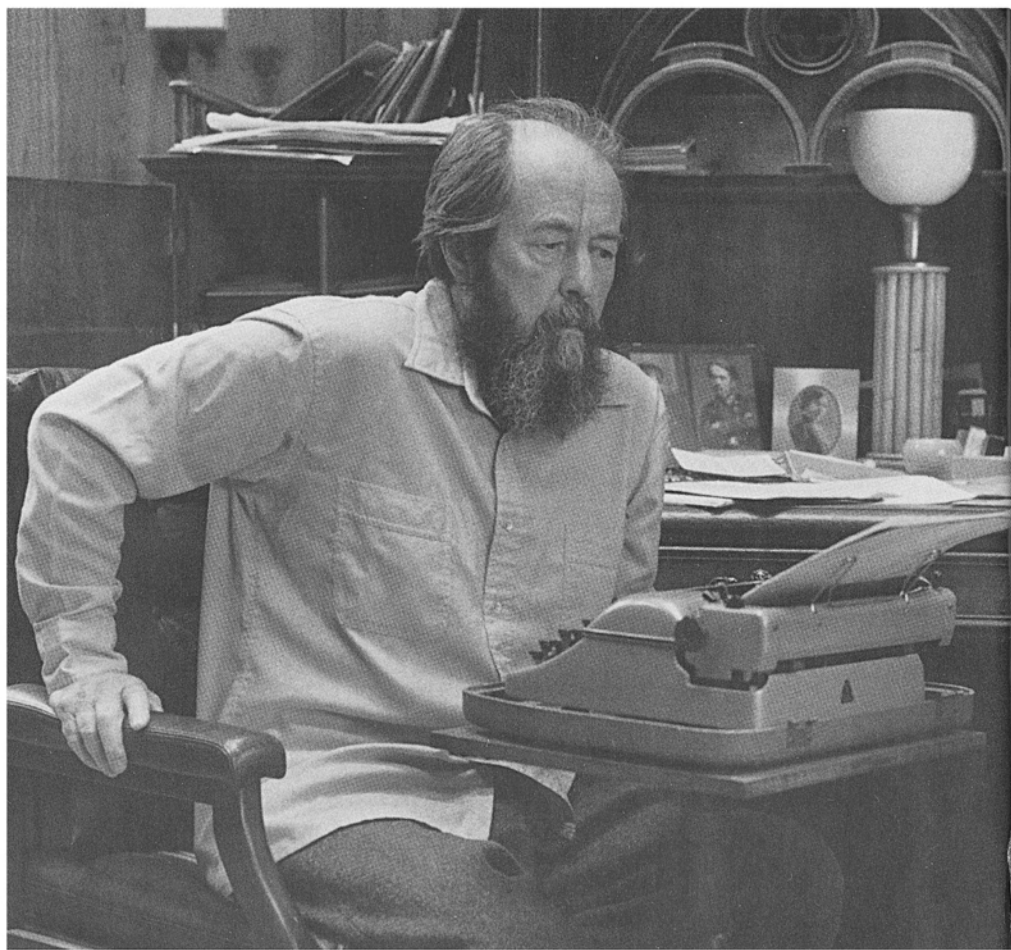
АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

АПРЕЛЬ
СЕМНАДЦАТОГО
КНИГА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Вермонт, 1986

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ IV
АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО
КНИГА 1



МОСКВА 2010

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4
С60

редактор-составитель
Наталья Солженицына

дизайн, макет
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0569-0
ISBN 978-5-9691-0571-3 (общий для
комплекта из 2-х томов, 15–16-го)
ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий для
собраний)

© А. И. Солженицын, наследники, 2010
© Н. Д. Солженицына, составление, 2010
© «Время», 2010

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

НАРОДОПРАВСТВО

Выход... один — революция, революция кровавая и неумолимая... Мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что... приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами... С полной верою... в славное будущее России... первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик «в топоры»!

Прокламация «Молодая Россия», 1862

УЗЕЛ IV

АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

29 МАРТА — 5 МАЯ СТ. СТ.

КНИГА 1

КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ

(ст. ст.)

21 марта

- Разгром двух русских дивизий на р. Стоход
- Германское министерство иностранных дел затребовало у мин. финансов ещё 5 миллионов марок «для политических целей в России»
- Ф. Платтен по поручению Ленина вошёл в конспиративный контакт с германским послом в Берне

24 марта

- На Западе Страстная пятница
- Соединённые Штаты объявили войну Германии
- Германское правительство сообщило ленинской группе согласие на их проезд в изолированном вагоне

25—28 марта

- Съезд партии к-д в Петрограде

27 марта

- Выезд группы Ленина-Зиновьева из Цюриха в Германию. Германский посол в Берне: «Крайне необходимо, чтобы немецкая пресса полностью игнорировала происходящее»

29 марта — 3 апреля

- Всероссийское Собрание Советов в Петрограде

30 марта

- Группа Ленина плывёт в Швецию. Император Вильгельм распорядился: если Швеция не примет их — перепустить через Восточный фронт

31 марта

- Встреча Плеханова на Финляндском вокзале

1 апреля

- День Ленина в шведской глуши, скрытый от биографий (встреча с Парвусом?)

2 апреля

- Первый день православной Пасхи

3 апреля

- Встреча Ленина на Финляндском вокзале

4 апреля

- Ленин в Таврическом дворце выступает с тезисами («апрельскими») об углублении революции

8 апреля

- Встреча на Финляндском вокзале Чернова, Дейча, Авксентьева, Савинкова

ВСТУПЛЕНИЕ:
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ МАРТА —
ОДИННАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ

ДОКУМЕНТЫ — 1

24 марта

ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ —
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАЛЬФУРУ

...должен умолять вас передать премьер-министру, что всё, что Король слышит и читает в прессе, показывает, что присутствие императора и императрицы в этой стране не понравится публике и конечно ухудшит позицию Короля и Королевы... Бьюкенен должен сказать Милюкову, что недовольство в Англии против приезда императора и императрицы так сильно, что мы должны отказаться от нашего прошлого согласия на предложение русского правительства...

ДОКУМЕНТЫ — 2

31 марта

ПОСОЛ В ПЕТРОГРАДЕ БЬЮКЕНЕН —
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАЛЬФУРУ

...Я полностью согласен с вами... Будет намного лучше, если бывший император не поедет в Англию.

1

Это возникло перед сибирскими социал-демократами внезапно: к Церетели, в два дня ставшему хозяином Иркутска, пришли спрашивать: пропускать ли подошедшие на станцию эшелоны снаряжения из Владивостока — на фронт? И Церетели, нисколько не задумавшись, воскликнул: «Конечно пропускать!» Так родилось то, что через несколько недель стали дразнить «революционным обончеством».

Война! Сколько о ней переговорено и передумано в эти годы ссыльными. Их всех объединяло страстно отрицательное отношение к этой безумной войне, особенно бессмысленной для России, которая не нуждалась ни в вершке территориальных приобретений. Но — не состоялась надежда, что социалистические партии Европы будут бороться каждая с империалистическими стремлениями у себя дома: дико, но оказалось, что там рабочий класс испытывал больше общности с национальной политикой своих правящих классов, чем с международными задачами пролетариата. Только мы, русские, были ото всего этого свободны! — и не желали быть такими близоруко-практичными и не принципиальными, как наши западные братья. Однако мало было надежды, что эта война окончится в условиях народных восстаний, — а тогда чьей же стороне желать победы? Из Европы приходили издания, что Ленин выставил «национализм наоборот»: желать и добиваться поражения России. Но сибирские социалисты (как Церетели с товарищами по партии — Даном, Войтинским, Вайнштейном, Горнштейном, Ермолаевым, так и дружно с эсером Гоцем) приняли линию абсолютного нейтралитета. (То есть они конечно сочувствовали бы западным демократиям, но вместе с ними победит и царизм? — а это ужас. Надежда только, что коренные интересы российской буржуазии непримиримы с самодержавием и будут расшатывать его.)

И вдруг — грянула революция! И получила по наследству эту войну. И русские социалисты из гонимой безответственной оппозиции вдруг превратились в хозяев революционной страны. И это вызвало психологический перелом к войне, его даже ещё не сформулировали теоретически, а внезапно это вот так проявилось у Церетели.

Когда во Второй Государственной Думе 2 июня 1907 года уже видно было, что остаются считанные минуты или до ареста фракции с-д или до разгона Думы, — молодой стройный грузин, недоучившийся студент, но уже и вождь московского студенчества, но уже и лидер думской фракции с-д — Ираклий Церетели, с благородным изяществом движений, независимостью в поставе головы, волоокий, черноокий, в 11 часов вечера ещё успел получить слово, последний раз взбежал на трибуну и полновзвучным гневным голосом бичевал это правительство военно-полевых судов, это торжество безграничного насилия, когда штык поставлен в порядок думского дня. В тот день государственная громада самодержавия казалась непробиваемо вечной, а наши груди, особенно уже тронутые горловой чахоткой, — обречёнными на раздав.

А вот, не прошло полных десяти лет, как в столицу Сибири Иркутск, к малосмысленным обывателям и ртутно-восприимчивым ссыльным стали притекать, частными поздравительными телеграммами, известия о немыслимом и мгновенном крушении этого проклятого самодержавия. Чего угодно ждали — но только не этого! И вдруг политические ссыльные, до сих пор лишь на частных квартирах да летом на дачах перекипавшие в своих кружках спорами о социалистических установках (ну, правда, иногда выпускали журналы, а Гоц умудрялся — и регулярную газету циммервальдского направления), — в три дня были призна-

ны как единственная тут власть. И сразу же возглавил Церетели комитет общественных организаций, устанавливал 8-часовой рабочий день, на площади перед городской думой выступал к выстроенному гарнизону и затем пропускал войска маршем мимо себя, и восторженно они рвали комитету, и неохоче — командующему Округом.

Надо было испытать этот переход после шести лет тюрьмы (по слабому здоровью Ираклию заменили каторжные работы тюремной отсидкой), потом четырёх лет усольской ссылки (вполне ужитой и плодотворной, 60 вёрст железной дорогой от Иркутска, и можно поехать в любой день, — однако же вечного безнадёжного поселения, если не бежать за границу), — и к этому вдруг сказочному мгновенному крушению векового строя (да прочен ли успех? да слишком легко достался), к этому состоянию опьянения и властного напряжения.

Но с первых же дней — и острая тревога за судьбы революции. С этой орущей солдатской массой на самом деле не было понимания, это не рабочий класс, это — стихия без определённых социальных идеалов, она даже не отдаёт себе отчёта в совершающемся и таит в себе опасность как анархии слева, так и контрреволюции справа. Российские социал-демократы давно знают из марксизма: революция не может совершить прыжка от полуфеодального российского строя и сразу к социалистическому, предел возможных завоеваний сейчас — демократизация страны на базе буржуазно-хозяйственных отношений. Но такое внезапное присоединение к рабочему классу многомиллионной вооружённой армии заманивает социалистические партии на самые крайние эксперименты, навязать волю социалистического меньшинства всей стране — а это может привести ко взрыву и контрреволюции, и будет распад революции.

Уже на десятый день этой лихорадочной бессонной иркутской обстановки у Ираклия пошла горлом кровь, и пришлось слечь. Надо же, чтобы в самые сияющие дни жизни — отказало здоровье! Телеграммами звали в Грузию друзья, родные, — но нет, тянуло ехать в самый центр революции! Поташился из Иркутска в Петербург «поезд Второй Думы», на станциях его встречали оживлённые толпы, народ искал вождей, — но у Ираклия продолжалось кровохарканье всю дорогу, он не выходил с речами, только тихо беседовал в купе с членами местных советов.

Да обгоняя медленное движение поезда, они хватали встречные, всё свежее, «Известия» Петроградского Совета, глотки революции. Уже было ясно, что авторитет Совета стоит гораздо выше Временного правительства. Резкие статьи «Известий» диктовали недоверчивое отношение к буржуазии. Но одни статьи противоре-

чили другим — кто их писал? кто печатал? — получалось, что у Совета нет своей ясной программы. И рвалось сердце — скорее туда, и скорее покончить с этим хаосом и неопределённостью! Теперь, когда революция переходит от отрицательных задач к положительным, — нужна прежде всего ясная программа, особенно о власти и о войне. С радостью и гордостью читали, перечитывали Манифест 14 марта — то международное слово, которого всю войну чаяли миллионные замученные массы во всём мире. Да! конечно — не безоглядное оборончество. Но и — не свержение Временного правительства. И как это трудно будет объяснить сейчас рабочим массам в Петрограде: что, вот, при безусловной победе революции надо самоограничиться в требованиях? как объяснить рабочим важность этого нематериального, неосязаемого влияния технически образованных культурных кругов?

И в первый же вечер возврата в неузнаваемый теперь Таврический дворец, откуда был вырван и сослан, — Церетели говорил так в речи. И папаша Чхеидзе потом упрекнул добродушно, что в такой оголённой форме мы тут ещё не говорили, не решались ясно выразить линию Исполнительного Комитета относительно войны.

Да ещё не такой и «папаша», хотя принял Ираклия как сына, — ему всего 53 года, но очень истрёпан. Особенно он исходил и тратился в публичных выступлениях (в дни революции забыл и свою палочку), а в простых беседах выказывал осмотрительность взглядов, совсем не было в нём того революционного кремня и железа. А ещё нужны были ему силы на большое будущее: по своему сегоднешнему положению почти несомненно Чхеидзе будет председателем Учредительного Собрания, если и не будущим российским президентом.

Церетели, как и все члены всех с-д фракций четырёх Дум, сразу получил в ИК совещательный голос. А войдя туда, за два дня увидел себя и готовым вести Исполком за собой. До сих пор самой видной фигурой тут был, кажется, Нахамкис-Стеклов. Но он же, оказывается, и издавал эти безтолковые заплутанные «Известия». А при всей своей видности он, ближе присмотреться, решительно неспособен к серьёзному политическому делу. (Керенский пригласил негласно встретиться на квартире у Соколова и нервно жаловался, что Стеклов и другие левые дискредитируют его систематически. Но сам он не решался предпринять против них. Он хотел бы — чужими руками.)

Сибирские циммервальдисты приехали с нежностью к Манифесту 14 марта: он действительно соответствует принципам революции: и борьба за демократический мир — и одновременно защита страны. Но оказавшийся автором Манифеста юркий, вездочивый, проницательный гомункулус Гиммер-Суханов — теперь деятельно возился повернуть ИК к одному лишь требованию мира, без забот об обороне страны. И собрал подписи под такой платформой, и на многолюдном заседании ИК 21 марта с холодным раздражением, маленький, выговаривал своим крупнотелым товарищам, что Исполнительный Комитет не выполнил обязательства, взятого в Манифесте: не борется против империализма Временного правительства, но приспосабливается к военной идеологии Милокова-Гучкова. Он не отрицал оборончества в лоб, но: что всякая активность в укреплении армии отвлекала бы нас от борьбы за мир, а поэтому — все наши силы борьбе за мир; обороной пусть занимается без нас кто хочет, а мы откроем массовую кампанию в армии и в рабочем классе — против империалистической политики Временного правительства.

За свои три дня в Петрограде хоть и заметил Церетели безтолковость деяний и бросаний ИК, всё же с изумлением оглядывался: так даже без попытки соглашения с Временным правительством предлагают тотчас его отстранять, что ли? — и никто не даст этому едкому гному отпора?

Не гному! — над задымленной комнатой ИК нависал террор обезумелых крайних интернационалистов, а остальные не смели в полный голос спорить с ними. И Церетели, по струне негодования и при полной сибирской безбоязненности, с десятью годами тюрьмы и ссылки за спиной, поднялся в свои полные полуторный рост и стать:

— Революция — не должна отдавать своих завоеваний на разгром извне! В условиях русской революции нельзя сравнивать оборончество — с поддержкой империализма! А кто же будет защищать страну до заключения мира? Оборона страны — не чуждое нам дело и не компромисс, она одна из основных задач революции. Никогда ещё российская демократия не имела такой силы внутри страны — а значит, и такой ответственности перед человечеством.

Он выговаривал эти мысли то одним складом фраз, то другим, совсем не коротко и, может быть, не лучшим образом — и видел, как менялись лица исполкомовцев, — но и сам ещё не понимал, какой силы взрыв произвёл тут.

Он заварил два дня бурных прений. Против его непредвзятой сибирской трезвости — растерялись большевики, и даже узкомыслый Шляпников, с его примитивной рабочей ненавистью к буржуазии, не осмелился повторить призыв свергать Временное правительство и заменять его рабоче-крестьянским. (Упускалось, упускалось время слиться с большевиками в одну партию! Не с кем тут разговаривать! — скорей бы Ленин приехал!) А полупарализованный Лурье, с болезненным неуспеванием губ, век, движений лица за энергичным смыслом слов, лишь поучал неопытного сибирца, что вся Европа созрела к миру и надо только кинуть смелый клич, — как говорил Дантон: спасение революции в её смелости!

Но как возвысились голоса искренних оборонцев, задавленных до сих пор тут! Богданов осмелел указать, что ведь молчит Германия, молчит Европа, никто на наш Манифест и не откликнулся, а все воюют! А Гвоздев предупреждал, что, если будем молчать об обороне, — натравят на нас солдат. (Этих двух рабочегруппцев особенно резко упрекали слева за сотрудничество с Гучковым.) И Гольдман-Либер произнёс пылкую революционно-оборонную речь: главная опасность для нашей революции — от Германии. Теперь и папаша Чхеидзе сюда склонился, и легко-надуной Скобелев заговорил о «государственно-революционном расчёте». И ещё, и ещё, и почти кто ни выступал — все оказались за оборону. (И уже уму нельзя было представить: да кто ж из них тут придумал и подписал «приказ №1»?) Брамсон горячо горевал о нашем разгроме на Стоходе (как раз случился он в первый день этих прений). И разумеется — поручик Станкевич: что разлагает армию всякая постановка вопроса о мире; что солдат и стоек в походе и в бою только до тех пор, пока никто не внушил ему возможности мира, и в европейских армиях этого не допускают, — и как же смеем мы начинать «кампанию за мир» в армии? Солдат не призван произносить слово «мир». Резолюция Гиммера полезна только немцам. Но даже и резолюция Церетели — лозунг обороны, *параллельный* лозунгу мира, уже разлагает армию. (Станкевич очень был прямолинеен, и даже может быть слишком, и веяло от него чем-то чуждым нашей партийно-социалистической психологии, — не наш, не полностью наш.) А высокий, сухощавый, хорошо сохранившийся старик Чайковский, энесовец и кооператор, тот даже и перехвалил Церетели за государственный дух, и что надо изгнать из советской среды предрассудок против обороны, враг

занял десятки наших губерний — а нам внушают мир. И отвоевание Армении, мол, вовсе не империализм, и нужда в проливах есть законное стремление России к открытому морю. От таких похвал справа пришлось Церетели уже и защищаться. И — нет, отвечал он Станкевичу, армия стала фактором политики, и её уже не отстранить от задач революции и от кампании мира в ней.

Но так били интернационалистов, что стало вырисовываться нечто более широкое: в ИК создавалось новое разумное большинство, которого до сих пор не было, менялось само лицо ИК.

И должно быть потому, что почувал это неотвратимое, — сенсационно выступил Нахамкис. Этот мясник, жаждавший крови главных генералов, гремевший в «Известиях», что Ставку надо судить и вешать, этот видный, крупный, широкоплечий бородач — трусливо славировал к большинству и объявил себя сторонником активной обороны. (Да вот что: не был он на самом деле ни левым, ни правым, а персонифицировал собой политику «от случая к случаю». И, увидя безповоротность образования нового большинства, — поспешил к нему примкнуть.)

И так разваливался большевицко-гиммеровский фронт левых. И оставалось им хитрить: просить включить в резолюцию борьбу за мир как идеал, а после голосовки изобразить такое понимание, что завтра эту кампанию за мир против империалистического правительства мы и открываем всенародно...

Э, нет. Прежде мы, Контактная комиссия (а Церетели, с первого дня такой видный и значительный, уже вошёл и в неё), будем переговариваться с правительством.

Это всё — Гиммер мутит. Замысловата была его позиция от первых же дней революции: пустить буржуазию в правительство, перевязав ее левыми путами, и тут же начинать против неё всенародную борьбу — но и так, чтобы не сразу свергнуть. Однако такая путаная сложность могла удерживаться в голове Гиммера, но не может удержаться при крупных массовых течениях, — вот почему его мартовская игра уже была отыграна.

23 марта на грандиозных похоронах жертв сквозь миллионную толпу Церетели продвигался в одном автомобиле с Верой Фигнер. На всём пути её приветствовали с такой сердечностью, будто все лично знали её, многие подходили и пожимали ей руку. Её глаза сияли счастьем: освобождённый народ помнил и воздавал почести соратнице Желябова и Перовской! Ираклий был глубочайше

растроган — не представлял он такой молодой революционной веры и такого воодушевления несметных манифестантов!

Но вот насмешка! Не в какой-нибудь день, но именно в этот день народного торжества, через ночь после того, как ИК с таким трудом свергнул интернационалистов и провёл свою поддержку обороны, — именно в этот день Милюков дал своё наглое интервью о расчленении Австро-Венгрии, изгнании Турции из Европы и о проливах. Он — издевался над революционерами? над Манифестом 14 марта?

А вечером Контактная комиссия заседала с правительством в Мариинском дворце. (Скобелев и Нахамкис брали с собой толстые портфели, но набитые газетами и ненужными бумагами.) Церетели с интересом следил за лицами и повадками министров, никого он их раньше не знал. Нашёл он, что как они ни были внешне любезны, а под тем — осмотрительны. Ничего не поделать, представители буржуазии, и с ними надо остро. Доброжелательный князь Львов поразил тем, будто он совсем не понимает: о каких целях войны можно говорить, когда немцы стоят на нашей земле? но кто же в мире сомневается в демократизме нашей политики? Церетели, хотя и новичок тут, сразу взялся проникнуть сквозь этот классовый эгоизм: как же можно не считаться с народным настроением? Если есть беспорядок на заводах или в армии, то лишь от неясности с целями войны: все опасаются затяжной войны из-за чужих целей. Совет только и может оказать влияние на усталые массы, если внушит им уверенность, что новых жертв требует спасение страны, а не завоевания, — и об этом правительство должно опубликовать декларацию, тогда и Совету будет легче мобилизовать рабочих и солдат защищать революцию от внешнего врага. Энергичный Некрасов и Терещенко отозвались, что рады получить поддержку Совета в обороне. И тут Церетели показалось, что этим самым коллеги по кабинету уже и отделяются от Милюкова (как Керенский на следующий день выразил и публично). А Милюков — завёл, завёл с профессорским апломбом: Россия нуждается сохранить доверие союзников, а декларация, требуемая ИК, может быть истолкована ими как начало сепаратной акции, министр иностранных дел не может взять на себя ответственность за такой акт.

Короче, видно было, что не согласен он на одну оборону, нет, хочется ему прихватить к России нечто.

Но не могли же министры не понять разумно, что без соглашения с Советом им не устоять? И Церетели — с новой силой убеждения: мы и не требуем шагов, ведущих к разрыву с союзниками. Пусть Россия заявит об отказе от завоевательных планов, а после этого обратится к союзникам с предложением пересмотреть программу действий. Даже если мы не убедим их дипломатически — мы подействуем на них кампанией через печать.

Вдохновенно видел Церетели этот выход: вот так — неожиданно, необычно и достойно может выйти Европа из своей небывалой войны!

Скобелев тут неглупо пошутил:

— Вы же сами, Павел Николаич, в прошлом году против Штюрмера объясняли нам с думской трибуны, как трудно, как небывало тонко и трудно было убедить Англию признать наши претензии на Константинополь. Так если теперь мы от него откажемся — почему вы думаете, что они будут так задеты?

А Милоков корил встречно, что вот же не откликаются европейские социалисты на Манифест.

Но тут — не было правды, одна увёртка. Хорошо! — восклицал Церетели, зная это убедительное своё состояние, когда плавают глаза, — хорошо, пусть мы не преуспеем никак в Европе — но зато мы все сплотимся внутри страны, а это главная наша сила!

И недоверчиво, недружелюбно молчавший Гучков тут сказал:

— Для единства армии — я согласен.

И Шингарёв, подвинутый сердцем: ваша вера — передаётся мне! согласен и я — если вы сумеете сплотить массы к обороне. Но — можете ли вы нам это гарантировать?!

Тут — не ответить на одном пылании. Конечно, никто не может дать гарантии заранее, имея дело с миллионами солдат. (Да когда уже так испорчено нами самими, только это не вслух.) Но настроение большинства революционной демократии — поддерживать.

А Милоков — один, по-прежнему, упирался, ничем не растроганный, ничем не захваченный. Когда он упирается — он абсолютно несдвигаем.

Решили, что правительство ещё будет обсуждать и пытаться выработать декларацию.

Через два дня Контактная комиссия снова поехала в Мариинский дворец. Милоков сидел непроницаемый, а Львов прочёл про-

ект декларации правительства. Как будто, как будто так, по тону, а нет — был тут уклон от ясного ответа по главному пункту. «Не отнятие у них национального достояния» — это смутно: а чьё достояние Галиция? Армения? а может быть, и Константинополь? Да вы напишите ясно: *Россия отказывается от захвата чужих территорий!* — и всё.

Как стопор держал их всех Милоков. Они, мол, уже сделали — максимум уступок. И сам момент прямого обращения к союзникам министр иностранных дел должен резервировать за собой.

Да это — пусть, это и лучше, что декларация сперва — к народу, поднять энтузиазм тут у нас. Но вы — *откажитесь ясно* от завоеваний!

И когда уж так успел Милоков приобрести все приёмы дипломата? Не прямым ходом, а крюком: а вы — толкуйте текст по-своему, а министерство иностранных дел — по-своему.

Да — не по-своему! Да не толковать! Нужно открыто для народа изменить направление внешней политики! Без этой поправки декларация неудовлетворительна — и мы объявим о непримиримости взглядов Совета и Временного правительства!

Зияет бездна разрыва. Большинство министров, и даже Гучков, понимают: ради единства — надо уступить. Но как же окостенело владеет буржуазными умами законность старых целей войны!

Спорили, спорили. Около полуночи вызвали Чхеидзе к телефону. Он вернулся с мёртвым лицом, еле на ногах, и снова сел к совещанию. Церетели, рядом, шёпотом спросил: что? Оказалось, звонила жена: Стасик, единственный сын, в гостях у товарища играл с ружьём и тяжело ранил себя. «Так езжайте домой!» Но Чхеидзе блуждал взором: решается судьба революции, как же уехать?

Сын!?!

Так и сидел, сидел на совещании — со всклоченными редкими волосами вокруг лысины, безформенно заросший по щекам и вокруг губ, затрёпанная борода, — сидел до конца, и пытался участвовать, и никому не пожаловался!

Такой железной выдержки от усталого старика нельзя было ждать!

А кончили, в два часа ночи, всё равно без соглашения. Ираклий проводил земляка домой — он сильно ослабел в руках, в ногах.

А на лестнице встретили носилки, принесшие бездыханное тело сына.

В этот последний час заседания — он и умер. Николай Семёнович упал на лоб мальчика.

На другой день Исполнительный Комитет без дебатов единогласно постановил: считать декларацию правительства неудовлетворительной.

Наступал — великий необратимый разрыв. Раскол бессмертной Февральской революции!

И в этот самый момент позвонил телефон — и князь Львов сообщил, что правительство приняло поправку, высылает.

Привезли. Весь до слова тот самый отвергнутый текст — упорен же Милюков! — но после «не отнятие у них национального достояния» — почерком князя вписано карандашом, неостро очиненным: «не насильственный захват чужих территорий».

Вырвали!

Во взглядах мировой фанатично-империалистической буржуазии — какой же это будет поворот! — 27 марта — *первый* отказ воюющей державы от всяких захватных завоеваний!

ДОКУМЕНТЫ — 3

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К НАСЕЛЕНИЮ

4 апреля 1917

...Постановлением Временного Правительства от 18 марта даровано полное освобождение от суда всем призванным до сего времени к отбыванию воинской повинности, но уклонившимся от неё... а равно и солдатам и матросам, находящимся ныне в побегах и самовольных отлучках, за исключением бежавших к неприятелю, — если они добровольно явятся в войска до 15 мая. Все эти лица будут освобождены от суда и наказания, хотя б они до 18 марта совершили обманные действия, повреждение себе здоровья... умышленную порчу, промотание, отчуждение выданного им казенного имущества и оружия... Все не явившиеся к 15 мая будут отвечать по всей строгости законов.

...ко всем гражданам Свободной России — с призывом способствовать направлению в войска этих лиц... Пусть те, чьи мужья, сыновья и братья честно стоят в рядах армии, придут на помощь местным властям и помогут собрать... Пусть будет стыдно тому, кто из малодушия...

Министр-председатель князь Львов
Военный министр Гучков

2

У крупных соборов пасхальную заутреню служили в этом году ещё и открыто на папертях. В Казанском и Исаакиевском шли, как обычно, пышные архиерейские службы — со знатью, с членами дипломатического корпуса и даже нового правительства, и в Исаакиевский в этом году пускали без пропусков, — но туда не тянуло Веру, да и, в Москве выросши, петербургских соборов не смогла Вера полюбить, не прилегает душа.

Светлую заутреню стояла она в своей Симеоновской, с няней, — и навстречу пасхальной радости молилась, молилась, чтобы дал Господь сил в её тоске.

Раньше думала: трудно решиться. Трудно решиться — Михаилу Дмитриевичу отказать.

Нет: трудно — после отказа жить.

Да, люди — слишком слабые существа, чтобы жить без освещающего фонаря: что о каждом нашем поступке и даже мысли каждой — знает Бог, а после смерти и те люди узнают, на которых мы злоумышляли, — и не укрыться, и не укрыться.

И ещё б, наверно, не собрала бы Вера в себе такого решения — если б не как всё поползло вокруг. Вместе с долгожданной безкрайней радостью Революции ворвалось, — да на пятки ей наступая, да оттесняя её самоё, — беспорядочное, безоглядное, вседозволенное, безстыдное — т е п е р ь в с ё м о ж н о. (И — почему же??)

И вот ещё от этого — теперь-то никак не могла Вера взять своё счастье, отнять от *тех двух*, почти и не встретив их сопротивления.

Теперь-то особенно не могла, в этом потоке.

Да вздор, — совсем и не от этого.

В небесно-светлом пении заутрени, отрываемая от земли, увлекаемая выше, выше себя, как бы в ангельский чин, — Вера ощутила, что она отчётливо, добровольно и даже радостно — идёт на этот отказ.

И: ведь нельзя иначе.

Находят же люди силу отречься и вообще от вольной жизни — ради души. Ради духа.

Так и с Верой: горечь отречения останется, ещё не навсегда ли.

И ему — своим решением не принесёт она облегчения.

Решила — за него?

А — нельзя иначе.

А на улицах, в разных местах, в эту пасхальную ночь много стреляли в воздух — солдаты, или пьяные, или озорные — и среди богомольцев со свечками была паника.

Нева вскрылась на Страстной. Проходили льдины со снежными бахромами, левый берег очистился, у правого лёд ещё держался. При резком ветре с моря ещё подступала вода на прибыль, ломая лёд. Становились и заморозки по ночам. А как раз на Пасху привеели тёплые дни, быстро изникал снег, дружно сливала с погрязневших улиц вода. (И впервые во время таянья вода в водопроводе стала мутна, что-то на главной станции мешало очищать.)

В ночь на третий день Пасхи ещё прошёл тёплый дождь, и в Светлый вторник стояла почти летняя теплота. Вера с сослуживицей отправились в лёгких пальто погулять в парк в Лесной — и там слышали зябликов и жаворонков, уже прилетели.

Просто — погулять. Как будто сердце не сжато железным обручем.

Но и туда и обратно через весь неметеный (только на Невском стали подметать), неубранный Петроград, где слой мусора, где невывезенные кучи, однако весь в красных флагах, нужно было пройти пешком: на трамваях висели гроздьи и гроздьи, на остановках сгущались сотни и сотни, и никакой очереди, а толпою, и солдаты, и мужчины кидались карабкаться, отбивая, отталкивая женщин. Милиционеры, с белыми повязками, вяло стояли вблизи, но ничего поделать не могли, да и не хотели!

Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь ещё эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и «Речь» призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник. Но всё равно типографы несколько дней не печатали газет, и почта не разносилась, из Москвы письма идут по две недели, и, говорят, миллионы их неразобранных на почтамте.

Говела Вера в этом году на пятой неделе, а с Вербной субботы и ещё на два дня Страстной выпал ей праздник особого рода: дал ей гостевой билет на кадетский съезд в Михайловский театр.

И — такое облегчение было: уйти от своего внутреннего, забыться, как нет его.

Очень было торжественно! Говорили: это — смотр гвардии российского либерализма. Сколько-нибудь знаменитые в России имена — все были тут, и многие из них в президиуме, и почти все министры, но они опаздывали, приходили потом порознь — Милоков, Мануйлов, Шингарёв, — и каждого встречал шквал аплодисментов, прерывая оратора. (И только один Маклаков появился как-то незамеченным, скромно сел под ложей журналистов.) Делегаты съезда (триста с чем-то, не ото всех городов сумели приехать, а ещё от самого ЦК как бы не полсотни) сидели в желтокресельном партере, петроградские члены партии — в ложах бельэтажа, литерные ложи набиты журналистами, а в ярусах балкона, прослоенных рядами светильников, — гости. У входа в театр даже стоял часовой (но — одиночный, и лишь для парада, никого не задерживая). В вестибюле убрано кадетским партийным зелёным цветом, и студенты и курсистки-распорядители с зелёными повязками проверяли билеты, указывали места. Большинство делегатов — зрелого возраста, в проседи, в лысынах, с благообразными лицами адвокатов, врачей, членов управ, земского типа.

Открывать съезд вышел дюжий большеголовый князь Павел Долгоруков, но сбил ноту общего подъёма тем, что стал читать по бумажке, заикаясь. Сперва все встали почтить память положивших голову за народную свободу. Потом — впервые в истории кадетских съездов! — Долгоруков предложил «ура» в честь армии и телеграмму генералу Алексееву. Потом избрали председателем съезда Винавера, а он выступил ещё с телеграммами — союзникам и президенту Вудро Вильсону. И читал телеграмму от «Нестора партии» Петрункевича (не смог лично участвовать, но просит присоединить его голос за демократическую республику, ого), — и тут же оглашали телеграммы от съезда Петрункевичу и Короленке. А потом выпустили с первым докладом хрупкого, изящного Кокошкина — с тонкой задачей доказать, почему 12 лет в кадетской программе стояла конституционная монархия, и это было правильно, а теперь пришло время поставить республику, притом демократическую.

И Кокошкин доказал: монархия прежде сохранялась кадетами только из условий политического момента, на уровне понимания масс, а ныне этот символ стал не нужен населению, во время вой-

ны монархия разоблачила себя тем, что стала против Отечества. И это самое решительное изменение в программе тут же легко приняли бурными аплодисментами, затем и поднимая делегатские карточки. — А профессор Лосский выступил даже так: теперь и октябристы вынужденно станут республиканцами, но буржуазными, а мы — демократы и, если хотите, даже социалисты. (По залу прокинулся как бы испуг.) Но мы отвергаем социальную революцию, мы, как фабианцы, за общество эволюционного социализма. — И пылкий, всегда такой левый, Мандельштам из Москвы объявил, что деление кадетов на левых и правых — кончено, партия отныне едина, и пора ей назваться «республиканско-демократической», чтобы быть точными, и вовсе это ложный предрассудок, будто для установления республики предполагается долгая культурная и политическая жизнь народа.

Два месяца назад кадеты ничего подобного не выговаривали, а сейчас — да, это казалось уже несомненным. И высокий, статный, за пятьдесят, а видом свеж, с благородными чертами, даже и на трибуне перед залом углублённо-задумчивый, сам с собой, князь Евгений Трубецкой (очень было смешно, когда Мануйлов назвал его «товарищ Трубецкой») тоже поддержал, что форма правления России уже решена жизнью, а думать надо только — как упрочить республику от военной угрозы и от анархии.

Но что ж тогда достанется Учредительному Собранию?.. Сколько ни было блестящих ораторов в партии, а с докладом об Учредительном Собрании выпустили снова Кокошкина, — и откуда в этом слабом теле таилось столько настойчивости? И он убедительно объяснял, как сложна процедура выработки принципов и Положения о выборах, ещё сложнее сами выборы в неподготовленной стране, это — задача не четырёх месяцев. Итак, иметь терпение.

На второй день съезда было много однообразных докладов с мест, как именно власть там и сям перешла в руки народа. А потряс и прокалил съезд — Родичев. Он вышел на трибуну сразу в ударе, в экстазе: «Пройдут века — а народы Земли будут помнить 1917 год!» — и гремящим голосом, пенсне отблескивало от люстр, увлекал, не давая времени вдумываться в отдельные фразы. Что враг не пришёл в Петроград лишь потому, что за нас заступился английский флот, и сколько английских и французских костей похоронено в Галлиполи, чтоб открыть нам дорогу к Константинопо-

лю, и мы не смеем нарушить обязательств перед союзниками. «Россия — с нами! не смущайтесь криками дерзких! умейте им возражать! Века будущего смотрят на нас!»

Как говорил! Зал был ошеломлён. Винавер тряс Родичеву руку: «Россия гордится вами! Тысячи сердец захвачены!», — а по предложению Трубецкого съезд постановил опубликовать эту речь в миллионах экземпляров. (А на утро, странно, прочла Вера газетные отчёты о речи — длинна, а мыслей мало, даже совсем нет. Вот что делает дух оратора!)

Неожиданная заминка вышла, когда оренбургский делегат возразил: «Мы, русские мусульмане, любим Турцию, не хотим ей конца», и если партия не изменит свой взгляд на проливы, то мусульмане откажутся от партии кадетов. Растерялись в президиуме, но кто же вышел отвечать? — снова находчивый и непреклонный Кокошкин: ислам тут ни при чём, ведь Мекка же восстала против Турции, а сейчас проливами владеет даже не Турция, а Германия, а если мы откажемся от перекройки карты Европы, от неотложных нужд нашей зерновой торговли — наш народ вынесет нам суровый приговор.

Да не политикой же Вера жила. Но тут, в лепно-бархатном зале, под потолочным плафоном с амурчиками, так единственен разогрелся политический воздух, как будто ни в каком кислороде, ни в каких птичках на зелёных ветках не нуждались сидящие тут, — а только в торжестве кадетской зелени, своего оттенка. Столько блистательных умов — и все собраны в одном зале, сразу. Даже не наплывёт такая мысль, что это всё — мужчины, которые выбирают же себе подруг и совсем не безразлично смотрят на женщин, — нет, в плотном электрическом воздухе зала как будто плавали лебедями одни интеллекты — и о чём бы речь ни пошла, то всё интересно. И главное: что в этом зале решат — то и будет близкая судьба России.

На третий день Винавер делал доклад о власти — приносил низкое спасибо петроградскому гарнизону за революцию. Мы должны поддерживать революционный подъём и во имя подъёма примиряться с временными неурядицами переходного периода. Поддерживать бодрость и отразить всякую угрозу контрреволюционных сил — это и есть основной тактический лозунг минуты. Но Совет рабочих депутатов переступает границы критики и начинает прямо вмешиваться в функции правительства. Наш ЦК обращался в Совет дважды — и письменно и устно, что его «приказы»

сеют раздор, граничащий с безумием и преступлением. И анархия уже вспыхивает в разных местах страны. Общественное мнение должно поднять голову и высказываться громче.

Однако тут же стали Винавера уверенно поправлять. Худо-унылый клинобородый князь Шаховской: что, объявляя республику, мы именно сблизились с нашими соседями слева, разногласия устраняются, их программа-минимум как раз и совпадает с нашей сегодняшней, они благоразумны. И надо с ними блокироваться. И даже крестьянство, аморфные слои народа, в сущности недалеко от кадетства, но левые партии быстрее вербуют там сторонников, и нам тоже надо вести пропаганду. А то в деревнях царит тьма и уже хотят делить землю. Неприемлем для нас только максимализм большевиков, но и большевики становятся с каждым днём всё благоразумней. И — снова порывистый Мандельштам: как мы близки к левым партиям, и как неисчислимы заслуги Совета рабочих депутатов.

Но не доспорили: тут-то и появился под громовые овации Милоков — и Мандельштам, его вечный оспорщик слева, приветствовал его как дорогого и мудрого вождя, и это вызвало новый восторг зала.

Большой овацией был встречен и Некрасов — молодой, а тоже растущий в партийные вожди. Он гордо, звонко клялся, что Временное правительство — погибнет, но не сдастся. (Овация.)

И снова затем Милоков: что 27-го февраля дело переворота висело на волоске, но и вне Прогрессивного блока нашлись люди с государственными умами, Совет рабочих депутатов проявляет удивительную способность распоряжаться массами, и это даёт лучшие надежды на будущее. А скоро Совет пополнится и людьми заграничного опыта, и они помогут в нашей тяжёлой борьбе.

Потом постановляли открыть в Москве памятник незабвенному Муромцеву, а прах Герценштейна перевезти из Финляндии в Россию. И провинциальные делегаты благодарили ЦК за его линию, а ЦК благодарил провинцию за поддержку, и Винавер отдельно благодарил министров, и потом весь съезд, и особенно кадетскую молодёжь, — и пусть враги говорят, что мы на ходу перестраиваем свою программу: только мёртвые не двигаются.

И когда уже он закрыл съезд — долго не расходились, кричали приветствия Центральному Комитету, организаторам съезда и министрам.

А Вера — за все четыре дня и изо всех выступавших — больше всего тронул князь Евгений Трубецкой. Он и выступал чуть не четыре раза, каждый день, так непохоже на его обычную сдержанность. Один раз — о республике. Другой раз — вообще о революции, в философском плане. И что наша революция — редкой душевной красоты. В Великой Французской мы видим якобинство и гильотину, а у нас — полная отмена смертной казни! И это сближает кадетов с соседями слева: когда в стране единое настроение, единое воодушевление — отчего бы нельзя объединить вместе все революционные партии? В том-то и суть, что наша революция — не какая-нибудь классовая, буржуазная, — но строго общенациональна, и этот национальный характер русской революции ещё ясней ощущается в провинции, нежели в центре, стоит туда поехать и окунуться. (Он только что ездил в Калужскую губернию.) И ещё выступал: что демагогические большевистские лозунги совсем не трудно разоблачать. Надо крестьянам объяснять, что конфискация земель на даровщинку притянет в деревню много случайных — рабочих, прислугу, мелких чиновников, и придётся на крестьянина не больше, а меньше.

По своим свежим калужским впечатлениям он особенно выразительно предупредил:

— Глухая деревня, не тронутая образованием, выражает свою мысль очень неясно. Может быть и потому, что сегодня идти против общего течения не всегда безопасно. Деревня — говорит обиняками, но к ним надо прислушиваться, чтобы заранее предупредить опасности. Я бы сказал: это, может быть, не столько монархические чувства, сколько монархические сомнения: как будем жить дальше, без царя, без полиции?.. Нас пугают деревенским красным петухом — а на самом деле деревня гораздо больше хотела бы порядка, чем разбоя.

Но в общем шуме, мелькании, пестроте съезда эти слова мелькнули, как и неслышанные, никто на них потом не отозвался. А Вера очень приняла: ой, ведь всё наше будущее — в деревне, как она себя поведёт. И от голоса оратора, благородной, вдумчивой, некрикливой манеры говорить. Да и просто потому, что он был — кумир библиотечарш с Александринской площади, признанный гениальный человек, философ, не знаешь с кем и сравнить из живущих.

А на днях он пришёл в библиотеку вновь — и книги, им заказанные, подготавливала как раз Вера, они и стояли, разбирали

у конца прилавка, и ещё две соседки, чуть издали, старались слышать — так всем был интересен Евгений Трубецкой. К Вере он был очень доброжелателен (хотя в минуты самопогружения мог не узнать, или спутать, или завеситься незначашей рассеянной улыбкой; про покойного отца князя Евгения говорили, что тот по отвлечению мысли задувал не свечу у кровати дочери, а саму дочь, это у них семейное философское было). В этот раз был вполне внимателен, внимателен. Вера напомнила ему его замечательные слова на съезде, о деревне. Он доверчиво посмотрел глубокими голубыми глазами, так почти полную минуту смотрел на Веру, уже может быть и не видел её? — нет, видел. И вдруг:

— Я даже сам не ожидал, насколько у меня врезаны деревенские впечатления. Не калужские, сейчас, а именно — детские. Странно, вы знаете, но этот месяц великих событий я живу — как будто больше в прошлом. Я... — Поколебался? — Приехал в Петроград на заседания Государственного Совета. А тут — революция. И в гостинице «Франция» на Морской, под эту музыку пулемётов... возвещающих рождение новой России... меня почему-то охлынуло созерцание России старой, милых отошедших... — Закрыл глаза. Открыл, ещё голубей и полней. — Связь с отошедшими — должна сохраняться всегда. И я в своём номере, под стрельбу, под шумы — два дня писал воспоминания, не отрываясь.

Хорошо, что не в «Астории» остановился, подумала Вера.

— Стал вспоминать от самого раннего детства, от дедушек, бабушек. Моего дедушки Петра Ивановича Ахтырка — величественная ампи́рная усадьба, для парада, не для жизни. Жить — мы теснились в одном флигельке, — но какой дворец над запруженной Ворей, остров, лодки, какой парк вековой, беседки, мостики с берёзовыми перильцами. Ахтырка осталась в душе как звуковая симфония... Каждая дорожка в парке, каждая лужайка, поворот реки — как будто звучат. Каждое место связано с особым мотивом, и музыкальный образ неразрывен со зрительным.

Вера замерла, чтоб он не остановился, чтоб — ещё, чтоб никто не прервал.

— А в залах висело множество потемневших, закопчённых, да и дурно намалёванных портретов предков, в орденах и лентах, а то с гончими собаками, в золотых рамах. Я их терпеть не мог. И уже после смерти дедушки прострелил из лука портрет императора Александра Павловича, в пурпурном одеянии и с любезно-кислой улыбкой.

Тёмно-русые волосы Евгения Николаевича были гладко обрונены, ни единого волоса вздыбь, бородка с усами соединены в плавных линиях, всё лицо породистое — такое спокойное, не порезаемое ни гримасой, ни раздражением, всё как поле для мысли. (Хотя видела Вера раз и как он отчаянно хохотал, сгибаясь до колен.)

— После отмены крепостного права дедушка жил ещё десять лет, но был совершенно потрясён. И в июльский престольный праздник устраивал высочайший выход на большое парадное крыльцо, садился в кресло и смотрел на подваливший народ. Как мальчишки и парни лазят на высокие шесты, намазанные мылом, доставать гармоники, картузы, красные кушаки, — и один за другим сползают, не достав, пока догадливые не натрут тайком ладони смолой. Когда все подарки сняты — начиналась раздача бабам и девкам — бус, платков, лент. Они выстраивались чинно в ряд, подходили по одной, целовали дедушкину руку, лежавшую на подушке, а из другой его руки получали подарок. Но дарилось — только бывшим своим крепостным, и для того стояли около очереди две бывших кормилицы, пропускали лишь своих, а чужих — в сторону, прочь.

— А всё-таки — унижительно? Для свободных крестьян? — осмелилась Вера.

Его губы нежно-болезненно излегли:

— А мы, дети, с крыльца, швыряли пряники в народ и забавлялись, как мальчишки барахтаются на песке, ловя их. И — я нарочно метил так, чтобы попадать им в головы...

ДОКУМЕНТЫ — 4

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

4 апреля 1917

Солдаты! Мы свергли старый строй, потому что в нём царили произвол и насилие... где на каждом шагу попирается чужое право — не может быть порядка...

Теперь этот порядок особенно необходим на железных дорогах. Между тем со многих дорог приходят сообщения о безчинствах и насилиях, которые допускаются группами солдат по отношению к пассажирам и ж-д служащим. Разбиваются окна, занимают чужие места в пассажирских вагонах, переполняются до того, что прогибаются рессоры, ломаются оси. К служащим предъявляются под угрозами требования, противоречащие безопас-

ности движения, и был случай, когда машиниста, под угрозой кровавой расправы, принудили отправиться на размытый перегон.

Солдаты! Вы должны ясно понять... Покажите себя вполне достойными добытой вами свободы...

Министр-председатель *кн. Львов*
Военный министр *Гучков*
Министр путей сообщения *Некрасов*

3

Живя заветами своих духовных кумиров — Чернышевского, Добролюбова, в минувшие годы только жмуриться мы могли перед светлым видением будущего в России социализма, — и грядущая радость того преображённого мира настолько была выше наших, твоей, моей жизни, что не вилась эгоистическая мысль: а какую именно роль получу там сам? какой именно пост?

Но вот вдруг далёкий Идеал — прикатил! вот уже уверенно он ступает по России! И теперь естественно встаёт: что за место я в этом строе займу? Уже дождавшись этой поры горячего народно-го счастья, уже войдя под сень Революции — тройне обидно, если товарищи тебя отталкивают и не дают тебе влиять на события соразмерно твоим силам крайне левого лидера.

Когда мы изучаем историю, кажется вот так просто: приходит решительный человек и берёт власть, как будто она только его и ждала. Но когда тыходишь в события и протягиваешь совсем же не слабые руки эту власть взять — не даётся! Не берётся.

В чём дело? Какие же тут особенные методы? или особенные качества?

В прежние века надо было хорошо владеть холодным оружием, значит иметь крепкие плечи, да сидеть на коне. Но сейчас вот и плечи у тебя широкие, а это не нужно. Теоретические мысли, быстрота их словесного изложения? Но история показывает, что не обязательно этим владеть самому, достаточно рядом такого иметь, вот Гиммера.

Так что? — момент? Угадывать точный момент для каждого шага, когда короче шагнуть, а когда дальше? Но какой же был лучший момент, чем войти 27 февраля в ещё не созданный Исполнительный Комитет ещё не родившегося Совета рабочих депутатов? И возглавить переговоры с будущим правительством — и поло-

жить свою лапу на стол санкцией: существуют! — только на наших условиях. Какой же выше пост — не правительство, а выше правительства: ты его создал и допустил? От самого первого дня — какое же положение было сильнее? В масштабе всей России соперничать мог только Керенский — но он не опирался на Совет. Так разве упущен момент?

Ключевые позиции? Так самые лучшие позиции ты и занял, два лучших опорных пункта: в твоих руках безконтрольно «Известия» — лицо Совета, на всю страну виднее, чем сам Совет. И — Контактная комиссия, реальный рычаг направлять правительство, — и ты там, среди пяти исполкомцев, и твой голос там — ведущий, и ты с презрением диктуешь министрам. Разросся Исполнительный Комитет, избрали бюро из 7 человек — и ты в нём.

И это — ты сформулировал теперь уже знаменитую формулу поддержки Временного правительства: «постольку-поскольку». Нужно было кому-то прочесть Манифест ко всем народам — и это именно ты его прочёл с высокого помоста. Нужно было кому-то, не мера часов, встречать и встречать фронтовые делегации, олицетворяя перед фронтом весь Совет, — и это именно ты делал.

А власть — не взялась? Нет, не взялась.

То в Контактной комиссии Чхеидзе или даже дурачок Скобелев возражали ему перед министрами, что он высказал своё частное мнение, а не Совета. То перед военными делегациями его оспаривали. А как принудить их подчиниться? — Нахамкис не знал. Не сумел.

Или вклинился в ИК совсем чужой пролетариату поручик Станкевич. И едва ли не по каждому поводу въедливо оппонирует, и стал придираться к «Известиям», и не только он один, против «Известий» складывалась интрига.

Насторожился. Надо было озаботиться укрепить свою позицию. Но тут как раз — тут как раз приехал Церетели. И это была — катастрофа, и поворотный пункт для всего Исполкома. По своей прежней думской славе Церетели сразу без выборов вошёл и в Исполком и в Контактную комиссию (и уже шестерым тут становилось тесно, кого-то будут выталкивать) и всюду заговорил таким полным уверенным голосом, как будто с первого дня тут везде и состоял. Так уверенно, будто заранее знал и предвидел все эти ситуации.

И понял Стеклов-Нахамкис, что упустил он свои счастливые недели — возглавить советскую власть, а затем, может быть, и всю

Россию. Упустил. Не хватило — точной сообразительности? смелости? Как она берётся, власть? Вот пойдй попробуй.

Нужен гений? Да, ты не гений. Это — не каждому удаётся.

На вершине — очень трудно стоять.

Вот когда пожалел он, что все годы колебался *внефракционным*, ни меньшевиком, ни большевиком, никем. Он был всю жизнь — одиночка, никогда ни с кем не объединён, и в этом считал свою свободу. А теперь оказалось: никакой поддержки, ни партийных коллег, ни даже друзей.

А с Церетели вместе приехал ещё и Гоц. Затем и Дан. И Либер. И это наполнение вождями, вождями всё более оттесняло первичного Стеклова.

А Церетели внезапно открыл полемику против Гиммера по вопросу о войне и мире, да с такой резкостью, какая не принята была в Исполнительном Комитете, — безстрашно шёл на немедленный разрыв между центром и левой! И его стали поддерживать правые оппортунисты. А — где же Стеков? Грозило ему остаться на островке отшвырнутого меньшинства?.. Это уже и вовсе был бы политический конец. И он решил тут же сделать крупный шаг, пока льдины ещё не разошлись, — и переступить на ту, большую: поддержал Церетели, что надо крепить оборону, армию.

Вот уж никогда не болел социал-патриотическим сифилисом. А пришлось прикоснуться.

Он — перескочил, но по виду это был уверенный шаг неизменно идущего человека, знающего своё верно. (А в дородное тело его на самом деле вкралась большая неуверенность.)

Он рассчитывал, что так удержится в лидирующей группе — с Чхеидзе и Церетели. Но нет! Опять подвела проклятая безфракционность. Подготовили десять человек президиума для Всероссийского Сопевания Советов (оно требовалось как высший парламент России, укрепить петроградский СРСД) — и от головки ИК вошли Чхеидзе и Скобелев, от меньшевиков — Церетели, Богданов и московский Хинчук, от эсеров Гоц, — а от кого же Стеков? Ни от кого. И не вошёл. (А как наметили — так и будет. Какие там свободные выборы в зале? Что эта толпа понимает?)

За месяц революции это был первый крупный его неуспех. Не-выбор в первый ряд. (Весь март он думал: будет 1-й съезд Советов, и его выберут председателем Всероссийского Исполнительного Комитета. Как бы — Президентом России. К тому съезду и вело это Сопевание. А вот...)

Докладчиком? Но по войне и миру опять-таки Церетели, уже везде впереди. Только отношение к Временному правительству признали по праву за Стекловым: его доклад. И этот доклад — был теперь его главный таран. Готовил, больше ночами, писал разящие фразы! А на Совещании (в Белом зале не попав и в ложу) из депутатского кресла грузно присутствовал и наблюдал за всеми комедиями первого дня: овацией Бабушке, её безсодержательной речью, как она «вошла в этот храм Свободы», и как на стуле её выносили из зала, и полдня ушло на похороны чхеидзевского сына, а вечером деловые прения снова перебил скакунчик Керенский — для него ни очереди, ни регламента, и как жалко болтал: «я уверен, что наша уверенность и моя уверенность», «я пошёл во Временное правительство не потому, что хотел там быть, а провести волю по-славших меня»... Он, сукин сын, «не хотел» идти во Временное правительство только потому, что боялся советских коллег, и больше всего, как чувствовал Нахамкис, боялся именно его, избегал даже встретиться в коридоре. Но — и с какой же безстыдной хлестаковской лёгкостью он карабкается и обходит препятствия! — поучиться! — что ни шаг, только увенчивается наградами, в награду взял себе и Бабушку, в речи на вокзале приплёл, что ездил на Лену чуть не к ней в ссылку, а она его никогда и не видела, но: «дорогой друг Керенский, мы вас любим и умрём вместе с вами!» (При её возрасте — небогатое обещание.)

Именно такой лёгкости и не хватало Нахамкису, тяжеловесу.

Совещание Советов, из-за обилия фронтовых делегатов, убедительно пошло в пользу продолжения войны (правильно сделал, что перескочил на другую льдину) — никто не сбивал, кроме немногих большевиков. Но и большевики не посмели тут ясно выразить, чего ж они хотят, и Каменев, и Ногин: вот будет всемирное восстание пролетариата и кончится война, — а если не будет?? Этот пропуск заметило всё Совещание, и простак в шинелях.

Но и видно же было, как Церетели безмерно преувеличивает нашу «победу над буржуазией» и какое теперь с правительством достигнуто единство. Он даже так оппортунистически поворачивал, что само правительство вот сделало решительный шаг по пути, указанному демократией, и отказывается от имперских намерений. Но — *wer «А» sagt, muss auch «В» sagen**. И не оставалось теперь Стеклову другой линии на Совещании, как поддержать Це-

* Кто сказал «А», должен сказать и «Б» (нем.).

ретели: да, поражение на фронте было бы концом русской революции. Он выступил в прениях — 5 минут, рядовой оратор, это не лидер и не докладчик, но и в 5 минут успел: что Церетели блестяще развил аргументы, что *мы* побудили правительство сделать шаг значительной важности, а резолюция Каменева — всего лишь общая схема интернационалистических принципов, но не даёт ответа на наболевшие вопросы сегодняшней минуты.

Мог он рассчитывать, по крайней мере, что нейтрализовал Церетели относительно *своего* доклада?

Такая спешка и перегрузка была у головки ИК, что не проверяли у докладчиков заранее ни содержания, ни даже тезисов, на это Стеклов и рассчитывал. А тут — как раз безфракционность помогла: тезисами не должен был делиться и ни с кем. Однако. Исполком стал уже настолько предусмотрителен, что по каждому главному докладу заранее утверждал будущую резолюцию, которую в зале и проведём. И проголосовали резолюцию, что правительство «в общем и целом» заслуживает поддержку «постольку поскольку», стекловская же собственная формула! — но тем связали Стеклову руки: эта резолюция была — совсем не то, что он хотел говорить и как он хотел ударить. Ему самому оставалось решить: говорить ли всё, как жгло его?

И он решил, что — да. Резолюция — связывала, но в стране, но в Петрограде не было равновесия, правительство не годилось никуда, не стояло на ногах. Резолюция — связывала, но можно так горячо построить доклад, что Совещание само отвергнет резолюцию — и повалит дальше вперёд, за докладчиком! Сам доклад, весь простор манёвра — оставался за ним, а там — как удастся, куда вытянет. Но — тряханёт он и зал, и Исполком! А горячности ему не придумывать: она всю войну не утихала, клочкотала в широкой груди Нахамкиса, затаившегося под корой снабженца Союза городов лишь временно. Эта горячность вот недавно гнала его перо, когда он писал для «Известий»: «Ставка — центр контрреволюции», «Генералы-мятежники». Эта горячность напрягала его брови, когда кто-нибудь при нём только называл имена Гучкова или Милокова. Он верил, он знал, что плетутся, плетутся контрреволюционные интриги — в каждом армейском штабе, и в каждом обывательском подпольи, и в самом сердце правительства.

Так что ж, вслед за докладом Церетели, что правительство послушно-хорошее, — теперь предстояло ударить по нему, что оно враг?

Неизбежно так!

Исполком будет в ярости! — но бессильной, если увлечь зал!!

Это будет и речь его жизни. Тут он может взять реванш и вернуть себе лидерство.

Только оживляя раннемартовские дни, он сам явится во весь размер. Пришло в голову: показать собранию этот клочок чуть не обёрточной бумаги, на которой крупными буквами он написал свои исторические 9 пунктов для правительства. Прежде, чем «отношение к Временному правительству», надо было объяснить, как он создал это правительство.

И — вышел на всеизвестную думскую кафедру прославленного Белого зала. (Неудачно только, что время позднее, десять вечера.) Перед ним сидела не Дума, но — сильнее Думы.

— ...Товарищи, слышатся голоса, упрекающие Совет в слишком мягком, я сказал бы снисходительном, отношении к Временному правительству. Даже и в том, что Совет допустил само образование этого Временного правительства и не постарался так или иначе сам стать на его место.

(Говорят ли так? Разве только большевики. Говорят скорей, что Совет парализует правительство.) Так вот:

— Я позволю себе обратиться к истории этих отношений и хотя бы в самых схематических...

И — открыт путь для жгучего рассказа. Вот, всё живей встаёт, веет над этим залом —

— ...знаменитое ночное заседание. Да вот, товарищи, — вытащил из пиджака и развернул, — знаменитый исторический документ на клочке плохой бумаги... наши 9 требований... С которого почти буквально, что неизвестно ни большинству русского населения, ни тем более всей европейской и вообще заграничной прессе, — почти буквально Временное правительство списало свою знаменитую программу.

(Слышите вы там, министры!)

И — поднял мятую бумагу, и терпеливо показал залу во все стороны, и оборачивая её. Это и была ось вращения, это был его аттестат лидерства.

— Вот этот документ! Я не пушу его в ход, по рукам, так как он может пропасть, а мы представим его в музей истории. — И так сладко самому. — Если вы хотите — я его оглашу, но тогда я превышу назначенные мне полчаса.

Голоса из зала: «Просим! Просим!» А президиум вынужден помалкивать.

И Нахамкис живительно почувствовал себя снова на своей упущенной вершине. Он стал медленно читать, пункт за пунктом, как стояло у него — и как Милюков исправил: вот тут карандашом, вот тут карандашом...

— ...Хотели нам, победоносной русской демократии, навязать романовскую монархию, в частности Милюков настаивал провозгласить императором наследника Алексея, а регентом Михаила Александровича... Но тот русский народ, который совершил революцию, он поручил нам заявить, что признаёт единственной формой правления демократическую республику. Вы можете поэтому представить себе, как мы были поражены и возмущены, когда узнали, что Гучков и Шульгин едут в Ставку, чтобы там заключить с Романовыми какой-то договор. Я забегаю вперёд, но должен сказать, что наш Совет дал повеление своим комиссарам остановить поезд, который заказали Гучков и Шульгин.

Шумные восторженные рукоплескания! Сила Совета!

— К сожалению, каким-то образом эти господа проскочили и сделали то, что вам известно... Но Михаил Александрович, как остроумно выразился один из товарищей солдат, «встал на нашу точку зрения»...

Но при такой силе рабочего класса — отчего же Совет не брал власть, как, теперь ясно, надо было?

— ...Мы получали слухи, что с севера на нас идут пять полков, а с юга генерал Иванов ведёт 26 эшелонов, а на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что слабая группа, окружавшая Таврический дворец, будет разбита, и с минуты на минуту мы ждали, что вот придут и если не расстреляют нас, то заберут...

Зал захвачен. Успех! Уже и вторые полчаса текут, но Чхеидзе не смеет сигнализировать докладчику.

— Но дело не в этом. Для нас не было психологических причин самим стать на место цензовых, крайние революционные партии не могут принимать участия в буржуазном правительстве в эпоху капиталистического строя.

Теперь сокровенная история была рассказана — а вот времена поближе:

— Но после первых же дней мы спохватывались, что правительство что-то делает вне нашего контроля и есть некоторая за-

держка в осуществлении наших требований, и в речах некоторых министров мы уловили нежелательный оттенок. Мы посчитали нужным дать им толчок, мы заявили, что считаем необходимым приступить к практическим шагам: издать закон, объявляющий вне закона всех генералов — врагов русского народа, кои дерзнут поднять святотатственную руку на завоевания революции. И нам было обещано, что этот декрет будет издан. Но, товарищи, он до сих пор не издан.

Нахамкис ступил на стезю своей любимой ярости — против генералов, и его занесло, уж он и путал от души: да, он писал такие статьи в «Известиях» и настаивал в Контактной комиссии, но никто никогда ему не обещал, и даже свои советские смотрели диковато. Однако вот — он лил сильным голосом, и никто не поправил его из президиума — и в тёмных провинциальных и фронтовых делегатов переливалась та же ярость: генералы-изменники, генералы-предатели, очевидно поимённо известные, — а Временное правительство их щадит?

— Но когда был возмутительно освобождён генерал Иванов, который вёл на революционный Петроград несколько эшелонов войск, оказался на свободе без ведома Совета...

Удар по Керенскому, но тот силён, назвать нельзя, а вот по кому, самому ненавистному:

— ...Жизнь убедила нас создать постоянный орган давления на правительство, а главным образом — на деятельность военного министра, до сих пор внушающего нам — а может быть и вам, товарищи?? — величайшее опасение.

И захолонули сердца: как? и военный министр? и он — тоже изменник??

— До последнего времени он даже не появлялся на общих заседаниях совета министров, когда мы туда являлись с нашими требованиями, а должен сказать, что три четверти наших вопросов касались военного министра. Мы всё время получаем сведения с фронта, и это не секрет, что авгиевы конюшни старого режима среди командного состава неэнергично чистятся.

Аплодисменты! Да! Да!

Он уже бил — на весь полный размах! Он безсознательно копировал столь удачную, столь последственную первоноябрьскую речь Милюкова, с этой самой кафедры, пять месяцев назад, — но теперь против самой милюковской компании.

Кто бы уж там вспоминал о регламенте! кому б теперь, хоть и квёлому председателю, разрешили бы перебить!

Думал ли Нахамкис тут, сейчас, на Совещании — свалить Гучкова, а там пойдёт само, арестуют Ставку? Да жгло его, что головы главных генералов так до сих пор и не полетели! Бить — так бить, вспоминай всей генеральской сволочи до дна!

Зал — в руках. А что есть революция? Революция — вот это и есть — передвижка масс, ещё не осевших, ещё не утерывших своего движения, — и довольно бывает одной речи! одного толчка! одной фразы!

А — какой?

«К оружию, граждане»?.. «Бей их»?..

Не хватало... Не хватило чего-то... У самого не хватило — находчивости? дерзости? прыжка?

А в голове — мешает план доклада, сколько ещё не сказал, а пропустил, надо вернуться... (А в конце — всё равно неотвратимо сползёт к жалкой резолюции...)

Не то. Не Дантон.

Но — с новым напором:

— Для нас не секрет, что по мере возвращения жизни в нормальное русло начинается несомненно и организация контрреволюционных сил! Та кампания клевет и инсинуаций, которая ведётся против нас в буржуазной прессе...

«Анонимы в Совете»?.. — да кнутом по всем шавкам, задрожите!

— ...Есть какой-то *объединяющий центр*, из которого как по команде даются сигналы и лозунги. Вы знаете знаменитую кампанию по поводу Приказа № 1?.. Вы знаете попытки дискредитировать гарнизон Петрограда, подавший сигнал нам всем к свободе, — под предлогом, что он здесь уклоняется от несения военной службы, тогда как он на страже свободы? Совершенно очевидно, что контрреволюционные силы начали скопляться вокруг пока ещё скрытого, но какого-то *центра*, готовят обход революционной демократии!

Громогрозно:

— И нам *известен* этот организующий центр контрреволюции!! Но мы его пока не назовём. А впоследствии. И ему должен быть дан отпор — и я надеюсь, что этот съезд скажет своё авторитетное слово. Выскажет, что для Временного правительства

пришла пора дезавуировать кампанию — и тогда мы увидим, насколько мы можем дальше оказывать доверие Временному правительству.

Чуть пониже прежнего, а ещё прекрасный плацдарм, ещё можно крикнуть «к оружию!» —

но нет этой лёгкости, но нет этой дерзости, но почему такое тяжёлое тело, тяжёлый голос, тяжёлый план доклада?

Да и не план, оратор сам заблудился, он потерял напористый порядок мыслей. Опять к этим первым пылающим дням революции.

— И Приказ № 1 был подлинное творчество народных масс — сами солдаты выработали этот акт!

Аплодисменты. Да зал — всё время сочувствовал и шёл за ним!

Зал — шёл за ним, и надо было энергично вести его к удару! Но по какому-то недостатку хваткости ума зацепился за *двоевластие*, о котором жужжали буржуазные газеты, и стал объяснять подробно двоевластие. (Шло дело к полуночи, Чхеидзе задрёмывал, но не прерывал.)

— Безосовестные клеветники! Когда Приказ № 1 был издан — никакого Временного правительства не существовало — а кто этот слабый думский комитет? кем избран? Он был бледным, слабым созданием цензовых слоев, тогда как наш Совет вышел из здоровой широкой стотысячной массы.

Уже так устоялся язык их всех, советской верхушки: никогда не выдавать вслух «Исполнительный Комитет», а всегда — Совет. У трёхтысячного Совета плечи широкие.

— А что следует разуметь под двоевластием? Это не двоевластие, а законный народный контроль, чтобы заставить их считаться с требованиями революционного народа.

Исчерпано. А попутно он где-то упомянул династию Романовых — и в недомобилизованном его уме это зацепилось счастливой попутной находкой — да! царя же! царя! — и он потянул за леску:

— ...Эта династия, самая зловредная и пагубная из всех... Мы получали сведения, что ведутся переговоры с английским правительством, чтобы Николая и его семью отпустить за границу. И когда мы от наших товарищей железнодорожных служащих получили известие, что по царскосельской дороге движутся два литерных поезда с царской семьёй в Петроград, — мы подозревали, что ему подготовлен путь через Торнео на Англию. Что мы должны были

делать? Испугаться призрака двоевластия или принять самые энергичные меры помешать побегу тирана?

Бурные! неистовые аплодисменты! Зал ревёт.

И это была — последняя возвышенная площадка для атаки! для поворота истории всей российской революции! Он снова возжёл раннемартовскую горящую атмосферу! И зал был — в руках докладчика!

Но эту площадку — Нахамкис, по дефекту гениальности, разорвал с прежними, он не слил её с контрреволюционным подпольным центром, с мятежной Ставкой и теми генералами, которых надо обезглавливать подряд, подряд.

А между тем — шёл третий час его исторического доклада, и за полночь. И ощутил на шее висящий жернов обязательной резолюции. Никуда ведь дальше не взлететь. И даже бычья шея его стала гнуться. И ослабел голос. И — снижаясь, снижаясь:

— Я надеюсь, вы примете резолюцию, которую я имею честь предложить вам от имени Исполнительного Комитета. «...Признавая, что Временное правительство... проявляет стремление идти по пути, намеченному... настаивая на постоянном воздействии Совета в смысле побуждения его к самой энергичной борьбе с контрреволюционными силами... признаёт политически целесообразной поддержку Временного правительства *постольку, поскольку*... неуклонно к упрочению завоеваний революции...»

Близко к часу ночи еле проямлил Чхеидзе перерыв Совещания до завтра, но члены ИК кинулись в свою комнату и возмущённо, и бешено на Стеклова: как посмел он всё извратить? Сворой мелких стояли вокруг — а тополь-Церетели в рост ему, горели чёрные глаза.

«Как посмел?» — этого хоть и не спрашивай, сказано, не воробей. Стеклов устойчиво протестовал: докажите, что я нарушил? в чём отошёл от резолюции? Революция — беспощадна, ибо ей приходится спасать высшие ценности человечества, невзирая на лица. А на *этих* из Временного правительства история уже отточила свой топор.

И большевики поддержали его, очень довольные.

И опять выручила безфракционность: никакой фракции он не изменил.

А со следующего утра потекли прения по докладу. Взгорячённых, записалось ораторов больше ста двадцати. Не такие простаки сидели в зале, как можно было думать по шинелям (да среди них

немало было и опытных социалистов). Многие сразу заметили, и с этого начинали. Доклад товарища Стеклова был *против* резолюции Исполнительного Комитета, из всей истории отношений с правительством выводы прямо противоположны резолюции, и ни одного слова в её защиту докладчик не сказал. После доклада товарища Стеклова резолюция совсем неудовлетворительна. Докладчик достаточно обрисовал, что представляет собой это правительство, он внёс в наши умы огромную смуту. Эта резолюция, несомненно, не имеет никакого отношения к докладу товарища Стеклова, и если бы он задался целью дать резолюцию, противоречащую всему его докладу, — то лучше бы он сделать не мог. (Рукоплескания.) Докладчик может себя поздравить с результатом.

И правда — смог! Его — поняли! Он этого и хотел. А Исполком — с натянутым носом.

И — два дня — три заседания — катил вал прений по докладу Стеклова (во раскачал!) — и один только Гендельман, московский эсер, резко напал на Стеклова: что это был не деловой анализ, а какой-то фельетон, которым увеселяли собравшихся, для ответственного деятеля недопустимо, разные мелкие факты, товарищ Стеклов сорвал аплодисменты, как не дали увезти Николая Романова за границу. И непонятна фигура умолчания: почему же не назвать центр контрреволюции, если он известен?.. — Но тут же, с таким же запалом, отвечал ему Эльцин: пусть доклад был и фельетонного характера, это не важно, важны факты, которые привёл товарищ Стеклов, а они не были опровергнуты, а выводы мы сделаем и сами!

И правда, показалось Нахамкису, что он переиграл Исполнительный Комитет! Выступали солдаты и провинциалы, и чем примитивнее, тем больше они были взволнованы его докладом. Нет, сказать этому правительству: они — политические враги, которым мы доверять не можем! Считаем только себя, нас вот тут, законной властью революционного народа, а Временное правительство — исполнителем временных задач. Мы, армия и рабочий класс, имеем право вершить судьбы России и только временно не мешаем правительству, покуда оно осуществляет нашу собственную программу. Аб-со-лю-т-ное недоверие правительству, вышедшему не из среды революционной демократии!! — аплодисменты! Выше и выше поднять революционную волну, чтоб не дать ей снизиться! Наша резолюция должна быть манифест к народу — а не

такая! Если и может стать какая-нибудь задача — то в форме *захвата власти* и установления революционного правительства!

Ещё ли — мало? Чего ещё хотеть докладчику? Да забурлило больше, чем он мог ожидать.

Ещё! Ещё несколько толчков! А вот:

— Товарищи! Пора перестать играть в прятки! Если действительно наше правительство считает себя не самодержавным, а поставленным революционным народом, — оно обязано *сюда явиться!* и дать отчёт всем нам, революционной России!!

Достигнуто? Победа?! Героическо-трагический момент Великой Революции??

И уже председатель ставит на голосование пятисот делегатов в зале:

— Есть предложение призвать сюда, в эту залу, всё правительство в совокупности для дачи объяснений по обсуждаемому вопросу и освещения всей картины деятельности правительства.

И ведь — придут, презренные! Ведь не посмеют не прийти!

Но, из президиума:

— Мы можем призвать правительство каждую минуту. И, если понадобится, мы пойдём в этом отношении и дальше. Но Исполнительный Комитет сейчас не находит необходимым это делать.

Церетелевские оппортунисты захватили Исполком...

По залу — бурные перекрики.

Церетели отвёл удар, размазав перед делегатами ещё новую теорию: будто во Временное правительство входит буржуазия разумная, и вот она пошла на огромную уступку во внешней политике и охотно работает с Контактной комиссией.

Да и из фронтовиков вылезали с чумазыми мозгами:

— Не надо, товарищи, афишировать давления на правительство и вызов ему. Давить, давить, да и раздавить нетрудно. Не надо опьяняться властью. Надо помнить, что мы здесь — не вся Россия, и не вечно длятся времена революции, придёт другое время.

Так — и в прениях раздвоилось.

— Позвольте баллотировать предложение о вызове Временного правительства.

Напряжённое голосование.

Отвергнуто.

Сорвалось. На «явке правительства» — перебрали.

И сорвалось.

Великий момент Российской революции — не сложился.

А заседания — всё рваные, с перерывами, а в перерывах — жужжат и выют фракции, то разлетаясь по маленьким комнатам, то собираясь вместе, в давке, безтолочи, и негодуют: «Возмутительный, дезорганизаторский поступок Стеклова! Резолюция теперь опорочена! Теперь неизбежно сдвигать ещё левей!» (А он стоит тушей, выдерживает.)

И — пересоставляли резолюцию. Путали её, удлинляли, разбивали по пунктам, — и постепенно становилось всё строже и неумолимей для правительства, и, браво, ничего уже не оставалось там ни от какой его независимости. (И довольный Каменев снял с голосования свою большевицкую резолюцию.) Но: *в целом оказывать ему поддержку??* Меньшевики с эсерами всё лучше слаживались и сговаривались, меньшевики для себя тут находили то утешение, что всё же Временное правительство остаётся как оно есть, свергать не надо, и Совету не надо брать на себя ответственность власти, чего очень боялся Дан.

И — кому же эту резолюцию идти читать покорно с кафедры? Да разумеется, докладчику.

Резолюцию — что ж, охотно, он, в общем, выиграл её. Но выиграл — не на ту ступень, какую надо. Переворота — не совершил. Хотя добился безсилия правительства. И несомненно, утвердил себя.

И — вышел, здоровенный, и крепким, сильным голосом, однако без крепости в груди и без огня, читал изменённый набор пунктов. А от себя добавил, с последней надеждой на ещё одну вспышку бунта в зале:

— В общем и целом, правительство свои обязательства выполняло — под нашим постоянным давлением. А контрреволюционные силы не дремлют.

Но победа слишком неполная, и надо успеть шагнуть и в сторону Церетели:

— Хотя при известных условиях может и правительство дать отпор контрреволюционной агитации... Временное правительство стоит левее кадетской партии. Нельзя говорить о его банкротстве или неспособности. Вопрос о замене его более левым демократическим пока не стоит.

Голоса:

— Да это — ещё новая резолюция! Дайте перерыв!

А Стеков невесело:

— Это — та же резолюция. Исполнительный Комитет лишь обратил внимание на указания Совещания, и переделал.

Заседания рваные ещё и потому, что 31-го вечером — приезд Плеханова и нужна была торжественная встреча.

С Совещания вожди ИК пошли на вокзал, ночь пропала, на следующее утро продлили Совещание с трёх дней до шести, продолжались прения по докладу Стеклова, а остальной десяток вопросов ещё и не начинали обсуждать.

От приезда Плеханова многие социалисты, Бурцев особенно рьяно, ждали какого-то поворотного революционного чуда: вот приедет Сам! вот рассудит! Он могуче вмешается сейчас в политическую борьбу, веско выскажется по всем жгучим вопросам! Праздник всего Освободительного движения! На Финляндском вокзале собралось тысяч десять, публика — во всю длину платформы, женщины с красными розами, впереди цепью милиционеры с винтовками и солдаты. Команда «на караул», марсельеза — а из вагона Церетели, Скобелев, Чхеидзе и Бурцев на руках вынесли — маленького измученного старичка, ошеломлённого встречей. В парадных комнатах приободренный и даже сияющий (насколько мог после смерти сына) Чхеидзе приветствовал приезд Отца русской социал-демократии, который внесёт умиротворение в расколовшуюся социал-демократическую семью. И ещё несколько ораторов, всё о том же: что своими знаниями и авторитетом он наконец объединит русскую социал-демократию. А он еле-еле собрал силы ответить, что не сомневается в светлом будущем России, которое вот теперь и наступит, — и понесли его дальше опять на руках, к внешней толпе, в автомобиль и в Народный дом.

Нахамкис — не поехал за ним туда, не ожидая яркой речи (а не было и никакой). Он уже тут, на вокзале, понял: отработанный старик, совсем не тот, какой ещё 15 лет назад крепился в Швейцарии, и Нахамкис тогда чуть не поклонялся ему. Нет, ничего он уже не даст, ни на что не повлияет.

И это подтвердилось через день, когда привезли его в Белый зал на Совещание, и он, подсобрав силы, произнёс слабым голосом речь. И — что за жалкая речь? Вспоминал Лассалья, и зачем-то Фохта, и даже Дарвина, трусил пылью старины, и про свой литературный талант, и про свою былую боевитость, и как он всё предвидел

о русском рабочем классе, и как это всё посеяно Великой Французской Революцией... Посеяно-то посеяно, но, мямля эту речь, не представлял Плеханов динамики здешней обстановки и как она ждёт себе твёрдого направления. Ещё похвастался, что он — и есть *социал-патриот*, так и вышло безтактно.

Отстал старик. Обогнала его революция. Уже он не вождь.

4

До самой этой войны князь Павел Дмитриевич Долгоруков был убеждённый пацифист, даже председательствовал на мировом пацифистском съезде в Стокгольме. Хотя в десятилетие и вспыхивали войны — то русско-японская, то на Балканах, то ита-ло-турецкая, но они казались судорогами прежней злобной жизни человечества или недоразумениями, вовремя не устранёнными мешкотными дипломатиями, — а так зримо разливалось над землёй торжество Разума, наконец достигнутое блудным человечеством к началу XX века!

Открытие европейской войны потрясло душу князя, как взорвало её прямым попаданием снаряда, наполнило чёрными клубами отчаяния. О, совсем не достигнут тот век Разума, и ещё когда будет! И какие же затаённые силы злобы и коварства открылись в Центральных империях! Теперь князь Павел служил обороне России как мог, рыдал над нашим отступлением Пятнадцатого года, а потом всё более наполнялся всенародным гневом от осинового гнезда мясоедовщины, от распутинщины, от того, что царизм перестал быть оплотом против внешнего врага, не работал для победы как надо, а может быть даже лицемерно работал для поражения, даже может быть в прямом союзе с Вильгельмом. И в ответ, в торжественном немоном договоре всех действенных сил страны, в тревоге за её державное будущее — народилась оздоровляющая, дивно безкровная, национальная революция, расчищая теперь все пути к победе России! Восстали ради общенародного идеала, и революция была подлинным детищем всего народа. Верный признак: раз страна приняла переворот как должное — значит, он назрел в глубинах народной жизни.

И добрых две-три недели князь Павел был как переполнен пасхальным звоном изнутри. Так он дожил и до кадетского съезда

в конце марта — величайшего торжества партии и всей русской общественности за столетие — и среди других вождей выстраивался на сцене Михайловского театра при воодушевлении всего зала. И Винавер возгласил основную задачу партии: отпор контрреволюционным силам справа.

Но уже и перед тем, оказывается, звучали в столицах сперва незамеченные, а потом всё более разочаровывающие голоса. Стало так объясняться публично, что революция была не порывом к общенародному идеалу, но лишь продолжением революционных усилий столетия, и цель её — освободиться от каких-то «буржуев», демократизировать не только общественный строй, но и все имущественные отношения — до самого малого имения, родового очага, фруктового сада, отъёмной рощицы, лошадей, инвентаря, самой земли, большого завода и мелкой фабрики, и «буржуями» стали клясть и нас, радикально-прогрессивные круги, да всех подряд, кто в котелках и с крахмальными воротничками, мешая мародёров тыла и беззаветных земских деятелей, чёрную сотню — и Милюкова, и даже социалиста Плеханова, и девиц на высоких каблуках. После всего нашего общественного пылания — и получить эту пощёчину «буржуй»?

Да очнитесь, соотечественники! Да неужели же мы мерзавцы своего отечества? Да такое ли время теперь, чтобы мы оттеснили общенародные идеалы классовыми интересами? пассивно бы отнеслись к патриотическому долгу? Да надо же поумерить свои аппетиты! надо же работать для родины!

В пасхальные дни казалось, что примирение всё же наполнило сердца. Святую ночь встретил князь Павел в Кремле, на Соборной площади, во всенародном христосовании. И всю Светлую неделю провёл в Москве. Но нет, успокоение оказалось коротким, а с фронта приходили самые тревожные сведения. А князь Павел был привычный гость фронта, он ещё и на японскую войну ездил уполномоченным дворянской санитарной организации, и на этой бывал не раз уполномоченным от Согора (по глазам освобождённый от воинской службы, а брат-близнец Пётр служил). И теперь князь Павел получил от Думского Комитета делегатскую бумагу для объезда Западного и Юго-Западного фронтов, и после Красной Горки в понедельник выехал. (Ещё холодно, в бобровой шубе и шапке.)

В поезде (почему-то отменены спальные места — что, увеличилось население России? или сократились расстояния?) было много военных — офицеры после лечения, и солдаты то ли из от-

пусков, то ли, видно, возвратные дезертиры, неласково принятые у себя в деревнях и вот предпочетшие бродяжничеству оседлый армейский быт с пайком. А навстречу-то им — катили поезда, переполненные разнузданными солдатами, — с пением, гиканьем, насмешками и площадной бранью к тем, кто сумрачно ехал в сторону фронта.

Боже мой, предвестья были самые дурные, хуже, чем достигали слухи в Москву. И как же мог за сорок дней так извратиться народный идеал революции в свою противоположность? Всё-таки всегда было ощущение, что Россия — наш дом. А сейчас всё везде как на проходе.

Сперва князь Павел посетил казачью дивизию Краснова, насколько не разложенную: казаки строго парадировали, гаркали «здравия желаем», «ура» и качали депутата.

Но ничего подобного дальше ему уже не встречалось. Командиры полков бывали растеряны и своими полками уже не владели. На глазах старых генералов и седых офицеров проступали слезы. Положение офицеров было ужасное. Иногда князю Павлу советовали вовсе не выступать, но он велел собирать, подымался на пень и начинал: «Христос Воскресе!» Всё же многие сотни глоток отвечали: «Воистину». И с этого князь и вёл, что гул московских пасхальных колоколов ещё стоит в его ушах и он привёз полку не только привет Государственной Думы, но чаяния из сердца России. А там переводил, чтоб не верили ложным призывам: что нельзя вести окопную войну, не двигаясь вперёд. И иногда так трогал речь, что собирали для правительства полные фуражки серебряных рублей и даже георгиевских крестов (князь всегда изумлялся, как они не жалеют Георгиев?). А то спрашивают: «А как же нам говорить?.. А вот слышно...» — и дальше из социалистических листовок. Или обида: как же так, они служат, воюют, их ранят, убивают — а там землю будут делить? А иногда, особенно если в сумерки и из задних рядов, кричат: «Довольно повоевали! Пора мир и по домам!» — «Хорошо тебе говорить, приехал да и назад, а каково нам вшей кормить в окопах?» — «Да чего его слушать, наступать не будем!» А позовёшь объяснить ближе — никто из задних рядов не идёт, — а офицеры стоят потупившись, и жалко смотреть на них.

Что же: теперь понятие национальной чести — тоже становится «буржуазный предрассудок»? Именно теперь, после переворота, когда мы могли особенно сблизиться с союзниками, — нас отрывают от них?..

И так от одного полка к другому качаются чувства: то — всё пропало, то — ещё можно всё исправить.

А в Елецком полку застал особое положение: полк прогнал своего командира, тот живёт при штабе корпуса, а избран молодой ротный. Командир корпуса очень просил князя поехать образумить полк: если б уладить, чтоб хоть на несколько дней мог вернуться старый командир, самозваного в сторону, а сразу затем назначат нового подходящего. Князь поехал. Самозванец и не появился перед ним, все офицеры мялись, запуганные. Кое-как через старшего по чину созвал именем правительства и Думы не то чтобы полк, а человек 350. Начал беседу христосованием, рассказал про виденную дисциплину казаков, и что надо додержаться до Учредительного Собрания, не нарушая воинский устав, — и ничего о смещении командира. «Могу ли я рассказать правительству, что вы не будете слушать вздорных людей, не нарушите долг? постоите за Россию и свободу?» — «Вестимо постоим». Разошлись. Пошёл князь добиваться, где же самозванец. Еле нашёл, скрывался. Объяснил ему, что приехал без какой-либо власти, доброволец-посредник, обращается как русский человек к русскому, советует явиться к командиру корпуса, а иначе Елецкий полк вовсе расформируют. Тот упрямо: «Если кто и может поддержать в полку дисциплину, то только я». — «Но ведь даже приказ № 1 не даёт права выбирать командиров, это начало разложения, а дальше вас заменит демагог-писарь». — «Не я хотел, меня выбрали». Ни к чему не пришли.

Когда отъехали — шофёр сказал князю: а солдаты думали, что депутат приехал арестовать их выборного командира, — и на беседу имели при себе ручные гранаты, на случай.

*
* *

*Как теперешний солдат —
Он не хочет воевать.
Стала жизнь свободная,
Война — неугодная.*

ДОКУМЕНТЫ — 5

ВОЗЗВАНИЕ К СОЛДАТАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

7 апреля 1917

Солдаты! ...Массовое дезертирство начинает принимать опасный характер... Распространяемые в армии преступные воззвания о предстоящем теперь же переделе земли... Солдаты! Не ослабляйте армии, покидая её ряды, не верьте слухам. Вопрос о земле будет разрешён только Учредительным Собранием... Ныне оставление рядов армии является отступничеством от начал свободы, так недавно завоёванной.

Военный министр А. Гучков

5

Станкевич сам охотно вызвался готовить доклад об Учредительном Собрании ко Всероссийскому Совещанию Советов. Он много думал об Учредительном Собрании, ещё и раньше.

Да долгими годами — кто из русских интеллигентов не думал о нём, кто не возглашал этого волнующего сочетания слов? В самые мрачные годы царизма всплывало оно перед нами багряным солнечным восходом — началом эры свободы и счастья. Тут довели нам, конечно, исторические реминисценции — от идеи Руссо об Общественном Договоре — и как Генеральные Штаты в 1789 объявили себя Учредительным Собранием и поклялись не расходиться, пока не выработают конституции. (А наша Государственная Дума, и выборная, не посмела так.) Правда, в толще народа и не понимали, зачем бы оно, но наверх так гипнотически проникло, что вот и Михаил Александрович отрёкся прямо в пользу Учредительного Собрания, которое предполагается непременно.

Ещё никем не созданное. И никогда на Руси не бывалое.

Чем оно займётся? — да кажется, в с е м. Оно установит — вообще все российские порядки. Кажется, ни одной стороны жизни не осталось, о которой бы не возлагали надежд на Учредительное Собрание, что решит — Оно. Не только конституцию, не только взаимоотношения народов России, но и все порядки с земельной собственностью, но и все социальные отношения, но и все государственные законы, а между прочим и всякое нынешнее многовластие, и идущую войну, и будущий мир.

Когда оно будет собрано? В первые дни марта и учёные юристы, как Кизеветтер, заявляли: через месяц или два. Значит, к началу мая. Спустя неделю Временное правительство известило Исполнительный Комитет, что предельный срок созыва — середина лета, а ИК считал этот срок слишком отдалённым и торопил. (А больше всех торопили большевики, им-де особенно жаждалось Учредительное: не оттягивать,

чтоб не остыли революционные страсти.) А размыслив о трудностях выборов, когда 10-12 миллионов самого активного населения в армии, — так не лучше ли отложить на после войны, тогда выборы можно провести спокойно? — стали поговаривать в правительстве. И вот сейчас, на кадетском съезде, Кокошкин заявил: неправильно предполагать, что можно собрать даже за 4 месяца, то есть в конце июля. Да во время летней страды — какие выборы? кто из крестьян поедет голосовать? — Станкевич тоже думал, что раньше сентября уж теперь никак не получится. И в конце же марта, через месяц после революции, постановило правительство начать созывать пока Особое Совещание по изготовлению проекта Положения о выборах, человек 60-70 лучших юристов и представителей общественности, и это Совещание будет не один же месяц вырабатывать, как всё лучше устроить, и будет рассылать консультационные вопросники во все политические и общественные организации: одинаковые ли устанавливать условия для пассивного и активного права? мажоритарная или пропорциональная система? сколько установить членов Собрания? с какого возраста избирательное право? как быть с цензом оседлости? а как будут избирать военнотруженики — по избирательным округам или воинским частям? а если части — в бою? (А вот уже требуют: не лишать избирательных прав и дезертиров.) И пока это Особое Совещание, само тоже громоздкое, как парламент, всё соберёт и переработает, а потом составление избирательных списков и сроки обжалования их, и сроки для избирательной агитации, чтобы не было упрека, что воле народной не дали проявиться должным образом, — так и подкатит глубокая осень, а по осенней российской распутице разве поедет деревня голосовать?.. Тогда уж — на зиму?

Жарко желалось Учредительное Собрание, но подумаешь над ним пристально: для России, не знавшей таких выборов никогда, да во время войны, да после революционного расшата, когда не осталось на местах нигде самоуправления, — как же проводить всероссийские выборы ещё и без местных властей? А прежде избирать местные власти — тоже надо: положение о выборах, избирательные списки, опротестование, агитация?..

В прежних мечтах наших никогда это всё не обдумывалось.

Станкевич эти недели внимательно следил за проблемой. А когда поручили доклад — считал честным не скрыть перед Совещанием Советов всех трудностей. Да, Учредительным Собранием увенчается победное здание революции, это будет в полной форме воплощение принципа народовластия. Это будет акт становления совсем нового государства. Но сейчас для организации выборов у нас даже нет ячеек местной власти. И не следует закрывать глаза: нации России явятся в Собрание не дружной толпой, а со старыми взаимными тяжбами и требованиями, подчас исключаящими друг друга. А тут — кипит война. А тут — властный клич из деревни о земле! И — продовольственный кризис. И — транспортная разруха. Любая одна из этих проблем заняла бы всё внимание и силы вполне подготовленного и делового законодательного со-

брания, не такого, каким будет совсем неопытное наше. А — с какого возраста избиратели? Все сходятся, что не ниже 20 лет, но под ружьём есть и 18-летние — можно ли при подаче голосов разделить товарищей по оружию, идущих равно умирать? А если голосует 18-летний солдат, то как лишить 18-летнего рабочего на руднике? А — как лишить избирательного права беженцев, жертв войны? А как посмотрят на их участие местные жители? (Беженцы требуют и — посылают бюллетень по прежнему местожительству.) Участие женщин — кажется несомненным, это будет наше лучшее завоевание в мире, — а вот демократические голоса указывают, что русская деревенская женщина в своей большей части до сих пор ещё плачет, что нет на престоле Николая Романова. Она и заголосует нас всех. И все деревенские женщины сплошь — под влиянием священства. (Впрочем, если выборы будут в сборных пунктах уезда, то какая женщина бросит избу, детей — и поедет в город голосовать?) Деревня темна, и она может поразить нашу революцию сурпризом. А как провести всеобщее тайное голосование при массовой неграмотности? Если б мы могли успеть справиться с задачей просвещения тёмных масс — нам не был бы страшен случайный результат голосования. Но с другой стороны, если мы будем откладывать и откладывать, то упадёт революционное настроение. И другая есть опасность: что неграмотная масса будет забита малыми, хорошо организованными группами. (А «Известия» наводят, что и в армии «может не найтись достойных кандидатов», и — дать армии, и каждой местности, право избирать не своих, а приезжих из городов, то есть делегатов подменных.) Вся будущность российской свободы ставится на карту: как мы подготовим эти выборы?

А ещё же — где быть Собранию? Настойчиво выдвигают Москву, выступают деятели, пишут газеты: только первопрестольная Москва, ибо в ней одной чувствуется настоящий пульс русской национальной жизни, она бесконечно дорога русскому сердцу, а у Петрограда — чинный и интернациональный характер, он в чуждом климате, в стороне от России и её производительных центров, и противостоит ей, никогда не пользовался её доверием, только так и мог развиваться Двор, похожий на немецкий, и космополитическая каста бюрократов, мертвящая иноземная мерка на все благие начинания земской России. Но перенести Учредительное из Петрограда — это перестройка всего административного аппарата, масса технических трудностей, — да и не хочет ни одна социалистическая партия.

А пока мы ломаем голову надо всеми этими проблемами и тянем — а жизнь идёт, и что-то надо решать, и вон Временное правительство без всякого Учредительного Собрания утвердило акт о самостоятельности Польши. Немало.

Всё это готовился сказать Станкевич в докладе — но была ещё одна сторона, о которой говорить ли Советанию Советов и как? — это сами Советы: как они будут вести себя при выборах в Учредительное? Ведь не безучастно. По меньшей мере, они будут контролировать выборы —

но насколько безпристрастно? А верней всего и агитировать, и активно участвовать? — так они полностью и определяют состав Учредительного Собрания. Ведь Советы — это тоже как бы всенародность, и — зачем им вторая всенародность, в виде Учредительного? Одна всенародность — отменяет другую. Но пока Учредительное соберётся отменить Советы — у этих уже кадры, они овладевались, у них навыки властно распоряжаться, — неужели они теперь упразднятся?

И к чему тогда весь доклад?

Что-нибудь об этом Станкевич решил намекнуть. Предупреждающе для умных.

Но — так потекло Совещание, что скомкался и уже на хвосте, без значения и последствий проскользнул его доклад: не оставалось уже времени, ни тем более на прения, проскочило это Учредительное Собрание как курьерский мимоходный поезд, мало кем и разгляженный, а при голосовании подготовленной резолюции уже не было и половины Совещания — разъехались на Пасху. Но не упустили постановить, что Советы должны существовать на средства от государства.

А скомкали всё потому, что Совещание было размахнуто без расчёта и проведено без разума. Первый день заседаний чуть не весь ушёл на приветствия и на провожанье гроба Стасика Чхеидзе на вокзал, в Батум. Часа два то ждали Бабушку, то слушали её искренно благостное: «Все мы дети одного народа, зачем стали ссориться?» Собрали людей из дальних мест — и растянули на неделю, наворотили невозможное число вопросов и секций, и никто ничего не разбирал. (Хорошая репетиция к Учредительному.)

А между тем: как много можно было тут понаблюдать и поучиться, проверить политику. Это и был — народ, разбуженный революцией, вот он, пришёл! Меньше рабочих, гораздо больше военных, весь думский зал — защитного цвета, и на хорах битком набито солдатами. И лица — хорошие, brave, не подлые, не затаённые. Конечно — говорить не умеют, у большинства мысли расплываются, это скорее — чувства, и нечёткие, и не уложенные во фразы. А то — выскочит маленький солдат с громовым голосом и рубит тоном приказа, без колебаний. И слушают его внимательно.

Но в президиуме сидят — только штатские, десять партийных вождей. На трибуну то и дело выскакивают вовсе не простецкие, а уже знающие пропаганду назубок. Да даже одни и те же выступают и по второму разу, и по третьему, особенно от партий, Пумпянский ли, сумевший себя выдать делегатом от Читы (по телеграфу, что ли, его избрали), то от Москвы большевик Ногин да эсер Гендельман, и непременно каждый выпечатаывает: «Мы, представители рабочего класса». А простаков отрезают от прений десятками, большинство делегатов немые, только мычат да аплодируют, а ход резолюций им не подвластен, их согласуют фракции партийные закулисно.

Так вот так — и ведётся всякое народное движение? Вот это и есть народный форум?..

О войне — всё же было две дюжины ораторов, два заседания, Станкевич напряжённо следил. Тут звучали очень чистые голоса фронтовиков: «Отечество в опасности» — это не фраза, это крик больной души и отчаяния. Наши солдаты требуют определённого: война продолжается, что делать теперь? Вот люди уже отказываются ходить в разведку. Большевики не представляют положения дел в окопах, золотой сон о братстве народов. Нам чужих земель не нужно, но и свою не допустим отдать, все ляжем на поле брани, отразим немца грудью! (И бурные аплодисменты зала.) От Особой армии: стоять до честного мира! Почему немедленное заключение мира поднимается со стороны тыла, а не фронта? Надо ещё подумать, что нам выгоднее, может быть — продолжать страдать в окопах?

Большевик: зачем войну продолжать? мы что — на службе у англо-французской буржуазии? С места: а у кого на службе большевики? вон! долой! — и Скобелев едва успокаивает собрание. Конечно, бормочет следующий большевик, мы будем защищаться, пока вы скажете нам, но лучше бы кончить войну поскорей.

Уловки, хитрости большевиков очень заметны были: при их тут малочисленности им мало было занять третью часть прений, но, проигрывая резолюцию, они перенесли усилия на её поправки, один Ногин выступал с тремя подряд и до того разозлил зал, что кричали: «Вон его! Довольно большевиков! Надоели!» И все их поправки были отвергнуты.

Но штатский президиум, все эти «представители рабочего класса» без единого рабочего, и Церетели первый среди них, боялись и всяких других поправок, и о возможности идти в наступление, — а всю резолюцию провели чохом, в их заранее подготовленном виде.

Так наблюдал Станкевич «разлив демократии» и как ведут массу.

Все страсти вились вокруг доклада ломовитого Стеклова. Правда, громить Временное правительство — это была уже не новость: на многих заводах и во многих воинских частях его поносили последними словами социалистические агитаторы, и фронтовые гудящие солдатские митинги уже приучены были обсуждать: доверять или не доверять правительству. Но Стеклов в докладе далеко перешёл эти границы: он дразнил зал, как быка красным, он прямо кидал в зал огонь, что Временное правительство контрреволюционно, а Гучкова назвал *тёмной силой*, как недавно обзывали только распутинский кружок, — и солдатская доверчивость впитывала такое о своём военном министре.

Нет, Стеклова — окоротить! Один выход — окоротить. А для того всего верней вышибить из-под него «Известия».

Об «Известиях» много было что сказать, да это и каждому видно, если б кто из советских собрался повнимательней и потрезвей посмотреть свой собственный орган. Газета, по сути, никем не ведётся, эту работу себя товарищ Стеклов не нагружает. Никакой системы, никакого своего поиска материалов, а печатается месиво из того, что случайно притекло. Нельзя понять, что делается вообще в России, почти совсем

нет общероссийских событий, а уж международных и не спрашивай, читать просто нечего. И среди этой скудости вдруг большая статья «Задачи социального законодательства в Финляндии» — с чего? Или на полторы страницы какой-то митинг в Лондоне — и никогда больше об этой Англии ни слова. Или вдруг анонимный учитель — с детальной критикой нового состава совета министерства просвещения, — и ни слова больше никогда ни о просвещении, ни о других министерствах. Никакой градации важных и не важных сообщений. Рядом может стоять: из захолустной провинции, из Стокгольма, и опять из провинции. Какая-нибудь важная телеграмма вдруг печатается с опозданием в три недели. Не сказать, чтоб отражалась и жизнь самого Совета рабочих депутатов (обо всех заседаниях Совета гораздо раньше и подробней прочтёшь в буржуазных газетах). Один раз в месяц — вдруг протокол ИК, и тоже на пять дней позже. 23 марта под давлением общества постановил ИК опубликовать всё-таки свой состав, не известный никому в России, — так товарищ Стеклов это дело самовольно оттянул ещё на шесть дней (и почти все раскрыли свои псевдонимы — но не он, он так и записался Стекловым). Из чего же состоит газета? Из скучнейшего нечитаемого набора однообразных воззваний, приветствий, резолюций, протоколов полковых заседаний — просто печатают всё подряд, что пришлют серяки, а в самой редакции никто не работает. Заголовок «На областной конференции» — и так до конца непонятно, какой области и какой партии. Потеря и путаница строчек. Грубейшие опечатки: последняя декларация Временного правительства приписана на месяц раньше, к 27 февраля, — бред какой-то. А ведь по «Известиям» вся Россия судит о Петроградском Совете, этой своей необычной, странной новой власти, — и что же выводят? Позорное лицо. А между всей этой ссоростью время от времени как крупные наשלёпы — погромные статьи самого Нахамкиса, всегда без подписи, но всегда легко идентифицируемые — тяжёлая лапа, безапелляционно грубые выражения.

Станкевич был уверен, что сокрушит Нахамкиса на Исполкоме, уж слишком всё явно. Ему обещали, что выслушают на первом же заседании ИК после Пасхи, 4 апреля. Но на это заседание внезапно явился скандально приехавший накануне Ленин, привёл с собой выводок — Зурабова, Зиновьева с бабьим голосом и постоянного тут Шляпникова, и все они стали выступать один за другим по внеочередному вопросу: о положении швейцарских эмигрантов. (Они выступали, а лысый, хитрый, очень неприятный Ленин сидел позади у стенки и молчал, как бы нитки невидимые водил.) А Зурабов и Зиновьев говорили даже не от себя, и даже вовсе якобы не для обеления большевицкого вождя и собственного проезда через Германию — но от «швейцарских товарищей-интернациона-

листов»: это именно они просят, чтоб Исполнительный Комитет давил на Временное правительство, чтобы то вступило в переговоры с германским правительством о пропуске всех оставшихся политических через Германию в обмен на немецких военнопленных из России.

Просьба была — неожиданна и ошеломительна. «Давить на Временное правительство» Исполнительный Комитет и привык, и готов был в любую минуту. Но — давить, чтобы вступать в прямые переговоры с Вильгельмом?? Это было — дико, сразу видно, но и что возразить духу интернационализма? При прежнем руководстве Исполком бы растерялся, как и сейчас растерялись Чхеидзе и Скобелев, а Нахамкис сидел крупно в стороне и довольно разглаживал бороду. И Гиммер не выскакивал ни с какой свежей идеей. А Станкевич, хотя и возмущился, но не числил за собой права на первый ответ, да и не выдержал бы настолько интернационального тона, мог бы испортить. И спасло дело то, что был теперь тут Церетели, так быстро вошедший в авторитет и руководство. И нельзя сказать, чтоб он был отточенно умён или владел бы отточенно речью — ни то ни другое, — а вот какая-то верная у него была душа, чутьё. Он быстро всё ощутил, и первый ответил, и умело повернул: против Исполнительного Комитета и так уже ведётся тёмная агитация, а если мы примем такую резолюцию — её выгодно используют против нас. Пойдут толки, что мы — в союзе с Вильгельмом, и Германия транспортирует к нам революционеров в своих целях. (Косвенно он так и Ленина осадил.)

Косоглазый Ленин ещё перекосился, а за Церетели осмелел и Богданов, прямо вскрывая ленинский замысел: против Ленина уже начат буржуазный поход за проезд через Германию, свяжут и нас с ним. Пусть заботится правительство, как эмигрантам ехать через Францию-Англию, а мы — тех, кто самочинно едет через Германию, должны осудить!

Тут Ленин не выдержал закулисной роли, вскочил сам и резким, злым, нечистым голосом стал оправдываться, что никаких обязательств Германии они не давали, проект проезда предложил товарищ Мартов, а все переговоры вёл товарищ Платтен и политические цели германского правительства не имеют ничего общего с задачами, которым служат русские революционеры. А вот Исполнительный Комитет и сам даёт пищу для инсинуации и клеветы, — а чтобы пресечь буржуазную ложь, надо именно принять резолюцию, предложенную товарищем Зиновьевым.

Ну да, взять на себя резолюцию и обелить ленинцев.

А на Исполнительном Комитете ещё же сидели солдаты, несколько человек. И один из них ото всех тут же и вылепил, что они — против проезда через Германию и против такой резолюции.

И как большевики ещё ни настаивали — резолюция их не выиграла. Хотя согласился ИК все их мотивы объяснить в «Известиях». То есть, вообще-то, проявили слабость, переезд не осудили.

Затянулось заседание, и отложили доклад Станкевича на следующий день. А на следующий день утром в очередных «Известиях» можно было прочесть не только пространную оправдательную (и анонимную) статью большевиков «Как мы доехали», но ещё и исключительно сочувственную, явно самого Нахамкиса, статью о ленинском приезде. (Такой теплоты «Известия» ещё ни к кому не проявляли.) И Станкевич так понял, что, уже терпя потеснение в ИК, Нахамкис искал себе союзников в большевиках. Да уже и раньше из выступлений на Совещании Советов он печатал крупно, отдельно только Каменева. А в этот день четыре страницы из восьми отвёл своему погромному докладу против правительства.

Ещё решительней пошёл Станкевич на новое заседание, 5 апреля. Но и в новом заседании начали не с «Известий», а с отчёта Контактной комиссии. А после бури с докладом Стеклова против Временного правительства — не было сейчас в ИК напряжённой вопроса, чем отношения с правительством. И кто же делал тут снова доклад? — опять же товарищ Стеклов. И он, кажется, вышел — выиграть теперь тот бой, проигранный им на Совещании. Накануне вечером встреча в Мариинском дворце была очень напряжённая. ИК предъявил министрам и своё недовольство, почему назначен Верховным Алексеев без уведомления ИК? И почему так медленно идёт гучковская чистка командного состава? и допустить комиссара Исполнительного Комитета для контроля телеграмм, исходящих из Ставки. (Министры же добивались узнать, как относятся ИК к ленинскому проезду через Германию, ИК отказалось разговаривать на эту тему, а Милюков непримиримо заявлял, что действия Платтена враждебны русскому государству.) И если к этому добавить, что в Петрограде Корнилов продолжает приводить войска к присяге, чем ставит в невыносимое положение революционные части, отказавшиеся от присяги; и, хуже всего: что правительство, прежде тянувшее, теперь окончательно отказалось выплатить 10 миллионов на нужды Совета, — отношения стали невозможными и требуют решительных мер!

Сегодня на ИК остро выскочил Гиммер: что отношения неблагоприятны, да, но ИК только регистрирует в пустой след самоуправства правительства и склоняется перед фактами. На их отказы в наших просьбах мы не реагируем энергично. Вот с Платтен — недопустимый прецедент! — надо всем нашим авторитетом добиться его пропуска со шведской границы в Россию. Надо вообще взорвать гласностью всю ситуацию, надо протоколировать каждый шаг контактов с правительством!

Разумный Церетели возразил, что у него — иное впечатление, правительство очень во многом идёт навстречу, обмен эмигрантов на военнопленных не принят и самим ИК, и нет оснований взрывать ситуацию. В менее официальном порядке достигнешь большего.

Большевики и межрайонец Кротовский требовали — разрывать и взрывать, кончать с теорией «бережения правительства»! И особенно настаивать на пропуске Платтена в Петроград. Прошёл момент, когда мы должны были поддерживать правительство! Оно нас всё более игнорирует. Публично отказать ему в поддержке!

Три дня назад на Совещании сами же провели резолюцию о поддержке, и вот уже выстраивался целый ряд (а во главе опять с Нахамкисом): атаковать правительство и валить. Рядовое заседание ИК грозило стать ключевым моментом всей революции. И Станкевич, позабыв свою задачу с «Известиями», уже хотел вмешаться на защиту Церетели — как ловко выступил Богданов. Он указал, что ИК ослабил себя сам тем, что даёт бой и терпит поражение на самых невыгодных вопросах. Когда часть армии уже присягнула — глупо и проигрышно было поднимать вопрос об отмене присяги. И глупо и проигрышно лезть в петлю об обмене и о Платтене, следовать за ленинской группой, которая не считалась с интересами российской революции, а только со своими желаниями. И совершенно глупо устраивать публичность из того, что нам не дают государственных 10 миллионов, — мы не найдём поддержки общественного мнения.

Церетели выразил, что на этом и кончится обсуждение, что всё ведь только что решено на Всероссийском Совещании, — но нет, к чёрту то Совещание и всякий порядок, началась почти свалка (видно, у большевиков с Нахамкисом было сговорено — сегодня опрокинуть), большевики настаивали, но даже и умеренные Брамсон, Дан потеряли голову от ускользающего блеска этих 10 мил-

лионов, а Красиков снова кричал, чтобы Контактная комиссия вела переговоры под протокол и министры бы подписывали каждый протокол (совсем уже превратить министров в пешек!). Но даже и Нахамкис очнулся ему в возражение, что тогда министры станут слишком осторожны в переговорах, невыгодно для нас же, а Гиммер язвительно развивал идею протоколов, даже присяжных протоколистов — нотариуса с двумя писцами. Кричали, спорили с разных сторон — и Чхеидзе не только потерял управление заседанием, но собственную ослабевшую старую голову, неделю назад похоронившую сына, потерял от гвалта и закруженно предложил: вообще отменить Контактную комиссию и вообще не встречаться больше никому с правительством, а встречаться с ним только в письменной форме... Заседание ошеломилось, смолкло. Брамсон очнулся из первых: это лишает нас всех выгод непосредственных встреч. Хорошо, пусть не надо протоколов, но члены Контактной комиссии чтобы вели записи скрытно от министров. (На коленях под столом, что ли?)

И предложение Красикова провалили, но с ничтожным перевесом, а брамсоновское приняли.

И так все чуть ли не лежали вповалку, когда дошло до доклада Станкевича об «Известиях». За время свалки у него уже мелькало, что опять неудачно, упущено, будет некстати. Но тут он встал — и со своим отличным самообладанием и холодной насмешкой вывалил дебелого Нахамкиса всеми боками, не раз вызвав дружный смех уставших исполкомцев. А смех-то больше всего и убивает. Нахамкис, зарвавшись против правительства, — с этой стороны не ожидал, и в такой форме. Вызванные редактора «Известий» стали от Нахамкиса отрекаться и проговариваться, какой же царит в редакции ералаш. Церетели — поддержал Станкевича. Нахамкис оправдывался обезкураженно, безсвязно, ещё хуже себя выставил.

Назначили комиссию, Станкевич-Дан-Гиммер, расследовать редакцию и реорганизовать. (Добить! — наметил Станкевич.)

А был и смешной момент. Помахивая сегодняшним номером «Известий», Станкевич высмеял, что редакция зовёт: найти и выловить авторов анонимных листков, когда сами на каждом шагу анонимны. Но по Исполнительному Комитету прошло недоумение: а разве неправильно?

— Странно сказать, — вслух подумал кто-то, — а нам таки нужна и своя контрразведка.

ДОКУМЕНТЫ — 6

ПРИКАЗ

7 апреля 1917

...Различными местными исполнительными комитетами арестовыва-ются офицеры, и их места замещаются другими лицами без ведома и без согласия высших начальников... Я не могу допустить самоуправных дейст-вий. Предлагаю вопрос о всех справедливых претензиях к начальствующим лицам доводить до сведения старших начальников, чтобы тщательное и всестороннее расследование установило степень виновности каждого данного лица.

Военный и морской министр А. Гучков

6

Первородный грех нашей революции — крестьянский строй в России. Из-за этого — у нас мало социалистических сил, и когда население, страхнувшее кандалы царизма, было спрыснуто живой водой революции и могло бы развернуть чудеса самостоятельности — то и в провинции, и в армии инициативу захватывали злобно-буржуазные элементы. Разве мужику в серой шинели доступно понять пролетарские требования, например 8-часового дня? — та-кой нормы нет ни на фронте, ни в деревне. И во второй половине марта на почве шкурных интересов натравлены были солдаты на рабочих: что те не желают работать и игнорируют интересы фрон-та. Это была крайняя опасность для революции, когда военные де-легации повалили проверять работу на заводах! — крепость рево-люции сама стала под удар крестьянской стихии. И надо было с ве-личайшей тактичностью преодолеть чернозёмный атавизм и сти-хийно-примитивный, но объективно-необходимый шовинизм этой нечленораздельной массы и взяться за прямое дело социали-стического просвещения, вырвать вооружённого мужика из-под вековой власти буржуазии и пронизать его ослепительными луча-ми революционной гордости. Да в самом Совете большинство бы-ло мужицко-обывательское, мужицко-оппортунистическое. И на-чалась — атака всех социалистических партий на мужицко-сол-датские мозги, через газеты, листки, посылку делегаций на фронт, митинги и тщательную проработку революционной конъюнктуры

в самом Таврическом — со всеми приезжающими (а их приезжало всё больше) военными делегациями: захватить поддержку бесловесных масс. И надо сказать, что в марте Исполнительный Комитет воплотил в себе эту волю пролетарской демократии: если и не всех просветил-убедил, то своим авторитетом заставил следовать за собой. Солдаты были примирены с рабочими требованиями, опасная битва за армию — выиграна. Армия оказалась в руках Совета, и теперь уже никакие шакалы реакции и патриоты по найму, никакие Тьеры и Кавеньяки не задушат российскую демократию! К концу марта силы революции достигли своей высшей точки — всё в руках Совета.

И Гиммер торжествовал, едва ли не более всех! Дело Февраля и весь мартовский путь он считал почти своим собственным творением (хотя со стороны никто этого не заметил и не понял) — и потому-то он был так настороже ревнив и ответственен к неверному направлению событий, всё время черпая ему исправления из лаборатории своей политико-социалистической мысли.

За март мы с лозунгами Циммервальда завоевали и действующую, и тыловую армию — и теперь вся сила в наших руках, мы — в победном положении! Однако: сумеет ли Совет эту победоносность использовать — вот вопрос.

Лозунг «Революция продолжается!» — для Временного правительства непереносим. Тысячу раз презренные злостные лицемеры буржуазии, все слуги толстой суммы и бульвара, теперь кинулись проповедывать бургфриден внутри страны и защиту отечества снаружи, — а что есть эта «оборона отечества», если не гнусное удушение революции? Под флагом защиты отечества или даже «защиты революции» проступает знакомая нам классическая идеология империализма. «Освобождение Бельгии, Сербии, Армении, Курляндии и Польши» — вовсе не обязательны для окончания войны, но под этим предлогом хотят подчинить себе армию, вырвать её у Совета.

И что изумительно, обнаружил Гиммер: даже их интеллектуальные светила, как Милюков, могут субъективно этого и не понимать! На днях был случай: в перерыве заседаний Контактной комиссии сказал Гиммер Милюкову: «Революция развернулась так широко, как хотели мы и не хотели вы. Закрепить политическую диктатуру капитала вам не удалось. У вас — нет реальной силы против демократии, и армия к вам не пойдёт». А Милюков с совершенно искренней печалью на лице возразил: «Да разве можно так

ставить вопрос! Армия должна не идти к нам, а сражаться на фронте. Неужели же вы в самом деле думаете, что мы ведём какую-то буржуазную классовую политику? Мы просто стараемся, чтобы всё не расплзлось окончательно». И Гиммер был поражён: вот так номер, Милуков, кажется искренно, *не знает*, что ведёт классовую политику! — и это глава русского империализма, вдохновитель Мировой войны!

Даже частичные уступки в вопросе о мире повели бы к безпощадной диктатуре капитала. Если революция не кончит войны, то война задушит революцию.

Вот почему не утихла тревога Гиммера от самого 14 марта, от опубликования его детища-Манифеста. Уже тогда сразу он резко выговаривал Чхеидзе (и тот не находился ответить) за его незаконные оборонческие комментарии с трибуны Морского корпуса: «...не выпустим винтовки, защитим свободу до последней капли крови».

Но — всё провалил приехавший Церетели, навек открывая свою мелкобуржуазную сущность, — а ведь считался до того дня авторитетным циммервальдистом. Все на ИК были просто ошеломлены: таких резких выступлений в поддержку войны тут ещё не бывало, даже враги Циммервальда невольно приспособлялись к его ветру.

С тех пор дело мира было изъято из плоскости массовой борьбы и передано в плоскость келейного соглашения: Церетели с počётом взяли в Контактную комиссию. И там родилась известная уклончивая милуковская декларация 27 марта. Как будто не ясно, что никакая буржуазная бумажка не имеет ценности, а реальные уступки надо вырывать не мирным соглашением, а давлением масс.

Можно было бы поправить дело на Совещании Советов, если бы дать боевую классовую резолюцию о войне, и Гиммер с Лурье добились попасть в комиссию по составлению той резолюции, — но уж как завёлся в рабочем движении оппортунистический пошиб — его легко не вырежешь. При поддержке безвольного Чхеидзе Церетели и здесь овладел положением, и Совещание объявило своё одобрение декларации 27 марта. (Всё же вставили в ту резолюцию не «защиту отечества», а «защиту революции».)

Гиммер сидел на Совещании в правительственной ложе, и безпокойно его глаз обилие военных делегатов, с особой неприязнью он наблюдал прапорщиков — и явно же переодетых кадетских адвокатов, а каждый нагло говорил «от имени такой-то армии» или

«корпуса». Президиум избрали без поправок в том составе, как его наметил ИК. А в нём, конечно, выдавался стройный волоокий Церетели, всегда хорошо слушаемый оратор. У него были вид и повадка безусловно благородные, при гневном прекрасном голосе звенел, а на лбу вздувалась синяя жила, с кавказским темпераментом он безстрашно скакал во все пропасти. Конечно, это был замечательный вожак человеческого стада, но как политический мыслитель — маленький, одержимый утопической примитивной идеей. У этого столь известного социал-демократа не было настоящего пролетарского пьедестала, и это сказывалось на каждом шагу.

Возмущённые яростным докладом Стеклова, правые в ИК в час ночи собрались назначить противоположного содокладчика — и на кого же нахмурить? — на Гиммера! Гиммер — отбивался, он революционер, а не соглашатель! (Он сам нисколько не был против угроз, которые Стеков раздарил буржуазии: не только надо было угрожать, но и действовать!) Однако весь ИК рассчитывал на Гиммера как на теоретика и писателя, и, чтоб откупиться, пришлось на следующее утро представить в ИК тезисы: Временное правительство — классовый орган буржуазии, а Совет — классовый орган демократии, и между ними неизбежна непримиримая классовая борьба, однако форма этой борьбы пока может быть и не свержение, а — давление, контроль и мобилизация сил. И очень одобрил эти тезисы Каменев, но летучее заседание ИК, и первый Церетели, решительно отвергло, и так спасся Гиммер от содоклада.

И в такой вот напряжённой борьбе, неразличимо ночь от дня, протек и весь март, и советское Совещание на переломе к апрелю; обедал где попало, а ночевал чаще тут, на Песках, у своего революционного дружка, к себе на Карповку в полночное время не добираться. И как-то ночью совсем замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам автомобиль — и вдруг все разом увидели, и все трое испугались: шла большая ночная толпа, и у всех зажжённые свечи, и все поют! Что ещё за демонстрация? — ИК не назначал её, и не был информирован, чего они хотят?? А шофёр сказал: да Пасха завтра. Ах Па-асха... Ну, совсем из головы.

И гордился Гиммер своим положением внефракционного, всегда неповторимо одиночного (его излюбленный приём был — агитация по кулуарам, поодиночке — и так он готовил себе сторонников перед голосованием). Но уже охватывала и тоска: да почему же он такой роково-неповторимый и совсем уже отдельный? Нель-

зя вести борьбу дальше без прочных союзников — с кем-то надо соединиться. Вот со Стекловым не получалось никак. Очень бы хотелось блокироваться с Каменевым, и чаще всего совпадали с ним установки, но Каменев недостаточно боевой. А беда, что среди революционеров редко кто добросовестно занимается революционно-социалистической культурой. Каменев как раз занимался ею, тем и был симпатичен, остальные большевики — никуда не годились. А вне большевиков Лурье, Шехтер — боевые, но недостаточный уровень, тем более Кротовский. А Эрлих, Рафес, Канторович — социал-предатели. Искать в эсерах? (Они теперь сильно ослабли.) Александрович — исключительно боевой, просто гневный кипяток, но в теории лыка не вяжет, и выступать не умеет, и только всё грозит: «А вот приедет на них Гоц! А вот — приедет Чернов!» Ну, приехал вот Гоц — и что? Разве младший брат Гоц похож на своего бессмертного старшего? Никакой он не теоретик, никакой самостоятельной мысли, ни малейших ресурсов вождя, выступления его безсодержательны, а так, техник, организатор. А вот — приехал Дан, и доизбран в ИК. Связывал Гиммер и с ним надежды — всё-таки выдающийся представитель в Интернационале, и вся жизнь его слита с социал-демократией, и верный классовый инстинкт, и теоретическая мысль, хотя, надо признаться, писатель не блестящий, и оратор не первоклассный. Но — рассказывает, что он из родоначальников меньшевизма и столп ликвидаторства. Из сибирской ссылки выглядел интернационалистом, а приехал — и в ИК сразу укрепил Церетели. Нет людей!

Объективный тон в Исполнительном Комитете становился всё неблагоприятней. Маленькая решительная циммервальдская группа — сам Гиммер, Стеков и ещё человека два, начавших революционный курс Совета, вот уже были оттеснены и не направляли советской политики. Отцвёл светлый период половины марта, когда господствовала революционная линия. Состав ИК всё расплывался в мелкобуржуазную сторону и метался между пролетариатом и плутократией, верх брало интеллигентски-обывательское большинство, *правые мамелюки*, как обозвали их Гиммер с Лурье. Можно ли было в февральские пламенные дни ожидать такого коварного поворота, что наедут свои же оборонцы и построят над Советом мелкобуржуазную соглашательскую диктатуру, толкающую революцию в болото? Вместо ожидаемой капитуляции цензового правительства перед Советом — капитулировала революционная политика Совета?

А надвигалось — и ещё опасней: в последний вечер марта на Финляндском вокзале встречали из-за границы Плеханова. Очень-очень опасался Гиммер вреднейшей роли оппортуниста и социал-патриота Плеханова в дальнейших событиях нашей революции! И — чужд был торжеству его встречи, не поехал на вокзал с другими членами ИК. Но тут же самого разобрало любопытство: как же всё-таки не посмотреть? И — поехал в Народный Дом на Кронверкском, куда Плеханова должны были привезти с вокзала. Из-за этого приезда не было в тот вечер делового заседания советского Совещания, однако чтобы чем-то занять приехавших делегатов и петербургский Совет — собрали их в большом зале Народного Дома, Чхеидзе и Церетели провозгласили им грядущее победное шествие мировой революции, после чего вожди уехали на вокзал, а на сцене в президиуме осталось несколько безымянных солдат — и потёк бесконечный ряд приветствий от неумытых, из провинции, из воинских частей, и от поляков, и от казаков, от латышей, евреев, эстонцев, — всем уже надоевших приветствий, заболтались, кому что в голову вскочит, шёл час за часом, и ничего не случилось. Гиммер сидел зрителем в зале. Уже начались и нетерпеливые возгласы против ИК: зачем их сюда собрали? А поезд ещё опоздал, и на вокзале было много приветствий от вождей — старейшему вождю, а тут — всё тянулись и тянулись дежурные приветствия. А потом с вокзала все члены ИК поехали по домам, а сюда, в собрание, Плеханова привёз один Чхеидзе, сам спотыкаясь от усталости. Вывел старика из-за декораций и представил его: изгнанник! теперь завершит дело освобождения России! — и поднялась шумная овация, а потом стихла внимательно, — и весь этот зал, Советы столицы, провинции и армии — Плеханов мог взять одной энергичной речью вождя. И много бы напортил потом. Затаив дыхание, ждали, что скажет старик. А он, измученный, неподвижно стоял в глубине сцены в шубе, как чучело, и только кланялся, и ни слова не промолвил. И тут обрадовался Гиммер: нет, не бывать Плеханову вождём, всё упущено, не годен. (Через день приводили его в Белый зал на советское совещание, и опять Чхеидзе объявлял глуповато: «Кровавый Николай хотел стать изгнанником в Англию или подальше, а мы сказали — нет, посиди, пока придет Георгий Валентинович, наш дорогой учитель, товарищ, изгнанник». И Плеханов держался за руки с западными социалистами, и слабым голосом речь произносил, — нет, никакого впечатления. Сдал, не опасен. А следом и заболел.)

А через три дня после Плеханова — да приезжал Ленин!

Вот тут у Гиммера заколотилось сердце невыносимо. Как он ни разногласил порою с Лениным, как тот ни поносил Гиммера «пустейшим болтуном, каких много в наших буржуазных гостиных», впрочем, помягчел за войну — «один из лучших представителей мелкой буржуазии», — но так был крепок в Ленине левоциммервальдский ветер, такой был в нём несравненный революционный напор, — затаённо мечтал Гиммер именно в Ленине найти себе крепчайшего союзника! А тут ожидалась отвратительная буржуазная кампания против Ленина за проезд его через Германию, и готовился Гиммер в своей начинаемой с Горьким газете дать отпор этим патристическим лавочникам, этому морю обывательской пошлости из бульварных газет: а ч т о оставалось Ленину делать? а к а к и е у него оставались пути на родину — по милости Милюкова, заблокировавшего союзные границы антивоенным революционерам? перед грязной политикой слуг союзного капитала совесть эмигрантов остаётся чиста!

Снова отправлялся на встречу президиум ИК, Чхеидзе и Скобелев, а Гиммера не взяли. Но Ленина-то он хотел встречать непременно! — и поехал на вокзал сам по себе.

Площадь перед Финляндским вокзалом переполняла необъятная толпа, еле пропускала трамваи, а уж больше никого. Масса красных знамён и расшитое золотом большое знамя ЦК РСДРП. Выстроены воинские части, и немало, это не разрозненные солдаты, как-то сумели их привести большевики, мастера организации. В разных местах площади играли оркестры, урчали-пыхтели многочисленные автомобили и даже два-три пугающих корпуса броневиков, — а с Симбирской улицы выезжало ещё новое светящее чудище: прожектор (первый раз в жизни видел Гиммер на ходу), — ехал, покачивался и высвечивал полосы крыш, домов, столбов, проволок, трамваев и человеческих фигур.

А дальше — всё строже большевицкий распорядок, и в вокзал пускали не всех, много проверок на дверях, и на перрон не всех, и почти никого в парадные царские комнаты. На перроне под навесом построили несколько арок и оплели их красным с золотом, и свисали флаги, надписи, лозунги. Двумя шеренгами стояли матросы, готовые взять на караул, а в конце платформы, где ждали вагона, — оркестр и члены ЦК и ПК с цветами. А несколько главных выехали и вперёд, встречать в Белоострове.

Это всё они правильно устроили: тем триумфальной надо было встретить Ленина, что его будут поносить за проезд через Германию.

Предъявляя членское удостоверение ИК, Гиммер сумел всё осмотреть, проникнуть повсюду, а затем и в царские комнаты, единственный тут некомандированный исполкомец. На днях потерявший сына Чхеидзе сидел понуро-потерянно, дремля, вечно весёлый Скобелев как всегда сиял и шутил. А Церетели — вообще отказался приехать, из принципа.

Поезд в этот раз опоздал ещё больше, долго ждали. Но вот подошли фонари паровоза, с дальнего конца перрона раздалась марсельеза, приветственные крики — и оттуда сюда пошли, пошли под музыку, между шпалерами, не различить, но со многими цветами. А впереди сутился Шляпников как церемониймейстер: «Позвольте, товарищи, позвольте!.. Дайте, товарищи, дорогу!.. Дайте же дорогу!» Чхеидзе и Скобелев стали в позы посреди царской комнаты.

Крепкие парни донесли Ленина на руках до самого входа. А сюда Ленин даже не вошёл, а семеняще вбежал, как будто не с поезда, а на поезд, в круглой чёрной шляпе, — и Коллонтай поднесла ему красный роскошный букет. Ещё за ним вошли десятка три, один молодой курчавый мешковатый, сунули и тому букет, но много меньше, — и большевики заперли входную дверь, не пуская с перрона лишнюю публику. А дверь от вокзала и так заперта, только она стеклянная широкая двустворчатая, и через неё глазели многие, впритыску.

На середине комнаты Ленин, в порыве движения, почти наткнулся на Чхеидзе, неожиданное препятствие, и остановился. Может быть, узнав Чхеидзе, клятого им уже много лет, он не задержался бы, — но Чхеидзе, в своей глубокой утрюмости, начал приветственную речь. Однако радостных слов там было мало, а уже с третьей фразы зазвучало, что для защиты революции необходимо не разъединение, а сплочение рядов демократии, идти сомкнутыми рядами, и Исполнительный Комитет надеется, что эти цели разделяет и приветствуемый.

А Ленин, сильно возбуждённый встречей, даже из приличия не внял этому нравоучению ни минуты, даже не смотрел на Чхеидзе, а уверенно покрутил быстрой головой, поправил цветы в букете, глянул на лепной потолок, на стоящих в этой комнате, ища аудито-

рию, и, кое-кого всё же тут насчитав, а ещё любопытных за стеклянной дверью, ответил им:

— Дорогие товарищи солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице передовой отряд всемирной пролетарской армии! Грабительская империалистическая война есть начало гражданской войны по всей Европе. Заря всемирной социалистической революции уже загорелась! Да здравствует социалистическая революция!

Гиммер так и задрожал: как же он сам, в своих будничных хлопотах по российской революции, пропустил этот всеевропейский процесс? Как будто пламя поднесли к самому лицу: как? уже загорается и повсюду? Ош-ш-шеломительно! И как же это по-циммервальдски! Оч-чень, оч-чень...

Но на этом речь и кончилась, никакие события тут не развернулись, Ленин и на копейку не оказал внимания Исполнительному Комитету (и Гиммера не заметил, не отличил) — а уже распахиwali перед ним дальше стеклянные двери — и он нёсся на парадное крыльцо, и дальше туда на площадь, под тысячные крики, несколько оркестров и прожекторы.

Как комета пронёсся Ленин! Как комета! — и совершенно зачаровал Гиммера, и увлёк за собою в хвост, уже в самый последний хвост, позади всех, никакой речи, никакого приезда уже не свидетелем, а только литься, литься в самом конце процессии — впрочем, на ту же Петербургскую сторону, где и сам жил. Но и от Троицкой площади Гиммер не повернул к себе на Карповку, а пошagal до самого дворца Кшесинской, сиявшего огнями, даже снаружи иллюминированного и со многими красными знамёнами, а с балкона охрипший Ленин договаривал уже не первую речь:

— ...истребление народов ради наживы эксплуататоров... Защита отечества — фальшивый лозунг, это защита одних капиталистов против других.

Ах, как прямо, как оголённо, как безстрашно! Святые истины о войне, и без всяких прикрытий! Но и — как же недипломатично, даже топорно. Да! Так можно быстро двинуть солдатскую массу к сознательности — но и можно вызвать на себя резкий отпор шовинизма.

И потянуло Гиммера дальше — ещё, ещё присмотреться, прикоснуться.

У калитки дома стояло двое рабочих-здоровяков, стражами. А третий спрашивал, поглядывал, соображал, кого пустить, с раз-

бором. Предъявил Гиммер членский билет ИК — впустили. Там дальше — знакомые большевики по Исполкому (а мешковатый приехавший оказался Зиновьев), представили возбуждённому Ленину — и он по фамилии узнал: «А, Гиммер-Суханов, как же, как же, полемизировали!» — и даже позвали на второй этаж пить чай с большевицкими генералами (не всякого бы члена ИК пригласили, не всякого). И всё лучше становилось Гиммеру среди них, рядом с победно озарённым Лениным, — и сам себя он щупал, не верил: не сон ли это? Да может и кончаются его агасферские скитания. А что? — с большевиками, и особенно с симпатичным Камневым, у него совсем не много расхождений, не в главном, и почти всегда они голосуют вместе. За чаем Ленин, не стесняясь в выражениях, нападал на Исполнительный Комитет, на всю советскую линию, — так после Манифеста 14 марта она только изгибалась вправо, и того заслуживала. Особенно Ленин нападал на Церетели, Чхеидзе, и это верно, и на Стеклова, что уже несправедливо, называя его «отъявленным социал-лакеем». Между тем торопили кончать чай, на первом этаже собралось около двухсот большевиков — петербургских и с советского Совещания, — хотели ещё приветствовать Ленина и ожидали политической беседы с ним. Втиснулся туда и Гиммер. И была — не беседа, но целая речь, видно хорошо заготовленная, отработанная, каждый элемент давно отстоялся в Ленине, он защищал его не раз, а теперь наносил с готовым сокрушающим напором. И — какая же речь!..

Большевики только слушали зачарованно, разинув рты. А на маленькую голову Гиммера, прикрытую войлоком волос, вся мощь речи, по её первизне, обрушилась камнепадом. Он был совершенно аффрапирован. Даже он! — даже он не успевал схватывать всех поворотов, и потом, ночными улицами бредя к себе домой, тёр голову, пытался очнуться и собрать возражения.

Громоподобная речь! Изю всех логовищ поднялись стихии, дух всесокрушения, не ведая сомнений и мелких людских трудностей. Всемирная социалистическая революция готова разразиться со дня на день. Кризис империализма может быть разрешён только социализмом и только гражданской войной. Оппортунисты Совета, *революционные оборонцы*, ничего не могут реального сделать для всеобщего мира. (Ленин и их отбрасывал целиком во вражеский стан! — кружилась голова.) Манифест 14 марта хвастает «революционной силой демократии», — какая же это сила, когда во главе России поставлена империалистическая буржуазия? Мани-

фестами капитал не свергнешь. (Он и гиммеровский Манифест погребал под теми же обломками!) Какая же это свобода, если тайные договора до сих пор не опубликованы? Какая же свобода печати, если в руках буржуазии оставлены типографские средства? Совет — только называется «рабочих депутатов», но руководится социал-патриотами, слугами буржуазии. Прежде всего надо сделать Совет из мелкобуржуазного — пролетарским, и тогда не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии, и даже не надо никакого правительства, а будет у нас республика Советов рабочих, солдатских и *батрацких* депутатов! (Крестьянских — вообще не назвал, и это сильная мысль!) И так — валились умопомрачительные фрагменты. Земля? — «организованный захват» немедленно повсюду. Заводы? — вооружённые рабочие будут и стоять у станков, и руководить производством. И — свирепо громил социалистов Европы, даже тех, кто и борется, но слабо, против своей буржуазии, даже и правых циммервальдийцев: только *левые* циммервальдийцы стоят на страже пролетарских интересов и всемирной революции, все остальные — предатели рабочего класса! и само имя социал-демократии теперь запятнано предательством!

Заплетая слабыми ногами, брёл Гиммер по пустынному ночному Каменноостровскому. «Республика Советов» — что это значит? Система свободных общин? И куда девать это идиотское крестьянство? Сумеют ли, ой, сумеют ли рабочие и батрацкие Советы против воли большинства населения устроить социализм? Нашей мелкобуржуазной структуре, крестьянской раздробленной отсталости — как дожидаться мировой социалистической революции? Да, конечно! — Ленин тысячу раз прав, что грядёт мировая революция, — но абстрактное её прокламирование, без практического употребления в сегодняшней политике, только путает все реальные перспективы, и даже вредит. И даже крайне вредит. Захватывающая смелость, что Ленин совсем не считается с социал-демократической программой. Но он и не доказал, что понимает практическое положение дел в стране. И нет в его речи конкретного анализа социально-экономических условий для социализма в России. Да позвольте, да даже нет вообще экономической программы? А как же без неё?.. Нет, стать союзником Ленина невозможно: он перемахивает все разумные границы.

Нет, не годится Гиммер ни в какую партию, он — слишком лавровская, «критически мыслящая личность».

А на другой день, 4 апреля, ему досталось прослушать эту речь ещё раз: пока не разъехались участники Совещания, в Таврическом было назначено давно ожидавшееся объединительное заседание социал-демократов — большевиков, всех оттенков меньшевиков и внефракционных, с целью воссоздать единую с-д партию, где от большевиков намечено было выступать Джугашвили. А теперь, разумеется, Ленин с разгону ринулся туда. Не кончилось бы Совещание — он выпыхнул бы это всё Совещанию, но теперь ещё сардоничнее получилось: на *объединительное* заседание его вынесло с непримиримо раскольничьей речью, с худшим расколом партии, чем когда-нибудь был до сих пор за 16 лет, — и тем непримиримее он швырял фразы, чем резче была реакция собравшихся.

Бедный Гольденберг, больше всех хлопотавший объединять социал-демократов, чуть не плакал от всеоплёвывающей речи Ленина. Социал-демократы в думском Полуциркульном зале, сперва ошеломлённые, потом стали перебивать, протестовать, негодовать — «бред сумасшедшего! демагогия!», а большевики аплодировали тем громче, а разъярённый Богданов кричал им: «Стыдно аплодировать галиматье, вы позорите себя! — ведь вы марксисты!» Порядок дня *объединения* весь пошёл насмарку, все остальные выступали только в споре с Лениным — Дан, Войтинский, Лурье, Юдин. Церетели горячо убеждал, что если б захватили власть в первые дни, то уже теперь были бы разгромлены; надо исходить не из того, что можно захватить, а что можно закрепить. А расторжение договоров с союзниками привело бы к разгрому Интернационала. Гольденберг объявил, что Ленин выставил свою кандидатуру на 30 лет пустующий трон Бакунина, изжитки примитивного анархизма, скачок в откровенную анархию, и поднял знамя гражданской войны внутри самой социал-демократии. Стеклов высказал, и Гиммер так думал: что русская революция прошла мимо Ленина, но когда он познакомится с положением дел в России, то сам откажется от своих построений. (Гиммер не хотел выступать против Ленина, но думал: безусловно, в атмосфере реальной борьбы Ленин быстро акклиматизируется и выбросит большую часть анархистского бреда.) В ответ из большевиков выступала только одна Коллонтай, встреченная смехом и издевательствами, Ленин от заключительного слова и ответов на возражения отказался (это и всегда его слабость — прямой устный спор, без заготовки). А в кулуарах большевики пощёпывали: да, абстрактно мыслит Ильич, пожалуй к вам мы ближе, чем к нему. Но вслух — не смели.

А полтора десятка большевиков — и с собрания демонстративно ушли, возмущаясь Лениным.

Но — и это же ещё не все возвраты видных эмигрантов! — через пять дней на Финляндском встречали и Чернова — лидера эсеров. Гиммер пошёл и сюда.

Ну, эсеровская встреча отставала от большевицкой по организации и по пышности. Хотя были на площади и войсковые части, и рабочие колонны, и на платформах шеститонных автомобилей толпилась молодёжь, но порядка меньше, и не было прожекторов; на перроне на тех же готовых арках заменили большевицкие лозунги на «землю и волю» и «в борьбе обретёшь ты право своё». Правда, на встречу приехал Керенский (и адъютанты кричали перед ним: «Граждане! Дорогу министру юстиции!»), но поезд ещё сильнее опоздал, и Керенский не дождался, оставил за себя Зензинова. Царские комнаты были переполнены, вход свободен, и очень интеллигентный состав публики. Масса была желающих ораторов, приветствовать вождя эсеров, и тут создавалась импровизированная комиссия — кому дать слово, кому нет, и вокруг неё шум и препирательства.

Чернов появился жизнерадостный, непрерывно улыбаясь во все стороны улыбкой сильного человека, вот и с огромным букетом, — и под клики и марсельезу еле протиснулся через толпу в царские комнаты. Пока произносили ему первую речь от партии — досмотрелся Гиммер в завороте толпы, что с ним вместе приехали (об этом заранее не объявлялось) старый Дейч (весьма соглашательская фигура, опасная давним авторитетом, будет подкреплять Плеханова), Фундаминский, Авксентьев и ещё какая-то подтянутая англазированная фигура (оказался Савинков). Что же делать? *Этих* — он и не полномочен приветствовать от ИК, и сам не хотел, и решил обращаться к одному Чернову. А приветствие (пришлось назвать «великим теоретиком социализма из самых недр революции») Гиммер заострил по-боевому, самое нужное: как ценят в ИК заслуги Чернова в отстаивании *интернационального* социализма (понимай — Циммервальда), и что сейчас в революции эти позиции *в жестокой опасности* — и отстоим их от внешних и *внутренних* врагов! А Чернов охотно стал отвечать, и отвечал так длинно, что все тут, в тесноте, изнурились. И притом выявил странную повадку жеманничать и закатывать глаза. Потом вышли на рёв площади, была речь на площади (из автомобиля, стоя), и поехала головка эсеров (сопровождаемая броневики-

ми) в штаб-квартиру на Галерной, и наверняка не для грозно-программной речи, а хорошо повеселиться, в стиле своего плотоядного вождя.

Но насколько Гиммер был сотрясён крайним раскольниковством Ленина, настолько он был разочарован, что Чернов уж и вовсе не собирался никого раскалывать, а — объединять всех народников. Как, ещё и эту плесень лепить к Циммервальду? Впрочем, кажется, Чернов больше напускал на себя оптимизма и самоуверенности, чем было у него.

Отчаянье! — первому теоретику ИК не было ни союзников, ни приложения сил. Теперь он решил перенести их в свою газету, «Новую жизнь», которую вот-вот, на днях, начнёт выпускать, не столько вместе с Горьким, сколько прикрываясь его громким именем, — и близко к «Правде», но не сливаясь с ней, прочертит истинную огненную трассу революции. И одновременно — культурнейшие имена: Ромен Роллан, Бенуа, Луначарский...

(Не надо забывать и своего научного уровня, что не в компанию же он с серой партийной исполкомовской братией. Тут как раз, на днях, задумали торжественно открыть всероссийскую Ассоциацию Положительных Знаний, собирали учёных, писателей, фигуры, позвали и Гиммера. И он держал речь. Сперва для скромности оговорился: «конечно, не нам, чернорабочим культуры», а потом уже и прямо развернул перед учёными программу революции:

— Рабочее движение и борьба демократии меньше всего руководятся идеалом благосостояния, и не заботятся о том, чтобы каждый имел курицу в супе, — но к освобождению человечества и введению его в царство духовной свободы.)

7

Странно связала судьба Сашу Ленартовича с особняком Кшесинской: он из самых первых побывал тут, ещё по неостывшим следам убежавшей хозяйки, — а с того большевицкого совещания в залике с фонтаном всё чаще сюда заходил и уже стал тут своим человеком. (А в управление кавалерии вовсе перестал ходить: за март ещё получил жалованье, а за апрель, может быть, уже и неудобно, хотя многие так делают.) Не тем чувством он был движим, как теперь модно: любой врач или адвокат, обросший буржуазным

жирком, вдруг заявляет, что всегда был за свободу и даже пострадал в молодости, и переходит из кадетов в народные социалисты, лишь бы звучало слово «социализм». Нет, от самого 27 февраля, когда он штурмовал полицейские участки, Саша хотел в революцию действовать, действовать, действовать! для чего же и ждал революции, для чего и жил?! Но это в прежние годы — одиночки, как дядя Антон, могли бороться ярко. А теперь одиночка ничего заметного совершить не может, надо быть — в строю. А ни в каком батальоне Ленартович не состоял, из «офицеров-республиканцев» ничего не вышло, оставалась — политическая партия? Но и партии все какие-то квёлые, а действенные — вот только большевики. И хребет их — крепче, чем у междоусобиц.

Хребет состоял — в двух десятках напористых безстрашных, даже и молодых, как Соломон Рошаль, Саша восхищался им: студент — а отчаянно повёл за собой морскую крепость и базу флота! А вождь большевиков, Лев Борисович Каменев, напротив — умница, равновесный, вдумчивый и очень милый. Он побеседовал с Сашей однажды полчаса — и совершенно покорило сердце, хотя и не во всём убедил. При личной беседе больше казалось, что у Каменева всё согласовано безукоризненно. Когда же он выступал публично (несколько раз на Совещании Советов, Саша был там на хорах) — то, может быть, от нетерпеливых возгласов противников, а может быть, от свойства всякого публичного выступления — мелкие штрихи противоречий раздвигались, растягивались, как на раздуваемом воздушном шарике, и были видней. Несколько главных сомнений у Саши так и оставались.

Во-первых, о войне. Каменев казался недостаточно категоричен, что проклятую эту войну надо кончить как можно скорей и решительней, — хотя и ни разу не высловился, что её допустимо продолжать. Предлагал давить на Временное правительство, чтоб оно склоняло все воюющие стороны открыть переговоры, — но разве так когда-нибудь дождёшься? И в ответ называли Каменева благодушным мечтателем, чей сон золотой разбудит грохот немецких орудий. Нет! Саша рвался к последней решительности, к огненной идее, как взывали некоторые: перебросить через фронты факел всеобщего восстания! — и только так мы с войной покончим!

Во-вторых, о Временном правительстве. Хотя Каменев не соглашался с нетерпеливцами, что надо правительство скорей, сейчас же, непременно свергать, но и доброго слова о нём он не ска-

зал ни одного, а: что оно классово враждебно, и ни одной личности в нём мы не доверяем, и ни движением не поддержим, и ни за что не войдём, и будем всячески его контролировать, — да как же тогда правительству и править? А между тем это наше первое революционное правительство, наше главное завоевание! Вместо того предлагал спланировать вокруг Совета — но Совет же не правительство! «Пролетариат должен прийти к власти» — ещё и эта мысль была Саше сильно неясна. Из рабочего класса выдували какое-то новое «Его Величество», о котором нельзя даже критически выразиться. И это было доказательством известной истины исторического материализма, что формы мышления консервативны и отстают от форм бытия.

Но что б ни оставалось недояснённого — а спокойное достоинство, тактичность и ум Каменева несравнимо возвышали его над экспансивным простоватым Шляпниковым, медлительно-туповатым Сталиным, а о Муранове стыдно даже упоминать.

И что ж нужно было думать теперь о Ленине? Большевики, гордо преданные своему заграничному центру, напряжённо ждали приезда Ленина, все с надеждой, но некоторые и настороженно. На том же Совещании Советов Ногин огласил телеграмму Ленина из Швейцарии, что Англия ни за что не пропустит ни его, ни других интернационалистов, что русская пролетарская революция не имеет злейшего врага, чем английские империалисты и их приказчики, они пойдут на любой обман и подлость. И вдруг утром 3 апреля полной неожиданностью пришла в особняк Кшесинской новость, что есть телеграмма с дороги из Швеции — и Ленин со спутниками прибывает в Петроград сегодня же, поздно вечером. Потрясающе! Как же удалось ему внезапно вырваться, обмануть англичан и перенестись как по воздуху?? Из частных негромких разговоров Саша узнал: проехал через Германию. Некоторые сильно от этого забеспокоились: как это будет воспринято массами? обществом? А Саша — нисколько: молодец! правильно! Он воображал это жгучее ленинское нетерпение — слышался о его характере, — правильно! какие расчёты о границах, о правительствах, когда пришёл час кончать всю войну вообще! И вот он огненным метеором летел к нам!

Узнали утром в понедельник — а ведь это был второй день Пасхи, не выходили газеты, и никто нигде не работал, даже объявления не напечатаете в типографии, и поздно, — а решил штаб большевиков, что надо устроить многолюдную пышную встре-

чу, — и как же собрать людей? Разослали гонцов по Выборгской, по Невской, Петербургской сторонам, по Васильевскому — собирать людей объездом. По телефону сообщили в Кронштадт — те ответили, что вот-вот начнётся ледоход, но всё же малую делегацию пришлют. А ведь во всех казармах тоже Пасха — не соберёшь отрядов, не приведёшь! Мичман Ильин, со страшной кличкой Родиона Раскольникова, взялся добыть моряков — и действительно привёл на вокзал отряд из 2-го флотского экипажа. А Ленартовича послали в Петропавловку, как уже бывавшего там. И там в разговорах гениально догадались: двинуть на встречу прожекторную роту крепости — два прожектора к вокзалу, два по пути следования до Троицкой площади, остальные с башен крепости осветят Троицкую площадь навстречу приезжающим. Три броневики, из квартирующих во дворе Кшесинской, тоже поехали. Перед вечером хлынул ливень и всех бы охотников мог сорвать — но кончился, а собираться надо было к одиннадцати вечера, успели. Рабочие пришли некоторые с винтовками, несколько тысяч сгустилось на площади, а прожекторы шарили лучами по темнооблачному небу и по вокзалу. Экспромтом сочинили встречу, а здорово удалась!

Саша не пошёл на перрон, остался на площади, при прожекторах. В толпе многие и не знали, кто такой Ленин, но ждали — вот выйдет! А когда стали выходить на вокзальные ступеньки — из отряда рабочей милиции поднимали винтовки в воздух. Ленин, хотя встал на сиденье автомобиля говорить речь, но не было его видно. И тогда посадили его на крышу броневишка. Тут Саша был недалеко, он слышал и видел освещённого Ленина отлично.

Он ждал Ленина с доверием — а первым взглядом был разочарован: какой-то плюгавый, вертлявый, руками всё время размахивает, и голос плоский. Но что он выкрикивал!

— ...приветствовать вас, кто представляет здесь победоносную революцию, вас, кто является авангардом всемирной пролетарской армии! Мы — на пороге всевропейской гражданской войны! Недалёк тот час, когда германский народ услышит призыв нашего товарища Карла Либкнехта и повернёт штыки против своих эксплуататоров! Германия — уже в брожении!

Потрясающе! Он-то — прямо оттуда, он знает, что говорит! Так это — исполнение мечты!

— Гибель всего европейского капитализма может наступить ежедневно, если не сегодня, то завтра. Русская революция, которую вы совершили, нанесла первый удар по капитализму и откры-

вает новую эпоху! Да здравствует мировая социалистическая революция!!

Открывался самый верный путь конца Мировой войны! Наконец дошло и до сознания европейских масс!

Кто расслышал, кто не расслышал, кричали «ура», ещё поднимали винтовки, спустился Ленин в автомобиль и поехал медленно, за ним повалила в улицу толпа, и броневики медленно тронулись, а прожекторы покачивали свои слепящие света.

И многие дошли до Кшесинской, запрудили всю улицу, полплощади, и ждали новую речь — и Ленин, без шапки, почти лысый, выходил на балкончик второго этажа и оттуда выкрикивал всё то же, порубливая в воздухе правой рукой, как лопаткой. С ним выходил на балкон и поспевший Рошаль в студенческой фуражке и матросском бушлате и кричал от кронштадтцев «ура».

А потом, после чаепития старших на втором этаже, все вожди спустились на первый этаж в беломраморный залик с роялем около зимнего сада. Плафоны, вазы, лепные орнаменты — а тут натасканы были вместо белошёлковой мебели балерины примитивные стулья, скамьи, и кое-как втиснулось человек полтора десятка большевиков. И все они с преданностью (большей, чем у Саши) слушали речь вождя.

А Саша вблизи и при отчётливом свете ещё больше разочаровался в Ленине: уж такой негероический, непредставительный, и ещё картавит, и глаза, брови, губы почему-то монгольские, а купол болезненно-неравновесный, и какие-то корявые, неровные порченные зубы, — но что-то более сильное и горячее, чем сам Ленин, дуло через него как через трубу — и подхватывало лететь! И не страсть в голосе, нет, а как будто неотклонимо шла и прокладывала себе дорогу какая-то мощная машина. Украс красноречия никаких, а только напор на слушателей. Против войны — у него было всё замечательно, и обещание немедленной мировой революции более всего вскидывало в вихрь. Но что он нёс про власть? Захватывать её должны были пролетариат и беднейшее крестьянство в первые же дни, сами себя испугались. А теперь — никаким Милюковым-Гучковым не верить, и даже бессмысленно их убеждать в чём-нибудь, они капиталисты, они своими миллиардами душат всенародную жизнь. Нечего поздравлять друг друга с безкровной революцией — революция не фейерверк, а смертельная борьба против эксплуататоров. Предстоит война против паразитических классов. Про «правительство капиталистов» то са-

мое, что до сих пор вякали только дикари из выборгского райкома, — а он ещё резче их и непримиримей, — да что ж это будет, если сейчас свергать правительство? и всё *захватывать*? «начинать с банков — и так толкать человечество вперёд!» — так будет полная анархия и конец революции! А самое удивительное: ни в коем случае не объединяться ни с какими социалистами! — и даже готов оратор немедленно разорвать с теми тут, кто захочет объединяться! Какое-то безумие: зачем же раскалывать и раскалывать наши силы?

Это, конечно, более всех било по Каменеву. Однако он сидел вполне невозмутимый. А в заключение, уже в три часа ночи, резюмировал очень тактично: мы можем быть согласны или не согласны с докладчиком, но вернулся гениальный и признанный вождь нашей партии — и вместе с ним мы пойдём к социализму.

Сашина голова горела. Такой ночи он ещё не переживал. Травить Милокова? Но это игра на тёмных инстинктах, а Милоков — гордость России. Дикое смещение находок и ошибок. Звал на немедленный крупный прыжок — и безо всякой опоры. Его бешеная энергия, крепкая сцепка — увлекала. Но программа его и картина будущего всё же не понимались отчётливо. Саша видел; тяжёлое недоумение разлито и на многих лицах. Так что, предстояла борьба внутри партии? Каменев сказал конфиденциально: убеждён, что Ленин три дня в России пробудет — и мнения свои переменит.

У рядовых большевиков возникла растерянность: все привыкли, что Ленин — лидер, и как же остаться без него, как оторвать голову? Выскажешься против Ленина — назовут меньшевиком, оппортунистом. Новый раскол партии сейчас — это гибель её. А он ещё и ещё повторял: если протянете хоть палец оборонцам — это будет измена международному социализму. Объединение с ними — это предательство, если так — нам с вами не по пути и лучше останусь в меньшинстве. Вообще выбросить социал-демократическую вывеску как грязное бельё и назвать себя партией коммунистической.

На другой день в Таврическом, говорят, его поддержала одна только красавица Коллонтай. (Даже неестественно, что именно у неё и именно все точно такие мысли. Через пару дней враги пустили стишок: «Что там Ленин ни болтай — с ним согласна Коллонтай».)

Какая сцепка была между фразами Ленина — такая сцепка день ото дня укреплялась и между большевиками. Саша продолжал бывать часто у Кшесинской. Поразительно, для них не так было и важно осознать правоту или неправоту отдельных ленинских мыслей: у них тут считалось важней — действовать, и дружно заодно.

Это очень неприятно пожимало Сашу: такая нетребовательность? неосмысленная отданность? А с другой стороны — он же и искал крепкого строя. А крепкий строй без этого не получается.

Ну, ещё можно будет присматриваться.

Как завоёвывать Петроград? Головка решила, что слишком мало нас, чтобы растекаться по городу, только на Выборгской стороне наше преимущество. А — никуда не ходить, открыть перманентный митинг здесь, у особняка, с балкона, а слушатели сами будут притекать, улица к площади расширяется, места для желающих хватит. Укрепили на балконе дома красный флаг с золотой надписью ПК-ЦК РСДРП, задрапировали красной тканью окна зимнего сада. У особняка-палаццо — весёлый игривый вид, женственная узорочная решётка. Весенний запах почек. Вблизи необычно высятся минарет и фаянсовый купол мечети, а по другую сторону — Петропавловская крепость. Близко дышит Нева. И каждый целый день насквозь и глубоко в вечер — митинг, митинг, речи, речи с балкона, — «ленинский Гайд-парк», хорошенькое местечко, зубоскалит «Русская воля».

Публика собирается самая разношерстная — и простонародье, и солдаты, раненные из госпиталей, и городская обывательщина, и барская, в дорогих воротниках и шляпах, и дамы, и младшие офицеры, всем любопытно, на это и расчёт, а то затешется дьякон в рясе и кричит снизу вверх: «Львов — кадетский ставленник! Мы, духовенство, желаем послать делегатов в Совет рабочих депутатов!» И больше — тихо слушают, и охотно верят: «И хорошо, что не морем поехал, а то б утопили». Женщина в чёрной кружевной косынке: «А я и не знала, что Англия такая коварная нация». А если из толпы крикнет кто, обработанный газетной травлей: «Всё ты врёшь, немецкая пломба!» — с балкона энергично: «Дождутся и газетчики короткого расчёта! Пусть не подстрекают солдат против рабочих!»

Днём — толпа меньше и вялая, не слишком спорит. Ей подробно разъясняют пункты программы. Жилищный вопрос? Да, по-

стройка дворцов задержится из-за нехватки железа и бетона. Но временно поможет реквизиция помещений у буржуазии. Придётся попросить потесниться тех, кто живёт слишком хорошо. (Толпе нравится, аплодисменты.) Театры будут бесплатные, не то что за Шаляпина 20 рублей. (Крики одобрения.) Налоги? — придётся, но заплатят те, кто побогаче, особенно домовладельцы.

А печёт всех — о войне. Баре из *партии народной свободы*, которые в колясках развалившись ездят, — для них счастье, что идёт война, а то б они лишились проливов. У Родзянки в Екатеринославской губернии 3 миллиона десятин. Чтоб удержать эту землю, он и хочет посылать петроградцев на фронт. Кому приятно на фронт — пусть и пожалуют туда сами! — (Солдатам нравится, это они понесут по городу.) — В России больше двух миллионов фараонов, городских, жандармов и сыщиков — вот они и пусть воюют! — (Улюлюканье.) — И пусть Гучков не пугает нас наступлением Вильгельма! Кончать войну, и никакого доверия Временному правительству!

Саша легко отделял, конечно, что тут накручено врак (полиции у нас в 5-7 раз меньше было, чем в Англии и Франции), но — но — хочешь быть в строю, так за это надо платить. Сам он тут не выступал — и не из робости, а не мог он собственным ртом выговаривать глупости и выискивать мгновенные пошлые приёмы ответов на реплики. Но он помогал всё тут организовать. Революционная дерзость во всём этом была несомненная.

Перед солдатами эффектно выступала Коллонтай, они её хорошо слушали.

— Что вам говорит правительство о земле? Предлагают ждать? Таких вещей не ждут, а берут. Вспомните примеры из Французской революции — что там делали? Отбирали землю и прикалывали помещиков. Я не предлагаю прикалывать именно всех, но...

К вечеру, уже и при фонарях, и толпа густела, человек до четырёхсот, и кричали из неё смелей, — и против них решительней приходилось действовать. На балконе всегда стоял дежурный председатель митинга и руководил. Вылез фронтовик: «В окопах нужны люди, а присылают больных, харкающих кровью, с отстреленными пальцами, — так не надо противиться отправке петроградского гарнизона на фронт!» От большевиков сейчас же отвечают: не поддавайтесь таким плаксивым жалобам! не выполнять приказ Гучкова об отправке маршевых рот! — Студент из

толпы: «А как к этому относится Совет?» — «С места не говорить, запишитесь в список ораторов». Присылает записку — её в корзину. Доверились, дали слово ефрейтору, а он понёс: «Я Георгиевский кавалер. Не будет мира, пока кайзер на троне или чтобы мир был продиктован его устами. И брат мой на фронте, и дома родителям по 60 лет, а я не кричу “долой войну”, я не хочу, чтобы немцы господствовали среди нас, вы с Лениным не восхваляйте прусских юнкеров!» — ему кричали снизу свои расставленные: «Товарищи! Арестуем его!» — и председатель тут же лишил его слова.

А то дали слово студенту, а он тоже оказался против Ленина, да ещё делано простонародным языком — «аль», «убийство», — отобрали слово и выгнали с балкона. Из толпы протестовали — председатель кричал: «Замолчать! Тут только наши будут говорить! Это — наша трибуна! Не хотите нас слушать — можете удалиться». Из толпы крикнет против Ленина — ему сразу: «А вы кто такой? Социал-буржуй? социал-провокаатор? А вот — милицию вызовем, в комиссариат хотите?» Ещё спускались вниз к своим в подкрепленье — или вытесняли такого прочь, или задерживали, вводили в дом, там ещё стояли стражи, составляли от «военной организации ЦК» протокол: «Без разрешения председателя обращался с демагогическими словами». А если ещё не унимался, то грозили арестом. Те — пугались, иногда скрывали и фамилию. (Да на Выборгской стороне уже и привыкли: там выступающих против Ленина просто бьют.) Один инженер выступил: «Ленин — не патриот!» — ему сейчас же: «Мы вынуждены составить протокол!» — и отвели на проверку в комиссариат.

Приёмы — грубые, конечно, не лучше царских, — ну а иначе и митинги эти развалятся, и всё тут. Без дисциплины — не обойтись.

И эти меры, как ни удивительно, вполне помогали: перед домом Кшесинской несогласные умолкали, а злая «Маленькая газета» Суворина так и признавалась читателям, что мимо этого особенно опасно ходить. Так и держаться!

Иногда выступал с балкона и сам Ленин, не слишком часто, но с яростью: по маленькому балкону горячо метался, жестикулировал так перевесно, что кажется, вот перевернётся через решётку. — «Не буду даже отвечать тем мерзавцам, которые кричат, что я подкуплен Германией! А мы проливаем кровь за английскую и французскую буржуазию! Говорит же Миллюков: у нас общие цели с союзниками!..» Или напрямую так: «Можно отбирать, что бур-

жуи украли у вас. Временное правительство — банда кровопийц, власть должна быть у Совета».

Всех, и Сашу, поражала эта крайность выражений. Может быть, Ленин терял равновесие мысли, так весь отдавался речи? И такой ещё жест у него появился: поднимать сжатый кулак.

Вчера, в воскресенье, собирали демонстрацию, идти против союзных посольств, примыкали и анархисты, — но сильный наряд милиции задержал на Троицком мосту.

А сама по себе боевая эта обстановка заражала Сашу, и он участвовал в ней авторитетом своего военного вида и поведения. (Поручили ему и связь со 180-м полком, на Васильевском, там уже большевицкий комитет.) Он знал, что не только буржуазные газеты стали щетиниться против Ленина, что и в университете, и на Бестужевских курсах идут о ленинской тактике горячие споры. Да, это всё не так сразу и не так ясно вмещается в голову, Саша испытал на себе. Но и усвоил уже от ленинского приезда, что правда, Милюкова-Гучкова не отделишь от продолжения войны, нет. Да и увлекательность была в этом, и обещание победы: именно в той общественной размытости, раздёрзанности, какая сейчас в Петрограде, — небольшая, но спаянная сила и с верной идеей конца войны отчего не могла бы и победить? Тут всё дело в направленном напоре. На Совещании Советов, говорят, высказывались, что Временное правительство — самозванцы. Конечно, безусловно. Ну а Исполнительный Комитет Совета — не такие же самозванцы?

И тогда — в чём меньше прав у ленинцев?

Саша был весь в порыве принять участие ещё в одном великом движении, как он уже вложил в февральские дни.

Хотя, увы, слышал, будто его соратник по штурму Мариинского дворца ротмистр Сосновский оказался переодетый уголовник. Да неужели же?

8

(Фрагменты народоправства — Петроград)

* * *

Кроме казаков, никто в Петрограде не отступился от «похорон жертв революции» — в России за тысячу лет первых похорон без креста и кадила: 900 тысяч ошеломлённо поплелись совать невиданно красные

гробы под оркестр в ямы. А казаки остались в казармах: совесть не позволяет хоронить без священников. Но уже на следующий день полилось беспокойство среди простонародья и солдат: «Ох, к беде! это — дьявол научил так хоронить! Бог покарает». И через день солдатские депутаты в Совете добились разрешения на панихиду. Позвали на Марсово поле причт из Спаса-на-Крови, отслужили.

А на Фоминой зачастили туда крестные ходы из разных церквей.

* * *

В марте дворники вовсе перестали счищать снег с улиц и не посыпали при гололедице. Посреди даже центральных улиц выросли снежные сугробы. Тогда на расчистку льда военные власти послали запасных: волынец, павловцев, преображенцев, измайловцев, гренадеров, а к железнодорожным пакгаузам — семёновцев, не то совсем прекратилась разгрузка вагонов. И на саму разгрузку — москвичей, литовцев.

Во время таянья снег, смешанный с лошадиным навозом, превратился в жижу шоколадного цвета, а высохло — улицы остались грязные. Всюду валяются бумажки, папиросные коробки, семечная шелуха. Не чищены во дворах выгребные уборные, не хватает ассенизационного обоза.

* * *

В верхних этажах стало не хватать напора воды (а раньше всегда хватало). Квартиронаниматели за то не хотят платить полной платы. Городской голова обратился с воззванием беречь воду, в нижних этажах краны забить частично свинцом, ваннами пользоваться не всем по субботам. Плата за воду будет удвоена, чтоб экономили.

Служащие водопровода потребовали от городской думы увеличения содержания на миллион рублей.

* * *

В сырости весны у булочных и пекарен такие же длинные хвосты, как и перед революцией. Занимают очередь ночью. От хлебных карточек хвосты не уменьшились: выпеченного хлеба всё равно не хватает. Выдачу в одни руки ограничили, хотя б карточек было и больше, — и тем уничтожили смысл карточек. Семья делит карточки, посылает стоять в два места. И опять идут за хлебом с Выборгской стороны на Петербургскую.

Солдаты то и дело нарушают очередь у лавок хлебных, мелочных и денатурата, выстраивают свои отдельные солдатские хвосты, они идут быстрее, а главному хвосту не достаётся. Общественное градоначальство призвало солдат помнить, что теперь все граждане равноправны. Бабы в хвостах честят солдат последними словами, что из-за их бунта только хуже стало.

* * *

В Петрограде уже с марта стало трудно увидеть солдат, которые бы на часах *стояли*: все часовые сидят на стульях, табуретках, а винтовки прислонены к стене. Идя на пост, солдат не упускает запастись семечками и папиросами.

Солдат то выводят на демонстрацию, то внутри казарм — на собрания и митинги. Улицы наполнены гуляющими солдатами. А более практичные отправляются на вольные приработки: продают газеты, семечки, заводят переносные торговые лотки, подметают улицы, идут в носильщики, в милицию.

* * *

При встрече с офицерами на петроградских улицах солдаты повально не только не отдают чести, а и не вынимают папиросы из зубов, рук из карманов. Однако всё же каждый десятый отдаёт, но от этого офицерам только хлопотней: напряжённо следить за каждым встречным солдатом и не пропустить аккуратиста. Уж проще бы — никто не отдавал.

Иные офицеры стали ходить без погонов на шинели (сохраняя только на кителе).

* * *

Красные эмблемы со многих прохожих уже исчезли. На тротуарах и лотках продаются грязные брошюры о царе, царице и их «альковных тайнах».

В журналах — фотографии, как сейчас царь чистит снег и приветливо разговаривает. Иногда с ним — две дочери.

* * *

Всё больше трамвайных вагонов выходит из строя от перегрузки и плохого ремонта. (Рабочие выгнали часть трамвайных инженеров и заведующего электростанцией тоже.) Чтобы выйти из положения, городская управа изменила традиционные, вечные петербургские маршруты: многие дальние теперь не проходят в центр. От Михайловской улицы до Знаменской площади трамваи по Невскому вовсе не будут ходить.

И ещё, для ускорения оборота, отменено 60 остановок. Впопыхах отменили и маршрут, соединявший четыре вокзала.

Так надежда на извозчиков? Но стали драть непомерно: с багажом пересечь от Балтийского вокзала до Николаевского — столько же, как за вагон 2-го класса 300 вёрст.

* * *

Во всех учреждениях служащие пренебрегают начальством, заняты болтовнёй или манифестируют на улицах.

Почта стала доставляться не 5 раз в день, как раньше, а только дважды. Утренние газеты хорошо если принесут в 11-м часу дня, а то к пяти вечера. Почтальоны принимали обычные пасхальные подношения, а сами четыре дня Пасхи не работали. Выемка из ящиков стала раза два вместо восьми. Раньше, подавая письмо или телеграмму, можно было точно знать, когда придёт. А сейчас гадай.

Так как ночью все дома́, боясь грабежа, перестали открывать на стук «телеграмма!» — прекратилась и ночная доставка телеграмм.

* * *

За эти недели Петроград по съездам перемахнул Москву, на то он и столица. Съезд кадетский. Всероссийское совещание Советов. Всероссийский учительский съезд. Съезд трудовиков. Бунда. Казачий. Женщин-врачей. Врачей Армии и Флота. Военных фармацевтов. И ещё — много чествований разного рода. И конференции мелких партий.

* * *

А к Таврическому всё текут и текут манифестации, особенно много по субботам и воскресеньям. За эти недели Таврический видел манифестации мусульман, евреев, буддистов, учителей, подмастерьев, сирот, глухонемых, фармацевтов, акушеров, проституток. Раз пришло несколько тысяч солдаток, и в Белом зале с трибуны заявили требования: увеличить вдвое паёк солдаток, уравнивать солдаток с офицерскими жёнами, а гражданских жён — с законными (получать паёк). Пришли «дворцовые гренадеры» — старики, участники русско-турецкой войны. Пришло человек 300 гимназистов (ушли с уроков), на красных полотнищах «Привет Временному Правительству» и «Пусть теперь же окончится учебный год, без экзаменов!». И какая-то звонкоголосая женщина произнесла речь за немедленный мир без аннексий и контрибуций — ей аплодировали. И кавказец из Дикой дивизии, потрясая кинжалом, обещал вышвырнуть немцев из России, не складывая оружия, — и ему аплодировали.

Ещё приходило шествие каких-то верующих, распевая псалмы. Несли красные знамёна и транспаранты, а на них: «Христос Воскресе! Да здравствует свободная церковь! Свободному народу — демократическая церковь!»

А когда, в месячину революции, пришла напомнить о себе учебная команда Волынского батальона во главе с унтером Кирпичниковым, то, по буднему дню, никак не ожидали, и встретить их никого не нашлось, кроме Рамишвили.

* * *

По городу — слухи, слухи. Что из-за развала Балтийского флота Северный фронт обнажён и немцы могут прийти в Петроград в любой час.

В населении недовольство новыми порядками растёт, но говорят между собой тихо: опасно. В состоятельных кругах ждали волшебного избавления — не приходит. Какая цена правительственным воззваниям, если в стране половина неграмотных? Хоть бы появился сильный человек — и всё бы спас! — не появляется. А некоторые даже: тогда уж немцы, что ли, бы пришли? Начинается движение: уехать куда-нибудь поспокойней — в Москву, в Киев, на юг, за границу. Меньше, кто переводит в Европу капиталы, а то поздно будет. Другие считают это низостью.

* * *

3-м классом железной дороги выехать ещё можно, особенно на Москву. Но на 1-й и 2-й класс и спальные плацкарты на Николаевском и Виндавском вокзалах — многодневная очередь, переключки утром и вечером. На городской станции на Большой Конюшенной очередь больше 5 тысяч, надо стоять несколько дней (от городской управы охрана и разрешены ночные костры). В середине апреля стали выдавать не билеты, а только талоны на покупку билетов на первую половину мая. Спальные плацкарты вообще отменили, заменили сидячими.

Стали уезжать на крышах вагонов — и на Московско-Виндавской в 100 верстах несколько человек сорвались, разбились насмерть.

* * *

Заводчики оплатили рабочим за все революционные дни, за день похорон жертв, взяли на себя оплату рабочих на выборных должностях — в советах депутатов, продовольственных комитетах, заводской милиции. Но новые требования: повысить заработок в 4 и в 5 раз. На «Треугольнике» требуют 6-часового рабочего дня и приплаты за все минувшие годы войны.

На всех заводских проходных отменили обыски.

* * *

Стали с фронта приезжать солдатские делегации и ходить по заводам, проверять, как работают. Рабочие сильно сменили тон: готовы работать и по 14 часов, да вот не хватает сырья и топлива. Правда, солдат на заводе и обмануть нетрудно: не понимают.

А солдаты Финляндского запасного батальона, наоборот, грозят расправиться с издателями газет, которые печатают, что на оборонных заводах работа идёт плохо.

* * *

Легенда о страшных чёрных автомобилях продержалась в Петрограде весь март и перешла в апрель, наводя ужас на обывателей и милиционеров. И эти стреляют ночью по каждому, кто не остановится. —

Ехал с испорченными фонарями член ГД Барышников. На углу Шпалерной и Таврической, рядом с Думой, милиционеры изрешетили автомобиль пулями.

Глубокой ночью общественному градоначальнику телефонируют с Суворовского проспекта, что проехавшим чёрным автомобилем убито четверо милиционеров. А на деле: у автомобиля лопнула шина, и милиционеры упали, чтобы скрыться от стрельбы.

* * *

Помощники милицейского комиссара подрайона Карп, Шульман и Шехте отвратно грубо обошлись с посетительницей. Она подала на них во «временный суд». Но суд оправдал их.

Новой милиции установили ставки в два и в три раза выше, чем прежней полиции. Но они даже не обучены обращаться с оружием. То, в ночь на Светлое Воскресенье, один милиционер, заряжая револьвер, застрелил другого; то в василеостровском трамвайном парке милиционер показывал кондуктору браунинг, раздался выстрел, и кондуктор упал мёртвый. Ещё один милиционер, стреляя в бешеную собаку, прострелил грудь путевого сторожа и ранил смазчика — а собака убежала.

* * *

У Николаевского вокзала арестован известный авантюрист Шиманский. В первые дни революции он в офицерской форме назначен каким-то комендантом, разоблачён, бежал с бандой громил на автомобиле — и по вечерам под видом обысков производил грабежи в квартирах.

В Таврическом дворце арестован матрос Гушин с подложным удостоверением на выдачу продовольствия для несуществующего караула в 140 человек. Несколько раз он это продовольствие получал. Его удостоверение депутата СРСД тоже оказалось подложным.

Сотрудник «летучего отряда революционной милиции» Петрограда Шмуклер составил подложное требование от имени отряда к фабрике Скорород, получил бесплатно 30 пар обуви и отправил в провинцию своему отцу, торговцу обувью. Но случайно раскрылось.

* * *

На углу Невского и Садовой чиновник уголовно-розыскной службы увидел в трёх стоящих на посту молодых милиционерах с повязками — знакомых ему в лицо уголовников, приговорённых при старом правительстве к длительным срокам. Их документы оказались заверенными, но при попытке их задержать — они бежали.

И мировой судья Окунев, прежде ведавший делами малолетних преступников в петроградском мировом округе, — узнавал теперь в милиционерах по 17-18 лет физиономии своих прежних подопечных.

* * *

В Александринском театре из ложи директора украдены дорогие бронзовые часы в футляре.

В ночь на Фомино воскресенье в Троицкий собор на Петербургской стороне проникли громилы. Украли чаши, венки, ризы с икон, расхитили кассу свечного ящика.

На Финляндском вокзале ночью разгромлено три вагона с дорогими товарами и посылками, прибывшими из-за границы: коробки с золотыми и серебряными часами, шёлк — всего больше полумиллиона рублей.

В самом здании общественного градоначальства взломали конторку казначея, похищены деньги и документы.

За первые две недели апреля заявлено около трёхсот ограблений квартир.

* * *

Вечером 13-го апреля по многим телефонам сразу позвонили в милицию на Выборгской стороне и в Московский батальон, что содержимые в «Крестах» чиновники старого режима распускаются на волю, а охрана тюрьмы перебита. Тотчас сильные наряды милиции и москвичей были отправлены в «Кресты». Ничего подобного там не случилось, но прибывшие проверяли камеры со зверским видом, запретили прогулки арестантов по коридорам и сократили приём передач с воли.

Оказалось: звонила шайка воров, которая за эти часы пограбила Выборгскую сторону.

* * *

Тимофею Кирпичникову дали подписать воззвание к гражданам России: «...Не за страх, а за совесть подчиняться Временному правительству... Вторично поднимаю свой голос и призываю сограждан к тяжёлой работе. Нас подстрекают, чтобы мы предательски изменили делу наших благородных свободных союзников, чтобы купить себе благодарность германских социал-демократов...» Затем приказом генерала Корнилова награждён Георгиевским крестом (по уставу ордена пришлось сочинить, как атаковал полицейские пулемёты) и произведён в подпорщики. Командир бригады расцеловал его перед строем. Кирпичников обещал умереть за свободу, если понадобится. Затем повезли его на учительский съезд, он держал речь — а учителя под марсельезу несли его на руках.

Тут и вольнский прапорщик Астахов доказал, что 27 февраля он в солдатской шинели присоединился к восставшим, — за то теперь произведён в подпоручики, а батальонный комитет избрал его батальонным адъютантом.

* * *

А Марсово поле вокруг могил — в грязи, мусоре, окурках, семечках. Какую-то цепь разорвали, валяется железная колонка. Где торжество великих народных похорон? — не осталось ни флагов, ни венков. Стоят ящики для пожертвований, без надписей. И одинокая дощечка: «Странник, благоговей: здесь родилась великая Россия». Остановился крестьянин, долго крестится, бросает в ящик почтовую марку (они ходят за монеты).

* * *

Собрание петроградской домашней прислуги, 2 000 женщин, постановили требовать от хозяев: 8-часового рабочего дня и повысить жалованье (до чиновничьего). Иначе — общая забастовка.

* * *

Из фронтовых полков приезжают в запасные батальоны: давайте же маршевые роты! К волынским казармам собрались питерские агитаторы: не слушать делегатов, не ехать на фронт, это провокация!

Пошла по запасным батальонам такая мода: отправлять маршевые роты лишь из добровольцев. Набралось полтора десятка рот — из пригородных армейских полков, из егерей, измайловцев, волынцев, наконец и ораниенбаумские пулемётчики тоже наскребли роту. Корнилов горячо приветствовал в приказе выступающие части. Отправлялись к вокзалам с революционными знамёнами, оркестрами, под ликование публики во весь путь.

* * *

В Московском батальоне собрали митинг. Подсчитано, что Гучков намерен вывести из Петрограда на фронт 14 тысяч, на сельскохозяйственные работы — 21 тысячу, да латышей, эстонцев, Георгиевских кавалеров... Эти распоряжения угрожают революционному делу. Дали слово прапорщику, приехавшему с фронта. Он сильно волновался: «Я сам — крестьянский сын. Но надо прежде отстоять родину». Штатский председатель митинга ответил: «Конечно, положение на фронте затруднительно, но что для них 14 тысяч солдат? — а для петроградского гарнизона это большая потеря. Мы лучше поможем не подкреплениями, которые растают на фронте, а радикально: кончим всю эту войну». Запасные охотно согласились и вынесли батальонную резолюцию: пока от Исполнительного Комитета СРД не последует точного и определённого указания — не отпускать из состава батальона ни на фронт, ни на полевые работы.

* * *

В ночь на 12 апреля на Знаменской улице столкновение ленинцев и против, до мордобоя. Нескольких противников Ленина задержали, доставили в Александро-Невский комиссариат. Но собралась толпа в их защиту — и их освободили.

* * *

Мимо дома Кшесинской, когда с балкона выступал Ленин, проходил военный врач Л., член Лужского совета, — и стал возражать. Не успел он сказать нескольких слов, как из дома Кшесинской выскочили матросы, схватили доктора Л. за шиворот и оттащили в пустующий рядом цирк «Модерн», где уже сидели несколько арестованных «возражателей».

Но это видел из толпы лужский солдат, погнал на телефонную станцию и сообщил в Луту. Лужский исполнительный комитет тотчас позвонил в дом Кшесинской, потребовал немедленного освобождения арестованного, иначе сейчас вышлет сильный отряд и выгонит самих большевиков из дворца. И через пять минут доктор Л. был освобождён.

* * *

За Нарвской заставой у газетчиков рвут из рук и тут же сжигают «недемократические» газеты (несоциалистические).

Уже появились требования и 4-часового рабочего дня. Раздаются угрозы забросать гранатами грядущее Учредительное Собрание, «если оно пойдёт против требования масс».

* * *

О Кронштадте по Петрограду ходят тревожные слухи, что держится как отдельное государство, не прекращаются там насилия и убийства, не возобновляются работы. То и дело в газетах: ездил туда комиссар правительства Пепеляев, ездил и Керенский; провокаторский характер слухов, распускаемых врагами Свободной России; в Кронштадте жизнь вошла в норму, идёт продуктивная работа, оборона в отличном состоянии, доверчивое отношение матросов к офицерам. Конечно, предупредил Пепеляев, возникают страстные суждения, но страсти всё более подчиняются рассудку... И даже генерал Корнилов съездил, принял там парад, печатают: «Вынес самое отрадное впечатление».

Однако: 60 офицеров расстреляно в первые дни, из 206 арестованных 126 будто освобождено, а 80 под стражей. (И выводят их на смех подметать улицы при матросах. А на гауптвахте полукэпжа обучают их петь «Интернационал».) Распорядился Керенский: создать особую комиссию прокурора Переверзева, проверить, кого из кронштадтских офицеров можно ещё освободить, кого перевезти в Петроград под след-

ствие. С таким заданием Переверзев уже ездил в Кронштадт до Пасхи, никакого расследования ему вести не дали. Теперь поехал вторично. А была у него и частная записочка от Керенского: адмирал Максимов просит поскорее освободить финского шведа капитана Альмквиста. Переверзев и освободил его в субботу, 8 апреля.

Вечером в Морском собрании шёл эстонский концерт, по соседству заседал Исполнительный комитет — вдруг толпа с гулом и криком притащила схваченных Альмквиста и его отца, уже уезжавших из Кронштадта. Перепуганные комитетчики объявили с крыльца: «Сейчас вызываем сюда членов следственной комиссии. Если они окажутся виновны — мы поступим с ними так, как вы найдёте нужным!» Крики: «Арестовать всю комиссию! Они заодно с офицерами, предатели, буржуи! Казнить прокурора!» Пришли. Переверзев, безстрашный адвокат на царских судах, и по «Потёмкину», теперь выложил подробно и о Керенском, и о Максимове — но лязгали затворы, не дали закончить, хотели поднять на штыки. Особенно неистовствовал юноша в фуражке Психоневрологического института, матросы звали его «доктор Рошаль». Едва уговорил Исполнительный комитет: дать им ночь на разбирательство, а утром — митинг на Якорной площади и суд над комиссией. За ночь решили: комиссия допустила ряд ошибок (отпустила ещё трёх офицеров с согласия команд, теперь уже и их всех арестовали), сама слагает свои полномочия, и будет отпущена в Петроград. А здесь будет создана своя следственная комиссия (с участием «доктора Рошалья»).

Утром пришлось не только долго убеждать разъярённую толпу отпустить комиссию — но снова вырывать у них обоих Альмквистов, которых вели казнить на Якорную площадь, старика заодно.

* * *

«Приезжаешь в Кронштадт — там воздух другой!» (бестужевка Бакашева, большевичка)

*Радость великая, радость царит
В сердце воскресшем народа.
Клич наш победный весь мир облетит —
Братство, любовь и свобода.*

(Проект нового государственного гимна)

ДВЕНАДЦАТОЕ — ВОСЕМНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ

9"

(пресса о Ленине, 4—16 апреля)

Что вожди левых партий спешат на родину — это чрезвычайно желательно, они должны быть на арене борьбы. Но обстановка, в которой прибыл большевистский вождь, не может не вызвать в лучшем случае недоумения. Ни один гражданин России не считает возможным принять услуги от врага. Это элементарное правило политической этики признаётся всеми социалистами, и особая щепетильность требуется от тех, кто проповедует конец войны во что бы то ни стало. Должны были спросить сами себя: почему германское правительство с такой готовностью спешит им оказать безпримерную услугу? И как же можно было воспользоваться этой любезностью? — или полная отчуждённость от родной страны, или сознательная бравада. Путь к сердцу и совести России не идёт через Германию.

(«Речь»)

...Германия в нашем тылу!.. При проезде пользовались в Германии более чем дипломатическими преимуществами: у них не осматривали ни багажа, ни паспортов. Их бы не пропустили, если б это не было выгодно Вильгельму.

(«Новое время»)

Письмо в редакцию. Протопопов вёл беседы с частным лицом — и какой шум подняли тогда. А Ленин заключил договор с официальным германским правительством — тем правительством, которое отравляет русских ядовитыми газами и топит госпитальные суда. Хотя бы Англия и совсем вас не пропустила — вы не смели вести переговоров с Германией... не смеее ссылаться на ваши интернациональные чувства.

Юнкер Михайловского училища Тарасов

Люди без родины баламутят наше общественное море, требуют до хрипоты, чтоб армия и народ сложили оружие перед немцами. Это даже не изменники: изменник должен иметь родину, чтобы ей изменить. За чем анонимной, в 30 человек, компании Ленина надо было мчаться в

немецких вагонах, как если не на выручку немцев? Как и его немецкие хозяева, Ленин кричит о «разбойных французском и английском правительствах» и, конечно, ни слова о Гинденбурге и Вильгельме.

(«Вечернее время»)

...Сотрудники парвусовского института ещё раньше были пропущены из Швейцарии через Германию...

Идите вы к чертям с вашим Циммервальдом! Для вашего уха это немецкое слово звучит важнее, чем Россия. После нашей победы смешны вы будете: придёте кланчить обратный проезд через Германию...

(Борис Суворин)

...Конечно, Ленин не провокатор и не подкуплен немецкими деньгами. Запломбированный вагон — смехотворная деталь. Ленин не может дискредитировать идею социализма.

Все газетные бабы сочинили грязную сплетню про поездку через Германию. А в «Правде» всё чаще — призывы к порядку и спокойствию. Как орган мирной социалистической пропаганды «Правду» надо приветствовать...

(Д. Заславский, «День»)

4 апреля Ленин проиграл перепалку с Церетели. Он не изменился с 1906 года. И кто помнит его характерную фигуру на митингах времён 1-й Государственной Думы, тот и теперь сразу узнает «твердокаменного»: та же характерная голова и беганье по трибуне, ни минуты не может стоять спокойно, а всё время бегают и скачет. Слегка картавящая речь, но и своеобразное красноречие, всё направленное к тому, чтобы захватить массу лозунгами, ей понятными. Людей требовательных он удовлетворить не может, но на массовых митингах, где требуется не логика и разум, а резкие выпады и демагогия — он противник опасный. Его схема — совершенно оторванная от жизни, фанатическая. Он поднимает знамя гражданской войны между разными слоями демократии. Не пожал бурных аплодисментов, но сторонники у него есть.

(«Биржевые ведомости»)

...Церетели ответил Ленину: он не учитывает соотношения сил. По конкретным русским условиям, пролетариат не мог бы удержать захваченную власть. Против диктатуры пролетариата возникли бы глубокие протесты значительной части населения. Наш пролетариат стал на единственно правильный общенародный, а не классовый путь. Как сказал Лассаль: индивидуумы могут ошибаться, классы — никогда.

Сочувствие аудитории было целиком на стороне Церетели.

...Первое впечатление от тезисов Ленина: приехал эмигрант, который ничего не понимает в русских условиях...

Чем скорее фракция большевиков обнаружит свою истинную сущность — тем лучше. Русские большевики ставят себя вне революции.

(«Утро России»)

Был наделён умом небыстрым он богами
И продолжал ходить он вверх ногами.
«Мой долг, — он восклицал, — вовлечь страну
Российскую в гражданскую войну!
Германия — не враг! Взгляните на меня:
Когда я рвался к вам — не только что погони
За мною не было, но высоко цена
Ту пользу, что принести способен я, — в два дня
Меня в заплombированном вагоне
Доставили сюда культурные германцы».

(«Новое время»)

...Если гражданской войны нет, то её надо выдумать...

...Ленин именно и дорог немцам как человек убеждённый, которого не сведёшь к провокации. Но он хуже всякого провокатора, его демагогия безсовестна (хотя лично он, может быть, и совестлив)...

...Его демагогия опасна именно сейчас, когда массы ещё обожжены революцией, и каждое грубое прикосновение болезненно.

...При всяком строе такая погромная агитация является обычным уголовным преступлением.

...А если бы списки с Черномазовым и Малиновским сожгли бы, как в Окружном суде, — они бы сейчас кричали в «Правде»? У них нет родины, и они не задумаются продать родного отца...

...После многолетнего отсутствия прилететь в родное гнездо с единственной целью нагадить...

Ленин предлагает свергать все троны — английский, японский, итальянский, но только союзные нам.

Теперь в Петербурге находится Ленин, очень искусный именно в практических вопросах внутренней политики, лучший знаток русского аграрного вопроса, имя которого с 1905 г. знакомо каждому крестьянину... Ленин — коммунист, и именно поэтому его слова проникнут в сердце и душу коммунистически настроенного русского крестьянина.

(«Фоссише Цайтунг»)

С 1905 целиком погрузился в партийные споры тактического характера и всё больше отдалялся от подлинного марксизма... Его предложения о «пятёрках» и «десятках» 1905 года — от необузданного характера... Объявил себя коммунистом, сторонником гражданской войны —

и вокруг него идейная пустота (а вокруг Плеханова — толпа идейных приверженцев). Но он будет отрицательно полезен: как яркий указатель, чего не надо делать...

(«Русская воля»)

...В заслугу Ленину: он не играет терминологией, а называет вещи своими именами... Его фраза, к сожалению, действует на массовый ум...

...Он уже зовёт к борьбе не только против Временного правительства, но и против Совета рабочих депутатов, ему не нравится состав...

Первое же его выступление имело крупное политическое значение: он довёл до конца все идеи большевизма. Русские социалисты отвернулись от него — и в этом их здоровый государственный инстинкт...

...Стали говорить: для него уже красного знамени мало, ему чёрное бакунинское? Нет, Ленину не дотянуться, Бакунин был всё же русская душа...

...Какие же ленинцы анархисты, если у них в доме Кшесинской заведен свой полицейский участок и они пишут протоколы о задержании?..

...власти Ленин не захватит, но муки родов Свободной России затруднит. Временного правительства вообще нельзя свергнуть, потому что оно держится на соглашении с Советом...

...авантюра... Вокруг Ленина — пустота, гробовое молчание. Напрасно Ленин приехал в Россию, не придётся ли ему тем же путём вернуться в Швейцарию?..

...Ленин уже перешёл линию шутовства, и спорить с ним едва ли уместно. Декларация Ленина не заслуживает даже осуждения. Бог с ней, с этой бурно-пламенной анархией...

...Опасен ли Ленин или нет? Пока трудно сказать, не так уж его в толпе и одобряют. Например, столичная прислуга говорит про него: шпион приехал, немцы пропустили...

...«Долой войну!» — кричат наивные маньяки. Захват ими дворца Кшесинской следует рассматривать юмористически, ничего из этой банды не будет... Ленину придаётся слишком большое значение, его опасность раздувается.

...Но всё равно: недопустимо подавлять большевиков силой...

...начинает вестись травля сторонников определённого течения социалистической мысли, вождём которого является Ленин, и травля переходит в погромную агитацию со стороны «Русской воли»...

(«Рабочая газета»)

Основной признак ленинской программы — примитивизм: пролетариат — буржуазия, а между ними колеблется мелкая буржуазия. Он не доказывает, что захват власти пролетариатом лежит в складе нашего революционного движения. Ленин не приводит и доказательств, что крестьянство заинтересовано в перманентной революции и диктатуре пролетариата. (Парижскую коммуну крестьянство не поддержало.) У Ленина нет широкой политической программы, а какой-то туманный заговор. Ленин — теоретически безпомощен, ведёт рабочий класс к катастрофе.

(Канторович, «День»)

...Обходит молчанием Учредительное Собрание... А как он думает учредить республику без полиции, постоянной армии и чиновничества?

...Ленин предлагает вместо войны — «свержение всех капиталистических правительств в мире», — и предполагает, что это будет короче? Но быстрее взять Берлин, чем заставить весь земной шар перейти к социалистическому строю.

...На многотысячных митингах толпа электризуется ленинцами.

...Раз, по его мнению, буржуазия вплоть до мельчайшей, а также вся интеллигенция должны быть лишены прав — то зачем давать права и крестьянству? достаточно только «беднейшему», он это и стал говорить...

Орган Г. В. Плеханова «Единство» предлагает: «контрреволюционеров справа» «переселить с благодатного юга на холодный север», а с контрреволюционерами слева», как он называет ленинцев, бороться только словом. Всё это очень хорошо. Но нельзя не осудить самым резким образом строки Плеханова о «призывах Ленина к братанию с немцами, к низвержению Временного правительства». Учитывает ли г. Плеханов вес таких слов в атмосфере революционного подъёма и неугасших страстей?

(«Дело народа»)

...Вот при каких условиях большевики предлагают открыть гражданскую войну в деревне: деревни и сёла без мужиков, незасеянные поля, в стране разруха, особенно транспорта, на города надвигается голод, продолжается война... Политический бред революционных безумцев — и даже подай им социальную революцию в Европе! Вместо обещаемого мира они отодвигают его до несбыточности...

(«День»)

...Ленин отмежевался даже от собственной партии (от Каменева) — и тем поможет объединению всех социалистов...

...Опасность возникла на том фронте, который считался совершенно обеспеченным: на левом фланге!.. «Перманентная социальная революция» переведена по-русски: «погром во что бы то ни стало»...

...Ленинизм — контрреволюционен. Идеологический хлам ленинизма замути́т реку русской свободы.

...На безответственную агитацию Ленина может быть только один ответ: общественное презрение».

...Ленина высмеет русский народ, и Германия останется без награды ...

...Выступления большевиков имеют положительную сторону: заставляют отмежеваться от них всех здравомыслящих...

...Человек, говорящий такие глупости, не опасен. Хорошо, что он приехал, теперь он весь на виду. Теперь он сам себя опровергает...

...Мокрые курицы, что испугались большевиков? Не можете жить без вороньего пугала? Большевики — это известный давний тип, они лопнут при первом практическом приложении. Ленинство — типичный продукт механического мышления, громкие лозунги без содержания. Организованные массы за ним никогда не пойдут, народные массы его отвергнут.

(М. Осоргин)

...На Ленина режут с неистовством... будто он в самом деле выходец из ада. Что ж, забрасывать его гнилыми яйцами? линчевать? Ведь и Ллойд Джордж когда-то громко протестовал против англо-бурской войны — и что бы теперь было с Англией, если б его тогда линчевали?

(«День»)

...Дело не в Ленине. Обывателю нужна конкретная фигура, на которой бы выместить свою злобу за чересчур размахнувшуюся революцию. Вот и вымещают на Ленине, на которого указывает буржуазная печать...

ПРИШЁЛ СБОКУ, А БЕРЁТ В СТРОКУ

10

Вот уже две недели Воротынцев состоял в Ставке, и даже в оперативном отделении, счастливо, Свечин постарался.

Но — это была не та Ставка, какая ему рисовалась издали: она омерзкотилась в подобие инвалидно-генеральского дома. В Ставке сейчас накапливались генералы и старшие офицеры — приговорённые к смерти в своих частях, или просто изгнанные комитетами (иные — только за немецкие фамилии), или снятые Гучковым — и теперь не у дел. Одни — просили другого назначения, подалее от своих прежних частей, иные — ничего не просили, согласны пребывать здесь. А ещё и такие приезжали, оттеснённые прежде, кто теперь искали пробить себе дорогу, добивались на приёмы к новым высшим.

И — жуть брала от этой съехавшейся генеральско-полковничьей толпы: Ставка — превращалась в свалку?

И — вот куда перевёлся Воротынцев.

Да — не хуже больна и Ставка, чем вся Армия сейчас...

И эти, согнанные сюда, имели много свободного времени для разговоров, и какие прожектёры были среди них, с точными планами быстрого «спасения России».

«Спасения», и такого простого — что никто из них, кажется, ещё и не внял: *насколько* она уже погибала. Нас захватила хвостом огненная Галактика и тащит! — а они толкуют, кто виноват в происшедшем и кого на какой пост переназначить. Да как бы хорошо вернуть Государя на престол.

Непосильно даже остояться в этом вихре! — а как же ещё *спасать*?!

Но — не привыкшие видеть не видят.

Как и прошлой осенью не пронялись, что из этой войны нам надо выйти! выйти!

Не догадаться: что же именно делать теперь? И — с кем??

Свечин, едва успев перевести Воротынцева в Ставку, тут же и исчез: Гучков назначил его на корпус. Не хотел ехать, но и уклониться не мог: это был не милостивый взлёт, как предлагали Воротынцеву, а рядовое служебное назначение.

Уезжал с тем, что и придумывать выхода специально не надо, а служба сама покажет, что делать.

— Нет, дружище, — сказал ему Воротынцев, — служба уже ничего нам не покажет, прошли времена службы. Мы — опрокинулись. Теперь надо усиливаться на что-то необычайное. А — кем? Нету.

Уехал Свечин, а другого близкого, до откровенности, никого в Ставке и не было.

Вождя! Вождя бы! Быстрого, умного, энергичного генерала, которому сразу поверила бы Армия и за ним пошла! — и всё было бы решено! Такому вождю-спасителю Воротынцев готов был отдаться безоговорочно. И в военной истории такие вожди сколько раз появлялись в нужный момент. А вот у нас — нет.

С нами так худо — что уже и нет.

Под Пасху Верховным Главнокомандующим был официально утверждён Алексеев, как он, по сути, и состоял от отречения царя, да и раньше того. Но никогда он не был вождь, а только добросовестный штабист-работяга. Таким и остался. И кажется, сейчас более чем когда-нибудь не бодр, удручён, да просто раздавлен. Или его седа, круглая, честная, неприязательная голова столько знала и держала, сколько Воротынцев и представить не мог? Нет, никак не видно.

Гурко?! И он же принял Западный фронт!

Но не Ставку...

(А Лечицкий неделю назад — ушёл и в отставку полную.)

С конца же марта, как и Воротынцев, прибыл в Ставку, а с 5 апреля вступил в должность начальника штаба Верховного — генерал Деникин. Но хотя и бывший начальник «Железной дивизии», а как раз железной твёрдости в нём не чувствовалось, даже угадывалась скорей некая не генеральская размягчённость. Большая осмотрительность в каждом шаге, подчёркивание, что он вообще — сторонник гражданских свобод и разумного республиканского устройства.

Как будто — в т а к и х понятиях двигалось сейчас.

Сразу после Пасхи Гучков, проезжая на Юг, не сошёл в Могилёве, виделся с Алексеевым и Деникиным у себя в вагоне, там назначил новым генквартиром Верховного вместо Лукомского — Юзефовича. И Лукомский не потеря, но и Юзефович никак не находка.

В общем, все руководители Ставки передвигались в безсилии, не видя никакой твёрдой линии для себя. И тем же дышало от Брусилова, от Рузского, а Сахарова вот сняли (и тоже не боль-

шая потеря — Щербачёв будет потвёрже, но что решает Румынский фронт?).

Гурко??..

Нет, наступило время не приказа ждать, а что-то делать самим. Самому.

А — что?..

Когда мы находимся в крайней опасности, под обстрелом, в огне, — только одно нельзя: заминаться. А — двигаться: если мало пройдено — назад, если много — только вперёд!

А — что сейчас?

Тут, среди офицеров Ставки, возникло такое движение: все теперь собирают свои Советы и съезды, и только так их становится слышно, и только так они влияют на Россию. А соединённого голоса офицеров никто не слышит. Почему ж офицеров лишить того, чем пользуются все? Так надо создавать орган, который мог бы говорить от лица всех офицеров Действующей армии. Скажем, «Союз офицеров Армии и Флота». А для этого надо собрать съезд. В Ставке, в начале мая. И так увлечённо взялись (боевых-то занятий и у ставочных нет): одни составляли воззвание к тому съезду, другие — программу будущего Союза, третьи уже рассылали извещения и приглашения во все части и штабы, телеграфом и почтой. (И петроградским тоже, пусть едут гостями сюда.) Задачу Союза видели: видоизменить армию, даже в ходе военных действий, — так, чтобы сохранить её мощь. Предотвратить разложение армии из-за недоверия с солдатами и ложных идей. В самих офицерах быстро развивать государственные интересы, политическую подготовку — тем более что вот скоро, не прерывая войны, и армия будет выбирать в Учредительное Собрание.

«Видоизменить армию»! Да, конечно, всего только! Но то мудрено, что на льду сварено, — знал Воротынцев поговорку ещё из Застружья. Так — и фронтовые выборы в Учредительное Собрание, не прерывая войны.

А что, может быть, вот такой Союз офицеров, вполне легальный, и помог бы нам, уцелевшим твёрдым, собраться, объединиться — и...? Но ещё ж писали и программу будущего Союза, а в ней: ...в духе начал, выдвинутых революцией, верим и повинемся Временному правительству... — а что ж иное могли написать затравленные офицеры? Ну а дальше, конечно: ...в полной победе — единственный способ упрочения гражданских завоеваний.

С ураганом пламени — разговаривали на комнатном языке.

Находясь в Ставке, и нельзя было отклониться вступить в будущем в этот Союз, но как ни уговаривал милый «маленький капитан» подполковник Тихобразов дать подпись под воззванием к съезду — Воротынцев отказался. И не вошёл в тут же созданный «временный комитет».

Как ослепли! всех закручивает в ту же заглатывающую неохватную воронку, слотнувшую царя: как выиграть войну? Как «упрочить гражданские завоевания» через победу над Вильгельмом, когда он рад-радёшенек нашей революции, вот дороги сохнут, он же никуда не наступает. Никто не хочет видеть?! (Или и другие про себя думают, как Воротынцев, да не скажут?)

Вот из первых даров революции: скрывать свои чувства. Хотя бы и все теперь понимали, что дальше вести войну нельзя — но все будут хороветься, что теперь-то и пойдёт победоносная война.

Влип Воротынцев и в Ставке — как топор в тесто.

Что за рок? ничего не спасти, нигде не приложиться. И когда революция распускает человечьи молекулы свободным распрыгом — только и мечешься с ними, беспомощно.

Но вот что! — со второй половины марта можно было различить и обширное спасительное движение — солдатское! Солдаты сами как бы ужаснулись и отшатнулись от развала. Армия стала сама отступать от пропасти. Замелькали, заплотнились резолюции воинских частей, речи солдатских делегаций — и они показались удивительней первых насилий и бунтов, — а не совсем же помимо солдатских толп эти резолюции принимали.

Что было в них? Ну, естественно: строже проверяйте белобилетников! не давайте буржуазии укрываться в тылу, снимите с учёта капиталистов! (Слова — не их, а чувства — их.) И — отправляйте на фронт тыловые гарнизоны, не доводите нас до истощения сил! И — уравнивайте гвардию и армию по привилегиям (и верно), и увеличьте оклад солдатам и денежные пособия семьям. (Они просили меньше, чем отдавали.) И вызывающие, и угрожающие ноты против рабочих, под шумиху вырвавших себе во время войны 8-часовой день: поменьше речей на заводах, побольше снарядов!

Но вот кто-то из городских бросил в армию такую мысль: новому правительству, не то что старому предательскому, надо сверх жизни отдать с груди золото и серебро, на ведение войны. И потянуло по фронтовым частям, как эпидемия: сдавать Георгиевские кресты, серебряные и золотые, и сдавать медали (а дальше — и зо-

лотые и серебряные монеты, и просто деньги). И солдаты — снимают с гимнастёрок свою гордость (принятую когда-то перекрестясь), за что так несоразмерно клали жизни, — и кидают в безликие сборные сумки. Целыми ларцами, ящиками сдают части Георгиевские кресты, один Царскосельский гусарский полк — 500 крестов и медалей. И вот это было надрывно Воротынцеву, как будто он сам сдавал: так легко отдавали заветное! Уже в каждой газете было по несколько таких сообщений, печатали и фотографии (невыносимые!), как солдаты стоят в очереди сдавать кресты (грустные стоят, однако). Сперва ещё принимали эти ящики сами министры с благодарственным словом, потом надоело, распоряжались отсылать их прямо в канцелярию министерства финансов. А в воинских частях решались и дальше: добровольно сокращали свой хлебный паёк и отказывались от сахарных денег — и всё на подсобу благожеланному Временному правительству.

Кому? Зачем? Так жалко было нашу русскую простоту! Эту наивность — и рядом с их же безобразиями. Вот она, народная душа.

Эти министры и эти газетные литераторы, никогда не полежаив под снарядами разрывами, никогда не побегав по минным полям, — что понимали они в размахе этих солдатских жертв? Для них это было только агитационное украшение.

Но главный смысл во фронтовых резолюциях был: никаких распоряжений к армии помимо Временного правительства! мы принесли присягу — ему, и никаких других властей не признаём! Пересматривать присягу нельзя! (Это — против Совета, отменившего присягу.) Верим одному Временному правительству! И недопустимо никакое давление на него!

6-я армия прямо требовала: чтобы в части не приезжали никакие лица, кроме как от Временного правительства. 7-я армия: законодательную власть за Советами отрицаем безусловно, отдаём свою жизнь в распоряжение Временного правительства, только бы был низвергнут германский милитаризм. 1-й Петроградский уланский полк: даём клятву перед Богом всегда отстаивать интересы Временного правительства! 1-й Невский полк: Совет депутатов не должен печатать своих постановлений под названием «приказы», дабы не поселять смуты среди солдат; и должен называться: совет петроградского гарнизона. 10-я армия — прямо к Совету: просим вас не обращаться к армии с самостоятельными распоряжениями. 105-я дивизия: издаваемые петроградским Советом приказы и циркуляры не могут считаться обязательными для русского наро-

да и Действующей Армии — без дисциплины нет армии, а есть толпа. Кубанское войско: мы не допустим противодействия Временному правительству от Совета! (А когда резолюции в пользу Совета — так от мелких частей, ничтожных групп.)

Фронтная армия приходила в себя от революционного шока из Петрограда, от наплывающего соблазна, возвращалась к исконной трезвости крестьянского народа. Изумишься: какой же ещё здоровый разум сохраняется в армии, откуда ещё столько патристических голосов?

Усумнишься: так ли, правда, мы уже исчерпаны и для продолжения войны?

Вот на этот массивный солдатский поворот, на это стихийное движение солдатской совести — и могло опереться Временное правительство в недели перед Пасхой.

Да знал Воротынцев: с любой тёмной толпой — всегда можно столкнуться, только объясняй чётко, смело — и не зевай подхватывать момент.

И правительственный «Вестник» больше других газет — печатал, печатал же подробно и крупно все эти резолюции, в назидание населению, в назидание кому-то на стороне, — а сами размякшие министры неспособны были усвоить это назидание для себя, уловить эти неповторимые две-три недели, использовать тот же невывод петроградского гарнизона, чтобы восставить армию в гневе и достоинстве. Они думали — всё так и сделается одними печатными резолюциями? Они не понимали текучести этого момента, что такие движения против развала держатся не дольше, чем погожие деньки в марте, — надо ловить их час, не то опрокинется в хмурную бурю. Нет! Они выслушивали эти все слова в Мариинском дворце и тут же подрубливали идущее подкрепление, публично отвечая и печатая, что Совет рабочих депутатов — ни в чём, ни в чём не ограничивает власти министров.

Как понять это жалкое правительство, что оно отдалось контролю какой-то безликой социалистической шайки? Почему дают руководить собою из тени? Какой же мнимой величиной становятся сами?

А после Пасхи — уже спал этот неподдержанный солдатский порыв, и разъедание пошло дальше.

Но — Гучков?! Но он же — в этом правительстве, неужели он не видит, не понимает, какой утекает момент! Сейчас ему бы опереться на любой из этих верных полков да разогнать банду Совета!

Красивый приказ издал на Пасху: старый порядок избегал привлекать на ответственные должности людей с большими дарованиями, кипучей энергией, сильным характером, твёрдыми убеждениями. Надо в корне изменить систему, предоставить молодым людям с неослабленной энергией... Я глубоко верю, что лучшие люди поведут Армию и Флот по верному пути...

Ещё так недавно и Воротынцев именно об этом мечтал.

А что получилось? С увлечением кинулся Гучков чистить генералов — сумятица! уже попадали под чистку не только плохие, но и средние, и хорошие, в каждую вторую дивизию приезжает новый начальник, не знающий обстановки.

А в дни такого сотрясения — важнее инерция сохранности.

И какой униженный, слабый тон всех его приказов — не приказов, а прошений перед солдатами. И, бросая в центре командный пункт (как и царь злосчастно покинул Ставку в роковой день), — что он мечется по дальним фронтам? Что он там делал в Кишинёве, Одессе — чему помог? И на каждой фразе: как старое правительство довело страну до гибели. Как их всех тянет на воспоминание своих страданий и заслуг. Этим он думает спасти положение? — задобрить врагов?

Сегодня ночью, возвращаясь с Юга, Гучков проехал Ставку, говорят больной, не задерживаясь. (А поговорить бы с ним самим сейчас! Проехал...)

Нет, не было у Армии вождя.

Власти! Больше всего мы сейчас нуждаемся в твёрдой власти над собой. И даже ни во что не ставя это Временное правительство — ах, если б они были хоть тверды!

Никогда Воротынцев так напряжённо, непрерывно не бродил в неизвестном, как в минувшие недели, — и никогда же так быстро не созревало в голове.

Откуда действовать? Если и не из Ставки — то откуда ж ещё? Выбирать дальше нечего, уже у стенки.

Здесь — Родос, здесь — прыгай!

Насколько просторней было бы Воротынцеву сейчас одному, по-холостому в офицерской гостинице. Но не вышло: Алина теперь и слышать не хотела, чтоб он жил в Могилёве один. Тотчас же переехала, и часть вещей вослед, да хлопотно квартиру найти при нынешнем избытке беженцев в городе. И как было прежде — то

Георгий конечно бы запретил, да Алина бы и не настаивала. Но после всего недавнего отказываться упорно — было невозможно, сразу подозрение, выглядело бы так, что у него тут встречи, — и взмутится новая семейная буря, новый развал, ещё хуже, только его не хватало. А так — постепенно вся эта взмученность должна же в ней улечься, не бесконечна ж она.

Да радоваться надо, что так благополучно всё закрылось. В Могилёве Алина ни разу не попрекнула, ни звука об Ольде, не назвала по имени. Ни — до этого в письмах, за полтора месяца ни разу. Как будто и не обнаружилась его февральская поездка в Петроград, даже неправдоподобно. Слава Богу, только не разбудить, не растолкать, не процарапать. Тех пансионных октябрьских дней без содрогания вспомнить нельзя. Она так не готова была к удару, она могла совсем погибнуть. В этом тонком горлышке он как будто задушивал своё родное.

Конечно, жизнь — не прежняя. Не досчитано, обронено. Но если она силится восстановить мир, лад — надо помочь ей.

Да понимает же она — какое время...

11

— Так неужели же, Иосиф Владимирович, старое правительство было право, что мы, русские, не доросли до свободы? Способны видеть в ней не увеличение гражданского долга, а только свободу делать то, что раньше запрещалось? Неужели наша русская психология не признаёт другой свободы, кроме хамского желания?

— Лишь в том отношении я с вами согласен, Николай Андреевич, что старое грязное рубище, сброшенное Россией и теперь сожжённое, видимо не только оно питало гнилью и заразой поры народного организма, но надо догадаться, что и дурные соки самого организма пропитывали рубище. Да, народ наш отравлен, он отравлялся веками, его невежество и предрассудки слишком долго воспитывались царизмом, и они стали органикой, — и теперь, конечно, есть угроза, что из-за невежества народных масс может погибнуть и цветок свободы, ещё такой нежный.

Сошлись сегодня с утра в библиотеке Гессен и Гредескул, два профессора, два главных редактора — «Речи» и «Русской воли», —

и конечно же не смогли сразу разойтись со своими книжными стопками, а зацепились спорить у прилавка.

Средне-толстенький Гессен, с круглыми бровями над круглыми золотыми очками, развивал.

Что, с другой стороны, и весенняя радость революции, она сама могуче излечивает народную душу. Вдруг же и проявилась вечевая сторона русской души, не забитая и пятьюстами годами самодержавия, это доверие не к отдельным фигурам, а ко множеству, многоголовью, этот разворот народной самостоятельности. Как весенняя трава, всюду выпирает безудержно жизнь. Россия плавится в огне раскалённых идей и готова отлиться в невиданные формы.

Он был убеждённо уравновешен:

— Наступило вторичное крещение Руси, в купели свободы, и она пропитается ею вся, как говорится — до тайников духа. Да а сама-то революция почему могла произойти? Разве она не свидетельствует о небывалом росте народа? Во время войны в народе быстро выросло государственное сознание, оно и разорвало скорлупу самодержавия.

У тщедушного маленького Гредескула, с нервной шеей в крахмальном воротнике, глаза за очками были беспокойные, цепкие, колкие:

— Но мы не должны слишком благодушно щуриться на народного сфинкса. Разрушить старое оказалось до изумительности легко, да, — но так ли легко будет построить новое? Откуда взялся этот партикуляризм центробежных стремлений? Он вполне понятен у угнетённых народностей — но почему и у классов? у городов? у деревень? у отдельных воинских частей? отдельных профессий? лиц? За групповыми интересами совершенно теряют чувство целого, это может раздавить нашу свободу.

— Да, разнежились от свободы, это есть, — соглашался Гессен, не слишком встревоженно. — Но у кого не закружится голова, когда на Западе только мечтают о 8-часовом дне, а у нас он введен с феерической лёгкостью. Да, конечно, надо внушать: нам всем хочется на палубу, чтобы видеть прекрасные берега, — нет! на чёрную работу! в трюм! Это от нас же и зависит, Николай Андреевич: теперь, как никогда, «идти в народ», нести ему пропаганду, только не революционную, а просветительскую. А то через наше просветительство мы за последние 10 лет перепустили и проблемы половой любви, импрессионизм, футуризм, кубизм, — а насущный хлеб демократии позабыли, и вот революция застаёт нас врасплох.

Да я вам скажу, это и замечательно, что перед нами вырастают вопросы и опасности, — а то ведь мы ниоткуда не встречали сопротивления, это уже начинало пугать.

— А меня, Иосиф Владимирович, эти крайние претензии социалистов, всегда радовавшие, начинают и волновать. Они сеют в народе уж никак не просветительство. Они забывают, что переворот носил общенациональный характер, и отдельные группы не должны претендовать на власть. У Совета рабочих депутатов по отношению к Временному правительству — нет ответственности и нет, как хотите. Как можно утверждать, что власть Советов признана всей Россией? Что это ещё за комиссары от Совета при министрах? — тоже мне римские трибуны. Да рабочие составляют в России пять процентов населения. Да интеллигенция выступила на революционное поприще, когда никакого «пролетарского сознания» ещё и в помине не было. А армия — так вообще пришла самая последняя. Да кроме интеллигенции никто и никогда не был готов взять власть. А теперь тычут в интеллигенцию — «буржуазия».

— Вот тут я с вами соглашусь: старый режим никогда и не боялся революционеров, а всегда боялся гражданской конституционной демократии. Нас не ссылали на каторгу — но как же нас ненавидели! Движимые не страстью, а разумом, только мы и умели, и сумеем сегодня, спокойно взвешивать обстоятельства и шагать уверенно.

Нет, Гредескула это не успокаивало, он помахивал головой на безпокойной шее, хотя воротник был ему скорее широк:

— Но всё-таки, если социалисты признали Временное правительство, могли бы и не признавать, то последовательно — дать ему и средства для осуществления демократической программы.

Гессен, похожий на доброго чудаковатого учителя, тепло улыбнулся, прогладил большие усы:

— Все мы ищем всюду врагов — и так ударяем по соратникам. Революционная мысль всегда полна подозрений, основательных и неосновательных. Но всё же Совет — соратник правительства.

— Ну а Ленин? Уже всё долой, открыто, вообще долой, и правительство и войну.

— Ах, Ленин ещё! Ну какая от него опасность? Ну что он может сделать с малой кучкой сумасшедших?

— Ого-го, не скажите! Когда всё подвижно, всё центробежно... Уж ленинскую пропаганду во всяком случае надо запретить как изменническую.

— О-о! о-о! как вы меня раните! — появились и морщинки на таком уже гладко-натянutom полном лице Гессена, и на широкой лысине даже. — И слышать это от вас! Вот это и есть крайности вашей «Русской воли». Вот уж тогда реакция возликует. Ну мне ли вам напоминать, что средства нашей борьбы должны быть в уровень с величием принципов права и свободы?

— Право и свобода, Иосиф Владимирович, — нервно, жёлчно выговаривал Гредескул, — не до такой степени, чтобы...

— Ах, ах, — вполне спокойно отвечал Гессен, — вы потакаете, простите, взгляду серой обывательщины. Неужели выход — в насилии? Тоска по городovому? — нет порядка, некого слушаться, никто не приказывает? Обывателю отовсюду чудятся мнимые опасности. Ему не приходит в голову, что если б он на минуту перестал быть рабом, а стал бы гражданином — то половина бедствий сразу бы исчезла. У правительства — сила моральная. Оно действует не потому, что опирается на войска, милицию или суд, а на организованное общественное мнение. «Бездействие власти»? — сегодня это упрёк бессмысленный. Если прежде мы имели право во всём винить старое правительство — то теперь за судьбу России отвечает — каждый из нас.

Гессен с улыбкой искал поддержки у немо присутствующих дам:

— А возможна ли была бы агитация ленинцев, если б она столкнулась с широким общественным протестом, с порывом народного негодования? А чем отвечает Ленину горожанин? Любопытные ходят и слушают, пожимая плечами, никакой попытки противодействия — вот она, трусливая привычка рабства. В агитации Ленина повинен сам народ и само общество.

Нет, Гредескул не согласился, покручивая шеей, но сгрёб свои книги и повернулся идти в читальный зал.

А навстречу тут быстро подошла взволнованная Марья Михайловна, хранительница, дама средних лет, задыхаясь в подпирющем воротнике. Не замечая выдающихся гостей или, напротив, даже спеша высказаться при них, прижимая к вискам кулаки, в одном — носовой платок:

— Боже мой, что ж это делается? Что это делается?

— Что же? — озабочился Гессен.

Стала рассказывать, всем. Старший сын её, гимназист восьмого класса, входит в новосозданную управу средних учебных заведений, как бы петроградское общегимназическое правительство по всей общественной самодеятельности. И вот они вчера узнали,

что, пренебрегая их руководством и невзирая на отказ управы, младшие, от 12 до 15 лет, ходят будоражат по всем гимназиям: сегодня, в среду, на занятия не идти, а массовой демонстрацией к особняку Кшесинской — против Ленина. И вот идёт борьба за гимназические массы: управа, снесаясь со взрослыми и с Керенским, категорически запрещает идти — а младшие настаивают идти, назначили свой сбор — и, представляете, пошли! И среди них младший сын Марьи Михайловны! И — на что они там могут напороться? ведь от ленинцев всего можно ждать!?

— Да-а-а, — сочувственно к матери протянул Гессен, сильно прищурился за очками. — Будем надеяться, их встреча с Лениным не состоится. Хватит с Ленина своей тёмной аудитории, а не отравлять детей, кому опыт ещё не приготовил противоядия. Уже то плохо, что у учеников появилась сама мысль о такой демонстрации. Недетское это дело — драться с большевиками или с кем бы то ни было.

— Керенский и запретил! — волновалась мать. — А они...

— И очень разумное решение управы. Что может дать детям революционная улица? — одно растление.

Но Гредескулу понравилась эта детская прямота:

— А по-моему, это благородная мысль!

— Потому что вашего там нет! — тотчас возразила мать.

А Гессен, подбирая черпачком нижней губы:

— Да, чувства их можно понять. Эти дети революции охвачены пафосом революции, но их пафос импульсивный, они бегут на Ленина как на пожар. За эти недели они впитали столько ощущение свободы, столько политических эмоций — им не терпится сказать и своё слово. Но у них ничего не готово, кроме «долой», а стены особняка не падут от «долой». От учебника Иловайского нельзя сразу перейти к борьбе с Лениным. Бросить учебником ему в лицо? — книжкой его не свалишь. Рано им напавливать гражданские тоги с папиных вешалок. Детям — будущее, а в будущее не перескочишь, как через верёвочку на уроке гимнастики.

Сегодня, слышала Вера, пошёл по Неве ладожский лёд. Он — всегда позже невского, с перерывом, и огромные бело-зелёные глыбы. У мостов и на загибах реки, говорят, заторы. Сходить посмотреть.

Осколок вечного величия — до нас, после нас.

12

Революция — это феерический красный вихрь. И кто хочет реять в нём и не сжечь крыльев (и не сломать ног) — должен природно обладать умением (его не воспитаешь искусственно) — виртуозно перелетать через пропасти или балансировать на тонких гибких возвышенных мостиках без перил. И всё решает — смелость, уверенность, искренность, широта души и мгновенный безошибочный порыв.

И все эти качества упоительно обнаружил в себе Керенский!

Его и раньше некрепко держала при себе земля, он и раньше вспархивал, — но огненный ревущий столп революции — взнёс его — и понёс, и понёс! — и только победы! и только вершины!

Завоевание революции — свобода. Но кто должен осуществить эту свободу — разрешениями, амнистиями, разрезом пут? — министр юстиции. И это — он. Кто призван тонко соединить бурную революционную демократию и пугливые цензовые круги — и дать создаться и функционировать Временному правительству? Заложник демократии в правительстве. И это он. Кто вынужден постоянно следить за этими цензовыми министрами, зорко поправлять их, а то и, в нетерпении, перебирать часть их власти к себе? Несравненный единственный любимец демократии. И это он. И кто, ежедневно, самыми яркими словами, обязан объяснять революционной России всё происходящее? Вдохновенный оратор. И это он. Кто должен сдерживать Ахеронт, вспышки ярости у Совета, вспышки ненависти у матросов? Первый цветок революции. И это он. А кто должен перетряхнуть Сенат, суды, судебные уставы и воздвигнуть грозную Чрезвычайную Комиссию над всеми злодеями старого режима? Ясно, что — он, генерал-прокурор.

И ясно, что ненавистный тиран, мрачный царь, громоздившийся на трупах над раздавленной им Россией, — когда он свалился с трона, скатился с высоты — в чьи руки он законно должен попасть? К генерал-прокурору.

А вот это — не сразу произошло. Арест царя был произведен властями военными, а министр юстиции в первые круго-безумные недели, хотя и сжигаясь потайною жадью самому вникнуть во дворец, не находил момента полностью перенять пленного царя от Гучкова и Корнилова. (А надо было: этот нервный узел не следовало оставлять в их руках.) Три первых мартовских недели были та-

кие разрывающие (и такие сложные политически), что даже не было этих нескольких часов — прокатиться на автомобиле в Царское Село.

Когда же внимание генерал-прокурора наконец сфокусировалось и к судьбе царя — как раз к этим дням стали поступать и самые тревожные сведения: через лакеев дворца охраняющие солдаты узнали, что комендант Коцебу засиживается у Вырубовой, при том разговаривая по-иностранному. Ещё за ним замечено, что он передаёт письма царской семье нераспечатанными. И ещё были слухи от царских слуг, что во дворце жгут бумаги. Всё это вместе могло быть прямой подготовкой — заговора? бегства? А Гучков мешковел всё бездеятельней, всё беспомощней — вот и наступил момент вырвать у него из рук царя! — да Гучков и не сопротивлялся. И в одни сутки был нанесен этот удар: ротмистр Коцебу уволен, а Керенский с доверенным демократическим юристом Коровиченко 21 марта ринулся в Царское Село.

И сгустил в себе — всю холодную официальность и всю грозность, на какую был способен. Шофер из царского гаража повёз его на одном из бывших императорских автомобилей. А надел в этот раз, для усиления впечатления, поношенные яловые сапоги, которые ему на днях достали из рабочих кругов, и рабочую рубаху-косоворотку. На два других автомобиля он набрал себе свиту из «делегатов». Обход дворца начал с кухни, первую речь произнёс к прислуге, что они теперь служат не царю, а народу и должны пристально следить за узниками дворца. Затем осматривал кладовые, шкафы, подвалы. Держал речь к солдатам стражи. Затем допрашивал внутреннюю прислугу — о том, что из печей убирают много бумажной золы. Как он рассчитывал, за это время царской чете уже донесены доклады, и они в достаточном волнении. Странно, но и сам он ощутил растущее волнение, впрочем обычно разрешаемое его находчивостью. Вот когда наконец он чеканно вступит к Николаю Романову, не загороженному тысячами генералов и сановников, — и укажет ему волю Революции. И вот он вошёл — в небольшую комнату, и вокруг небольшого стола ему навстречу поднялась, как бы ёжась или ожидая, что он бросит в них бомбу, вся царская семья. И Керенский — вдруг сбился со всего тона. Такой вдруг оказался нестрашный этот мрачный тиран, хотя и в военном мундире, но с мягкой растерянной улыбкой, и так растерянно и обречённо пошёл навстречу генерал-прокурору, чуть приподымая руку на возможное пожатие. Среди присутствующих уже

не было тех делегатов, глаз Совета, при которых министр был так грозен час назад, — и Керенский уверенно протянул руку царю. А та оказалась — мягкая, не в жёстком пожатии, а на лице царя была уступчивая улыбка с извинением, а глаза, даже и в пасмурный день, синие. Вопрос, ответ, ещё фраза — присели, чуть побеседовали, Керенский зорко осматривал всех, — что ж, дети милые, только бесовка-императрица держалась нарастающе-холодной, да другого от неё и не ждать. А царь — ну вовсе не чудовище, удивительно простодушные глаза и приятная улыбка, и незаметно, чтобы глуп, как о нём все твердили хором, — Керенский просто сдерживал себя, чтобы не размягчиться и не задержаться дольше. Поговорили минут десять. Между прочим Керенский спросил, правда ли, как пишут немецкие газеты, что Вильгельм несколько раз советовал русскому царю вести более либеральную политику. Царь не стал укрываться, и с прямою: «Как раз напротив. Но брался советовать. Но он никогда не понимал русского положения». Керенский так был очарован, что называл не «Николай Александрович», а «государь», а раза два и «ваше величество».

Силой заставил себя прервать визит, вызвал, представил царю своего Коровиченко, — а выйдя, послал немедленно арестовать Вырубову, не давая встретиться с царской семьёй, и увезти в Петроград.

Вся процедура и поездка блистательно удались, и не возник бы кризис, если бы Александр Фёдорович, в тех же днях, ещё раз не проявил бы своё великодушное сердце. Он посетил, мимоездом, министерский павильон Таврического дворца, где ещё оставались узники, и обнаружил там свежearестованного старика генерала Иванова, — и старик совершенно его растрогал: честный служака, полвека отслужил России, никогда никак не выслуживался перед императором, принял все меры, чтобы не удалась его подавительная поездка против Петрограда, предан народу, сам из простого народа, тут не по возрасту страдает в лишениях — за что? в чём он виноват? Не долго задумываясь, Керенский властно распорядился: взять с генерала подписку о верности Временному правительству, о невыезде из Петрограда и отпустить домой.

Но эта гуманная выходка дорого обошлась. На другой день, 25 марта, в «Известиях» Совета была напечатана гнуснейшая статья (легко узнавался Нахамкис, овладевший газетой) — «с край-

ним изумлением»: генерал Иванов ехал диктатором на Петроград, ему грозила участь быть расстрелянным без суда, — и такой опасный враг внезапно освобождён? При чём тут «личное наблюдение министра юстиции»? — такие дела нельзя решать по-домашнему.

А лазутчики передали: на Исполнительном Комитете поговаривают вызвать министра юстиции для объяснений.

И сразу же падала тень и на его безупречный визит в Царское: виделось так, что он и там покровительствовал врагам революции?

Растерялся бы всякий другой министр и всякий даже социалист — но только не трибун Керенский. Он — он сразу увидел (и в этом вдохновение!) правильные прыжки — через пропасти — прыг, прыг, и баланс! И повторяя свой великолепный номер, так удавшийся 2 марта, как войти в правительство, так теперь он ринулся в Таврический — но не оправдываться перед ИК, о, не так он прост, — их игнорировать полностью, это постоянный его приём, — ринулся сразу в Белый думский зал, где заседал Большой Совет, солдатская секция, и встречен аплодисментами — и взлетел на знакомую трибуну. (Опять крайнее средство, но и положение крайнее, если чувствовать остро.)

Он давно — да и никогда — не готовил речей. Они сами складывались в последних движениях к трибуне, в том и была его революционная гениальность, и даже — фразы приходили уже в потоке речи, возникая неожиданно для самого оратора. Сперва — создать себе опору:

— Товарищи солдаты! Я был всё время занят своей работой. И у меня не было никаких недоразумений с вами. Но теперь появились слухи от злонамеренных людей, которые хотят внести раздор в демократические массы. Пять лет с этой кафедры я обличал старую власть. Я знаю врагов народных и знаю, как с ними справиться: мне долго пришлось находиться в застенках русского правосудия.

Можно так понять, что сам сидел в равелинах. Но даже ещё крепче:

— Я давно уже требовал здесь, в закрытых заседаниях Думы, отмены отдания чести и облегчения участи солдат. Я безбоязненно здесь говорил о безправии старого режима, я до изнеможения боролся за общечеловеческие права демократических масс...

Гениально: ты кидаешь «до изнеможения» — и в тот же момент действительно начинаешь испытывать изнеможение, и зрители

это видят. И ты сам неудержимо волнуешься, и повышается твой голос, и сам совершается пируэт и перелёт с одной воздушной площадки на другую:

— И вот теперь, когда в моих руках вся власть генерал-прокурора и никто не может выйти из-под ареста без моего согласия — (бурные аплодисменты) — появляются люди, которые осмеливаются выражать мне недоверие. Будто я делаю послабления старому правительству — и (в атаку) членам царской фамилии? Я предупреждаю их, что не позволю не доверять себе и не допущу, чтобы в моём лице оскорблялась вся русская демократия!!

Вот — так: в с я ! И только что не разрывая на груди присидевшуюся одноэкземплярную куртку:

— Я вас прошу: или исключить меня из своей среды — (из солдатской) — или безусловно мне доверять!

Сразу же — буря аплодисментов и полнейшее солдатское доверие. Но мало, теперь пробраться по этому хребту:

— Да, я освободил генерала Иванова, так как он болен и стар, и врачи утверждают: не прожил бы и трёх дней, где был помещён. Но он под моим надзором, на частной квартире. Ещё меня обвиняют, что некоторые из лиц царской фамилии на свободе... — (Именно так не обвиняли, и на свободе не некоторые, а просто все три десятка, кроме неуклюжей Марьи Павловны, но этот манёвр нужен как защитный заборчик и чтоб не вмешивались в его отношения с Царским Селом. И надо знать толпу: вот сейчас, как ни поверни, не осмелится тут никто опровергнуть.) — ...Так знайте, что на свободе остались *только* те, кто боролся против царизма. — (Под это подойдёт и Николай Михайлович, и все три великих князя-морганатика.) — Дмитрий Павлович оставлен на свободе, так как он убил Гришку Распутина.

И вот — династия как будто вся прокружилась перед нами — и мы на решающей точке:

— Недоверию не должно быть места. Я был в Царском Селе. Комендант дворца теперь мой хороший знакомый. Гарнизон обещал исполнять только мои приказания. И я не уйду со своего поста, пока не закреплю уверенность, что никакого другого строя — кроме демократической республики — в России не будет!

Овация! Встают.

— Я вошёл во Временное правительство как представитель *ваших* интересов. На днях появится документ, что Россия отказывается от всяких завоевательных стремлений. — (Документ

проталкивается через упрямого Милюкова, но по правде же усилиями и Керенского, и надо, чтоб об этом знала масса.) А голос накаляется на новую вершину, революционный инстинкт: — Товарищи, я работаю из последних сил, но пока мне доверяют. И когда появились желающие внести раздор в нашу среду — если хотите, я буду работать с вами. А если не хотите — я уйду. Я хочу знать: верите вы мне или нет, иначе я работать с вами не могу.

Не то что овация, но зал — задрожал, так хлопали, и голоса: «Просим! просим! работайте с нами! мы верим вам! вся армия вам верит!»

Как с несомненностью Керенский и ждал, и теперь в последнем расклоне с кафедры:

— Я, товарищи, приходил сюда не оправдываться. Я только приходил заявить, что не дамся быть на подозрении хотя бы всей русской демократии.

И снова — буря доверия, и оратору дурно (на высших вершинах вдохновения что-то отказывает в голове). Александра Фёдоровича подхватывают, опускают на стул, он пьёт воду. Ослабший голос возвращается:

— До последних сил я буду работать для вашего блага, товарищи! А если будут сомнения — то приходите ко мне, днём или ночью, и мы с вами всегда сговоримся.

И под гром приветствий — Керенского прямо на стуле подхватывают на руки и выносят из зала.

Нахамкис повержен. И повержен Исполнительный Комитет. Но ещё для полного их повержения: теперь миновать их комнаты, даже не зайти поздороваться, они не нужны, отрясти их прах, в Таврическом больше делать нечего! (И эти желающие внести раздор исполкомовцы настолько раздавлены, что через Соколова завязывают контакт для частной встречи: «Александр Фёдорович, нельзя же так, вы не должны так наплевательски пренебрегать Исполнительным Комитетом». — «Но, товарищи, практически и технически я не могу согласовывать с вами каждый свой шаг, а ваше давление делает моё положение в правительстве невозможным, министры могут просто отказаться и уйти». Однако не рвать: внутри правительства именно связь с Советом и укрепляет Керенского.)

Но и это — никак не всё, это — лишь часть пируэта. В этот день не успеть, но уже на следующий — ринуться в Царское! Генерал-

прокурор ранен обидой: как? он недостаточно твёрд? (Тем острее, что в глубине и правда почувствовал: нет, недостаточно!) Так сейчас же ужесточить режим! Муравьёв обнадёжил Керенского, что скоро-скоро в Чрезвычайной Комиссии вот-вот обнаружатся страшные, уличающие обвинительные материалы против царя — и важно, чтобы царь с царицей не успели сговориться, и чтоб она не влияла на мужа. Идея! И ещё утром, до Царского, повидал Бюкенена, просил: не производить давления на своё правительство ускорить отъезд царя в Англию: он никак не может выехать в течение месяца, пока не будет окончен разбор документов. (А про себя, в глубине: да так и спокойней, через месяц куда мирней будет обстановка для отъезда, если царь окажется невиновен. А если?.. А если?.. О-о!!)

Но хотя генерал-прокурор и мчался с карою — он не нарушал дворцового этикета, не врвался к царю, прежде чем лакей доложит церемониймейстеру, а государь «изъявит милость» принять посетителя. В этом красивая идея: не сажать царя в Петропавловскую крепость и не унижать его стеснениями в лачугу, в убогую жизнь бедняка. Но превратить царскую семью как бы в музейные фигуры, помещённые под стекло: оставить им их позолоченную тюрьму, и всю прислугу (но никакая прачка не сможет уволиться впредь без визы министра юстиции), и сохранить весь дворцовый распорядок, и скороходов со страусовыми перьями, — но чтобы семья была постоянно просмотрена извне, а звуки их вовне б не доносились.

И объявил им: отныне царь и царица — разделяются! Могут встречаться только за общим столом, всегда при офицерах из охраны и при том разговаривать только по-русски, и только на общие темы. (Сперва намеревался отделить от царицы и детей, но гофмейстера Нарышкина, тайно от четы пришедшая к нему проситься отпустить её из дворца, она раскаивается, что в первую минуту вгорячах осталась, всё ж возразила, что для государыни оторваться от детей будет слишком тяжело.) А ещё при смене караулов обе царских особы должны показываться уходящему и принимающему, но можно тактично это изобразить как представление караульных начальников.

И поразился, как государь спокойно принял всё. Непостижимое самообладание! А Керенский, чувствуя стеснение, объяснял ему, что это всё делается не в серьёзных целях, а лишь умиротворить Совет рабочих депутатов, давление левых элементов просто

невыносимо. И опять сбивался на «ваше величество». Но и припугнул: есть уличающие документы на сановников. Государь спокойно ответил: «А может быть, эти документы подложны?» Поговорил Керенский и отдельно с царицей, в виде полудопроса: как она влияла на мужа и вмешивалась в управление Россией? Но ощущение, что отвечала вполне правдиво, — и ничего обвинительного из ответов не вылавливалось. А дети — очень милые. Испытывал Керенский противоречивое конфузное чувство: и нужен бы грозный революционный суд — и жалко их.

Но и это не всё: гений революции должен чувствовать натяжения во все стороны. Из Царского — сразу в кипящий Кронштадт. (Там какие-то убийства?.. затянувшийся мятеж?) Там — выступить на совете матросских депутатов: «На Кронштадте лежит ответственность за свободу!» Всея-то грозы — милый студент Рошаль? психоневролог, но уже в морских брюках, — обменялся с ним поцелуем. И молниеносно назад в Петроград. Прессе: «Я только что из Кронштадта. Все попытки посорить нас с ними разобьются о сознание выросшего народа. Балтийский флот возродился и не выдаст Россию!» И правительству доложить: в Кронштадте — полное успокоение, полное единство матросов с офицерами, это ложные слухи об издевательствах (и совсем не так много убили). — И ещё же во все газеты: «Министр юстиции поручил Чрезвычайной Следственной Комиссии обратить особенное внимание на дело царя». И ещё же во все газеты: опровергнуть, будто сам допрашивал Вырубову, какая чушь, тоже пущено злостно. (Тоже могут трактовать как форму сговора.) И теперь, кометой — на вокзал, наконец приехала любимая *Бабушка* — вот только когда! На вокзале поднести ей букет красных роз: «Вы — царица русской свободы!» Вести её в царские комнаты вокзала — и речь. И вести её в Таврический, и перед оттеснённым ИК — ещё речь: «Три года назад, когда я был на Лене (в адвокатской командировке) — и Бабушка была там, под охраной жандармов. И вот я горд, что сегодня встречаю безценную Бабушку!» И вместе с Чхеидзе выносить её из зала на кресле. И днём у себя в министерстве — дать завтрак Бабушке и Вере Фигнер. (Символ!) И сюда же является кроткий князь Львов, приветствовать Бабушку. И снова метнуться в Таврический на Собрание Советов, войти сквозь оратора, во взмыве аплодисментов (это эффектней всего, когда прерываются и аплодируют),

и снова с речью: «Низкий поклон всей демократии — от правительства. Я не мог войти в очередь ораторов, при всей потребности находиться в вашей среде. Мы — все здесь вместе старые товарищи по борьбе со старым режимом».

И только так закончен трёхдневный пируэт. И генерал-прокурор — не уязвим ни с какой стороны.

И в тот же вечер, о, как безумно уплотнено время, — от князя Львова, уезжающего в Ставку, перенять перо: «за председателя Совета министров». («За» — именно он, заложник демократии! никто другой, он — на верном пути к председательству, он звезда восходящая.) И уже на следующее утро от имени правительства принимать, принимать фронтовые делегации. (Это — очень подходит Керенскому.) И лобызаться с делегацией Георгиевского батальона, уже знакомого ему по Ставке.

А вечером, у себя в министерстве, ещё раз принять депутатов Совещания Советов, чтобы прочней им себя запечатлить. (И так — не удалось ИК провести это Совещание стороной от Керенского. На Совещании вот как сказали о нём: «Мы не должны нашими нападками сжигать то сердце, которое горит за народное дело. Его оскорблять — преступление, товарищи!»)

И продолжал бы дальше вращаться феерическою звездой, выдерживал. Но тут подкатила — Пасха, несколько дней естественно-го перерыва даже и революции. А Керенский и правда нуждался же в отдыхе — от правительства, от Совета, от речей, от семьи — и хотел на несколько дней закатиться анонимно в подмосковную санаторию (были проспекты на интересную встречу). Но едва сказал кому-то неосторожно — и на следующий день уже в газетах. Испортили. Да под Москву и ехать далеко. Тогда — в Финляндию. А если так — о, революционное сердце, тогда почему не заглянуть в Гельсингфорс и не выступить там на сейме? (Финляндия не совсем хорошо себя повела относительно русской демократии.) Поднесли букет — поцеловать: «Это самое ценное, что я получил в Финляндии».

Воротаясь с пасхального отдыха (тут узнал, что приехали Плеханов и Ленин, а Чернов и Савинков ждутся на днях) — сразу опять втянулся в затягивающий вихрь, совершенно некогда перевести вздох, а взмывает и взмывает тебя всё выше! И в чём же ключ такого невероятного успеха? А конечно в том, что Керенский

уникально совмещает в себе: гениальное революционное чутьё — отчётливое социалистическое сознание — и глубокое же патриотическое чувство. А поэтому очаровывает — всех со всех сторон, круговращательно. (Удивительная у него судьба!)

Ещё в начале он эпизоды не смешивал: например, на обратном пути из Финляндии, на станции Белоостров, был обидно задержан пограничными властями: при нём не оказалось никаких документов, ха-ха! (И этот эпизод, как каждый его шаг, тоже попал в газеты, вот и скройся для интересных встреч! Ленина не задержали, а Керенского задержали, ха-ха!) Чины пограничной стражи сносились телефонно с Петроградом, потом усиленно извинялись перед министром за причинённое беспокойство, а он, напротив, хвалил их за бдительность. (Но из-за этого опоздал на конференцию эсеров — а ему важно было показаться среди эсеров, как он и называл себя с марта.) А затем многое путалось. Зачем-то был в петроградской городской управе — и там произносил речь. И на учительском съезде — тоже речь. И как-то попал на съезд железнодорожников. А с ними — что вспомнить? Как в февральские дни ловили на дорогах бывшего царя. Но и (глядя вперёд! против истерии советских): «Нас пугают — но контрреволюции нечего бояться, и нет надобности принимать какие-то особенные меры против представителей старой власти и старого режима. Мы боролись с режимом, а не с отдельными личностями, уже достаточно пострадавшими, униженными и брошенными в грязь презрения». И он правда так чувствовал, особенно вспоминая царя с его детьми. И, задрожав голосом: «Как министр юстиции я хочу, чтобы русская революция показала, что торжество демократических идеалов не связано с насилием!» (И тогда к нему кинулись родители Вырубовой освободить её по болезни — но он отклонил. И прислала челобитную из Кисловодска великая княгиня Мария Павловна — вот ещё с этой связались.)

И успевал написать письмо в эсеровскую газету: чтобы помнили завет Николая Тургенева и воздвигали бы статую декабристам не где-нибудь, а на стене Петропавловской крепости. И что утерять с эсерами — навёрстывать на съезде трудовиков, в зале Армии и Флота, — и кажется, съезд довольно был скучный — но! как гром в душливую атмосферу! — в зал вбежал Керенский! — почётный председатель съезда. И — тотчас выступил! — «Я приехал от сво-

его имени поблагодарить вас за то отношение ко мне, какое окружало меня». И объяснил, почему он 5 лет назад согласился избираться от трудовиков, хотя чувствует себя ближе к эсерам: потому что все течения социалистов должны теперь объединиться в один блок партий. «Товарищи трудовики! — и вибрировал голос. — Эти 5 лет останутся неизгладимым следом в моей жизни! Наш с вами совместный опыт знаменателен для всего дела русской и мировой демократии». И даже (это он тонко подвёл, пожалуй для Ленина) «мы и социал-демократы были все годы последовательно верней незахватнической политике, чем некоторые социалисты Европы. Сейчас куются судьбы страны, и может быть, на столетия... Величайшая идея социализма — это абсолютное преклонение перед человеком и его личностью. Мы создадим государство на принципах: труд и человек. Нам предстоит величайшая задача оправдать социализм как государственное устройство...» — А пока фактический там председатель что-то договаривает — а Керенский уже уходит быстро, боковой колоннадой к выходу — и все вскакивают, и разражается новый гром аплодисментов, прерывая председателя, — и из зала, и из соседних комнат бросаются на помпезную мраморную лестницу живые группы восторгом объятых людей и машут с боковых галерей, а юноши и девицы без шапок и пальто выскакивают на улицу, провожать своего Керенского. (Для молодёжи — он особенно кумир.)

И сразу же гнать в какое-то другое место, где тоже нужно выступить, кажется в поддержку Займа Свободы: «Хозяин положения в стране — демократия, то есть весь народ, и я глубоко убеждён, что он отзывчиво отнесётся к займу. Я верю в разум народа! В народных массах — неисчерпаемый кладёзь мудрости! Русский народ займёт подобающее место среди демократий мира!» — И ещё сразу куда-то в другое место: «Да я ещё в июле Четырнадцатого года заявил в Государственной Думе о вере своей, что русская демократия завоюет себе свободу! И я верю, что весь мир будет уважать наши принципы. Сбросим с наших душ остатки старого рабства и боязнь какой-то мифической контрреволюции». — И ещё куда-то: «Не только все свои мысли и чувства, но всю свою жизнь мы положили к ногам рабочих и крестьянских масс России». — Ба, проясняется в глазах: да это он в Мариинском дворце приветствует какую-то очередную воинскую делегацию: «Вам, одетым в солдатскую и матросскую форму, принадлежит наша жизнь. Передайте всем, что я — не вошёл бы во Временное правительство,

если бы земельный вопрос не стоял на первой очереди. Но я — вошёл, и не раскаиваюсь в этом, потому что встретился тут с честными людьми, и мы исполним свой долг, доведём страну до Учредительного Собрания, подготовим её к восприятию самого свободного строя в мире. Пока мы на местах и пока я в министерстве — ничто не грозит свободе русского народа!» — А то — целует депутатов гвардейской Особой армии (они «безпредельно верят ему»): «Теперь русская армия получила свободы, каких не имеет ни одна армия в мире». А вот — от гвардейского гусарского полка ему приносят 500 золотых и серебряных Георгиевских крестов и медалей. А вот — с персидской границы кубанский есаул передаёт привет от казачьих частей.

Но — и сколько ж ещё дел по министерству юстиции! — за сорок дней он подписал сорок законодательных актов и приказов, и всё исключительно гуманных. Сверх всех амнистий — ещё об отмене наказуемости лиц Земгора за признаки подлога, мздоимства, лихоимства и злоупотреблений по поставкам; и о приостановлении мер взыскания по векселям; и исков о платеже денежных сумм; и об отмене чрезвычайной и усиленной охраны, — однако же и об учреждении революционных курсов тюремного надзора. (Да каждый день успевал он снять по несколько судебных деятелей, не дожидаясь громоздких решений Сената.) А депутация солдат — и сюда к нему, оказывается, насчёт земли: чтобы помещики пока не могли её продавать, и особенно иностранцам. — «Хорошо, я передам этот вопрос министру земледелия, вы получите справку». — «А что это, вы — эсер, а принимаете в зале, где со стен цари глядят?» Оглянулся Керенский — побагровел, сконфузился: из этого зала его нерадивые служители не сняли Александра II. — «Да-да, вынесем завтра же! Сегодня же!» Как за всем углядеть, как успеть? Надо мчаться на ночное заседание Временного правительства. (Гонишь ночью по Петрограду скорей — обстреляли милиционеры на ходу.) Нет Львова? — подписать указ о топливе или о чём ещё. Прекратить оплату содержания правым членам Государственного Совета (левым — нельзя не платить). А начальник контрразведки просит защитить её от Совета: хотят распустить её, как будто борьба с немцами неактуальна? — Восстановить! — А тут узнаёт, что во многие учреждения являются какие-то лица и добиваются своих нужд, ссылаясь на мнения или словесные распоряжения Керен-

ского. Мерзавцы! Дать опровержение в газеты: пусть предъявляют письменные документы. А тут подворачивают просьбу адмирала Максимова: какого-то финна-капитана в Кронштадте освободить. Пожалуйста, подписал. Проходит два дня — и в Кронштадте новый взрыв: того капитана освобождённого вновь схватили, а посланного прокурора Переверзева едва не повесили. А, чёрт с этим Кронштадтом, Рошалем! С Кронштадтом никак не управиться, потому что его боится и сам петроградский Совет.

Так тем более — рвануться теперь в Балтийский флот! В Ревель. Вместе с Брешко-Брешковской, очень эффектно! (Бабушка особенно нужна, чтоб утверждаться в старом эсерском членстве. Два дня — можно сказать, круговых оваций и манифестаций, даже ещё только на подъезде. А Ревель — весь в красных флагах, многочисленная встреча на вокзале, делегации с букетами, почётный караул. (Керенский обошёл его, здороваясь за руку с каждым матросом, солдатом, офицером.) Бабушка, скромно одетая, в синей шали, запросто целовалась с представителями. В автомобиле их засыпали цветами, и Керенский не мог не подняться с речью, указывая на заслуги Бабушки, а затем и Бабушка поднялась в автомобиле. Сперва поехали на русский рынок, там Керенский предложил всем почтить память борцов и заверил толпу, что завоевания русской революции никогда не будут от неё отторгнуты. «Нашу партию эсеров, партию рыцарства, правды и чести, всегда отличали прямота и откровенность». Потом — в Екатерининтальский дворец, где Исполнительный Комитет Совета, там речь. — В клуб моряков, там речь. (Во время всякой публичной речи не перестаёшь ощущать, какую ты радость доставляешь слушателям. А «Известия» Нахамкиса упорно замалчивают все речи Керенского.) — В Морское собрание, завтрак, и оба с речами. — В городскую думу: «Вы скоро убедитесь, что русский народ и Временное правительство спаяют весь мир...» — Вечером — собрание в театре «Эстония». А на другой день — во флот, по кораблям. И всем — жать руку. Да флот в полной боевой готовности. «Без офицеров в вашем сложном деле не обойтись, берегите их. Но если заметите, что ваши офицеры не сочувствуют революции и гнут на старое, — ну, тогда мы с ними расправимся без всякой пощады!»

Вернулся в Петроград в совершенном изнеможении. «Я настолько подавлен общим энтузиазмом лично ко мне со стороны

Армии, Флота и гражданского населения Ревеля...» А руку правую так намяли, наломали матросы, что теперь пришлось её перебинтовать — и в перевязь. (Но ещё эффектней: как раненый, с фронта.)

Но если б — это всё, если б — только это. А — западные социалисты?

Сразу после Пасхи стали приезжать французские и английские социалисты — и Керенский, как ни был уже настроен, а ещё более перевострепенулся. Это была несравненная возможность выполнить единым вдохновением четыре цели: овладеть симпатиями социалистической Европы — через приезжих передать Европе своё понимание войны — оттеснить приезжих от Исполнительного Комитета, перехватить курирование их — и ими же оттеснить (а потом и отрезать) Милюкова от внешней политики, освобождая её себе. (Удивительно, почему-то хотелось вести и внешнюю политику самому!)

Приехали западные социалисты — и Керенский стал естественная дипломатическая фигура, и посол Палеолог позвал его на завтрак. И с откровенностью застолья Керенский горячо открыл им то, чего нельзя прямыми словами высказать в публичной речи: да, мы, русские социалисты, да, я согласен на продолжение войны! но — чтобы же и союзники пересмотрели свою программу мира и приноровили бы её к концепции русской демократии, а без этого нам неудобно, вы же знаете манифест Совета... (Он страдал от этого манифеста, оскорбляющего наших союзников преданием западной демократии, но нигде не смел того выразить открыто.) Одним словом, союзные правительства должны бы отказаться от аннексий и контрибуций, ну что-нибудь в этом роде.

А на другой день, отгораживаясь от Милюкова, держал к приезжим социалистам официальную речь в Мариинском дворце:

— Я — один в кабинете, и моё мнение не всегда совпадает с мнением большинства. — Заложник, а голосом имущего власть: — До сих пор вы не слышали голоса русской демократии. Но, товарищи, вы должны знать, что русская демократия в настоящее время — хозяин русской земли. Мы решили раз и навсегда прекратить все попытки к империализму и захвату. И наш энтузиазм не из идеи отечества, но в мечте о братстве народов всего мира. И мы до конца будем стоять на декларации правительства

от 27 марта (по сути — Керенский на ней настоял) и (ничего не поделаешь) на манифесте Совета. И ни при каких условиях мы не допустим вернуться к захватным целям войны. И мы ждём от вас, чтобы вы оказали такое же решающее влияние и на свои буржуазные классы. Ведь это у вас, французы, мы всегда учились революционному энтузиазму, и у вас, англичане, великой стойкости.

А на следующий день, разумеется, давал им ответный завтрак в министерстве юстиции. Но они не так-то поддавались. Даже хмурый резкий Кашен, уж кажется, достаточно левый, и тот оправдывал буржуазное французское правительство и не на него намеревался влиять, а на Совет депутатов, что без победы не может быть свободного развития народов и пришло время окончательно решить все национальные судьбы.

Правда, ещё через день приехал ещё один французский социалист — Тома, уже министр, и этот оказался отзывчивей к упоительной революционной атмосфере Петрограда: да, это — Революция, во всём её величии и красоте! — высказывал неописуемую душевную радость и пламенную надежду и был покорён и очарован личностью Керенского, — и Керенский всё ясней ощущал себя хозяином также и внешней политики. Мешало только незнание иностранных языков. Но к русской аудитории Керенский уже обратился не раз, пренебрегая мнением министра иностранных дел. Однажды, опережая его, заявил, что Константинополь должен быть интернационализирован. А на Совещании Советов: что если Россия первая изменит цели войны, то и всем державам придётся переменить, это ясно как день. Да не только линия Милюкова, но ещё более сам Милюков был Керенскому отвратителен: своей доктринёрской учёностью, доктринальной самоуверенностью, многослойной неискренностью и игрою в вождя всей культурной России. Керенский чувствовал в нём надменного критика, врага и антипода. И почти на каждом заседании они пикировались, а на закрытых, без секретарей, и прямо срезались, один раз и до полного скандала: осмелился Милюков сказать, да даже только едва буркнуть, что германские деньги были в числе факторов, содействовавших февральскому перевороту, и это — *ни для кого не тайна*. Мало сказать, что Керенского охватила дрожь негодования — но он весь отдался этой дрожи, он даже упоительно накачал в себе этот гнев, потому что молниеносно заметил (это всё — интуитивно, мгновенно, не рациональными раскладами), что лучшего момента и эффекта для удара не будет. И не возразил, не воскликнул,

но — закричал: «Ка-ак?? Что-о вы сказали? Повторите!!» Однако Милюков не струсил и быковато повторил свою мерзость. И тогда Керенский, сам дрожа, как он ослепительно сатанеет, — не воскликнул, но вскричал, но вопленно взвинтился: «После того! — как господин Милюков! — осмелился! — в моём присутствии! — оклеветать святое дело великой русской революции! — я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться!» И — с громом защёлкнул портфель, и вдохновенно шлёпнул им по столу (может быть, это был и перебор) — и вылетел стрелой из зала заседаний. Это был эффект! И знал, что за ним побегут, и уже бежали Терещенко, Некрасов, — а он не дал себя удержать! а он — в автомобиль и к себе в министерство. (И лёг спать. А на другой день князь Львов виновато приезжал уговаривать.) И это был — выигрышный удар, он очень осадил Милюкова, а свою позицию укрепил.

Керенский слишком был занят, чтоб отдаться одной внешней политике, но и не мог в своих кружениях не заметить зорко, что слишком затянулась пауза после декларации 27 марта — Милюков коварно хочет ограничиться воззванием к русскому народу, а не слать официальной ноты союзникам, чтоб не связать себя на будущее. Эту игру — надо было ему испортить, надо было именно связать его. И уже на Контактной комиссии (которую Керенский ненавидел, ибо её существованием ИК выражал недоверие своему «заложнику») Чернов стал просить послать ноту. И тут Керенский — гениальная идея! — сегодня ночью она пришла ему в голову и сегодня же он её осуществил: просто сообщил прессе, что в правительстве *готовится* нота союзникам и *на днях* она будет объявлена. Превосходно! Завтра, 13-го, будет в газетах, и пусть Милюков выворачивается.

Избыток сил (несмотря на обмороки иногда)! От избытка сил Керенский уже вращал внешнюю политику, от избытка сил накладывал свою волю и на армию. Опережая Гучкова, он ещё в марте оглашал через прессу, что надо омолодить состав генералитета и тогда будем энтузиастически наступать. И тогда же предлагал разделить военное и морское министерства (оторвать от Гучкова хоть одно). А за минувшие недели Гучков всё более скисал в мокрую курицу, ни на что не способную рыхлятину, а Керенский всё более успевал, и возносился — и начинал угадывать над собою рок Жанны д'Арк — быть спасителем отечества! Неминуемо так пере-

мещались высшие звёзды, что Армию — придётся Керенскому взять в свои руки.

Вот и сегодня: в Мариинский дворец прибыла делегация 7-й армии. А Гучков, как всегда, то ли в поездке, то ли в болезни. А князь Львов и не рвётся выходить. И — кто же к ним выйдет от правительства? Чеканно и быстро вышел в ротонду (ощущая в себе военного человека, да! и рука на чёрной перевязи) — Керенский. А делегация стояла выстроенная, капитаны попеременно с рядовыми, министр обошёл их приветливо, пожимая левой рукой. От делегатов выступил приятный интеллигентный поручик Степун: «Гражданин министр! Вы являетесь для нас живым воплощением единства и сплочённости, недаром вы — звено спайки Временного правительства и Совета депутатов. Но прорастёт ли это единство через всю толщу творимой нами ныне жизни?»

Нельзя было спросить метче! И как-то вся обстановка сложилась так удачно, подъёмно — Керенский почувствовал прилив к речи крылатой (корреспонденты спешно записывали):

— Да, главная задача Временного правительства — содействовать единству нации в решающий момент её жизни. И выполнение этой задачи — ничто не грозит. Мы — десять товарищей ваших, и обыкновенные граждане. Мы взяли на себя бремя тяжёлое, ответственность огромную в момент величайшей разрухи — и мы не должны позволить прорвать фронт и отнять нашу свободу. При выполнении этих задач мы нуждаемся в критике и контроле Совета солдатских и рабочих депутатов, народа, русской демократии. Так не смущайтесь вздорными сплетнями, распускаемыми врагами свободы, — мы и *хотим* этого контроля. Все решения мы принимаем в контакте с Советом и бываем рады, когда он даёт нам то или иное указание. Между нами если бывают расхождения, то только: что выполнить сегодня, а что отложить на завтра. Мы ещё не вступили в эпоху диктатуры пролетариата, у нас эпоха национальной революции, — и со стороны Совета нет и не может быть желания вызвать гражданскую войну. Я верю в разум народа — идти к спасению, а не к гибели, ибо никто не может желать своей гибели. Я верю, что в народных массах — неисчерпаемый кладёзь государственной мудрости и творческой силы. Мы верим, что восторжествуют созидательные задачи, а не партийные лозунги. Народ поймёт невозможность для новой власти создать сразу всё из ничего.

О, несравненный баланс на гибких мостиках! Каждый день борясь с Советом — надо каждый день и умело хвалить его, иначе проглотят. Керенский видел сквозь эту малую делегацию — сразу весь русский народ, с честными глазами слушающий его, — и сразу всему народу говорил.

Что может интересовать народ? 8-часовой день? Это — норма для всех трудящихся, так. Но для обороны требуется напряжение всех сил. Если мы сейчас не даём армии всего нужного, то потому что не можем. А старая власть не давала — потому что не хотела. Старая власть оставила всё в расстроенном виде. (Всегда выигрывшно ругать старую власть, и это объединяет нас всех.) Земля?

— Я по убеждениям своим сторонник лозунга «земля и воля». Народ должен получить их в полном объёме. Но до Учредительного Соборания никто не смеет... Ни один аршин земли не будет передан кому-либо до тех пор, пока не скажет своё слово весь народ, и особенно армия, которая проливалась...

И — вот она, эмоциональная вершина:

— Мало кто представляет себе грандиозность событий, которые мы переживаем. Мы много столетий привыкли ждать, ничего не получая, а теперь хотим получить всё, не ожидая ни одного дня. Но превратить азиатскую монархию в самую, может быть, совершенную республику на свете — эта задача не может быть решена в несколько дней.

И вот что:

— Стремясь к цели, мы должны остерегаться в нашем разбеге перескочить через цель! тогда она окажется не у нас, а позади нас. Окончательный результат зависит от нашей выдержки и хладнокровия.

Нет, вот вершина, только теперь увидел он сам:

— Никакая контрреволюция невозможна, ибо нет безумца, который решился бы восстать против воли всей армии, всего крестьянства, всей рабочей демократии, против желания России. А если бы кто и попытался восстать, то где он найдёт сторонников? — ружья не будут стрелять, поезда не будут ходить, и безумная попытка не выйдет из кабинета на улицу, а если выйдет, то в тот же момент от безумцев ничего не останется.

О войне? Как придать сил воинам? О! —

— Вернитесь на фронт и исполните свой долг, почти невыносимый! Мы требуем! — а кто не услышит этого требования, заставим признать, — что мы имеем право на своё место в мире, которого никому не отдадим! Пусть не думают, что свободная Россия значит распад, что демократия значит — анархия. Кто так думает — тот ошибается, и уже ошибся! Да ни один солдат, ни один матрос ни в одном государстве не имеет тех прав, которые имеете вы!.. Но права налагают обязанности...

Устал. Этак и не остановиться. Ещё — про очаг демократической свободы, и обошёл счастливых делегатов с левой рукой — и дальше, дальше. Сегодня, 12 апреля, рядовой будний день — и какой же типичный для генерал-прокурора, забит заботами, как бочка селёдкой. С утра в газетах тревожное сообщение: что делегаты 12-й армии считают содержание царя в Царском Селе недостаточно строгим — и требуют перевода его в Петропавловскую крепость. (И опять заподозрил манёвр Нахамкиса! угрожающе! — надо мчаться туда и принимать меры. Сегодня же!) А тут — добивается министра кто? — депутация ученической городской управы. Что, мои милые молодые люди? Оказывается, среди гимназистов возникла агитация: сегодня всем идти к особняку Кшесинской и демонстрировать против Ленина. Ученическое самоуправление постановило остановить: это не дело гимназистов. Но младшие — не слушаются, и управе нужна поддержка популярного революционного вождя.

— Ах, — только мог улыбнуться Керенский, — ах, ах, этот Ленин. — И строго: — Да, я *запрещаю* эту манифестацию! В свободной стране должна быть свобода слова, и большевики имеют на неё право, они боролись против царизма, как и все мы. Передайте гимназистам: я *за-пре-щаю* им идти! Свобода должна прийти в школу, но ученики не должны выходить на свободу. Мы — справимся сами, поверьте! — (А то Ленин ещё напустит на них свою вооружённую стражу — это что будет? Уберечь детей, не пропустить их на Троицкую площадь.)

И, ах, этот Ленин! С каким ненужным грохотом он прокатил через Германию — а зачем? только подорвал свой авторитет в массах. Но для амнистированного эмигранта никакой путь возвращения формально не запрещён — и Керенский в правительстве первый отвёл потуги Милюкова «не пустить» Ленина в Россию. Да, вот

он получил много протестов от петроградцев — принять меры против ленинской агитации, но горд, что не принял никаких: надо же самим быть достойным объявленной свободы! Да вот что: посетить бы самому Ленина там, в логове, разъяснить ему, — ведь он оторвался от России и живёт в совершенно изолированной атмосфере, видит всё сквозь очки своего фанатизма, около него нет никого, кто помог бы ему ориентироваться. Да как два выдающихся социалиста — разве они не нашли бы общего языка? (Тем более что в своей циммервальдской глубине — Ленин конечно прав, прав!) Да ведь они же с Лениным и земляки — симбиряне. Когда Саше Керенскому было 6 лет — его отец подписал аттестат зрелости 17-летнему Володе Ульянову.

Но нет, постеснялся поехать: во-первых, всё-таки унизиться, а во-вторых — как бы не оскорбил публично, с него станет.

Да тут вот — другие социалисты: сегодня же Керенский даёт в министерстве завтрак в честь Альбера Тома, и приглашён приехавший на днях Чернов (считается лидер эсеров, хотя для Керенского какой он лидер), и конечно же любимая Бабушка! И за завтраком снова — такое, такое понимание с Тома, такая дружба!

Но — долг генерал-прокурора влечёт в автомобиль — и в Царское Село. И — в ратушу, к уже собранным представителям гарнизонного комитета и воинских частей. Товарищи, пусть не смущают вас эти неосведомлённые требования 12-й армии. В Петропавловку сейчас переводить бывшего царя невозможно. А побега отсюда — быть не может, вы же охраняете сами. И никакие сношения с внешним миром из Александровского дворца невозможны. Я — лично осмотрел, я — лично всё контролирую, и комендант — знакомый мне подполковник Коровиченко.

Жалобы: во дворце спаивают караульных офицеров — и так они могут быть подкуплены.

Оказывается, по традиции Двора караульным начальникам выдаётся в день дежурства по полбутылки вина из царского погреба.

Ах вот оно что! Хорошо — бутылки отменим. И — усилим охрану давайте.

Успокоил. А теперь что ж — заехать и во дворец?

А заехать — так повидать и государя?

Поговорили, и чуть не час. Нет, просто очаровательный человек его величество.

И — ни на что не жалуется. А ведь — полмесяца отделён от жены. А следствие до сих пор не принесло никаких обнадёживающих даже намёков. А вот что: соединить их опять, ладно, снял запрет.

Гнал назад на высшей скорости, уже в темноте.

Всё время — в поворотах, в перелётах, но, удивительным образом: именно от них набирается и набирается сила революционного вождя.

Вспоминал: нет ли сегодня ещё чего? Да, обещал же быть на концерте Кусевицкого. Ну что ж, поехать, это тоже важно. Что-то надо будет и сказать, подходящее к случаю.

13

(Фрагменты народоправства — фронт)

* * *

Сильным ледоходом по Двине были разорваны подводные телефонные провода, соединяющие наш правый берег с нашей позицией на левом. И плыть через реку нельзя, и осталась для связи только лампа, мигать. Но висит над рекой трос — и рядовой технического поезда Александр Лощинский взялся: перебраться по тросу над рекой и так перетянуть провод. Немцы стреляли в него — уцелел, перешёл! С двух берегов все за ним наблюдали — и собрали ему на подарок. А генерал Радко наградил его Георгием.

* * *

Сильное наводнение на Двине заставило обе стороны спасаться от воды. Четыре недели стояло затишье. К Пасхе вода спала, но снова затишье. То и дело германские ландштурмисты поднимают белые флаги, из окопов выходят, манят руками и шапками, везде возникают встречи, иногда успевают поменять свою колбасу на наш хлеб и дать нашим прокламации, и не было случая вероломной стрельбы. Потом иногда наша артиллерия разгоняет их предупредительным огнём. Пехотинцы угрожали забросать ручными гранатами батареи, которые будут мешать братанию.

Артиллерист-подполковник Буря шёл на наблюдательный пункт — пули свистели сбоку, своя пехота стреляла в него.

* * *

В этом году сошлись две Пасхи рядом, сперва немецкая, потом наша, через неделю. Оно и в прежние годы по Пасхам стрельба умолкала, а ноне — ну полное замирение, на полмесяца.

Ещё перед тем ихние разведчики метали перед нашими окопами листки, а то и с аэроплана: «Русские солдаты! Узнайте, что сказал наш канцлер о мире. Только мы не мешаем вам, а вы не мешайте нам». Значит, не требуйте, чтоб и Вильгельм отрекался.

А тут — повывезали они на всех участках, и с белыми и с красными флагами, и с поднятыми шапками, — приглашают: выходите, мол, за свою проволоку, вот тут сойдёмся на ничей.

Ну что ж, мы и рады. Пошли.

Да ведь и батюшка учит, что все люди — братья.

* * *

А в Карпатах, в 18-м корпусе, немцы пришли днём в наши окопы дружелюбно брататься. И видно, разведали, где стоят сегодня пулемёты, у них места переменные. И тем же вечером — стрельба, ударили точно по ним.

* * *

После прибытия депутации из запасного батальона из Петрограда — настроение фронтового лейб-гвардии Московского полка сильно возбудилось. В вечер после принесения присяги Временному правительству беспорядочная подвыпившая толпа нижних чинов окружила офицерское собрание с угрожающим гулом: «Арестовать!» Не всех, у них оказался список на 11 офицеров. «Но за что?» — спрашивал подъехавший в коляске командир полка генерал-майор Гальфтер. Ответы выкрикивали: чересчур строги, привержены к павшему режиму, враждебны к новому порядку. Генерал-майор ничего не нашёл, кроме того, что сам их арестует, — и двинулся в штаб дивизии, офицеры — вокруг его коляски, а три десятка вооружённых солдат — за ними, в виде караула. Там они стали охранять офицеров, вошедших во двор штаба. Но на крыльцо вышел капитан Рыков, свой же московец, с утра бывший в штабе дивизии по делам. «Вы что здесь делаете?» — «Караул». — «Какой караул? Пошли вон, сволочи!» Огорошенные солдаты отступили и отправились в полк, ворча. Но офицеры отказались отправиться к своим частям, если виновные в бунте нижние чины не будут наказаны по законам военного времени. Однако этого — начальник дивизии не мог произвести. И обречённые офицеры покинули полк и отправились в обоз 2-го разряда. Это стало называться — «по обстоятельствам времени». На их должности солдаты выбрали других офицеров — и штаб гвардейской дивизии утвердил.

* * *

Прапорщик Крыленко 13-го Финляндского полка, уже достаточно наговорясь у себя в полку, обратился в соседний 11-й полк за разрешением выступить у них на митинге. Социал-демократ, отказать нельзя, на второй день Пасхи собрали митинг. И говорил так: австрийцы против нас — это враг открытый и честный. Но есть другой — опасный, потому что скрытый, это — внутренний враг, сторонники монархии и реставрации старого режима. Они потихоньку собирают силы, чтобы всадить нож в спину революции. Эти враги есть — и среди офицеров и генералов из дворянских кругов.

Два часа говорил. И кончил:

— Да здравствует грядущая мировая революция!

Вытер лоб грязным платком и спрыгнул со стола. Командир полка подошёл к нему, обнял и расцеловал.

* * *

Офицеры с надеждой встречают приезд делегатов-думцев: может быть, они образумят, исправят настроение. А солдаты: опять приехал буржуй, опять наговорит, ему только нашей кровушки, чтобы мы лезли на колючку, а они бы распрекрасно жили в тылу.

Но командование не может запретить, когда приезжает делегат не думский, а от Совета. «Вот у нас кожевенный завод, я день-деньской дублю кожи в вони и грязи, а выручка идёт хозяину. А не должен я, работник, получать столько же, сколько хозяин, весь барыш делить поровну? Теперь — свобода и уравнивание всех прав!» Его речь идёт под одобрительные крики, смех, гогот.

Приезжают часто и в солдатской форме: «Мир хижинам, война дворцам! Война — это гибель народа. Германия тоже устала. Мы с германским народом помиримся, будет справедливый мир, и уничтожим армию. Земля — тем, кто на ней трудится».

И почему бы солдату не поверить? Надо ехать устраивать свою жизнь. Как же так: говорят «свобода» — а только тем, кто после войны в живых останется? Если свобода, обещают землю — зачем же умирать, а не попользоваться новой жизнью?

— Если Временное правительство не пойдёт об руку с Советом — вон его! А Николая — в Петропавловскую крепость!

* * *

Офицеры — по-разному себя повели. Этот — всю войну уклонялся от боёв, теперь является в полк, собирает среди офицеров подписку на революционную библиотечку для солдат. Тот, зауряд-чиновник, когда-то рыдал, получив портсигар из рук великого князя Михаила Александровича, — в апреле ставит около штаба дивизии вымпел: «Да здравствует демократическая республика!» — и интригует, как бы ему занять место старшего адъютанта.

* * *

И всё-таки на фронте ещё «революционное отставание» от того, как бродит тыл. Быстрей разлагаются технические, автомобильные команды. Подтянутые по-прежнему кавалеристы с презрением относятся к расхлябанной теперь пехоте. А те зовут их — «опричники», «офицерские приспешники».

* * *

А приехали в 8-ю армию агитировать три студента петроградского Технологического института, внушали продолжать упорную борьбу с немцами, — уже смётанные солдаты отвечали им:

— Ежели вам так нравится воевать — берите винтовки и оставайтесь в наших окопах.

* * *

В пехотном полку 18-го корпуса отличный боевой офицер, подвыпив, вслух хулил революцию и резко упрекал солдат за их поведение. В ответ его застрелили в спину и ещё надругались над трупом. Тут приехал комиссар Оберучев — с молодых ногтей народник, потом эсер.

— Вы убили офицера гнусно и подло. И убийцы стоят сейчас тут, среди вас. Мы — не будем их искать, и они уйдут от суда. Но я уверен, что пройдёт немного времени, и они сами явятся к властям и скажут: «Это мы убили поручика, судите нас! Нам тяжело, и мы не можем жить так дальше».

Молчала солдатская толпа, ни гугу.

Жди-пожди, явятся...

* * *

Вот уже и кавалеристы, спешенные в окопы, на митинге: «Мы несогласные так нас использовать. Али уж тогда назначайте эскадроны по жребию».

Даже в Преображенском полку в апреле солдаты отказываются идти рубить лес для поправки окопов, размытых наводнением. Еле убедил их поручик Дистерло.

* * *

Два батальона 611-го полка, которым назначили идти на позицию, построились в полном снаряжении. Отслужил поп молебен, после того солдаты открыли стрельбу вверх: не хотим идти! (А кто — и по офицерам, над головами.)

А то — целые патронные ящики бросают в реку: всё равно не будем воевать.

* * *

126-му Рыльскому и 127-му Путивльскому пехотным полкам было приказано выступить по параллельным дорогам на смену частей 12-й

дивизии. Рыльский полк, сделав дневной переход, следующую ночь митинговал и высылал депутатов выяснить: почему никакой полк их 32-й дивизии не идёт с ними по одной дороге, почему Путивльский пошёл иначе? И почему их послали на два дня раньше, чем предполагалось? И почему офицеры едут верхом? И верно ли, что командир полка уехал в тыл? Убедясь, что он здесь, — стали у него выяснять, правда ли, что Рыльский полк идёт усмирять 12-ю дивизию — а та уже заложила под мосты мины. Следующее утро и полдня командир полка увещал рыльцев идти — но они выразили недоверие и ему, и ротному и полковому комитетам и постановили: командировать выборных ото всех рот прямо в штаб корпуса: справедливо ли и правильно ли ими распоряжаются. А пока — стоять на месте и так отпраздновать праздник свободы.

* * *

Прибыло новое пополнение в 26-й корпус на Румынский фронт. Командир корпуса генерал Миллер сам вышел к прибывшим, увидел на них красные банты и ленточки и потребовал снять как неустановленную форму одежды. «Вы же не девки, надевать ленточки!» Прибывшие взбунтовались, толпой арестовали генерала — и отвели на гауптвахту. И никто в корпусе не мешал.

Из штаба армии: начальнику дивизии заменить командира корпуса и начать следствие. Генерала Миллера освободить и прислать для личного доклада.

* * *

Пока 2-я Сводная казачья дивизия стояла на передовых — она и после Пасхи поражала сохранением дисциплины, и никакой депутат к ним не приезжал, да и новые газеты что-то не попадали. Но в середине апреля отвели их в тыл на отдых — и казаки стали быстро разлагаться. Начались митинги. Требовали — делить экономические денежные суммы. Требовали уже теперь выдать в постоянную носку заготовленное на год вперёд обмундирование первого срока, хотя и носимое было хорошо. И 16-й Донской полк сам разобрал из цейхгаузов и разрядился в новое, за ним и другие полки. И алые банты надели. Требовали — больше отпусков. Казаки! — перестали регулярно чистить и даже кормить лошадей. Требовали, чтоб офицеры с каждым бы казаком ручкались: «Мы сами такие же офицеры, не хуже их!» Болтались, пьянствовали.

* * *

2-я Кавказская гренадерская дивизия получила приказ перейти из резерва на боевые позиции. Полковые комитеты собрались вместе с дивизионными и постановили: вызвать командира корпуса, чтоб он объяснил, почему на ответственный участок выдвигается именно их дивизия, а не 1-я. На другое утро командир корпуса генерал Махмандаров прибыл к строю дивизии и объяснял. Но его ответы не удовлетворили —

и прапорщик Ремнёв с толпой солдат сместил и командира корпуса, и начальника дивизии и назначил командовать корпусом растерявшегося генерала Бенескула, который и отправил на позиции 1-ю дивизию.

* * *

Ленин: «Самочинное смещение начальства солдатами?.. — полезно и необходимо во всех отношениях».

* * *

Засели солдаты в карты играть (раньше запрещалось). А на что ж играть? — да казённое имущество проигрывать. И устраивают вечера, танцульки. Запасные кухни обратились в спиртовые заводы. (Спирт очищают через газовые маски и так портят их.)

Увольняемые в отпуск или не возвращаются, или сильно опаздывают.

В артиллерии стали пропадать лошади. Что такое? Это — у ездовых на пастбищах дезертиры покупают лошадей, чтоб скорей догнать до станции, а то и до дому.

Восемь вёрст от передовой линии — а обстановки не узнать. По деревням и дорогам бродят безцельно толпы пехотных солдат. Иные идут обнявшись, сильно нетрезвые, поют осипшими голосами. Офицеров по пути останавливают, разговаривают в повышенном тоне.

Из 11-го Финляндского полка (где ораторствовал Крыленко) к середине апреля исчезло не меньше тысячи человек — и никого взамен. «Все домой едут — чего ж мне оставаться? Сказывают, теперь мириться будут».

Свежепленные немцы говорят: не наступаем сейчас, потому что через месяц в русской армии будет полный беспорядок.

* * *

Есаул Шкуро со своим адъютантом пришли в кишинёвский ресторан. Вломилась банда растерзанных пехотных солдат, расселись не снимая шапок и поносительно ругались. Шкуро подошёл к солдатам, потребовал снять шапки и вести себя пристойней. Они пререкались. Есаул пригрозил вызвать вооружённый отряд. Тогда они выскочили на улицу и созывали толпу на расправу. Адъютант успел позвонить в свой Особый Кубанский отряд. Разъярённая толпа грозила громить ресторан, если есаул не выйдет. Шкуро вышел со взведенным револьвером: «Семь уложу, живым не дам!» С рёвом и ругательствами толпа требовала идти в комендатуру. Шкуро ответил, что пойдёт сам, но напавал, кто приблизится. И прошли так квартал, — по каменной мостовой конский топот — и карьером вынеслась сотня! — и вторая! — на неосёдланных конях, полуодеты и босиком, но шашки, кинжалы, винтовки при них.

— А теперь — построиться, мерзавцы! — закричал толпе здоровой глоткой круглоголовый Шкуро.

И вся эта росхлябь быстро построилась, и руки по швам. (А казаки — позади них.)

Поблагодарил казаков, а этим:

— Вы — банда хулиганов, а не воины Родины.

* * *

По солдатским рукам в 40-м корпусе ходят листки:

«Братья! просим вас не подписываться которому закону хотят нас погубить, хотят делать наступление, не нужно ходить, нет тех прав, что раньше было, газеты печатают чтобы не было нигде наступления по фронту, нас хотят сгубить начальство. Они изменники, наши враги внутренние, они хотят, опять чтобы было по старому закону. Вы хорошо знаете, что каждому генералу скостили жалование, вот они и хотят сгубить нас, мы только выйдем до проволочных заграждений — нас тут и побьют, нам всё равно не прорвать фронт неприятеля, нас тут всех сгубят, я разведчик хорошо знаю, у неприятеля наставлено в 10 рядов рогаток и наплетено заграждение и через 15 шагов пулемёт от пулемёта. Нам нечего наступать, пользы не будет. Если пойдём, то перебьют, а потом некому будет держать фронт. Передавайте братья и пишите сами это немедленно.

С почтением писал *лес*».

* * *

Из «Молитвы офицера», рукописного стихотворения весны 1917:

*За верность отчизне у смерти в объятиях
Нам русский народ отплатил во сто крат.
Спасибо, родные, спасибо, собратья,
Спасибо, столица, спасибо, Кронштадт!*

ДОКУМЕНТЫ — 7

13 апреля

ПОСОЛ В ПЕТРОГРАДЕ ПАЛЕОЛОГ —

ВО ФРАНЦУЗСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Телеграмма, шифровано

...Я предпочитаю разрыв Альянса последствиям двусмысленных переговоров, которые социалистическая партия готовится предложить нам. В случае, если бы мы были вынуждены продолжать войну без участия России, мы могли бы за счёт нашей отпадающей союзницы извлечь из победы совокупность в высшей степени ценных выгод...

14

А посчитать, от отречения Михаила, — сегодня сорок первый день гучковского министерства, всего лишь. И из них чуть ли не восемнадцать провёл в дороге, поездках. И из них же почти неделю — проболел.

Болезни! что за заклатье! Надо было целую жизнь носиться в здорове — от Маньчжурии до Греции и до Бурской республики, целую жизнь провести в боях, в дуэлях, в диспутах, в подъеме на государственные высоты — чтобы тут доконало, подкосились колени, оставили силы. И особенно досадно: заболел ещё перед Киевом, уже в штабе Юго-Западного сказал депутатам, что еле передвигается. Но в проклятых грязных Яссах, на самом же юге и уже в апреле, вдруг ненастная погода, холодный дождь, — там он и добавил, крепко простудился. На другой день в Одессу приехал с температурой 39,5, а нагромождено было там дел, и ведь вызвал Колчака из Севастополя, и с мыслями не соберёшься, поговорить как надо. Именно в Одессе функционировал один из главных гучковских военно-промышленных комитетов, и теперь предстояло отдать долг, с вокзала потащился осматривать выставку оборонной продукции одесских заводов, и «поднесли» министру пушечный лафет. А затем — в гостиницу, на банкет с военно-промышленным комитетом, и одесский городской голова говорил речь о роли Гучкова, а Гучков в ответе подчёркивал все невероятные препятствия, какие ставила старая власть комитетам. И сюда же пришли с речами представители студентов, и украинцев, и поляков, и кому-то из них отвечал Гучков, что Одессы мы привыкли бояться, тут всегда был костёр, но она не оправдала наших опасений, тут всё на правильном пути. И в этой гостинице, в натопленном номере, ему и остаться бы до конца. Но только и мог он тут провести намеченные узкие совещания: с одесскими генералами, генерал Маркс докладывал, как он укрепил свободу в Одесском округе и не дал зародиться ни малейшему погрому; потом с особоуполномоченным по продовольствию; и с членами городской управы — о санитарии Одессы (насмотрелся он, как копошатся Яссы и Кишинёв без бань, без дезинфекции, на Румынском фронте — тиф); а на прибывшего Колчака, самое важное, — и времени почти не осталось. И тут бы лечь в постель, и врач настаивал, — но нет! Надо было ехать, как намечено, в штаб округа, держать речь к чинам шта-

ба, что переворот был необходим для спасения родины. Торжественно произвести в прапорщики вольноопределяющегося Зейферта, при старом режиме задержанного по неблагонадёжности. Но и это ещё под крышей, — а дальше ехать, не отказаться, принимать на Лагерном поле парад войск гарнизона. По дороге — шпалерами кадеты и юнкера, в сумрачном небе — аэропланы, по полю десятки красных флагов вместо боевых знамён. Сошёл с автомобиля и, уж каким голосом, как, — приветствовал и благодарил войска. Но и это ещё не всё, после того, уже к вечеру, — на Платоновский мол, где обходил построившиеся морские команды и морской штаб, здоровался, принимал рапорты, и ещё одну речь держал: служить на благо обновлённой родины. И ещё же не всё — на катере повезли на военный корабль, где Гучков приветствовал на палубе экипаж свободолюбивых сынов Черноморского флота, а потом на корабле ещё высидеть обед, не идущий в глотку, и под марсельезу отбыть на вокзал, а на улицах и под дождём — толпы народа. Ещё на вокзале — делегации, депутации, — и последняя надежда: сутки до Ставки лежать в вагоне.

Но — передалось, осложнилось на сердце, и в Могилёве он не смог даже посетить Ставку, лишь среди ночи в вагоне повидал Алексева и Деникина, теперь свою главную надежду. Совещались, как Гучков почистил состав Румынского фронта, начиная с Сахарова, да и на Юго-Западном, так что уже снятых генералов дошло до ста сорока с чем-то. (Заодно хотел и Рузского смахнуть с Северного фронта, заменить Корниловым, — Алексеев воспротивился.) Деникин возражал против такой массовой расчистки, неужели ошибся в нём? А Алексеев — полтора года на этом месте, привык, прирос, — как он может не справиться? Умолял их обоих крепить и держать армию. И: напрячься и начать наступление в начале мая, хотя б и со скромным успехом.

И потянулся поезд дальше. Вчера вечером дотацил до Петрограда, и сразу в довшин, и сразу в постель. И хотя сколько тут набралось приёмов, встреч, бумаг, распоряжений, — всё это на сегодня врачами отменено, и весь день безсильным пластом в постели, только самые близкие, Новицкий и Филатьев, ненадолго. (И Машу не позвал.)

Лежал — и не мог работать. Лежал — а в голове прокручивалась эта поездка, эти встречи, эти речи, уже и путалось, где именно что было. Точно — что с румынским королём встречался в Яссах, и с румынскими министрами (уже своей страны у них не мно-

го осталось). А исполнительный комитет дезертиров ведёт переговоры с гарнизонным комитетом и требуют отсрочки явки в полки, и грабят город, нет на них управы, — это в Кишинёве. Хорошо помнил совещание в штабе Сахарова, где снял сразу 14 генералов. И там же солдатские депутаты ему объясняли, почему арестовали генерала Келлера: требовал удаления красных флагов и мешал манифестациям. (Чтобы спасти старика — распорядился отправить его в распоряжение Корнилова.) Уже штаб Брусилова со штабом Гурко — мешались в памяти. А где была орация? Везде. Но особенно, конечно, на минском солдатском съезде, переполнена и площадь перед театром, и театр, и кажется, это там, в вестибюле, после речи, с некоторыми офицерами и солдатами — целовался. А где-то ещё, кроме Одессы, осматривал новые машины? В Киеве, в Арсенале. Недочёты снабжения, давал указания — и там, и повсюду. Ещё в Киеве — заезжал поклониться в Лавру. (Для министра — нужный жест.) И в Киеве тоже — депутации от поляков, украинцев, евреев. А в инженерном училище речь — там или где? А в госпиталях? По разным местам, благодарил, что заплатили подать Отечеству кровью. И почему-то на собраниях сестёр милосердия — дважды, да, в двух городах. Какую-то чушь им нёс, что не представляет себе фронта без сестёр — и пусть продолжают самоотверженную работу, не смущаясь нападками порочных элементов. (Всё ведь в армии стало разбалтываться, и с сестрами тоже.) И где-то носили его на руках до автомобиля, не раз. И где-то осматривал питательные и перевязочные пункты, санитарные поезда, а на станции Бирзула — эшелон, идущий на фронт. И сколько этих станций перемешалось — по пути на многих выходил с речами. И сколько этих речей! — перед сотнями юнкеров, солдат, матросов, перед депутациями Советов, перед толпами железнодорожных служащих и кто ещё собирался.

Говорил? Что говорил? Он не готовился к этим речам, а где что в голову приходило. (Он всегда считал себя хорошим оратором, но вот что обнаружил: прежде были речи для избранных, для интеллигенции, для Думы, — а перед простой массой нужно что-то совсем другое, он не находился теперь. Но главное: не допустить пессимизма и разочарования.) Больше всего он, кажется, повторял и повторял, что переворот был нужен для спасения родины. (Он и сам нуждался в этом утверждении, а значит, люди ещё больше нуждались.) Переворот явился для России актом самосохранения, единственное средство спастись от гибели. По работе в военно-

промышленных комитетах Гучков может им засвидетельствовать, что старая власть вела нас к верному разгрому и страшно подумывать, что случилось бы с нами без революции. Уже полтора года мы сознавали, что надо покончить со старым режимом ценой каких угодно жертв, даже путём насильственного переворота, — а его и не понадобилось, старая власть оказалась совершенно сгнившей. Переворот произошёл потому естественно, что все и всё уже видели: так дальше жить нельзя. А теперь, после сумятицы революционных дней, народ быстро совладал с собой, и жизнь всей страны уже входит в русло созидательной работы. А если мы не овладеем собой (это где-то в другом месте), то все светлые результаты переворота пропадут. Теперь — мы идём к военному торжеству, после чего приступим к внутреннему переустройству на началах свободы и равенства. Но теперь — и нельзя сваливать вину на власть, как это было при старом правительстве. Теперь — каждый из нас ответственен за судьбу родины, и если все проникнуты этим сознанием и сплотятся вокруг Временного правительства... Я знаю, что русский народ — это народ-чудотворец, и пережитое потрясение не пойдёт нам во вред. Оставьте всякую рознь, прочь излишнюю подозрительность, а все усилия — только против врага, немцы бьются уже из последних сил. Теперь, когда воины-граждане смело смотрят друг другу в глаза — дисциплина в армии станет ещё крепче и глубже...

А когда совсем плохо себя чувствовал, фразы получались жалостные: помогите Временному правительству, которое несёт тяжёлое бремя. Организуйтесь пока, как сами умеете... А то — чего уже и совсем не думал: Совет рабочих депутатов полон любви к России. Нас с ними объединяет эта любовь и жгучая жажда сохранить нашу свободу. Ну, как у всяких внутренне свободных людей, бывают и расхождения по некоторым вопросам. А на минском съезде совсем язык заплёлся, и призвал: «Теперь сокрушим и второго, внутреннего, врага!» — вместо «внешнего», и так и в газетах напечатали, да без запятых. И получилось, что призвал — сокрушить Совет рабочих депутатов?.. (Да неплохо бы.)

А в дни, когда не в поездках, — смотрел на столах довшина груды телеграмм с изъявлением верности, и от армий, и от флота, и от тыла. (Высочка Грузинов бил в колокола: «Коренному москвичу, ныне первому военному министру Свободной России, под грохот орудий со стен кремлёвских пусть будет услышан победный зов первопрестольной...» И вздор, а приятно.) И почти всякий час

в приёмной ждала одна, а то три и четыре фронтовых депутации, и министр принимал их уже соединённо и по пятку. А в те несчастные дни, когда ездил в Мариинский дворец, — то и там заседания правительства прерывали настойчивые делегации, и министры по несколько выходили с ними разговаривать и выслушивать и в руки получать резолюции их частей. Резолюции эти составлялись, конечно, немногими армейскими интеллигентами, писались ходкими писарями — а всё-таки настроение армии вложилось тут.

Мы молим вас: не прекращайте войны, пока нет полной победы, дайте нам только хороших начальников. И неужели новая Россия должна быть заклеена изменой? — это предательская воля старого правительства. И не забудем миллионы наших братских могил. А что мы скажем сотням тысяч калек: что их страдания были напрасны? «Долой войну» — это лозунг для изменников делу свободы, предатели и торгаши бьют нас в спину. — А латышские стрелки заявили: если будет заключён мир — мы никого не послушаемся и будем продолжать войну. И стоящие рядом сибирские стрелки — присоединились! — А финляндские стрелки: запасные части из Петрограда и Москвы не желают идти на фронт, этим наносят глубокое оскорбление нам, стоящим в окопах: мы — тоже революционная армия, а если б мы ушли с фронта — разве была бы свобода?

Да из многих мест упрекали правительство, как оно могло согласиться не выводить петроградский гарнизон на фронт.

Но, сидя тут, на Мойке, — попробуй выведи его...

И грозно о заводах. Тот не сын своей родины, кто требует от правительства денег, когда мы умираем на позициях. Мы 24 часа в сутки под свинцовым дождём, а ваш рабочий пот сохранит солдатскую кровь. За каждый прогуланный вами час ваши товарищи на фронте заплатят головами. Требуем, чтобы немедленно на всех заводах работа пошла полным ходом! (Да разве только на заводах? — уже и на ремонте оружия, и на рытье запасных окопов требовали 8-часового дня!)

И даже — гораздо прямей и настойчивей, Гучков удивлялся: эти фронтовые депутации понимали о Совете депутатов такое, что правительство не смело высказать вслух. 15-я Сибирская дивизия: просим Совет рассеять ложные слухи, что он посягает на власть Временного правительства. И даже ещё острее: как это поддержка Временному правительству лишь «постольку-поскольку»? — да это сознательно-губительная деятельность для нашей родины! До нас

доходят смутные слухи, что эта политическая группа, Совет рабочих депутатов, не имеет единства взглядов даже сама в себе, а издаёт постановления, противоречащие одно другим. Так просить о немедленном распубликовании именных списков Исполнительного Комитета, мы их никого не знаем!

Делегации, резолюции, — но никто же из министров не согласится заговорить таким языком, ни даже Милюков. Да и резолюции эти двоились. Тут же вдруг требовали: установить строгую очередь в отсидке на первой линии, *не считаясь с личными взглядами начальников частей*. Или: при назначении на командные должности прилагать к аттестациям также результат тайной баллотировки подчинённых, — то есть почти подвергнуть офицеров выборам. Другая беда: пока делегация едет в Петроград или пока резолюция идёт по почте — а там, там, в частях уже что-то успевает измениться. Поездивши вот по фронтам, Гучков успел и сам заметить: там происходит нечто другое, о н о идёт уже дальше, чем в мартовских резолюциях. И даже эти самые делегации — так хорошо говорят, если они начинают с Мариинского дворца или с довмина. А если с Таврического — то Совет как-то быстро успевает их обработать, и эти же самые делегации начинают говорить прямо противоположное. Да вот, в эти дни, пока Гучков ездил, Совет успел собрать в Таврическом какое-то «совещание фронтовых частей», случайный сброд вот таких делегаций, а как будто они уже представляют всю Действующую армию. Вели это совещание какие-то Липеровский, Лопуховский и Клоповский, ни одного известного имени, а выносят резолюцию, якобы всеобщей значимости: подчинение дисциплине и порядку не может распространяться на те случаи, когда *понууждают солдат к политическим поступкам, не согласным с их гражданскими убеждениями*. Так предложить Исполнительному Комитету (а вовсе не правительству) послать на все фронты и во все армии комиссаров с самыми широкими полномочиями и требовать от Временного правительства признания этих комиссаров!

Вот так всё и расплзлось, никакого единого стержня не было.

Да из 12-й армии Радко, где сам же Гучков одобрял начинания, четыреста офицеров — Совет офицерских депутатов во главе с латышским полковником Вацетисом, слали Гучкову декларацию: они — сомневаются в искренности многих лиц высшего командного состава и чинов штабов, которые могут стараться вредить. И если, мол, те ещё не совершают прямых сношений с врагом, то

только из-за боязни быть обнаруженными! Но в их руках — неправильное распределение боевых сил, посылка резервов не туда, куда нужно, сбивчивые распоряжения, опоздавшие приказания — и это всё предполагали офицеры в своих исконных старших начальниках! Какой опасный переклон! — да гучковской же идеи реформы. Если от массовой смены генералов начнут теперь, даже офицеры! — подозревать и каждого генерала, — то как же руководить войсками? И вот эти четыреста баламутов предлагали: правительство должно неотступно наблюдать за генералами на каждом шагу, иметь свои глаза и уши на местах — своих комиссаров при каждой армии.

Опять и тут — комиссаров.

Да комиссаров от правительства и можно бы разослать — но в помощь генералам, а не для шпионства за ними! А эти четыреста, от поручиков до полковников, предлагали именно шпионство: «опереться на общественные организации прогрессивных солдат и офицеров», — *прогрессивных солдат!* ещё не знали таких со времён Александра Македонского! — получать «точнейшие сведения, не только о поступках и поведении, но даже настроении всех лиц командного состава»! И ещё дальше: создавать при исполнительных комитетах *осведомительные бюро* из 4-6 лиц, и эти бюро будут постановлять об устранении лиц командного состава, замене чинов штаба, признании их деятельности вредною — и только что не прямо устранять, а докладывать Главнокомандующему и военному министру. Вот куда раскатывалась революция!! А простодушный (или потерявший голову) Радко — пересылал вот такое-сякое Гучкову...

Да в какой стране когда такое складывалось: при полном отсутствии именно всякой ответственности — такая власть исподтишка! Совет депутатов — как тайный советник, которому нельзя отказать. Как ещё один Распутин, коллективный Распутин. Нет, ещё наглей: в последние дни марта на своём гомозливом совещании Советов они объявили «тёмной силой», Распутиным, — именно Гучкова!! и что он — чуть ли не друг династии Романовых, раз ездил к царю за отречением!

И как вот на это всё? Как военному министру поспеть против этих необычных партийных, советских приёмов — каких-то встреч, обработки, совещаний? Отвечать? — как будто низко. А не отвечать? — это и повторить ошибку трона: они ни на что не отвечали — и свалились.

Совещание Советов постановило: «Дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии». Свою банду — они называют «демократией».

Не в таком унижении мечталось прежде Гучкову его будущее участие в управлении Россией.

И бедные, бедные эти «лица командного состава»! Ревельские офицеры призывали *забыть все обиды*, нанесенные матросами «в период недоверчивого отношения» (когда расстреливали), и только жалостно протестовали, что всё же недопустимо вмешательство матросов в оперативную боевую работу офицеров и, ещё жальче, — в личную жизнь офицеров, потому что, ещё жальче, офицеры — *тоже* полноправные граждане...

А приходили военному министру и такие офицерские письма, что армия вообще не хочет воевать, надо кончать войну, иначе произойдёт катастрофа.

Да даже не смел Гучков (не оскорбив общественность!) изъять из Земсоюза и Горсоюза пристроившихся там офицеров, а только с *горячим призывом* звать их на фронт, а в тылу их заменят небоеспособные.

И даже такое воззвание издавал: его прежним приказом № 114 солдатам разрешено посещать театры, кинематографы, пользоваться всеми железнодорожными классами, но *не бесплатно*, «как это, очевидно, понято», напротив, защитники отечества должны подавать пример выполнения правил.

И ещё же такое: в первые дни великих событий обновления родины различными лицами взято много автомобилей из казённых гаражей, — так автомобили крайне нужны для Действующей армии, и прошу взявших вернуть, а где есть испорченные — сообщить.

А тут слали военному министру требования дать политические права и вражеским военнопленным в России: свободу передвижения в их местностях, свободу собраний и жить на частных квартирах. И Гучков вынужден был печатать разъяснение, что это противоречит понятиям плена и было бы несправедливо, ибо наши военнопленные в Германии содержатся жестоко.

А сколько ж было у министра забот, не доходящих до воззваний и публичных оповещений. Из малообученных солдат формировать сельскохозяйственные команды на помощь продовольственным комитетам. Да теперь, с министерского места, ощутил Гучков, как же драли его промышленные комитеты несходные цены

за военное снаряжение, цены эти и по военному и по морскому ведомству надо было, конечно, снизить — а для того назначить ещё две новые комиссии. А изнывающая без дела изначальная Военная комиссия (повисшая в воздухе ненужность, гибрид революционных дней) теперь, чтобы придумать себе деятельность, стала расследовать донос, будто в Петрограде образовались две крупные монархические организации. (А распустить всё же нельзя, одна наполовину как бы и от Совета.) А доносов анонимных приносили в министерство кипы — и опять-таки приходилось печатать разъяснение, что теперь Россия свободна, опасаться некого, — жалоба же анонимная, хоть и правдивая, может остаться нерасследованной. А у самого — анонимно же, тайная задача: как убрать с Балтийского флота самозванного адмирала Максимова? Он самовольно увеличил матросам нормы довольствия, угождает им, они за него горой и снять не дадут, — а между тем флот разваливается.

А ещё же: армия растягивается центробежно по национальностям, у поляков есть отряды — требуют свести в отдельную армию, украинцы требуют отдельных отрядов и полков.

Какой-то гремющий ужас.

А Гучков — потерял энергию. Израсходовался во всех этих поездках, начиная от псковской к царю.

Всегда он охватывался борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы, — а вот изменило.

Лежал плашмя, неровно билось сердце, тяжёлая голова, и не хотелось смотреть, смотреть эти бумаги, ожидающие решения. Невозможно даже сосредоточиться на одной ясной мысли.

Что же будет — с армией? с войной?

Приходится рассчитывать на чудо.

15

А Ленин, в поезде через Финляндию, не в шутку думал: вот сейчас пересечём границу, всех нас схватят — да в Петропавловку. Остряка Радека оставили в Стокгольме, и в поскучневшей компании договаривались с товарищами, как вести себя на допросах. Да ещё на швейцарской границе предусмотрительные немцы отобрали от каждого подпись: «Мне известно сообщение, что русское правительство угрожает рассматривать всякого проезжающего

через Германию как предателя. Политическую ответственность за эту поездку беру на себя». Всё-таки Временное правительство издали казалось куда сильнее, чем вблизи.

Но когда в Белоострове под моросящим дождём, при электрических фонарях, увидели толпу встречающих сестрорецких рабочих — Ленин вмиг понял, что — уже победил! Трудности ещё будут — а уже победил! На руках понесли его в вокзал говорить речь. Сказал несколько фраз, берёт заряд, — а всё ликовало. (Сдавать ли оружие? — спросили его рабочие, ответил: для пролетариата оно сейчас крайне необходимо.) И, как всегда без инерции, мгновенно и без остатка, покинул прежний настрой и обернулся в новый: взял Каменева к себе в купе отчитывать его за политическую линию «Правды», а в Сестрорецке уже и не вышел, послал речь говорить — Зиновьева. (Встречали и сёстры, и члены БЦК, ПК — с ними потом: Каменев за три недели вреднейше искажил направление партии.)

Ошеломительная встреча на Финляндском вокзале — с матросским караулом, растерянным Чхеидзе, прожекторами, броневиками, толпой — была только расширенным подтверждением того, что уже освоено два часа назад, и Ленин нисколько не отдался безпечной радости, а тотчас напрягся к борьбе за обезкураженную партию, которую вели в соглашательское болото: ночная речь к своим, дневная речь к своим в Таврическом, а позвали идти на объединительное заседание — трахнуть в морду и объединенцам: мы — уже не социалисты с вами, а — коммунисты! Похоронить объединение! Что ощерится вся эта социал-патриотская сволочь — Ленин и заранее знал, но что так растеряются от его программы свои большевики — всё же не ждал, он привык, что свои идут послушнее, тут придётся поработать. До того не идут, что пришлось оговориться на радость Церетели и компании: выступаю не от партии, а высказываю своё личное мнение.

Да надо же прежде уладить упреки с переездом: заодно там, в Таврическом, пошли на заседание их мерзкого ИК. Понимая, что сам будет всех там раздражать — смиренно сел у стеночки, суфлёром, а вместо себя выдвинул говорить: Зиновьева — и Зурабова. (Зурабов через Германию с нами не ехал, он только из Стокгольма, но очень зол на Милюкова за задержку паспорта в Копенгагене, и эта злость его весьма продуктивна. Наша уязвимость, что нам нигде не отказали в визе, а вот Зурабову отказали!)

Сразу взяли атакующий тон: не оправдываться, но наседать на ИК, чтобы тот давил на Временное правительство пропускать и следующие эмигрантские группы через Германию! — и освободить нас всех от буржуазной клеветы! И, по сути, на ИК одержали победу: ИК не только не посмел осудить переезд ни единой фразой, но постановил: добиваться от Временного правительства пропуска всех эмигрантов, независимо от убеждений! И на Контактной комиссии с правительством они уклонились обсуждать переезд — опять победа! Теперь ИК взят в прикрытие, если не в союзники, они замазаны вместе с нами. (А больше и ногі Ленина там не будет, больше с ними делать нечего.)

А взято на ИК — взято и в «Известиях», согласились напечатать «Как мы доехали» — приняты в общесоветской прессе, ещё победа! Ещё раз козырь: план предложил — Мартов! Временное правительство не отвечало на наши телеграммы. (А если не дошли — так мы не виноваты.) Честный социалист-интернационалист Фриц Платтен взял дело в свои руки. Экстерриториальный вагон. (Русская буржуазная пресса для оскорбления стала называть его «пломбированным» — отлично, нам подходит, тем более, значит, не было сговора с немцами.) Протокол одобрения подписан социалистами французскими, швейцарскими, польским Бронским, теперь и шведскими. И сказали нам эти товарищи интернационалисты: «Если бы Карл Либкнехт был сейчас в России — Милюков охотно выпустил бы его в Германию! Так ваше дело — ехать в Россию и бороться там с германским и русским империализмами!» И мы думаем, что эти товарищи правы.

И несколько отвлекающих шагов: а вот Чернов ехал через Англию — его сперва завернули. Виноваты вместе английское и Временное правительство, что мешают эмигрантам возвращаться, — союзники действуют по спискам старых охранников! Теперь мы требуем в обмен на нас освободить интернированных немцев. Ещё требуем: возмещения убытков нашего переезда, совершённого за наш счёт! Да вот и ещё: а почему никакие газеты левее «Речи» не проходят за границу?

Начало сошло просто архиотлично, и уже вздумал Ленин, что с переездом вообще кончено, спешим к другим революционным делам. Куда там! — только разгоралась в буржуазной печати, а затем и на улице, закинута в рабочие и солдатские головы — злобная, мутная, помойная клевета против ленинской группы, — и не уди-

вительно, что травлю повела вся шовинистическая великорусская шваль, но к ним присоединились и бешено-клеветнически-грязные, погромом пахнущие приёмы Плеханова. (Плеханову отомстим: «Продался буржуазии, перешёл на сторону капиталистов», посмотрим, чей крик будет звонче. «Продался немцам» потонет, если вытягивать интернационализм, а союза с буржуазией не простят.) Но и эсеровское «Дело народа» изрыгало вместе со всеми — «политическое безчестье», «политическая безтактность», эти могли бы воздержаться. Но дело, конечно, не в этих горе-социалистах, важно не упустить мозги масс. Вот уже и какая-то мелюзга, 4-й там фронтовой санитарный отряд, требует публичного расследования обстоятельств, при которых было организовано путешествие Ленина.

А вот этих — поддержать: честный голос в хоре клеветников! Да, да! Мы сразу и вступили на этот честный путь честных людей — сделали доклад о проезде Исполнительному Комитету, — зачем же теперь, товарищи из 4-го передового отряда, вы спешите клеймить проехавших «предателями»? Да, да, и мы этого хотим: публичного, наконец, расследования! И немедленно — дать его! минуя всю продажную прессу — прямо к головам масс — «Воззвание к солдатам и матросам» (писал вчера, кончил сегодня). Газеты капиталистов безстыдно лгут, намекая, будто мы пользовались какими-либо необычными подачками от германского правительства. Капиталисты лгут, пуская слухи, что мы совещались в Стокгольме с германскими социалистами, что мы — за отдельный мир с немцами! Мы хотим мира *всех* народов через победу рабочих *всех* стран над капиталистами *всех* стран! Но почему же эмигранты, томящиеся за границей из-за их борьбы против царя, не вправе без правительства договориться об обмене русских на немцев? А почему Милюков не пустил в Россию Платтена? Дошли до такого безстыдства, что ни одна газета не перепечатала из «Известий» — «Как мы доехали». Потому что наш доклад разоблачает обманщиков! А плехановская газета как смеет не перепечатать постановление Исполнительного Комитета? Это — анархическое неуважение к выборным большинства солдат! И это — безчестный приём погромщика! Был когда-то Плеханов социалистом, а теперь изобличён в погромных приёмах!

Некрасов публично намекнул, что «с Каменноостровского раздаётся проповедь насилия», — сейчас же ему в «Правде»: «Господин министр предпочитает тёмные намёки, вы лжёте! проповедь насилия ведёт Гучков, грозя карами за смещение властей, а наша

работа — *разъяснение* всех ошибок революционно-оборонческого утара».

Ни минуты в обороне! — всё время атаковать! Отрицать и клеймить на 100%. Отпугивать ярлыками! Так замазать им морду, чтоб им не отмыться!

Пусть все клянут хором! — сенсация! — а это и надо! Ленин и хотел произвести среди них смятение.

Но как бы не так! Эти рыцари вонючей клеветы, особенно из «Русской воли», разожгли в обывателях такую звериную злобу к ленинцам, что уже не обойдёшься одной порядочной печатной полемикой. Солдаты Московского батальона хотели громить издательство «Правды». Затем донеслось, что в Волынском батальоне хотят арестовать Ленина, потом захотели того же где-то матросы (а те, кто встречали на Финляндском вокзале, отреклись, что не знали, кого встречали). Пришлось снова просить защиты у Исполнительного Комитета. Эти три заговора — успели разрушить, но ведь не знаешь, где и когда возникнет четвёртый. А что ж? придёт большой отряд — и легко штурмуют дом Кшесинской. Схватят — и разорвут, ничего мудрого, ведь при этом правительстве от закона не дождёшься защиты. А что особенно опасно: как бы не бросили снаружи в особняк бомбу — и погребут сразу тридцать человек! Надо добиться от Совета защиты особняка! И вот что: установить самим круглосуточные наружные посты, от бомбы мы особенно уязвимы.

(Так и задумаешься: да чёрт раздери! может быть, таки не надо было ехать через Германию? Ожидал демократической тюрьмы, но не ждал, что натравят чёрную сотню. Выиграл месяц? или только две недели? А с другой стороны подводные лодки?.. Зато — ни к чему не опоздал, всё вовремя, и вот уже живительные денежки потекли через Ганецкого, послезавтра начинаем «Солдатскую правду» и начинаем «Голос правды» в Кронштадте.)

Но, караул, как защититься от прямого погрома? Срочней писать ещё другое воззвание: **Против погромщиков!** Опять — к рабочим, к солдатам, да даже ко всему населению Петрограда. Мы обращаемся к чести революционных рабочих и солдат. Вожди Совета нас оправдали, а они не могли действовать из кумовства нам. Долой героев травли и обмана, скрывающих постановление Исполнительного Комитета! Они осмеливаются не перепечатать «Как мы доехали» из «Известий», а хотят посеять смуту. Обмен между русскими и немцами для богатых людей устраивали не раз — почему же нельзя устроить обмен для эмигрантов? Мы стоим во-

все не за насилие, а за *разъяснение* и уважение к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов. Мы хотим разъяснить членам Советов, что в руках Советов должна находиться вся власть. Имеем сообщения об угрозах нам насилием и бомбой. Если будет применено к нам насилие — мы возлагаем ответственность на редакторов «Русской воли», «Речи» и «Единства»! — а газета Керенского «Дело народа» (демократы, у которых проснулась совесть демократов) уже назвала их погромщиками. Мир революционной демократии поддерживал нас в спокойной, выдержанной и достойной форме. Товарищи солдаты и рабочие! Вы не позволите омрачить свободу народа погромами!..

В воззвании, в листовке выразиться легче, пишешь как упрощённую статью. Но сейчас создалась неповторимая обстановка, когда и можно, и надо, и почти неизбежно — обращаться прямо голосом к массам. А ещё с Пятого года к тому осталась какая-то щемливая неуверенность, Ленин выступал тогда мало и перед малыми собраниями. Но надо преодолеть себя! Поехали с Зиновьевым в Измайловский батальон, а на послезавтра поспешил согласиться в Гренадерский. Но в Измайловском испытал, по сути, фиаско: как поднялся, окружённый сотнями этих солдат (с балкона Кшесинской другое, спиной ощущаешь поддержку своих), — и лица тупые, не привыкшие ни к терминологии, ни к дискуссиям, — как им говорить? Не о чём, он повторял свои тезисы и статьи в «Правде», — но как? Он произносил фразу за фразой о международном империализме, капитализме — и не видел никакого отзыва на лицах. И, пытаясь прорвать пелену, — невольно назвал Вильгельма коронованным разбойником, как ещё ни разу с приезда (и как было тактически несвоевременно, о Германии лучше пока помалкивать), и отмежевался от немедленного мира во что бы то ни стало: большевики так не призывают. А вот: немедленно свергать Временное правительство! вооружённый поголовно народ — вот кто установит необходимый порядок! — Но и это не увлекло толпу. — Так: немедленно захватывать помещичьи земли! Никому не доверяйте, полагайтесь только на свой опыт — и тогда Россия твёрдыми шагами пойдёт к освобождению всего человечества!

Нет, выступление досадно не удалось, и даже криков возражения не вызвало, крах. А вот Зиновьева — звонко понесло, слушали лучше, и говорил он легче, — вот как? так у нас ещё оратор появился?

Теперь давило это обещание Гренадерскому батальону — а там будет диспут, ораторы от кадетов и эсеров, — ни в коем случае там не появляться, так можно влипнуть, в один раз потерять всё значение! Там могут быть всякие неожиданности и провокации. (А вот, блеснуло, где нужны и будут успешны митинги: около булочных, у очередей. Один агитатор поговорил пять минут и обработал сотню женщин: задача женщин — требовать немедленного возвращения с фронта их мужей, сыновей, братьев!)

Но буржуазная публика, однако, так напугана фигурой Ленина, что сегодня наврали газеты, будто вчера он выступал перед пятью тысячами с крыши цирка «Модерн», тут, на Кронверкском, рядом. Митинг-то был, но без него. (И звали к аресту и погрому особняка, и милиция арестовала два десятка зачинщиков.) Посмеялся, представляя себя на крыше. А характерная ошибка: боится Ленина либеральная свора, боится!

Нет, надо учиться речи говорить. Этому можно научиться. Не красивые позы, не красивые фразы, а — зацепить, что берёт за нутро, и повторять, и повторять, и повторять одно и то же, как гвозди заколачивать, — вот и вся задача.

А ещё раньше задача: и в этих невыносимо диких условиях травли и нависшего погрома, в этом политическом шторме — приводить к единству свою партию, команду собственного корабля. Это — прежде всего, без этого не продвинуться ни в чём. Ни в каких кризисах массы не способны действовать самостоятельно, массы нуждаются в руководстве со стороны маленьких групп центральных учреждений нашей партии. Срочно подготовить руководителей — а они воздействуют на массы. А какая была встреча на площади, ведь это потенциально — все наши, только надо их доработать. А у нас — положение самое тревожное, с приходом Каменева «Правда» сильно колебнулась к каутскианству, и это опасно разлагает ряды.

Собирал совещания, беседовал с отдельными группами, беседовал с отдельными товарищами конфиденциально — то на квартире у Стасовой, то у сестры Анны, прочищая мозги (выбирай: или ты верный слуга пролетарского дела, или предатель социализма и прихвостень буржуазии!). И — с сёстрами о том же, когда ездили на Волково кладбище к умершей недавно матери, — ведь это тоже два члена партии, два верных голоса важны, нельзя пренебрегать. (А с Инессой отношения до того испортились, что перед выездом

из Швейцарии даже не мог просить её перевести прощальное «Письмо швейцарским рабочим», поручил Карпинскому.)

Сперва — все шарахнулись прочь, даже ближайшие партийные товарищи, всем показались его тезисы безумием. На ПК за тезисы подано 2 голоса, а 13 против. Ну да не одиночной сейчас, чем оставался в 1908, — перестоим и убедим! Быстро учась в российском воздухе, Ленин всё равно ничего не уступил им ни в программе, ни в политике. Он — чувствует, чувствует, как ветер революции рвёт в парусах дальше вперёд — а им кажется: пока хватит. Неизбежен новый разгар русской революции! — она только начинается!!

После того как лозунг «долой самодержавие» так внезапно осуществился — у пролетариата не оказалось следующего запасного лозунга. А такой лозунг — переход к социалистической революции! Начав революцию — надо же продолжать её! Да пролетариат должен был захватить власть ещё в самом начале движения! Надо помнить, что в революционное время пределы возможного тысячекратно расширяются. Как? — большевики — и боятся лозунга гражданской войны? Да как же можно, признавая классовую борьбу, не понимать неизбежности превращения её в известные моменты в гражданскую войну? Нет! Или принимайте лозунг гражданской войны, или оставайтесь с шовинистами! Мы — проповедем гражданскую войну и в этом направлении работаем.

Ну, можно говорить не «гражданская война», а «революционные массовые действия», не так важно. Лозунг гражданского мира — мещанское нытьё, в каждой стране мы должны возбуждать ненависть к своему правительству. Вы возражаете: рабочие не готовы? Вопрос не в том, к чему рабочие уже готовы, а к чему их *готовить*. А когда массы поддались утару революционного оборончества, то для интернационалистов приличнее противостоять массовому утару, чем «хотеть остаться» с массами. На известное время надо быть и в меньшинстве против массового утара! Поэтому работа пропагандистов сейчас становится центральным пунктом. Конечно, умело и осторожно, прояснением мозгов, но вести пролетариат и беднейшее крестьянство, батрацких депутатов — к полновластию Советов. («Батрацкие депутаты» — это сверло в крестьянскую безформенную массу.) Перед массами надо поставить нечто простое, что они могут охватить. Советы — это просто. Наш лозунг — не парламентарная республика, это теперь шаг назад, а республика Советов по всей стране снизу доверху! (Захватить бы

нам Петроградский Совет — и это решило бы всю проблему власти.) Никакой поддержки Временному правительству. От первого этапа революции — ко второму! Парижская Коммуна слишком медлила с введением социализма. Контроль над банками, слияние всех банков в один — важный шаг к социализму. Уничтожить постоянную армию, полицию, чиновничество, а поголовно вооружённый народ будет сам осуществлять всё управление.

Главным противником, объединяя сопротивляющихся, тут выступал Каменев, и прямо в «Правде». И даже в «День» попало, что Каменев считает ленинский подход дезорганизующим. Да, он фактически переходит в положение изменника. Хотя бы то, что: как можно было, всего за два дня до ленинского приезда, проголосовать на Совещании Советов за единую резолюцию, не указав на классовый характер Временного правительства? Это — возмутительно и непростительно! И у него социал-предательская любезность к эсерам, он уступает им. Он слишком подлаживает, и недостаточно смело разрушает. И если будет нужно — то начнём его сейчас шельмовать. (И он не выдержит, и знает это.) Он оппортунист, но умеет быть послушным. А в конце концов — прошлого нет, есть только настоящее, кто полезен сегодня.

А Шляпников через два дня после приезда Ленина попал под трамвай, теперь в больнице. Да он-то как раз серьёзных ошибок не наделал, но всё равно ему в отставку, в новом периоде ему не справиться, он был временная фигура.

Есть закономерная необходимость в чередовании исполнителей. Суть успешного политического руководства в том, что видишь вперёд и видишь, где враг слабее всего в данную минуту, куда сейчас нанести удар, не вчера и не завтра, — но этим напряжением ты почти исчерпан, и остаётся только посылать готовых, послушных, согласных — туда, по открывшемуся направлению, и многие нужны другие люди: всего не переделать самому, да всего и не можешь сам уметь. Но в момент, когда ты высмотрел решение и, как гипнотизёр, переливаешь ток своей воли в того, кто будет действовать, — в этот напряжённый момент недопустимо в принимающем никакое сопротивление, несогласие, сомнение — оттого ударяет как этим же током, и расшвыривает.

Ах, Малиновский! Теперь ещё приложилась и травля о Малиновском: нашли документы, что он сотрудничал в охранке, и теперь тыкали Ленину, что он с Зиновьевым и Ганецким в «Правде» покрывал Малиновского, поручался за политическую честность

его. (А ведь готовил возврат его в партию, и вот в январе печатал в «Социал-демократе», что все обвинения в провокаторстве сняты с него партийным судом как абсолютно вздорные, но, томясь в немецком плену, он не имеет возможности защитить себя. Теперь остановили экземпляры, какие ещё не разошлись.)

А пути? Путь ясный: рабочие должны проявить чудеса организации, чтобы победить во втором этапе. Массы боятся идти на второе свержение, опасаясь новых невзгод? Так надо толкнуть их через этот порог. Путь? Безусловно: создание рабочей милиции, Красной гвардии! Это уже начато, и надо срочно её укреплять. Красная гвардия — это и есть решение вопроса о вооружённом восстании! *Эпоха штыка — наступила!!* (А гласно отвечать: создаём для того, чтобы сопротивляться восстановлению монархии и попыткам отнять обещанные свободы.)

И особо: поддержка революционного Кронштадта. Большевики должны завладеть Кронштадтом! (Завтра приедут оттуда матросы агитировать Петроград против травли.)

И — никакого объединенчества с социалистами всех толков. Все они — мелкие буржуа, все они только колеблются, мешая прояснению рабочего сознания. Иду на немедленный раскол с любым в нашей партии, кто захочет объединенчества! Конечно, конечно, мы, большевики, хотим единства — но вокруг *нашей* программы. Мы готовы объединять всех, кто способен в настоящую минуту идти на социалистическую революцию!

Десять дней обрабатывал так поодиночке, по трое, по четверо, готовя себе необходимое большинство, — тут понарастали какие-то новые члены партии, которых он и имён в Швейцарии не знал, какой-нибудь Томский или Косиор, и каждый, мол, имеет своё мнение! Но подсчитывается, что большинство уже набрал. Завтра собираем городскую конференцию большевиков и добьёмся правильных резолюций. Через десять дней собираем всероссийскую (кой-кого своих послал на места для правильных выборов) — и добьёмся круговой присяги верности. И ряды — сплочены.

И — верно рассчитать удары, по кому дальше бить. И наносить их — только успевать поворачиваться.

По либералам и Временному правительству — в первую очередь! Кадетский съезд — это было сборище беспомощных фигляров. (Съезды, съезды — ну, проболтаетесь.) И голос Временного правительства дрожит на каждом слове: в ответ на массовое дезертирство Гучков не смеет угрожать никакой карой! Ха! Против аг-

рарных волнений — они совершенно беспомощны. И уже защемили себе лапу с декларацией 27 марта. Но это не значит, что по ним ослабить удары, — нет, усилить! и звать массы против них: гигантский переход от дикого насилия к самому тонкому обману! Не упустать ни чёрточки: вот Покровский и Коковцов вступили в банковский совет — сейчас же воззвать: *вчера министры — сегодня банкиры?* а во скольких банках участвуют сегодня Гучков, Терещенко, Коновалов? — банковские служащие должны собрать на них материал. Буржуазия свергла царя, чтобы сохранить своё господство империалистическим путём. Но тем, что она решила продолжать войну, — она ускорила германские действия по своему свержению. Временное правительство надо **свергнуть**, ибо оно — олигархия, буржуазия, не даст нам ни мира, ни хлеба, ни свободы.

Но и: Временное правительство нельзя свергнуть, пока оно держится соглашением с Советами. А значит: поднимать массы сразу — и против нынешней гнилой «демократии», и против нынешнего советского большинства, поддавшегося обману разбойного буржуазного правительства. Совет по недостаточной сознательности сам сдаёт власть буржуазии, а вожди Совета — затемняют сознание рабочих. (Разрушили самодержавие — и думают, достаточно. Никто из них не держится за власть, идиоты.) Рабочим Питера свойственна вражда к изменникам, так всеми силами поддерживать и закреплять эти чувства!

И весь огонь — по ведущей тройке исполкома: Чхеидзе, потому что он формальный председатель, а Церетели и Стеклов — потому что реально направляющие фигуры. (Скобелев — пешка, не в счёт.) И каждый раз, в каждой статье — бить по этим троице: они заняли позицию Луи Блана! глубоко вредная социал-патриотическая каутскианская позиция! (Керенский — тоже русский Луи Блан, и опаснейший агент империалистической буржуазии, и классический образец измены делу революции, и балалайка — но по нему пока не бить: слишком популярен в массах.) Мелкобуржуазные вожди, так называемые социал-демократы, только усыпляют массы, душат революцию сладкой фразой. Меньшевики — иуды, подчинились империализму Антанты! (На самом деле меньшевики — не противники, у них организации настоящей нет, как и эсеровская партия в растерянности, и возражения их в печати вялые, — но в том сейчас и задача партийной работы в России: вливать уксус и жёлчь в сладенькую водицу социал-демократической

идеологии. Анархисты — другое дело, почти наши лозунги, но союзники опасные, у них грубо построено, не брать их в союз, да и руководства не делить.)

На очереди задача: *раскол* внутри Советов — отделить пролетарские антиоборонческие элементы от мелкобуржуазных, крестьянских сторонников поддержки буржуазии. Разбитие социал-демократии, губящей революцию! И вот лучшее поле боя: сорвать заём Свободы! — это наиболее понятно массам: не давать денег! Все социалисты неопределённо мычат — и в этом будет наш верный успех. Крупно печатаем в «Правде»: «Резолюция Совета о займе» — против! (а мелко: большевицкий проект резолюции). И вчера на Совете большевики говорили против займа сколько хотели — а меньшевики не смели и рта раскрыть.

А минский фронтовой съезд потерял: голос большевиков там не слышен. Да потому что вопрос о войне — это орешек.

В принципе ясно: сейчас решающий фактор политической жизни России — усталые от войны солдаты. Наша партия убила бы себя, если бы пошла на обман, что война после свержения самодержавия стала оборонительной. Даже отвоевание Курляндии есть аннексия и попытка раздавить Германию. Никакой поддержки войне, ведомой Милюковым-Гучковым и компанией! Временное правительство — те же империалисты, но более умелые, отказ их от аннексий — одни слова. Опубликовать все тайные договоры и признать их не имеющими силы!

Но и дурачки социал-патриоты, издавая свой манифест, обманывают массы лживой болтовнёй: обращаться о мире к буржуазным правительствам — это обман собственного народа. И мы должны заявить, что если бы в России победили революционеры-шовинисты — мы были бы *против* обороны их отечества. Воззвания — не могут действовать на империалистические правительства, а русская революция должна дать пример германским рабочим — действием.

Но и призыв к немцам свергать Вильгельма — измена социализму. (Связь с немцами? — не докажут и не поверят. А для масс — важней окончить войну и получить землю.) Победу над чужим империализмом — мы всегда отвергаем. Во-первых, надо свергнуть у себя Гучковых-Милюковых, только потом призывать. А во-вторых — английского и итальянского королей тоже надо свергать заодно, почему одного Вильгельма? И всюду — передать власть рабочему классу. Не допускаем аргумента, что пораженче-

ство помогает кайзеризму, — надо именно содействовать на деле поражению *своего* правительства. Кто пишет «против государственной измены», «против распада России» — тот стоит на буржуазной позиции, а не на пролетарской. Пролетарий и не может нанести классового удара своему правительству, не совершая «государственной измены», не помогая распаду своей «великой» державы.

Однако и пролетарскую позицию при сегодняшнем настроении масс слишком открыто обнажать нельзя. Невозможно прямо говорить, что мы согласны на сепаратный мир. (По всем немецким газетам прокатилось, что Ленин будто сказал в Стокгольме: скоро подпишем мир если не всеобщий, то сепаратный. Никто не умеет язык держать.) Говоря напрямую: мы встречаем недоброжелательность тёмной солдатской массы. Патриотизм — это следствие экономических условий нации мелких собственников. Нет, научить своих агитаторов выражаться осторожнее: разве мы говорим, что войну можно кончить немедленно, бросать оружие и не защищать родины? Да мы никогда не предлагали воткнуть штык в землю, когда армия противника готова к бою. Нас неправильно поняли! Мы только говорим, что надо кончить войну как можно скорей!

И так — правильно. *Всё*, что мы думаем, делаем, — не только не должно появляться в «Правде», — даже и очень близким не надо знать *всего*.

Всю свою жизнь — двадцать лет? тридцать лет? — Ленин провёл в тесноте, в коробочке, в подпольи, в кружке, сжатый со всех сторон и ограниченный в возможностях. И теперь, при внезапном миллионнократном увеличении доступного объёма, расширяясь сразу на весь Петроград, Россию, даже Европу! — как бы, как бы по неосторожности не наделать ошибок (уже отчасти наделал)? — ведь каждый маленький излом тоже увеличивается в миллион раз и виден сразу всем. А он — не левый-левый фланг социал-демократии, а — центр событий, этого ещё не поняли.

Шторм! (Символически попали в шторм, переезжая Балтийское море.) А в шторм надо делать — сразу всё: и неуклонно правильно вести корабль (штурвал всепартийный, всероссийский, всемирный), и крепить каждый предмет на корабле, чтоб он не болтался, да чтоб и вся команда работала в поту и без ошибок.

В Швеции, кажется, сработали отлично (та организация насколько не меньше важна, чем здесь). Прекрасная мысль оставить

там бюро из Радека-Ганецкого-Воровского — для питания по тайным каналам и для пропаганды на Запад. (Ещё наладить ход курьеров к ним, только архиаккуратно и осторожно.) Важно, чтобы Запад о событиях в России всё время был осведомлён в *нашем* духе. Пропаганду из Стокгольма на Европу взялись вести и левые шведские социалисты — они ужегодились и ещё пригодятся, отличные товарищи, хотя и не сделали революции у себя. (Но если и Швеция, и Швейцария сдвигаются к революции, то можно представить, как же кипит в Германии и в Австрии!)

Парвус прав: деньги, деньги и деньги! — и сейчас нужней и нужней, чем раньше. Массовые действия немыслимы без крупного финансирования. И уже первые взятые суммы таковы, что не собрать бы самыми удачными экзами, — а будет больше! Гарантировано больше.

Важно, чтобы и партнёры работали без ошибок. Пока что немцы играют отлично: не только не шевелятся на фронте, но и выступили с мирными призывами к России. Это — очень, очень облегчает наши действия. Ещё бы они отказались публично от аннексий (Ромберг обещал хлопотать), насколько было б нам легче! Но разве откажутся? затрусятся, вонючие империалисты.

А не заключишь с ними мира — раздавят и нас.

Но! — (взлетая по спиральным мыслям) — но! — никто, кроме Маркса, не мог бы оценить, как на самом деле Ленин *переигрывает* германский генштаб! Если и отдаст кусок России — то ненадолго. А зато разбудит в Европе силы, которые эту кайзеровскую Германию сметут! Они вступили в союз, да не по своему уму.

Сегодня — ещё не удалось серьёзно раскатать. Поначалу — трудней. А потом — пойдёт всё лихо.

Чувство темпа! Он был — ещё никто, и не имел в России позиций. Но уже сейчас он предвидел не только победу, но — и сколько времени на неё нужно: три месяца! От дня его приезда через три месяца — можно будет брать власть!

Хотя вот, чёрт подери, рассчитывай! Вчера прорвались к особняку эти митрофанушки-гимназисты — всего, правда, человек двести, остальную тысячу, что ли, задержали нарядами на улицах, Троицкий мост перегородили милиционерами и не дали их колоннам соединиться и пройти. (А говорят: и какие-то войсковые части хотели идти с гимназистами.) Человек двести, они прорвались через караульных к самому особняку — дети! — и тут свистели, кричали «долой большевиков», «долой Ленина» — и требо-

вали, чтобы Ленин сам вышел на балкон с ними говорить. Пошли свои солдаты их разгонять — не расходятся.

Да идиотское же положение! — неужели к ним выходить, это уже карикатурная дрянь получается. (Да один такой мальчишка из пистолета выстрелит — и что? Кто за это отвечает?) Объявили им с балкона, что Ленина здесь нет. А пусть дети устроят собрание у себя в гимназии, туда придут большевики и докажут им чистоту и благородство своих планов. (Да они только и знают «долой», с ними бы поработать — можно и переубедить.)

А они — не поверили. И четыре часа — не уходили! И пришлось дурачки, ничтожно, когда надо было выехать, — до двух часов дня сидеть затаённо, спрятавшись — от детишек. Вот уж — запредельная глупость, испортили весь день. Вот и рассчитывай темпы.

Мизер! Пигмейство...

16

(Фрагменты народоправства — провинция)

* * *

Поезд идёт из Уральского в Москву — публика осмотрительно молчит о событиях. На переправе через Волгу группа офицеров отозвалась неодобрительно — их на пристани задержали и допрашивали. За Саратовом вагоны набились солдатами, едущими неизвестно куда. Говорят, в **Кирсанове** произошло избиение буржуев и начальства и создана Кирсановская республика.

* * *

Во многих домах многих городов появились портреты Керенского. А деньги и разменные марки ходят прежние, с царскими изображениями — и обыватель ёжится: ещё царь вернётся, надо б себя пооглядывей держать.

* * *

В **Пензе**, после крестьянского съезда, арестованы губернский предводитель дворянства и весь состав земской управы.

Во множестве мест в дни революции создались самоуправные «исполнительные комитеты», «комитеты общественной безопасности»,

«комитеты народной воли». Они действуют наряду с городскими самоуправлениями, спорят с ними, смещают их и представителей центральной власти. Захватывают здания, реквизируют товары и средства передвижения, меняют таксы.

* * *

В **Донецком бассейне** на Алмазовском руднике исполнительный комитет арестовал четырёх инженеров и штейгеров. Рабочие всего бассейна требуют повышения заработной платы вдвое.

* * *

В **Сергаче** городской комитет приступил к обыскам и реквизициям продуктов в частных домах: «для снабжения сельского населения».

В **Сычёвке** (подо Ржевом), городе с 10-тысячным населением, жители были возбуждены агитаторами, что скоро все получат дешёвый хлеб и дрова, а солдат распустят с фронта по домам. Затем группа лиц в 60-70 человек начала повальные обыски у населения, ища запасы муки, крупы и сахара. В составе розыскных отрядов были и известные воры. В дверях становился солдат со штыком, а обыскиватели перерывали комоды, гардеробы, сундуки, чердаки и подвалы.

* * *

В **Минске** на Базарной площади на Пасхальной неделе толпа сильно избивала нескольких бывших городских — били до потери сознания, пока они не истекли кровью. Милиция взяла их. Но на другой день собралась толпа разгромить и милицию.

Местные исполнительные комитеты там и сям отстраняют священников от богослужения и даже... «лишают сана».

* * *

В **Волчанск** явилось несколько человек в солдатских шинелях, заявили, что присланы из Петрограда для устранения старой власти. Собрали толпу на митинг и постановили: сместить и арестовать уездного комиссара Колокольцева, старого земского деятеля Волчанска. Обшарили земскую управу, частную квартиру — не нашли его. Тогда эти приبلудные солдаты завладели оружием со склада и на земских автомобилях помчались искать Колокольцева по уезду. И нашли — но в сотне саженей от настигаемого Колокольцева автомобиль преследователей наскочил на столб. Стреляли вослед — не попали. Тогда отправились громить имение Колокольцева, а потом в Харьков — требовать ареста его. Один из «солдат» оказался переодетый гимназист.

* * *

В **Кострому** приехал капитан Каминский и предъявил начальнику гарнизона приказ Государственной Думы, что направлен сюда как ко-

миссар Временного правительства, чтобы ему оказывали содействие при аресте сторонников старого режима. В городском театре он устроил митинг солдат и рабочих и предъявил городской управе требование отпустить 150 вёдер спирта для нужд лазаретов. Был заподозрен, арестован, при нём нашли 7 печатей, среди них — Думы и Временного правительства.

* * *

Собрание наборщиков **тифлиских** типографий постановило, чтобы наборщики сами просматривали газетные статьи и все подозрительные отсылали бы на проверку.

В одну из **симферопольских** типографий явился местный интеллигент с солдатами, арестовал владельца и под угрозой оружия приказал отпечатать листовку, что все магазины отнимаются у владельцев и объявляются собственностью города. Потом расклеивали их по уличным стенам.

* * *

Во **Владикавказе** Совет постановил прибавить зарплату трамвайщикам и установить 8-часовой день. Директор трамвая Лоран ответил: или повысьте плату за проезд, или бесплатно добавьте электроэнергию. Его вывели из депо на тачке и посадили под домашний арест. Трамвайщики забастовали, электростанция тоже, и город был во тьме. Совет рабочих депутатов добавил в городскую думу 60 «демократических представителей», не имевших никакого понятия о городском хозяйстве, вся забота их была — прибавить всем служащим зарплату, а домовладельцев прижать. Установили высокие оклады милиционерам, не сменяемым без разрешения Совета, и председатель совдепской комиссии товарищ Гонский брал подношения натурой и деньгами за то, чтоб устроить в милиционеры. Вершителями же всех судебных учреждений стали адвокаты.

* * *

Глава **тюменского** исполнительного комитета Колокольников осердился на статьи местной газеты «Ермак», послал на квартиру издателя Афросимова отряд из двух офицеров и дюжины солдат, арестовал, отправил в тюрьму, потом с конвоем в Тобольск к губернскому комиссару, а там ему объявили ссылку в Сургутский край. Типография «Ермака» стала выпускать «Известия исполнительного комитета».

* * *

На окраине **Ярославля** ингуши напали на девушку. Пленные австрийцы вступились за неё. Тогда ингуши стали избивать австрийцев, а солдаты заступились за австрийцев. В кровавой свалке убито семь ингушей.

* * *

506 арестантов **смоленской** каторжной тюрьмы упростили отправить их на фронт. Сперва губернский комиссар Тухачевский отпустил их пройтись по городу с оркестром и устроить публичный митинг. Затем их проворно осмотрела медицинская комиссия, а на третий день эшелон с каторжанами уже шёл «на защиту родины». По дороге они сбегали.

* * *

В **Тирасполе** 18 подследственных уголовных задушили надзирателей, других связали, захватили оружие и бежали из тюрьмы.

В **Бендерах** стали широко перегонять на водку свободно продаваемый денатурат. Толпы неорганизованных солдат — устремились на базар, назначали низкие цены, отбирали по ним продукты. За ними — и не солдаты, тоже. Толпа громил устремилась в предместье Гиска бить винные погреба — «чтобы не достались немцам», и напивались до безчувствия. Потом стали прорываться в дома обывателей, были случаи насилования женщин, растления детей, убийства. Из Одессы прибыли отряды конницы.

* * *

В **Киеве** губернский съезд военнопленных немцев, австро-венгров и турок потребовал, чтобы к ним применили 8-часовой рабочий день.

Тут ещё проходил съезд украинских националистов, требующих автономии Украины, не дожидаясь Учредительного Собрания, — и за всеми этими заботами пропустили бороться с наводнением Днепра. Залило Труханов остров до чердаков, много барж сорвалось и у Цепного моста столкнулись с пассажирским пароходом. Вода затопила городскую электрическую станцию на три сажени, генераторы остановились, город остался в темноте. На следующий день власти реквизировали в лавках свечи и керосин, чтобы выдавать их через участки, кому крайне необходимо. Газеты не печатались — и город наполнился слухами.

* * *

В **каменец-подольскую** городскую думу ворвались воспитанники коммерческого училища. Они обвиняли думу, что реформы слишком нерешительны, и требовали устранить городского голову Туровича. Турович снял с шеи цепь городского головы, ушёл из думы и покончил с собой.

* * *

Весь апрель **Одесса** переживает эпидемию краж и налётов — оттого, что в крупных южных городах сразу освободилось три с половиной

тысячи уголовных и они большей частью стянулись в Одессу. А тут после отмены полиции никто не охранял имущества. Одна молодая женщина, муж которой на войне, полнóчи отстреливалась через окно от трёх вооружённых грабителей.

По разрешению новых властей в кафе «Саратов» состоялась открытая конференция уголовных из одесской тюрьмы, человек 40, среди них лидеры Григорий Котовский, Арон Кинис. Котовский сказал:

— Мы из тюремного зámка посланы призвать всех объединяться для поддержки нового строя. Нам надо дать подняться, получить доверие и освобождение. Никому от этого опасности нет, мы хотим бросить своё ремесло и вернуться к мирному труду. Объединимся все в борьбе с преступностью! В Одессе возможна полная безопасность и без полиции. Нужно собрать денежный фонд в помощь нам.

Оратора поддержали. Был начат сбор денег. В тюрьме был установлен мягкий режим, легко отпускали в город погулять. Уголовники стали исчезать. В самой тюрьме они проникли в подвал, где хранилось вино для тюремной больницы, перепились, ворвались в квартиру помощника начальника тюрьмы, учинили разгром, похитили ценностей на 50 тысяч и скрылись. За время «самоуправления» расхищено много имущества из тюрьмы — медицинская посуда, бельё, кожаный товар.

Котовский, свободно отлучавшийся в город для общественных дел, тоже не вернулся.

* * *

В Таганроге, в ночь на 12 апреля, шайка злодеев задушила семью Витонова из трёх человек и случайно заночевавшую у них знакомую. Вешали по очереди, старика ещё и пытали: где деньги?

* * *

В Нахичевани-на-Дону днём подошла толпа, много солдат, к памятнику Екатерине II, поселительнице армян. «Не место тут закабалительнице крестьян! Перелить в снаряды!» Двое забрались на фигуру, зацепили её верёвкой за шею, толпа с гиком, свистом потянула — и свергла на землю. При падении разрушилась решётка у памятника. Поволокли к Дону — топить. Тяжело, 60 пудов, не дотянули. Кинулись в городскую управу, потребовали выдать висящий там портрет Екатерины — и разорвали в клочки. Нахичеванские армяне оскорблены.

Ростовская и нахичеванская городские думы разогнаны, а ростовский исполнительный комитет запретил членам управы выезд из города, чтоб не пожаловались правительству.

* * *

В Корсуни Симбирской губернии у памятника Александру II, сооружённому на средства крестьян, собралась толпа солдат и горожан.

Ораторы обращались к бюсту: «Хоть ты и дал волю, но сорвал за землю миллионы». И тут же разрушили памятник.

* * *

Утром 14 апреля в **Казани** сгорели большие товарные склады станции, миллионные убытки.

*Места глухие
Зажги зарницей!
И вся Россия
Да озарится!*

(из газет)

17

Все игры Юрика Харитонов в детстве, с чего ни начни, сходили на военное. Подарили когда-то ему домино — из утонченных дощечек, а края сточены на ребро, так что если две дощечки сталкивать, одна другую может перевернуть. В это домино он почти никогда и не играл, как все играют, а проводил между дощечками поединки и целые бои между армиями: какая дощечка переворачивалась отточиями кверху — та считалась убита. Были особенно устойчивые дощечки, редко переворачивались — их он уже знал и не по счёту точек, а по мелким особенностям волокна снаружи, присваивал им имена любимых книжных героев — всегда военных, с мечами или шпагами, давал им вести войска и сталкивал их друг с другом в фехтовальных состязаниях. Много часов проводил он в этих войнах — и никогда не надоедало.

Такие же сточенные края обнаружил он и у маминых преферансовых костяных фишек в шкатулке. Там были длинные, квадратные и круглые, и всех цветов, и если длинной нажимать на край короткой, то короткая далеко прыгала. Сперва они с товарищем так играли в блошки, запрыгивали в вазы или кто дальше, но скоро выяснилось, что все красные, белые, зелёные, жёлтые, синие фишки можно вести друг на друга в бой как полки, пересекать пре-

пятствия, брать города, а накрытая считается убитой. И таких войн Юрик тоже много провёл.

Сам он был над ними всеми как судья живота и смерти, но невольно вселялся в любимых героев — и так становился полководцем. Если случалось, что дома никого нет, он перед шкафным зеркалом маршировал, наступал на зеркало, дуя в воображаемые трубы, бья в воображаемый барабан, а потом принимал восторги и благодарности освобождённых жителей.

Так и Атлас Мира, при всей любви к географии и путешествиям, Юрик стал использовать больше всего для ведения военных действий: карандашом чертил изгибистые линии фронта, подводил войска на прорывы, воображал бои и в результате их стирал и перемещал линии. Он даже любил доводить *своих* до отчаянного положения, а потом героически спасать в последнюю минуту. Хотя в атласе были все страны, заманчивые океаны и острова, но Юрик никогда не водил свои войска на завоевание тех далей, а все битвы его происходили на теле России, и даже особенно ближней, южной. Почему-то именно такая и здесь война влекла его и была осмысленна.

После того что старший брат Ярик ушёл в военное училище, мама добилась от Юрика клятвы, что он будет честно кончать реальное и становиться инженером, как Дмитрий Иваныч. И Юрику нравилось реальное и нравилось стать инженером тоже — а вся эта военная страсть его была как бы тайной души, второй незримой жизнью, о которой никому и не надо было знать, он и товарищей не посвящал в свои перепоздненные игры, в которые уже и стыдно было играть после десяти лет, а он иногда поигрывал и в тринадцать.

Это была его тайна, а может быть — тот мужской удел, что каждому, кем бы он ни был, чем бы ни занимался — неизбежно в жизни воевать, и это даже главное всего.

Юрик собирался быть инженером — а смерть свою представлял только в бою! Это была единственная желанная и достойная смерть, а не так, как умирают: весь пожелтевши, подмостясь надувными подкладками, в затхлости лекарств и харкая в пузырьрёк. Юрик совсем не умел писать стихов, а образ этой славной смерти — под верным знаменем, за правое дело, уже проткнутый несколькими копьями, а всё наступая с мечом, — так лучезарно рисовался ему, что в двенадцать лет он описал полустихом на одну

ученическую страницу: «Вот как я хотел бы умереть». Тоже — для одного себя.

Это было — ещё до начала войны, никто о ней ещё и не думал. А тут же — и грянула. По тротуарам, по Садовой вниз он бегал рядом с уходящими на вокзал войсками и громко подпевал их оркестрам. Он любил их всех, уходящих на войну, и так бы хотел идти с ними! Но это было никак не возможно: не потому что мама запрещала даже думать — мамы и всегда запрещают и руками держат, а — никто бы его и не взял: с начала войны ему было двенадцать. Царевич Алексей, на два года моложе Юрика, всё время фотографировался в военной форме, но это было нарочно, ведь он не воевал. Иногда в журналах мелькали фамилии или даже фотографии каких-то военных юнцов, но очень редко, неизвестно где они были, и как будто старше Юрика. Наверно, редко кому повезёт, а то вернут.

И так два года шла война, два года колыхалась реальная линия фронта, а Юрику исполнилось всего только четырнадцать, и он каждый день накидывал ранец за плечи (впрочем, и в этом было солдатское) и шёл на Соборный переулок в свою маленькую школу, реальное училище Попкова, рядом с почтамтом. Здесь он любил каждую классную комнату, каждую по-своему, и маленький зал, где по переменам бегали в пятнашки, и особенную у них почему-то чугунную лестницу, всякую перемену грохочущую под каблучками реалистов (а на перилах набиты чурки, чтоб не съезжали ерзком). Он соединял батарейки в физическом кабинете, переливал пробирки в химическом, скользил указкой по большим школьным картам (всю географию он знал с закрытыми глазами, всю Землю ощущал как излазанный пол под роялем), а то рассеянно косился в окно на узкий многолюдный Соборный внизу, особенно замечал бинты раненых, если проходили, и часто думал про войну: странно, застала его настоящая большая война, а никак ему на неё не попасть, сколько б она ни тянулась.

И какое-то закрадывалось ощущение внутреннее, что так и должно быть. Что какая она ни Вторая Отечественная, огромная и необходимая, и старший брат на ней, — а к Юрику Харитонову она почему-то не должна отнестись, обманула. Не потому, что неудачная — он даже особенно любил неудачные войны, на них изрядно нужны герои, а по чему-то другому — она не его война, не та, где он нужен и о которой всегда мечтал. (Но после такой кровопролитной какая же другая вскорости могла прийти на Землю, чтобы

стать его войной? Невероятно.) Так что он и рваться на неё перестал, просто учился, просто жил.

А тут приехал в отпуск брат! — и Юрик пристал к нему быть сколько можно вместе, и слушать-слушать его рассказы про войну! Но война, может быть и сохраняя свой главный высший доблестный смысл, раскрылась в рассказах Ярика такой тяжёлой, неуклонной, громоздкой, за тысячу вёрст от лёгкой стройности, как Юрик рисовал. Он и ещё поостыл.

А тут разразилась и революция! Две недели плескало по Ростову и у них в семье, слёзы радости на глазах мамы и Жени, ликование всех знакомых — Юрик было отдался ему, забыв и про войну всякую. Но Ярослав успел и тут поохладить младшего брата: что революция может привести к развалу армии. А потом, уехав, писал (не говори маме), как и его самого солдаты оскорбляли в поезде, чуть не сорвали погоны! Юрий перенёс это унижение вместе с братом, дрожал от гнева. И какая тогда, действительно, осталась война??

Было и такое последствие революции: учителя на уроках стали читать вслух газеты и говорили о счастливом будущем, а уроков можно и не готовить. Стало можно сперва — устраивать митинги на переменах, потом — и собрания вместо уроков, избирать самоуправление, делегатов в педагогический совет. А в Петровском училище собирали то всеростовский сбор всех гимназистов, то — всех реалистов. Говорили речи: требовать, чтобы учащихся уравняли в правах с учителями, а среди попечителей и инспекторов произвели бы прочистку. Из старших классов записывали и в гражданскую милицию, а во главе милиции стал обыкновенный студент. И Юрик записался: ведь там будет доставаться иногда надевать на плечо ремнём настоящее ружьё! Но записалось гимназистов и студентов — много сотен, и как ни разбивали на роты и десятки, а был только галдёж, пустое озорство, ничего военного там не оказалось, и Юрик оттуда выписался. Тут же пошёл слух, что экзамены или все отменят, или наполовину, и учебный год сократят, и стало можно пропускать занятия, и ничего. Юрику такой новый беспорядок очень не нравился: опустошался большой кусок жизни, а праздник всё равно какой-то ворованный. И у строжайшей мамы в гимназии тоже порядки ослабили сильно, и тоже бывали собрания гимназисток, выборы, — и мама не сердилась, не запрещала, а находила это правильным. Да за семейным столом две недели только и разговоров было — о новой свободе, о новом обще-

ственным градоначальнике и комиссаре Временного правительства Зеелере и как разогнать старую консервативную городскую думу, она не хочет расходиться.

А ещё за эти недели в Ростове, и всегда славном грабежами, — они стали теперь слишком частые и даже дневные, а кого ловили, то еле вырывали власти от самосуда разъярённой ростовской толпы. Чего раньше не бывало — все банки теперь охранялись часовыми-солдатами, а по городу ходили вооружённые патрули.

И потеряться бы можно во всём ералаше этой весны, да отметилась она в Ростове ещё одной стихией: небывалым, как говорят, за тридцать лет наводнением Дона! Уж, во всяком случае, за жизнь Юрика ничего подобного никогда не происходило! Сперва от таяния взбухла Темерничка, залила привокзальную площадь и отделила вокзал от города. Потом и Дон стал подниматься и разливаться, и поднимался, и разливался, — и во вторую и в третью неделю апреля это стало уже настоящее море: с высоких правобережных откосов, с верхних этажей уступных зданий на Воронцовской, на Конкрынской — ни простым глазом, ни уже в бинокль не увидеть было того берега, залило, говорили, на 15 вёрст. Залило Зелёный остров, даже и с верхушками деревьев, Батайск, Елизаветовку, Ольгинку, Койсуг, потом стали приходить вести, что страшное что-то в Старочеркасске: снесло пятьсот домов?! И во многих верховых станицах тоже разорение. Но вода угрожающе поднималась и дальше! — в день приходило по несколько новостей. В двух местах размыло пути между Ростовом и Новочеркасском, поезда больше не ходят! И в Таганроге наводнение! — затоплены соседние сёла, уничтожено много скотьего корму.

А, наверно, ещё потому эта стихия так влечёт, что отсасывает тоску от сердца. Тоску по девочкам.

Этой весной просто нестерпимо стало Юрику по девочкам. И с какими он был знаком, случалось разговаривать, ни с какой — просто. А одну, другую, пятую и седьмую, каждую недолго, он мечтал себе в идеал или просто жарко целовать. Юрик вообще прыгал, бегал, плавал, дрался, обливался холодной водой, всегда ощущал себя подвижным и стойким — а только чувство к девочкам разливалось по телу слабящей мутью, ни на что не похожей, так что оставалось сидеть, лежать — а шевелиться и действовать невозможно. Всё в жизни — утро, звонок, книги, еда, лодка, лопата, коньки — звало к бодрости, и только это одно растравляло в слабость, как заболевание.

И именно теперь, в этот взбудораженный месяц, постиг его такой случай. В скаутском обществе, на Таганрогском, остался он как дежурный убирать зал после всех. Потом спустился в подвальный этаж в душевую. Обычно там мылись большой компанией, шумели. А тут — он ещё и воду не включил, услышал: за перегородкой, в женской купальне, кто-то вошёл, тоже одиноко, опоздав. Слышно было отлично, оказывается, перегородка не доходила до потолка на аршин. И, босыми ногами беззвучно, он стал переходить, искать щёлку, щёлку — и нашёл! Вполне довольно, чтобы как раз напротив щёлки увидеть раскрытую дверь в женскую раздевалку — а там! — там Мила Рождественская, дочь доктора, которую он сразу узнал, — раздевалась у скамейки! Раздевалась — и до самого конца! Юрик думал — сердце разорвётся, этого нельзя перенести. Он потерял всякое сознание. Но и тотчас смекнул, что по этой перегородке сумеет взлезть, есть куда ставить пальцы ног, и под потолком можно беззвучно перемахнуть, а там — хоть спрыгнуть, спуститься внезапно перед ней — и будь что будет! Заднюю дверь её раздевалки она, наверное, заперла, не войдут — и, насколько не стыдясь своего откровенного вида, открыто просить, умолять её о ласке. Они — довольно близко знакомы, она не должна слишком испугаться. Да разве он знал её до этой минуты? — только с этого прозора через щёлку Мила стала ему близка несравненно со всеми девчёнками Ростова. Всё затмилось! — и он полез как одержимый, но крадучись, ещё слышно, она тоже ещё не включила воды.

И — уже был головой у верхней перекладки, когда остановился. Не испугался, нет. И не отчаялся, что она его прогонит, пусть прогонит, он так же перелезет назад — он уже сейчас чувствовал себя соединённым с ней этой тайной, которую она через миг тоже узнает, — всё пылало в нём, стучало, ноги подрагивали, а не сорвался. Но уже под самым потолком, при перелазе, вдруг подумал: а неблагородно! она же беззащитна; и — может, она не заперлась? и оттуда, сзади, ещё войдёт кто-нибудь? Не за себя испугался, за неё: что о ней тогда подумают?

Не решился. Раздумался.

Стал тихо спускаться.

А Мила включила воду, шум — и уже стояла не против щели.

Кусал руки — в безсилии, и в презрении к себе.

И теперь на этом лихом наводнении Юрик разгуливался, забывал, не так жжёт.

А та-ам! Там — размыло дамбу через луга Владикавказской железной дороги за большим мостом! — вот-вот прервётся и сообщение России с Кавказом! И — ура, прервалось! — снесло мост между Заречной и Батайском на 8-й версте, там теперь пассажиры поездов переходят по висячему мостику! В Батайске вода поднялась до окон, переселяются в товарные вагоны. При ветре ходят по этому морю — прямо морские волны. А не подорвёт ли вода и огромный ростовский мост? (Вот бы рухнул, только без поезда!) Вода наступала и на главный ростовский вокзал, мобилизовали людей и ломовых спасать пакгаузы товарной станции. А в порту! — залило мастерские, газовый завод, конторы, склады, часть электрической станции, не говоря уже, что везде сносило баржи, лес, лодки. (Юрик с приятелями успели свою лодку вытащить почти в город, на подъём.) Мобилизованы были (от роспуска думы не сразу власти нашлись) все паровые катера, все шлюпки яхт-клубов — и Юрик с друзьями тоже ходили помогать, и нагружали, и отгребали, совсем уже забыв ослабевшие теперь уроки.

Всякий порядочный ростовский мальчик хорошо плавает, гребёт, и рыбу ловит, и любит Дон, и проводит много дней на воде. Но такой воды никто сроду не видел, терялись и здоровые мужчины. (И Юрик всячески скрывал от мамы, что ходит бортыжать по наводнению, и низы брюк отмывал и высушивал. Но дома не замечали, своя суматоха: у сестры Жени родился Мишка, теперь ещё один юриков племянник.) Уже никак не речная, не озёрная — истинно морская ширь, прикатившая в Ростов! — как грудь дышала! как на моторке нестись!

Ясно, что ничего хорошего во всём этом не было, а какая-то колотилась радость. Почему-то нравится, когда происходят беды, и даже грандиозные катастрофы, — хоть бы и со мной, и с нами, и вот коров перевозят в лодках, а железнодорожные пассажиры поплыли пароходами на Азов. Здорово! Есть в этом захват. В катастрофе — что-то сладкое есть.

Может быть, зря Алина в марте уезжала от Жоржа в Борисоглебск, это была ошибка. Надо было встретить его в лицо и послушать, как он будет оправдываться. А уже поехав — напротив, не

надо было писать письма, сорвалась, тут Сусанна права. Но поди не сорвись, когда грудь пылает как раскрытая рана.

Но Сусанна оценивает обстановку серьезней и опасней, чем она есть. Она не знает, насколько Жорж всё-таки совестливый, и этим даже не типичен для офицера: сделав дурное, обидев, он потом неизменно подвержен саморазбираниям, поиску прощения и желанию загладить.

Всё ясно: измена его произошла оттого, что он отбил, отвык от жены. Она так заполняла всегда его жизнь — и надо снова так после войны. Надо — окружить его собой.

И вдруг — Жоржа возвратили в Ставку! — перст судьбы. (Конечно, ещё бы лучше — вернули б его в штаб Московского округа.) И Алина, не колеблясь, решила покинуть свою московскую жизнь и наладившиеся концерты — и ехать к нему в Могилёв, чтобы постоянно быть с ним, восстановить непрерывность семейной жизни, главное — непрерывность. Создать в Могилёве хоть и временное, но уютное существование.

Перевозить обстановку было бы, конечно, безумием. Да и найти квартиру в переполненном городе совсем нелегко. Но у Корзневых оказались в Могилёве дальние родственники, и по просьбе милой Сусанны согласились сдать Воротынцевым меблированный флигелёчек у себя в саду. Конечно, вести хозяйство здесь намного трудней, но дело к весне, печей не топить. Конечно, кое-что изменить, перевесить, переставить, довести из московской утвари — хлопот много, но всё это живо, радостно. Алина бурно действовала. Да энергия её — неукротима, если есть на чём развернуться.

А кончились хлопоты с устройством — и вдруг надвинулась страшная апатия, пустота.

Нет, только ни за что не скисать! Держаться.

Сусанна, провожая, настаивала и настаивала: не поддаваться влекущему урагану упрёков, сердечной жажде высказаться до конца: от шквала самых справедливых обвинений может стать только хуже, и даже всё развалится. Гораздо умней притвориться, что всё прошло, на этом всё и забыто, что с той мерзкой женщиной всё кончено, отрублено, и навсегда. Принять полностью как искреннее, сделать вид, что принято и поверено, и теперь только зорко следить. Но, добавляла Сусанна: ещё и быть весёлой для него, лёгкой, — с такой жгучей раной в сердце попробуй!..

Во флигеле стояло и пианино — но, боже, какое расстроенное, как можно было до такого состояния довести, дикари! А в чужом

городе не так сразу найдёшь и хорошего настройщика, с первым попалась: он стал молоточки обрезать, и плохо. Нашла второго, этот бранился, что первый испортил, ещё резал, исправил. На всё ушло немало времени и волнений, но вот музыка полилась и здесь! (Свой бы рояль сюда!) Алина теперь не могла бы без музыки и неделю, да после всего пережитого в чём другом душу отвести, если уста обречены на немоту? — только ежедневной музыкой она и вырывала себя из апатии. И пусть эти звуки охватывают мужа при входе. Уж там вникает не вникает, какая вещь играет, но чистая музыка должна очищать и его замутнённую развратом душу.

— Знаешь, — сказала ему значительно, и хорошо у неё вышло: — Что бы там в мире ни случилось, войны, свержения, революции, но человек не должен погубить себя и свою душу.

И в этот миг глубоко-внимательно смотрела на него, вкладывая всё то, чего обещала не выражать открыто. Он вздрогнул, принял взгляд — и отвёл. Его это глубоко достало, она видела.

Да не только музыкой. Здесь, в вынужденной провинциальной запертости, можно было многое доделать и завершить — например, привести в порядок свой архив фотографий? Делать бы и новые снимки, ведь жизнь в Ставке — это не повторится. Но не такое отягощённое сердце надо иметь, нужна беззаботность. А так — делаешь-делаешь, да как вспомнишь, как потянется вся эта цепь мук и унижений, как он восторгался той негодницей, — прутьями раскалёнными пронзает всё существо, руки расслабляются, всё вываливается.

И — не стало ощущения обычного настоящего здоровья. Всё время какая-то слабость, без болезни. Записывала своё состояние в дневник.

Даже вспоминать себя отвергнутой — ад палящий! И ни с кем не поделишься: как рассказывать о пренебрежении мужа? Это уж с Сусанной так прорвалось в грозную минуту, слишком даже и перед ней распахнулась, теперь и перед нею гордость требует не проиграть мужа.

Держаться, держаться! Поплачешь скрытно — станет легче. Надолго ли?

Теперь бы в Могилёве восстановить? — чтоб он в свободные полчаса рассказывал ей из службы, о лицах, отношениях, препятствиях, удачах?

А её рассказов — он и вообще не ждёт, не спрашивает. Не угадывает, какие б её желания выполнить. А ведь в мелких признаках внимания вся и любовь. Уходя и возвращаясь, норовит поцеловать в щёчку, если Алина настойчиво не подставит ждущих губ. Правда, видно, что минувшая история ему не далась легко, он помучился хорошо, и это несколько облегчает: если страдал — значит любит.

Но снова подумаешь: а насколько ему действительно нужна жена? Придёт поздно вечером, свалится и заснул. И не знает, что ночью она лежала комочком и тихо плакала.

Может быть, всё-таки, он поддерживает тайную связь с ней? Не проверишь, не получает ли от неё писем на штаб. В карманах — пока ничего нигде ни разу не нашла. Но он может оставлять в штабе же. Алина остро ждала: а не заикнётся ли он, что ему необходимо ехать в Петроград «по делам службы»? Она, разумеется, поехала бы с ним, но не сразу бы о том объявила: сперва посмотрела бы, с каким видом он будет отпрашиваться. Другие офицеры ездят, в Ставке нетрудно изобрести повод. Но нет, он не заикнулся. Можно поверить, что если у них и не порвано, то прервано.

Алина понимала, что изменившаяся — нет, уже не прежняя! — жизнь велит ей быть вдумчивой и вникнуть в загадку происшедшего. Тогда в пансионе он был в таком размятчённом состоянии, всё бы выложил: чем же она его так привлекла? Как бы он ни успокаивал, что обе — разные, и области жизни разные, но в самом жгучем неизбежно пересечение, сравнение, предпочтение. А и из гордости уже не спросишь. Даже простой непосредственности с ним он лишил её своей изменой. А что ты рассказывал ей обо мне?.. Да истерзанное сердце толкает: а как же она могла сходиться с тобой без страдания, что ты женат?.. А мог ли бы ты совершить, что совершил, если бы уже тогда знал, ценой каких моих страданий это обойдётся?..

Даже свою живую откровенность надо перед ним душить! Но — взялась держаться.

Чем заняться? чем заняться!? Пришла счастливая мысль: навалить на себя ещё одно дело, освежать французский язык. В двух кварталах нашла учительница, Эсфирь Давыдовна, знакомая хозяев, и совсем недорого бралась давать уроки, у себя дома. Да Алина больше всего на свете всегда любила учиться, ведь это наслаждение. «Давай вместе, — вызывала Жоржа, — как бы интересно,

друженько!» Некогда, да он и сколько-то помнит. «Ну давай я на ночь буду тебе повторять свои уроки?»

Да ведь он не только дни, он и все вечера в штабе, и по воскресеньям, — много ли видятся они? Переездом в Могилёв Алина обрела себя на прямое затворничество.

В одиночестве целыми днями — как не растравиться этим грызением? не сойти с ума?..

19"

(по буржуазным газетам, до 14 апреля)

ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВСТРИИ.

СТАЧКИ И БЕЗПОРЯДКИ В ГЕРМАНИИ.

НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В БОЛГАРИИ.

Добывание немцами жиров из трупов... из них выделяется маргарин.

Неудача русской армии на Стоходе до некоторой степени затушёвывается исторической важностью русско-английской встречи в Месопотамии...

...Вековечное тяготение русского народа к Царьграду разве можно ставить в ряд завоеваний? Оно внушено культурными защитными целями, нельзя жить без выхода в белый свет. Царьград — ключ ко всеобщему миру.

Лондон. «Таймс» пишет: «Переворот разогрел историческую дружбу между Россией и Соединёнными Штатами. Друзья России с дружеским вниманием следят за развитием революции».

Президент бюро депутатов британских евреев в публичной речи указал на долг русских евреев в ответ на их освобождение — помочь продолжению войны.

Похороны жертв революции в Петрограде были смотр духовным и душевным силам нашей революции. Кто не следил с замирающим дыханием за стройными колоннами! Нельзя было не заразиться душевным напряжением, какой-то особенной проникновенностью... волшебная законченность организации...

...Русской Республике суждена удача. Она родилась — чтобы жить! Уже парят в весеннем воздухе ласточки общемировой свободы.

Нельзя не преклониться перед моральным, духовным, то есть религиозным величием этой революции. Воистину, вера горы сдвинула. Мы переживаем нечто подобное тому, как 2 тысячи лет назад двое учеников Господних, шедших в Эммаус...

(Философов)

Товарищ министра внутренних дел Д. Щепкин заявил корреспондентам: «Успокоение в стране растёт с каждым днём. Все опасения о возможности аграрных беспорядков устранены. По всей стране к земельному вопросу население относится спокойно. И Совет рабочих депутатов не вызывает никаких трений с Временным правительством».

Вопреки всяким слухам, в русской армии на Румынском фронте царит полная дисциплина.

(«Речь»)

Дезертиры, расположившиеся в Кишинёвской губернии, местами организуются, через делегатов ведут переговоры с гарнизонными комитетами, попутно посягая на частную собственность населения.

...Из болезни перелома армия выходит более сплочённой, окрепшей и воодушевлённой.

(«Биржевые ведомости»)

Ген. Шуваев обратился к дивизионному комитету с дружеской откровенной речью. Он горячо взывал к гражданскому чувству солдат, призывая прийти на помощь Временному правительству прекращением продажи сапог и обмундирования. В ответ ему оратор заявил, что армия пойдёт на все лишения для блага отечества. Растроганный генерал расцеловался с оратором.

Гомель. Свыше 2000 дезертиров со знамёнами «Долой дезертирство в Свободной России» явились к воинскому начальнику и просили отправить их немедленно на фронт.

Кременчуг. Состоялся митинг дезертиров, организованный Советом солдатских депутатов. Дезертиры поклялись грудью защищать завоеванные свободы от контрреволюционных покушений.

...Революция несомненно застала крестьянство врасплох и неподготовленным к великим историческим задачам.

(«Русская воля»)

Одесский уезд. ...усиленная доставка хлеба. Многие крестьяне жертвуют хлеб на нужды армии, отказываясь от платы.

С 1 апреля во всём **Донецком бассейне** введён 8-часовой рабочий день.

Киев. У местного миллионера Бродского состоялось собрание виднейших представителей киевского еврейского финансового мира, обсуждавшее, как торжественно ознаменовать новый порядок, освободивший угнетённый еврейский народ. На собрании собрали свыше миллиона рублей. Решено собрать среди местного еврейства ещё четыре миллиона — и создать образцовый народный университет.

...От имени стотысячной еврейской общины Екатеринослава отдадим свои силы, грудью встав вокруг стяга демократической республики.

ЕВРЕИ-ОФИЦЕРЫ. Из авторитетных источников сообщают о предстоящем в июне производстве 2 600 евреев в прапорщики.

(«Биржевые ведомости»)

Одесса. ...Полковым комитетам необходимо разоблачать и арестовывать агитаторов против постановления о допущении евреев в офицерство...

Московский митрополит Макарий был арестован по инициативе московского Совета рабочих депутатов — и нельзя не признать, что это действие по существу правильное.

(«Речь»)

А. Ф. Керенскому приходится вникать во все подробности жизни узников царскосельского дворца. Даже увольнение поваров и судомоек не обходится без санкции А. Ф. Керенского.

(«Новое время»)

Социал-демократы, не представляя собой ни нации, ни даже большинства её, на деле владеют Советом, а через него — всей территорией русского государства.

(«Новое время»)

В Совете рабочих депутатов — помощники присяжных поверенных, до революции больше известные по ночным клубам, чем в рядах борющегося пролетариата.

(«Биржевые ведомости»)

...Съезд Советов этих дней — какой-то «вселенский собор» верующих людей, источник величайших чудес, — нельзя не найти духовной поддержки в том, что там происходило... Не бойтесь немцев, не бойтесь «Правды»: люди, у которых «золотой сон», не могут быть врагами России. «Крайности большевиков» — это жупел современных купчих.

(Философов)

Есть великая нелепость в самом предположении о возможности сепаратного мира после революционного переворота. Даже большевизм, даже выросшая в наших перепуганных глазах «Правда», даже сам Ленин — не заикнулись о сепаратном мире. Все эти слухи о сепаратном мире — сознательная ложь, дискредитирующая русскую демократию. Никто не смеет оскорблять русский народ таким предположением. Именно революция вдохнула новую силу в лозунг «войны за свободу».

Киев, 8 апреля. Вчера здесь открылся украинский конгресс, краевое учредительное собрание... Центральной Раде выработать проект статута автономии Украины в рамках Российской Федеративной Республики. Председательствующий Грушевский: «Мы знаем о шовинистических намерениях безответственных украинских деятелей, но мы ведём борьбу с ними как с национальными преступниками». Отвечая представителю киевского гарнизона, с-д Винниченко: «Сепаратистское течение может считаться умершим, нам Россия более дорога, чем вам». Артельный батёк Левицкий протестует против домогательств поляков: «Украина — не часть Польши! Поляки организуют свои полки, но не посылают их на фронт, а держат здесь, ожидая осложнений на Украине. Руки прочь от наших земель!»

В день похорон жертв революции в Петрограде произошло несколько дерзких разгромов магазинов...

ДЕНАТУРАТ. Министерство финансов решило усилить денатурацию спирта, чтобы прекратить распространение его как напитка.

ОТМЕНА ЭКЗАМЕНОВ выпускных в низшей школе и переводных в средней в этом году.

Кража драгоценностей. ...М. Кшесинская заявила начальнику уголовной милиции о краже у неё в дни революции бриллиантовых и золотых вещей на несколько сот тысяч рублей. Все шкафы оказались взломанными...

«Ротмистр Сосновский» (Иосиф Рогальский) был назначен Бубликовым на должность начальника охраны министерства путей сообщения. У всех служащих потребовал все золотые и серебряные медали. Помощником себе назначил крупного авантюриста, которого разыскивали по делу ограбления. С другим помощником сделал удачный «обыск» у миллионера. Исчез в конце марта.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ обращается с усердной просьбой к тем лицам, которые в дни переворота обнаружили пулемёты на крышах или задержали полицейских чинов с пулемётами, — явиться в скорейшем времени для дачи свидетельских показаний. Сведений, опирающихся лишь на слухи, — не сообщать.

В Москве острый недостаток фуража, гибнут лошади.

В Екатеринославе тоже свергнут памятник Екатерине II. Фигуру предполагалось установить в городском музее, но население потребовало отправить на переливку в снаряды.

Ялта. Тут — огромный съезд сановников, знати, великих князей. Николай Николаевич пребывает на свободе, один гуляет по городу, раздаёт мальчишкам конфеты, татарам — папиросы. Чувствуется сильная агитация тайных и явных монархистов.

КАБАРЕ БИ-БА-БО, рядом с Художественным театром.
Премьера: «ГРИШКА В САЛОНЕ», «ЦАРСКАЯ СОДЕРЖАНКА».

Продаётся ЗАЛ АМПИР за отъездом СПЕШНО.

ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ плачу за бриллианты, жемчуг, золото...
Ювелир А. Фистуль.

Нужна деревенская девушка для комнатных услуг.

Отдам мальчика за неимением средств.

ЗАЁМ СВОБОДЫ. Воззвание Временного правительства.

К ВАМ, ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СВОБОДНОЙ РОССИИ, К ТЕМ, КОМУ ДОРОГО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РОДИНЫ... СИЛЬНЫЙ ВРАГ ГРОЗИТ ВЕРНУТЬ СТРАНУ К МЕРТВОМУ СТРОЮ... НУЖНА ЗАТРАТА МНОГИХ МИЛЛИАРДОВ, ЧТОБЫ СПАСТИ СТРАНУ... И ЗАВЕРШИТЬ СТРОЕНИЕ СВОБОДНОЙ РОССИИ НА НАЧАЛАХ РАВЕНСТВА И ПРАВДЫ.

КРУПНЫЕ ЗАБАСТОВКИ В БЕРЛИНЕ.

«Кёльнская газета»: Нынешняя война стала войной против монархической идеи. Уже 5 монархов на стороне союзников лишились своих корон или владений: Бельгийский, Сербский, Румынский, Черногогорский, Русский. Зашатался и Греческий. Мировая война всё больше принимает вид великой европейской революции — большей, чем в 1848 году.

Английские войска в 70 км. от Иерусалима... Занятие Иерусалима произойдёт при участии всех союзных армий.

Надо надеяться, что новая свободная Россия покончит с праздниками во имя предстоящего гигантского труда, оставит себе только воскресные дни. Церковные праздники, кроме Рождества и Пасхи, — личное дело. Новая Россия должна бояться именно праздников. Восстановить дореволюционную инертность и лень, это и будет контрреволюция.

(«Новое время»)

(Из резолюции дновского гарнизона:) Не должно быть привилегированных частей — гвардии или петроградского гарнизона. Считать преступным пребывание в тылу маршевых рот, предназначенных к отправке на фронт. Этим наносится предательский удар в спину товарищам на фронте. В Петрограде и вообще в тылу пора прекратить празднества и манифестации... Рабочие, заботясь о своих личных интересах, не должны забывать об армии.

Общеполковой совет 86 пех. полка... с призывом к тем своим товарищам, которые в минуты общей радости всего русского трудового народа отлучились из полка... Вернитесь, товарищи, до 30 апреля, мы протягиваем вам руку. Если же вы отвернётесь от нас — будем требовать предания вас суду...

Новое министерство земледелия не может справиться с насущными мероприятиями в сельском хозяйстве, которые были намечены ещё старой властью. И главные потребительские центры живут ещё старыми запасами...

(«Биржевые ведомости»)

...В дни Самарского губернского крестьянского съезда вокруг Самары была распутица, делегаты прибыть не могли, и съезд составил преимущественно из горожан...

ЗАЁМ СВОБОДЫ. Народ! Прислушайся! Это Россия-мать протягивает просящую руку. Вались, народ, от всех ворот! Давайте, кто сколько осилит! Денег, денег правительству! Врёте, чёртовы немцы, подавитесь!

(Амфитеатров, «Русская воля»)

Создан еврейский комитет успеха Займу Свободы — Каменка, барон Гинзбург, Слиозберг. Постановил обратиться телеграфно к представителям еврейских обществ в Америке, Англии, Франции, Голландии, Италии с просьбой образовать аналогичные комитеты для размещения займа в их странах.

Французские евреи во главе с бароном Ротшильдом подписались на русский «Заём Свободы» на 1 миллион рублей. Барону Гинзбургу поручено передать заявление об этом министру финансов.

В собрании евреев г. Москвы подписка на заём Свободы дала 22 миллиона. В Саратове на собрании еврейской общины собрано 800 тысяч.

Через Слиозберга получена телеграмма ведущих американских евреев русским: «Евреи в Америке уверены, что их братья в России всемерно поддерживают Временное правительство, каждый шаг которого встречает в нашей стране всеобщее сердечное сочувствие. Русское дело теперь является делом гуманности и, следовательно, еврейского освобождения...»

По приказу начальника штаба Московского военного округа ген. Окунькова в Александровское военное училище зачисляются в качестве юнкеров более 300 студентов-евреев.

— ...вы понимаете, — сказал полковник Грузинов, — что в случае контрреволюции первую пала бы моя голова.

Эти жуткие слова о голове Грузинова приходят на память каждый раз, когда подумаю, что было бы в случае успеха контрреволюции с евреями!.. Завоевания революции евреи должны укрепить во что бы то ни стало, не считаясь с жертвами. Тут все начала и все концы, погибнет всё. Если у правительства не хватит денег для войны... Гнусное отродье контрреволюции должно быть раздавлено в зародыше. Умерщвлено должно быть самое семя его. Для этого нужны деньги — и деньги евреи должны давать не считая.

(Д. Айзман, «Русская воля»)

...Контрреволюция таится в скрытых гнёздах. Остались крепкие и цепкие корешки старого режима, которые требуют незамедлительной выкорчёвки...

(«Биржевые ведомости»)

...Надо до Учредительного Собрания быть всем равными, полная свобода агитации... А то у нас возникла революционная аристократия, которой всё дозволено и которая может вертеть страной по своему произволу... Давайте же полюбовно, в мире и единении, постом и молитвой, как в 1613 году...

(«Московские ведомости»)

...И куда пропали миллионы «истинно-русских», которыми пугал нас доктор Дубровин?..

АРЕСТЫ ВРАГОВ НАРОДА, 12 апреля. Вчера снова арестованы освобождённые на днях...

В ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Телеграмма. Копия по всей сети российских железных дорог.

Просим другие газеты перепечатать.

Мы, рабочие и служащие военно-срочного участка Казань—Екатеринбург, заявляем:

Не для того Россия свергла власть придворной шайки изменников, чтобы подчиниться диктатуре петроградской группы рабочих и солдат большевистского направления, пытающегося узурпировать власть над всей Россией. Мы, железнодорожники, не позволим никакой местной организации присваивать себе право издавать для всей России приказы.

Армейская депутация спросила министра-председателя, верны ли слухи о намерении захвата власти некоей другой организацией. Князь

Львов ответил: «Прежде чем допустить такой захват, Временное правительство обратилось бы к благоразумию народа и сложило бы с себя ответственность и полномочия, принятые перед страной».

...А чем занимается «Правда»? У неё одна задача: разъединять и сеять недоверие. Она не останавливается ни перед какой неправдой...

(«Речь»)

ДЕМАГОГИЯ. Есть люди, у которых личное тщеславие и самолюблённость заслоняют решительно всё. Говорят, что такими чертами обладал низверженный самодержец России. Очень похож на него г. Ленин. Он переступил пределы, превратившись в нравственный труп. Своим проездом через Германию он плюнул в душу русского народа, среди которого хочет иметь влияние. Немудрено, что теперь от него отворачиваются даже большевики. Ленин не может «очухаться», это — конченный политик. Для России он нравственно неприемлем, мы советуем ему вернуться в Германию. Россию Ленин не обманет, в какой бы «коммунистический» плащ он ни рядился.

(«Русская воля»)

К ОТКРЫТИЮ БИРЖИ! Держатели дивидендных и фондовых бумаг приглашаются в помещение кинематографа Солейль, Невский 48, на организационное собрание.

Одесса, 10 апреля. В Александровском парке состоялся митинг дезертиров и уклоняющихся от воинской повинности. Решено избрать особый комитет для заведывания делами дезертиров. Собравшиеся устроили овацию воинскому начальнику. «С падением старого режима мы счастливы вернуться в ряды свободной армии», но поставили условия: вернуться не в свои части, и чтоб их семьям выдавали пайки.

ПРИВЕТСТВИЕ НАРОДУ ОТ ПОЛИЦИИ. Чины елисаветградской уездной полиции послали Государственной Думе, Временному правительству и Совету рабочих и солдатских депутатов «искреннее поздравление с получением свободы. Разве мы не сознаём, что переворот сделан на пользу бедному народу, из которого большинство нас происходит, и приятно сердцу нашему знать, что детям нашим будет житья лучше, чем нам. Посылаем проклятие чинам петроградской полиции, дерзнувшей расстреливать голодный народ из пулемётов...»

Симферополь. ...беспокойство о сгущении приверженцев старого строя на южном берегу Крыма. Поднят вопрос о Романовых и бывших сановниках: в интересах безопасности рассеять их по разным концам России.

...На бывших царских землях у Алушты во многих местах хищнически истребляют животных.

ИНТИМНЫЙ ТЕАТР — ПЕРВАЯ НОЧЬ... Небывалые трюки!

Продаётся доходный **РОСКОШНЫЙ ДОМ**.

ПРЕКРАСНАЯ БАРСКАЯ КВАРТИРА продаётся.

Кассирша (еврейка) требуется.

Нужна бонна-лютеранка.

Требуется **видная горничная** — за лакея и служить у стола, во Владивосток. С предложением выслать фотографические карточки.

ЗАЁМ СВОБОДЫ. К ВАМ, ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СВОБОДНОЙ... КОМУ ДОРОГО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ... НУЖНА ЗАТРАТА МНОГИХ МИЛЛИАРДОВ... ОДОЛЖИМ ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВУ, ПОМЕСТИВ ИХ В НОВЫЙ ЗАЁМ, И СПАСЕМ ЭТИМ ОТ ГИБЕЛИ НАШУ СВОБОДУ И ДОСТОЯНИЕ.

СЛУХИ О СЕПАРАТНОМ МИРЕ. Видные общественные деятели Америки Маршал, Моргентау, Шифф, Штраусс и Розенталь прислали на имя Милюкова телеграмму:

«Американское еврейство встревожено сообщениями, что некоторые элементы работают в пользу сепаратного мира между Россией и Центральными империями. Мы уверены, что русские евреи готовы принести величайшие жертвы для поддержки нынешнего демократического правительства... Американское еврейство готово оказать содействие своим русским собратьям в этом великом движении».

Лондон, 13 апреля. Палата общин. В ответ на вопрос, сделало ли британское правительство какое-либо предложение русскому относительно будущего местопребывания бывшего царя, помощник статс-секретаря м.и.д. ответил, что британское правительство не выступало ни с каким предложением.

«*Фоссише Цайтунг*»: «Россия и её армия находятся накануне полного разложения... Вскоре будет вынуждена заключить мир».

...Ещё ни одна революция в мире не открывала таких горизонтов, не имела такого мирового охвата и не проходила при столь малых трениях. Революция обладает необычайной силой самозащиты и почти сверхъестественной силой самоисцеления...

(«*Биржевые ведомости*»)

...Пришла пора установить всеобщую трудовую повинность!

Донецкий бассейн. На рудниках Алексеевского и Прохоровского обществ по настоянию рабочих инженеры-штейгера и лица администрации собственноручно грузят уголь в вагоны.

Нижний Новгород, 14 апреля. Местные «Известия СРСД» отмечают участвовавшие случаи насилия, безчинств и самоуправства солдат, осо-

бенно на железных дорогах и водных путях, грозящие полным расстройством сообщения.

Симбирск. Телеграмма военному министру. ...всеми товарными и пассажирскими поездами... требуют немедленно отправки, задерживая встречные поезда, не дают прицеплять вагоны с продовольствием, которые стоят неделями. Продолжать службу невозможно...

Киев, 14 апреля. Забастовали военнопленные, обслуживающие городские предприятия. Остановились пекарни, бани; нарушения трамвая, водопровода. Требуют 8-часового рабочего дня и улучшения положения...

Письмо с фронта. ...Мы чувствуем себя как бы отрезанными от тыла, от его помощи. Крикуны тыла кричат о нашей доблести. А мы боимся, что наша смерть будет началом смерти России.

(«Русский инвалид»)

Самовольные действия крестьянских обществ. ...Многочисленные заявления об арестах и самовольных действиях, мешающих засеву земли... организовать оповещение населения о недопустимости...

Споры о женском равноправии в деревне. Наиболее левые крестьяне как раз и возражают против допущения женщин в Учредительное Собрание: женщины неграмотны и не от мира сего. Когда объявили, что за обедней больше не будут молиться за царя — женщины громко плакали. Нельзя допустить их выбирать в Учредительное Собрание, они 999 проголосуют за монархию.

На собрании армян Ростова и Нахичевани в пять минут подписка на заём дала около двух миллионов...

В Азово-Донской банк поступило заявление от Якоба Шиффа, что он подписывается на Заём Свободы на 1 миллион рублей... Г. Слиозберг составил воззвание о Займе на древнееврейском языке и на идиш.

...Если мне нельзя критиковать еврейскую молодёжь, то скажу: надо мной совершают насилие. Охранное отделение угрожало мне высылкой. Ещё худшими приёмами пользуются при новом строе...

(Корреспондент «Таймс» Р. Вильтон в «Биржевых ведомостях»)

Еврейское безправие в Финляндии. ...В передовой культурной стране, как будто преданной идеям права, установлен безчеловечный закон, запрещающий въезд евреям...

ПОГРОМНАЯ УГРОЗА. Чуть ли не со второй недели революции приходят сведения с мест о погромной агитации — но мы ничего не слышим о правительственных мерах. Между тем если власть имеет право быть нетерпимой и суровой, то только в таких случаях. Надо разда-

вить самый зародыш погромных действий. Пусть Временное правительство объявит самую суровую судебную кару за ничтожнейшее проявление погромной агитации — и применит её сейчас же!

(«Биржевые ведомости»)

...Приходится удерживаться от физической расправы над ленинцами. Приходится напоминать о недопустимости насилий, о борьбе только словом. Мы не сомневаемся, что насилие и не будет допущено, что большевизм умрёт естественной смертью среди высокого подъёма, вызванного революцией.

(«Речь»)

ПУГАЧИ. Коммунисты из «Правды» угрожают нам возмездием. Но оно уже наступило для ленинцев: возмездие — в глубочайшем одиночестве, в котором они очутились, превратились во всероссийское пугало, оскверняющее величие русской революции. Они никого не пугают и даже м.б. не следовало бы присматриваться к политической смерти этих недоносков революции.

(«Русская воля»)

Постановление матросов. Мы, представители того почётного караула 2-го Балтийского флотского экипажа, который встречал г. Ленина, возвращавшегося из-за границы, заявляем, что считали торжественную встречу актом воздаяния выдающемуся деятелю, оказавшему услуги русскому революционному движению. Ныне, узнав, что г. Ленин вернулся в Россию с высочайшего соизволения его величества императора германского и короля прусского, мы выражаем своё глубокое сожаление по поводу нашего участия...

...Гражданская свобода вскрыла много брачных недугов, до сих пор не замечаемых. Потребность к освобождению от тягостных уз возросла.

...В разных почтово-телеграфных конторах за последние недели сменяют начальствующих лиц и назначают новых по выбору. Комиссар Временного правительства при главном управлении почт и телеграфов просит чинов ведомства не производить такого самочинного удаления, поскольку это не соответствует принципам свободы и неприкосновенности личности...

Кража драгоценностей. Вчера ночью совершена кража в ювелирном магазине Фистуля. Воры разобрали стену...

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ обращается с усердной просьбой к тем... в дни переворота обнаружили пулемёты на крышах... Сведений, опирающихся лишь на слухи, не сообщать.

На днях **РАСПРОДАЖА С АУКЦИОНА** всего движимого имущества ресторана **КЮБА** (Морская 16, «Кафе де Пари»)

Автомобиль МЕРСЕДЕС продаётся...

Продаётся АРАБ ЧИСТОКРОВНЫЙ, жеребец, под верх.

Железные ставни продаются.

СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ хорошего качества продаются с доставкой, не менее бочки.

*Деньги нужны для побед,
Это знает целый свет.
Дело Армий — бить ружьём,
Наше, граждане, — рублём.
Потому, честной народ,
Покупай Заём Свобод.
Много выгод он несёт,
Шесть процентов даёт.
Три миллиарда, знает всяк,
Для Святой Руси пустяк.*

ДОКУМЕНТЫ — 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

(Опубликовано 14 апреля)

...Временное правительство просит всех граждан, сельских хозяев, продолжать засеивать свои поля, выполнить в тяжелую минуту свой долг перед свободной Родиной. Каждая незасеянная десятина — непоправимый ущерб для обороны... Возложить на само население охрану посевов и инвентаря отдельных посевщиков от возможных насильственных действий, которые должны быть рассматриваемы не только как нарушение интересов отдельных лиц, но и интересов государства как целого. Правительство вправе рассчитывать на участие в охране посевов всех свободных и сознательных граждан.

...Но если бы общественная охрана оказалась безсильной предупредить насильственные действия — Правительство сочтёт обязанностью государства возместить владельцам причиненные убытки. Поэтому всякое насилие над посевщиками будет ложиться тяжёлым бременем на средства государства...

20

Когда позавчера пригласили Милюкова в Зимний дворец дать в Чрезвычайной Следственной Комиссии свидетельские показания об этой швабре Штюрмере, воткнутой теперь в камеру Петропавловки, — то, повторяя, уже без страсти, свои прежние обвинения, что Штюрмер тайно сочувствовал Вильгельму, готовил сепаратный мир и выдавал тайны союзников (хотя конкретные подозрения, надо сказать, ни одно пока не подтвердилось), Павел Николаевич испытал отчётливое чувство странности от того, как далеко укатила История за эти пять месяцев.

Его штормовая первоноябрьская речь уже необратимо отдалась, как горная вершина. А сам Павел Николаевич, вознесясь по государственной лестнице на облачные высоты межгосударственных дел, заняв свой измечтанный пост в здании у Певческого моста, — как будто, обратно тому, не возвышался, а соскальзывал и соскальзывал куда-то вниз. Непредсказуемая бы прежде странность проявилась в том, что как раньше всеобщей излюбленной мишенью было самодержавие — так теперь почему-то мишенью для всех левых становился лидер партии Народной Свободы. И, министр победившей революции, либерального правительства, о котором, кажется, уж никак не крикнешь «глупость или измена?», как о ничтожном правительстве Штюрмера, — он не только не был счастлив, но был ли он воистину волен в своих действиях? Увы и улы — нет. С разных сторон жёсткая повседневность наносила ему много язвящих укулов — и железной выдержкой надо было защищать своё сердце.

И только где отдыхало и влажнело оно — под лепными потолками самого министерства, в беседах с послами союзников, да на публичных выступлениях в дружественных аудиториях: на съезде Союза городов в Москве, на кадетском московском совещании, а выше всего, разумеется, на кадетском съезде, где Милюкова буквально фетировали, встречали немолкнувшей овацией, весь зал стоя, именovali мужественным и негибачимым вождём, так что должен был он умерять своих почитателей, что его роль преувеличивается тут, но взоры всего мира действительно устремлены на наш съезд, и среди бушующей грозы наша партия являет истинный пример государственного благоразумия, она — арбитр между классами и сословиями, — говорящий понял это, находясь на по-

сту, который даёт возможность расширенного горизонта. Ни одна революция не прошла так гладко, как наша. Правда, ни одна и не приходила так поздно. Она была неизбежна. Мы не хотели этой революции, но теперь надо спасать Россию. — И в пылком съездовском единении Милюков без душевного усилия присоединился к резолюции о республике и радовался её мудрости, хотя всю жизнь, и даже вот в начале марта, так неудачно настаивал, что без монарха будет гибель и разложение.

Однако съезд длился неполных четыре дня и лишь под замкнутым куполом Михайловского театра. А даже на уличных протяжениях Петрограда авторитет Народной Свободы и её лидера совсем не устаивал так прочно. И пекло и оскорбляло не с правой стороны, как привыкли прежде, а всё с левой, с левой, с левой.

Социалисты, когда-то несостоявшиеся союзники кадетов, становились теперь невыносимы. Они демагогствовали, что нельзя отдавать чиновникам международные задачи нации и нельзя примириться с «закулисной антинародной дипломатией замкнутой чванной касты»! Они упрекали Милюкова, почему он «не демократизирует» внешнюю политику. Кидали безответственно, что «война продолжается во имя идей, объединяющих царя (!?), Милюкова, Бриана и Ллойд Джорджа!» Непроницаемая завеса! дайте широкое осведомление! отныне демократия (под «демократией» странно стали понимать лишь тех, кто левее кадетов...) — демократия сама должна направлять внешнюю политику!

И интересно: как же это она будет делать сама? А — тонкая структура дипломатической вязи? И зачем тогда все традиции, и министерство иностранных дел, и сам министр?

Но поспешней и чаще всего стали социалисты язвить, что министерство иностранных дел не только не помогает революционным эмигрантам скорей вернуться на родину, но даже мешает. Совершенно истерически это подавалось в социалистических газетах, а известный свехистерик Зурабов напечатал, что в нашем копенгагенском посольстве ему показали телеграмму Милюкова: «Соблаговолите не выдавать видов на проезд тем из эмигрантов, кто занесен в международные контрольные списки». (Очень неблагоприятно это обнаружилось, посольство не имело права показывать.)

Честно-то говоря, Милюкова за последнюю неделю и пугало, как это весь революционный эмигрантский муравейник или даже саранча спешили все скорей переползать в Россию. Болтались-бол-

тались по границам — а почему они теперь должны скорей хлынуть в Россию и сбивать её с пути? Было бы куда лучше и спокойней тут пока организовать без них.

Но правительство, воздвигнутое революцией, никак не могло выставить прямого кордона революционерам и даже тень подозрения о том допустить. И оставалось только абсолютно негласно распорядиться нашим консулам за границей и просить союзников всячески задерживать эту публику. Но вот копенгагенское посольство проболталось, и складывалась исключительно неприятная обстановка, надо было как-то выворачиваться и отрицать. А тут и другой вопиющий случай: Троцкий, известный ядовитый тип, с группой единомышленников поплыл из Соединённых Штатов, а в канадском порту Галифаксе английские власти задержали их. Англия и сама понимала германофильскую опасность этой группы, и Милюков тоже просил Бьюкенена всячески этих задерживать, но начался шум и с Зурабовым, и с группой Троцкого (травила «Правда»), и Милюков в несвойственных ему колебаниях то просил Бьюкенена, чтоб Троцкого пропустили, то снова просил задерживать их, то снова — пропустить. Но это — в крайнем секрете!

А публично Милюков сам или от имени министерства отгораживался и оправдывался, что никаких задержек нигде нет, а все ворота реэмигрантам распахнуты; что даны срочные распоряжения оказывать им самое благожелательное и предупредительное содействие, вне зависимости от их убеждений. И министр-де особенно энергично протестовал против задержки группы Троцкого; и паспорта выдаются эмигрантам безо всяких препятствий, и даже если неизвестны их личности и вообще ли они из России, — паспорта выдаются по заверениям эмигрантских комитетов. Так что задерживает их всех не Временное правительство, но опасность переезда по морям и невозможность всех сразу перевезти: немцы потопили часть пароходов, ходивших в Норвегию; а также строгие правила, существующие в промежуточных странах. Спешил Милюков оправдаться и за союзников: они не отвечают за задержку, они тотчас выполняют все просьбы русского министерства. А дело в том, Временное правительство не сразу было осведомлено (и правда, Милюков узнал уже только на Певческом мосту), что кроме списка «политически неблагонадёжных» был ещё союзный «контрольный список нежелательных лиц», заподозренных в сношениях с неприятелем. Так вот, в таких списках ошибочно числились и Зурабов, и Троцкий, и Ленин. (Заявил и Бьюкенен, что

именно Троцкого задерживали потому, что он всю войну высказывался в пользу Германии, но вот уже охотно пропущен.)

Однако и наивен же был Павел Николаевич, предполагав одной публикацией фамилий пацифистов, едущих через Германию, дискредитировать их и лишиться политического влияния. Они проехали — даже салфеткой не утёрлись. Всегда заявлял Милюков, что обвинять политических противников в простой подкупности — неприлично... Но эти люди — Ленин, Троцкий — эта какая-то совсем новая порода, она просто за пределами всяких человеческих правил, не знаешь, что против них и предпринять.

К счастью, Ленин сразу же провалился в Таврическом, в первый же день по приезде: защищал пацифизм с такой безцеремонностью и безтактностью, что ушёл с совещания освистанным. Даже для самых воспалённых социалистов его речь была глупостью и безумием. Так что Ленин — совсем не опасен, и даже хорошо, что он приехал, вот у всех на виду и сам себя опровергает: ещё одна прививка циммервальдского утопизма.

Но, при всех его крайностях, он подталкивает в социал-демократах стремление к миру поскорей. Вот и ИК меньшевиков — а как не посчитаться с меньшевиками? они самые солидные у нас социалисты — опубликовал путанейшую резолюцию, по сути повторяя Циммервальд: самая неотложная задача русской революции — борьба за мир без аннексий и контрибуций. Побудить (читай — принудить) Временное правительство официально и безусловно отказаться от всяких завоевательных планов — и даже: выработать такое коллективное заявление ото всех правительств Согласия! А сами они тем временем декларируют «к пролетариату всех воюющих стран» оказывать согласованное давление на свои правительства. И это — серьёзные меньшевики? Милюков убеждал Чхеидзе и Церетели в Контактной комиссии, что это — всё утопия, совершенно неосуществимо: социалисты западных стран свободны от этих бредней и стоят на национальной почве.

Он уверен был в этом! Но и западные социалисты оказались подвержены тому же головокружению. Вот 8 апреля приехал Альбер Тома (теперь он во Франции и министр). Тома особенно засверкал глазами от русской революции, тотчас стал поддакивать Совету — и вовсе выбивал почву из-под Милюкова: как же призывать к верности союзникам настойчивей, чем это делает французский министр военного снабжения? На приёме в Мариинском дворце пытался его поправить: «Несмотря на переворот, мы сохра-

няем главную цель этой войны — уничтожение немецкого империализма. И франко-русский союз связан со звуками марсельезы в России. Благодаря демократизации Россия стала вдвое сильнее и вынесет все военные невзгоды». Но и тут — в своей среде! — безсовестный Керенский дал подножку: «Мы, русская демократия, раз навсегда прекращаем все попытки к захвату. Наш энтузиазм истекает не из идеи отечества, а из братства народов, и как мы тут влияем на свой буржуазный класс — так и вы там влияйте на свои!» (И ещё одним унижением было, что Милюков же должен был его и с русского переводить...)

Но Павел Николаевич на своём посту не мог потерять ощущение всей глубины государственной традиции — ну хотя бы от XVIII века, не мог не чувствовать за своей спиной ну хотя бы Остермана, Бестужева-Рюмина, Никиту Панина, Румянцева, Горчакова. После полоумного советского Манифеста 14 марта (кстати, скандальнейше безотзывного по Европе) — он тоже не мог молчать и не отстаивать разумную точку зрения. Да показалось тогда: народная стихия улегается, перелом к лучшему в гарнизоне, печать имеет смелость укорять рабочих в отлынивании от работы, — и можно же подать голос и министру иностранных дел? И он побеседовал с журналистами: об освобождении славянских народностей от Австрии, о слиянии австрийских украинских земель с Россией, о ликвидации турецкого владычества в Европе и что обладание Константинополем — это важнейшая проблема войны, а нейтрализация проливов вредна для России. Обладание Царьградом всегда считалось исконной национальной задачей России. И что пресловутая формула «без аннексий и контрибуций» есть формула германская, а для союзников неприемлема, Германия — должна возместить убытки от своей агрессии.

Но надо же так неудачно: появилось это в газетах в день похорон жертв революции 23 марта (и рядом со зловещим нашим стоходским поражением) — и было истолковано как вызов демократии, игнорирование революции — вообразить было нельзя, как расхлещутся социалисты, буря! — и перекинулась внутрь правительства, и робкий князь Львов не в первый раз отступился от Милюкова, а Керенский публично опроверг: это было частное мнение Милюкова, а не взгляд правительства, — и это уже не первый раз за мартовские недели его «частное мнение».

Так что ж получается: ничего нельзя и заявить?

А напуганная свободная пресса — не защищала Милюкова.

А социалисты уже не только бранились, но прямо лезли направлять, советские с ножом к горлу стали требовать: правительство должно публично отказаться от завоевательных целей. Церетели, к счастью теперь заменивший в Контактной комиссии грубияна Нахамкиса, убеждал Милюкова пламенно, горя тёмными глазами: именно, не теряя времени, послать ноту союзникам (уж Павел Николаевич сумеет выразиться дипломатично, верил Церетели) и одновременно обратиться к армии и к населению с торжественным заявлением: во-первых, разорвать с империалистическими стремлениями, во-вторых, обязаться предпринять шаги к достижению всеобщего мира. Он убеждал, что тогда правительство приобретёт огромную нравственную силу, «за вами все пойдут как один человек, последует небывалый подъём духа в армии и так проявится творческая сила русской революции».

Церетели подкупал и тоном своим, и манерой, хоть и сам усумнись. Но нет, Милюков твёрдо понимал всё положение — и уже сразу отодвигал «во-вторых» и сильно оспаривал «во-первых»: ничего это обращение не даст и только испортит отношения с союзниками и с могучей вступающей Америкой.

Однако — не было тыла за спиной: сами же министры полухором упрекали Павла Николаевича, и надо было удерживать их от порывистого согласия.

Трагедия состояла в том, что тут возник не какой-то маневренный тупик, случайная острая ситуация, из которой надо только изощрённо, ловко вывернуться, — но это был принципиальный тупик всем понятиям всей жизни Павла Николаевича, шлагбаум, отрицавший всякий смысл его деятельности. То было и трагично, что он знал свою абсолютную правоту — и полную неподготовленность своих оппонентов. На утопическую доктринёрскую точку зрения социалистов, младенческие бредни этого Церетели, солидная дипломатия стать не могла. Революционные беспорядки в Германии? поддержка германской социал-демократии? — абсолютно необоснованные надежды, вы уже имели время убедиться. Австрия — да, очень хочет мира, но без разрешения Германии не посмеет его заключить. Что за фанатическая узость: естественное стремление России обезопасить свою безопасность — заподозрить в «империализме»?

И на следующий день среди одних министров: из-за чего и свергнуто старое правительство? — за неспособность довести войну до победного конца. И мы теперь повторим его ошибку? — так

свергнут и нас. Теперь, когда в войсках энтузиазм от нового строя, вы же видите — столько поддержки от фронтовых deputаций, установилась духовная связь правительства с армией, — и вдруг нам начать пятиться перед чьей-то усталостью? Да не имеем мы права забывать о национальных задачах и интересах России! Нам нужен окончательный и длительный мир — а для этого решительная победа. Мы уже заявляли, что русский народ не стремится к захватам, к покорению других народов, — но не допустить же и собственного уничтожения! Как? — война унесла миллионы русских жизней — и теперь вернуться к *status quo*? — невероятно! Не захваты, но должно произойти органическое переустройство Европы. Аннексий для себя в Европе? — не хотят и союзники (колонии у Германии они отнимут в Африке), но именно мы, русские, нуждаемся в проливах. Да как бы кто ни смотрел теоретически на возможность изменения целей войны — не сейчас же это поднимать, когда военный успех борьбы ещё не окончательно выяснился. В таких условиях нельзя же на ходу менять задачи, взаимно уговоренные с союзниками. А сепаратный мир?? — страшно подумать, он вычеркнул бы Россию из списка великих держав — и был бы гибелен для завоеваний революции. Нет!! — на такой путь русская демократия не станет! *Conditio sine qua non*: вместе с союзниками — к окончательной победе!

Однако министры, расслабленные давлением Совета, мялись — и совсем ничего не уступить было невозможно. Какое-то заявление приходилось дать. В правительстве теперь больше половины составляла, как Павел Николаич называл, «оппозиционная семёрка» — и во главу её выдвинулся даже не князь Львов, он только покорно примыкал, — а звонкий фигляр Керенский, на заседаниях правительства стесняющий своим присутствием, нельзя откровенно высказываться. То, приехав из Кронштадта, он безсовестно лгал даже министрам в узком составе, что там всё якобы успокоилось. То, с 21 марта, необъяснимым путём объявлен заместителем князя Львова, а когда в конце марта министры второй раз ездили в Ставку, то в газетах было обозначено, что «просили» Керенского принять на эти дни председательство. Ещё усвоил он себе отвратительную привычку во время заседаний правительства нервно расхаживать по залу, то подходить, то далеко отходить, как будто он самый главный тут, может их и покинуть. А однажды устроил Милюкову мерзкую сцену, раскричался и просто убежал. Скрытая с поверхности, тянулась безотказная связь его с Терещен-

ко-Некрасовым-Коноваловым. Близоруко примыкали к ним неуравновешенный второй Львов и безликий Годнев. Вот, с податливым князем, и семёрка, большинство в кабинете. А Гучков — всё болел или уезжал, хмуро уклонялся от всяких коллизий внутри кабинета. А Шингарёв фанатично упёрся в земледелие и продовольствие. Мануйлов — не фигура, не поддержка.

И проклинал себя Павел Николаевич, где же были его глаза и разум, когда он единовластно составлял правительство? Мог взять больше кадетов, и кадетов настоящих, не предателей, как Некрасов, да Набокову первому дать важное министерство, и Винаверу, да насколько Бубликов энергичный был бы тут хорош. Да и премьером — во сто раз было бы лучше иметь тут громового патриота Родзянку, чем мямлю Львова. Не предвидел, что так сразу покатит налево. Чего тогда опасался? какие-то дутые вздорности преувеличил, переуступил и перелавировал. Его лучшее качество — компромисса и лавирования — и подвело в те дни.

Но — хоть теперь бы оно должно выручить. Не имея силы не уступить вовсе, Милюков каменно упёрся, что не оформит этой новой декларации как дипломатическую ноту союзникам, а лишь — обращение к гражданам России. (А уж тем более — не будет вырабатывать для союзников проекта коллективного заявления! — никогда он не возьмётся передавать давление на союзников — это неблагоприятно.) И конечно же не вставит этой ходячей пошлости «без аннексий и контрибуций», как его вынуждают. Заяви мы «отказ от аннексий», господа, это ни на шаг не приблизит нас к миру, но выявит перед Германией и перед союзниками нашу военную слабость. Милюков тщательно подбирал выражения декларации 27 марта так, чтоб они не исключали его истинного понимания задач внешней политики и не потребовали бы никаких реальных перемен в её курсе.

Тут душевно помог Набоков: да изошритесь выразить эти «аннексии и контрибуции» настолько иносказательно, что сохранится *reservatio mentalis*, простор для самого широкого и субъективного толкования. И такое сегодня обращение к народу никак не есть дипломатический документ, не *expressis verbis*, и никак потом не свяжет нас на мирных переговорах: победителей не судят, кто будет помнить это обращение? Да вон президент Вильсон выражался же и так, что вообще никто не должен победить в этой войне, — а сейчас вступил в войну с другим тоном, и никто ему не напоминает.

И Павел Николаевич выговорил себе перед министрами: что если этот компромиссный документ получит одностороннее истолкование — Милюков оставляет за собой право толковать в своём смысле и раскрывать неопределённые выражения в направлении своей политики и национальных интересов России. И очень гордился удачей вставленными там выражениями (Кокошкин посоветовал их): «Русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах», но — «при полном соблюдении всех обязательств, принятых в отношении наших союзников». А Керенский неожиданно добавил «государство в опасности» и «напрячь все силы для его спасения», так и ещё лучше стало. Но и всё же «не насильственный захват чужих территорий» вместо аннексий пришлось в последний момент вставить под давлением советских — и становилось трудно истолковать это в уклончивом смысле. А Контактная комиссия нашла, что и это слишком уклончиво, и возмущалась теми «жизненными силами, какие не должны быть подорваны», и «правами родины» — и грозили на следующий же день начать в газетах кампанию против Временного правительства. Но тут и Некрасов посоветовал им, что им выгоднее истолковать декларацию как уступку со стороны правительства. Ещё одобрили текст осуждением старого режима — и в конце концов советские социалисты согласились.

Однако когда эта Декларация, от 27 марта, напечаталась — она имела столь шумный общественный успех в России, что Милюков испытал смущение: неужели он, сам не заметив, слишком согнулся и капитулировал перед Советом? Хвалил и правосоциалистический «День», что это — шаг в сторону от империализма и навстречу советскому манифесту 14 марта, истинно демократические слова. Хвалила и меньшевицкая «Рабочая газета». Плохо. Декларацию определённо истолковали и как отказ от Константинополя. А тут повяло и недовольство от союзников, с подозрением и неприязнью они приняли «негосподство над другими народами, неотнятие у них национального достоинства, не захват чужих территорий, ничьё унижение». А тут — и германо-австрийская печать приняла декларацию слишком доброжелательно, это вовсе плохой знак. И в эту же больную точку клевало притаившееся, перелицевавшееся «Новое время»: декларация психологически разрывает наш договор с союзниками, создаётся моральная почва для сепаратного мира.

Да неужели же так?? Да где это прочли?

Да, прочли! И Палеолог с Бьюкененом жестоко упрекали Милюкова: у вас — 8 союзников, и некоторые пострадали больше вас, а вот прибывает и 9-й, Америка, и вся война начата за славянское дело, — и вы же первые выходите из игры? (Бьюкенен требовал, чтоб мы активно продолжали наступать в Месопотамии на Мосул.) Тут и американские еврейские банкиры прислали тревожный запрос: неужели — сепаратный мир?? И Милюков искренно ответил им: «Глубоко тронуты симпатиями выдающихся американских граждан иудейского вероисповедания... обеспечить торжество великих демократических принципов... Что касается слухов о сепаратном мире — могу заверить, что лишены основания...»

Но так болезненно ранили Милюкова все эти упреки и до такой степени он был един со своими упрекателями, что лучше бы отказался от министерства, чем от своих принципов и от дальнейшего твёрдого ведения этой войны. И на прошлой неделе на московском кадетском совещании сам, теряя осторожность и весь скрытый выигрыш от декларации 27 марта, проговорился: что она никак не означает отказа правительства от союзных обязательств и прав, и вопрос о проливах будет разрешён в связи с результатом войны, и конечно же мы будем требовать от Германии возмещения расходов по восстановлению разорённых ею областей.

Дьявольски трудное это лавирование: между анархическим морем внутри страны и твёрдыми обязательствами вовне. И не выглядеть империалистом — и сохранить же честное кадетское лицо. И перевысказать нельзя, и недовысказать нельзя.

А тут достиг удар, от кого и ждать было нельзя: от президента Соединённых Штатов! Уж как приветствовало Временное правительство его вступление в войну! — блестящий шаг! с восторгом поздравляем! Свободная Россия чувствует себя особенно обязанной по отношению к Соединённым Штатам! А Вильсон сейчас, принимая в Штатах лорда Бальфура и маршала Жоффре и отклоняясь же судить о всяких будущих политических образованиях и мировых границах, нашёл нужным вмешаться в три: признать (ещё не существующую) греческую республику с Венизелосом во главе (неплохая мысль, но значит свергнуть греческого короля); создать еврейскую республику в Палестине (отличная мысль и предусмотрительно высказана); и — о проливах!.. Совсем не подумав о русских интересах (с Россией можно не считаться?), он: не имеет мнения, но надеется, что русские откажутся от Константи-

нополя! Не имеет мнения — но имеет... (Да не обидно, если бы мы реально уже эти проливы брали. А то ведь и не готовимся. Вот только появилась тайная надежда, что Болгария перейдёт к союзникам — тогда мы проливы быстро бы взяли.)

Балансирование требовалось — нечеловеческое. И вот так, достигнув своего заветного поста, — Милюков загадочно лишился своего бывшего авторитета и прочности. Ничтожество Керенский не только явился на все иностранные встречи — с Альбером Тома, на завтрак у Палеолога, чествование американского посла (всюду примазывая и своего неразливного дружка Терещенку, с иностранными языками, и уже сунулись они к Бьюкенену, что согласны на нейтрализацию проливов!) — нет, он уже и публично перехватывал себе инициативу внешней политики, публично хвастался в Совете, что он теперь — реальный направитель внешней политики и декларация сделана под его влиянием (да так оно отчасти и было).

Да кто теперь у нас не хозяин внешней политики! Исполнительный Комитет Совета тоже ведь завёл свою внешнюю политику! — создал свой «отдел международных сношений», — ну что за нахальство?! Чуть ли не своих послов посылать в другие страны, и во всяком случае — советских комиссаров в наши посольства: «соответствует ли их деятельность новому строю и задачам демократии», а не то — «парализовать». Не знаешь, посмеяться? или удивиться?

Исполнительный Комитет нависал над головами министров как высокая скала — и уже наклонная, грохнуться на них. Временное правительство отвечало перед ИК за каждый свой шаг, даже принятый под давлением ИК, — а ИК не отвечал ни за что. (Одна сокровенная надежда питала Милюкова, что в ИК произойдёт внутренний раскол.) Уже не только Контактная комиссия спрашивала отчёта с правительства, но и в каждое министерство норовил ИК всунуть своего комиссара. А на своём концемартовском совещании Советов они так прямо развязно и обсуждали, особенно Нахамкис: брать им власть или пока не брать? Звучало там, что «нынешние министры не желали этого переворота», и «не верим ни одной личности, ни Гучкову, ни Милюкову», и «Милюков недостаточно определёнен в своих чувствах к дому Романовых», и «мы не можем дальше терпеть этого правительства», — поносили так, как прежде поносилось царское, не считаясь ни с какими допустимыми границами. И даже, такая безвкусица и наглость, — хотели *вызвать* министров на своё совещание. (И — что бы делать,

если б вызвали?..) Далеко же это ушло от «поддержки постольку-поскольку», обещанной Нахамкисом и Гиммером в первоапрельских переговорах.

Но даже — нельзя было этого выразить вслух нигде. И перед фронтовыми делегациями в Мариинском дворце, тревожно призывающими правительство не подчиняться никакой посторонней власти, — самому ж и Милюкову тоже приходилось заверять, что правительство действует вполне самостоятельно, что никакой второй власти нет: хочет — выполняет пожелания Совета, а то — отклоняет.

Маленький эпизод — но сколько в нём. В день похорон жертв революции Львов, Милюков, ещё несколько министров поехали на Марсово поле в одном большом роскошном лимузине, все вместе. А патруль милиционеров на мосту через Фонтанку — задержал их! потребовали — пропуск от Совета рабочих депутатов. Нету такого, но здесь — правительство, здесь — сам князь Львов. И — узнали же Львова. Но — всё равно не пропустили! И пришлось правительству повернуть и ехать в ближайший комиссариат за пропуском. А комиссариат оказался — в фонтанском бывшем доме м.в.д. И там не дали сразу пропуска, а стали по телефонам искать Керенского. А министры беспомощно, униженно сидели в зале и размышляли, что ведь это — недавний дом Протопопова, откуда они его выкуривали. А теперь — как бы сидели и ждали у него приёма? Да плюнуть бы, уехать, — но нельзя решиться не присутствовать на таком революционном празднестве. И — ждали, ждали, пока наконец приехал Керенский, взял правительство под своё покровительство — и повёз их на церемонию. (Довольно гадкую, кстати, и в дурную грязную погоду. Обнажили головы у могил на временных деревянных мостках, рядом с ИК. И хоть умолчать бы о своём позоре! — но глупый Мануйлов тут же и разболтал всю историю задержки обступившим корреспондентам.)

Да *цыфирный* отдел (тайная расшифровка телеграмм дипломатов) доносил Милюкову, что швейцарский и ещё другие послы докладывали в свои столицы... о весьма вероятном падении Временного правительства! Хорошенькое начало! Нет, до этого далеко, однако читать неприятно.

А ситуация с министром иностранных дел — никак не смягчалась. Не говоря о том, что не уставала травить Милюкова «Правда», — завели ещё такую новую моду: заводские якобы резолюции. И «Известия» Совета публиковали их на месте передовых. «Тре-

угольник», видите ли, постановил: «Предлагаем Совету депутатов категорически потребовать от Временного правительства немедленного опубликования во всеуслышание всех договоров с союзниками. Рабочий класс России не желает вести войну во имя захватнических стремлений английских и французских капиталистов. И чтобы Временное правительство тотчас обратилось к союзникам: отказаться от аннексий и контрибуций. И взять на себя инициативу начала мирных переговоров». Вот так. И это всё, и этим языком — составляли рабочие? Мы должны поверить?

А рабочие «Старого Парвиаинена» будто бы требовали и большего: «Сместить Временное правительство!»

А «Известия» печатали — самыми крупными буквами.

И что ж это за новый стиль такой? — почему случайная сходка берётся направлять правительство Великой России?

И вот, при всей деликатной шаткости положения министра иностранных дел, вчера, 13-го числа, раскрыл Павел Николаевич утренние газеты — и глазам не поверил. Повсюду напечатано: «Как стало известно, Временное правительство в настоящее время подготавливает ноту, с которой оно в ближайшие дни обратится к союзным державам и в ней подробно разовьёт свой взгляд на задачи и цели войны».

Как ужалили Павла Николаевича, не умел подскакивать, но подскочил: да кто ж это за него распорядился? да что ж это за подлость такая? что за невиданные политические приёмы?

Вспомнил: на Контактной комиссии вечером 11-го появившийся Чернов разливался о своих европейских впечатлениях, и что там никто не знает о нашей декларации 27 марта, так хорошо бы повторить это в ноте, в Европе, мол, будет очень благожелательно принято. И Милюков тотчас же отрезал, что он не хуже знает западное настроение; что такая нота вызвала бы не сочувствие, но тревогу среди союзников: будут слухи, что Россия готовится разорвать союз. Но черновское «Дело народа» стало подкипачивать — ноту! ноту! — какой-то аноним.

Но кто ж это дал сообщение? — из правительства??

Покатил Павел Николаевич в Мариинский, выяснять. Набоков уже и разведаль: это Керенский!

Ах, мерзавец! Еле высидев заседание, при конце Милюков ледяно спросил: кто дал прессе это коммюнике?

Львов? — ничего не знает.

Керенский, чуть-чуть смутясь, но дерзко: он не отвечает за форму, в которой пресса передала его слова, но при сложившихся обстоятельствах такое сообщение было необходимо.

Да каков же наглец! Всё так же ледяно (а сам клокотал) Павел Николаевич сказал князю Львову, что немедленно подаёт в отставку, если Керенский тотчас же не опровергнет. И началась буря. И даже в оппозиционной «семёрке» все от Керенского отшатнулись, находя его приём неприличным. И Керенский, кусая губы, впервые ощутил себя «заложником», каким всё время хвастал, — и по телефону из набоковского кабинета передал в телеграфное агентство опровержение.

И сегодня — оно тоже во всех газетах.

Но — что подумают союзники? Что подумает Россия? На одном таком странном опровержении тоже долго не продержишься.

И заметил Павел Николаевич: министры осудили Керенского только за форму вмешательства в чужое ведомство, а по сути — они хотели уступить и ноту послать, ещё под этим давлением «рабочих резолюций».

И совсем не уступить — стало невозможно и для Милюкова. Какую-то ноту, какую-то ноту... а придётся посылать.

Но ощущал он: как это не вовремя! Если в марте союзники ещё думали, что мы сами справимся со своими затруднениями, — то теперь они уже жёстче приглядываются к нам. И хотя Милюков ну совсем же не был чувствительным человеком — но больно ему было представлять, как же союзники разочаруются в нас!

ДОКУМЕНТЫ — 9

14 апреля

**ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР ТОМА ИЗ ПЕТРОГРАДА —
ВО ФРАНЦУЗСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ**

Телеграмма, шифровано

...Ни судьбе войны, ни судьбе Альянса ничто не угрожает. Я умоляю, чтобы не волновались... Все те, кто находятся в контакте с революционной армией, подтверждают, что постепенно происходит реальное улучшение положения... Революционный патриотизм может и должен проявиться...

ДОКУМЕНТЫ — 10

14 апреля

ГЕРМАНСКИЙ СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЦИММЕРМАН —
ПОСЛУ В БЕРНЕ РОМБЕРГУ

Шифровано

Генерал Людендорф согласен пропускать через наши линии Восточного фронта русских эмигрантов, до сих пор сопровождавшихся через Стокгольм, — с тем, чтобы они вели мирную пропаганду непосредственно в армии. Если бы нашлись готовые к тому, то можно было бы сделать такую попытку.

21

После бурного заседания Исполкома 5 апреля, когда, вокруг присяги и Платтена, чуть не разорвали с правительством, заслушали на следующем свой скандальный протокол и постановили: впредь вести протоколы в безличной форме, чтобы не навешивать на товарищей одиозность, кто именно что говорил. Вообще, крайне неудобно и нежелательно разглашать подробности того, что и как происходит на ИК. И в советской прессе, и в социалистических газетах не надо этого печатать, уже скрепя сердце напечатали полный список ИК, ещё и с раскрытием псевдонимов, хватит этого.

Левые несколько раз предлагали публично дезавуировать Керенского за его фактическое предательство ИК. Большинство Исполкома не соглашалось: всё же полезно присутствие Керенского в правительстве и приходится учитывать его популярность.

Но тут же выдвинулась опасность и побольше, обсуждали как первый серьёзный вопрос. Пока кипели неделю на Всероссийском Совещании Советов — а тут под боком, в петроградском гарнизоне, выросло неконтролируемое движение, как-то связались батальоны между собой (да похоже — через большевиков): кроме Солдатской секции Совета, которой им оказалось мало, они желают избирать своё отдельное гарнизонное бюро, как это уже есть в некоторых городах (ведь повсюду строится хаотически, где как придётся), — якобы для решения специфических военно-технических вопросов. Но это — исключительно опасное предложение. Создание другого центра вне Совета — абсолютно недопустимо, там может выработаться своя политическая линия — и что то-

гда? гарнизон не станет подчиняться Исполкому. Размаху революционной инициативы тоже должен быть предел. А что же смотрит Станкевич (мастер критиковать других)? Наша солдатская Исполнительная Комиссия должна перехватить это начинание, убедить гарнизон, что она их достаточно представляет, что она — уже и есть это самое гарнизонное бюро.

Солдатская комиссия теперь заявляет, что их мало (человек сорок), что они перегружены общероссийской работой, а чтобы им заменить гарнизонное бюро — надо провести по гарнизону дополнительные выборы, хотя бы по человеку от батальона, — и всех их тоже включить в Исполнительный Комитет.

Хорошенькое дело, еле этих терпели, а теперь ещё добавлять шестнадцать? Но из двух зол придётся выбирать меньшее, иначе мы потеряем гарнизон. Постановили: добавить этих 16, но не новыми выборами от батальонов, ещё неизвестно, кто попадёт, а — делегатов от действующих батальонных комитетов, уже более притёртых.

Тут ведь только что, от Совещания Советов, уже добавили тоже 16 новых членов, чтобы ИК стал считаться Всероссийским. (Он уже разрастался государством, к нему обращались и учреждения — правительственные и провинциальные, к его дверям шли и пёрли жалобщики всех видов, толпа посторонних, чиновники, офицеры, мужички с котомками, плачущие женщины.) Эти новоизбранные шестнадцать, правда, стесняются, считают себя временными, до съезда Советов, и сами заявляют, что не хотят включаться в органическую работу ИК. Это хорошо. Богданов придумал загнать их всех в иногородний отдел. (Самому развитому из них, Гуревичу-Беру, поручили организацию областных съездов советов, по несколько губерний в области.)

А если дополнительные выборы по солдатской секции, то придётся провести дополнительные и по рабочей, ещё с десятков рабочих. (Но их можно разослать в командировки по заводам.) А после того, что мы включили в ИК и всех членов с-д фракций четырёх Дум, и представителей районных советов, и ходит на заседания вся редакция «Известий», и новоприехавшими усилены представительства каждой партии, и заменённые члены ИК тоже нередко приходят, — мы что-то разбухаем чуть не до 90 человек, наши заседания становятся тоже неуправляемые, и тоже не остаётся никакой дискретности, сказанное здесь конфиденциально — разносится далеко.

Ход дел в Исполкоме всё больше зависел от Церетели, а замученный Чхеидзе и вечно весёлый Скобелев, хотя формально во главе ИК и всего Совета, всё меньше значили после включения приехавших лидеров — Гоца, Дана, Либера, а затем и Чернова. Приехавшие эмигранты и ссыльные неизбежно вытесняли здешних, петроградских. (Между тем Станкевич и Дан всё мотали Стеклова с реорганизацией «Известий», а Гиммер увлечённо готовил при Горьком свою собственную газету, которая должна была затмить и все революционные, и все вообще петроградские.)

Тут верхушке ИК надо было ехать на минский фронтовой съезд: там собрались тёмные солдаты, их ориентация неизвестна, могут поддаться монархической агитации, — надо сразу крепко взять в руки и провести как социалистическое совещание. Уезжала головка в Минск всего на три дня, и полагали, что тут без них, каждый день собираясь, будут решать только мелкие вопросы. Такие и были. Являлся надоедливый, сморкатый Громан: какую разработать тактику при выборах в петроградскую продовольственную управу? есть возможность захватить все места, но, пожалуй, не следует этого желать, иначе нам придётся взять на себя и ответственность за продовольственное дело в Петрограде, которое всё хуже. Никому не хотелось и брать на себя хлопот по организации первомайской, по новому стилю, манифестации, придумали поручить Суханову-Гиммеру, наименее приспособленному. (А он исхитрился найти энтузиастов вместо себя.) Долго спорили, какой лозунг должен быть написан на первомайском знамени ИК: эсеры настаивали — «В борьбе обретёшь ты право своё», но пересилили социал-демократы — что «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» более интернациональный и всеобщий. Обсуждали предложение Лурье: отпраздновать 1 мая прекращением военных действий на один день, пусть Совет выступит с обращением к нашей армии и к противнику — не делать в этот день первого выстрела. Красиво. Но удастся ли это технически? успеем ли предупредить немцев? как они отнесутся? И будут противодействовать наши военные власти. А если случится в этот день неудача на фронте, вроде Стохода? — и свалят всё на нас, и используют против дела революции.

Спорили и с межрайонцами: они настаивали занять пустующую дачу Дурново, а ИК не решался дать санкцию: и так уже кричала буржуазная печать о захвате особняка Кшесинской. Тут — от гельсингфорсского Совета жалобы на Гучкова, что он самоуправничает в морском флоте. От московского Совета — на Милюкова:

что на московском кадетском собрании он смазал всю декларацию 27 марта: что ничего в ней нового нет, что условия мира не могут быть выработаны без союзников и, конечно, должны включать присоединение к нам Армении и Галиции. Этот гадин Милюков хорошо хоть всегда выбалтывает, что он истинно думает; прижать его надо будет основательно. Да с Временным правительством и так уже два месяца тянулись две неразрешённые болячки: не отпустили они 10 миллионов на содержание Совета и не отменили искренно и окончательно воинскую присягу, — теперь иные полки запрашивали ИК: как же быть, кому верить? И как правда теперь быть, когда три четверти армии присягнуло? (Зря мы с этой присягой полезли.)

А тут — телеграмма с фронта от 2-й гвардейской дивизии: ряды наши тают, не получая пополнений из Петрограда, хотим знать, всё ли ещё петроградский Совет настаивает на невыводе войск? Невывод петроградского гарнизона, такой революционно ясный в начале марта, сейчас стал всё более уязвимым. Уже рады были бы и отсылать их на фронт — но все батальоны знают свою льготу и не желают ехать. (А из провинциальных городов телеграммы: их гарнизоны, подражая петроградскому, тоже постановили не ехать на фронт, а защищать на своих местах революцию.)

Да прикатила в эти дни телеграмма от московского солдатского Совета, ещё тревожнее: какими-то воинскими чинами ведутся переговоры со Ставкой и с Гучковым о созыве отдельного Военного съезда, фронта и тыла, без рабочих депутатов! Так это что — раскол? и уже во всероссийском масштабе? будет не один съезд Советов — а два?? И что останется от единой воли Советов? Тут на ИК и споров не было: помешать, сорвать! Это — опять гарнизонное бюро, только в десять раз опасней.

Надо бы обращаться — прямо в правительство. Но Контактная комиссия чуть ли не вся в Минске. Дали им телеграмму в Минск, ещё лучше: на минском съезде вынесут резолюцию против Военного съезда, это будет наиболее авторитетно. А ИК — пока обратился ко всем провинциальным советам: противодействовать этому начинанию.

Совсем не так легко вести советский корабль, крепко держать советский руль. Стали поступать резолюции от некоторых фронтовых полков в пользу отдельного Военного съезда и отдельного Всероссийского Совета солдатских депутатов, который потом

сольётся с Советом рабочих и крестьянских. Вот-вот, всё более вырисовывался чей-то ловко проводимый черносотенный замысел. А от гарнизона Дна пришла резолюция: переизбрать петроградский совет *демократически*, чтобы он стал *истинным* представителем рабочих и солдат. То есть значит: лишить революционные партии их значения и влияния.

С этими выпадами совпал — или это части всё того же замысла? — провокационный (и с антисемитским душком) выпад Шульгина в его «Киевлянине» против товарища Стеклова. И одновременно — выпад шофёра товарища Стеклова против своего седока. О первом постановлено — довести до сведения родзянкинского думского комитета, о втором — произвести расследование.

И тут же, в один день, всё сгрудилось: пришли слухи, что в первореволюционном Волынском батальоне солдаты готовятся арестовать товарища Ленина. А этого — даже в намерении нельзя было допустить, ибо с этого края мог начаться погром всех революционных сил! Предотвратить! Немедленно послать в Волынский батальон делегацию — Суханова, Богданова, Венгерова, — рассеять ложные слухи о Ленине, которые распространяются среди солдат. (Возражал только Дан: предварительно ИК должен вынести мнение, от которого уклоняется: как принципиально оценить факт проезда эмигрантов через Германию?)

А вернулась из Минска головка — и все, все, все эти вопросы отодвинулись настоятельной необходимостью реорганизовать же Исполнительный Комитет: из узкого собрания революционных вождей он превратился в громоздкий постоянный двор всяких случайных депутатов, где уже нельзя ни говорить откровенно, ни спорить, — да и надо ли нам столько изнурительно спорить? И форму реорганизации предложил Дан в докладе такую: в нынешнем полном составе собираться реже. Вермишель мелких вопросов — раздать по отделам, которых будет 11 или 13. Для решения же принципиальных вопросов — избрать небольшое новое бюро, желательно из одних партийных представителей, и только через него вопросы могут поступить на обсуждение полного состава ИК. — Но ведь мы избирали бюро месяц назад, в середине марта. — Да, но оно неработоспособно. И не включает активных новоприехавших товарищей.

И тут стал проясняться замысел оппортунистов: не только отделаться от солдат, простых рабочих, от чужих, — но и от своих слишком задиристых утомительных левых, а чтобы собрались в

бюро сходные единомышленники. Левые, ведущие ИК в марте, а теперь его теряющие, — Суханов, Соколовский, Кротовский и все большевики, один за другим резко возражали: тогда составим бюро так, чтобы было пропорционально представлено и наше циммервальдское меньшинство! Но Церетели, со своей обычной смелой откровенностью, ответил, что меньшинство в бюро только мешало бы деловой работе: в ИК его постоянная оппозиция и принципиальные споры по каждому практическому вопросу ничего не меняют, а только парализуют работу. В бюро надо избрать таких, кто не будет словопреть: умели бы легко друг с другом сговориться и не жертвовали бы работой в пользу фракционных соображений. Завоюйте себе большинство в ИК — будет и бюро ваше.

И — более: отклонили предложения Каменева, чтобы в бюро были представлены хоть по одному от каждой партии (тогда б и большевик — один). И ещё категоричней: отклонили настояния большевиков разрешить членам ИК присутствовать на бюро без права голоса и с обязательством не предавать сведения гласности и не использовать их в своих партийных целях.

Эта битва заняла три дня подряд, три заседания.

Большевики (извечные демократы) потребовали, чтобы такое бюро было представлено на утверждение пленума Совета, — отказали им и в этом.

По новому замыслу упразднилась и Контактная комиссия, а переговоры с правительством будет вести бюро. Тем самым из неё выбрасывался отчаянный и крайний Гиммер-Суханов, сперва не пожелавший войти в бюро в гордом одиночестве. Но и Стеклов как предчувствовал — оспаривал отмену Контактной комиссии. Как предчувствовал, потому что в качестве редактора «Известий» он должен был в бюро войти. Но в минувших днях произошло скандальное разоблачение его верноподданного прошения на высочайшее имя о перемене фамилии Нахамкис, и тут подбавила жару эта статья Шульгина, — и вот Церетели заключил:

— По совершенно особым причинам группа президиума считает невозможным выдвигать сейчас товарища Стеклова на ответственный пост...

Всем была понятна причина: бюро ИК не хотело себя компрометировать и быть мишенью язвительных нападок. Вполне понятно, но Церетели выразил это недипломатично открыто.

— А какая причина? — потребовал знать раскалённый Гиммер, да и сам Нахамкис.

И Церетели пришлось назвать всё вслух. И тут бы ещё обошлось гладко, если бы смена фамилии не была с еврейской на русскую. Церетели ничего противоеврейского тут не имел в виду, но оппозиция сейчас же истолковала это как антисемитский выпад.

Поднялся страшный шум. Один за другим выступали, а затем уже слитно кричали, что это возмутительно, позорно, недопустимый приём, хуже этого не бывает! Это — полное предательство революции, это — хуже, чем Ленин проехал через Германию. А Стеклов настаивал, что это — его личное дело и никак не относится к общественной деятельности. Ссылался на прецеденты: сколько известных европейских деятелей тоже меняли еврейские фамилии и избирали себе произвольные. Это — пустая формальность, что прошение адресовалось царю, до него оно не доходило, и в нём не было никакой политической мотивировки. И оно не может опорочить 28-летней революционной деятельности.

Шум, гнев и дрожание были неописуемы, многие растерялись. Президиум объявил, что считает невозможным вести заседание под крики «позор» — и удалились: за долгим Церетели маленький старый обожающий его Чхеидзе, за ними неунывающий здоровяк Скобелев. (Да уж не рады они были, что затеялись с ничтожной фамилией, не трогали бы лучше.)

Оппортунисты — панически дезорганизовались, и потерпели бы поражение, если бы присутствующий простак, солдатский депутат (музыкант) не воззвал горячо, что он умоляет старых революционеров, наших вождей и учителей жизни, прекратить эту распрю, потому что мы, молодые, растерялись и не знаем, кому верить. И большинство — очнулось. Дан поставил вопрос о доверии президиуму. Набрали большинство, сообщили тем, и те вернулись.

В этот день уже не выбирали бюро, на то пошло ещё одно ожесточённое заседание, в бурных перерывах которого большинство и меньшинство расходились на свои совещания в разные концы Таврического, меньшинство попало полностью к большевикам, и председательствовал Каменев. Всё же часть левых отшатнулась от Стеклова и перебежала к большинству. Под конец уже *приглашали* индивидуальных представителей меньшинства войти в бюро — они выступали один за другим и демонстративно отказывались. И только Гиммер, в отчаянии от этих большевиков, вечных мастеров бойкота, вошёл один.

Впрочем, и бюро не стало тем, чем его задумали, — и не заменило собою ИК, продолжавшего заседать чуть ли не каждый день.

Всё же и в эти бурные три заседания нашёлся момент, когда создавали отделы, — из недавней шутки выросло формальное предложение: образовать при бюро свой отдел контрразведки.

Подумали, подумали. Отклонили.

22

(Фрагменты народоправства — деревня)

* * *

Грязью залита сельская улица, дождь, даже собак нет. На церковной ограде намокла, отрывается прокламация «социалистов-революционеров». Весь народ пошёл в школу — *люцинера* слушать.

Объясняет он так: лишь бы покончить с богатыми помещиками! — у всех у вас прибавится земли, хлебушка будет хватать, смотришь — другая коровёнка.

* * *

А на другой сельской сходке приехавший эсер объяснил не так: сперва у всех землю отберут — и каждому будут давать в пользование. Взнялась буча:

— Да ежели по-твоему исделают — так в каждой деревне война пойдёт. Кто у меня отымет, какой пьяница? Да я его вилами! Ты мне за землю допрежь заплати, а потом отбирай. Земля моим потом полита!

— Перворот не для та гомозили, чтоб народ обижать!

* * *

Только просят у приезжающих: удешевить бы товары. Пусть правительство установит на жалезо, на ткани, на кожу, на карасин — божеские цены, и запретить торговцам продавать выше. И просить правительство проверить отсрочки военнообязанных на заводах: кто там прячется?

И так на сходках предлагали: а сделать хлебу перепись, чтоб никто не мог утаить ни зернятки. И — составить список. И жертвовать хлеб и деньги новому правительству, дай Бог ему здоровья. И — шить сапоги, и бесплатно посылать их в армию.

* * *

И так на сходках решали: пока суд да дело — а не давать чужим рубить леса. И заготовку дров для города в нашем лесу прекратить. И чтоб лесов никто никому не продавал: уйдёт от нас на сторону.

В Петроградской губернии совсем не дают рубить лес — ни для отопления столицы, ни для военного ведомства.

А сами пока — почали рубить для себя, по соседству, хоть помещичий лес, а хоть и казённый. Крестьяне Сергинской волости Пермской губ. самовольно стали рубить лес голицынских наследников, лесную стражу обезоружили, её контору разогнали. Стали рубить помещичий лес и в Хвалынском уезде.

А в Мозырском леса стали жечь — за то, что они помещичьи.

* * *

Два села Хиленской волости под Белозёрском потребовали 10 тысяч рублей за пропуск мимо себя по сплавной реке дров и брёвен, заготовленных для северных железных дорог. Пока спорили с заготовщиками — а вода быстро спала, и брёвна остались несогнанными.

* * *

Для армии, то есть на станцию, а не в ближайший город, мужики во многих местах охотно везли хлеб. Но на станциях всё расстроилось, хлеб не хотят принимать, нет вагонов, сваливают под открытым небом. Нарастают залежи, и хлеб гниёт. Мужики то видят.

* * *

И так на сходках постановляли (Одоевский уезд Тульской губ.): с весны не допускать помещиков к работам на земле. И наследственные земли — начисто отымать, а покупные — не трогать. И — прекратить платежи земских сборов: это — раскладка старого режима.

Приезжие солдаты — чужие, мимоходные — боле всего настаивали: все законы теперь кончились, а будут такие, как установят сами мужики.

Что-то их много в отпуска поразъехалось.

* * *

Всю пасхальную неделю просидели на завалинках, обсуживали новый закон: будто всех городских рабочих освободят отноне от всякой работы. А мы сами себе губернатора будем выбирать.

А молодёжь всю неделю дулась в карты.

* * *

Ещё в марте решали: как только начнётся пора пахоты — захватим помещичьи земли, и пусть тогда помещики с нами поразговаривают.

— Теперь, братцы, настала такая время, что мы имеем полные права, а дворяне никаких. Баскѣя жизнь теперь начнѣтся.

В Рязком уезде, в Княгининском: мы всё будем делать по закону, помещиков не тронем. Только сгоним у них рабочих и заберём скотину — тогда они сами от нас уберутся.

В Елизаветградской губернии напуганные помещики не сеют.

* * *

Какие теперь власти? — теперь везде сами повыбирали: комитеты народной власти, общественной безопасности, временные, исполнительные, распорядительные, — где как им сказали назвать. Учителей в комитеты чаще не брали: «учитель землю не пашет» и дела не понимает, он в калошках ходит, свою линию соблюдает. А в каких волостях, напротив, избирали, и батюшку тоже, и кооператора, и лесопромышленника. Только стали из городов приезжать и требовать: энтих всех из комитетов повыкидывать, и отрубников — тоже повыкидывать, а включать лишь непримиримых бедняков.

Оглянулись: а в комитетах-то — одни горлопаны да озорники. А как им откажешь? От них теперь нет защиты, подпалят деревню. (И заместо урядников милицейские — тоже шатия.) А что комитет может? Да всё: он — сам себе закон, он — и рука. Насажали себе начальства на голову — стали и своих арестовывать, во как.

* * *

Крестьяне сѣл, прилежащих к Крижскому монастырю под Сумами, отобрали и монастырские земли и леса, выпустили туда свой скот. И потребовали, чтоб монахи шли на обработку общественной земли.

* * *

В нескольких губернских городах, несмотря на весеннее бездорожье, сумели собрать крестьянские съезды — уж там кого от кого выбрали, кто доехал, а в губернском городе добавлялись кооператоры, земцы, от союза городов и от совета рабочих депутатов. — На минском съезде постановили: самоуправство с землѣй недопустимо до Учредительного Собрания, но чтоб и помещики не повышали арендной платы и не сводили леса; вся земля, и крестьянская надельная тоже, станет теперь государственной. — На ярославском: довести войну до полного закрепления свободы, равенства и братства и сокрушения германского империализма. — На воронежском: война должна быть прекращена как можно скорей, но без контрибуций и захватов, а пока стоять несокрушимой стеной; земля должна быть отобрана у владельцев без выкупа, но не захватывать до Учредительного; и — запретить выдел из общины на отруба. — Харьковский: отменить столыпинский закон о выделении из общин. — Саратовский (по эсерам): частная собственность на землю в Российской республике отменяется навсегда; все имеют

право обрабатывать трудовую норму. — Самарский: право на землю имеет только тот, кто на ней работает; если помещик этой весной не сеет — его земля и инвентарь передаются крестьянам волости. — На херсонском съезде усумнились хлеборобы: да если и всю землю по России забрать — хватит ли обезпечить безземельных? Эсеровский публицист Зак заверил съезд, что «земли на всех хватит, я сам подсчитал». — Черниговский принял всю программу эсеров. — Тамбовский — уже не «землю и волю», а «*всю* землю и *всю* волю». — А томский ещё и утвердил конституцию будущей России.

* * *

Что ж дальше будет? Скинули царя, а кто ж хозяином будет? Понять нельзя. Какие-то ка-дѣ́, се-дѣ́, се-рѣ́, — а откуда они повылазили?

И ещё «меньшевики» какие-тошь, мелкота значит.

Нет, это они — за «меньшого брата», значит за нас.

* * *

Замаялись крестьяне с этими «партиями» — которой верить? Как в лесу дремучем... Куда они все гнут-то? куды нам записываться, в какие? Тут приехал из Москвы свой Ванька Наживин, образованный, позвали его разъяснить.

— Ты-то сам к каким приписан?

— Ни к каким.

— Эх, пропадай наша головушка!

Стал он им излагать про каждую партию, чего она возглашает, на что зарится.

— Э-эт нам ни к чему. Ты давай о деле говори.

— Я и говорю.

— Не: казѣнная дача — будет наша или не?

— Земляки, да почему ж она должна быть ваша? В ней 12 тысяч десятин строевого сосняка, ей цена 50 миллионов.

— Так — межа с межей у нас.

— А заклзѣминские деревни что ж? У них нет леса.

— А это — пусть их кручина. У них, может, клад зарыт. Кому как пофартило. Они к нам не лезь.

Дотолковал им, что лес остаѣтся казѣнным.

— Хэ-э-э... Да на кой ляд было и всю волюнку затевать?

(Из Наживина)

* * *

По бездорожью — деревни как островки, не в каждую и пешком дойдѣшь. Но прут и прут дезертиры, приезжают сторонние — и все кричат, что надо сейчас же делить землю, рубить лес. Громить имения. Громить кооперативные лавки.

Объясняют так: «Теперь — всё ваше!»

— И правда, нады нам, ребята, лавочников разбивать. Теперь слобода дана, хватит им наживаться.

В Симбирской губернии, в сёлах Убейх и Тарханах разбили и пограбили много лавок.

Волнения почти всегда начинаются с приезда дезертиров: прогон стражи, рубка леса, погромы имений. Вооружённые дезертиры ведут односельчан в атаку. В Моршанском уезде Тамбовской губернии — запахивали помещичью землю, средь неё — и губернского комиссара Юрия Васильевича Давыдова.

* * *

В Нижегородской губернии — укоренённая давняя вражда крестьян с помещиками. Но всё ж сейчас не как в Пятом году: помещичьим лошадям не вырезают языков, не вспарывают животных. Ещё и потому, что самый задиристый возраст — на фронте.

В Лукояновском уезде крестьяне разграбили имение Философова.

* * *

И даже когда помещик уже вспахал землю под яровое, только засеять осталось, — снимают у него рабочую силу (против схода никто не посмеет наняться), военнопленных, — а раз не сумел землю засеять, засеём мы в свою пользу. (И кухарку тоже у помещика отбирают, али — плати ей больше.)

И так: лишив рабочей силы, сами назначают себе низкую арендную плату или утроенную подённую, тогда идут работать.

В Тамбовской губернии стали от помещиков требовать подписку, что от земли сам отказывается. А иначе — арестуем.

И в Сердобском уезде Саратовской губ. тоже взяли с помещиков такую подписку. И в Темниковском уезде.

Многие помещики по разным губерниям — потянулись из усадеб вон.

* * *

— Ой, ребята, как бы нас не омманули!

— Чего ж омманут? Бери, дело ясное.

— Ой, не ясное. Ой, досмотреться надо. Теперь начальства не будет — надо самим смотреть, чтоб худого не было.

— Чего ж смотреть? Это по справедливости будет: всю землю в Расее переделить, и чтобы была ничья.

* * *

Оратели эти кричат, а мужикам бы вот что кто б объяснил: как теперь будут судить? Что будет делать теперь старшина? Как будут теперь торговать? Кто будет смотреть за дорогами и мостами?

— Пока ты про одно говоришь — понятно, как следоват. А как про другое заговоришь — так первое из головы вылетело. Мужичкой башке всего не удержать.

— Вишь ты: «всеобщее, прямое, равное, тайное»... Тайное! Прямо же сказано: налогат на всех, хоть и равно, — из-под того бремени нам ой не вылезти...

Надо, мол, устроить какие-то «примирительные камеры» промеж крестьянами и помещиками.

— А чего тут примирять? Взял да и засеял!

— Сицилизм — это все имущества и все деньги разделят, и каждому достанется по 20 тысяч.

— А буржуазы — это кто?

— А которые на бирже заправляют.

— На лесной?

* * *

В Горбатовском уезде Нижегородской губ. приехали крестьяне за осьмнадцать вёрст к управляющему:

— Давай ключи от амбара. Тута хлеб у тебя, а у нас вышел.

— Не могу я дать ключов, чужой он, хлеб. Желаете — ломайте сами.

— По какому ж закону ломать? Мы не можем самовольно.

Опять за ключами приступили — не даёт.

Тогда один мужик и крикни:

— А жги, ребята, анбар! Ни нам, ни им!

И сожгли. Хлеб эт' шибко горел.

А хлебушка-то — святой...

Очнулся тот мужик:

— Вяжите меня, ребята. Я — причинён.

А мужики не стали вязать.

Тогда побрёл виноватый мужик в новый уездный комитет. Там говорят:

— Худо ты сделал, да. Но теперь и без тебя делов много, иди себе.

Подумал-подумал мужик виноватый — и пошёл пешком аж в Нижний Новгород: у тамошних епутатов найти на себя суд.

И тама — тоже не нашёл.

* * *

Стали крестьяне отказываться от почтовой повинности, почту перевозить: на кой она нам?

Где и содержателям почтовых станций угрожают: прекратить!

В Пензенской губернии перестали крестьяне исполнять и все прежние договора.

* * *

По Рязанской губернии — больше спокойно. Но в Ранненбургском уезде сильно побуянили. (В этом уезде иные помещики загубили,

не сняли урожай прошлого года, — крестьянскому глазу непереносно смотреть.) У помещицы Озобишиной землю всю разделили, стали засеивать. Набрали у неё и 27 лошадей, заплатили в 7-8 раз меньше стоимости. Помещице Вячесловой велели в три дня засеять яровые, а через три дня захватили полностью имение Трубецкого.

Толпами крестьян предводительствовал безумный старик «драматург Полевой». (Прежде какие редакторы отказывались печатать его статьи — присылал в открытке «смертный приговор».)

* * *

А что рядом-то хуторян смотрим? Стали на сходках решать: «отруба вернуть обществу». И боле никого впредь на отруба не отпускать.

В с. Уды Харьковского уезда отрубники согласились вернуться к общинному землепользованию, если им дадут собрать озимый урожай и по сделанной уже пахоте засеять и собрать яровое. Общинники — не дают.

В двух уездах Нижегородской губернии произошли драки между общинниками и отрубниками. В Семёновском уезде, в деревне Захаровой, общинники устранили отрубников, разделили отрубные участки и запахали.

* * *

В селе Степной Кучук Барнаульского уезда 10 апреля, за Светлой неделей, арестовали пятерых, подозреваемых (но не пойманных) в воровстве. Выбивали им глаза, зубы, подвешивали к потолку и оттуда сбрасывали. Так — два дня. Одного признали невиновным, а четверых отвезли в волость.

В соседних сёлах воротившиеся с фронта солдаты выкалывали воровам глаза лучинами, разбивали молотками черепа, резали на куски. Дети прощаются с искрошенным отцом среди озверелой толпы.

* * *

А тут потекли слухи про *монополию*, но не с водкой, как до войны. А что: само правительство будет отбирать хлеб по половинной цене, а кто добровольно не повезёт — у того возьмут даром.

Мужики сильно заволновались. Местным образованным больше не верим: оманывают. И какие крестьяне в город ездили на сборища — тех там тоже охмурили.

А команды привычной сверху — нетути и нетути.

* * *

Пошли безтолковые порубки и культурных лесных хозяйств, пасли там скот, и зверя, птицу били. Теперь всё ваше!

В Саратовской губернии захватили, разделили опытное поле в 30 десятин.

В Рязанской получили развёрстку реквизиции скота на убой для армии. Так крестьяне вместо своего сдали без разбору помещичий племенной.

* * *

И всё-таки, если окинуть всё необъятное российское крестьянское море — то волнений было ещё мало. Редко охватывали целую волость, а уезд — так один Ранненбургский. А много сельских пространств — и полного мира.

И во многих деревнях неласково встречали дезертиров, так что они и на фронт возвращались. Приезжих ораторов слушали с молчаливым презрением. К помещикам держались с почтением.

* * *

Много крестьян недовольных, хмурых, никому не верят, во всём видят обман.

— Докуль будет начальство — не будет слободы. Поничтожили одно начальство — выбрали другое. Отрастят пузы — такие ж будут.

— Понавыбрали всякой сволочи себе на шею. Раньше один старшина с писарем все дела вертели.

Там — и буржуазы, там — и фабричные: устроили себе 8-часовой день, грабят и хозяев и народ. А мужик гни на них, подлецов, спину от зари до зари.

* * *

В деревнях переполох: Питер распорядился почитать 18 апреля как 1 мая. А куда ж энти 13 дней? А святых, какие на них приходятся, обмилить? — как это можно? А на численнике на первом мае стоит понедельник, а у нас вторник, — так не стыкается?

И так говорят: новый святой объявился, ему и праздник теперь. Только не знают, зажигать ли ему лампадку.

И такой слух: «Теперь воскресенье будет через раз». — «А в тот раз — что же после субботы?»

* * *

На сельском митинге, приезжий:

— Теперь будут все — граждане, и брак — гражданский, не церковный.

Бабы переполошились:

— Гожанский?.. Говянский?.. Баранский?..

— Эт' значит: какую хошь — взял, и прожил с ней сколь хошь, а на доела — по шапке? А дети куда ж?

— Не, мужики! В чём другом — как хотите, а — от Господа мы не откажемся.

* * *

Товарищи! Разъясняйте населению, неустанно твердите ему о необходимости приложить все усилия к своевременному обсеменению полей и к сохранению сельскохозяйственного инвентаря.

(Союз служащих министерства земледелия)

* * *

23

И вот простота и правда — закрылись между ними. А наступила — условность.

Если не ложь.

Каждый раз идя домой, обедать или на ночь, не знаешь, в каком настроении Алина встретит. Очень переменчивое, какое-то пилообразное, и меняется по два и по три раза в день: после светлого отрезка — потемней, потом опять светлей, опять темней. Раньше в ней такого не бывало. Но надо как бы не замечать, не раздражаться. Постепенно это сгладится. Когда-то прежде установился между ними натурально лёгкий, весёлый тон отношений, и какой-то ритуал обращений, жестов, поцелуев — так всего сохранней придерживаться этого и теперь, как ни в чём не бывало. И как было принято называть её нежными именами — называть и сегодня, это гораздо сносней, чем ввергаться в возможное объяснение. И если был обряд — протянуть сразу две ручки для поцелуев, чтобы принять от мужа восхищение и благодарность, и теперь Алина иногда снова протянет так, то — из неловкости, из вежливости — не дать почувствовать натянутость — а принять и поцеловать, не уклонясь.

В минуты темноты, да и в минуты света, всё равно: жалко её! Надо всеми силами её беречь и уступать ей, сколько можно. Вот упрекает: у тебя неприятные черты характера! ты уходишь в себя, угрюмо, с тобой жить невозможно! — Георгий не спорит: хорошо, я за собой послежу. Да и кто, правда, за собой всё видит? Уступить — всегда в конце концов оправдывается. Да будешь угрюмым, теперь. Да только бы — ещё тут не терзаться.

Вся их нынешняя жизнь, в общем, терпимая. Только вот к ночи гнетёт. Если бы без ночей.

Каждый час дома — осаживает и спутывает. Да нельзя же терять времени, события катятся — что-то делать!

И всё так же не находишь: что? И — с кем?

Да отдал бы энергию оперативной работе — так замерла совсем. Формально разрабатывались возможные наступательные операции Юго-Западного фронта — то ли в мае, то ли позже, но никто в них не верил и никто серьёзно не торопил. И ответа на возможное немецкое наступление не разрабатывали. Да в общем, и не ждали его. Да всё расплылось, слишком неясно. Только подсчитывались колонки перебойчатого снабжения и неприходящих укомплектований, — так этим не Воротынцев был занят.

Зато прямо в комнате, где он сидел, несколько стенных шкафов было набито главными оперативными документами ещё с Четырнадцатого года. И в первый же вечер с приезда, и каждую свою дежурную ночь, а потом, не стесняясь, и опустелыми днями — Воротынцев, от неприложенности сил, травя себя, кинулся изучать скрытую историю прошедших кампаний, чего он не мог узнать и догадаться из полка.

И вся та война — заново зажгла его теперь. Так втягивал он страстно, забываясь, как будто ещё можно было вмешаться и от него зависело что-то спасти.

Начали войну двумя независимыми фронтами, как бы в двух отдельных войнах — против Австрии и против Германии. Динамичная кампания Четырнадцатого года — и поразительная же по глупости с нашей стороны, как будто мы специально подтверждали установившееся у немцев низкое мнение о русских. Успехи в Галиции — никак не использовали для общей цели. Зачем так зарывались в Австрию и такими крупными силами? Нелепо притеснялись к Карпатам, вплотную к ним, лицом, несколько армий сгущённо — кто это наманеврировал? Иудушка Иванов с Алексеевым или тупица Данилов из Ставки? Теперь оказывается, читая их переписку: все вместе. Бессмысленное притеснение к горам фронтом четырёх армий — а тут оказалось, легко было догадаться раньше: на польском участке не хватит сил. И из расположения неудобнейшего, растянутого, кому и через предгорья, — в сентябре совершать тремя армиями грандиознейшую рокировку на север, к Варшаве. А на Сане — внезапное наводнение от дождей, рвёт мосты, а рокадных дорог, ни железных, ни шоссейных, — у нас

конечно не предусмотрено. Многие корпуса совершили весь путь, больше двухсот вёрст, полностью пешком. А дороги оказывались — и накатник по болоту, да по которому австрийцы уже дважды прошли, а ремонтировать некогда, да и снова дожди. А и большаки разбитые, и русские колонны вязли в грязи, не то что артиллерия, но повозки застревали на каждом шагу, для пушек спрягали по двенадцать коней, губили их.

И где же во всём этом — великий план? Да одна суета, читал теперь Воротынцев. К Варшаве не успевали, и расслабленный Шейдеман, принявший самсоновскую 2-ю армию, — без боя сдал линию кругваршавских фортов. Тогда придумала Ставка, чтоб Юго-Западный отвлёк наступлением через Вислу, — и тяжело строили мосты по паводку, и, сорвась на первых шагах наступления, — сами и уничтожали эти мосты.

Не взвесишь, что больше душило оглядом того сейчас: суетливые и почти всегда опоздавшие распоряжения Ставки — или панические донесения чучела Иванова, его постоянные воззвы о помощи, его постоянная неготовность к назначенному сроку, его полная неприкладность ко всей той боевой осени. Дальше, вот, немцы замялись, а австрийцы обнаружились вовсе не добыты (ведь Рузский выпустил их целыми из-под Львова, за что возвысился в Главнокомандующего фронтом), и вот, едва закончив в сентябре рокадное перемещение направо, — в октябре, внимая воплям Иванова, погнали многие те же корпуса рокадно налево! Всё не на том, нужном, месте у нас оказывались армии. (К счастью, 12-й корпус, где состоял воротынцевский полк, оставался слева, в 8-й армии, и в этих рокировках не участвовал.)

А немцы не только замялись, но в начале октября стали даже отходить у Ивангорода — но как? Отходили в полном порядке, успевая капитально портить железные и шоссейные дороги, мосты, виадуки, каждый третий рельс, спиливали телеграфные столбы, даже разбивали изоляторы, даже проволоку разрезали. И вот это продвижение было засчитано Ставкой себе как наша успешная Ивангородская операция.

А в ту осень французы первые обнаружили у себя недостаток снарядов — и замерли — и требовали от русских наступать на левый берег Вислы, у нас-то снарядов хватит... И мы, разумеется, пошли, и широко, девяноста дивизиями, от Бзуры до Сандомира, сопротивления большого не было. И широким уступом справа подставили свой фланг германскому сгущению с германской же тер-

ритории, от Торна, — уже и так нависший над нами рукав Восточной Пруссии мы как бы ещё удлиними. Так можно же было ждать удара справа? Но Рузский не только не ждал его, а даже заверял Ставку, что немцы ничего там, справа, не стягивают. А там наш знакомец Макензен по частым и спорым немецким дорогам собрал шесть пехотных корпусов и шесть кавалерийских дивизий и, проломив многострадальный — и так знакомый Воротынцеву — 23-й корпус, откуда натягивал он в августе эстляндцев прикрывать Найденбург, — пошёл Макензен в прорыв между растянутыми зеваками Ренненкампомф и Шейдеманом, между Вислой и Вартой, — и целых пять дней он так наступал, а Рузский, боком к нему, тем временем безопасно гнал три свои армии на запад! А через пять дней очнулся, что немцы уже подпирают к Лодзи.

Отказно! решительно не понимал Воротынцев: если ты Командующий, или Главнокомандующий, или Верховный, и знаешь свой долг, а значит, ведёшь разведку и неусыпно сидишь над картой, — как можно такого не предвидеть? и даже не увидеть, когда оно уже совершается?.. Донесения этих пяти дней — невозможно было читать не закипая. То, что в круженье того ноября с ветреными морозами, а ещё без снега, рядовым исполнителям представлялось умонепостигаемой завертью, — теперь тихо таилось в старых бумагах как слежалая бездарность нескольких генералов. В той ноябрьской чернеди какой-нибудь командир полка всё же не мог предположить такой безмерной оплошности своих командующих — да недосуг ему было о том гадать, а только успевать полк врыть, сохранить и накормить. А командующим, в их благоразумно дальних штабах, непосильно было те чернотропные бои представить.

Жалкая Ставка! — так мало и поздно узнавала, так мало влияла, даже Елизавета с конными нарочными из Петербурга умней и своевременней давала советы по тактике своим слабеньким фельдмаршалам на Одере. А так феерически репрезентативно выглядел Николай Николаевич (в придачу с Янушкевичем глядящий в рот Данилову-Чёрному), и так великодушно снисходителен был царь ко всем негодным начальникам. И как же за всю Великую войну в великой российской армии не возвысился настоящий Верховный Главнокомандующий, а только подставные фигуры дяди и племянника?

И опять роковую 2-ю армию тот же Макензен обходил под Лодзью с той же стороны, с востока и юга, — и так же с востока не ус-

певал вырочительным подходом тот же Ренненкампф, где-то плёлся за десятки вёрст. Да оказывается, читал теперь Воротынцев, в самый разгар лодзинского «слоёного пирога» Рузский потерял связь с окружаемой армией, и Ставка тоже была готова на генеральное отступление. Только в этот раз в захват попадал со своей 5-й армией ещё и Павел Адамович Плеве, ныне покойный, — такой малорослый, такой некрасивый, такой уверенный и спокойный генерал: сам под захватом с другой стороны — спас и свою армию, вызволил и 2-ю, и ещё б и немцев захватил в кольцо, не опоздай поддержка от Рузского.

Из тех боёв слышал Воротынцев живой рассказ Кости Попова, тогда подпоручика там, а потом у него в полку. Им там достался участок на Бзуре подле Брохова. Местность — ровная как стол, и на тысячу шагов приказано атаковать, и ещё перед самыми немецкими окопами обойти два болотца. А стрельба такая: на десять немецких снарядов наши отвечают одним. (Да ведь у нас за перерасход снарядов тогда наказывали больше, чем если людей уложишь.) Только и мог командир полка отложить атаку до ночи — глубокой чёрной осенней ночи, и послать два батальона в несколько линий, и сам в одной из них. Ещё спустился туман и пошёл мокрый снег. До той ночи осветительные ракеты были и у немцев редкостью, наши солдаты и не знали такого чуда, — и вдруг немцы стали взвивать и взвивать ракеты — и выхватились линии атакующих, в тумане и в снегу. И заматались светящиеся жала стреляющих пулемётов, немецкие окопы обозначились взблёсками ружейных выстрелов — уже близко! а не добежать. Кого посекали, кто залёг. И такой был непрерывный долгий низкий немецкий огонь — не только надо было отползать плотно по снегогрязи, но сперва даже задом отползать, ибо не решиться повернуться в ползке и минуту быть удолженной мишенью. А Попов уже лежал под самым немецким пулемётом — «как бреют голову тупой бритвой» — и оттуда дополз через всё поле назад. Линия перед ним, человек пятьдесят, на его глазах уже врывалась в окоп, и при ракетном свете упала, он говорил: вся полсотня как один, в один миг, но своими телами защитила их вторую линию. Всю ночь потом с поля приползали поодиночке, а поле кричало, стонало: «Братцы! помогите!.. Спасите!.. Не бросайте меня!» — и рыдания слышались. Но нечего было и думать подбирать, а снег всё шёл, шёл и покрывал лежащих как саваном. А потом — день, и снова подобрать нельзя. И только следующими ночами оттягивали в братскую могилу.

И вот э т у всю кровь — мы теперь сами затопчем? Ливанём её под свинячьи копыта?

Боже мой, что делается! — помрачились разумом.

И сколько же за эти годы таких потерянных эпизодов, как на Буре? и сколько таких участков? и сколько таких полков? Когда, занимая окопы после сибирцев, — на двухсотшаговом фронте одной только роты подбирали 90 их трупов. Если копаем ход сообщения как будто в новом месте — а вырываем трупы немцев или своих. Когда немецкий огонь таков, что воронка попадает в воронку, и тщетен известный расчёт прятаться в них. А это вдолбленное понимание: держать линию *во что бы то ни стало*, вместо сочетания огня, отходов и контратак? Из опасения потерять линию мы и сидели в болотах и ямах, а противник — всегда на выгодных позициях. Когда батальон подтискивается из болота к немецкой грядке так, что немецкие проволочные заграждения становятся его собственной защитой. Когда в марте земля ещё мёрзлая и цепи не могут вкопаться, жмись к земле как к родной матери. Но в полдень верхний слой оттаивает, и шинели намокают. А к вечеру снова подмерзает, и шинели становятся грязной корой, и раненые, предсмертно корчась, облепливаются грязью.

И — что из этого воспарилось тогда к Ставке? к Верховному?

А ещё ж вот — злополучная предвесенняя вылазка через Карпаты — безумный план Иудовича с Алексеевым, а Николай Николаевич, конечно, согласен. Воротынцев тогда и с полкового места в ужас пришёл. Теперь читал: да, цель была — брать Будапешт, а потом Вену. Теперь мог прочесть и премудрые советы Жоффра, что в горах русским понадобится меньше снарядов...

А за тем же сразу — бездарный проворон макензеневского прорыва под Горлицей в апреле Пятнадцатого. А ведь оказывается — ещё с марта с передовой доносили о симптомах подготовки прорыва: к австрийским частям прибавляются немецкие, и номера их двух дивизий, и даже немецкой гвардии, и с тяжёлой артиллерией, и с несколькими авиационными парками, и показания австрийских перебежчиков, что наступление будет в середине апреля, — но в штабе 3-й армии Радко ничему этому верить не хотели, и ещё спокойней был штаб фронта, уверенный, что — все главные действия будут на Карпатах, — и с нашей стороны участка не укрепляли ничем. Немцы создали пятикратный перевес в орудиях, а наши не получили даже инструкции: в случае артподготовки пересидеть на запасных позициях.

И с того прорыва — Великое отступление двух фронтов на 4 месяца, при норме восемь снарядов на орудие в день, потом и меньше, редко на каком рубеже удерживались два дня подряд, а то — каждый день бой при разительном неравенстве огня, и каждые сумерки в отступлении, и бессонные ночи. На полк — восемь пулемётов, и не хватало даже винтовок, даже патронов. То — устроили оборону, но где-то в стороне нас обходит невидимый противник, и мы отступаем по приказанию. То — нет средств к обороне, и уходим сами, и так без конца. И никаких свежих частей на поддержку, да даже бывало — нет солдат уносить на себе пулемёты, тащат офицеры. И уже так все измучены, и офицерам грезится: лёгкое бы ранение, да отдохнуть.

И — всё то теперь забыть, как не было? и всех тех однополчан забыть?

А где-то далеко, вот теперь в донесениях: как в мышеловку Новогорьковского мы загнали на гибель четыре дивизии (уступая общественному мнению, что слишком легко у нас падают крепости). А там, ещё сбоку, бросили в небрежении Риги-Шавельский район, и немцы разлились по Курляндии, уже в Пятнадцатом году могли угрожать Петрограду. И — бездейственность Балтийского флота, всё берегли его. (Вот он, застоявшийся, и ударил в революцию.)

А Шестнадцатый год, а гвардия? Общий слух в армии был, что её уложил генерал Безобразов, на болотистом Стоходе. Но теперь-то, по документам, Воротынцев видел, что Безобразов и не мог бы сопротивляться: то был приказ Брусилова — безумная и бессмысленная атака Ковеля именно с юга, да ещё и управиться в пять дней! Приказ Брусилова — но и Ставка же согласилась. Брусилову — как-нибудь дотянуть картину своего наступления. А — что нам тот Ковель?.. И нужно же было трону так возиться с гвардией столетиями — чтоб вот так утопить её в стоходских болотах ни за что?

А солдаты — те солдаты, которые в Четырнадцатом в сутки валяли на мобилизацию и отшвыривали медицинский осмотр — «здоров!», — ничего этого не знали, как их водили эти три года.

Но за всю эту цепь неумелостей и позоров — имеют солдаты и право на гнев!

Имеют — но и сегодня ещё не догадались. Только — ярость к каким-то изменникам, скорей всего с немецкими фамилиями. И — слепая ненависть к отданию чести, к офицерскому погону.

Раздумаешься — поразишься: не сегодняшней распущенности, на что их подстрекают из Петрограда, — а ещё сегодняшнему их доверию к новым верхам, к Временному правительству.

А безжизненное правительство не только не умеет собрать, направить, использовать силу фронта против тыловой шайки Совета (как упустили мартовский массовый солдатский поворот!) — но чего вообще хочет это странное правительство? Вот, оскорбляя чувства воинов, оно спешит специальным указом освободить от уголовной ответственности земгусаров, кто из них за военные годы совершил злоимство и подлог. Значит, просто — вытягивай своих?.. А четыре дня назад и ещё указ: срок явки дезертирам — продлить на 5 недель, уже до 15 мая!

Так зачем же: самим — настаивать на войне до конечной победы, «только победой мы укрепим новый строй», и такая же директива Ставке, — и тут же самим разваливать армию? И что за наивность: всё твердить, что от революции боевой пыл только усилится? Неужели верят сами? От того, что «за Россию» переменяли в «за революцию»?..

А это пасхальное двухнедельное братание — как они естественно чувствуют, сразу выказывает условность врага — и условность этой войны. Солдат всегда ждёт только *замирения* — а не думает о границах, о смене политических режимов и лиц. Праведная тоска по замирению. И от Временного правительства ждут теперь — не чего иного, как замирения.

А Леонид Андреев раскатывает статью: «не от войны мы устали». Да, конечно, ты не устал.

И — правó ведь народное чувство, хотя и слепо, и невежественно: расширению — надо же знать меру, оно не может быть безграничным, мы и так раскинуты — уже между рук не удержим. Вся эта «общеславянская задача» на Балканах, Константинополь — всё ведь надуманный вздор. Союзники — знают, чего они в этой войне хотят. А мы — не знаем. Но они вот и сегодня не надрываются: за неделю-другую и выдохлась «великая битва народов у Суасона и Камбре».

Уже в прошлом году было ясно, что пора кончать войну, — хотя тогда так бы и довоёвывали покорно, из привычного повиновения. А теперь, после революции, грозит уже полный разгром!

Кадровый военный — и против войны?.. Но война не существует сама по себе, война — не икона и не святыня. Война — только способ охранения своего государства. И если государству по-

лезней не вести войну — так и не вести. (А вот сослуживцам по штабу — так ясно этого не скажешь...)

Но стал теперь выход из войны — ещё, ещё и ещё сложней и опасней, чем раньше. Если раньше мы прочно держали фронт и могли вести переговоры с крепкой позиции — то сейчас: кто станет с нами считаться? Нас только толкни.

Можно понять, почему немцы нас сейчас не трогают. Но и не будут слишком долго смотреть на наш развал — пойдут и захватят, сколько им угодно. В запас, для торга. Двинули на Стоходе — почему не ещё где?

Не для дальней победы, а чтобы только выйти из войны, не отдав земли, надо до последней силы держать фронт! А *держат* — невозможно без гибких наступлений. А *наступать* солдаты не хотят ни шагу!.. Будем слободу праздновать! Айда, Ванька, землю делить!

Одновременно надо выйти — и из войны, и из революции. Какое-то комбинированное сложнейшее отступление.

И — *кто* бы это мог? У кого такая сила? способность?

Но высшие стратегические задачи — это и суть задачи отступления из безнадёжного положения.

Если это правительство не смеет разогнать Совет депутатов, а вместе с ним разваливает Армию — так гнать их вкупе, только и остаётся.

Нашлось бы немало офицеров примкнуть — если б раньше создать ядро движения. Твёрдый союз военных людей.

Но его создавать — надо тайно. Это — трудно.

Кто же бы? кто бы стал во главе?

Алексеев? Нет. Нет, не решится никогда.

Гурко! — несомненно, вот кто может возглавить! Острый, мгновенный, крутой!

Надо поехать к нему — и предложить откровенно.

Когда после переворота уже стали достигать газеты — усумнился генерал Гурко в умственных способностях наших англо-французских союзников. Российскому перевороту ликовали — и германцы с австрийцами, но это понятно, и одновременно же анг-

личане и французы — эти-то чему, если в здравом уме? Не могли ж обе воюющие стороны получить выгоду от одного и того же события? — кто-то жестоко ошибался. А убедаясь в нашем расстройстве, союзники (было у Гурко от них особое впечатление с зимней петроградской конференции) поведут себя свободно от обязательств к нам, и даже заключат сепаратный мир за наш счёт: ведь немцы на Западе ничего и не ищут, они вполне удовлетворятся нашими землями.

Хотя в первую же минуту царского отречения пронизало Гурко, что *всё пропало*, — он, разумеется, не дал себе и подчинённым генералам опустить руки. От нахлына этой «армейской демократии» возник как бы новый род войны, внутри самой армии, — так надо было быстро выработать и новую тактику. И: всеми силами — не дать разъединить офицеров и солдат. Все приказы по Особой армии Гурко велел открыто вывешивать во всех населённых пунктах. Призывал солдат *брать пример с царя*: он предпочёл отречься от престола, нежели затеять внутреннюю усабицу. Урок нам всем: только не усабица! И опровергал «слухи о выборе начальников» — это невозможно, это повело бы к полному расстройству армейского управления; все такие мысли могут подавать только злонамеренные люди или подосланные врагом. Теперь стали модны солдатские собрания под приклеенным английским «митинги», — указал Гурко своим генералам и штабам: проводить в руководство такими собраниями умеренных людей; успевать посылать на такие митинги своих инструктированных унтеров или развитых солдат, чтоб они умели вмешаться и придать собранию нужное направление. — Один раз, выходя из собора с панихиды по жертвам революции, Гурко и сам произнёс речь перед толпой солдат. Получилось отлично. Луцкий гарнизонный комитет принял постановление: никакое решение никакого собрания не считать действительным, пока его не утвердит Командующий армией.

Всё-таки что-то можно устроить.

Однако недолго пришлось генералу Гурко урять свою Особую армию: в десятых числах марта назначенный на Западный фронт Лечицкий — отказался. И тотчас прикатило распоряжение: Гурко — принять Главнокомандование Западным фронтом.

Снова, как и в Ставку в прошлом ноябре, Гурко обгонял генералов старше себя по чину и по выслуге. Но это не удивляло его. Внутренне почему-то хранилось в нём убеждение, что ему пред-

стоит сыграть выдающуюся роль в спасении России. Может быть, это и были все шаги к тому.

Однако Гурко по датам рассчитал, что его назначение подписано в Ставке Николаем Николаевичем, которого самого с тех пор уже отставил князь Львов. И ответил Алексееву: нет, пусть утвердит Временное правительство. В нынешней шаткой обстановке чтобы действовать — надо опираться твёрдо. А в повадке Временного правительства уже замечено было: уклоняться и смалчивать.

Назначение от правительства пришло ещё девятью днями позже — и только тогда Гурко простился с Особой армией и поехал в Минск, где пока вместо Эверта управлял старик Смирнов, Командующий 2-й армией. То был старик кремнистый — но не за сегодняшней зыбью утнаться.

Из-за этой задержки — не при Гурко произошло и наше жестокое стоходское мартовское поражение. Из Луцка Гурко был близко слева к этому месту, но не он командовал. Не он командовал — а извёлся. Ещё в Луцке по штабным слухам, затем и в Минске, он охватил всю картину. Этот плацдарм на левом берегу Стохода у деревни Червище, по фронту десять вёрст, а в глубину пять, мы заняли прошлой осенью, потом дожди и морозы не дали расширить. Сил наших сидело там около корпуса, не меньше, чем противник против них. Река — многоводная, труднопроходимая, с топкими берегами. Ясно было, что на этом плацдарме нельзя оставаться в разлив: или расширить плацдарм, или отойти на правый берег. Ещё сам Гурко из Ставки в феврале запрашивал Эверта, какие меры приняты на время разлива, — и Командующий 3-й армии Леш отвечал, а Эверт подтверждал, что разработан заградительный огонь, положение плацдарма считается прочным и противник не может рассчитывать на лёгкий успех. Оказывается, совсем не было так, но главное — тут сразу начался переворот, и никто уже тактикой не занимался: и заботы командиров и внимание наблюдателей отвлеклись на внутреннюю перебудоражку, и противник имел месяц без помех: немцы подвезли к передовым несколько тысяч газовых баллонов, тяжёлую артиллерию, лишнюю пехотную дивизию — и никто из наших не заметил того за революционными бреднями и испугами, и Леш тоже. Дождались немцы широкого разлива реки и 21 марта с первым солнцем пошли в атаку на безпечный плацдарм — тяжёлый обстрел укреплённых линий, а лёгкие батареи — химическими снарядами по нашим резервам. Далеко поставленная, на другом берегу, наша артиллерия смогла отвечать только на

своём пределе, не маневрируя огнём и без связи с потерянными наблюдателями на плацдарме. Немцы пустили тринадцать волн газовой атаки, ядом окутало юг плацдарма, а с севера они прорвались отрезать наши переправы, и переправ оказалось мало, часть уже разбита, часть снесена, часть залита водой, — покинутым нашим обезумевшим солдатам и по мостам идти по колено. На Сердцевидной горке наши контратаковали и были переколоты. К концу дня Леш приказал отходить, но все переправы были закрыты немецким заградительным огнём. Только ночь остановила немцев, и наши убредали ночью. Ещё где держали подмёрзшие болота — немецкая артиллерия разрушила корку, и отступающих и раненых засасывало. Мы потеряли больше 20 тысяч человек, до двухсот офицеров, до сотни пулемётов, из строя вышло три дивизии, а из одной перешло на правый берег всего полсотни живых.

Конечно, бой остаётся местным, у немцев не было стратегической задачи, они и не переправлялись через Стоход. Но по плотности поражения, по ярости поражения — это грозный разгром. Первый бой революции.

И сразу за тем Гурко ехал принять фронт. И уже по пути решил: немедленно сместить Леша, чтоб неповадно другим и чтоб сразу почувствовали нрав нового Главнокомандующего, — Эверт продремал тут полтора года, распустил фронт.

Тут из первых представился ему Командующий 10-й армии Горбатовский. Он предлагал против грозного развала одно средство: быстро собрать дивизию из одних офицеров, это можно прикрыть как фронтовые учения, везти её на Петроград и разогнать Совет депутатов. Только — мгновенно, сейчас же!

Гурко оценил — как сильную мысль. Может быть, для этого и вручила ему судьба Западный фронт? Это — верный удар!

Но и надо же ему сперва оглядеться тут, узнать обстановку, людей. Немного подождём.

Уехал огорчённый Горбатовский — а дня через три Гучков снял его с армии сам, через голову Гурко, не уведомляя.

Гурко взбесился.

И тут же вскоре приехал в Минск сам Гучков.

Они виделись последний раз в середине февраля в Петрограде, во время союзной конференции, брат Гурко Владимир устроил обед, были там и другие видные думцы. Но тогда, ещё не пришедший к власти, Гучков был намного задорней и живей, чем сейчас — с сильными подглазными отёками, вялым взглядом, медлен-

ными движениями, не пошла ему власть впрок. Тогда — все они искали и ждали содействия от Гурко как реального Верховного, сегодня Гучков приехал начальником. А разве — годен он был в вождя воюющей армии? Он хорош был — волновать общественность на поддержку оборонных вопросов, — но какой же он военный руководитель?

Гурко встретил его теперь бурной сценой: что вся его «чистка» только притягивает карьеристов, а оставшихся настигает неуверенностью и пассивностью. Что Гурко и двух дней не останется тут, если будут сменять командующих через его голову.

А у Гучкова уже был готовый список «омоложения» дальше. А Гурко ещё многих тут не успел и узнать, чтобы защищать или уступить. Да даже гурковского любимого начальника штаба Гучков не давал перевести сюда из Луцка.

И охолодилось между ними ещё больше.

Но и не время спорить с правительством: ещё ж сидят в боку Советы депутатов, вот и минский, — и оба они, военный министр и Главнокомандующий фронтом, не могли миновать идти представиться. Заседал Совет в театре, и с делегатами общественных организаций, президиум на сцене — адвокаты, солдаты — поднялся поздороваться с генералами каждый за руку, а зал тем временем хлопал. А председателем тут их всех устроился Позерн, земский мелкий служащий, напаявший на себя неумело солдатскую шинель. И перед этим залом, странным сборищем, Гучков рекомендовал Гурко как председателя общества военной мощи России, закрытого Сухомлиновым, Гурко же Гучкова — как участника борьбы буров. Потом оба произнесли по речи: что надо усилить борьбу с внешним врагом и прекратить пасхальное братание, введенное с одобрения немецкого командования и обезсиливующее нас. Оно не местное, оно не случайно идёт по всем фронтам.

В зале хлопали, одобрительно кричали. А — мерзко было от глупой роли. И ещё затем Гучков потянул Гурко зачем-то на собрание сестёр милосердия, выступать и там. Не так бы начинать главнокомандование.

Гучков со своим списком омоложения поехал дальше — а всё неустройство осталось вокруг Гурко.

Тут в Минске застал он, что не командование управляло событиями, а события вертели командованием. Приезжали доклады высокие воинские начальники, покоровшиеся тому, что солдатские собрания выразили им *недоверие*. Уже три-четыре

раза полки, а один раз дивизия отказались выполнить боевое задание. Всё, что притекало в армию из столиц, постановления правительства, газеты, — кричали о правах, о правах — и никто о долге. И непросвещённый низший слой охватывала соблазнительная мысль, что общественная жизнь состоит из прав, а обязанностей никаких. Главное — разрешили открыться и распуститься страху смерти, на самоподавлении которого держится вся война, и теперь охватывало солдат: не наступать! (Очень кстати тут подвернулся всем трусам «мир без аннексий».) И вообще, не воевать — главное право. Оттого что фронт стоял мирно, никаких боёв, это не открывалось сразу в последствиях, — но Гурко понимал, что дух армии — на шатком перевесе, и может рухнуть вот-вот, в две недели. И командованию надо было изобрести совсем новые меры, не предусмотренные никакими уставами.

И Гурко начал с того, что объявил по Западному фронту такой приказ: Главнокомандующий объявляет прощение всем незаконным действиям, совершённым в дни революции, но отныне военные законы вступают в силу, и нарушение их не останется без наказанным. (Он просто брал на голос — а как это исполнить? как удержать?) «Солдаты! Враг угрожает сердцу России. Если путь к окончательной победе лежит через свободу, то и путь к окончательной свободе — через победу». И ещё приказ: о недопустимости выборного начала на фронте. Если ввести выборы — отвечать за операции будут не начальники, а подчинённые, тогда разбейся.

Придумал: каждого подстрекателя, особенно прапорщика, вызывать лично к себе в штаб, в Минск, — а за неявку будет привлечён к суду как за невыполнение приказа. Неожиданно подействовало! — не было случая, чтоб не явился. (Иногда со своей вооружённой командой.) Но не каждому же внушать. Стал Гурко применять собственный объезд частей. Однако необычные условия: теперь не мог Главнокомандующий инструктировать офицеров отдельно от солдат — только вместе, иначе это воспринималось как заговор. (Вот и собирай дивизию из офицеров.) И ещё страдать, видя на солдатских грудях эти красные лохмотья, и не сметь их сорвать. Один раз музыкантская команда держала над собой на красной бязи «Да здравствует демократическая республика», порусски и по-еврейски. Гурко подошёл к главному образине и спросил: «А что такое демократическая республика?» Но ни он, ни другие оркестранты ответить не могли. И только унтер-офицер из раз-

ведчиков выручил их: «Это — все свободы, которые нам теперь дали».

В одну такую поездку увязались с Гурко привезенные из Петрограда англо-французские социалисты. Гурко даже со злорадством их повёз, чтоб они больше увидели своими глазами. Но они умудрились не заметить развала (зато «демократия»!), воротились с розовыми надеждами. Нет, окончательные бараны. Ещё их отдельно пришлось убеждать, что армия теряет боеспособность.

И всё ж — ещё держалось! Ещё в эти дни — можно было удержаться. Говорил Гурко на собраниях: «Всё решит Учредительное Собрание, а в армии надо избегать политической борьбы», — и постановляли: ждать Учредительного Собрания. А в 1-м Сибирском корпусе Главнокомандующего встретили на загляденье, строго повоенному, ни одного красного лоскута, председатель корпусного комитета публично приветствовал его патриотической речью, назвал «солдатским отцом» — и солдаты хлопали.

Ещё до приезда Гурко в Минск тут было затеяно Советом рабочих депутатов собрать фронтовой съезд солдатских и офицерских депутатов, и уж этого он не мог остановить, и взять в свои руки не мог — легко сорваться. Приходилось и тут приноровиться. Устроено было очень красное шествие по городу — и приходилось Главнокомандующему (уж разумеется, безо всякого красного значка) стать во главе колонны, а по одну его руку неизменный Позерн в помятой солдатской шинели, а по другую сам громадный Родзянко, неожиданно приехавший на этот съезд. И с построенной трибуны на городской площади произносить к *гражданам и гражданам* речь в числе других, а потом той же тройкой, стоя, ехать в грузовике вслед грузовику оркестра и помахивать толпе — а оттуда кидали цветы. И потом войти внутрь городского театра с его лепными ярусами, бледно-розовыми, как в дамском будуаре, а сидят в креслах, не снявши шинелей и шапок, лускают семечки на пол, возносится чадный дым к возвышенному потолку, а с ярусов на верёвочках спускают записки с вопросами, милиционеры внизу отвязывают и носят в президиум. И этот плечистый, нависающий Родзянко — да двух месяцев не прошло, как он приходил к Гурко в номер «Европейской» гостиницы и долгий вечер убеждал уговаривать Государя снять Протопопова, и всё будет спасено, — а вот громовым басом со сцены:

— Старое правительство, приведшее страну на край гибели... Напрасны были надежды старого режима на ваш фронт...

Он намекал, повторял эту басню, что Эверт готовился открыть фронт? Безумный и глупый. Правда, дальше: положить головы за свободу и победу.

И за ним — Родичев, член Думы, и французский полковник, и английский майор: русский солдат — первый в мире... Поменьше политики в армии, побольше боевого напряжения...

И самому же Гурко не избежать выступать. И не избежать общего тона, но от общей пробитой дорожки скорей поворачивать их на боевое дело:

— Я, первый Главнокомандующий, назначенный революцией... Краеугольный камень — близость офицера с солдатом. — И самое главное, отрезать в начале же: — Недопустимость в армии выборного начала.

И прошло под овацию. Уехал.

Всё же надеялся Гурко, что съезд отболтается в два-три дня. Куда там! И пятый день болтали, и седьмой, и даже девятый, — и Главнокомандующий же распорядился о продлении отпуска депутатам.

Сам он, разумеется, на эти заседания не ездил, но докладывали ему. Качалось так и этак, весы. «Долой войну» отвергли, не стали слушать. И в секциях — у них и секции! — отвергли выборы командного состава — но только для фронта, а в тылу можно. И строгая дисциплина — но в тесных пределах служебных обязанностей. (И кто же в каждом батальоне рассудит — тесно или не тесно?) Но — отменить наказания. Отменить чинопочитание. Отменить денщиков. В день отлучек право ночевать вне казарм. Право на штатскую одежду. А на восьмой день со сцены уже договорились, что вообще отменяется звание офицера, все чины армии теперь — солдаты. И солдаты участвуют в формировании командного состава так, чтобы командиру было обеспечено доверие подчинённых. И ограничить единоличную власть комитетами. Не должно быть в армии безконтрольного начальства. Самоуправление «для защиты профессиональных солдатских нужд»! И солдатские комитеты периодически дают аттестацию своим командирам — и эти аттестации следуют за каждым командиром к месту нового назначения. А кто получит отрицательную аттестацию от своих солдат — тот вообще устраняется от должности!

Тут ещё то, что грузный басовый Родзянко с членами Думы уехали, ни в чём на съезд не повлияв, а понаехали и затмили их социалистические вожаки — и известные по Петрограду Чхеидзе,

Скобелев, и вовсе уже социалистическая шантрапа, и многолюдные делегации советов депутатов из разных городов, и все выступали, выступали, вожаки уже по три раза, и некому им возразить.

И уже говорилось больше — не как бороться с внешним врагом, а с внутренним. Этот Скобелев (смел носить великую генеральскую фамилию) обвинял, что в Петрограде офицеры не поддерживали революцию в первые дни и убитые кронштадтские офицеры вроде того что достойны своей участи, а потом пришли лобызаться с революцией, но надо и сейчас кой-кого под замочек сажать, и не в порядке генеральский состав, надо его чистить, а революционная армия взамен выдвинет своих великих генералов... А офицерам революция продезинфицирует мозги.

Ах же ты губодуй, пёсья лодыга! — на что ты людей толкаешь?!

Этот недоносок поговорит, уедет — а ты здесь командуй.

И полезли, полезли: один — восстановить Интернационал, другой — о классовых интересах и что Путилов заодно с Крупном, третий — забрать из Петрограда на фронт все полки, четвёртый — оставить там какие нужны революции, и уже со сцены выступал священник, и зачем-то снимал с себя и отдавал наперсный крест, а по залу ходили собирали кресты и медали в жертву, а минский совет депутатов клепал на Эверта, что он готовил поход для усмирения (да ещё не видели вы усмирения!), а там вызывали Позерна на балкон дворянского собрания приветствовать проезжую маршевую роту.

И весь этот сумасшедший дом направлялся же к резолюциям, и весь этот бред мог теперь закрепиться в постановлениях съезда. Но привезенная из Петрограда резолюция, что война не нужна, всё же обратилась тут в призыв к дисциплине. Однако чего только не несли! И офицерам упразднить квартирные деньги и деньги на наём прислуги (это писари надоумили), а солдатам на время отпуска сохранять фронтовую продовольственную норму. И жёнам «отлучившихся» (дезертиров) паёк не прерывать... И ещё почему-то (нашептали им): ходатайствовать перед Временным правительством об ассигновании Петроградскому Совету 10 миллионов рублей (да вам-то что?).

Упуская гораздо более важные дела, ничего не оставалось Главнокомандующему как поехать выступить ещё раз. И, чтоб слушали и доверяли, — повторить, как другие: что прежнее правительство вело нас к пропасти, а теперь боеспособность армии возрастает с каждым днём. (В такую глупость затягивала эта мельни-

ца необузданной всеобщей говорильни.) И мы должны показать немцам нашу силу хотя бы мелкими активными действиями, а при первой возможности перейти в наступление и выместить их из нашей Родины, не дать России подпасть под пяту заклятого врага, а этого не добиться без наступления.

О том-то и кипел спор, он знал: допустить ли в резолюции «способность к активным действиям» или «способность к наступлению». Так спорили, что распускали их на три часа успокоиться. И уже проголосовали: «к активным действиям».

А сейчас съезд встал — и пять минут хлопал Главнокомандующему и кричал «ура».

Ещё и так и этак могло переклониться. И даже малый толчок решал — в какую же сторону.

Позерн кричал со сцены: подавить буржуев! контроль над Временным правительством. А социалист постарше его, Церетели, весьма разумный, возгласил, что сепаратный мир с Германией был бы гибелью для демократических идей, а после съезда посетил штаб фронта и обещал генералу поддержку: нельзя вести армию в бой без беспрекословного повиновения. Спросил: как налаживаются у генерала отношения с общественными организациями? Гурко ответил без раздражения, но озабоченно: революция ото всех требует умения приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам. Новая система уговаривания трудна, но приходится к ней прибегать, чтобы предотвратить худшее.

Расходясь, съезд создал постоянный фронтовой комитет (с двойным перевесом солдат), а из него «контактную комиссию» со штабапом, и уверяли: это только увеличит доверие массы к штабу, а «мы не будем мешать».

Трудно поверить. Но в первые дни комитет не мешал — а когда тыловые части начали грабёж соседних имений, то комитет и помог успокоить.

А что мог сделать теперь Главнокомандующий сам?

В декабре он так решительно отказал Германии в мире — за всю Россию, за всё Соглашение. А — что теперь? Неужели солдаты уже повернуты — и воевать не будут?

Съезд фронта — ещё перетерпел Гурко. Но тут же открылся в Минске съезд Красного Креста. И оттуда прибежал к нему с жалобой граф Беннигсен, что выдвигают требования, при которых воевать вообще нельзя.

И Гурко гневно ринулся — туда, в тот же театр. Теперь не солдатами он был полон, но интеллигентными людьми, а несли они горшугу околесицу: о полной независимости военно-санитарной службы от распоряжений командования, и чтоб она могла реорганизоваться на выборных началах.

При появлении Главнокомандующего на сцене — никто в зале не встал и никто не приветствовал.

Гурко произнёс им бурно и гневно. Что им, образованным людям, стыдно разваливать армию и предавать Россию. Что смысл деятельности Красного Креста — служить армии, а не армия ему. Что если они не будут соблюдать положений службы, то армия обойдётся и без Красного Креста, а их, служащих, всех пошлют на фронт.

Сказал — и ушёл не дожидаясь. А вослед ему поднялся шум невообразимый.

Но к концу дня признали его правоту и сменили мятежное руководство.

И вот в такой ничтожности — состояло его призвание сыграть роль спасителя России?

Упускал он какое-то большее движение? решительней?

Но — какое?

25

С тех пор как он уехал — будто затормозили время: то оно неслось, а то — поползло.

Но всё время, когда Ликоня и не думает о нём, — она о нём думает, он — есть у неё.

И прежние мартовские дни, которые лились сплошным потоком, она потом различила отдельно, каждую встречу.

Потому что тогда — задыхалась.

Страшно другое: а *после* новой встречи — уже потом не ждать? Даже подольше бы встречи не было, нескорее — не ждать.

Увидела поразительно красивую — и захотелось быть такой же красивой, для него!

Письма. (Пишет!!) Радость даже смотреть, как он пишет решительные буквы на конверте, — но каждое и страх открыть, пугает: а вдруг?.. За строчками вдруг окажется — изменился?

Но одной только «Зореньки» уже довольно для чуда. Но если, как начнёт письмо, в него «вступает тёплое волнение» — то это уже так много, что не помещается.

Всякое письмо — как разговор в темноте, лица не видно.

И сама бы рада писать ему каждый день. Только боязнь навязываться.

Хочу — благодарить!

Не благодарить — всё равно что и не получать.

26

(Фрагменты народоправства — Москва)

* * *

Несмотря на революцию, Пасха прошла в Москве с обычной торжественностью. Гул всех сорока сороков, обилие света от свечей и плошек. Христосование на улицах.

На трамваях — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Александровский сад под Кремлём всегда был такой чистенький, — уже к концу марта усыпан семячной шелухой,

И много её на всех площадях, на улицах.

* * *

Жители становятся в хлебные очереди и с карточками, с 3 часов ночи. Из продажи повсюду исчезли дрожжи. Стало не хватать молока. Милиционеры с красными карточками обходят лавки и назначают скидки с цен.

Не стало санитарного надзора — и на рынке продаются порченные мясо и рыба.

* * *

Зато митингам — нет препятствий, нет границ. И дни и ночи тёплые, вся Москва — сплошной митинг. На площадях, скверах, бульварах, от кучек и до толп, не могут наговориться, наспориться. В одном месте угасло, рассосалось — растёт в другом.

А больше всего — у памятника Пушкину, постоянно и глубоко в ночь, при скудных фонарях. Люди так облепляют основание памятни-

ка — кажется, что Пушкин, с торчащими из него флагами, стоит на головах толпы. Солдаты, рабочие, бабы, дамы, лавочники, студенты. От каждой казармы присылают сюда солдат: слушать, потом своим передавать. Наверху — оратор, и близко к нему двое — ждут очереди. Главный спор — насчёт 8-часового дня. Солдат:

— Вот, они 8 часов требуют, а мы по 26 часов в сутки в окопах. Подай им плату высокую, а кто за эту плату расплачиваться будет? Да мы все, каждый бедняк и крестьянин, все российские люди. Фунт гвоздей шёл 12 копеек, а нонче рубль сорок — это как? А как они 8 часов будут работать — так ещё больше будем платить.

Другой:

— Давайте поменяемся: вы — на фронт, на наше место, а мы на фабрику. И будем работать 18 часов, ой-ой!

Рабочий:

— А на военных заказах *баржуй* наживается, а мы ему — отдавай труд? Почему не позаботиться об себе? Чтоб на нашем поту баржуй оттопыривал карман?

* * *

На другом митинге, на Скобелевской площади, с постаментов кричат, что фабрики надо отдать рабочим. Из толпы баба истошно:

— Батюшки! Да что ж он говорит? Да ведь всё ж пропьють!

* * *

А проняло, и по Москве развешаны объявления: рабочие ввели 8-часовой день, не имея в виду сокращать работу на армию, для неё — хоть день и ночь. А эти нежелательные трения с солдатами подзуживаются фабрикантами.

В брезентной мастерской Земгора рабочие накрыли заведующего мешком — вывели прочь, чтоб больше не было его.

* * *

За пасхальные недели прокипело в Москве съездов: и областной учительский, и врачебный Пироговский, и кооперативный, и женский, и Союза городов, — и везде же министры приезжают выступать. И — съезд рабочих организаций. И — съезд крестьян Московской области (шесть губерний), руководимый интеллигентами, иные — только что из эмиграции: как наконец создать Совет крестьянских депутатов?

Собрание московских старообрядцев призвало старообрядцев всей России: поддерживать Временное правительство, хлебную монополию, заём Свободы и продавать хлеб.

Возник острый недостаток бумаги для газет. Социалисты стали захватывать её на складах самовольно, с дракой.

* * *

А шайки солдат ещё ходят по квартирам и грабят. Или — под видом милиционеров ночные «обыски» в домах (Бутырский комиссариат). 20 человек ворвались в лавку Щенникова на Сенной площади.

В селе Богородском ограбили церковь Преображения: воры спустились через потолок, похитили дарохранительницу и церковную утварь.

На Пресне обокрадена часовня Михаила Архангела.

* * *

По городу прошёл слух, что пресловутый «батальон 1 марта», сформированный из дезертиров и уклонявшихся, останется в Москве. Батальонный комитет опровергает: «Цена выше всех благ в мире добытое освобождение родины... как можно быстрее организовать, вооружиться и выехать на фронт». Но, де, не хватает офицеров и инструкторов.

Сибирские воинские части с фронта жалуются, что в Москве принимают дезертиров с распростёртыми объятиями и даже включают в Совет солдатских депутатов.

* * *

На Брянском вокзале ежедневно: солдаты врываются в вагоны, выбрасывают оттуда пассажиров и их вещи, занимают места. Многие обладатели плацкарт остаются в Москве. Комендант вокзала заявил, что не в силах бороться.

* * *

Близ памятника Пушкину кто-то пристроил плакат: «Не забывайте, что он написал “Сказку о рыбаке и рыбке”!»

* * *

Московское градоначальство отменило регистрацию проституток — и само это слово уничтожается навсегда. Постановлено закрыть притоны разврата и дома свиданий. Прекращается действие жёлтых билетов и административно-принудительный врачебный осмотр: борьба с венерическими болезнями — на основах лишь добровольного обращения пациентов.

* * *

У памятника Гоголю на Пречистенском бульваре — митинг. Публика — самая разная, слушает и стайка гимназисток. Ораторы разных направлений. Большевик успеха не имеет. Тогда он вопит с памятника:

— Товарищи солдаты! Не слушайте буржуев, они только заворачивают вам мозги. Присоединяйтесь к нам, и все эти девки, — показывают на гимназисток, — будут ваши!

В толпе — звериный рёв солдатских глоток. Гимназистки шарахнулись. Митинг сорван.

27

Для кого война минует — лишь воспоминанием. Крута гора обминчива, лиха беда избывчива, — и лет ли через пять, через десять, отсохнет проклятая, начисто. А от тебя, кто оставил там руку, ногу, иль перетравил навеки себе нутро газами, или свет отнялся от твоих глазонек, — от тебя она уже никогда не отступит, раньше ты сам уберёшься из жизни. Так и врежется тебе тот хуторской сачочек, где ты, кровотока из локтя, своё предлокотье левое последний раз понянчил. Или высокие кущи чужой задалёкой деревни Брусно-Ново, какой тополь повыше, какой пониже и круглей, — а больше ничего в жизни ты никогда не увидишь, это последнее, так и стоит, а всё прочее вокруг по догадке.

И потом протрясёшься ты на телегах и по вагонам, проело-зишь, провыстонешь на лазаретных койках, вот и в Питере пасмурном, где никогда побывать не грезил, и месяцами многими тебя ещё гоняют по лазаретам, — и теперь, когда срок подходит домой — обрубок или незрячим, уже не тот ты работник и муж не тот, ещё как тебе век дозлыднеть? — достигает слух, что через Германию доставлен к нам какой-то Ленин, говорит по-нашему, и с ним же ещё нашлись какие-то тут, — и кличут они: кончать войну, замиряться с немцем, без одоления, просто так, ни на чём. И из Питера кто тут по улицам с папиросками шастает, другого дела не знает — ни на фронт ни один, нет!

Вот это та-ак! Вот это — одурачили нашего брата. Горько — аж дышать неможоту: значит, нас перекалечили и побили — и кому это? Мы теперь в обрубках — а вы гулять?

Всю Фомину неделю сгуживались, и сёстры многие справились, и врачи. А нынешним воскресеньем — все инвалиды войны, какие в Питере содержатся, — собирались.

Одни — к Казанскому собору, и там была инвалидная сходка, большое толпище. Говорили речи: войну затеяли — так надо кончать по правде, немца — добить, за всех убитых, за всех газом травленных и за наши раны. Чтобы второй раз больше он на нас не по-

лез. Держали речи — и даже тринадцатилетний малец, слава Богу целый, а уже Георгиевский кавалер.

А потом, кто мог идти, поздоровей, — пошёл пешком, кое-как шеренгами, а кого сестры держали под руки, а кого — со всех разных лазаретов обвязанных, и уже выписанных ампутированных, со сборных пунктов — повезли на линейках придворно-конюшенной части, и на грузовых автомобилях, и на легковых даже, — и все к Таврическому дворцу. Поперёд калечных и перебинтованных рядов, лиц в ожогах и лиц слепых — шли три военных оркестра и играли, подбадривая и калек, и зрителей. И кому было чем держать, те несли, в пеших рядах или с линеек: «Слава павшим. Да не будет их гибель напрасной». — «Война за свободу до последнего издыхания!» — «Ленина и компанию — обратно в Германию!» — «Здоровые, замените больных в окопах!» — «Посмотрите на наши раны, они требуют победы». — «Пересмотрите законы о пенсиях». И опять: «Верните Ленина Вильгельму!» — «Долой Ленина, он позорит Россию».

И ещё успели подвезти с Финляндского вокзала только что прибывших увечных из плена: они свои увечья и болезни протаскали через скудные немецкие лагеря, и подо зверством их.

На улицах перед шествием обнажали головы. Глаза в слезах. Какая-то женщина в жалевом чёрном с плачем упала на колени. На углу Литейного рабочая толпа плескала в ладоши калекам.

У Таврического, как положено, на крыльцо выходит речевитый встречать. Моложавый, белобрысый, а ряшка наеденная. Член Исполнительного Комитета Скобелев:

— Народ, сумевший вырвать с корнем гнилое дерево русского царизма, — возьмёт и судьбы страны в свои руки. Пролетариат не позволит...

Офицер-инвалид снизу из-под крыльца тут и спроси:

— Мы пришли выяснить тактику Ленина и ваше отношение к ней.

Скобелев:

— Мне легко говорить с вами, потому что я не сторонник тактики Ленина. Уже 14 лет я против него борюсь. Но позвольте высказать наше мнение: всякий гражданин свободной России имеет право свободно выражать свои мысли. На вашем знамени мы видим: Ленина обратно в Германию, долой Ленина. Это, товарищи, неправильно. Мы должны отнестись терпимо и к его мыслям, всякий волен говорить что хочет, а у нас есть своя голова на плечах.

Стал над толпою инвалидов вскручиваться шум:

— Долой!.. Долой!.. Не желаем слушать защитника Ленина!

А тот инвалид-офицер поднялся на ступеньки рядом:

— Так значит, мы защищали благосостояние тех, кто сейчас кричит «долой войну»? Но мы отдали жизни и не можем допустить, чтобы в России взяли верх подлецы и провокаторы, купленные Германией. Мы отдали руки, ноги, а теперь должны видеть, как трусы кричат «долой войну»? Нет! Пусть нас, полулюдей, сперва убьют, а потом на наших трупах заключайте союз с Германией.

— Так! Так! — кричали калеки. Голоса тоже не у всех здоровы. И офицер ещё:

— Да, за торжество свободы мы готовы отдать и остаток наших сил. Но только победа над Германией и утвердит нашу свободу.

Опять Скобелев замесил:

— И мы тоже говорим — продолжать войну, пока стороны не откажутся от завоеваний, и позади этого лозунга стоит штык. И вы, товарищ офицер, глубоко ошибаетесь, говоря, что мы уйдём в сторону и отступим. Нет, мы останемся вместе с вами, дорогие товарищи, до конца или тоже умрём. Но не надо забывать, товарищи, и о свободе слова. Пусть ленинцы говорят что хотят, а действовать мы им не дадим.

Но опять ему кричали несогласные, и он быстро ушёл.

С кем же теперь толковать? Стали инвалиды затекать, заталкиваться в сам дворец — да и зябко снаружи.

Во дворце — простору как на площади. Длинный зал с колоннами, колоннами, тут и остоялись, сгустились. А на верхнюю площадку выступил сперва низенький рыжий староватый, фамилию не разобрали, сильно неясно выговаривал, про Совет, пролетариат — а про Ленина ни звуком. А за ним выступил попростей, Гвоздев:

— Я доложу вам, товарищи, о результатах минского фронтального съезда, с которого я только что приехал.

Послушали. Там много чего. Но там, ближе к передовым, ребятам своё видней, они там управятся. А в Питер им не видно, про Ленина они не знают.

— А с Лениным как? — кричат инвалиды.

— А по поводу Ленина я должен заявить, товарищи, что предлагаемый вами способ борьбы с ним совершенно недопустим. Нельзя его подавлять и нельзя арестовывать. Он — не реакционер, не контрреволюционер. И войну конечно надо ликвидировать, но

путём соглашения с германским пролетариатом. А лозунг «война до победы» может заставить ихний пролетариат ещё больше озлобиться.

Тут — такое поднялось, такие крики, гул, долой! — не дали Гвоздеву кончить, прогнали вовсе.

И полезли на площадку инвалиды, кто и с подсадкой сестёр. И все заодно: Ленина — долой! Ленина — в Германию! Тутошние таврические заправила — заелись, засиделись, на войне не были, нас не поймут.

— Мы не говорим — Ленина убить, но ежели он провокатор, германский шпион — почему и арестовать нельзя? А почему он около своего особняка — арестует людей?

— Да мы его — и сами арестуем, одни инвалиды! Хватит у нас на это сил, хоть и окружися он пулемётами и броневиками. Так — все на него и пойдём.

А за то время кто из инвалидов и дальше того колонного зала потёк искать. И нашли большой белый зал с креслами по круговому подъёму. И стали инвалиды по креслам рассаживаться снизу и доверху — и фотографии тут возникли, делать с них снимки для газет. А набилось битком и тут — взошёл на верхотуру высокий чёрный кучерявый. Приготовился ли долгую речь говорить — а ему инвалиды кричат сразу про Ленина. Он тогда:

— Среди вас, товарищи, раздаются негодующие крики «долой Ленина», а некоторые даже требуют принятия к нему репрессивных мер. От имени Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов я заявляю, что мы стоим на совершенно иной точке зрения, чем Ленин, он с нами разошёлся.

— Со всей Россией! — из зала.

— Но мы считаем, что с Лениным и его последователями надо бороться не запрещением ему высказывать свои мысли, ибо в свободной стране должна быть свобода мнения.

— Какая ему свобода, — кричат, — когда он немецкий провокатор и шпион?

Этот чёрный с вышки:

— С идеями можно бороться не насилием, а только доводами.

Куда! кричат, не слушают. Так не договорил, сошёл вниз и вон ушёл.

А вместо него — да кто наверх лезет? Да наш Родзянко, богатырь. Захлопали инвалиды, захлопали и сёстры, ещё прежде чем он туда на верхотуру забрался.

— ...пришёл приветствовать вас, не пожалевших крови в борьбе с врагом. Земной вам поклон, я преклоняюсь перед вашими святыми ранами. Свободная Россия оценит ваши подвиги... Теперь первейшая забота государства будет именно о вас. Вам будет дано — всё, государство вознаградит вас за все жертвы... Но враг не дремлет, он хочет отнять у нас дорогую нашу свободу, восстановить старый порядок, — но мы этого не допустим! Я уверен, что великий русский народ победит — и после победы наступит время братства и равенства... Лишь бы была жива наша матушка Русь!..

Инвалидный зал — хлопал, кричал в одобрение. Родзянко выскочил там, отдышался, счастливый. Русский народ — не забыл его! Русский народ любил его!

Один из раненых офицеров предложил «ура» во славу первого русского гражданина. Кричали ура, многократно.

Ещё потом долго инвалиды пробыли в Таврическом, заполняя весь дворец. А в думском зале обсуждали и принимали резолюцию. Тут появились и говоруны, не инвалиды, но с нужными словами, которых не хватало калекам.

Полное доверие Временному правительству! (А за Советом — право контроля.) Решительно против агитации Ленина — она сеет разнь в революционной армии и натравливает одну часть демократии на другую. Проезд Ленина через Германию — безтактен и вреден для интересов русского народа. Совет рабочих депутатов должен парализовать его деятельность всеми доступными средствами. Ратников старых возрастов заменить уклоняющимися представителями революционных классов. И привет тем, кто остался в окопах. А землями наделять всех, кто может обрабатывать своим трудом. Наконец, и увечным: чтобы дети их до 15 лет бесплатно обучались. А самим увечным: пожизненно бы, за счёт государства, возобновляли протезы — и бесплатный проезд на родину и для лечения.

Всего только и просили из вороха, обещанного Родзянкой.

...Не знали увечные, что ещё утром у Казанского собора, как они оттуда ушли, — какие-то с чёрными флагами защищали Ленина, а толпа рвала их чёрные флаги, и потащила в комиссариат, но там отказались арестовать.

А сейчас, в четвёртом часу дня, когда инвалиды выходили из Таврического садиться на свои линейки и грузовики, — наскочили откудошные солдаты, рабочие, лихо вырывали из слабых рук свёрнутые знамёна, плакаты и кричали:

— К чёрту эту армию, нанятую буржуазией!

Вскакивали на грузовики и вместо «Война до победного конца» востромляли там приготовленные с собой «Долой войну!». Одного, другого инвалида стащили с грузовика и повалили на землю.

И некому заступиться.

Ещё солдат, залезший на грузовик, держал речь к инвалидам — какие они бараны.

— А ты был на фронте? — отзывались увечные.

— Был! — врал или правду говорил. — Но не хочу как дурак терять руки-ноги.

И тогда один увечный в ответ, чуть не плача:

— Да мы не только руки-ноги, мы и жизнь готовы положить за победу России!..

Но ленинцы не дали ему дальше, подговорили оркестр играть похоронный марш, заглушить.

И долго играли.

И тут, при дворце, где и Совет и Дума, — не нашлось никакой заступы увечным, никого сильных и здоровых против озорников, ни комендантской службы, ни милиции, ни тех, кто утром рукоплескал инвалидам с тротуаров.

Сёстры милосердия обходили, уговаривали грубиянов: не мешать инвалидам садиться на линейки и автомобили, они не ели с семи утра.

Ленинцы перестали мешать садиться, но обсыпали инвалидов матом.

ТЯНИТЕ, ЖИЛЫ, ПОКУДА ЖИВЫ

28

Министры, после двух мартовских наездов в Ставку по пятеро сразу, опубликовали заключение: дисциплина крепнет, и не наблюдается тревожных симптомов в войсках, кризис лихорадки революции на фронтах миновал. Спешили и заявить журналистам. Некрасов, странно: мы нашли в Ставке организацию, совпадавшую с единым желанием народа свергнуть старый строй. (Что он имел в виду? Такой организации сам Алексеев тут не знал.)

А за этим вскоре пришла в Ставку, на второй день Пасхи, и телеграмма генералу Алексееву, что Временное правительство назначает его Верховным Главнокомандующим. И нарочито была помечена телеграмма полуночью пасхальной ночи — мигом Воскресения Господня. Тут узнавалась рука князя Львова: он хотел этим выразить генералу особое доверие и теплоту как христианин христианину.

И изо всей телеграммы Михаилу Васильевичу дороже всего легла к сердцу именно эта датировка: такая сень над его назначением какую-то помощь обещала, очень ожидаемую в столь неустойчивое время. А в остальном она как бы и не меняла его положения: исполняющим обязанности Верховного он и состоял уже месяц. Хотя, как все военные, Алексеев не мог не желать каждого нового своего производства и повышения, но он и не был честолюбив. (Впрочем, остаться начальником штаба, получив над собою Рузского или Брусилова, было бы неприятно.)

Однако за месяц революции положение так неузнаваемо повернулось, что вместе с должностью не получил генерал Алексеев прежнего её значения. До революции ни одно лицо и учреждение в государстве не имело права давать указаний или требовать отчёта от Верховного Главнокомандующего. А вот в какой-то миг — наоборот. Ставка стала подчинена военному министру и правительству. На это не было выпущено никакого специального акта, но вот уже и гражданское управление прифронтовых районов — беззвучно выскользнуло из рук Ставки. И вот уже это заметили Главнокомандующие фронтами — и стали искать снести с министерствами минуя Ставку. А военный министр как раз развернул вакханалию смены высшего командного состава — и часто, в своих поездках, согласовывал смены не со Ставкой, а с фронтами. И сколько же поспешности и сумбура! Может быть, и назначены

единичные таланты, но и двинулись вверх сотни людей по игре случая — сотни, потому что за каждым генералом перемещается ещё пяток штабных. Ото всех этих перетасовок многие командиры отрывались от своих частей, где их знали, любили, слушались, — и этим лучшим командирам приходилось завоёвывать влияние заново в новых частях, в необычной революционной обстановке. Но хуже: массовое снятие начальников подрывало общую веру в командиров — и давало оправдание комитетскому надзору и солдатскому произволу.

Чтоб успевать оспорить, противиться этому, да ещё решениям драной поливановской комиссии, — не хватало коротких вагонных встреч на гучковских проездах. (Алексеев мог только негласно поощрять начальников дивизий и командиров полков слать Гучкову телеграммы, протестующие против развала.) Даже начальника «дежурства» Ставки — отдела всех назначений и наград, Гучков устранил, не советуясь с Алексеевым. Да ещё же месяц висело на Ставке и обвинение в контрреволюционном заговоре, измене казачьего штаба, лишь позавчера закрыли дело. В целом всё Временное правительство скрылось в тень, уклонилось твердо поддерживать офицерство.

И — какая ж тогда могла сохраниться Армия?

Ставка потеряла свою власть внутри страны, но союзникам она виделась прежнюю, всесильную, — и они, через военных представителей, теребили и требовали: когда ж наконец русская армия пойдёт в наступление?? И не мог Алексеев им открыть ни истинного состояния русской армии, ни своего безсилия. С конца марта французы пошли в наступление на реке Эн — к счастью, не в великое наступление с решающими целями, как они грозились перед тем (и от чего отговаривал их Алексеев, пока русские не могут поддержать). Вежливость требовала послать Главнокомандующему Нивелю поздравление с (весьма посредственными) успехами французского оружия. Нивель встречно поздравил, что Алексеев назначен Верховным, и обнадеялся, что «русская армия скоро присоединит свои усилия к нашей борьбе». И нельзя было ответить: как далеко до этого. Теперь терзался Алексеев, что месяц назад поддался уговорам своих Главнокомандующих и обещал русское наступление в начале мая, — теперь-то окончательно была видна совершенная невозможность. А англичане волновались: неужели русские упустят неоценимый момент к решительному удару по турецким силам в Месопотамии? И приходилось оправдываться

трудностями в снабжении (что и правда было нелегко через все хребты), и приходилось командовать конному корпусу Павлова двигаться энергично на Мосул. (И сносился с Юденичем: что, может быть, если скорее втянуть ещё не повреждённые войска Кавказского фронта в боевые действия, то это и морально укрепит Армию?) И на днях отговорился английскому Главнокомандующему, что русские войска возобновят согласованные с союзниками действия, как только позволят климатические условия, — и уже передано в английские газеты, и те цитируют с восторгом.

Вот Лукомский, уехавший принять корпус, докладывал: с субординацией не считаясь, командир полка телеграфировал в Таврический дворец, что он и полк благодарят за присылку студента Горного института, хранителя свободы. Из тылов хоть и отправлялись маршевые роты — они наполовину разбегались по дороге. Сами запасные батальоны теперь и вовсе превратились в школы развала. По тыловым округам советы депутатов стали требовать отпускать солдат в сельское хозяйство — и Гучков делал распоряжения об этом, но не чёткие, не единообразные: где — старших сорока лет, где раненых, где ждать заместителей, где не ждать, и это внесло ещё большую путаницу, а Рузский стал увольнять старослужащих густо, не спрашивая Ставку, не считаясь с убылью, — и так поставил в затрудненье остальных Главнокомандующих. А тут из-за недостатка продовольственного подвоза к фронту приходилось и Ставке отпускать в тыл всех инородцев с подсобных работ — и это вносило новую тревогу и зависть в солдатские массы. (И всё равно уже на фронте не хватало на человека по два фунта мяса в день.)

Силы утекали из армии в тыл, а из тыла впрыскивалось одно разложение. В Петрограде под шумок заодно с Охранными отделениями громили и контрразведывательные — да на частных квартирах — откуда же знали? кто-то умелый наводил, кто ж как не немецкая разведка? Алексеев вообще стал склонен видеть немецкую руку в наших революционных событиях. А в Кронштадте? — убивали как на выбор, по спискам, лучших морских специалистов, — не похоже на матросские счёты... А с Кавказа вот доносят, что турецкие агенты проныривают туда, мутят мусульманское население, может быть, к восстанию. Опасаясь и за контрразведку в Могилёве, где только что распустили и разогнали секретную службу царской охраны, Алексеев вынужден был опубликовать специальное воззвание Ставки, что просит не излавливать тайных агентов контрразведывательного отделения, но граждане Могилёва долж-

ны им, напротив, помогать, ибо нет сомнения, что противник сейчас предпримет все меры свить шпионское гнездо в Могилёве. А из Петрограда Главное военно-судное управление предписало всем армиям (минуя Ставку) приостановить разбор всех судебных дел. Воюющая армия осталась без военных судов. Обезоруживают демократией.

Ставка и правда почти никем не охранялась сейчас. Георгиевский батальон вконец распустился, не повиновался. А сменить его и вызвать на охрану с фронта сохранившуюся часть — Алексеев не мог из-за подозрительности петроградского Совета. А приезжал в Могилёв — кто хотел, непроверенные депутации, делегации, рабочие, солдаты, матросы с какими-то странными «мандатами» от советов и исполнительных комитетов, и носились по городу, и уже в Ставку совались — и никто не смел задерживать их: попробовать их окоротить — сейчас же взвоят во всех газетах, что Ставка — гнездо контрреволюции и сопротивляется завоеваниям революции. Автомобильный отряд при Ставке проверял распоряжения штаба на автомобилях: может, генерал едет на прогулку или по частному делу — так не давать мотора, — хорошенькая обстановка для штаба!

И ещё же разливалась демократия: все национальности стали требовать своих отдельных частей — как будто это можно переформировать на ходу войны! Была допущена прежде слабость, поощрили латышские части, потом польские. И теперь — другие требовали, больше всех украинцы, приезжала в Ставку делегация во главе с харьковским адвокатом в чине подпоручика. И просили — сразу корпус, и будто Гучков им уже обещал. Алексеев замаялся с ними, обещал похлопотать о двух бригадах. (А вскоре узнал, что Брусилов, не спросив, уже украинские формирования как будто и начал. И уже требовали: чтобы по всей Украине стояли только украинские части и чтобы со всей России украинцев слали только туда. Совсем сошли с ума, что ж остаётся от войны?)

И всё же — нет, нет, армия ещё не разложена. Однако надо спешить спасать. Вот наступление бы, сопровождаемое удачей, конечно, сразу бы оздоровило. Но в нынешнем состоянии можно ли будет практически сдвинуть армию в наступление? Да ещё прежде того: посметь ли о наступлении заговорить вслух?

Однако и нельзя дать укрепиться мысли, что мы не будем наступать: противник снимет все силы на Запад. *Говорить* о наступлении во всяком случае необходимо.

А если стронемся — и в наступлении откроем наше безсилие?.. Ещё хуже.

По необычности обстановки, теперь и положение армии лежало на каких-то путях, непривычных для полководческого ума. Что-то требовалось сделать в духе и манере этого сумасшедшего времени. Заморочивалось генеральское сознание. Клембовский предлагал поставить во главе всей Армии триумvirат: из Верховного Главнокомандующего, правительственного комиссара и выбранного солдата. (Командование — совсем уже в сторону?) Тем временем сами собой начались фронтовые съезды — может быть, вот это и есть правильный выход? Но вот десять дней бурлил минский съезд — а что обсуждал? Всё — вне своей компетенции: отношение к Временному правительству, к Учредительному Собранию, к демократической республике, аграрный вопрос, рабочий вопрос, — и это занятие воинов на фронте? А кто был председателями съездов? Западного — присяжный поверенный Позерн, Румынский собирал врач эсер Лордкипанидзе, Кавказский — штатский меньшевик Гегечкори. Да и во главе всех крупных комитетов кто стоял? — вольноопределяющиеся, студенты, врачи, адвокаты, случайно в шинелях. Так и Грузинов, такой же штатский подполковник, но захвативший Московский округ, придумал ещё новое: созвать всероссийский чисто военный съезд. И два делегата от него приехали к Алексееву в Ставку: просить разрешение выбирать по всей Действующей армии делегатов на этот съезд, и уже просят сообщить им расположение всех частей и численность их. И ведь станешь в тупик: может быть, вот это и есть то сильное и плотное, что надо противопоставить петроградскому Совету депутатов?.. Не мог Алексей решить, да и права не имел, отправил их к Гучкову. А Гучков ответил, что не может решить без предварительного совещания с Алексеевым. И так бы ещё перекидывали их, но тут Гучков приехал в Ставку, и делегаты за ним сюда же — и добились совместного одобрения. И уже объявили, что такой съезд будет собран в Москве 15 апреля. Но тут московский же Совет солдатских депутатов запретил им, тем и показывая, что общего фронтового голоса Советы боятся и такой съезд был бы, наверно, неплох. Но вот провалилось.

А что злокачественно развивалось по всей армии как чирьи, как нарывы — это комитеты. Они передавались от части к части эпидемически. Невозможно было их подавить — но вот уже месяц бились, как их использовать на пользу боеспособности. В конце

марта, как раз при Гучкове, приезжал в Ставку из Севастополя вкрадчиво-сладкий подполковник Верховский и с воодушевлением описывал, как, будто бы, севастопольские комитеты разумно регулируют стихийное солдатское движение в направлении государственной пользы. И Гучкову понравилось, и он поручил Ставке разработать единое положение о комитетах. Да если уж всё равно зараза лилась, то лучше было забрать её в твёрдые каналы: стараться ограничить их хозяйственными функциями, усилить в них влияние офицеров. И Алексеев тогда же подписал приказ «о переходе к новым формам жизни» — а Деникину, новоприбывшему к должности начальника штаба Верховного (впрочем, тоже назначенному помимо Алексеева), поручил разработку разумного положения о комитетах, используя севастопольский опыт, и удержать там не меньше трети мест для офицеров.

Но такая кодификация совсем необычного материала — не на день, она заняла в Ставке две недели. Тем временем жизнь комитетов буйно развивалась безо всякого единого устава, а где кому как вздумается. Низшие комитеты парализовали всю службу войсковых частей. А дивизионные, корпусные, армейские, которые сам же Алексеев и допустил, с надеждой, — эти уже занимались почти одной политикой, развитием «революционных начал», и лезли поправлять растерявшихся генералов. Образовывались свои комитеты и в каждом штабе, и в каждой сопливой команде, и отдельные комитеты фельдшеров, ветеринаров, интендантских чиновников, радиотелеграфистов, нестроевых чинов, и отдельные комитеты украинцев, поляков, мусульман, грузин. Надо было спешить с единым положением! — но Гучков умудрился дать такое же поручение и своей поливановской комиссии — и четыре дня назад притянулся из Петрограда проект поливановского Положения! — и весьма капитуляционного. А в Ставке готово было — крепче, строже, и уже нельзя и бессмысленно от него отказаться, и как в этом задуренном разномыслии теперь сноситься с заболевшим Гучковым? сколько ещё дней пройдёт безо всякого устава? Алексеев велел Деникину кончать ставочное Положение. И сегодня, в воскресенье 16-го, подписал его. А Гучков пусть разбирается.

Подписал — со слезами на глазах. Как будто же спасая армию от худшего? — а подписал своей рукою гибель армии.

Да этим не кончалась неразбериха. Во вчерашних газетах объявлялось как решённое ещё новое мероприятие по спасению ар-

мии. Какие-то случайно съехавшиеся в Петроград делегации быстро, на ходу, кто-то им в Таврическом подсунул, — утвердили «устав комиссариата», и вот уже опубликовано, и что же там? Создать при каждой армии, при каждом фронте и при Ставке! — комиссариат из трёх человек: один от правительства, один от совета депутатов и один от фронтового, армейского комитета. Рассмотрению их подлежат *все дела и все вопросы, входящие в компетенцию Главнокомандующих!* — и все приказы по армиям, фронтам, должны подписываться также и комиссариатом!

Сумасшедший дом! Так они будут командовать вместо генералов? И в Ставке тоже? И Верховное тоже будут расследовать? Да месяц назад Алексеев и сам просил у Львова прислать комиссара в Ставку — но не на таких же условиях!

Сумасшедший дом! Правда, это был пока проект: передать его Исполнительному комитету петроградского Совета (при чём тут он?) — для утверждения в три дня! Проект, но так отрубисто энергичен, что для неграмотной страны — уже и опять закон?..

С отъезда царя как-то сами собой прекратились в Ставке ежесекундные посещения церкви всем составом штаба. Сам Алексеев был ещё раз на посту, был на пасхальной заутрени — да и всё. Не потому чтобы прежде ходил изневольнo, отнюдь, а вот — отпало как-то. От тревожности ли времени, от неурочного прихода всех новостей? И икону Владимирской Божьей Матери, после отъезда государя, распорядился Алексеев возвратить в московский Успенский собор.

Так и сегодня, он не был утром в храме. Но от этого не стало его воскресенье досужным, а напротив: тем более сосредоточился он с утра над делами, бумагами и размышлениями, в расчёте, что сегодня меньше будут и мешать.

Вот, ещё раз изучил одуряющий проект о комиссариатах.

И сегодня же сел написать Гучкову большое письмо. Что: положение в армии ухудшается с каждым днём. И генерал удивляется безответственности тех, кто повторяет о «прекрасном состоянии армии». (Намёк и на самого Гучкова.) И даже: *А р м и я п о г и б а е т...*

С безчувственными министрами в Петрограде уже не оставалось разговаривать иначе.

По-настоящему и неотложно надо самому ехать в Петроград и попробовать объяснить правительству в последний раз: что они делают?? Ещё раз-другой подтолкни — и Россия будет в пропасти.

И штабы фронтов, и штабы армий были вот так же все угнетены. Алексееву было стыдно глядеть в глаза своим подчинённым — что он не мог их защитить. Такое постыдное чувство, будто он во всём этом и виноват, хотя вершили в Петрограде.

Михаил Васильевич вообще стал уязвимей, чем когда-либо, всё принимая на свой счёт. То прочёл в газетах и сопоставил, что в самый тот день, когда приехавшие в Ставку министры были так ласковы, — на совещании Советов в Петрограде этот кровожадный Стеклов продолжал поносить генерала Алексеева и угрожать ему. И «Рабочая газета» меньшевиков тоже печатала, что «Ставка занимается контрреволюционной работой». Вдруг прочёл в газетах, что на съезде Западного фронта выступал ставочный полковник Сергиевский и произнёс так: «В дни революции распоряжение об отправке войск на Петроград давал бывший царь. А большинство начальствующих лиц в Ставке сочувственно относились к освободительному движению. И как только царь уехал из Могилёва — так Ставка порвала с ним и старалась парализовать его распоряжения. Только благодаря генералу Алексееву было предотвращено кровопролитие. Если бы не генерал Алексеев — ещё большой вопрос, было ли бы подписано отречение...»

И хотя тут не было прямой клеветы — только, пожалуй, слишком грубое акцентирование. И хотя при сегодняшнем политическом положении это звучало хвалебным звоном Верховному... Михаилу Васильевичу стало почему-то ужасно неприятно от этой заметки. И он поразился, как достойный полковник Сергиевский мог так гадко выразиться. И призвал его для объяснения.

Но полковник Сергиевский — впервые это всё прочёл тут, у Верховного! Он поклялся, что не только не говорил такого, но и в Минск не ездил, это легко проверить.

Удивительно.

На другой день из другой газеты объяснилось: эти все слова были сказаны на съезде полковником Плющик-Плющевским. Тотчас же Алексеев вызвал его к себе. Но и Плющик-Плющевский заверял, что ничего подобного не говорил.

Так и непонятно осталось: откуда ж это взялось?

Но очень неприятно.

Как ещё и очень неприятно было встречать в Ставке рыжего рыхлого генерала Кислякова. Хотелось, чтоб этот Кисляков исчез вовсе с глаз.

Полтора года служил тут Алексеев — при самой руке государя, ежеден докладывая ему, почти никогда не встречая возражений. И про себя ему самому нередко казалось, что государь как бы вовсе ни при чём: не он прорабатывал ситуации, не он составлял решения.

А вот — он собою что-то осенял. Для многих Россия и Царь — были одно.

А когда сегодня им читают из газет, между собой во многом разноречащих, но все заодно лишь в том, что: Николай Второй — враг народа, дурак, преступник и немецкий пособник. То и чешет солдат в затылке: так тогда и война, какую он начал, — нам на ляд?..

СПОХВАТИШЬСЯ, КАК С ГОРЫ СКАТИШЬСЯ

29

Когда в прошлом месяце избирали Клима Орлова от Волынского батальона в Совет депутатов, так тот был толк у ребят: ты, мол, и так питерский, и всё тут по Питеру знаешь, тебе будет легче. И ещё выставлялось, что это он первый крикнул Лашкевичу: «Довольно крови!» Да он и был из тех четырёх-пяти, кто приложился Лашкевичу в спину, туда во двор. (Сам Орлов уверен был, что это он и уложил Лашкевича: верно прицелился, и грохнулся тот в аккурат.) А — кого и выбирать? — все чураются, смущаются: куда это лезть? да там и речи держать надо?

Но речи держать — нет, Климу за месяц ни разу не досталось. Да и не догородишься, речистые есть, и путаники есть, а кто сло-

вами не досяжет, тот руками побольше махает. Да чуть не половина выступают вообще не наши, а образованные, как бы начальство. Но даже и просто в кресле сидеть — тоже обык нужен, и взгляд, ведь в этих креслах ещё в феврале Государственная Дума сидела, поди попробуй. (Да и приди пораньше: кресел на всех не хватает, остальные на приступках, и просто стоя.) Солдатская часть с Рабочей частью заседает тут через раз, а вместе не впереться, и тогда в Морском корпусе: зда-а-ровенный залища, и набили, наставили простых скамеек, все две тысячи с чем-то помещаются, после того как модели кораблей вынесли вон.

Хоть и питерский, и прежде на кружок ходил студентов слушать, а поначалу было Климу тут непривычно, как в чужую одёжку нарядился. Но потом, через день ходя, мал-помалу пригляделись, кто и перезнакомился, табачком друг друга угощая. Меж заседаниями выходили в зал колончатый, там толковали, объясняли. И были сильно мозговитые парни. А один солдат из 176-го полка, Матвеев, — так всё записывал, записывал, что говорили, — и как успевал? Как-то Клим сидел с ним рядом, удивлялся, до чего карандаш быстро гоняет.

От него, от других, разобрался Клим: на всякую пору выставляется один какой-нть вопрос — и надо, за ли, против, говорить только об нём, а не что сам размерекаешь. Но большинство сбиваются, говорят, что у кого в голове. Иной раз их поправляют с вышки, а то уж и не правят. И оттого бредёт собрание как усталая корова, ногами заплетаясь. И стучат с вышки: «Если ещё продолжать обсуждение, то пройдёт три недели!» А додыхаются, отголосуют вопрос — сейчас тебе накатывают следующий.

А уж с места — кричи, когда по нраву или супротив: «Долой! Вон! Убрать его! Просим! Давай, давай! И чёрт с ними!» — и Орлов тоже кричал не раз, выкладывая душу в крике. И иногда такой гамуз поднимется — ни на каком базаре не услышишь. А один раз тут же в зале, в собрании, стали листки разбрасывать — как голубей по залу.

А то стали ходить меж людьми, допытываться: «Вы, товарищи, к какой примыкаете партии? Мы теперь будем разделяться по фракциям». Я — ни к какой, пока пригляжусь. Я и так — ефрейтор Волынского полка, а в прошлом слесарь с Людвиг Нобеля.

Новых слов — тут много наберёшься, только уши распяливай, так и чешут неслышанными словами. Авторитет — значит кого уважают. Анархия — никого не уважают. Контр-революция.

Контр-ибуция. Или кинут: «Сам Марс стоял за наступательную войну против русского царизма». Кто такой? Тут другой делегат, спасибо, объяснил: Марс — бог войны, и ему вскоре Вильгельм поставит памятник.

Вопрос-то вопросом, а чуть забудешься, недослышишь — уже и не сразуметь, о чём это.

Председатель: — 150 тысяч отпускаем на издание газет нашего духа. Пусть верят только нашим газетам, а не буржуазным.

Или корят: — Солдат имеет и два фунта чёрного, и полфунта белого, зачем же лезут к лавкам, отнимать хлеб у рабочих?

Про свару с рабочими немало:

— Хотут подкопаться под авторитет и отколоть рабочих от солдат.

(Клим хотя и солдат теперь, а тут — за рабочих, понимает.)

И об Стоходе спорили, кто виноват в нашем разгроме, солдаты или генералы.

— Ежели мы свергли безответственное министерство — надо свергнуть безответственное генеральство. Наш генералитет требует полного критического отношения. Ни один мерзавец из штаба не бывает на позиции. Они говорят: «Революция виновата», так мы им покажем, кто виноват.

А то вскочил какой-то вертун на ходу, аж весь дёргается, а видно, из начальства:

— С тех пор как я вошёл во Временное правительство, у меня совсем нет времени. Но меня тянет к вам. Я вошёл в правительство, чтобы судить, и сделаю суд, и все под моим контролем. Я про себя не допущу клеветы, что послабляю старому правительству, что мне не верит — докажи. Из них тоже один убил Распутина. А мы должны работать на пользу поколений.

А то пришёл видный такой барин, холёный, казистый, Чернов. Он, вишь, из-за границы только что, и много лет там странствовал, и всё знает:

— За границей идёт травля против Совета рабочих депутатов. Там чувствуется движение революции с Востока на Запад. Рабочие западных стран подавлены кошмаром эксплуатации. Лучезарное сновидение мы увидели здесь. На этот раз земля из рук народа не уйдёт. Но надо протянуть руку стонущей Европе.

А про землю-то солдаты, которые не питерские, любят поговорить. Выступали тут и советские вожаки, объясняли, как будет. У крупных землевладельцев отберём всё бесплатно. А хуто-

ряне скажут: мы платили за землю, и будет с ними громадная свалка. Но не надо землю хватать самим, будем ждать Учредительного, а пока комитеты распределят и землю и инвентарь, по дешёвке.

Но, конечно, кипливей всего бурлили солдаты по устройству армии. Несколько заседаний и пошло на тот вопрос. Сперва обсуждали Права Солдата, и постановили издать как Всеобщий Приказ. Тут — много было соспорено. Жарче всего жадалось солдатам контролировать каптенармусов и интендантство. И думали сперва: в каждую проверочную комиссию включать солдат с решающим голосом. А потом додумались: не. Взять на себя решающий голос — это взять на себя отвечать за снабжение? А ну как продукта какого не станет — как тогда управимся? Нет, голос только наблюдательный, но чтобы там шурудили. Ну а об офицерах — самый долгий спор, у каждого нагорело.

— Нужно сделать полнейшую перетасовку офицеров, иначе дело будет дрянь. Теперь постановили у нас: офицеров к пулемётам не допускать! («Правильно! Bravo!» — кричат ему.)

— Офицер для нас, а не наоборот!

— Офицер нисколько не умнее солдата, особенно в настоящее время.

— Да что вы тут! — взобрался. — Тут хоронят всё хорошее! Я предлагаю ввести: чтоб офицеры были все сменены.

— И в полковой суд их — не три к три, а пять солдат, один офицер.

— Не, братцы. Справедливо, когда поровну.

— А комитету дать право арестовывать?

— Да если крикнет кто — да здравствует Николай, шею ему свернуть, зачем арестовывать?

— Так это и фельдфебеля будут выбирать? и взводного? Не, их пусть начальство назначает. А то молодые солдаты наывберут бог знает кого.

— Дисциплинарный устав — его надо просто уничтожить.

— Не, ребята! Дисциплина — нужно, но вразумить офицеров, что такое дисциплина. Это не под козырёк взять.

— Мы надеемся, что вредных офицеров уберут. А если мы сами это сделаем, то воспользуется враг.

Тут — выступил мордатый от 1-го Пулемётного полка, они Питер заняли и держат:

— Мы Корнилова не слушаем. Наши постановления должны приниматься безпрекословно, а не надо их просить. Мы потребовали от Корнилова немедленно отменить все приказы.

— Солдат надо из рабов превратить в свободных граждан. Он имеет право рассуждать о своих правах. И теперь отменено обязательно ходить в церковь.

Какого солдата армейский порядок не трогает! — под ним жить. Но и ещё не такая горячка поднялась, как зачали обсуживать: двигать ли петроградский гарнизон на фронт или нет. Вроде, по революции, отодвинулось, так на фронт ехать? — а вот промашно проголосуем, и тебе, Клим, ехать, из родного города, семья тут — а ехать.

Сперва выпускали полковников речи держать: мол, Семёновский и Павловский решили отправлять маршевые роты немедленно.

Ну что ж, пушай отправляют, а мы посидим, поглядим. Офицеры — ясно хотят на фронт отправлять.

То с фронта приезжих стали выдвигать:

— Петроградский гарнизон допустит крупную ошибку, если поставит себя в прилированное положение.

— Нет! Охранять революцию могёт не всякая воинская часть, а только наш испытанный гарнизон.

— Я прошу вас, ради Бога пополняйте, гвардейцы. Если вас назначают ехать к нам — вы не стесняйтесь.

И уж кого пробрало:

— Может, по две тысячи в батальоне оставить, а остальных послать?

Пулемётчики в рёв:

— Мы — на фронт никого посылать не будем, и оставим сколько нам тут необходимо!

А сегодня, в воскресенье, собрали опять в Морском корпусе всех вместе, рабочих и солдат, и прямо: отправка маршевых рот из Петрограда. Вышел такой растрёпанный Соколов, уж его знали. И стал уговаривать. Мол, мы всегда стояли за то, чтоб не выводить, и так обязались передо всей Россией. Из буржуазных кругов говорят: а зачем вам тут столько войска? А мы отвечаем: мы держим не для военных действий, а для авторитета. Но вот нам указывают, что большие пулемётные полки, только в одном 17 тысяч человек, и что такие полки организованы не для петроградского гарнизона,

а для всего фронта. Или тяжёлый дивизион в Гатчине. И мы решили иногда давать согласие на отправку. Будет выработана норма, и часть войск пошлём — конечно, только по мере надобности и только с разрешения Исполнительного Комитета.

Стали и этому шикать, закрикивать.

Выставили какого-то писаря, от них же и наученного: мол, контрреволюционных армий нигде не обнаружено. Если мы теперь не дадим маршевых рот, то попадём в чёрный список укрывающихся. И ещё потому мы должны посылать, что каждая маршевая рота понесёт с собой на фронт наш революционный дух.

Так ты — иди и неси, а других не заманивай.

Тогда выступил солдат: если в ротах по 1500 человек, но они не вооружены — какая это релюциённая армия? Предлагаю оставить в каждой роте по 350, но вооружённых.

Ему со всех сторон:

— Сла-бо! Ма-ло!

Это что ж, из каждых пяти четверо шагай на фронт?

Полез решимый солдат:

— Ни в коём! Ни в коём! Петроградский гарнизон сыграл крупную роль в революции, и он весь должен остаться. Могут по-полнять фронт другие города. Выходит — мы должны уходить, а тут преспокойно погуляют полицейские? Вот полицейских и шлите.

Кричат:

— А где их взять, столько полицейских?

— Фронт не помойная яма, городских посылать!

Тут от сапёрного батальону: их в России 25 сапёрных батальонов, почему именно от нашего? Мы уже генералу Корнилову заявили и объяснили, что мы — защищаем свободу, и не пойдём. Будем тут углублять революцию. Контрреволюция усиливается, и усиливается клевета, и, принимая во внимание посылку на сельскохозяйственные работы, — я говорю, вывод войск из Петрограда сейчас не может быть решён. И считать нежелательным.

— Пра-а-авильна! — Клим заорал. И многие в зале тоже, гудят. Потолочище — высокий, под ним крик расходится.

А начальство Совета там своё легурирует, знает, кого выпускать: вот вам делегат с фронта, от 50-й дивизии. Вылез на вышку и шапку снял:

— Поклон вам от дивизии! Я обращаюсь к вам с просьбой о подмоге. Мы там защищаем светлую красивую свободу. Мы стоим

десять месяцев в окопах, не выходя. У нас остаётся по 80 человек в роте, где раньше был батальон — теперь рота, а здесь только в запасном полку 16 тысяч, то мы можем просить о помощи. Мы можем потерять все укрепления, которые стоили так дорого.

Пристыдились солдаты, не кричат, не находятся. Но попросил на два слова от 180-го здешнего полка, с места, да с подтрункой:

— Что это он слишком пугливо говорит? Не так там дела плохи. Он часом — не из обоза второго разряда?

И — разгрохотался зал. А кричат и:

— Не касаться личностей! —

ну всё равно смех, как и не выступал. А следующий — большевик:

— Было соглашение — не выводить. Важно правительству первый раз нарушить договор, а дальше будет уже всё. Везде в России есть солдаты, а почему-то все хотят от нас посылать. А сюда — нагонят полицейских, и тогда вам свобода? Везде контрреволюция, и наше правительство этому способствует. А мы требуем — вооружить и рабочий класс. И не позволим вывести ни одного солдата!

И вот сейчас переспроси каждого солдата по залу — из четырёх трое скажут тебе не выводить. Но есть у советского начальства какая-то механика, уже кумекал Клим не раз, и другие тож замечают, она тянет где-то невидимо, а перетягивает, как хочет Исполнительный Комитет. А того Комитета и не видели вместе никогда, маячат тут на верхушке по два, по три из них.

И сегодня уж так кричали, и ногами топали, думали — нипочём не уступим, мы тут хозяева. Нет, выпустили опять какого-то хлюпика — «социалист-революционер», а, мол, позиция большевиков противоречит друг другу:

— Контрреволюция невозможна, потому что если какая рота слушает офицера, то другая ему не верит. Мы лежим на нарах да ходим на митинги, когда надо ехать на фронт. Может, нам ещё мягкие стулья подать? А в батальонах много маменькиных сынков, их надо отправить на фронт.

Ну вот разве что их.

И опять Соколов:

— Мы, конечно, не будем ослаблять себя. Исполнительный Комитет очень осторожен, мы выработаем инструкцию, вы её рассмотрите, и только тогда примете. Гарнизон, конечно, остаётся. Но отдельные команды выводятся — но каждый раз только с разрешения Исполнительного Комитета.

И — как-то приняли, сами не заметили как. Да тут когда и руки поднимают — так их не считают. Да их меж рядов и не пройдёшь посчитать, сидят в теснище.

Нет, тут глаз да глаз, вот что. То сами ж говорили: не доверять правительству ни в коем случае, классовые интересы всегда дадут себя знать. И вдруг — так повернули: хотя правительство и буржуазное, но нет оснований ему не доверять. И надо утвердить им денежный заём.

Лынды-мулынды.

И прицепились с этим заёмом, и одно заседание за другим: надо утвердить. А на голоса не ставят, мол, доклад не готов. Тут большевики насели, красивая у них такая бабёнка, Коллонтай, и говорит дюже речисто, звонко: не дадим денег на братоубийственную войну, которой пролетариат не желает! Пусть дают деньги толстосумы, капиталисты и помещики, пусть забирают золото у буржуазии! Пусть заём составляют, кому он нужен, а нам он не нужен. Ни копейки Милюкову и компании! ни копейки переалистам!

И верно же баба крыла! Кричали ей: «Правильно! так!» — и если б тут же на голоса, тут же бы и отказали, так она распалила. Нет, вылез Чхеидзе-старичок, голосование ещё не готово, надо отложить, — так чего и шарманку заводите? И от партий выступали, и все в нетях: мол, не готовы голосовать. Одни большевики требовали — сейчас же. И бойчак от их, Зиновьев:

— А пока объявить 1 мая массовое братание на фронте! А если произойдут помехи-недоразумения — возложить ответственность на офицеров!

А сегодня, уже после маршевых рот, уже измучились все, — опять с этим займом, свербит он у них. И опять Чхеидзе, его половины не слышно. Да ничего и не предлагает, на голоса не ставит, а — пождать ещё три дня, узнаем ответ правительства об а-нексиях — и тогда уразумеем, содействует ли заём ходу революции вперёд или назад, и какие шаги вытекают. Исполнительный Комитет постановил ждать три дня.

И ещё за ним выступил взрачный Церетели, и он другого ничего, а: отложить на три дня как вопрос величайшей важности, и тем покажем, насколько мы внимательны к правительству, а оно покажет, насколько к нам прислушивается. И оно не пошатнулось в отказе от захватов. На днях пойдёт нота союзникам, и это будет новая победа демократии.

Тут — от большевиков: нет, надо сейчас же сказать, кто за заём, а кто против. Мы, большевики, — всегда против займа. Поддержка займу — измена революции. Если деньги надо взять — так и берите из сундуков буржуазии, она нажила за войну большие состояния. Мы должны идти впереди правительства, а не сзади. Нам надо знать, есть у нас народоправство, или правление Милюкова-Шингарёва?

И правильно, какой дурак захочет свои деньги давать.

А ещё есть эти анархисты, так от них:

— Буржуазия нажила деньги нашей кровью. Ни одной копейки на войну, контрреволюция готовится со всех сторон. Посылка маршевых рот, а ещё и заём будут нас угнетать. Ни минуты доверия правительству! И — никакого доверия вообще никакому правительству никогда!

Смеялись.

Смеялись-то смеялись, а головка, смотри, опять по-своему повернула, и ещё раз Церетели:

— Мы являемся авангард революции. Мы положили первый камень Тринадцинала. Да если правительство нам изменит, то я первый пойду против него. Деньги? — конечно 99 процентов из кармана буржуазии. Но подождём три дня, чтоб увидеть нашу победу.

А большевики опять кричали — против займа. И из самой же головки разноголосил дюжий Стеклов: ох, не принимайте займа, падут деньги не на буржуазию, на само же население. Но смазали и его, установили ждать три дня.

Собираемся тут — как будто мы власть. А ведь — охмуряют, только и следи позорчей. То вот придумали: солдатскую Исполнительную Комиссию заново выбирать, снова из частей, помимо нас. Да — из кого ж там выбирать? мы же знаем, там голов не осталось, все тут. Это — под нас подкоп, мы чуем. Нет, всяка комиссия теперь должна быть выбрана из нас.

Кто там, в батальоне? Кирпичникова с Марковым Клим и раньше дразнил: «Пензенцы в Москве свою ворону узнали». Орлов всё больше обыкался в Совете, видел тут своё место, не то чтобы с маршевой ротой вдруг пойти, но и к себе в Волынский не так часто заглядывал, отвыкал. Ночевал — дома, в семье, но и на завод бы Нобель не желал бы сейчас вернуться: пошла иная жизнь, а впереди, вот говорят, ещё будем революцию углублять. Так понадобится.

В батальон свой ходил — на заседания батальонного комитета. Разъяснял им в те дни, как они на рабочих обижались зря. Ну и в роту свою учебную заглядывал, конечно. Занятия шли куда не так строго, болтались во дворе и по городу. А в кружке Тимофея Кирпичникова услышал: затевают ребята пойти к этой Кшесинской, Ленина арестовать.

— Да кто ж это вам такое право даёт? — острожил их Клим.

— А Лашкевича погнали, — Марков ему, — кто на то право давал?

— Да за что же такое Ленина?

— А он — на немца работает. Всё говорит, как немцам надо, они ж его и подбросили.

— Да вы спятили, ребята! Какой немец? Он — хороший наш человек, и большевики его — самые правильные.

— Нет, — угрюмо Кирпичников, — моя кровь там осталась, в Галиции. А он ноне говорит — немец не враг, дружить?

— Да вы что?! — заорал на них Клим. — Да вы и не думайте такого!

Но остались они при своём. И подговаривали команду из разных рот — намерялись пойти ночью, когда толпы там нет, и накрыть его.

Что тут делать? Один Клим сам по себе не мог им заборонить. Пошёл, первый раз, прям' в комнату Исполнительного Комитета. Думал найти или Богданова, или кто на солдатском Совете бывает. Посмотрел — все чужие. Тогда к двум маленьким востреньким: так, мол, и так, волынцы хотят Ленина арестовать. Перекройте!

Обещали. Благодарили.

30"

(по социалистическим газетам, до 17 апреля)

Люди пугливые ждали полного развала, а увидели полный порядок, спасающий страну от гибели. Двигутся ли поезда? Да, и ещё лучше, чем раньше. Исполняют ли солдаты свои обязанности? Да, и более сознательно... Настало время энтузиастов. Наша вера в народ нас не обманула...

(«Дело народа»)

Оказывается, жить без царя не труднее, а несравненно легче. Скоро в этом убедятся представители самых отсталых слоёв народа.

...Крепче бей, железный молот!
Вспыхни кровью, небосвод!
Ужас бледный в небо кинет
Брызги пламенной волны.
Казнь народная не минет
Всех изменников страны!

(«Известия СРСД»)

...Никакого двоевластия СРСД не создаёт, но как верный часовой стоит на страже интересов трудового народа... Признавать Временное правительство до тех пор, пока оно будет считаться с мнением СРСД. Историческая роль СРСД столь значительна, а его политическое значение настолько велико, что он не нуждается в защите от тех грязных обвинений и двусмысленных инсинуаций, которыми осыпают его деятельность приват-звонари социалистической прессы и подпольные шептуны из буржуазного лагеря...

Кадетский съезд с точки зрения самих участников проходит великолепно. Временами кажется, что это заседание общества взаимного обожения. Время от времени на сцене ставятся живые картины общего апофеоза, когда под гром аплодисментов вожаки окружаются группами единомышленников и замирают в позе исторических героев. Всегда они доказывали, что революция противоречит всем законам, что русская республика относится к области утопии, а конституционная монархия есть высший принцип политической премудрости. И вдруг вот... им приходится доказывать, что революция была закономерна! Такого быстрого отказа от партийных основ, такого внезапного приспособления к изменившимся обстоятельствам...

(«Дело народа»)

...В командном составе русской армии теперь многие надели на себя красные маски. Ставка, где твоя отставка?..

Предъявить ИК СРСД категорическое требование к переводу бывшего царя и бывших цариц в Петропавловскую крепость.

Собрание делегатов со всех фронтов 12-й армии

Излишняя щепетильность. Только сейчас тайны царских дворцов раскрылись — и вот находят щепетильные люди, что надо оставить в покое царя и царицу. Нет и нет! Теперь десятилетиями надо разоблачать этот обман, раскрывать наготу царизма, бичевать его негодованием и смехом. Шире, возможно шире раскрывайте окна и двери царских палат, беспощадно срывайте покровы — чтобы все могли видеть

преступления и позор, порок и безстыдство! Пусть знают всё до мелочей и о Распутине и о Вырубовой — обнажайте наготу царизма!

(«Дело народа»)

А все ли меры приняты Временным правительством для подавления поднимающего там и сям голову черносотенства и антисемитизма?

Опровержение известий о погромной агитации. Член ГД Фридман принит нас сообщить, что прежние его сведения, будто в Подольской губернии ведётся погромная агитация и есть опасность эксцессов, не соответствуют действительности. Нигде в Подольской губернии вражды к евреям не наблюдается.

У нашего правительства есть сейчас передовой отряд длинноволосых жандармов, которые ведут народ за царя. Это — попы. Мы должны потребовать от Временного правительства, чтоб оно арестовало тех митрополитов, которые имеют влияние в тёмных массах, и чтоб устроен был контроль волостных комитетов над попами.

Революционное изменение текста богослужебных книг...

...жалкая кучка приверженцев старой власти из своего мрачного подполья распустила провокаторский слух, что товарищи рабочие начинают отходить от нашего обгащенного кровью пути, который привёл нас к желанной свободе. Нет, товарищи солдаты, это наглая ложь: рабочие готовы работать круглые сутки и умереть на своих местах...

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ. Есть обширные социальные группы, которые ничего не производят, у них достаточно средств для праздной жизни. Для них применение трудовой повинности безусловно необходимо, и чем скорее — тем лучше.

(«Известия СРСД»)

...благороднее проливать кровь во имя свободы на баррикадах улиц Берлина, чем безцельно уничтожать наших братьев-соседей...

Мы, пулемётчики 1-го пулемётного полка, поднявшие красное знамя свободы, шлём вам братский привет в сырые окопы. Ждите нас. В тяжёлую минуту для защиты дорогой нам свободы мы будем возле вас, и пусть грозный звук русского пулемёта заставит врага принять наше честное предложение: мир без порабощения народов.

Председатель полкового комитета *Горништейн*
Секретарь *Карпов*

...А между тем хлеб нужно извлечь из крестьянских тайников и запасов во что бы то ни стало — в интересах той же свободы.

ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОСВОБОЖДЁННЫМ. Товарищи страдалцы!.. Просим вас вашими созрелыми идеями ковать скорее благополучие угнетённых народов свободной страны!..

...требуют, чтобы руководители партий перестали прятаться за анонимными подписями «ИК»...

...Совет рабочих депутатов — главный штаб революции, а Временное правительство — только ставленник её... Знайте, товарищи, что наш запасной полк и в будущем поддержит вас всегда в вашем стремлении усиленно контролировать Временное правительство. Это не двоевластие, о котором с пеной у рта кричит буржуазия и пресса, а разумный отрезвляющий голос трудящихся масс...

13 апреля в казармах гв. Московского батальона разнеслась весть: «Товарищи! Освобождают фараонов и министров-генералов из Крестов, и наш караул уже весь там перебит». Через 10-15 минут наши первые команды автомобилями и трамваями явились к Крестам, а затем и весь батальон стройными рядами. Мы оказались обмануты. Но пусть ещё кто попробует пустить такой пробный шар, то я уверен, что он расшибётся о гигантскую силу свободных сынов.

гв. московец рядовой Половинкин

В **Москве** в последнее время уличные митинги приняли характер контрреволюционного движения. Решено командировать на все митинги членов СРД.

...Из Бетовской волости Козельского уезда нам пишут: по волости собираются сведения, сколько у кого коров. Предполагается реквизировать их, оставляя одну корову на 5 человек семьи. Хлеб исчезает из обращения. Старые крестьяне наивно обращаются за советом: «Надо нам быть довольными новым порядком аль нет?» И когда ответишь: «Конечно надо», — уходят облегчённые.

Розыски афериста под именем ротмистра Сосновского до сих пор не дали результатов. Его помощник по охране министерства путей сообщения Рогальский причастен к убийству артистки Сезах-Кулери и рассылал по линиям министерства телеграммы своим сообщникам.

Группа граждан **Москвы** возбудила ходатайство о сношении безобразного памятника Александру III у храма Христа Спасителя.

Мы, служащие трактирного промысла — официанты, горничные, номерные, коридорные, мальчики, судомойки, швейцары, должны организоваться около нашего союза и общими усилиями сбросить крепостной гнёт.

Социалистический кружок глухонемых...

ПРОШУ ВОРА, похитившего у меня чемодан с вещами, вернуть копию свидетельства о ранении, метрические выписки детей. Я рассчитываю, что у него сохранилось достаточно совести, чтобы не подвергать офицера, потерявшего руку на войне...

ПОД ЗНАКОМ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ... Русская деревня и сейчас широко пользуется началами коллективизма... Коллективизация, то есть обмирщение крестьянского хозяйства: коллективно убираются поля, в руки коллективов передаются с/х машины, посев, осенние вспашки — по возможности коллективно... Демократически организованная армия труда, армия созидания и творчества... Под знаком коллективизации должна протекать эпоха...

(В. Чернов, «Дело народа»)

Закон о хлебной монополии нельзя понимать как насильственное отобрание хлеба: закон предлагает хозяевам *свободно* поставить избыточный хлеб государству. А если они не поймут этой государственной необходимости и свободной поставки не последует — тогда реквизиция наступит как санкция. Мы живём в период решительных мер.

Рассуждают как бабы: «Новое правительство, а хлеба нет, и очереди ещё больше». Нельзя же в короткий срок исправить все язвы трёхсот-летнего хозяйничанья Романовых. Чтобы заставить прикусить языки не в меру разболтавшихся прихвостней буржуазии...

(«Дело народа»)

...Никогда за всё своё существование Англия не вела войны за моральные и идеальные интересы, а всегда с практическими целями: уничтожить сильного противника, завоевать земли. И даже когда её лозунг был «за свободу» — то за свободу торговли невольниками...

(«День»)

...общее собрание 2-го артиллерийского парка... Требовать от министра иностранных дел Милюкова отказа от самоличных выступлений как в печати, так и в беседах с журналистами на темы завоевательной политики...

...если требование наше — прекратить натравливание солдат на рабочих, не будет исполнено, то мы не ручаемся, что не может произойти взрыв мести против буржуазной прессы...

(из резолюции Финляндского запасного батальона)

Наша «травля» не угрожает физической безопасности Ленина. Наоборот, мы защищаем его полную свободу слова в надежде, что его политическое безумие наконец станет очевидным для всех.

(«Единство»)

...Но и борьба словом не ведётся. «Известия» закрывают глаза на кампанию коммунистов против Совета.

...Конечно, крики солдат-инвалидов «долой Ленина» и требование изгнать его — явление тёмное и печальное. Но надо «Правде» счи-

таться, что тёмная стихия может оборачиваться и против, и не возбуждать её.

(«Рабочая газета»)

Со вступлением в редакцию «Правды» Ленина мы имеем теперь орган, открыто и определённо защищающий идеи гражданской войны, то есть войны против русской революции. Но мы не думаем, чтобы ленинизму удалось изменить течение русской революции, изумительное по своей интеллектуальной сознательности. У этих анархистских поджигателей руки коротки.

(«День»)

Мы, рабочие петроградского Металлического завода, в количестве 7 000 человек присоединяемся к резолюции... немедленно заключить в Петропавловскую крепость бывшего царя Николая Романова с женою и всеми приспешниками...

Резолюция. Мы, рабочие завода «Старый Парвизайнен», на общем собрании 13 апреля в количестве 2500 чел. постановили: 1) Требовать смещения Временного правительства, служащего только тормозом революционного дела, и передать власть в руки СРСД... 3) Потребовать от Временного правительства немедленного опубликования тайных военных договоров, заключённых старым правительством с союзниками; 4) Организовать Красную Гвардию и вооружить весь народ... 6) Реквизировать типографии всех буржуазных газет, ведущих травлю против СРСД, и предоставить их в пользование рабочих газет... 9) Реквизировать все продукты продовольствия для широких масс; 10) Произвести немедленный захват помещичьих, удельных, кабинетских, монастырских земель...

(«Известия СРСД»)

...Даже под самым Петроградом и в уездах псковских и новгородских до сих пор царит полное непонимание того, что произошло.

...и такой педагогический зубр, слизняк царизма, и такая начальница гимназии до сих пор не ликвидированы...

Необходимо создать домовые комитеты, которые будут следить за домовладельцами и при необходимости привлекать их к уголовному суду...

...не допускать никакого протеза при поступлении в милиционеры.

Собрание фельдшеров орловского гарнизона считает необходимым скорейшую отмену принудительного телесного осмотра солдат как несоответствующего правам свободного гражданина. И существование сестёр в военных госпиталях нежелательным.

Москва. За последнее время обществом «За Россию» устраиваются многолюдные собрания представителей тёмной Москвы.

...с теми беглецами, кто не явится в полк в указанный срок, будут поступать как с изменниками Родине.

Товарища солдата убедительно просят вернуть велосипед, взятый им у дверей Таврического дворца, ведущих в Военную комиссию...

Товарищ Н. Ленин просит нас сообщить, что на митинг Гренадерского полка его никто не приглашал, что он о митинге ничего не знал, что он очень удивлён, что его имя без предварительного извещения было внесено в список ораторов. В это время т. Ленин выступал на митинге броневых дивизиона в Михайловском манеже.

(«Известия СРСД», 16 апр.)

ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ. Вот уже несколько дней по всему Петрограду идут слухи... Какие-то тёмные личности расхаживают по улицам, рынкам, баням, лавкам, собирают толпы и всюду и везде возбуждают легковерных людей арестовать тов. Ленина, бить его, громить газету «Правда» и прочее и прочее. Нужно ли говорить, что вся эта погромная агитация ведётся с преступной целью... Эти гады старого порядка, прихвостни чёрной сотни начали искать нового случая. Травля т. Ленина, безчестная и отвратительная, нужна этим тёмным силам, чтобы начать травлю против социалистов вообще, а потом против СРСД, а там авось удастся всё повернуть по-старому. Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами Ленина, самым решительным образом спорить с ними, но разве можно у нас, в свободной стране, допускать мысль, что вместо открытого спора будет применено насилие к человеку, всю жизнь отдавшему на служение рабочему классу, на служение всем угнетённым и обездоленным?.. Вот почему, товарищи рабочие и солдаты, надо решительно и смело прекратить эту безчестную травлю.

(«Известия СРСД», 17 апр.)

Бойкотируйте буржуазную прессу! Мы, солдаты Измайловского полка, обсудив вопрос о безсовестной травле буржуазной печатью вождя и ветерана Совета рабочих депутатов т. Ленина и защитницы наших пролетарских и крестьянских интересов «Правды», самым энергичным образом постановили: всю буржуазную печать бойкотировать, а товарищам печатникам предлагаем не печатать их.

К сему следует 9 подписей.

17 апреля. Исполнительный Комитет солдатских депутатов 12-й Армии заявляет, что он никого не уполномочивал проверять охрану царя и требовать перевода царского семейства в Петропавловскую крепость. Выступившие от имени 12-й Армии являются самозванцами.

ПЕРВОЕ МАЯ. Как красное знамя сделалось национальным знаменем России, так 1 мая становится национальным праздником её... Земной и небесный владыки рода человеческого, оба жестокие, деспотичные, требовали рабского повиновения и слепой веры. И в праздниках, приуроченных к мукам и страданиям искупителя рода человеческого, не было бодрой радости и ликования. Но вот родился праздник братства всех трудящихся — 1 мая!

...Пала плотина, отделявшая русских рабочих от европейских, — и 18 апреля мы восстанавливаем международный праздник 1 мая по новому стилю. Капиталисты всего мира уже облегчённо вздохнули, надеясь, что рабочие на время войны отказались от празднования 1 мая. А вот...

ДА ВОСКРЕСНЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

31

Ещё снаружи рык раздался:

— Цыж! А собери-ка поспидать!

И вот он, вкатился в землянку — кажется, ещё шире в плечах, да и ростом будто повышел, землянка ему мельче стала:

— Сань-ка!! Га-га-га-га!!

Стукнул ли тушей железной в грудь или обнял — фуражкой по столу хлоп! — и сам на чурбачный стул плюх! —

— Всё! Отзаседались.

Саня рад, соскучился:

— Да сколько ж вы заседали?

— А вот не поверишь — девять дней! В пятницу начали, а в субботу кончили — девять. Ну разбалакались, ну разбалакались, во мастера языком болтать, и что мы раньше их тут не видели? Да они бы все зараз взялись — Вильгельма бы заплевали.

Ездил Чернега в Минск на съезд военных делегатов Западного фронта.

— А из Питера приехали социалисты из Совета, четверо, двое русских, а два грузина — так эти по три раза выступали, и хлопают же им, идиоты. Тут слух пронёсся, что и Керенский приехал, — так троих из Совета понесли на стульях наружу встречать — а его и следа нет, не приехал. Распотешились. Ну, целовались там, на сцене: полковник с грузином, унтер с полковником. Этому Чхеид-

зу пятнадцать минут хлопали, а он и лыка не вяжет, половины не разберёшь, чего говорит. На трибуне рукава засучил и показывает, как они Временному правительству морду бьют, — ну и в зале рёв.

— Морду бьют?

— Ну, или за узды держат.

— Да неужели уж, Терентий?

— Да наверно так и есть. Иначе б не осмелели.

— А ты — не выступал?

— Выступал, а как же! В первый день — выступал. Там до драки дошло. Председателя съезда выбирали. Мы все — за Сороколетова, артиллериста, он на сцене в полной амуниции, и видно, что вояка, — я, мол, ещё вчера сидел на наблюдательной вышке и зорко следил за врагом, а сегодня явился исполнить гражданский долг. А нам суют — яврея какого-то, Позерна, шинелку напялил, от минского-де совета, присяжный поверенный. Почему мы сами собой не командуем, фронтовики? — обида уступать. Вот по этой картонке записываешься, — достал из кармана твёрдую картонную карточку табачного цвета, № 220, — со сцены вызывают уже не Чернега, а слово 220-му! Как мы ни бились, как ни горланили, и много нас больше, — и в чём их сила, скажи, кто-то где-то ещё до съезда решил, что Позерн, — и будет Позерн, и всё, а Сороколетова — ладно, в заместители. Вот так, Санька, я на этом выплеснулся, и думаю: не-е-е, тут надо поприглядаться, тут карты под столом передают. Я думал — я на язык боек, — а тут такие — ну-у-у. Вишь ты, на правительство локти засучил, и всё у них заранее решено — так ещё докумекать надо, зачем же они нас-то собирали.

— И на девять дней? Да ты расскажи по порядку, где ж это услышать? — Сане интересно, сел тоже к столу.

Дохнул Чернега кузнечным мехом. Подумал:

— Э-этого, брат, не рассказать. Там ни концов ни начал, одна свистопляска. Такого я в жизни не видел, только на конных базарах.

Встал, шинель стянул, метнул её на свою койку вверх, а сам опять сел.

— Делегатов нас — полторы тысячи, разместили даже по госпиталям. Ну что, ходили на вокзал Раззянку встречать. Раззянка он, иначе я его не зову, он раззявился, а всё дело мимо его плывёт. Караул, оркестр и эта марсельеза, кто её знает, а мы только голос

поддаём — и повалили по улицам, тут и генерал Гурко, и рядом с ним же Позерн. Раззянко перед тятром стал речь держать, мол, примите от меня поклон всей русской земли, с невыразимым волнением, возврата к старому нет, великая свобода, — а тут дождь пошёл. Мы, депутаты, конечно, попёрли в тятр, а толпа на площади его ещё полчаса слушала, и с ним которого-то, Родичева. Потом они это же самое и внутри повторяли — что старое правительство привело на край гибели, а теперь отечество в опасности, надо шибать божьих помазанников — Вильгельма, Карла, Фердинанда, султана, многим из вас не придётся увидеть новой счастливой жизни, но счастье за неё умереть. Поди ты и умри. И потом всё воскресенье в празднике прошло: дождя не было, все на Соборную площадь. И отдельно евреи ходят своё поют, и отдельно малороссы. И опять же все держали речи — и скажи, ну что такое за песня «марсельеза», ну к ляду она нам, и куда ей до наших песен, хоть «Распрягайте, хлопцы, коней», а двадцать раз её пропевали, и всем залом тоже пели, хоть мычи. Да что! один раз почали кресты-медали отдавать, Совету рабочих депутатов! Пошли сборщики по рядам, с фуражками.

Но чернегин крест и две медали — тут, на колёсно-выкаченной груди. Придержал рукой:

— Я — не в тех дуромазах, не.

Ну и Саня бы тоже не отдал, какое-то полоумие.

— Полоумие и есть. Слышал бы ты, чего на офицеров несут: мол, нам приварка мало, а офицеры шлют продовольствие в тыл — ну, чего бредят? И даже — вообще упразднить звание офицера. И каждый четвёртый: офицеров — выбирать! Ну, три остальных ему: заткнись! И — генералов сократить, а солдатское жалованье за тот счёт увеличить, — ну и на сколько ж душ хватит с одного генерала? Ну и Смирнова нашего, конечно, чистили, что он контрреволюционер, — а два года он нас вёл — не замечали. Кто упал — того и кусай. И чтобы так теперь офицеры вели, чтоб каждый солдат мог иметь полное доверие к каждому офицерскому распоряжению, ну!

Побывал Чернега и в унтерах, побывал и в офицерах — знает что почём.

— А завёл волынку — Скобелев, из питерского Совета: мол, во время революции офицеры попрятались под кровати. И — хлопали ему, дурачье. А офицеров в зале, на полторы тысячи — все-

го, может, человек тридцать. Вот тут я поломился второй раз выступать: мол, врѣшь, может, вы там сами в Питере попрятались, а мы — на боевых постах были! И что думаешь? Извинился Скобелев: сожалеет о впечатлении, отдаёт должное жертвенности офицеров.

Сидел Терентий приосаненный.

— Но, конечно, теперь, Санька, комитет — старше офицера. Я вот в корпусном комитете — так уж старше нашего комбрига, точно. И ещё и с корпусным могу поспорить.

— А что Гурко? Выступал?

— Гурко — орёл. Плещут ему: наш Главнокомандующий! И — круто завернул: никаких выборных офицеров! в одном полку избрали командира, а через неделю просили корпусного, как бы своего избранца сменить. И ещё — как надо оборону понимать: это не значит застыть на позициях, обороняться можно только наступлением, только так можно вырвать победу из рук врага. Плескали. А ушёл — кинули вопрос: а вот дадут приказ наступать — откуда мы будем знать, что он одобряется демократией? Отвечал Церетели: если где подозревается измена делу революции — то довести до сведения Совета рабочих депутатов, изменники будут заключены под стражу. А что получается? — значит, опять подозревай офицеров?

Саня посматривал на Терентия. С улыбкой:

— А ты сам в партию никакую не записался?

— Не, говорю ж тебе: присматриваюсь. Теперь время такое: надо хорошо оглядеться. Но в тятре перед главным залом ещё прохажальный зал — так там от каждой партии суют тебе книжечки: читай, мол, читай по-нашему. И чего там поненаписано: и как с землёй по России распорядиться, пять линий на выбор, никак земля — их главная заботушка. А о правительстве чего несли, ну! — нет у нас, Санька, правительства, это дым один, на него не располагай. Этот вот Позерн чего не нёс: Совет был повивальной бабкой правительства, и будем на него давить, и будем ему руководить, и контролировать, и не допускать порядка-умиротворения, а ему из зала: рáзья наша цель — беспорядок? Один поручик вылез: правительство составлено из народных избранников, и Совет не имеет права давить, — а ему из зала в двести глоток: «Имеет! имеет!» Фу-у-у, не, этого не перекажешь. А сколько ещё телеграмм поразослали — и Керенскому тому, и Плехану, и какой-то Брехо-Бреховской...

— Но всё ж — какой был порядок дня? повестка?

— Поряд-ядок? Порядка, Санюха, не спрашивай. Даже воды хорошей нет, из кранов в уборной мутную пили. Говорили кто во что горазд, потом разбрелись на такие секции и там горланили, потом опять же соединились. Ты лучше спрашивай — чего постановили.

— А — постановили?

— Ой, много чего. И путёвого и непутёвого. Да главные резолюции у них готовые, они и не скрывают: мол, в Питере так приняли на совещании Советов, давайте и мы так примем. Ну а мы добавили, в чём были мы все заодно: немедленно пересвидетельствовать всех белобилетников! И всех призвать, кто где укрылся от военной службы! И немедленно отправить на передовые позиции всех уже призванных, и кадровых, и запасных, и ратников, и причисленных к ополчению.

— Да зачем же они тут все?

— А чтоб неповадно! — гулко хохотал Чернега. — И всех жандармов и полицейских — на фронт! И в ихнюю там новую милицию — военнообязанных не принимать, чтоб не прятались! И дезертирам, позорникам, ни дня больше отсрочки, а — на фронт! И в тылах всех денщиков и вестовых заменить увечными и престарелыми — а лбов на фронт! И с заводов, с рудников кто там приписался для виду — на фронт! И хорошо почистить эти земгоры, красные кресты, военно-промышленные комитеты, их там много сволочей попряталось, — на фронт! — торжествовал Чернега, скалил белые крупные ровные зубы без уцербинки. — Потом: у дела снабжения армии сменить всех несоответственных лиц — и всех под контроль наших комитетов! Учёт запасов, чтоб ни крохи мимо армейского рта!.. Пото-ом... Что ж ещё потом? — уже с меньшим жаром вспоминал Чернега. — Совсем неправильно постановили: уравнивать питание военнопленных с русскими солдатами — где ж это видано? разве немец наших так кормит? да с голоду морит. Потом — рабочих одобрили, что пусть им идёт 8 часов — только чтоб работали все четырнадцать. Пото-ом... Да чего там не вёл эта шайка, как будто наше дело: чистить метлой духовенство, чистить инспекторов народных училищ, и библиотеки ихние чистить от реакционерских книг — и везде вставлять революционные.

Что ж ещё? — вроде бы морщил Чернега лоб, да гладкий лоб его в складки не собирался.

— Да! Все постановления наши — перевести на немецкий язык и немцам кидать через проволоку. И — не последний это наш съезд, только первый, теперь будем ещё сокликать.

И Цыж уже шаркал, нёс всю снаряду на стол и парующий котелок.

— Ну, я тебе очень рад, — говорил Саня. — Ты теперь нас не жалуешь, ты всё по комитетам!

— И буду! — уже откусывал Чернега от ржаной краюхи, щёки ещё шире, и ложка в руке. — Я теперь при корпусе, а как же. Комитет должен быть при месте и всё проверять, понял? А тут меня — из другой батареи пришлют, заменят, — ещё не прислали?

На круглых губах, на толстых щеках Чернеги было размазано полное удовольствие. Пожевал, проглотил, крикнул:

— Эх, Цыж, и борщага у тебя, ну! Где достаёшь? Надо и тебя проверить.

И бегали весёлые глазки Чернеги, радуясь своей землянке.

— Да ты хоть переночуешь?

— Вот переночую, да. Завтра в штабе бригады ещё отмечусь — и айда в корпус.

Цыж вышел — и Чернега сказал серьёзно, черпая деревянной ложкой и придувая чуть:

— Сейчас, Саня, спать не пора. Сейчас время началось — ухо остро держать. Со всех сторон нашего брата объегоривают.

Схлебнул.

— Сейчас надо верно присматривать: где же главная бечёвка, где главный конец — вот за него и хвататься. А власть теперь — труха, читай, как они про хлеб воззывают, ластят, — нету у них силы, по всему видно.

И он ел, вкусно чавкая.

— Ну, а в батарее чего нового? Все на месте?

— На месте. Нет, Бару откомандировали в военное училище, в Петроград.

— Да, а отпуск твой как?

— На той неделе еду, — улыбнулся Саня.

Сколько ни повторяй слово «отпуск» — так и разливается по тебе теплом.

— В Саблю поедешь?

— Да нет. Как решил — в этот раз в Москву.

И Москва — ещё теплей почему-то ему отзывалась, предстояла, наступала.

— Подполковник вернулся, теперь и меня пускает. Да стрельбы-то никакой.

— Воротился? — кивнул Чернега, с простотой переходя от зубоскальства и прямо к поминкам. — Похоронил? И где ж это столько тело было? И как сохранилось?

— Сам не скажет, а спрашивать неудобно.

Лейтенанта Анатолия Бойе убили в Гельсингфорсе 4 марта. А схоронили в Питере только через месяц, в Страстную субботу.

ДОКУМЕНТЫ — 11

17 апреля

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИССАР СЫТЕНКО —
ПЕТРОГРАДСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ЯКОВЛЕВУ

Шлиссельбургский революционный уездный народный комитет доводит до сведения как Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов, так и Временного правительства, что с сегодняшнего дня, 17 апреля 1917 г., комитет считает территорию Шлиссельбургского уезда вполне автономной. Вся внутренняя жизнь Шлиссельбургского уезда устраивается только гражданами этого уезда; все же внешние вопросы, относящиеся к интересам граждан этого уезда, но связанные с интересами граждан всей России, — разрешаются только лишь взаимным добровольным соглашением между всеми автономными единицами, входящими в состав территории всей России. Петроградский СРСД, а также Временное правительство ни в коем случае не должны предписывать каких бы то ни было декретов гражданам Шлиссельбургского уезда, не спросив на это согласия у самих граждан этого уезда.

32

Утекали весенние недели — и накатывала с Юга на Север золотистая, славная, а ныне и грозная сила — Посев! Посеву — некогда ждать всех наших устроений, к нему надо быстро поворачиваться. А дальше-то выситя ещё самая страшная глыба — Земельная Реформа. И мы же, мы же и обещали крестьянам её всегда как первую — так теперь тоже руки не отвернёшь! А слухи о возможной конфискации земель — это гибель всех посевов.

Россия, до войны не знавшая, куда вывезти хлебные избытки, к счастью, и сегодня сохраняла старые запасы даже и во всех потребительских губерниях, что смягчало днёвную остроту, — но, глядя вперёд на месяцы, надо спешить вводить нормы потребления во всех крупных городах. Да даже и во всех мелких? Да даже и в сельской местности? (Да не обидно же для городских: чтоб сельские нормы не были выше.) Но не расширять же и на Сибирь, Туркестан, Закавказье? А — сахар? Кажется, не избежать теперь вводить и сахарную монополию? и чайную? и может быть табачную? И карточки на мясо?

Хлебная монополия оказалась необозримо трудна организационно, Россия к ней совсем не готова. Объявить все хлебные запасы собственностью государства мало: надо их *знать*, а значит, прежде *переписать*. А значит — прежде чем закон войдёт в силу, надо сверху донизу создать контрольные органы. Естественно стать такими — продовольственным комитетам, губернским, уездным и волостным. Но сколько же членов должно быть даже в волостном продовольственном комитете, чтобы в короткий срок переписать *все* зерновые запасы у *всех*, определить семенную и фуражную потребность каждого хозяина (и каждой лошади рабочей, и жеребёнка), а излишки — записать государству, и чтобы владельцы хранили, пока этот хлеб у них заберут. Перевешать хлеб в каждом амбаре? — этого и за 3 месяца не сделать. Поверить личным показаниям и проверять только в сомнительных случаях? Но будут ли крестьяне искренны в самом для них дорогом? Да на этот контроль не хватит всех культурных сил деревни. Да подсчитали: система продовольственных комитетов и продовольственных управ составит по России как бы не 180 тысяч человек, это новая громадная армия чиновников. И их же всех содержать за счёт казны. А сколько расходов ещё на заседания и суточные? всего — подсчитали — не 500 ли миллионов рублей? Да не обойтись собрать в мае и их всероссийский съезд? А в центральном продовольственном аппарате быстро нарастает своя бюрократия. А жизнь — идёт, и пока монополия ещё только готовится — а зерно уже повсюду исчезает из продажи. Но как же расстраивали возражатели — а много их было. Кто резко: что весь проект — «безумие Шингарёва», нельзя было решаться с лёгким сердцем на такой малоизученный вопрос. (И не слышали оправданий Шингарёва, что не он же самолично это ввёл, это вызрело в общественных организациях.) Кто въедливо: что при нашем раздробленном землевладении не осуществить монополии, или нескоро, ведь хлеб — самый разный у всех, и засоренный, каким коэффициентом это уравнивать? А хранить, сортировать запасы — где? Да как в недели заменить аппарат, сложившийся веками? Принудительная реквизиция не соберёт того, что умел выудить торговец: чиновник способен только угрожать. Да захочет ли население попасть в зависимость от продовольственных чиновников? А как заставить земледельца продать (и самому ещё привезти) — следующий хлеб, который не обмолочен? А как заставить сделать ещё следующий посев, если он видит, что невыгодно, отбирают? И пугали, что насильственные меры сейчас

вряд ли осуществимы. Что будет сопротивление населения: нормы оставляемого владельцам хлеба и фуража — полуголодные. И ещё пугали: что, объявляя хлебную монополию, правительство берётся и прокормить крестьянство в случае недорода. Оставляете только «до нового урожая» — но тогда при недороде дайте казённый паёк.

Ох, и правда. Кругом шла голова, и минутами — просто отчаяние. И незаметно стал Шингарёв послаблять, послаблять. Увеличил и норму, оставляемую крестьянину — как занятому тяжёлым трудом. (Социалисты — сразу в атаку: обездоленный городской потребитель! у него и мяса, и молока стало меньше, а в деревне больше!) И сам не оглянулся, как стал беззвучно повышать твёрдые цены на отбираемый хлеб — вот уже и на треть выше риттиховских. И только одной, последней, уступки Риттиху Шингарёв ни за что сделать не мог: оплачивать доставку зерна на станцию: этим бы нарушалась теория ренты. Нет! Доставка — бесплатная. (А смотри — лошадей в деревне сильно поредело.)

Да одно цепляется за другое. В конце марта, объявляя монополию, там же опубликовали и правительственное обещание теперь же приступить к установлению твёрдых цен и на железо, ткани, керосин, кожу. Но одно дело — приступить, а другое — установить. Быстро убедился Шингарёв, что нет у него сил ломать ещё и сопротивление промышленников и банков. Нет, надо признать, что монополия будет неполна: государство берёт только готовый хлеб, но не касается, как его произвести.

Во всей этой огромной задаче горячее всего надеялся Шингарёв на кооператоров — и ему удалось собрать в Москве их съезд в конце марта, ещё до объявления монополии. И как же ловил он каждый звук поддержки! Кооперативный съезд не только проголосовал за закон, но и какие же слова довелось там слышать. Один крестьянин Владимирской губернии произнёс так: «Да, мы *просим* правительство применить этот закон! Пока враг на русской земле... Скажите там, в Петрограде, что если не хватит наших молодых детей, то и наши старые руки ещё сильны на защиту России. Те из нас, кто отдал последних сынов, — отдадут и последний фунт хлеба!» Да — эти же! да — эти же самые слова Шингарёв и предсказывал всегда! Он ухом слышал их за несколько лет вперёд — и вот они прозвучали! Шингарёв в президиуме еле умел скрыть слезы. И отвечал съезду: «Теперь я спокоен: подставлены могучие плечи кооперации! Она ещё мала по сравнению с нашими огромными просторами, но через несколько лет мы сами изумимся, во что она выросла».

Произнесение речей — все эти недели была ещё отдельная непрерывная струя жизни. То и дело его зазывали куда-нибудь произносить речи, много по Петрограду, и два раза ездил в Москву, и всё на съезды. И обдумывать и сочинять те речи было совершенно некогда, а так, толчком, что выльется. С кооперативного съезда попал на концерт в Большой театр: «Поклонимся перед павшими героями из серой русской рати». Оттуда — сразу на поезд, а в Петрограде с поезда — сразу на кадетский съезд, бурные овации, и уж где держать речь, как не тут. А дальше нельзя было не поехать на возобновление заседаний Вольно-

экономического общества — и значит опять речь, а что говорить? «Старая власть душила все проявления общественности. На долю нашего поколения выпало редкое счастье вернуться к культурной работе... Нам предстоит исправить безчисленные безумства старой власти...» А там — опять надо ехать в Москву на съезды, под Клином из-за крупного крушения простояли 5 часов, опоздали, — но на пироговский съезд успел к закрытию, к родным братьям-врачам, хранителям священного огня русской интеллигенции, — к ним самые возвышенные пламенные слова! «Прогнивший старый строй... Товарищи, скажите всем, чтобы бросали роскошь! Без хлеба погибнет свобода!» А на следующий день — на съезд городов, и зал дрожит от аплодисментов, и: «Отношу аплодисменты не к себе, а к Временному правительству. Только теперь и можно жить и работать в полном единении с народом. Старый строй рухнул, потому что в нём изверились народ и армия».

А в эти же дни был объявлен заём Свободы — и всем министрам менялось во всех выступлениях пропагандировать его. И так, перемешивая с хлебной монополией: «Выпускать кредитные билеты? Станки и так печатают их день и ночь, этим сладким ядом нельзя пользоваться до бесконечности. Народ должен отдать правительству свои сбережения и лишние золотые украшения». А вот (это уже опять Петроград) надо в воскресенье специально ехать в Благородное Собрание и говорить в пользу займа. «Мы здесь слышали голос министра свободной Франции, что русская свобода теперь так же велика, как и французская. Между Великой Французской и Великой Русской Революцией действительно поразительное сходство... Ошибки старой безумной власти должны быть исправлены. Наши сбережения отдадим стране!»

И с чувством подписывал, и рассылалось по лику Руси ещё одно воззвание: «Пусть рука ваша крепче ляжет на плут, пусть он глубже войдёт в сырую мать-землю. Вы — чуткое сердце России, откликнитесь на призыв Родины. Земельные беспорядки недопустимы, нельзя самовольно рубить леса и жечь имения помещиков — так только сократятся посевы, это будет шагом к несчастью».

Засев земли этой весной становился как жизнь или смерть. Уже озимые были засеяны намного хуже обычного из-за дороговизны рабочих рук. Теперь из-за сельских волнений, а ещё шире из-за угроз — помещики не хотят сеять яровых, и даже начался их отлив из деревни. Уже и средние землевладельцы задумываются, сеять ли. По Югу самая горячая пора посева уже упускалась. А если помещики не посеют яровых, то уже в мае крестьяне сообразят — и не станут продавать своего хлеба. И наступит голод. Шингарёвское министерство всё хлопотало о заготовке, а надо было спасать производительность. Землю, которую помещик сейчас не берётся засеять, — надо успеть сдать в аренду крестьянам. А если откажется помещик? передавать в аренду насильственно? Решиться так? (Насилие над помещиками всё же не пугает последствиями.) А кто это будет делать на местах? Очевидно, продовольственные комитеты. А как дать сельскому хозяйству рабочую силу? Даже военно-

пленные уже так рассвободились теперь, что их надо заинтересовать: надо платить им не меньше среднего, сколько платят в этой местности.

А между тем крестьянские угрозы усиливались — и при всей опаске обострять социальные проблемы в деревне не могло же правительство не стать на помощь тем помещикам, которые, несмотря на всё, намеревались засеять? Однако правительство считало невозможным пользоваться против крестьян военной силой (да это практически сейчас и невозможно), его принцип был: исключительно нравственное воздействие на население. Надо было как-то популярно всем объяснить. — И вот шёл Шингарёв на небывалую меру: а если произойдёт порча посевов, то государство берёт на себя возмещение владельцам убытков. Небывалое и огромное бремя на правительство — а иначе не будет в России хлеба в этот острый переходный период. Да неужели свободный народ после этого не устыдится разорять собственное казначейство?..

Да ведь корень сельских волнений не в посеве, а — в переделе земли. Крестьянство истрадалось, ожидая этого передела. Накопилось в них: ждать нельзя, разряди! Земля так соблазнительна, а тут нет военной охраны — как удержаться мужику? Но нельзя допустить раздела хаотичного, до Учредительного Собрания. Как раз в земельной программе кадеты всегда шатались: все левые партии требуют землю отнимать, и притом без выкупа. А кадеты хотели бы раздавать лишь удельные и монастырские земли, а частные? частные если и брать, то во всяком случае достойно уплатив. Левое крыло партии тянуло ко всеобщей национализации. А сейчас, в революционном расплохе, на мартовском съезде ничего не решили по земле, отложили до мая. Но — министерство земледелия не могло не принять хоть какого-то мнения. По накалу борьбы многих лет надо было решать только и именно против столыпинского решения, против хуторов и отрубов, — и все землемерные и землеустроительные работы согласно столыпинской реформе министерство земледелия теперь остановило. (Но тогда остановилось и исправление заболоченных покосов Северо-Запада, солонцов Заволжья, сибирских урманов.) Однако и не настолько же против Столыпина, чтобы всех насильственно загонять в общину? — кормит-то хозяйственный мужичок. Да отрубники — и не пойдут. А ещё для дележа придётся разорять крупные культурные хозяйства и отдавать их по кускам в технически несовершенные руки. Многопольные участки, скотное, птичье, садовое, огородное, свеклосахарное хозяйство, питомники, рассадники — и всё дробить? делить?

Нет, революция застала Россию врасплох. Сегодня и знатоки земельного дела не стыдятся публично признаться в скудости своих сведений о точных данных земельного дела в России. Передача земли народу оказалась далеко не простое дело, такая реформа может отбросить Россию далеко назад, подорвать производительные силы земли. Пока в деревне неразумная агитация подбрасывает огня — а реформа плавает в тумане. Прежде всякой реформы нужна всероссийская земельная перепись: в какой губернии сколько именно крестьян нуждаются в зем-

ле — и сколько может к ним отойти? А ширятся овраги, не укрепляемые в войну, — сколько они занимают сегодня? А если ещё хлынет на землю и громада городского населения? — нормы станут и вовсе урезанными, и земли никак не хватит. Но сегодня поздно убеждать в этом крестьян, разожжённых нашей же агитацией, особенно тех, кто живёт рядом с удельными землями. А перепись — долгá, а время не терпит. А далеко переселяться — ещё все ли захотят? Надо и это узнать заранее опросом.

Пока — ещё одно воззвание Временного правительства к населению: заветная мечта многих поколений! Большая беда грозит нашей родине, если население на местах, не дожидаясь... Большая ошибка думать, что каждый уезд и волость могут сами решить этот вопрос. Начнётся борьба между общинниками и подворниками, село восстанет против села, волость против волости...

Сперва создавали (и недосоздали) повсюду продовольственные комитеты. Сами собою во всех местах создавались разнокалиберные, где какие, «исполнительные комитеты», скорая местная власть. Но вот, там и сям, сами собой стали образовываться ещё новые — земельные комитеты — это была уже третья параллельная власть. (Эх, нет волостного земства!) Однако в нынешнее безвременье правительство не могло бы их отменить — а лучше поддержать и возглавить. Толком никто, и сам Шингарёв, не понимал, чем же именно точно будут заниматься земельные комитеты, как они разграничатся с другими властями, какие у них будут права и способы действий, — но остановить этого процесса тоже было нелзя.

Вот — грянуло в Ранненбургском уезде: там исполнительный комитет постановил насильственно обсеменять помещичьи земли по дешёвой аренде и не спрашивая согласия владельцев. Применить воинскую силу? — уже прежде правительство зареклось. Значит? — телеграмму исполнительному комитету: указать на недопустимость самовольного решения земельного вопроса без общегосударственного закона. Из Рязани послан был прокурор — расследовать погром, но рязанский Совет рабочих депутатов нарядил и свою «демократическую следственную комиссию» над прокурором.

И — какая же голова это всё могла охватить? А каждый день ещё десятки же вопросов. Вот, надо законом удлинить в этом году сроки рыбной ловли в Астраханском бассейне... Вот, упорядочить частную рубку лесов...

И в этой каменоломне работы — почти всё успеть самому, не похоже, чтобы чиновники министерства понимали бы всё напряжение и смысл происходящего так, чтобы силы отдать безпредельно. Надежда на одного Сашу Хрущова, друга юности, его Шингарёв когда-то вызволил через Столыпина от ссылки, а сейчас вызвал к себе в товарищи.

И благодарности за всю каменоломню — не ждал или нескоро ждал Шингарёв. А сегодня — больно поразил упрёк от князя Бориса Вяземского, пришло письмо из Усманского уезда. В начале марта он же был у Шингарёва, и такие важные соображения высказывал о состоянии деревни, и кажется, так хорошо понимали друг друга. А теперь:

«Андрей Иванович! Не верю глазам: когда же вы успели стать социалистом? И ваша ужасная хлебная монополия, и эти всевластные комитеты из охлократии — ведь вы же насаждаете в России социализм!..»

Тёр, тёр лоб Андрей Иванович, тоже не веря глазам: социализм? он? Никогда...

А под Воронеж уже грядёт прямая весна. И на родную Грачёвку. И хотя уж столько в России земель в эту весну останутся сырыми, незасеянными, — а крохотное пятнышко Грачёвки ноет само, отдельно: а я-то как же? Отцовская земля... А отцу уже восемьдесят. Долг старшего сына. И всю же Россию равно любишь — а Усманский уезд как-то ещё особенно. В позапрошлом году починили в Грачёвке и дом, уж ветох был.

И решили теперь с Фроней: всё равно занятий в школах практически нет, экзаменов не будет, разрешено разъезжаться, — берика детей, да поезжайте все в Грачёвку, да обрабатывай.

— И с посевом?

— Ну, с зерном сил у вас не хватит, опять отдайте. Но ваш — огород, сад. Да не только свежий воздух, а и с питанием в Питере будет плохо.

— А — ты? Как же ты?

— Да я-то один.

— Так именно один! Пока доберёшься по ночам на Монетную — а тут всё запущено.

— Господи! Да я студентом и двадцати пяти копеек не тратил — и сыт был.

— Да уж знаю. И мне ж помогал.

— По воскресеньям у сестры буду обедать. Когда — у Саши Хрущева. — (Казённую министерскую квартиру отдал ему.) — Да обойдусь, до еды ли мне будет. Зато душа будет спокойна. Как спокойно будет, правда, Фроня.

И уговорил. Стали собираться. А достать билеты — тоже труд. Очереди тысячные, билеты уже на май. Просить у Некрасова не хотелось — настолько Некрасов недоброжелателен за эти министерские месяцы, и даже публично подковыривал Шингарёва, что вот, мол, вагоны *теперь* есть (где они есть?) — а хлеба нет для погрузки. И даже было публичное распоряжение: чиновникам путей сообщения запрещается всякое протезирование в покупке билетов, а спекулянтам — тюрьма до 4-х месяцев. Но нужда гонит — и нашёл Шингарёв связь, получил купе второго класса на семью.

И сегодня вечером отвозил их, с шестью чемоданами, два рейса автомобилем. Сам же устроил — а теперь вдруг такая тоска взяла, такая тоска, как будто расстаются навеки. Успокаивал себя:

— Да я, может, ещё по России поеду, и тогда в Воронеж обязательно, и к вам на денёк. Вот уж радость — в Грачёвке побывать! Как бы хотелось с вами вместе покопаться в огороде.

Не сказал Фроне, как сердце сжато, но по её суженным напряжённым глазам видел то же.

Целовал детишек. А после второго звонка — лицо её ненаглядное, каждая морщинка родная, а вот уже 22 года. Скоро серебряная свадьба.

33

Мерзкое свинство там получилось, в манеже Гренадерского батальона, — чуть не двенадцать часов варился этот митинг, пятьдесят ораторов, лучшие либеральные и социалистические болтуны и даже один революционный поп, — но то и дело кричали: «Где Ленин? Он обманул нас!» Послали туда выступить трёх кронштадтских матросов, мало: «Где Ленин? Мы хотим задать ему вопросы!» Послали туда Дашкевича объяснить, что Ленин приносит извинения, но он очень занят на заседании, — «Дайте Ленина! он обещал! мы потому и собрались! Ленин струсил!», и оскорбления, и угрозы, и неистовые крики — и тем более появляться в этом бурлении было безумие и заведомый проигрыш. Какой-то воленец там выступал, что вот германское правительство пропустило ленинцев с комфортом... А старый Дейч, никак не окочурится: что германская пропаганда среди наших военнопленных — точно то же самое, что говорит Ленин. Тут придумали товарищи, чтобы Владимир Ильич

тем временем смотался бы в Михайловский манеж и выступил бы там перед полусотней броневых дивизионов, наших сожителей по Кшесинской, — значит «выступал в другом месте». Хорошо придурили, съездил. А в Гренадерском кипело и до поздней ночи, и ещё вспоминали и ругали Ленина.

Вообще, кампания травли и озлобления к большевикам оказалась серьёзней и продолжительней, чем можно было ожидать. Например, товарищи из Москвы передают, что там — исключительно раскалены и кто бы где бы ни собрался — кричат: «Арестовать Ленина!» — и не от партий, а самые тёмные типы. А вчерашняя демонстрация инвалидов — хитрейший и болезненный пропагандный трюк, опасный своей мнимой наглядностью этих обрубков, эксплуатация безсознательных масс. И хотя вчера же устроили демонстрацию кронштадтцев и 180-го полка против травли — но это не перевесило.

Совершенно ясно, что надо быть гибче и осмотрительней: и лозунг «конец войне» и лозунг о перевороте — прикрыть, подавать только исключительно умело: мы стоим не за резкие действия, но за настойчивое терпеливое разъяснение буржуазного обмана. И когда вчера тут рядом, в цирке «Модерн», наши собрали большой митинг, то в резолюцию поставили только самые неопровержимые лозунги: конфискация всех помещичьих земель! 8-часовой день! *военная контрибуция* на капиталистов! сплошное вооружение рабочих масс! невывод войск из Петрограда! И — всё.

Нельзя не заметить, что в верхних слоях, на уровне буржуазном и социалистическом, травля уже ослабла, если не полностью кончилась. Да у болтунов неисправимых (а это 99% всех русских политиков) она и не могла задержаться, если настойчиво отрицать — они легко согласны не видеть. Вот Милюков вчера же, на кадетском сборище, отступил: нельзя применять насилие против Ленина! (Это-то нас вполне устраивает!) Вы же не хотите, чтобы мы боролись способами старого режима. — Да уже захрипела, подавилась и «Русская воля», испугавшись своих же типографских рабочих. (Смеётся Ленин и над теми кадетскими сборищами, как они там выговариваются под аплодисменты, и над той перепуганной газетой — высокое революционное наслаждение доставляет эпатировать буржуа!) А Церетели со Скобелевым тем более скинули тон: ни в коем случае никакого насилия, Ленин имеет право на свободу мнений. (Это-то нам приемлемо!) Смеялся над вчерашней статьёй Чернова о себе: как этот надутый эсеровский чи-

нуша объясняет публике Ленина: Ленин — жертва ненормальных условий и катится сам не зная куда, маниакальный ум. (Ну объясняй, объясняй.) Сегодня и стекловские «Известия» выступили принципиально и резко против безчестной и отвратительной травли ленинцев. (Со Стеклова надо снимать удар, он там не из худших.) Тут ещё исключительная удача: вчера в газетах две телеграммы из Швейцарии: от Аксельрода-Мартова-Натансона-Луначарского: «Констатируем абсолютную невозможность вернуться в Россию через Англию», от Мандельберга-Рейхсберга-Кона-Балабановой: выход в обмене эмигрантов на интернированных немцев. А что, господа из «Русской воли», — они тоже все немецкие шпионы?

Так газетная травля истощилась за 12 дней, отскочила как шелуха. Всё было правильно предусмотрено.

Но это — среди публики образованной. Однако русские низы в печатном плохо смыслят — и в низах травля тем временем ещё усилилась, на улицах рвут и топчут «Правду». А в низах — это и есть истинная опасность, ибо она ведёт к прямому погрому, тут нельзя оставаться безпечным. И вот — ударило: Исполнительная комиссия солдатской части Совета постановила: что пропаганда ленинских взглядов не менее вредна, чем *контрреволюционная пропаганда справа!*

Опаснейший удар! *Этого* нельзя так оставить! На большевиков хотят натравить всю солдатскую массу!

Впрочем, и они с благоразумной оговоркой: невозможно принимать репрессивные меры против пропаганды, пока она остаётся лишь пропагандой. Это бы — приемлемо, но растравленные массы разве вникают в оговорки?

И Ленин решил на дерзкую контратаку. Очень, очень не хотелось идти выступать публично — но вынуждали. И сегодня туда, в Таврический, послав на солдатский Совет натолкать сколько можно своих большевиков, отзываться из зала, — без всякого предупреждения тех вожаков — явился в Белый зал, тихо поднялся по ступенькам мимо оратора к президиуму и объявил растерявшемуся председателю, что, вот, я — Ленин, и прошу слова для внеочередного заявления. У того от внезапности полезли глаза на лоб — и он сразу объявил:

— Товарищи! В зале находится Ленин!! И он желает дать свои объяснения по поводу резолюции Исполнительной комиссии. Угодно ли вам его выслушать?

— Ленин! — закричали из зала. — Наконец-то!.. Просим!.. — свои с настойчивым одобрением и аплодисментами, а кто — со смешками, тоже с аплодисментами, но ироническими.

И, отстранив очередного оратора, председатель показал Ленину на трибуну.

Ту самую думскую трибуну, с которой было произнесено столько подлых парламентских речей. И вот перенёсся Ленин из Швейцарии тоже сюда.

Было в зале человек семьсот-восемьсот, да ещё на хорах сколько. Но тут, услышав крики, что Ленин, — стали вваливать ещё и из нескольких дверей. Как овладеть такой толпой? Ленин не терял хладнокровия и не мог бы так грубо ошибиться, чтобы произнести тут формулировку, какая говорится только между своими у Кшесинской, но он и не имел отчётливой методики, как построить речь. Ясно было, что говорить надо много, как можно больше, это будет для толпы убедительней.

— Товарищи! Я хотел бы дать вам свои объяснения по поводу резолюции вашей Исполнительной комиссии, признавшей пропаганду так называемых правдивых такой же вредной, как и контрреволюционная пропаганда справа. Это, товарищи, очень тяжёлое обвинение, и так как я являюсь в полной мере ответственным за пропаганду моих единомышленников, то я позволю себе высказаться по существу. Чего добиваются правые? Возврата к монархии. А капиталисты — хотят власти капиталистов. А наша пропаганда: что вся власть в государстве должна перейти в руки только Советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов, то есть заведомо огромного большинства народа! И добиваться этого мы хотим только терпеливыми разъяснениями.

Он старался говорить как можно мирней, даже с невыносимой доброжелательностью.

— Не было с нашей стороны ни одной прямой или косвенной угрозы отдельным лицам. И мы всегда будем действовать только разъяснением, пока кто-нибудь не перейдёт к насилию над массами. И как же можно назвать нашу пропаганду «не менее вредной, чем правая», если контрреволюционеры хотят силой посадить нам опять царя? Это явная несообразность, и Совет солдатских депутатов не сможет разделить взгляда его Исполнительной комиссии.

Ленин ждал хуже: что на первых фразах начнут кричать — «немецкий шпион», «изменник», и не дадут говорить, и получится фиаско, ещё хуже, чем не выступал бы. Но вот введение прошло бла-

гополучно. А теперь выигрыш, теперь тянуть за то, что тянет все их сердца: земля.

— Пойдём дальше. В чём по существу наши разногласия. Главным образом по трём пунктам. Первое — это о земле. Мы всегда отстаивали, чтобы вся помещичья земля перешла бы в собственность трудового народа, и за это нашу партию жестоко преследовали при царизме. И что же тут, товарищи, контрреволюционного? Вы скажете, что это — трюизм и другие партии тоже имели это в программе? Но разница та, что сегодня только единственная наша партия выступает за *немедленную* передачу земли народу! И это — наш лозунг дня. У помещиков — десятки миллионов десятин земли. И никакая свобода не поможет народу, пока земля не перейдёт в собственность народа. И если её не забрать у помещиков немедленно, то она останется незасеянной. Захват всей земли немедленно — есть движение вперёд революционного народа. А те, кто советуют крестьянам ждать Учредительного Собрания, — (уже с ударением, уже в атаку!) — обманывают их.

А тут вышла противоположная ошибка: он ждал одобрительного рёва солдатского зала — а не было его. Во многих местах курили, не торопясь, тяжёлый табачный дым поднимался и сюда. Зал стал гудеть разговорами, но они не показались Ленину одобрительными. А это был самый выигрышный возможный момент речи. И — не выиграл. Ленин смутился.

— Как это так? Если капиталисты захватили власть у царя — то это великая и славная революция? А если крестьяне отбирают землю у помещиков — то это самоуправство? Вот министр Шингарёв дал телеграмму в Ранненбург, чтобы не смели самовольничать с землёй, — да похоже ли это на народную свободу, если крестьяне, громадное большинство населения, не имеют права взять землю, как решили, а должны ждать «добровольного» соглашения с землевладельцами? В чём же тут демократизм, если триста крестьян должны искать соглашения с одним помещиком? Да помещики никогда добровольно землю не отдадут! *Кто же может помешать большинству, если оно хорошо сплочено и вооружено?*

Нет, не брало. Гул становился нетерпеливей.

— Но мы никогда не проповедовали насилия. Пусть захват будет произведен на основе строжайшей дисциплины. Конечно, землёй будут распоряжаться и распределять Советы крестьянских и батрацких депутатов. Организация крестьян без всякого контроля и надзора сверху, без помещичьих прихвостней. А солдаты должны

помочь крестьянам взять землю. Если крестьяне начнут брать землю тотчас, не дожидаясь соглашения с помещиками, то не только выиграет дело свободы, но солдаты получат больше хлеба и мяса: увеличится производство того и другого. Но саму землю нельзя есть. Миллионы дворов ничего не выиграют без лошадей, орудий, семян, — и потребуется их также реквизировать.

А одобрительного рёва всё не было. Однако и уйти с этой темы было жалко: она — самая выигрышная, а дальше будет хуже. И Ленин стал говорить о преступной столыпинской политике хуторов и отрубов, которая... Богатым крестьянам надо так же не доверять, как и капиталистам.

Из зала стали кричать:

— Довольно! Довольно!.. Здесь не митинг!.. Ограничить время!

А большевики кричали:

— Просим! — и хлопали, но не пересиливали враждебных криков.

Владимир Станкевич, председатель Исполнительной комиссии, который и сочинил и провёл эту резолюцию против Ленина, сегодня в начале заседания был в зале, а потом вышел в дальнее крыло дворца и пропустил приход Ленина. Потом от кого-то узнал сенсацию, что в зале сам Ленин, — и поспешил сюда. (И не он один, и другие члены ИК кой-кто пришли с любопытством.) Но не стал уже пробиваться в президиум, остался в толпе прохода. Он пришёл, когда Ленин говорил, что с немедленным захватом земель увеличится производство хлеба и мяса, — и усумнился: не недостаёт ли у того умственных способностей? или уж такой он последний отчаянный демагог?

А голос плоский, невыразительный, ещё и прикартавливает, безчувственно к аудитории употребляет иностранные слова и нервно похаживает около трибуны, хотя ходить там негде. Фигура его несравнима с природно-красивым покоряющим Церетели, с благородно-осанистым Авксентьевым.

Станкевич успокоился: этот — не может увлечь солдат.

А тут ещё стали кричать: «Довольно! Хватит!» — и со многих мест, и Ленин запнулся, хотя по виду оставался невозмутим, ни в чём не переменялся, — да бывали ли на этом закованном азиатском лице с реденькой рыжей бородкой переменные выражения?

Поднялся сплосхавший председатель и только теперь спросил, какие есть предложения ограничить время оратора. Стали кричать:

— Две минуты!

— Пять минут!

— Два часа! — (Это большевики.)

Член Исполнительной комиссии, военный доктор Менциковский, сидевший в близкой ложе, поднялся на трибуну, отстраняя Ленина, и обратился, как всегда энергично:

— Вот уже двадцать минут, как нам говорят здесь избытые вещи, полемизируют со Столыпиным, с Шингарёвым. В дальнейшем мы, может быть, услышим полемику с графом Паленом или Николаем II? Кому нужны эти азбучные истины? Я думаю, Ленин мог бы, не отнимая у нас так много дорогого времени, сформулировать своё заявление вкратце.

Доктор тоже не подбирал слова, чтобы быть солдатам понятнее.

Тут же выступил военный чиновник: чтобы речь Ленина не ограничивали. Но в зале поднялся против него такой шум, что доносились только отрывки фраз. И он ушёл с трибуны. А Ленин оставался. И под весь этот шум даже, кажется, слегка улыбался. Самоуверен же. Или у него тупая реакция?

Беспорядочно кричали из зала, кричал председатель. Ленин поднял руки в локтях, укрепил большими пальцами под мышками пиджака, показывая, что готов ждать. Кричали, но выталкивать его никто не поднялся. И в наступающем успокоении председатель объявил, что даётся оратору полчаса. (От начала? или вперёд?)

Зал согласился, но тут большевики стали кричать: «Долой председателя!» — и стучать пюпитрами, кто захватил сидячее депутатское место. Ленин приподнял руку, делая вид, что успокаивает единомышленников.

И как будто не было этого всего шума — без обиды, без волнения, так же плоско, серо и ровно продолжал:

— Теперь позвольте, товарищи, коснуться вопроса о государственном строе России и о будущих формах управления ею. Нам не нужны такие республики, какие существуют в других странах, — республики с чиновниками, с полицией, с постоянной армией. Не нужно нам и Временное правительство, сплошь составленное из капиталистов. Не нужно нам такое правительство, которое попустительствует контрреволюционной агитации Гучкова и компании в армии!

Агитация военного министра — в своей армии!

— Значит, вы против власти, спросят меня? Значит, вы анархист? Нет, отвечу я, это клевета. Мы — не анархисты, мы — сторонники власти. И власть должна быть тверда! — но власть революционная! Вся власть должна быть передана из рук капиталистического правительства — в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Товарищи, что же здесь контрреволюционного? Мы за такую республику, в которой снизу доверху не было бы ни полиции, ни постоянной армии, ни несменяемого и привилегированного чиновничества.

То есть продолжить нынешний львовский развал.

Солдаты слушали очумело, для них это был — изрядный туман. Нет, Ленин успеха иметь не будет. Но на кафедре он совсем не так безапелляционно кровожаден, как в своей газете и с балкона особняка.

— Должно быть всеобщее поголовное вооружение народа, и непременно с участием женщин, и никакого «контроля» и «надзора» сверху...

(А Ленин и не сдерживался напустить туману: сказать всё прямо и чётко было незачем, неуместно, да и сам он ещё не видел до конца. После того что призыв немедленно захватывать землю не имел успеха — он уже обременён был необходимостью продолжать здесь свою неудачную речь, ему и этого получаса было много, а сейчас надо было переходить к самому режущему вопросу о войне — и вот как тут проскользнуть умело?)

— На меня клеветают, будто я сторонник сепаратного мира. А я утверждаю только, что нынешняя война затеяна Николаем Кровавым и капиталистами всего мира, и новое правительство ведёт такую же разбойничью войну, в интересах тех же капиталистов. А рабочему классу эта война не нужна. Почему Временное правительство отказывается не только расторгнуть тайные грабительские договора, но даже опубликовать их? Значит, договора, заключённые царской шайкой, остаются в силе — и мы воюем ради них? А между тем — там заключён план разделения Китая между Францией, Англией и Россией.

Закричали:

— Откуда вы это знаете?

— Фантазия!

А с тем и взорвана бомба: пойдй проверь! Ищи проверь! На волне взрыва Ленин говорил увереннее:

— Разделение Китая! Мне точно известно. А поэтому будут только затягивать войну. Ни с каким капиталистическим правительством нам закончить войну не удастся.

— А как вы предлагаете??

— Война может быть закончена только рабочей революцией во всём мире, и к этой революции мы призываем. Мы никогда не говорили, что войну можно кончить сразу или даже односторонне, воткнуть штык в землю, когда противник наступает. Мы не призывали сложить оружие и разойтись по домам. Войну можно кончить только путём перехода всей государственной власти в руки класса, действительно не заинтересованного в охране прибылей капиталистов. В руки Совета депутатов. Мы ещё в 1915 году говорили, что, если во время войны власть перейдёт к рабочим, — мы будем стремиться к окончанию войны.

— Ну а всё-таки — к а к ? — раздражающий крик.

Ленин не дрогнул:

— Одним из способов ликвидации войны является систематическое братание на фронте. Русские и германские рабочие и крестьяне в серых солдатских шинелях могут, по взаимному уговору, сделать дальнейшее продолжение войны невозможным. И братание — уже началось! И не только на нашем фронте. Нужна немедленная, энергичная, всесторонняя и безусловная помощь с нашей стороны — братанию солдат на *всех* фронтах. Такое братание — уже началось: давайте ему помогать!

Где началось? Как помогать?? А он гнал дальше:

— Скоро и в Германии большинство будет на нашей стороне.

— А если не будет??

— Наши идеи в Германии проповедовал Карл Либкнехт, и вот он сидит на каторге. Он — единственный представитель истинного социализма, остальные социалисты, к сожалению, на стороне Вильгельма.

— Так ничего и не будет??

Уверенно знал и тут:

— Если в России власть будет в руках Совета депутатов, а в Германии не произойдёт революции, свергающей Вильгельма, — вот тогда будем крепче держать винтовку против врагов нашей революции! Вот тогда мы согласны на революционную войну против капиталистов любой страны! И мы закончим её всемирной революцией, без грабежа земель и удушения народностей!

И по какому-то его знаку большевики поняли, что он кончил, и стали бешено аплодировать и топать ногами, этим очень отделяясь ото всего зала.

И Ленин уже уходил с трибуны, но председатель задержал его: тут поступили записки с вопросами. «Почему вы укрепляете единство Германии?»

— Мы не только не помогаем сохранять единство Германии, но разрушаем его, раскалывая немецких социалистов. А в России — да, мы разрушаем «внутреннее единство» рабочих с капиталистами. И пусть они сажают нас в каторжные тюрьмы, подражая Николаю II и капиталистической Англии!

«Почему вы призываете к гражданской войне?»

— Ничего подобного, — изумился Ленин. — Ни к какой гражданской войне я не призывал, а к терпеливому разъяснению добросовестным оборонцам.

«Проповедывали ли вы свои взгляды также и в Германии? Вы бы поехали со своими речами в Германию».

— Мы и печатали, и рассылали эти взгляды по Германии.

«Почему отвоение Курляндии вы называете аннексией?»

— Потому что если мы будем отвоёвывать назад Курляндию, то немцы захотят отвоёвывать свои колонии и война фактически никогда не кончится. А пусть каждый народ решит, под властью какого государства он хочет быть. Организуйте в Курляндии совет рабочих и солдатских депутатов, и пусть он сам решит, чего хочет народ Курляндии.

Смелись.

Ленин уменьшился в росте и спешил уйти с трибуны. Ещё огласили: «Почему вы призываете к ограблению банков?» — но уже он не возвратился отвечать.

Станкевич считал, что Ленин ничего не выиграл, — но хотелось и надо бы ему сейчас ответить. Однако прежде него — на трибуну взлетел оказавшийся тут — нервный Либер, темнобородый гном, «бундовский Демосфен» звали его свои, — и сразу заговорил быстро и страстно, так отличаясь от ленинского нудного вещания:

— Товарищ Ленин не учёл настроения всей сплочённой русской демократии, и его группа остаётся в меньшинстве. Мало говорить о пожеланиях — надо ставить вопрос так, чтобы осуществить их без гражданской войны, к которой ведёт агитация Ленина. Чего требует Ленин? Вся земля, говорит он, должна быть передана

в руки народа. Совершенно верно, то же самое говорят и другие политические партии. Но вождь большевиков говорит крестьянам: «Идите и забирайте эту землю немедленно». Вот против этого мы протестуем, вот эту агитацию мы и считаем опасной и вредной. Он ведь сказал, что землю придётся отнять и у значительного числа крестьян-отрубников. Так разве он этим не призывает к гражданской войне? Да состоятельные крестьяне будут держаться за землю ещё покрепче помещиков. Звать при таких условиях на бой, не подсчитав своих сил, — значит повторить ошибки Пятого года. В том-то и ужас, что его требования не сообразуются с условиями момента и реальными возможностями. Очень приятен лозунг «экспроприация всего у буржуазии», но не значит ли это ринуться в бой, не рассчитав сил? Буржуазия ещё достаточно сильна. И может быть, большая часть населения захочет возвращения к старому строю. Мы не сомневаемся в честности Ленина, но его агитация расцветает как удар по революции — вот почему Исполнительный Комитет находит агитацию Ленина вредной.

Ленин послушал начало этого пренаглого выступления — и, усмехаясь, проталкивался на выход. Надо, надо перенести удар со Стеклова на Либера, Стеклов ещё не потерял для революции, мог бы стать и нашим.

А в общем, речь удалась: уже мы не пугалы, не анархисты, не контрреволюционеры и не сторонники сепаратного мира.

Да, пожалуй, сроки до победы будут более длительны.

За Лениным выходили и большевики. Потянулись и солдаты, ещё с вопросами: как он относится к отправке маршевых рот на фронт?..

Горячий вопрос.

— С этим вопросом незнаком, товарищи, не могу сказать.

Скорей в автомобиль.

ДОКУМЕНТЫ — 12

17 апреля

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В БЕРНЕ РОМБЕРГ —
РЕЙХСКАНЦЛЕРУ БЕТМАНУ-ГОЛЬВЕГУ

Совершенно секретно

Г-н Платтен, сопровождавший Ленина и его сторонников через Германию, посетил меня сегодня, чтобы поблагодарить от имени русских за оказанные услуги. Ленину был оказан прекрасный приём его последователя-

ми. Вполне можно сказать, что за Лениным идёт три четверти петербургских рабочих. Трудней пропаганда среди солдат, среди которых сложилось мнение, что мы собираемся наступать. Может быть, достаточно будет заманить социалистами отдельных членов Временного правительства, таких как Милюков и Гучков. Во всех случаях настоятельно необходимо увеличить число сторонников мира притоком из-за границы. Поэтому усиленно рекомендую: тем эмигрантам, которые готовы к отъезду, предоставить те же облегчения, как и Ленину с товарищами. Требуется тем более величайшая поспешность, что можно опасаться: Антанта окажет давление на швейцарское правительство, чтобы оно помешало их отъезду.

Эмигрантам очень не хватает средств на пропаганду. Собранные для них фонды большей частью попали в руки социал-патриотов. Я здесь поручил доверенному лицу выяснить деликатный вопрос, можно ли снабжать их средствами, не оскорбляя их.

34

С тех пор как Гучков воротился больным из поездки на юг, он ещё ни одного дня и здоров не был. Первые три дня — лежал, и принимал сотрудников в постели. Вчера как будто лучше, встал, принимал и посторонних. Но — не военные делегации, которые всё приезжали неумоимо со всего фронта, и нельзя остановить, толчая в передней довмина, и Мойка запружена перед домом автомобилями и людьми, — устал он уже от этих делегаций, устал слушать и говорить одно и то же. И нехорошо, конечно: делегации эти все горды, что привезли в столицу свою преданность, а военный министр в ответ не находит силы и на несколько любезных слов.

Сегодня день уже расписан для всего делового, как здоровому. А с утра проснулся — с сердцем опять хуже, такая слабость. Несколько часов перележал. Но расписание надо выполнять. Поднялся.

Ещё ж — и флот на нём! Как он мог полтора месяца назад так уверенно взять ещё и морское министерство? Тогда казалось — заодно, всё сходно. А — неохватно. Надо было назначить сильного адмирала помощником по морскому министерству, он бы всё и вёл практически. Но Непенина убили. Поставить бы Колчака? — но Колчак отлично справляется в Черноморском флоте, нельзя его трогать оттуда. А больше... а больше не находил Гучков настоящего кандидата, да не знал он адмиралов хорошо. Назначил Кедрова,

с Рижского залива. Но морские дела то и дело доплывали до министра. Тут, под боком, этот лукавый и глупый Максимов разваливал Балтийский флот — и не было рук спасти. Уволишь его — а он приведёт флот на Петроград. (И ещё, чтоб задобрить, пришлось повысить ему годовое жалованье, и даже за прошлое, от дней переворота.) На судах распоряжались уже не командиры, а комитеты. Вакханалия отводов офицеров за «контрреволюционность», за «несочувствие революции», — а куда девать этих офицеров, уволенных командами? — им тоже не наберёшь штабных и сухопутных должностей, да невидимо развелось и береговых комитетов, и эти тоже увольняют, изгоняют. В Петрограде чинам флота и морского ведомства разрешили вне службы носить штатское платье, чтобы лишне не дразнить толпу: морская офицерская форма почему-то бесит её. И Максимов доложил, как он думал, очень хитрый проект: чтобы морских погонов больше не рвали — вообще отменить погоны во флоте, слишком напоминают старый режим. Гучков сперва возмутился, потом подумал: неплохо, только надо иначе аргументировать: во флотах республиканских стран погонов нет, а только галуны. Введём так и мы. Морские штабисты разработали подробно — кому какие именно галуны, сколько, с завитками или нет, а середину прежней кокарды сделать красной. (Самое время для воюющей России заниматься перекраской военной формы...) И как раз сегодня, едва встав из постели, Гучков первое что сделал — подписал приказ об отмене морских погонов.

А как следующее первоочередное лежал на подпись приказ о переименовании балтийских линейных кораблей, вроде того что: «Император Николай I» — в «Демократию», «Император Павел I» — в «Республику»...

Пока Гучков ездил на юг, тут без него Керенский уже предлагал делить военное и морское министерство — и министры «признали желательным». И хотя Гучков взбесился, что этот вертунчик и тут лезет во всё, — а со вздохом надо признать, что два министерства — не потянуть, да.

Одно военное — подкладывало и подкладывало бумаг, выше его сил. Вот, долго готовили, недавно казалось самое необходимое для расчёта со старым режимом, а сегодня уже реликт, только чтоб угодить левым: в помощь Чрезвычайной Следственной Комиссии создать ещё две особых, сухопутную и морскую, по расследованию злоупотреблений в снабжении, вооружении и поддержании бое-

вой мощи, — то есть раскопать «корни сухомлиновщины». И этим комиссиям дать право (дух демократии) начинать следствия по заявлениям частных лиц. (Будут доносчики лезть.) Ещё недавно война с сухомлиновщиной так завлекала и самого Гучкова. А сейчас — по инерции текли бумаги, по инерции он и подписывал их. (Да в каждую такую комиссию теперь приходится — невыносимо! — включать и представителей Совета. Что они там будут вынюхивать и придираются?!)

Вообще в жизни несвойственна была Гучкову инерция бездействия или нерешительности. Но вот он с тревогой стал замечать за собой это странное: что поддаётся именно инерции: течёт само — и течёт, не вмешиваться без крайней необходимости.

Вот — разрабатывалось сокращение жалованья генералам и высшим офицерам — срезать разные «фуражные», «порционные». Ну что ж, это, очевидно, справедливо, в духе демократического времени. Но и в цвете же его требуют вот: всех членов всех советов уже не одна сотня, в губернских городах и уездных, и членов у них ничем не ограничено, выбирают сколько хотят, — всех их освободить от военной службы! Или: сборная команда писарей военно-судного управления требует от Командующего округом немедленно арестовать таких-то офицеров как приверженцев старого режима, а затем — назначить и расследование. И Командующий, посоветовавшись с министром, тихо от греха увольняет этих офицеров, — так в «Известиях» длинное кляузное письмо: почему их уволили с пенсией? А комитет одного стрелкового полка указал министру, что он не должен брать адъютантом такого-то капитана, потому что тот до революции был сотрудником правой газеты «Россия».

А что надо делать с облагевшими военнопленными? — они бастуют, требуют себе всех демократических свобод — и левые поддерживают их в духе Интернационала. А по-верному: вот как приняли в марте репрессии к питанию германских офицеров у нас — так сразу же Германия отозвалась, что готова открыть нашим военнопленным получение продуктов из Копенгагена. Вот так и действовать.

Но чем ни займись — хоть раскрытостью военной тайны в газетах: пропечатываются точные названия частей, идущих на фронт, и точные составы делегаций от точных частей, — чем ни займись, всё кажется: не это главное, главное — неотвратимо утекает, и не успеваешь его восстановить.

Дезертирство!? Наверно, оно главное. Если каждый желающий солдат может безнаказанно уехать с фронта — то какая ещё война? чем заниматься военному министру?

Да это — и не дезертирство вовсе, крестьяне-солдаты не от войны бегут, а в массовый отпуск — успеть домой к разделу земли. Больше всех и виновато само Временное правительство: что не имело в голове ясного решения, как же именно будет с землёй, а потому не заявило об этом чётко в первые же дни, никакого бы дезертирства и не было. В первые дни — но и в следующие дни — никакая ясность не появлялась, всё — до Учредительного Собрания. И когда Гучков публиковал своё воззвание о дезертирстве, то и он ничего не мог объяснить точно, а только: «ждите терпеливо», да о защите Родины, одни уговоры.

А потом пустили, от властей, слух: кто уйдёт из армии — тот и не получит земли. И дезертирство сразу уменьшилось. И даже стали возвращаться на фронт немало. Так что, может быть, дело не потеряно.

А между тем под боком у министра своя же поливановская комиссия промолачивает и прокручивает (и тормозит), но неотвратимо же к выходу: «Положение о комитетах» и «Декларацию прав солдата». Первая в мировой истории конституция армии. И — кто будет в этих комитетах? Кто грамотен в армии, кроме офицеров? Писари, фельдшеры да солдаты-евреи. Евреев — можно понять: они в эту революцию влились за свои права. А русские — просто своё государство разваливают, не щадя.

Вдруг — телеграмма из Новочеркасска от донского съезда: приветствуем военного министра, готовы защищать Временное правительство от всяких попыток ограничить его власть!

Так и колебалось Гучкова все эти недели: между надеждами и крушением надежд, между эйфорией и отчаянием. Всего полтора месяца назад он долгожданно рисовался себе умным волевым вождём русской армии и флота, окружённым плеядой умно подобранных решительных, блистательных офицеров. И вот — высился над армией безсилой сползающей верхушкой, и ничего не мог управить без Совета рабочих депутатов, — да каких там, к чёрту, рабочих, там не рабочие верховодят.

И как ни мерзко было Гучкову, как ни зарекался он не иметь больше дела никогда с этой сволочью — но именно на сегодня, вторую половину дня, он пригласил их головку к себе в довмин на

разговор. И теперь, по воротившейся сердечной слабости, надо бы отменить — но уже неудобно, и из гордости, — пусть идут.

Никогда не бывал он на ночных заседаниях министров с их «контактной комиссией», — знал, что этим бесит советских, что именно его они хотят видеть, именно к нему их претензии, — так вот и не увидят. Гучков всё хранил унижение, испытанное во встрече с их делегатами здесь, в довмине, 6 марта. Разъезжая хозяином всех фронтов, он, кажется, ушёл от них навсегда на несравнимую высоту. Нет, с той горы, по всеобщей слякоти, он безпомощно сполз на заднем месте — снова к ним, на вторую встречу. И постыдно узнавал, что хозяином России — и уже тираническим — были, кажется, они, а министры — только приказчики, куда погонят.

Настороженные глазища и уши Совета-чудовища («чудище озорно, стозебно и лаяй»), оказывается, зорко ворочались вслед его всем перемещениям и ловили каждый жест и каждое слово, недостаточно взвешенно сказанное на переходящих митингах. Обронил в Киеве, что Учредительное Собрание скорей всего соберётся только после войны (да по всему же так видно), — опровержительная публикация Совета! (Верят ли сами тому, дураки?) Произнёс в Яссах, что цель войны — разгром Австрии и Германии, чтоб они 20-30 лет не помышляли о новом вооружённом нападении, — оглушительные возражения: империалист! Да они на своём мартовском всероссийском совещании — куда остервенели, кричали: чтобы контроль Совета «ударом молота подкрепил желания революционного народа»! *Вызвать* Временное правительство для объяснений! И — чуть-чуть, за малым, не вызвали. (И наши бы ничтожества поплелись?..)

И — какой же смысл встречаться с этими мерзавцами на равных?

А — не избежать.

На сегодня пригласил к себе Гучков — всю «контактную комиссию» плюс нескольких членов Военной комиссии.

Надел полувоенный китель для встречи.

С отвращением представлял, как будет возвышаться над ними дебелая фигура Нахамкиса. И с радостью увидел, что возвышался не он, а изящный интеллигентный грузин, которого не бывало раньше, — Церетели. Председатель их Чхеидзе — не удостоил прийти. Зато на месте был самодовольный болтун Скобелев. (По-

неволе стал Гучков различать их фамилии и разбираться.) Не было того суматошного дурака, адвоката Соколова. Но — не было и разумного Гвоздева. Вместо прежнего утрюмого моряка-лейтенанта — тоже хмуроватый, но интеллигентный поручик — Станкевич. На месте был и заранее как бы припрыгивал для следующих вопросов и возражений — блоха Гиммер. А вот же ещё кто — «солдатские» члены — Венгеров (переводчик такой был Шекспира, ему родственник?) и Бинасик — писари, конечно, оба. (Вспомнил, докладывали: это Венгеров сказал на советском совещании, что гучковский приказ № 114 — *ничто*.)

От Военной комиссии пришли свои — но в предстоящем диалоге невлиятельны они были помочь.

А вот эти советские внезапно обрели над Россией всю власть. Почему — они? За какие заслуги?

Но если был у разговора смысл — то обратиться к ним, как *если бы* они любили родину. Поговорить откровенно, честно: вот станьте на моё место и посмотрите отсюда. Можно ли вести войну, допустив вот *такую* роль армейских комитетов? вот *такие* речи советов?.. — что мы не будем наступать ни шагу?

Первый, конечно, выскочил Гиммер, держал себя как главный контролёр над армией и правительством. Но даже и великодушно: о да, понятное заблуждение: политические цели войны — не производить захватов, смешиваются с военно-техническими — можно ли шагнуть вперёд окопа. Но да, конечно, объяснить эту разницу тёмным массам до невероятности трудно, они плохо усваивают.

Но именно вы, господа, и внесли эти смутные цели в эти тёмные массы. Надо же как-то отыгрывать теперь.

Отыгрывать — они не хотели.

— Господа, это и во всех войнах так: всё идёт прекрасно, пока кем-то не брошено опрометчивое слово «мир». И — сразу все начинают полагаться на мир, и в армии наступает паралич. Надо — переставать говорить вслух о мире!

Но они — уже не могли перестать. Это была — их единственная форма политического существования.

— Мы — за мир, — объявил маленький Гиммер, для большей важности заложив ногу за ногу, однако сбивая важность быстротой речи, — но мы и против дезорганизации обороны. К миру мы будем переходить организованным путём.

Оно и видно.

А Церетели и Станкевич смотрели на министра очень серьезно. И весьма искренно подтвердили то же.

— Тогда, господа! — взмолился Гучков. — Зачем же вы делаете всё, чтобы развалить армию?

Но они этого не понимали?

— Демократическая армия будет ещё крепче и надёжней.

— Но ведь работает поливановская комиссия. Мы сделали всё для изменения армейского быта. Чего вы от нас хотите ещё?

О-о! оказывается, многого. Вся инициатива разговора теперь перекинулась к Венгерову и Бинасику. Оказывается, на советском совещании они делали главные доклады: о правах и быте солдат, и об армейских организациях. Оказывается, уже разработано до подробностей и уже единогласно проголосовано депутатами. Армия наша, конечно, впредь не будет армией постоянной службы, но — демократическая. Главное для солдат — пользование свободой слова, печати, союзов, собраний. Немедленно отменить всякое принуждение к общей молитве. Побег со службы, неисполнение воинских приказов? — не должны разбираться особыми военными судами, но обычными гражданскими, на основе общих прав человека. И не может быть в армии никаких дисциплинарных наказаний или штрафованных состояний, ибо солдаты — полноправные граждане. И никаких «часов» увольнения из казармы или увольнительных списков — но если свободен от нарядов, то и может уходить в штатском платье, и с ночлегом вне. И мало, что прекратилось одание чести, — должна быть отменена и рабская привычка командовать «смирно» при входе командира. И должны быть отменены привилегии унтер-офицеров, фельдфебелей, подпрапорщиков: отныне все категории солдат равны!

Скорей надо было удивляться тому, что в этом бреде ещё оставались трезвые нотки: офицеры на фронте не подлежат переизбранию. (Но где выборы офицеров уже произошли — пусть остаются в силе... И за солдатами сохраняется право *отвода* неугодных им офицеров.) И на фронте, условно и временно, можно оставить денщиков (правда, только с согласия ротных комитетов).

А теперь — о комитетах в армии. Они должны пользоваться правами *правительственной власти* и выносить постановления, обязательные для своей части. Да, армия не может быть боеспособна при двоевластии — и *поэтому*: вся власть должна быть у комитетов.

Эх, не послушался Крымова в марте. А — разогнать бы их ещё тогда, пока не разгрозились.

С последней тоской смотрел Гучков на тонкие лица Церетели и Станкевича. На них — было сочувствие. С этими, с такими из них — можно было бы сговориться. Но ведь все они, все они подвластны единогласному решению своего Сопения. И последнее средство — *просить* у них помощи — тоже бесполезно.

Так Гучков и предвидел.

И последним аргументом, даже не для фигуры, а вполне серьёзно:

— Уйти? Господа, я готов уйти по первому вашему слову. Я с радостью уступлю вам место — если только вы берётесь спасти русскую армию! Я пойду в адъютанты, в канцеляристы к любому другому военному министру, отдам все силы и знания — но пусть он спасёт русскую армию!

А?

Смотрел на всех, на все лица.

И ничего не дождался.

Ушли. И стало опять плохо Гучкову.

О каждом историческом моменте мы легко можем впоследствии рассудить, как правильно было поступить. И лишь единственно в происходящем сейчас — никак не увидишь правильного пути.

Не обедал, ничего в рот не взял, а лежал полтора часа до вечернего сбора министров, тут же, у него в дощине. Конечно, министры тяготеют, что приходится им заседать тут из-за его болезни. Самый мужественный из них, единственный боец, — он стал для них обузой. На их заседания в Мариинский он почти и не ездил, а то ещё фронтальные поездки, так вместо себя посылал Новицкого. (Что ж ехать? — они там на Совете министров сочиняют карту за перепродажу железнодорожных билетов и плацкарт...) Привыкли и они игнорировать его, мелкие постановления по военному ведомству принимали, не спрашивая его согласия. Они всё надеются на моральные силы революции: что — удержат в берегах. Смешно? Но на что другое, правда, остаётся и надеяться? Проявить твёрдость, прибегнуть к репрессиям? Для того не осталось на местах никакой власти, ни полиции, ни послушных воинских частей. И, пока петроградский Совет постепенно реорганизовался, вот, во всероссийский, — всероссийское Временное правительство всё больше становилось лишь петроградским, висло без

опоры. Посоветовал им Гучков — срочно собрать снова Думу, опереться на законодательное учреждение. Шингарёв отмахнулся: «Вы просто не знаете состава Четвёртой Думы. Если б надо было отслужить молебен или панихиду — то для этого можно было б её собрать. Но на законодательную работу она не способна». Львов даже забрал из Думы утонувшие там старые законопроекты — решить их самим. А Некрасов мотался выступать с речами не намного меньше Керенского (и в каждом выступлении особенно распинаясь перед толпой, что не висит никакое «двоевластие», полное доверие с Советом, голосом народной совести, ничто нас с ним не разъединяет, а именно от самодержавной полноты власти Временное правительство добровольно ограничивает себя контролем Совета, и так создаётся равнодействующая народного мнения).

Так получалось, что ни на кого в правительстве не хотелось уже и смотреть.

Но сегодня неизбежно было собраться всем до единого: обсуждался текст ноты союзникам.

И в том же просторном кабинете министра с окнами и балконом на Мойку, где когда-то сиживал Сухомлинов, а только что рассиживались советские депутаты, — вот собирались министры, и Гучков протягивал входящим руку для слабого рукопожатия. Извинялся, что в домашнем. Полуотлёг в покойное кресло — и думал бы заседание промолчать, просидеть без слова: чёрт и с вами, чёрт и с вашей нотой.

Милюков расселся напыженный, в парадном костюме.

Но пока ещё не все собрались — зашёл разговор о Ленине, и Гучков не мог удержаться (болезнь болезнью, но дело жжёт!): так будем Ленина укорачивать? надо же что-то делать!

И — мягким говорком Львова отвечено было ему, как у них уже сложилось, обдуманно: ни в коем случае. Правительство не должно ускорять событий с Лениным, чтобы не вызвать столкновений, а то и, не дай бог, гражданскую войну. Правительство и дальше будет держаться выжидательной позиции и предпочитает, чтобы инициатива выступлений против Ленина изошла от самого народа, когда он разгадает ложность ленинской пропаганды.

И — не стал Гучков спорить. Смежил веки.

Он вот что думал о князе Львове: куда подевался его «американизм», хозяйственная деловитость, схватчивость, которыми же он и выдвинулся в Земсоюзе? Всё залил теперь благодушный фата-

лизм — и часто даже на заседании его взгляд отрывался куда-то в даль, и он мечтательно улыбался той дали. От земского Львова осталась только манера не считать разбрасываемых казённых миллионов. (Свою-то собственную он каждую копейку считал.)

Милюков торжественно читал ноту. Керенский с компанией требовательно придирались, — а Милюков непреклонно отстаивал. Торговались. А Гучков — всё время молчал. Да и другие-то молчали. Ничего такого нового, особенного, в этой ноте не было.

Щурился Гучков на Милюкова и думал: чужая каменная душа. Ведь вот — понимает же он государственные интересы России, но с какой-то внешней позиции. И ничего не хочется делать с ним заодно, хотя обстоятельства так и загоняют их в содружество: вместе их поносит Совет, общие у них враги и вне и внутри правительства, — а союза между ними, и даже простой откровенности, никак не возникает. Непереходимая издавняя чуждость. Западный профессор. Даже водки с ним выпить не хочется.

Да ведь Россия всегда сверкала множеством талантливых людей — и куда ж они все делись? Как же затесался боец Гучков среди растяп и ничтожеств? За эти полтора месяца он отчислил полтора десятка бездарных генералов и высших начальствующих лиц и только и делал, что выдвигал талантливых.

И — никого вокруг. Одинок.

Да всю жизнь, сколько он помнил себя, — вокруг было оживлённо, многолюдно и цвело ожиданием лучшего будущего. А вот — как будто забрёл в мёртвые солончаки. Жуть берёт: никого не видно, никому не крикнешь — и ночь застигнет тут?

*РОДИШЬСЯ В ЧИСТОМ ПОЛЕ,
А УМИРАЕШЬ В ТЁМНОМ ЛЕСЕ*

35

(Фрагменты народоправства — железные дороги)

* * *

Массы солдат не хотят ехать в медленных воинских поездах, а штурмуют пассажирские. Или заставляют гнать свой воинский поезд, останавливая прочее движение на линии.

Все узловые станции загромождены дезертирами. (Многие — спешат на «раздел земли».) Слоняются, грызут семечки, шелухой покрыты платформы и полы станций. Прибывает пассажирский поезд — заставляют всех пассажиров выходить, а начальника станции — пускать поезд в их направлении.

* * *

На ст. Черноводская Закавказской ж-д солдаты из эшелона № 13, недовольные тем, что их обогнал эшелон № 11, — угрозой расправы заставили дежурного по станции дать депешу вперёд по линии: задержать поезд № 11, пока не пройдёт № 13.

На ст. Глубокая заставили задержать батумский пассажирский и отправили вперёд свой.

На ст. Веймарн Балтийской ж-д команда матросов и эшелон солдат спорили, кому ехать первыми. Вступили в драку. Избили и начальника станции.

* * *

В час ночи на ст. Великокняжескую пришёл воинский поезд. Едущие с ним отпускные солдаты потребовали, для лучшей скорости своего поезда, отцепить 12 груженных вагонов с неначинёнными бомбами. Дежурный по станции пытался их увещать — угрожали убить его и разбить вокзал. Час не давали никому работать, пришлось отцепить.

* * *

Начальник станции Симбирск телеграфировал в Петроград в Военный округ и в Совет рабочих депутатов: «Всеми товарными и пассажирскими поездами едут солдаты. Требуют немедленной отправки, не считаясь, что идут встречные вагоны с продовольствием. Вагоны с продовольствием стоят на станциях неделями, солдаты не дают делать прицепки для их следования».

На ст. Балашов ж-д служащие отказались работать, пока солдаты будут мешать правильному движению поездов.

* * *

На ст. Ярыженская солдаты стащили машиниста с паровоза — и только заступа присутствующих удержала от дальнейшей расправы.

На ст. Алатырь солдаты силой заставили машиниста ехать без жезла на занятый однопутный перегон, где ожидался встречный поезд.

Министр Некрасов публично упомянул, что такие случаи *бывают* и только случайно поезда не сталкивались.

* * *

В запёртый пассажирский вагон не пускают: «Служебный, едут депутаты Государственной Думы». — «Чего на них смотреть, бей!» Разбивают дверь прикладом.

Солдаты без билетов переполняют пассажирские вагоны, разбивают стёкла, лезут в окна, и не только в 3-й класс и 2-й, уже и в нарядные вагоны 1-го. (Ещё уважают только коричневые с надписью «Международное общество спальных вагонов».) На бархатных сиденьях в купе с зеркальными раздвижными дверьми — солдатские шинели, матросские чёрные куртки. Крепкий запах сапог, а богатая сигара перерыта махорочным дымом. Брезгливо морщится дама в шёлковом платье, а с верхней полки над ней свешиваются огромные рыжие сапоги.

Кажется — больше втесниться некуда, но на остановках снова впирает поток людей, в двери и в окна, по плечам, по головам, кто почти висит, кто лезет вниз под скамейки. Забивают коридоры, уборные, тормозные тамбуры, никому никуда не пройти. И висят на подножках, и стоят на буферах — и как-то держатся, когда поезд несётся с откоса.

Вагоны переполнены до того, что сплюсчиваются рессоры, лопаются оси.

* * *

В поезде, идущем на восток, с Тулы уже трудно пролезть в коридорах вагонов, с Пензы — уже и на крышах некоторых вагонов едут солдаты, с Сызрани — уже и все крыши покрыты людьми. На Александровском мосту через Волгу прилегли — но кого-то задело и сбросило на мостовой настил.

* * *

Скорые поезда Москва — Ростов забиты солдатами. Некоторые так и проводят время, катаясь взад и вперёд по линии.

На крыше — тоже сидят солдаты. Около ст. Лихая порывом ветра одного сорвало с места. Падая, он ухватился за соседей, потащил и их. Кучей в пять человек они свалились на полотно и все разбились насмерть.

И под Воронежем так погибло двое солдат.

* * *

На ст. Юрьев Северной ж-д солдаты унесли в свой вагон все приготовленные в буфете 1-го класса кушанья, с приборами и сервировкой. А в 3-м классе поломали мебель.

На ст. Жмеринка солдаты изрубили шашками четырёх вагонных воров.

* * *

До революции, несмотря на войну, пассажирские билеты продавались повсюду без ограничения. Теперь, по распоряжению министра Некрасова, учреждаются на всех крупных станциях билетные комитеты — начальник станции, комендант и представитель комитета общественных организаций — для общего контроля за правильностью и порядком продажи. Такие же комитеты — и в городских кассах. У кого выезд по срочной нужде — ходатайствуют перед билетным комитетом. Носильщикам и комиссионерам билеты не продаются. (И всё равно везде началась спекуляция билетами.)

* * *

На Волге и Оке открылась навигация. Солдаты безобразят, как и на железных дорогах: садятся толпами по всем классам, дают пароходам направление, какое им угодно, реквизируют продовольственные грузы.

* * *

В Вологодском порту партия солдат в 50 человек захватила пароход, назначенный идти вверх по Сухоне к Кубенскому озеру, — не дала грузить и сажать пассажиров, а велела гнать судно вниз по Сухоне к Тотмю. А оттуда — к Устюгу.

* * *

На ст. Голышманово под Омском крестьяне нескольких отдалённых волостей, иногда больше чем за тысячу вёрст, привезли в марте по снежному пути 8400 пудов зерна «в дар Новой России». Сложили его временно в плохо закрытом помещении — но и до конца апреля не нашлось вагонов для отправки. И хлеб стал мокнуть и преть под весенними дождями.

* * *

На ст. Тафтиманово солдаты проходящего поезда пренебрегли заявлением начальника станции, что следующий перегон занят санитарным поездом. Велели и свой гнать туда же. «Закрыт семафор» — для солдат непонятные слова.

В Арзамасе толпа солдат заставила начальника станции выпустить по недостроенному пути паровоз с вагоном-теплушкой, куда солдаты и уселись. Разжиженное весенними водами полотно дороги осело, вагон

сошёл с рельсов и стал поперёк пути. Солдаты, поехали на паровозе дальше по испорченному пути, затем захватили дрезины и покатали на них.

* * *

На станционной платформе подле поезда стоит дед в лаптях и азяме, с тяжёлой корзиной в руках, не пытается и тискаться в поезд через эту драку. А солдаты лезут и на площадку и по междвагонным дужкам на крышу. Дед им:

— Ироды! Куды прёте? Россию погубите!

Смеются солдаты сверху:

— Расеи нам хватит, дед!

* * *

На ст. Грязи солдаты потребовали переоборудовать свой состав. Пока велись работы — к ним подошла беженка и пожаловалась на местного священника отца Богоявленского: что недодаёт пайков. Солдаты вызвали священника на станцию, сперва издевались над ним, потом избили до потери сознания. И он скончался.

* * *

На ст. Стакельна толпа солдат с остановившегося воинского поезда напала на начальника станции Щавинского и жестоко избила его за задержку поезда на 30 минут из-за скрепления поездов. Щавинский (в 1905 — глава забастовки псковского узла) скончался от побоев.

* * *

На ст. Тыловая Юго-Восточной ж-д партия проезжающих солдат не дала гасить пожар вагона с сеном, арестовала железнодорожного служащего, руководившего тушением. Окружила начальника станции, не давала и ему делать распоряжений, кричала: «Бей железнодорожников!»

ТЕМ ДОБРО, ЧТО ВСЕМ РАВНО

ДОКУМЕНТЫ — 13

18 апреля

ГЕРМАНСКАЯ СТАВКА — БЕРНСКОМУ ВОЕННОМУ АТТАШЕ ФОН БИСМАРКУ

Его превосходительство генерал Людендорф указывает, что через Германию будут пропущены только такие русские, которые не враждебны нам.

18 апреля

АТТАШЕ ФОН БИСМАРК — ГЕНЕРАЛУ ЛЮДЕНДОРФУ

Только такие русские будут отправлены, которые действуют в пользу мира.

36

И вдруг в субботу, 15-го, по всему образованному Петрограду пополз слух, что Милюков — уходит из правительства! И настолько это было ошеломительно и невероятно, что ни одна газета не посмела подхватить. Но и настолько же всё-таки широко, что «Новое время», нащупывая свою новую роль при новом режиме, на другой день напечатала решительное опровержение. (С намекающей оговоркой, однако, что в ближайшее время Временное правительство *обсудит вопрос о международных отношениях.*)

Дожил Павел Николаевич! — «Новое время» его поддерживает...

И откуда ж это потянуло? Да от Керенского конечно. И от его мутных дружков Терещенко-Некрасова. Может быть, и от болтуна Владимира Львова. Вечером 13-го Милюков только угрозил, что подаст в отставку, — и уже утром 15-го болтает весь Петроград. И чего стоят эти министры? И чего стоит это всё правительство?

Да самой тяжёлой частью министерствования и было для Павла Николаевича — изнурительное сидение на ежедневных (а то ещё и ежевечерних) заседаниях Совета министров. Такую интересную достройку своего кабинета он вёл — создание экономического и правового департаментов (а никого в министерстве не сменял с постов, ценя заведенную традицию, и Нератов оставался главной работающей силой), важнейшие и осмысленные переговоры с послами, — нет, ото всего этого надо было отрываться, и приезжать сюда отсиживать часы и часы. (И кто серьёзно работал

у себя в министерстве — все приезжали вот так же, через силу.) Да все они, кроме Милюкова, занимались политикой внутренней, а требовались в конце войны поворотливость и смысл — в политике внешней. Вовремя не заняв правильной позиции, вовремя не захватив, не оговорив своей национальной доли, — потом не наверстаешь и годами работы всей страны.

Как будто разрабатывали важные проекты, вот просидели весь субботний вечер и ночь, — разбирали, вникали, утверждали по пунктам — как будто три важнейших закона: о правилах муниципальных выборов, об организации милиции и устройстве полковых судов. Но те суды были вынужденной и глупой демагогической мерой, муниципальные выборы не обещали состояться раньше конца лета, только милиция, действительно, уже припекала, потому что грабежами и безчинствами трясло и столицу и страну. Но как могла справиться та милиция, если всё соединённое Временное правительство вот уже второй месяц только и умело по каждому случаю выпускать Воззвание — умоляющее, а то и почти слезливое? Захватывают типографии, силой закрывают издания? — пусть пострадавшие жалуются в суд. На заводах арестовывают уже не только русский, но и иностранный технический персонал? Воззвание. И под каждым же воззванием, настаивал мягкий князь, должен подписаться каждый министр. А Некрасов придумал: всем депутатам всех местных советов оплачивать время заседаний как работу. И по управлению почт и телеграфов — оклады «усиленные» и «особо усиленные» (а телеграммы доставляют отвратительно). За Некрасовым сразу Коновалов, Керенский, Щепкин — стали просить по 10 и по 25 миллионов на повышение окладов, единовременные пособия и разные добавки в своём ведомстве. И — все сразу получали. И уже — становилось неудобно перед подчинёнными тому министру, который не выпросил добавки для своих. Так что пришлось и Милюкову просить. (И дали.) Потом, начиная с Коновалова, да даже и Львова, началось соревнование — добавлять число товарищей министра, и всем жирный оклад. У царских было по два товарища, а тут стали конфигурировать по три, по четыре, и даже по пять. А в начале апреля пришлось обсуждать: что Государственная Дума за штурмом правительства не успела утвердить бюджет 1917 года. И — как теперь угадать его границы? Если по прошлогоднему, то далеко-далеко не помещаемся, и думать нечего.

Но Милюков просиживал все эти дрязги с каменно-презрительным видом, не вмешиваясь, не споря. Во-первых, потому, что знал он хорошо: Россия — безмерно богата и нескоро, нескоро её растратишь. А во-вторых — всё это перекроется успехами армии и дипломатической игрой на полях зелёного сукна, — только бы Павлу Николаевичу не помешали провести эту игру как надо. И он — не возражал, не задевал, когда две пятых всех постановлений правительства были — учреждение всё новых и новых комитетов и междуведомственных комиссий, уже надстраиваемых в два-три этажа. И когда ждали чего-то и от министерства иностранных дел, то и он выдвигал: то посылку миссии в Соединённые Штаты по финансовым вопросам, то — представление греческому правительству, что по договору 1867 года приданое королевы эллинов не должно быть обращено в казну. (И это не самое тут было мелкое: попадало в протоколы и что некий свободный художник дарит Временному правительству небольшой участочек земли.)

А уж в полноте всё опасное неравновесие момента коллеги Милюкова не усваивали, не понимали, — только он один. На чашу разрушения начинал давить неожиданный веский груз — на заседаниях правительства о нём ещё не говорили серьёзно, а Милюков каждый день наблюдал за ним почти с ужасом, как он растёт и грузнеет: национальный развал Империи.

Уж не говоря о Польше. Хотя её непомерные претензии из подчинённого королевства сразу обратиться в великую державу, прихвата побольше русских земель, всегда коробили и скребли Милюкова, едва оставляя ему сохранить либеральное выражение физиономии, — по польскому вопросу он приготовился неизбежно уступать, уже не удержаться на автономии, как прежде стояло в кадетской программе, тут давили и симпатии союзников. Но Финляндия? — надо сказать, осыпанная и царскими льготами, им даже нет примера в истории государств, и она же возведенная в любимую статую всем Освободительным и революционным движением. Уж финны имели свободный промысел и торговлю по всей России, чего обратно не имели русские в Финляндии: русский врач, учитель, ремесленник терял там права своей деятельности, русские не имели и прав государственной службы, да даже меньше прав, чем любой иностранец, у которого была консульская защита. Оберегалась финская валюта, освобождены они были от русской воинской службы, русская полиция не имела на финской территории прав задержания и расследования — и всё это финны выставляли (а Освободительное движение не имело выбора не поддерживать) как насилие некультурного русского народа над свободолюбивым культур-

ным финским. Во время войны финская молодёжь вербовалась к немцам, взрывала наши мосты и склады вооружения, — и это тоже мы, с кислотой, рассматривали как союз с нашим Освободительным движением. Но сегодня?! Финляндия проявляла открытое недоверие к русской революции, финская печать призывает свой сенат самому расширить свои полномочия, невзирая на Временное правительство. Ещё во всём мире русский рубль или крепко стоит, или после революции поднялся — в Финляндии в первой он стал падать. Но ещё крайний вызов: Финляндия не переняла от России закона о еврейском равноправии, не дала евреям права жительства у себя, ни — свидетельствовать в суде, и даже сегодня высылала евреев — и никак не удавалось образумить.

Но Украина? Десятилетиями же русское Освободительное движение горячо поддерживало всякий украинский протест, не вникая в подробности и разбирательства, ибо считалось полезным всё, что раскачивает самодержавие. С первых же мартовских дней Временное правительство одобрило и преподавание на украинском языке, все меры восстановления культуры, стали даже уступать созданию отдельных украинских полков, хотя же это — развал Действующей армии. Но дальше быстро перекосилось. Собрание киевских юнкеров постановило, что все полки, стоящие на территории Украины, должны комплектоваться исключительно из украинцев и в киевском военном училище обучаться только украинцы, — это прямо в тылу Юго-Западного фронта! Уже звучало на митингах: не ждя Учредительного Собрания, созвать своё украинское Учредительное! И не Временное правительство посмело тому возразить, и не Брусилов, но киевский Совет рабочих и солдатских депутатов: нож в спину? распустим штыками!! Даже социал-демократы не признали за каждой национальностью, за каждой частью государства права отдельно себя устраивать. Грушевский, Винниченко пятились, извинялись. Но немногими днями спустя требования с Украины размахнулись ещё шире: территория будущей Украины потянется от Гродненской губернии и включая Кубань, только что пока не требуют Крым. А когда открылся десять дней назад украинский съезд в Киеве, то там уже требовали и южный берег Крыма. Их съезд колебался, не объявить ли себя Учредительным собранием Украины. Постановил создавать по всей Украине украинские легионы. И чтоб Украина была особо допущена на будущую мирную конференцию. А по слухам — уже послали делегатов на Дон, Кубань и Терек, сливаться с ними со всеми. Ещё не говорили прямо: только отделяться! — но и Милюков не ученик в политике. И когда же этот украинский сепаратизм успел вырасти? — общественность и не заметила. Мы от души поддерживали их культурную автономию — а они выросли вот какими? И такое сотрясение — во время войны, не ожидая часа??

Да что! Местной автономии требуют эстонцы, иркутские и забайкальские буряты, молдаване, латыши, грузины, литовцы, крымские татары, хивинцы, бухарцы. Только, кажется, армяне единодушно решили не выступать с национальными лозунгами. Чечены в Грозном готовят

съезд вместе с казаками — что там объявят? Казанские татары настаивают: создавать отдельные мусульманские полки. В Астрахани образовался центральный калмыцкий комитет. Создан Туркестанский комитет и — Закавказский (в тылу фронта, не спросясь. Ставка и правительство узнали из газет). И все сразу — на расширение территорий. Литовцы обозначили свои губернии с избытком против поляков. Зайсанские киргизы хотят удалять русских из степей, отбирать землю у переселенцев. Грузинские национал-демократы требуют удалять из Грузии всех пришельцев. Но, пожалуй, более всего потрясло Милюкова, что и в Иркутске уже выработали готовую сибирскую конституцию: мол, сибиряки — это отдельный культурный тип, уклад их отличен от русских, экономически они в противоречии с Россией, эксплуатирующей их богатства и территорию, закрыть переселение в Сибирь, объявить автономной областью со своим законодательством, создать свою исполнительную власть. Оставить русскому правительству только войну-мир-договоры, монету-почту-телеграф.

Ничего подобного не предвидели от падения самодержавия лучшие умы Освободительного движения, и Милюков среди них — тоже.

Однако — тактичность и выдержка. Нельзя ни печатно, ни публично выразить своё негодование: такое время, что будет принято как зажим свободы.

Своим высокоразвитым государственным сознанием Милюков понимал, что сейчас этот процесс развала может остановить только победа России в войне. А потому верность союзникам была сейчас не только долгом чести для России, но расчётом государственного спасения.

Неожиданно и невидимо — мантия имперского наследия тяжело осенила плечи либерального профессора Милюкова.

Но ничего этого не понимали — ни члены правительства, ни тем более в Исполнительном Комитете, ни тем более оголтелые приехавшие западные социалисты. И от Милюкова требовали и ждали: ноту! ноту! ноту союзникам о задачах войны! И услужливая «семёрка» министров уже пообещала Исполкому такую ноту.

*Motu proprio** — Милюков такую ноту ни за что бы не послал. Но вот видно: не уклониться.

Однако ещё никто легко не клал Милюкова на лопатки, крепость стояния у него была выше сравнений. Писать теперь принципиально новую ноту — он отказался. Самое большее — это по-

* По собственному побуждению (лат.).

слать союзникам ту декларацию 27 марта (до сих пор они не обязаны были её знать), — ну, и с нотой сопроводительной. Но даже и такую ноту — без каузального основания не пошлешь. Ну, можно придумать такой повод (для целей Милюкова удобный): вот распространились слухи, что Россия готова заключить сепаратный мир, так мы вот...

Министры согласились.

Но предстояло и их на этой ноте провести, не говоря уже о советских. А союзников, напротив, заверить в нашей твёрдости, гарантировать войну до полной победы.

Итак, начать с опровержения сепаратного мира. Ничего, конечно, подобного. Рассылаемое при сём воззвание 27 марта ясно показывает, что взгляд Временного правительства вполне соответствует тем высоким идеям, которые постоянно высказывались выдающимися деятелями союзных стран, и особенно ярко — президентом Великой Заатлантической республики.

Для союзников-то — очень ясно: наш взгляд не отличается от вашего. Но — слишком ясно и для Совета. Нет, тут надо уравновесить демократическими лозунгами: освободительный характер войны... мирное сожительство народов... Это — всем приятно и никому не мешает.

И полезно ещё раз боднуть правительство старого режима, которое не было бы в состоянии усвоить и разделить эти мысли. Но — Россия освобождённая сможет в настоящее время заговорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества.

(Однако — попробуй этим языком заговори...)

...А поэтому — Россия спешит присоединить свой голос к голосам своих союзников.

И как будто бы — ясный намёк? А пойдя придерись.

Нет, намёк недостаточно определён. Ни Бьюкенен, ни Палеолог не останутся довольны. И Лондон и Париж хотят слышать весомое, точное, несомненное обязательство. Но как его выразить перед разъярённой мордой Совета?

...Разумеется, заявления Временного Правительства не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлечёт за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе...

(Вот это, кажется, удалось! Дело не в нашем правительстве, пусть империалистическом, но сам народ того хочет — победы!)

...Всенародное стремление довести Мировую войну до решительной победы лишь усилилось от переворота... И особенно оно сосредоточено на близкой и понятной для всех задаче — отразить врага, вторгшегося в пределы нашей родины... Борьба стала общепонятной...

Ответственность, разложенная на всех. Отлично.

Но, увы, этого мало. И Ллойд Джордж, и Клемансо, и теперь уже Вильсон со своих демократических вершин безжалостно пытались Милюкова огненными взорами: мало! Надо — отчётливо! Вы — остаётесь ли верны союзным обязательствам?

И весь разум, весь смысл — навстречу: конечно же! да! неужели вы не верите в нашу демократию?

Но перо — отяжелело фунтов на двадцать, двумя руками не проведёшь его вертикально.

...Временное Правительство, ограждая права нашей родины (но это же — всё-таки смягчает?), будет соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников...

Или нужно: *вполне* соблюдать?..

Как-то надо изощриться, ещё в новой обещательной расплывчатости исправить неудовлетворительную расплывчатость 27 марта.

И день, и другой мучился Павел Николаевич над нотой. Да ведь не одна же эта забота. И в воскресенье — особенно покоя нет: по воскресеньям-то — все публичные выступления, надо ехать. Днём в Благородное собрание, митинг в поддержку Займа Свободы, каждый министр обязан. Тут кстати и американский посол. Вот и к месту выразить удовлетворение, что к Союзу Согласия присоединилась старейшая демократия... Готова помочь нам и золотом, которого много у них накопилось, и паровозами. Перед лицом такой помощи и Россия не должна ударить лицом в грязь.

В эти недели — столько речей, и надо же каждую как-то сплести оригинально.

Тут подносит пышному залу и Терещенко: что торгово-промышленная Москва решила отдать на Заём 25% основного капитала.

Даже трудно поверить: четвертую часть всего богатства — отмахивают московские купцы?..

А в эти же дневные часы, к вечеру, узнаётся: в Морском корпусе был пленум Совета рабочих депутатов, и тоже — о Займе. И постановили: Займа пока не поддерживать, отложить на несколько

дней — как поведёт себя правительство, оно обещает в три дня отказаться от завоевательных целей.

Вымогают — отказ от «аннексий и контрибуций». Вымогают измену союзникам.

Так, про себя мучительно составляя ноту, а вслух убеждая публику, и подвигаясь к диспуту с коллегами-министрами, — в понедельник, вчера, раскрыл Милюков газеты — и ахнул. Он и забыл совсем, что одним воскресеньем раньше, по дороге из Москвы, в вагоне, имел неосторожность поговорить с корреспондентом «Манчестер Гардиан», а тот на прошлой неделе напечатал. Но не скоро бы узналось в России, если бы не было в Лондоне корреспондента «Биржёвки», и вот одна она выхватила и жирно напечатала:

«РУССКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЛИВАМИ».

Ах! Ты балансируешь в сантиметрах, а в тебя швыряют двухпудовое чучело.

Вопрос: о южных славянах в Австрии. Ответ: только независимость славян единственно удовлетворительное решение. Вопрос: может ли повлиять декларация 27 марта на будущность Константинополя и проливов? Ответ: Россия должна будет настаивать на своём праве закрывать проливы для прохода иностранных военных судов. А это возможно в том случае, если она получит господство над проливами и возможность укрепить их. Вопрос: а не полагаете ли вы, что Соединённые Штаты будут возражать против такого решения? Ответ: мы истолковываем заявление Вильсона в том смысле, что Соединённые Штаты не против господства России над проливами... (А Вильсон-то, видимо, как раз и против.)

*Alea jacta est!** — и что ж теперь балансировать. Карты открыты, и надо иметь мужество стоять за свои убеждения. Так и писать:

...продолжая питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны в полном согласии с союзниками...

Надо выбрать одну сторону — и на ней стоять. Недопустимо дать поколебать союзные отношения. Недопустимо уменьшить или ослабить русскую долю в итогах войны — особенно теперь, когда война кончается.

И на закрытое заседание Временного правительства о ноте настроился Милюков несокрушимо.

* Жребий брошен (лат.).

Заседание устроили — в довмине, у Гучкова. Такой важный вопрос, что должны присутствовать все, а Гучкова уже вторую неделю не видели в Мариинском. Итак, поехали все к нему.

Он вышел к ним из спальни слабым шагом. Поздоровался, не с каждым за руку, — поклонился общим поклоном и опустился в откинутое кресло. Ослабление сердца, шалило оно давно, — а выглядело так, что вот он среди них первый подкошенный, раненый.

Смотрел Павел Николаевич на его тяжёлое хмурое лицо с сожалением и глубоким неодобрением. Никогда Гучков не был друг, никогда союзник. (Когда Милюков после американского турне вошёл в Третью Думу — то большинство сразу встало и вышло, в протест против его американских свободных речей, — и Гучков же вышел из первых.) Но в такие-то недели, на таких-то вершинах — могли бы объединиться: только Гучков тут ещё и понимал как следует, что такое Проливы. Как бы они выстояли вдвоём! — совсем иначе направили бы правительство. Да не только не поддержал Гучков союза — он и своего-то места не удерживал. Вот тебе и знаменитый дуэлянт. От пессимизма ослабилась его воля.

Как и ожидал Милюков, бой против семёрки и за мозги остальных — не был лёгок. И прежде всего атаковали проливы — что это отрывка старого славянофильства. (Милюков — и славянофильство!..) Не поспешил объяснить им вопрос в полноте.

Недобросовестно смешивать мои взгляды на проливы со славянофильскими. Я настаиваю не по шовинистическим мотивам, и вопрос о самом Константинополе для меня второстепенен. (Хотя не забудем, что турками — он просто захвачен, он никак не их.) Но: нам нужен выход в море для экспорта продуктов нашего Юга. И: мы должны обеспечить себе лёгкость защиты Чёрного моря. Проливы нейтрализованные (как уже публично соглашались Керенский и Терещенко) этого не обеспечивают: нейтральные проливы могут легко захватить, они открылись бы для чужих военных судов, и значит, в Чёрном море придётся держать постоянные большие силы. Нынешнее турецкое владение проливами — даже лучше, чем нейтрализация. Но в Константинополе сегодня — уже Германия. Так что истинная постановка вопроса: будут ли проливы германские или русские? (И взятие нами проливов должно стать совершившимся фактом ещё до мирной конференции, иначе мы их не получим.)

Затем дискуссия об «аннексиях и контрибуциях», левые министры легко и бездумно переняли этот левый (на самом деле гер-

манский) лозунг. Объяснял Милюков терпеливо. Отказ от «аннексий» есть отказ от перестройки Серединной Европы и Балкан, и для Англии он даже лёгок, ибо у неё там нет интересов, она вон спешит захватить Месопотамию и Палестину, а Россия пусть хоть и ничего не получает. К чему весь этот лозунг? — чтобы Россия освободила союзников от обязательства отдать нам проливы? Ну что ж, они охотно пойдут на эту жертву. Отказ от «аннексий» может ускорить заключение ближайшего мира, но не даст Европе мира длительного. И неужели отказ от прав России вызовет подъём духа в войсках?

Керенский (даже голоса его пронзительного Милюков стал не выносить) настаивал, что если уж не включать «аннексий и контрибуций», то во всяком случае — «самоопределение угнетённых национальностей». Милюков сразу его поймал: согласился. (Это же оно и есть: перестройка Серединной Европы, освобождение западных и южных славян, трансильванских румын, заодно эльзасцев и армян, и ужатие наших противников.) По незрелости своего ума Керенский не додумал, что «самоопределение национальностей» как раз и потребует «аннексий», — а как же им иначе выделяться? (Это победа: «не преследовать захватных целей» — оставяет Милюкову больше свободы действий.)

Придирался Керенский и к другим выражениям, предлагал свои исправления — но хуже, это чувствовали даже его сторонники. Тогда стал ломить уже что-то совсем несуразное: чтобы в этой ноте обратиться не столько к правительствам, сколько к демократическому общественному мнению западных стран. Министры застеснялись. Князь Львов глупо улыбался. Чёрный Львов глупо каменел. Но Милюков, мастер компромисса, блистательно нашёлся, соединить с навязанными ему Альбером Тома «гарантиями и санкциями, которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем»: «проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые...»

Так — и Тома сохранился (важно иметь его в сторонниках ноты), и Керенский удовлетворился, — и как будто всем пришлось.

И ещё же убеждал Милюков министров: да может только благодаря войне у нас всё ещё держится, а то бы рассыпалось. (Министры, по согласию, уже пустили слух в несколько уст: если мы нарушим союз — Япония объявит нам войну и нападёт с Владивостока.)

И получилась нота, незаметно, покрепче Декларации. *Vivat*, Милюков!

Но момент — исторический. И, предусмотрительно не исключая неприятностей впереди, Милюков внушительно отметил : что, стало быть, правительство в полном составе согласно целиком с данным документом — и берёт на себя ответственность за его содержание?

Кто молчал, кто кивал. Не нашёлся возразить и Керенский.

Принято.

Оставалось решить дату опубликования. Дни стали все какие-то текущие: это воскресенье 16-го Совет постановил всем работать и служить, а этот вторник 18-го — праздновать по новому стилю интернациональное 1-е мая, чтобы в один день со всем Западом (хотя в этом году на Западе его не праздновали, воюя по-серьёзному). С Советом не поспоришь. Но может быть и красиво: эту ноту как раз и пометить 18-м числом? Однако по той же причине 19-го не будет газет. Ну, значит, опубликуется 20-го, а через дипломатов потечёт раньше.

Так ещё лучше!

В общем — выстоял Милюков. Не обидел союзников, не расторг Согласия!

18-го погода была совсем не праздничная — серое небо, резкий пронзительный ветер, ни весна ни зима. Редко проглядывало через облака кислое солнце. Небезынтересно было бы Павлу Николаевичу посмотреть это народное скопище — но какая-то скованность, неловкость перед большими толпами, да и опасность (да и память, как унижительно задержали на похоронах), — нет, министрам не место в этом кишеньи, а Павлу Николаевичу особенно. Остался дома. Да уже накануне из своего министерского кабинета на Певческом он мог любоваться по верху Зимнего дворца: «Да здравствует Интернационал». А сегодня с интересом собирал сведения по телефону и всех просил звонить ему. И жена Анна Сергеевна ходила посмотреть, рассказывала. И заходили коллеги-кадеты.

Говорили, что уступает дню похорон, но больше полустолицы на улицах. Трамвайного движения нет, не выехали извозчики, закрыты все магазины и рестораны. По всем мостам, по всем улицам стекаются к центру (да и под окнами, по Бассейной, валили), множество красных флагов (ни одного трёхцветного), на мостах еле удерживаемых против ветра. Но удивительно, что порядок идеаль-

ный: колонны послушно маневрируют, пересекаются, отступают, идут параллельно, ни одного несчастного случая. Весь Невский — лес красных флагов и плакатов, на углу Садовой — вообще не пробиться. Везде много военных оркестров, но сами воинские части организовано не маршируют, а солдаты шатаются группами и одиночками. Продвигаются через толпу грузовые автомобили с ораторами на платформах. (Но всеми платформами овладел Совет, а кадетским ораторам не дали ни одного места...) Больше всего платформ пошло на Марсово поле, там — центр митингов, и выступают все лидеры Совета, но Ленина нет, а большевиков много. А и повсюду: кто только влезет повыше, крикнет «товарищи» — уже толпа и митинг.

А — что говорят ораторы? о внешней политике что?

Например, на Мариинской площади — анархисты-коммунисты, чёрный флаг с красными буквами, кричат всякий бред: скорейшее окончание войны, захват всех земель, уничтожение всех частных собственности, не верить Временному правительству и всем буржуям...

Это вздор. А где ещё?

У самого Мариинского выступал Стеклов. И с балкона «Астории» речи. И на Дворцовой. Прекращать войну — увы, во многих местах. Но толпа спрашивает: а как прекращать? Ораторы ответить не могут. Надежды на братство народов, что германский очнётся... Несут плакаты — «Требуем немедленного вскрытия союзных договоров!» (Ого...) «Заводы Обуховский и Путиловский! Возьмите дело мира в свои руки!» (Ослы...) А то: «Буржуев — в окопы!» (Травля начинается...) То посаженный на памятник инвалид произнёс речь против братания с немцами. Офицер на Дворцовой: «Нам не нужно чужих земель, но проливы нам нужны. Вопрос о Дарданеллах — более сложный, чем нам кажется». (Умница.) То генерал выступает, то солдат, то женщина в красном платочке. Больше всего споров везде — об аннексиях и вокруг ленинцев. Ленинцы из кожи лезут, подвижны, десятки автомобилей, и самых шикарных, наворовали, везде выступают, но успеха не имеют. Против Ленина многие резко говорят, об остальном — миролюбиво.

Оказывается, всё было нестрашно. И обидно самому не послушать.

А тут ещё новые сообщения. Красочно! По Невскому на огромном грузовике плывут несколько десятков человек в разных национальных костюмах. Экзотическое шествие мусульман, всех пораз-

зило: татары, сарты, таджики, солдаты-магометане, в тюрбанах, тягучие песни, на красных знамёнах — белый полумесяц с белыми звёздами, надписи по-арабски. Очень их все приветствовали. На бундовских знамёнах — по-еврейски, и митинги их по-еврейски, и песни. Шли отдельно украинцы, поляки, литовцы, белорусы. У всех свои хоры. (Опять, опять разделяются по нациям, это тревожно.) Портнихи несут: «Цените труд иглой». Союз петроградских швейцаров: «Долой чаевые!» Амнистированные уголовники: «Дайте нам скорее паспорта!» Дети лет пяти-шести: «Дайте трёхлетнюю бесплатную школу и республику».

По всему видно — это и до вечера не кончится. И очень почему-то захотелось Павлу Николаевичу самому посмотреть. Казённый автомобиль — во дворе, наготове. Надел демисезонное пальто, мягкую шляпу — поехал. Через Невский — нет, нельзя ему. И Марсово поле — неприятно, обойти. Пробраться по Надеждинской, Кировной, Сергиевской — а там по набережным.

После схода снега никем не поправленные петербургские мостовые — сплошь в ухабах, езда такая — тряханёт и сустав вывихнет. (Кадет князь Оболенский вот так в автомобиле на ухабе выбил плечом боковое стекло.) Но сегодня — тихо ехать, быстро и не проедешь.

А поют плохо — нет ни своих песен, ни гимнов. Несут красные флаги — а поют пошленькую песенку немецких гусаров. Но два раза встретил плакаты: «Долой Ленина!», порадовался. А то: «Гряди вперёд, народ державный! Будь славен в мире и в веках!» А грузовики-то тащатся забрызганные, в грязи. Наверху — наряженные рабочих с молотом и крестьянин с серпом.

Марс-Суворов обвешен красными флагами, Мраморный дворец, казармы павловцев — в гирляндах цветов. Всё Марсово поле грозно-чёрно-красное, сто тысяч народу и тысячи знамён. Объехали благополучно.

А Нева — как будто снова сковалась, снова лёд хватает у берегов, а посередине проносится рыхлый.

Юнкера. И что ж несут? «В борьбе обретёшь ты право своё» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ну, навоюем мы с такими юнкерами.

Под огромным красно-зелёным флагом — митинг: «Товарищи, записывайтесь к нам! Гнусное царское правительство преследовало свободных эсперантистов, потому что у нас — равенство и братство...»

Ехал Павел Николаевич в открытом автомобиле, но с надвинутой шляпой, поглядывал из-под полей. А на Английской набережной — встречная толпа солдат, правда невооружённых, ёкнуло сердце: узнали!

И сразу — поперёк дороги, остановили машину. Недружелюбно кричали:

— Милюков!.. Вот он!.. Попался!

Но, к счастью, превалировало сегодня настроение мирное, не бой же был. Да и Павел Николаевич на самом деле — десятка небойкого. Не стал укрываться и отговариваться, а поднялся в машине в рост, как оратор, будто того и ждал, снял шляпу на сиденье, обнажил седину. Очки прочно сидели на ушах. И, безбоязненно глядя на сердитых солдат, скрестил руки (не любил он дешёвого жестикования) и обратился к ним с речью. Спокойно:

— Товарищи! Старая власть своими бюрократическими приёмами не могла добиться единения страны. Но сегодня вы видите это единение в торжественном народном празднике. Первое Временное Народное Правительство работает не покладая рук. Но ему необходима ваша поддержка. Враг близок и надеется нанести сильный удар по революционному Петрограду. И мною получена секретная телеграмма, что немецкий штаб рассчитывает не столько на силу своих армий, сколько на то, что русская свобода потонет в анархии. Мы настоятельно призываем всех вас — объединиться вокруг Временного Правительства...

И ещё так поговорил — толпа стихла. Два-три голоса что-то одобрили. И пропустили автомобиль.

Сошло. А — неосторожно было ехать.

Свернули с набережной — да не подумавши попали на Театральную площадь. А там-то — и митинги. Хорошо, что остановились на самом краю, за спинами. От консерватории к Мариинскому театру был перетянут длиннейший плакат: «Стократ священный союз меча и лиры. Единый лавр их дружно обвивает». У памятника Глинки с помоста, обтянутого красной бязью, какой-то интеллигент произносил речь к рабочим, какой гнёт переживали при царе императорские театры и всё русское искусство. Но, не дав ему договорить, отгораживая его от толпы, — спереди него втеснился грузовик, где стояли матросы и штатские. И кто-то из толпы, узнав, крикнул:

— Германская братия приехала!

А маленький юркий штатский с грузовика, не смущаясь, сразу взялся за речь:

— Буду говорить о министрах. Двенадцать министров — как двенадцать апостолов. Но среди них же есть Иуда.

Милюков охолодел.

— ...Кадеты говорят, нам нечем заменить их? Но мы и из народной среды наберём двенадцать...

Так похолодел, что не слышал его речи дальше.

Но из толпы тому стали кричать враждебно.

Он кончил:

— Прощайте, черносотенцы! Ещё увидимся!

И грузовик пошёл, раздавая толпу.

*Нам памятен будет Семнадцатый год,
Да здравствует наша свобода!*

(из песни на первомайском шествии в Петрограде)

37

10 апреля, в сороковой день смерти Дмитрия, отслужили панихиду в Лавре и, отлагая захоронение до Лотарёва, в тот же вечер выехали с Лили из Петербурга. До Москвы ехали в международном довольно прилично, хотя коридор был набит сидящими. Следующий день в Москве прогостили в доме Шереметевых на Воздвиженке, тут уж наговорились. Вся Россия расплывается как тесто из квашни, вывернутой на пол. А собирать его — хотят Воззваниями. Это правительство ещё ни с кого и 10 рублей штрафа не взяло — кто будет его слушать? Вот если б оно проявило первые признаки силы — к нему бы потянулась действенная помощь со всех углов. И все — боятся говорить правду, всюду лезть, каждение массам, призывы «обожать мужика». Россия так изучает свободу, как если б ребёнок, изучая закон тяжести, выбрасывался с пятого этажа: захватить всю землю! захватить все деньги в банках!

меньше работать, больше получать! не сражаться, а целоваться. Нужно иметь сильный характер, чтобы заявить народу: это я, а не ты, знаю, что тебе нужно! Все стали очень много *говорить* против анархии — и этим только показывают свою слабость. А вооружённые шайки господствуют открыто.

Дальше, из Москвы, хлебнули теперешней езды: коридор вагона забит так, что не пройти, а над головой по крыше ходят дезертиры. (Кто эту картину повидал — должен понимать, что война — кончилась.) Двое кондукторов кое-как пробили Вяземских втроем, вместе с девушкой Лили, в двухместное купе и заперли там, — а в дверь потом ещё всю дорогу ломились. Лили спала наверху, а князь Борис с девушкой — полусидя на нижней полке, ещё никогда в жизни так не приходилось. А в Грязях вещи передавали кучеру через окно — и самим бы пришлось лезть через окно — но только потому удалось через дверь, сильно помяв бока, что и многие солдаты в Грязях выходили.

А как — из Грязей теперь в Петербург *уезжать*? Сразу же, со станции, Вяземский дал телеграмму матери на Фонтанку 7: для поездки похороны добывайте заказывайте отдельный вагон туда обратно.

Поезд в Гязи сильно опоздал, пришёл около 5 часов дня вместо полудня — но как спустились на юг, как тепло! Ещё удивительная погода стояла — то тёплый дождь, то сразу ясно, солнце сушит, и выбрасываются яркие радуги. Не грязно, ехали легко. После петербургского месяца такое счастье — дышать этим влажным теплом, открывающим лето, обещающим плодоношение твоей любимой земле. И счастье, что Лили, без усилия и придумки, полюбила хозяйство, все его расчёты и заботы, так свободно с нею обсуждать.

А в этом году помехи ждались — совсем не только погодные. Чем ближе к имению, тем больше князь Борис волновался: что же там? А подъезжали уже в сумерках, и не посмотришь по пути. Но ещё видны на фоне серого неба — шестиугольная передняя башня и квадратная задняя, а засветились электричеством окна — можно различить и колоннаду двух верхних балконов, и долготу нижней террасы.

Дома, наконец! И сразу — слушать Никифора Ивановича, а пальцы невольно перебирают, какие тут срочные письма. Ну вот: повестка быть завтра в Усмани на заседании распорядительного комитета — то есть распорядительного, потому что он всем в уез-

де распоряжается, но его не зовут так, а почему-то «исполнительным», будто он чью-то высшую волю исполняет.

Настороженно ждал всю дорогу домой: что же услышит от управляющего? — и на всякий случай ждал самого худшего, хотя верить бы не хотелось. И теперь даже удивлён рассказом Никифора Ивановича: сев — идёт, и вероятно, пройдёт благополучно. Вначале местные подёнщики не шли, требовали два с полтиной за день (и грозили девкам расправой, если пойдут дешевле двух рублей). Но тут приехали наниматься калужанки — и за ними сразу хлынули местные, и сейчас избыток подённых, часть отсылаем и назад. Цены: мужчинам полтора рубля, женщинам 80 копеек.

Сев идёт! — это превосходно. Час в апреле — год кормит. Сей меня в грязь — буду князь.

Но со следующего утра, не посмотрев ни полей, ни даже конского завода, погнал на паре в Усмань. Там — впечатлений оказалось больше, чем можно ожидать, даже после Петербурга. Какое смешение новых положений, лиц, идей, новостей, — сперва интересно, а потом уже и жутко. В этом распорядительном комитете вместе заседали представители города, кооперативов, земцев (князь Вяземский и был тут делегат от уездного земского собрания), земских служащих, учителей, солдат 212-го полка, рабочих, крестьян (рад был увидеть здесь Тюрина из кредитного общества Княже-Байгоры, и своего коробовского Григория Галицкого — рассудительные мужики, князь имел с ними дело при выборах в Думу). Такой разношерстный состав никогда прежде не собирался в одной комнате, они совсем не умели говорить друг с другом — но это могло бы оказаться и плодотворно, если бы правильно пошло. В комитете крестьяне шли за голосом разума, и голосовали вместе с двумя третями. Но уездный комиссар Охотников, весьма доброжелательный дворянин, оказался слаб, не мог утвердить власти комитета в Усмани и в уезде.

Прапорщик Моисеев здешнего полка, а сам присяжный поверенный из Нижнего Новгорода и открытый большевик, вполне опережал Охотникова и организаторским талантом, и шалым митинговым красноречием. Он травил комитет за буржуазность — и создал свой совет рабочих и солдатских депутатов и социалистический клуб, с самыми отчаянными речами. И он же, оказывается, без помех успел пустить по уезду первых агитаторов — якобы «для организации масс», а на самом деле они безобразничали, устраивали обыски и даже аресты. Когда доходили жалобы в Усмань —

просили Моисеева остановить своих агитаторов через телефон. Но Моисеев явно издевался, и так разговаривал с теми по телефону, что только поддавал им жару. И ещё Моисеев начал создавать какой-то фальшивый «крестьянский союз», энергия у него была безкрайняя, и никто в уезде не смел его остановить. (А кстати: почему этот 212-й полк вообще стоял в Усмани, если он снабжал дивизию под Трапезундом? — и это при нынешнем состоянии железных дорог!) Одного усманского мещанина арестовали только за фразу: «Да кто такой Моисеев? сегодня он здесь, а завтра не будет его» — в том смысле, что он — не местный. Из этого раздули, что «завтра не будет его» — было намерение мещанина убить Моисеева, а Моисеев разыгрывал на митинге великодушие, что он прощает своего убийцу.

Подумал Вяземский: пожаловаться на Моисеева Гучкову? Или ещё лучше: проверить бы через Бурцева, нет ли у этого Моисеева в прошлом какого-нибудь политического порока по нынешней мерке? — шаг вполне в духе эпохи, хотя противно.

Но впрочем: какого порядка можно было добиться, если революционный Петроград первый же всё и разрушал? Согласно указу Керенского, восемьдесят каторжников их усманской тюрьмы, заявив о желании идти в солдаты, были одеты, обуты, отправлены в сторону фронта — и все бежали с пути. А восемьдесят каторжников, распушенных хоть и по трём уездам, — это сила!

Пробыл князь Вяземский в Усмани два дня: на уездном предводителе дворянства всё ещё много висит дел, а его месяц не было. И за эти два дня — он много мрачного наслушался. С Усманью рядом Воронеж, рядом Липецкий уезд, сообщение хорошее, не то что по раскинутой неуклюжей Тамбовской губернии, — и сюда слухи стекаются со многих мест.

Все в одно говорили, что март — был месяц куда миролюбивей, крестьяне были готовы на всяческие соглашения, а сейчас — от близости сева, оттого ли, что катится из Петрограда, — больше требуют и берут сами, и с этим далеко зашло, не так, как в Лотарёве. Где рубят казённые и помещичьи леса. Требуют не брать на работу никого из чужой деревни, а своим платить не меньше, чем укажут. Что правительство объявило — каждый клочок земли должен быть засеян, поняли так: бросают свои поля необработанными, захватывают помещичьи. На захваченные земли не хватает семян — дай, помещик, семян! не хватает инвентаря — дай твой инвентарь! Или волостной комитет оставляет помещику из его же

покосов — не на всех его коров, а сколько надо ему прокормить свою собственную семью, только. Или: заранее назначили ему день, до которого скосить луга в этом году, иначе перейдёт к крестьянам. И вот иные помещичьи сады остались без весенней обработки, огороды вместо культурных овощей засеяны травой. Или даже берут у помещиков породистых лошадей — и используют на тяжёлых работах. (У знатного коннозаводчика — сердце обрывается, слышать такое.) А то — просто обыски в имениях, будто ищут оружия — а тащат себе что схватят. Уже и о хлебных запасах говорят, кажется, только домашней обстановки не трогают.

Есть помещики — сами уже распродают и скот и инвентарь, почём удастся.

Такого и подобного — боялся князь Борис, когда возвращался в имение! Но — ничего, ничего такого в Лотарёве ещё не произошло.

А если что — откуда брать защиту?..

Приехал в Усмань один воронежский мелкопоместный и расказывал с такой жалостью, едва не плача. Какой он помещик! — он крупный хutorянин. Но у него налаженное хозяйство, многополье, травосеянье, питомник племенного рогатого скота. Приходит под вечер толпа мужиков, человек сорок, вызывают. Вышел к ним на крыльцо. (И — что́ эта высота крыльца? — когда во всём уезде не жди ни защиты, ни правосудия.) До сих пор у него были самые хорошие отношения с крестьянами. А тут, от толпы, заявляет один мужик, и не голоштаный, но сильно зажиточный. Отрезать обществу десять десятин (вспаханных с осени!). И селу нужно ещё пастбище — так пустить в свой лесок — и ещё вырезать прогон туда для сельского скота через всё своё поле. (Прощай, многополье.) И — что делать? Вся сила — за ними. Согласился. (Заметил: приняли всё-таки со стыдом, благодарили.) А через два дня разобрались: никак им в тот лес не прогнать иначе, как через своё, сельское, яровое засеянное поле. Отпал прогон, отпал и лес, своё поле им жалко. А 10 десятин всё-таки отрезали.

Только кто сам своё хозяйство ведёт — может понять, что значит: пустить через себя прогон. Или захватят семенной, племенной рассадник? В час опустошится налаженное годами.

Всю жизнь мы жили с этими крестьянами — и не знали их? Они оскалились в погромах Пятого года — но то были вспышки отдельные, где дурно сошлись обстоятельства, — а чтоб такая всеобщая эпидемия зла и разрушения?.. Или крестьянство просто

потеряло равновесие оттого, что нет привычной команды и воли сверху?

Но уже и не послушают? Говорят: народ стал как пьян, не принимают никаких объяснений.

Однако же вот Лотарёво держится. И в округе покойно.

И наверно, можно как-то обойтись? Найти язык.

К отрубникам вражда ещё больше, чем к помещикам. У них отбирают землю запросто. Или они сами являются в общину с повинной. Мир! — сила солому ломит.

Всеобщий бред у мужиков сейчас, конечно, — передел земли. И — чтобы не платить никакого выкупа. И чтобы получить 20 десятин в одном месте и безо всякого переселения. И, видя рядом большие поместья, — как им вместить, что это — лишь малая доля российских земель? Что при дележе, на всех в России, — едва досталось бы от двух десятин и до четвертушки на семью, но зато не станет аренды. А главное, чего не разумеют: и от крестьян придётся ж тогда от некоторых отрезать.

А виноваты наши болтливые партийные публицисты, сами не знающие никакого дела, но десятилетия расточавшие басни о богатствах будущего раздела, — они и есть первые агитаторы, ещё до моисеевских. А теперь добавляют нынешние, с красными значками, «долгой помещиков-кровопийцев». Все соглашаются: где не появились агитаторы — там ещё спокойно, крестьянское настроение колеблется, но может быть, ещё найдёт разумный путь? Замечено, что особенно едки балтийские матросы и солдаты Северного фронта: «Что хотим — то и будем делать, а кто против нас, тот отверженец старого режима».

И «режим» — особенно быстро усвоили: «Новый прижим: раньше нас прижимали, а теперь будем мы!»

Но неужели же от одного страха перед этим всем — заранее сдаться? Этого — князь Борис не допускал. Бороться надо даже тогда, когда надеешься спасти лишь жалкие обломки.

Да, в таких условиях сеять — большой риск.

Тут как раз, на второй день в Усмани, пришли газеты с постановлением об охране посевов: Временное правительство брало на себя весь риск за посевы: уплачивать потравы и уничтожения. (Кажется, их первый достойный шаг за два месяца правления.)

И укрепился князь Борис: устоим, не сдаваться! С новыми крестьянами надо научиться разговаривать по-новому.

Вернулся домой измученный, в пятницу поздно. В Лотарёве всё так же спокойно, и сев идёт. (Отлучаясь, теперь будешь всегда бояться за жену.) И долго пересказывал Лили впечатления. При такой её малости, хрупкости, так хорошо она всегда делит линию мужества: не сдаваться!

А на воскресенье по всему уезду был назначен единый день выбора сельских комитетов, на понедельник — выбор волостных. А за ним вторник не обычен: несведущей, неуразумевшей российской деревне велено праздновать интернациональное 1 мая.

И активная тактика напрашивалась сама: в воскресенье пойти на коробовский сход. Поехали с Лили к воскресной обедне, а потом спрашивал у одного, другого, третьего мужика, когда именно назначен сход. Все кланялись по-старому, а прикидывались дурачками: не знают.

Ну, значит, значит — что ж... Не хотят. Не идти. Да, трудно их взять. Жаль. Упускалась редкая возможность. Вернулись в Лотарёво.

А часов в пять вечера неожиданно явился коробовский мужик, верхом охлябь: сход собрался — и зовут князя.

Заволновался. Поехал на малых дрожжах. Это значит: собрались, обсудили приглашение, и теперь все вместе топтались, ждали? Нерационально — и типично.

Толпа стояла против новой школы, у колодца. Подъехал к ней. Сняли шапки, загалдели «здравствуйте», но шапки и надели немедленно, как не сделали бы раньше. С приступки дрожек князь Борис сказал, стараясь с добродушным спокойствием, однако ощущая и необычное новое соотношение:

— Здравствуйте! Рад, что вы меня пригласили. А то уж я думал: со свободой — вы меня и знать не хотите?

Раздались шумные показательные протесты.

— Я пришёл, чтобы помочь вам советом в трудном деле. Не желаю вам мешать, буду сидеть вот в школе, выйду, если позовёте. Собрание советую вести не по старинке, когда всякий говорит, а выберите себе председателя и у него просите слова по очереди.

Ушёл в школу, чуть поглядывая издали в окно. Что за новое время? Как одолеть тебя и жить в тебе?

Дважды вызывали за советом: сколько лучше выбрать членов комитета? выбирать ли от солдаток? принимать ли голоса баб? (Их было сколько-то на сходке, тоже новизна.)

И третий раз вызвали — сообщить, что комитет избран, 11 человек (в Коробовке 2200 душ), а сельским комиссаром признали прежнего старосту. Тогда князь пригласил одних только избранных в школу — вот они теперь и главные, с ними придётся и дело иметь. Сели, и держал к ним рассудительную речь: о задачах комитета, об ответственности перед избирателями и перед властями и что значат слова «укрепление нового строя». (И — поняли всё! Один из них потом точно передал весь смысл отцу Леониду.) Благодарили, и просили приезжать к ним на собрания впредь. Неплохое начало, кажется. Настроение у крестьян — даже идеальное.

Вчера, в понедельник, все избранные сельские комитеты собрались в Княже-Байгоре для выбора волостного комитета.

Много крестьян пришло в виде публики. Председатель — печник Вельяминовых, не справлялся с крикунами. Князь Борис сел рядом с ним, унял крикунов, записывал на очередь, вызывал — да стал записывать и сами прения. Все жаркие схватки были — друг между другом, от личных счётов, от старых обид. Вид мужицкого мира всё время меняется: то он загадочно и угрожающе слит, то открыто добродушен, и каждый отдельный утопает в общем, — а вот и раздражается на все отдельные. Больше всего злобы было против волостного писаря и против правления кредитного общества — но всё обошлось благополучно, выбрали и комитет, а волостным комиссаром (уже привыкли мужики к этому сильному непонятному слову) — коробовского Григория Галицкого. Хорошо, будет своя зарука: он из тех мужиков, с которым всегда можно разумно объясниться.

Не успел князь вернуться домой, довольный, и рассказать Лили — от волостного комитета телефонировали из Княже-Байгоры, приглашали князя на вторник на торжественное богослужение — вот как придумали отмечать 1-е мая. А самих Вельяминовых никого в имении нет. И сегодня по утреннику, эти ночи похолодало, поехал в шарабане, без Лили. В церкви все оборачивались. После обедни — ещё молебен на открытом воздухе, всё чинно, как прежде. А потом? — не расходиться же, надо делать что-то особо праздничное для нового случая? А что? Никто не умел. Начали речи говорить — невыразительные, скучные, — толпа перетаптывалась, недовольная. И князь Борис решил попробовать. Поднялся на пень, и:

— Я — ваш гость, речи говорить не буду. А прокричим ура той, кто всех нас объединяет в одну дружную семью, без различия состояний и лиц, — за свободную Россию, ура!

И толпа счастливо заревела «ура».

И затем — ещё одно «ура», за доблестную армию. И — всё, и расходились довольные, весёлые.

Пригнал домой, сели завтракать, вдруг дворецкий Ваня: какой-то коробовский говорит, что к вам пришёл комитет, звать. Куда?

Князь Борис, отложив салфетку, вышел на красный двор — никого. К сушилке — и там пусто. И вдруг увидел на лицах дворни сильный испуг. Обернулся по их взглядам, увидел: мимо конского завода к дому управляющего валит толпа, больше мужики, но и бабы, но и дети, — человек тысяча. Но и не враждебно, и без дубин. Два красных флага несут. И двое хоругвей. А впереди — различил Галицкого и кого-то из сельского комитета.

И догадался внезапно:

— Сима! Зови скорей княгиню и проси её принести аппарат.

Лили быстро пришла с аппаратом — как раз к подходу толпы. И стали фотографировать всю толпу, и князь с ней. Несколько раз. Толпе очень понравилось. Поздравил их с праздником (никому не известно каким). А дальше? На том бы и поворот?

Нет, они теперь входили во вкус. На бочку поднялся свой же садовник Фёдор, из коробовских, и стал какую-то странную речь держать, вроде того что:

— Мы счастливы, что красный флаг делает нас лучшими людьми. Пусть будет так и впредь. Вот бы раньше мы лезли все кто как попало, а теперь остановились у ворот и спросили разрешения — и это сделал красный флаг. Нужно быть мирным ко всякому человеку — а больше всего к нашему князю. Много сделал для нас его отец — но и над ними было начальство, и они не могли больше. А теперь князь больше не начальство, он обрабатывает землю только потому, что родине нужны хлеб и сено. Он — наш образованный, просвещённый сосед, — и пусть остаётся таким, и безотлучно при нас.

Вполне разумная речь. И как будто заранее предвидела все опасности, ещё не названные вслух.

Князь благодарил. Его принялись качать.

Потом ушли. (Оказывается: пошли в больницу и там качали доктора Шафрана.)

Так что ж, как будто всё сходилась хорошо? Погрома — во всяком случае не будет. А со всем остальным — надо как-то уживаться.

Но вся родня Вяземские — и Софи с детьми, и Дилька с детьми — надумали именно в это лето ехать в Лотарёво. Одно дело — рисковать самим. Но — и ими всеми? Но и детьми? А сейчас на митины похороны приедет Ася — тоже с детьми, и уж она-то останется при могиле надолго.

Спокойно пока спокойно, а надо их отговорить. И сел писать письма — маме, а через неё и брату Адишке на фронт. Если что-нибудь начнётся — поручиться ни за что нельзя. Детей привозить — никому не надо, ни асиных на похороны. Если придётся отсюда бежать — то на бегство в поезде теперь рассчитывать нельзя. В Алупке с Воронцовыми, да на любой даче в Крыму, вы будете незаметны, там сотни таких, — а здесь мы в центре внимания, одни, каждый шаг на виду. Да сравните: все губернаторы везде пережили ужасные минуты — а петербургского Сабурова даже в Думу не водили и не согнали с казённой квартиры. Потому что в Петербурге — сотни таких.

Но такого письма — ведь теперь, при свободе, нельзя и отправить по почте: ведь *товарищи* могут цензурировать. Решили сейчас же послать верного буфетчика в Петроград с письмом.

А сами с Лили поехали в Ольшанку, в степь на луга, погулять. Река Байгора — по-татарски «красавица». Всё — в цветении, в ароматах, жужжаньи пчёл, перепорхе птиц, — и когда вот так гуляешь, в мирной степи, под прежним мирным небом, — не верится, что это наяву свершилась дикая революция, сегодняшний сумасшедший Петроград, какая-то невероятность. Или даже Усмань?

Придумали присказку: посеять — посеяли, а как уберём — зависит от Моисеева.

А ведь надвигалась ещё одна опасность: в газетах всё чаще требовали полного пересмотра белобилетников. Уездный же предводитель в числе многих своих обязанностей председательствует в мобилизационной комиссии. А сколько держатся на белых билетах по снисходительности, по связям, совсем и излишние. Начать их чистить — и весь уезд будет враг тебе.

Нет, это не прежняя степь, это не прежний луг.

Воротились — и вечером читали вместе вслух историю французской революции Тьера.

И — непохожи.

И похожи.

Ну что за гадость! Какие-то мерзавцы телефонируют по комиссариатам, будто Керенский распорядился: при встрече с автомобилем 42—46 стрелять по нему без предупреждения. А на самом деле именно в нём Александр Фёдорович несколько раз ездил. И враги — заметили. И вот таким образом хотели застрелить!

И подобные же самозванцы, оказывается, выдумали весь этот запрос якобы 12-й армии о том, что содержание царя в Царском Селе представляет государственную опасность и надо его переводить в Петропавловку. По свойствам своей молниеносности Керенский ринулся в Царское тогда же мгновенно, и всё хорошо уладил, все газеты посегодня это обсуждают, — а оказалось: никто из 12-й армии такого запроса и не посылал, кто-то высунул анонимку и спрятался. (Впрочем, «Известия» тут же напечатали будто бы резолюцию Металлического завода — и тоже Николая в Петропавловку!)

Уже сколько лет Керенский жаждал свободы для отчизны, и был же юристом, — но только в эти недели убедился, что истинная свобода более всего зависит от министерства юстиции. И насколько же его министерство было ведущим во всех делах Временного правительства! — не только из-за яркости фигуры министра. Даже если на брянском заводе плохие харчи и работающие там сарты срываются с места — то, кого не задержат по дороге, добираются в Петроград — и именно только к министру юстиции. А министерство юстиции — само как необъятная империя, и надо за всем зорко доглядеть. Ликвидировать комитет по борьбе с немецким засилием — почему-то тоже выпадает Керенскому. Арестовать редактора закрытой теперь правой «Земщины», арестовать и его сына, обыскать редакции «Русского чтения» и «Летописи войны», там наверняка прихватим неуничтоженную погромную литературу. А тут петроградская дума жалуется Керенскому, что будто много недовольных его революционными судами (рабочий, солдат и судья), будто многие хотят обжаловать, а обжаловать некуда: не учреждена никакая апелляционная инстанция. (Действительно, в революционном вихре созидая, Керенский не предусмотрел апелляций: нельзя было представить, что и революционным судом тоже будут недовольны. И куда ж теперь апеллировать, эти суды ни

в какой системе. В Сенат?) И теперь вот говорят вокруг юристы, что надо как-то восстанавливать судебные дела, сожжённые при пожаре Окружного суда. А зачем восстанавливать и тех многих, которые попали под амнистию? (Совещание.) Тогда — восстанавливать только по заявкам заинтересованных лиц? Но — как восстанавливать? — Го-ло-во-ломка.

И сколько таких головоломок! Освободил из тюрем «всех, кто хочет пролить кровь за революцию», — но многие уголовники только и доходят из тюрьмы до воинского начальника, а дальше — сбегает. А фронтовые лазареты отказываются принимать прощённых уголовниц в качестве сестёр милосердия. Запретил применять в тюрьмах кандалы и карцер, а только — апеллировать к совести преступника, — тюремщики не справляются и в отчаянии от падения тюремной дисциплины. Ещё: амнистия коснулась содержащихся в тюрьме, но забыли о высланных военными властями в Сибирь заподозренных в шпионстве. Но они высланы без правильного следствия, и задерживать их в ссылке невозможно (а проверять сейчас — некому и некогда), — значит отпустить и их, всех сразу. Или вот проблема: за что судить бывших охранников? — ведь это были полицейские чины на службе, и статьи им не подобрать. А провокаторов? Судить бы непременно надо, но — какая статья закона? Была хорошая идея: судить и тех и других по 102-й статье как за «принадлежность к преступному сообществу», как судили всех революционеров. Но комиссия Маклакова несколько дней назад уже вовсе исключила 102-ю статью из Уголовного Уложения — как несовместимую с духом революции. (Мог бы Маклаков прежде и посоветоваться. Но ведь он обижен, что не он министр юстиции.)

Да шире того проблемы, и шире того заботы! (И надо успеть раскрутить всё в действие, чтобы, когда Александр Фёдорович уйдёт из юстиции, уже не могли бы остановить!) Вот назначили повсюду по России прокурорами судебных палат и прокурорами окружных судов — адвокатов. Это будет — здоровое древо: адвокатское сословие — наш свет и совесть России. И, конечно, по всей стране надо хорошо-хорошо прочистить судей. Но — затруднение в законе, уже полвека, о пожизненной несменяемости судей. Правда, Щегловитов выходил из положения, но в случаях разрозненных. А сейчас задача стояла: сменить множество судей, и в короткий срок! Принцип несменяемости судей был очень положитель-

ным, но сейчас становится в тягость. А особенно с высшими чинами судебного мира, и в том числе с сенаторами, церемониться не приходится, и жалеть их не за что. Да оказалось, что общая революционная обстановка сильно помогает: редко какой сенатор или судья в Петроградском округе устаивают, если от них потребовать подать в отставку: напуганы, и покорно подают, уже больше половины сменили в 1-м департаменте (а на их место — адвокатов), или перевели сенаторов в разряд неприсутствующих (а на их место — адвокатов). Это воскресенье Керенский просидел с товарищами министра, и решали много важных назначений на судебные должности. И родили такую мысль: да, да! — мы всегда требовали принципа несменяемости судей как гарантии их против произвола администрации. Но это было необходимо из-за того, что была плоха царская администрация. Однако закон о несменяемости судей нельзя считать самодовлеющим и вечным: ничего не может быть хуже, как плохой судья, которого нельзя сменить! Именно в царское время и насажено много плохих судей, и нам теперь необходимо, и срочно, от них избавиться. Теперь, когда администрация демократическая, — мы должны хоть на короткий срок отменить несменяемость судей — и быстро избавиться от дурных судебных элементов, — а там хоть и опять несменяемость.

А одна хорошая мысль рождает другую: тогда и шире!? Тогда не могли бы мы на революционной основе восстановить и наладить давно запрещённую, нашими голосами, высылку в административном порядке? Какое это было бы оперативное облегчение делам юстиции!? Насколько будет легче работать! Да! Надо такого закона добиться и забрать саму высылку из внутренних дел в юстицию.

Керенский знал за собой уверенную точность мгновенных решений — и даже чем мгновенней, тем безошибочней. (Только это и помогало ему справляться с невыносимым приёмом посетителей: он молниеносно принимал решение — и посетители уходили довольные.)

Калейдоскопически сменяются мероприятия оперативные и торжественные, часто в один и тот же день. Оперативные: что ж мы ждём? почему не пересматриваем все материалы по делу Бейлиса? там могут оказаться для нас интересные находки, насчёт зубров реакции. (Товарищ министра Зарудный сам был адвокатом в деле Бейлиса, его речь даже была в каком-то смысле решающей, —

он теперь всё затребует из киевского окружного суда и посадит штат разбираться.) Торжественные: надо нам сочинить звучный циркуляр всем прокурорам окружных судов. Первые фразы у Александра Фёдоровича уже в голове, вот они, запишите: «В населении несомненно наблюдается тревожное настроение — и оно может привести к насильственным выступлениям отдельных групп... А всякое гражданское междоусобие бесплодно расточает духовные силы народа, которые все должны быть направлены к охране добытой свободы». Дальше я пока не додумал, доработайте, пожалуйста.

Однако внутреннее беспокойство не покидает грудь министра. Всё-таки вот эти «насильственные выступления отдельных групп» — как с ними быть, в самом деле?

И всё тянется ужасающий кронштадтский случай с Переверзевым, и никак достойно не вытянуть ног. Думал — замолкнет, никак же не умолкает, и жёлтая буржуазная пресса ещё раздувает злорадно, а кронштадтцы тоже рассердились и шлют в петроградские газеты грозные опровержения, — и как же тут молчать министру юстиции: ведь в Кронштадте разогнали *его* следственную комиссию, грозили поднять на штыки *его* прокурора и щёлкали на того ружейными затворами — а оскорблённый министр молчит? Где же власть? Но и говорить против Кронштадта — никак невозможно, это сразу бы вырвало революционную почву из-под министра! (А раздаются и безумные голоса, что против Кронштадта надо применить силу.) Положение министра стало невыносимо безвыходным и даже позорным. И что только мог придумать Керенский: уломать Переверзева, чтоб в интересах общего дела и авторитета юстиции он согласился написать такое письмо в газеты: что кронштадтский инцидент изложен в газетах неверно, он сам допустил ошибку, не предупредил солдатскую команду, что вовсе не освобождает их офицера, а лишь направляет в Военную комиссию; и сам Переверзев будто не испытал от толпы никаких угроз расправиться, и никаким оскорблениям не подвергался, а была дружественная беседа с Исполнительным Комитетом; и не выносилось никакого постановления о предании Переверзева смертной казни, и не арестованный он пошёл на митинг, а сознательно, дать всенародный ответ. — И сегодня такое письмо напечатано. Хотя бы от этого конфликта Керенский пока удачно уклонился.

А паникёры всё слали в министерство юстиции жалобы, что деятельность Ленина идёт против всякого порядка и представляет

опасность для России, и требовали немедленных мер. Но уж тут, простите, если даже не напоминать о правах каждого человека, в том числе и Ленина, — при чём тут министерство юстиции? Даже на музыкальном вечере Кусевицкого, где хотелось бы забыться, распорядитель концерта вдруг вылез с речью, что именно Керенский справится с течением, проникшим в Россию при помощи германского империализма и переступающим границы «левого разума». Зашикала и публика, осадил и Керенский: «Временное правительство опирается на *весь* народ, и не боится ни крайне левых, ни правых».

Где же забыться, если даже не на концерте? Минутами: о, где же забыться?..

В Зимнем дворце?..

Ах, как он полюбил Зимний дворец! Что-то есть покоряющее в его величественных залах, в его переходах, лестницах, в его отдельном стоянии между площадью и Невой. Александру Фёдоровичу постепенно стало казаться, будто ему и прежде в его петербургской жизни казалось, что его судьба — непременно пересечётся с этим дворцом, и с императором... И вот — сбывалось. С императором уже пересеклась, а во дворец, если он станет премьер-министром — а он станет, он, видимо, станет, князь Львов не фигура для революционной России, — перенесёт он в этот дворец свою резиденцию и переведёт правительство.

Теперь в Зимнем работает Чрезвычайная Следственная Комиссия, так что министр юстиции, как ни занят, но и должен навещать её. Вход в Комиссию с подъезда у Зимней канавки, но Александр Фёдорович каждый раз подъезжает с главного входа и идёт долго залами, наслаждаясь. Швейцары, лакеи в ливреях — повсюду на местах, как и были. Вид и наслаждение портит только караул из солдат-преображенцев. Менее распушенные, чем другие в Петрограде, они во дворце ещё не лускают семечек и не пускают дыма в лицо, с кем разговаривают. Но и ленивы встать со стула, и в дежурное время нередко открыто спят.

Сперва в Чрезвычайную Комиссию намечали 15 следователей, несколько прокуроров. Но быстро выяснили, что это мало, куда там, уже увеличили вдвое, и ещё придётся, ибо Керенский пожелал, чтоб они работали быстро и дали результаты в кратчайшее время, — а с канцелярией, машинистками это уже полтора человека. Все они — в «запасной половине» дворца, а президиум заседает в красивой впечатляющей комнате. Роль президиума: поста-

новлять о привлечении к ответственности, заключать по законченным следствиям, утверждать меры пресечения и давать общие руководящие указания. В помощь президиуму — ещё эксперты, профессора и сенаторы. А ещё, для облегчения работы, собрали актив Чрезвычайной Комиссии, и профессор Тарле прочёл им две лекции об условиях и формах суда над представителями власти при политических переворотах, и в частности о судах над королями в Великую Французскую и в Английскую революции. А позже, для верности (всё-таки судебные деятели — корнями в царском прошлом), Керенский учредил при Чрезвычайной Комиссии ещё Наблюдательный комитет из шести присяжных поверенных, которые сами не будут вести следствие, но наблюдать, чтобы всё шло правильно. (Адвокатское сердце и адвокатский глаз не выдадут.) И так заведенный аппарат Комиссии работал каждый день, без праздничных и без воскресений, с 10 утра до 7 вечера. А когда надо было допрашивать арестованных в Петропавловке — то выезжали туда, на автомобилях и в придворных каретах, не меньше трёх членов президиума, секретариат, стенографистки и любопытствующие представители общественности.

И Керенский был очень-очень доволен, как это всё у него блистательно и грозно организовано. И ещё особенно доволен самим председателем Муравьёвым, — министр не ошибся в нём! (По его условию предоставил ему права товарища министра.) Муравьёв решителен, энергичен, беспощаден и повторяет летучую московскую фразу самого Александра Фёдоровича, но выразительно её изменив: «Нам нужно быть немножко Маратами!» И предложил отменить всякую давность для *врагов народа*. (В самом деле, могли открыться их преступления и до Пятого года, и в конце XIX века. Это надо обдумать.)

И вокруг Муравьёва в президиуме создалась (и адвокат Соколов там) боевая группа: решительно и быстро вскрыть эти жуткие преступления! Да, нужны жертвы для удовлетворения справедливого негодования общества. Усилить криминализацию! — подведение поступков и действий под статьи Уголовного Уложения.

Однако сразу же следователи стали жаловаться на необъятность работы: они привыкли начинать с реально выдвинутого обвинения, а тут надо было ковыряться в бумажном море лишь в поисках, не найдётся ли такое обвинение. Например, по Щегловитову надо было перерывать материал за все 10 лет его министерства

ния. Но уже полтора месяца рылись несколько следователей — и ничего не находили. (И сенатор Завадский считал, что вообще нет причины держать его под арестом. Ответил Александр Фёдорович: «Держу его на правах Марата!») Направить первые усилия на раскрытие самых крупных преступлений? — тайная придворная немецкая партия и подготовка сепаратного мира? Но, странно, и тут за полтора месяца ни в бумажных поисках, ни в допросах не нашли никаких следов. Ожидали (сам Керенский был уверен), что будет собран подавляющий материал в деле Штюмерера, — ведь недаром же предупреждал Милюков в первоноябрьской речи, что «наши тайны делаются известными врагам России». Но лежали, доступны Комиссии, все архивы министерства иностранных дел, и всеподданнейшие доклады Штюмерера, и все сверхсекретные бумаги — а никакого и намёка на измену нельзя было обнаружить. А общественность — жадно ждала результатов, а корреспонденты уже не раз спрашивали Муравьёва, и он обещал им. Тогда — использовать скорее дело Сухомлинова, уже законченное следствием при старом режиме? Но во всех установленных фактах обнаруживалось только крайнее легкомыслие Сухомлинова, только преступное бездействие власти — а никак не измена.

На днях ещё раз обыскали дом Голицына как самого свежего из премьеров, но ничего не нашли, арестовали швейцара, шофёра — но и от них не допросились. Поражало ещё то, что так и не был открыт ни один провокатор крупного государственного положения: что ж, никто из должностных лиц не помогал департаменту полиции? Этого быть не может! Вероятно, их знали лично и связь никак не оформляли документально. Досадно. Белецкого за нежелание давать показания посадили в тёмный карцер-нору в полроста: пусть передумает. (Тут снова возник спор о провокаторах: в чём именно их обвинять? Нельзя ли их судить как за «превышение власти должностными лицами»? Грузенберг предлагал так, но сенатор Завадский возмутился, какие же провокаторы — должностные лица? А если должностные, то они *должны* были вести провокацию, иначе впадут в «бездействие власти».) Ну уж, во всяком случае, злодейский заговор полиции, стрельба пулемётов с крыш — это-то будет доказано? Из номера в номер во всех газетах на первых страницах Комиссия призывала приносить свидетельские показания о стрельбе пулемётов с крыш — но приносили только слухи или слабоумный вздор. Так что ж: весь Петроград

был уверен, что полицейские стреляли с крыш, — а стрельбы и во все не было? Получается — так. Но в чём же тогда обвинить арестованных членов наружной полиции? — их ещё и в апреле сидит до трёх тысяч.

Муравьёв считал: мы ничего не откроем, пока не направим усилия прямо на императора и императрицу, надо начинать с сердца измены! Муравьёв был уверен, что царь в дни революции намеревался открыть фронт немцам, — и тут одна газета напечатала неизвестные до сих пор телеграммы царицы, явно намекавшие на измену, и государственную и супружескую! — но оказались поддельные, сочинила телеграфистка. Муравьёв мечтал вызвать царя на допрос в Комиссию. Но теперь, после личных посещений Царского, что-то мешало Александру Фёдоровичу согласиться, даже и на обыск царских бумаг во дворце. Тогда через коменданта дворца затребовали от царя самого: представить все оставшиеся государственные бумаги и всеподданнейшие доклады — для следствия по делам министров, — и царь представил всё, рассортированное, по конвертам, с пояснительными надписями. (И даже довольно интимные документы, вредящие самому царю.) Ринулись несколько следователей это всё изучать — и тоже не могли найти ничего, противоречащего законам. А в самой Комиссии сенатор сопротивлялся Муравьёву: что по российским законам Государь не подлежит суду ни за какие свои действия, даже если б такие и открылись. (Муравьёв думал: нельзя ли через дело Курлова обвинить царя в потворстве убийству Столыпина? Однако не получил большинства в Комиссии.)

Но и такой юридический тупик: всё-таки невозможно судить прежних министров за их службу прежней власти, когда они выполняли служебные обязанности. Например, мы будем их судить за препятствование революции с 23 февраля — но ведь они и обязаны были препятствовать? Тут парадокс: как судить их по тем законам, которые мы же сами, революция, и разрушили? А если судить их с точки зрения переворота — то это будет как бы месть? Но если нельзя признать их виновными политически, государственно, никто не нарушал прежних законов, то, — повернул Муравьёв Комиссию, — чтобы судить их законно — искать у них преступления уголовные!

Но что за чёрт, не находили и таковых. Уже до таких мелочей добрались, что Грузенберг предлагал: обвинить генерала Иванова

в том, что по пути в Петроград он поставил на колени двух встречных бушующих солдат, а Фредерикса хотели судить за то, что какого-то своего служащего он освободил от воинской повинности. Далеко уклонилась Комиссия! Теперь (этого Керенский очень хотел) стали заново изучать всю историю ленского расстрела 1912 года в надежде найти уличающие материалы на министра Макарова. (И не нашли, увы.) Теперь предавали суду всю военно-следственную комиссию Батюшина, а прежде арестованный ими банкир Рубинштейн ныне стал обвинителем по их делу.

И вот начался раздор внутри самой Чрезвычайной Комиссии. Раздались голоса более правых членов, что, по закону, если улики недостаточны — полагается направлять дело на прекращение. Улик — нет, а все допросы бывших министров — показательные, чтобы создать видимость деятельности и насытить общество, задаются побочные вопросы, не касающиеся никаких уголовно-наказуемых деяний. И поскольку министры и сановники — не обвиняемые, а лишь только заподозренные, то и нет основания держать их в заключении, да ещё в Петропавловской крепости, да ещё месяцами, без предъявления обвинений, это полное пренебрежение пред судебной процедурой.

Так что ж? — освободить и Штюрмера?? Тут возмутился Керенский: это произвело бы самое тяжёлое впечатление на общество, дискредитировало бы Временное правительство и даже взорвало бы его. Общество считает их всех злодеями, и с напряжением ждёт наших выводов. А мы медлим!..

И не одна Комиссия сообразила положение. И не только жёны арестованных, которые буквально осаждали Комиссию в Зимнем дворце. Уже и Карабчевский, недавний лев либеральной адвокатуры, тоже подавал жалобу за Вырубову, однако обобщая, что незаконно содержать под стражей месяцами без предъявления обвинений и даже без допросов. (Вообще не ответили Карабчевскому.)

Старую тюремную команду Петропавловской крепости отправили в строй, а распоряжался арестованными новый революционный гарнизон, из 3-го стрелкового полка, который и знать над собой не хотел никакой власти, ни Чрезвычайной Комиссии, не допускал постороннего глаза, хозяйничал какой-то офицер в кавказской казачьей форме, Арчил Чхония, сам объявил себя «комендантом крепости», а писарем у него сидел гимназист. Везде развелась

грязь, на прогулку не выводили. И поступали жалобы, что отобрали у арестованных собственные подушки, одеяла, бельё, выбрасывали матрасы, раздевали догола, взамен им выдали плохо стиранные рваные лохмотья из военного госпиталя, что у Вырубовой хотели отобрать костыль, не верили ей, что она калека, и шупали перелом бедренной кости, чтоб удостовериться. Что для простоты кормили всего один раз в день, сами ели за арестантов, а тем недодавали. И были жалобы, что некоторых арестантов били, плевали им в суп, подсыпали в пищу древесные опилки, не то даже битое стекло. Что солдаты охраны митингуют: не проще ли расстрелять арестованных и спустить в Неву. Но не было объективной возможности проверить эти жалобы: проверяющего начальства солдаты-охранники не допускали. А так как вся Петропавловка была сейчас проходной двор, то туда напирали солдаты других полков — и охрана пускала любопытствующих в коридоры Трубецкого бастиона подглядывать в глазки, как сидят бывшие царские министры. Иные смеялись и, говорят, через дверь обещали скоро прикончить арестованных. Тюремное хозяйство развалилось, не стало ни керосина, ни свечей — и когда прекращалось электричество, то сидели в темноте.

Но кто посмеет этих революционных солдат научить, одёрнуть, даже затронуть? Это может вызвать грандиозный скандал на всю столицу и даже подорвать министра юстиции. Муравьёв тем более боялся раздражить караул Петропавловки, поссориться с этими солдатами. Когда он ездил на допросы — он старался этого всего не замечать, а натрусившие царские вельможи почти не смели и жаловаться. А когда в Комиссии сенатор Завадский, при сочувствии Родичева, заявил протест, что этот дикий произвол караула позорит режим, при царе никакой прокурор не допустил бы такого даже отдалённо, — Муравьёв потребовал, чтоб тот взял назад свои слова, унижающие новый государственный строй и восхваляющие старый.

В те короткие летучие моменты, когда Керенский вообще мог этими проблемами заняться, — он понимал и Муравьёва, но понимал и положение арестованных, особенно Вырубовой, которую сам же арестовал. Как бы это удалось сменить охраняющую часть? Пока придумали — назначить туда к ним врача, известного доктора Манухина с левым прошлым, в 905-м приговаривался и к крепости, и друг Горького. Он станет обходить камеры, прописывать

лекарства, усиленное питание — и конвой должен будет перед доктором сробеть.

Короткие летучие моменты! Где мог Керенский остановиться, на чём задержаться? Одна ли юстиция была на нём? Вчера, накануне первомайского праздника, возил Альбера Тома на Марсово поле возлагать венки жертвам (и полусотня донского полка ехала за их автомобилем как эскорт). Собралась и большая толпа. С помоста Тома держал речь от имени французской республики — что борьба, начатая декабристами, вот дала блестящие плоды и Россия вошла в среду великих демократий мира. Затем (присоединились Львов и Терещенко) шли вдоль фронта Павловского батальона, затем — и павловцы мимо них четверых, церемониальным маршем, ружья наперевес и под оркестр. (Что-то военное чувствовал в себе Керенский, ах, что-то очень природно-военное!)

А уж сегодня весь день — великий международный пролетарский праздник (даже не работала Чрезвычайная Комиссия) — одни митинги, одни речи, сплошной лёт-перелёт. А вечер застиг Керенского на концерте-митинге в цирке Чинизелли (сбор с концерта — в издательский фонд Брешко-Брешковской). И он выровнялся, тонкий, стройный, молодой, всеми любимый, на аренном помосте, на глазах многих тысяч и под прожекторами, и слова легко складывались:

— Со времени Великой Французской Революции ни одна страна не переживала таких великих дней, как сейчас Россия. Сейчас только одна перед нами задача — закрепить свободу. А для этого нужно много железной дисциплины. Долой всякое насилие! Временное Правительство сильно только доверием народа, и пока я у власти — никаких других методов, кроме поддержки народа, оно применять не будет. Правительство сильно только пока оно дышит одной грудью с народом. Говорят: как это вы управляете? у вас даже нет полиции. Но, товарищи, нам не нужно полиции, потому что с нами народ!

И вдруг вдохновился, предложил: пусть он будет сейчас дирижировать, а оркестр и хор публики исполнят марсельезу.

Отдирижировал. Великолепно получилось, очень от души.

Тут вылез солдат:

— Граждане! Поклянёмся пойти по первому зову министра-гражданина Керенского!

И со всех сторон:

— Клянёмся!! Клянёмся!!!

Тогда оркестрант с их балкончика:

— Товарищи! Александр Фёдорович недурно дирижирует оркестром. Но ещё лучше — русской революцией. Пожелаем ему сил ещё долго стоять на своём ответственном посту!

Аплодисменты. Бурные.

Керенский предложил всему цирку хором петь Интернационал. И снова дирижировал.

*Отречёмся от гнусного долга,
От преступной присяги своей!*

(«Песня солдат» — листовка на первомайской демонстрации в Новгороде-Северском)

39

Профессоров, прежде назначенных правительством, а не выбранных, — теперь Мануйлов увольнял десятками, из одного Московского университета сразу 30, с одного медицинского факультета сразу 17, — какие ж дальше занятия? Всё парализовалось.

И ведь были же умные среди думцев, предупреждали: «не будем перепрыгать лошадей на переправе», менять правительство во время войны. А вот, на бегу — как соперировали человека.

Такого тошнотворного времени, как минувшие два месяца революции, не переживала Ольга Орестовна никогда. Много читав о европейских революциях, могла она себе представить и это переворачивание всех ценностей и понятий, смещение чувств, для людей с душевной жизнью — полосу унижений и оскорблений. Когда, как пишет Тэн, случайная уличная толпа считает свою волю народной и готова на любую низость. Но только своими глазами с отвращением наблюдая это на улицах, лица, сцены, мусор на тротуарах и каналах вечного города; и когда почтальоны ставят ультиматум, разносить или не разносить почту; балаганный журналист Амфитеатров призывает не жалеть памятников и дворцов, «идолов самодержавия», — можешь ощутить всё это обезумение, называемое Великой Революцией. И такая тоска слабости: неуже-

ли никогда уже не придётся пожить нормально? ведь революция укладывается, Андозерская знала, — десятилетиями. Тоска слабости человека с его единственной жизнью — прежде размышления историка о том, как же это уложится в обществе.

Но стыдней, чем своё унижение, на курсах, на улице или перед горничной, Ольга Орестовна переживала унижение всей России. Ей стыдно было за невежественные словеса бесчисленных резолюций. За такую явную униженность совсем не уважаемого ею Временного правительства, что ни день исторгающего пустопорожние растерянные воззвания. И стыдно за власть тёмной кучки Исполнительного Комитета над всей Россией. (Наконец опубликовали список, там вовсе не оказалось известных имён, и скандально мало русских. Во Франции хоть этого не было.) И стыдно — даже за его безвластие. Всё было до того карикатурно-мерзко, что когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьем-разбойником, этим свистом срывая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, — так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим: это, по крайней мере, не была карикатура, и не ползанье на брюхе. Это был — нескрываясь обнажённый кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России. А сколько находилось людей, которые только смеялись, что он при речах от возбуждения будто вскакивает на перила.

Нет, карикатурен был не Ленин, а сам Исполнительный Комитет: против Ленина он предлагал бороться только словом. Какие вы милые стали, вы же всегда боролись бомбой?

Не так далеко было до особняка Кшесинской — по Каменно-островскому, Ольга Орестовна дважды ходила туда, постоять среди толпы собирающихся, как на аттракцион, любопытных. Раз слышала и Ленина — разочаровывающе мелкая фигура, картавость, безцветный, крикливый голос, — но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое неизбежное. При полном бездействии власти, при разрушенном управлении — этот рычаг может сильно сработать, неуместно смеяться над ним.

Сегодня Ольга Орестовна пошла бродить среди издуманного торжества «первомайского праздника». Всякая революция любит зрелища, и любит смотреть сама на себя. Картинность, конечно, была немалая. Десятки грузовиков, хрипло погуживая, продвигались через людские столпления, останавливались. Один из дежурных на грузовике ораторов произносил что-нибудь хвалебное о ре-

волюционном народе — и грузовик двигался дальше. Неимоверное количество красных флагов. То на знамени — повар, горничная и лакей, то официанты идут с плакатом «отмена чаевых». То шагают неисправные теперь почтальоны, телеграфисты, вагоновожатые — все своими отдельными колоннами, то сапёры, не в лад празднику, несут знамя с Георгием Победоносцем, и множество непривычно красноголовых женщин: простой красной бязью как платками повязаны головы, и даже целые колонны из таких, а у распорядительниц и юбки красные, шутили с тротуаров: «малывинские бабы идут». А пожалуй самая демонстративная улица — Большая Конюшенная: вся забита озабоченной многотысячной очередью к городской железнодорожной кассе, перегорожена шествиям и даже прохожим.

Но было и острее к сердцу. Плакат: «Свободная церковь — свободному народу», а за ним — батюшка ведёт две сотни школьников, и они надрываются тонкими голосами: «Отречёмся от старого мира!» С тротуара спрашивают: «Батюшка, а что такое свободная церковь?» Отвечает уверенно: «Без обер-прокурора, и всё выборное. Вот, Григория Петрова в епископы». — «Так он же не монах». — «Так именно каноны и надо пересмотреть народным сознанием». — Да не в одном месте эти юнцы с революционными песнями, поют по записочкам в руках: «Иди на врага, люд голодный». А есть — и шестилетние. С тротуара: «Сечь их надо, а не по улицам вести». И реалист отвечает гордо: «Мне десять лет, а я гражданин, а вам пятьдесят, а вы холоп». И мальчику аплодируют.

Кажется — мирные улицы, уже отошедшая революция, сплошной радостный праздник.

А — страшно.

Да если хорошо приглядеться — есть, есть невесёлые лица, прикрытые, стянутые, не смеют проявиться.

А сколько вообще не вышли, чтоб этого не видеть? (А сколько — переоделись, как Ольда, попроще, — в хорошей одежде становится на улице неудобно.)

— У Николая Романова в банке 36 миллиардов...

— Да ежели только собрать налоги с буржуйских домов, так и будут миллиарды.

— Капиталистам продиктуем диктатуру...

Шагают строем рабочие с ружьями. Лозунг — «Поголовное вооружение народа». С тротуара изумляются:

— Кого ж ещё вооружать? Уже и так 14 миллионов под ружьём.

— Вооружить пролетариат.

— А против кого?..

Ответа нет. Мирные шествия, весенний праздник — а против кого?..

И сегодня тоже завернула Ольда Орестовна к Кшесинской: какое-то гнездится в нас влечение к опасности, или взрыву, или ядовитому укусу. И нигде не стеснялись ленинцы, но тут особенно. С весёлой музыкой пришла колонна матросов с роскошным шелковым знаменем — «РСДРП — Кронштадтский комитет». Подняли знамя на балкон — и матрос долго объяснял, что про Кронштадт лгала буржуазная печать, никаких там кровавых расправ не было и никакой отдельной республики.

— Но мы, кронштадтцы, не допустим, чтобы дело свободы сорвала кучка буржуев. Мы не выпустим оружия из рук, для нас Ленин — личность святая.

Публика требовала, чтобы выступил сам Ленин. Отвечали, что нет его, он на Марсовом поле. «Неправда! Мы были на Марсовом, там нет никакого Ленина!»

Следующий:

— Мало говорить «долгой Временное правительство»! Надо идти и свергнуть его, и взять средства производства в свои руки. А Николая Второго — на фонарь!

Когда же с улицы слишком шумно возражали — большевицкий оркестр играл марсельезу и заглушал. А потом — новый кронштадтский матрос:

— Товарищи! В нас — сила. Мы хотим отомщения за нашу кровь от 1861 года до 1905. Если будет нужно — в Петрограде снова загрохочут пушки. Крови — ещё много будет!

Так откровенно всё говорилось — и почти никому не слышимо?

С годами мы так меняемся, что не только не узнаём самих себя — своих былых фотографий, своих когда-то записанных мнений, это бы ничего: всё развивается и в развитии меняется, — но в старости обидно вспомнить, как целые периоды, целые периоды твоей жизни направлены были не туда, потеряны были не на то, —

обидно именно сейчас, когда так дорого последнее время — а нет его, когда так нужно, несравненно нужнее всего прежнего хоть сколько-нибудь сил — а нет их.

Почему так важно было столько сил убить когда-то на дискуссии с Михайловским? — разве в нём была истинная опасность? Или как мог сомкнуться с этим мелочно-злым деспотом Лениным — и на 2-м съезде партии, и потом после *ликвидаторов*, и казалось, что они надолго вперёд заодно? А вот, в исторические и роковые дни России — кто выявился для неё коварнее, чем этот Ленин?

И недолог срок человеческой жизни, но и не так уж мал. И сколько раз за него мы успеваем повернуться и измениться? Мать (Белинская, отдалённая родственница критика) направляла к религии, отец ото всех 13 детей (от двух жён) требовал: трудиться! (Мелкопоместный, 200 десятин земли.) А Георгий, старший от второго брака, слушая о военных подвигах отца, отринул быть штафиркой, замечтал стать полководцем, и в 9 лет — в воронежскую военную гимназию, и там проглатывал военные книги, впрочем уже вступал и в диспуты с законоучителем. Потом — Петербург, Константиновское юнкерское училище и страстное подражание старшему единокровному брату Митрофану — выпускнику Академии Генерального штаба, блестящему офицеру, пессимисту и скептику под образ лермонтовского Печорина. (И загадочно кончил самоубийством, в Киеве, в саду св. Владимира.) Но уже и юнкером Георгий отклонялся ко взглядам демократическим и революционным. (Приехал домой, а мать склоняется продать землю не крестьянам, ниже цена, а купцу. Помешал: тогда сожгу хлеб у купца и объявлюсь властям. Продали крестьянам.) А желание быть полководцем — растерял. Окончив училище, выхлопотал освобождение от офицерской службы — и в 17 лет поступил в Горный институт. При смутных представлениях о народе — он жаждал идти в народ. И очень стеснялся: как это надо делать? Начал вести занятия с петербургскими рабочими. Кое-кто из них, а больше учащаяся молодёжь на праздничный Николин день в декабре 1876 года устроили демонстрацию у Казанского собора — и тут Плеханов выступил со своей первой революционной речью, ставшей знаменитой в истории России. А после неё при возгласах «да здравствует Земля и Воля!» развернули красное знамя, тоже первое в русской истории. Подступивших полицейских даже обратили в бегство. После того дня были аресты, но Плеханов ускользнул.

Три года жил по подложным документам. Пытался стать деревенским учителем по подложному аттестату. На рабочих похоронах в Петербурге студенческой группой отбили от ареста рабочего оратора. Искал, где мог, благоприятных случаев для агитации в народе. Ездил и на Дон, где казаки волновались против вводимого земства. Несколько раз задерживался полицией — но всегда удачно отпускали. Весной 1878 написал программу партии «Земля и Воля»: продолжать титанов народно-революционной обороны — Болотникова, Булавина, Разина, Пугачёва. А через год против этой программы пробилась мысль Александра Михайлова: работа среди крестьянства — медленна, трудна, это бочка Данаид, надо не агитировать в массах, а — наказывать и дезорганизовывать правительство, и тем мы достигнем народной свободы. И Ткачёв тоже призывал к прямому захвату власти революционным меньшинством, к диктатуре революционеров. Так — всё меньше верили в способность народа добиться чего-нибудь собственными силами, из народничества — вытравливалась вера собственно в народ! Плеханов воспротивился. Он соглашался на террор частичный — фабричный, аграрный, но лишь как дополнительное средство к агитации народных масс. И — ушёл с землевольческого съезда в Воронеж, создавал «Чёрный передел». Тот быстро умер, но из него пошли ростки российской социал-демократии. Эти три года Плеханов жил нелегально, и даже готовился не отдаваться в руки полиции без вооружённого сопротивления (не пришлось) — а в начале 1880, когда в Петербурге ожидалась массовая проверка паспортов, — выехал за границу, вместе с женой Розалией Марковной, курсисткой-медичкой.

А наверно — роковая ошибка. Выезжаешь — думаешь: на несколько месяцев, вот переждать сплошную проверку, кажется — опасный короткий период. Опасными кажутся — лишь преследования от царского самодержавия. А не знаешь, какой это сухой, выматывающий и бесплодный ужас — эмиграция. Уезжаешь — на несколько месяцев, и кто бы тебе прошептал: на 37 лет! Сразу — туберкулёз (и вечный бронхит). Безденежье (твое писательство нигде ничего не зарабатывает). Кормит — жена (а ей ещё надо добиться диплома доктора). Из трёх дочерей одна умерла, две растут почти не зная русского языка. Порыжелое пальтишко, жалкий костюм, бахрома брюк. Швейцарское правительство высылает (жена остаётся работать в Женеве, Георгий Валентинович — через границу, во французской деревне). Потом высылает и Фран-

ция. Лондон. Потом Швейцария разрешает вернуться — и 22 года там. (Даже и в Пятом году не было средств подняться на поездку в Россию.)

37 лет — нищеты и выживания. А какая долгая духовная история этих же лет. После убийства Александра II — сочувствие к разгромленным народовольцам, надо их поддержать. Союз с Тихомировым. Потом разрыв с Тихомировым. «Освобождение труда». Poleмика, полемика с народниками. И против изменника Струве. Подрастают молодые революционные марксисты — и с ними не в одно, полемика и с ними. Только создали партию — раскол. Потом хлипкое соединение. Опять раскол. А уму — простор десятилетий, есть время читать, обрабатывать чужое, думать своё. Маркс выводит понятие красоты только из производственной деятельности — узко. Почва красоты — несравненно шире, и даже может быть — биология? раса? Горький пишет предельно пролетарски-выдержанную «Мать» — но это бездарно тенденциозно. А Ропшин едва не заражает нас ренегатством от революции — но объективно это допустимо в искусстве. И какая-то сила затягивает в глубь веков — XVIII—XVII—XVI века, «История русской общественной мысли». Ты остаёшься верен своим революционным взглядам, но родная история ещё по-своему и по-новому оmyвает. А родной язык из древности — учит писать не так, как пишем мы наши брошюры.

Жил на родине — понимал её как поле агитации и боя, освобождение народа. Надо лишиться её — на десять лет, на двадцать, на тридцать, — чтобы ты с удивлением увидел, что любишь её даже такую, как она есть сейчас, — растоптанную самодержавием. Да наверно, вот это чувство родины удержало и в молодости вне террора народовольцев (хотя ведь и он тренировался когда-то, истыкивая табурет кинжалом, и восхищался чигиринской мистификацией). Не мог заставить себя быть пораженцем в японскую войну. А началась великая европейская война — и немецкие, французские социал-демократы поддерживают свои правительства, как бы к ним ни относились, — а что же мы? отринутей? безродней? Столько лет призывал Плеханов через Интернационал: душить Россию международной изоляцией, не давать ей ни кредитов, ни чего другого. А теперь написал социал-демократу думцу: голосование против военных кредитов было бы изменой России, голосуйте за. И предостерегал русских рабочих от революционных

действий во время войны: это равнялось бы измене. Он обнаружил в себе чувство края — края гибели для родины.

И такой поворот совсем не лёгок: три четверти российских революционных эмигрантов ощерились на Плеханова как на предателя Интернационала. Сколько грязных оскорблений от грубого Ленина из Цюриха, от ядовитого Троцкого из Парижа — и за что? что Плеханов и его группа признали право народа защищаться, если на него напали. Такой «интернационализм» — несложная премудрость убогого состава. (И почему-то Троцкий всё поливал грязью только союзников, а Германии всё прощал, даже потопление санитарной «Лузитании».)

Но воссияла Февральская революция — и насколько же ещё дороже стала родина! и насколько достойнее защиты!

Так вот когда настал год и час возвращения! (Уже думал и не дожить.) И каким же кружным путём! — из Италии в Париж, из Парижа в Лондон. В Северном море не только страдал от морской болезни, но пережили тревожные часы, боялись немецких подводных лодок, из предосторожности все надевали спасательные пояса. А как нарастало волнение, когда поезд подходил к Петербургу! — не просто возвращённая Россия, но — свободная! А с другой стороны, Георгий Валентинович понимал, что и сам он никогда, никогда ещё не был так нужен России и русскому рабочему классу, как сейчас: объяснить ему путь в минуту наибольшей и наигубительной опасности. С пьедестала его несравненной жизни — как же будут его слушать! Может быть, он помирит всех социал-демократов, или даже всех социалистов. Очевидно, придётся войти во Временное правительство. И возглавить Совет рабочих депутатов.

Для скромного эмигранта встреча на вокзале была ошеломительна. Уже близ полуночи — а тут оркестры, делегации воинских частей, от заводов и фабрик, от союза журналистов, помощник градоначальника (передаёт привет от Керенского, который сам приехать не мог), вся верхушка Совета, и верная Засулич уже тут. Еле пробились под аплодисменты в парадные комнаты, где Чхеидзе произносил приветственную речь. А Георгий Валентинович только мог ответить: «Мне, первому поднявшему красное знамя сорок лет назад на Казанской площади, особенно приятно видеть эти красные знамёна. Сколько их! Теперь смерть была бы завидной для меня, но я хочу поработать для дорогой родины. Наши воины показывают, что не допустят возвращения к старому режи-

му — и я этому верю. Начальство погибло, а отечество осталось». И ещё приветствия, и подняли на руки, понесли к автомобилю. На площади за Финляндским вокзалом такая огромная толпа, что автомобиль с трудом двигался. Но и это не всё — теперь поехали в Народный дом, где шло Всероссийское Собрание Советов, и под гром ещё новых аплодисментов, уже без десяти час ночи, вывели Плеханова на сцену.

А он — уже ничего не мог говорить, ни единого слова произнести. Вот, соотечественники — рабочие, солдаты и социалисты, готовы были беспрепятственно слушать его на родной земле — а он потерял дыхание. Исыкали его силы. Исыкали за 60 лет. За 37 лет эмиграции. Вот когда они были нужны, его силы! а сейчас — мог только поклониться молча залу. И еле стоял на ногах, его поддерживали.

Измученный дороною, он, при уходе Розалии Марковны, пролежал сутки, отдыхал — и в воскресенье днём отправился на Собрание Советов в Таврический дворец. Нельзя сказать, чтоб силы были, но говорить мог. Необычайное волнение, только вдуматься в это: в самой России открытое собрание истинных представителей трудящихся классов! И вот в думском зале они стоя бурно рукоплескали ему — вот во что преобразился его первоначальный митинг у Казанского собора! Теперь уже не от безсилия, а от волнения он опять еле говорил:

— ...революционное поколение, которое в продолжении десятков лет боролось под красным знаменем, не теряя веры в русский народ, когда вся Россия, вместо того чтобы поддержать революцию, молилась за царя... А нас, социал-демократов, была небольшая кучка, над нами смеялись и называли утопистами. Но я скажу вам словами Лассаля: «Нас было мало, но мы так хорошо рычали, что все подумали, что нас очень много». Я, неисправимый сторонник научного социализма, сказал в Париже в 1889 году: «Русское революционное движение восторжествует как движение рабочего класса или никогда не восторжествует». Все удивлялись: что за несчастный характер, как можно верить в русский рабочий класс, другое дело — в русскую интеллигенцию... И вот, когда я имею неизреченное счастье стоять в свободном Петрограде и обращаться к российскому пролетариату, — я спрашиваю вас, товарищи: где же эта утопия, в которой нас обвиняли?... Старый царский режим, весь изъеденный, можно сказать, молью и червями,

режим, покрытый безпримерным в России позором... Когда я вступил на Финляндский вокзал — какую музыку я услышал? — марсельезу! ...это французские идеи, которые дали росток на другом конце Европы более чем через сто лет...

И — добродушно шутил о присутствующих французском и английском социалистах, — и, взявшись с ними за руки, стоял перед ливнем пролетарско-солдатских рукоплесканий.

Он произносил речь со всем возможным тактом, чтоб не обострять возможных тут разногласий. Но и не миновал свою новейшую веру, по которой так ожесточённо уже пришлось поспорить:

— Меня называют социал-патриотом. А что это значит? Человек, который имеет не только определённые социалистические идеалы, но и любит свою страну. Да, я люблю свою страну и никогда не считал нужным скрывать это.

Ничуть не аплодировали. В зале наступило молчание, и шёпот, шёпот.

— Я уверен, никто из вас не встанет, чтобы сказать: это чувство должно быть вырвано из твоего сердца. Нет, товарищи, этого чувства любви к многострадальной России вы из моего сердца не вырвете! По своему происхождению, товарищи, я мог бы принадлежать к числу угнетателей, к ликующим, болтающим, обгаряющим руки в крови, но я перешёл в лагерь угнетённых, потому что любил эту страдающую русскую массу.

И всё остриё сегодняшнего разногласия:

— Было время, когда защищать Россию значило защищать царя. Это было ошибочно по той причине, что царь не хотел защищать Россию, портил национальную защиту. Но тем более теперь, когда мы сделали революцию, нам надо всемерно бороться против врага внешнего, против Гогенцоллернов...

А вернулся домой — это недоверчивое молчание проработалось в нём, показалось — чего-то он не договорил. И ещё на другой день, уже простуженный, поехал сказать несколько слов перед закрытием Сопения: на Западе тревожатся, не внесёт ли революционная Россия большого беспорядка в управление страной. Нет, русская демократия — политически зрелая.

И — окончательно заболел. Сказался резкий переход от благословенного климата Италии к ужасному петербургскому. И уже из постели руководил своим «Единством» и наблюдал за разрушительными усилиями приехавшего Ленина. Плеханов со своей

группой и газетой оказался теперь далеко не левым, а как бы в центре — в самом благоразумном центре. Из номера в номер и развивали (когда были силы — писал статьи сам, но чувствовал, что и перо его слабеет, нет былой хватки): о войне — что она вызвана австро-германской буржуазией, их победа привела бы к восстановлению у нас монархии; германский народ не восстал — и нам необходимо покончить с прусским милитаризмом; эта война и раньше была делом народов, а после революции тем настоятельнее, мы защищаем свой насущный интерес; и о сути революции — состояние общества исключает переход к социалистической революции; время раскола придёт, но оно ещё не наступило, революция дружно сделана единением всех слоёв; она сейчас носит буржуазный характер, и было бы безумием для рабочего класса захватывать власть, это возможно станет тогда, когда он поведёт за собой большинство страны, а сейчас социалистам разумнее всего самим войти во Временное правительство.

Он думал так, и даже ещё прямее ответил на вопрос, возможно ли его личное участие во Временном правительстве: никакого предложения я не получал, но принципиально не вижу возражений; по пути, во Франции, говорил с Гедом — он тоже не видит.

И это было повсюду напечатано, намерение Плеханова ясно. И шли дни, простуда его не могла быть помехой в переговорах — но никто не приходил с предложением.

Странно.

А каждая фраза «Единства» была острой конфронтацией с Лениным, с его анархическим бредом по развалу России. Его призывы к братанию с немцами могут с корнем вырвать молодое нежное дерево нашей политической свободы. И тут другое странно: хотя никто из социалистов не разделял взглядов Ленина, но, кроме «Единства», никто и не спорил с ним на полное разоблачение — все смалчивали, уклонялись или выражались как-то особенно мягко и неопределённо. А «Правда» с несравненным ленинским нахальством перешла сама в наступление. Георгию Валентиновичу не сразу и показали: «Правда» к приезду Плеханова напечатала развязный гнусный стишок с намёком чуть ли не на полицейские симпатии:

Ты наш великий пропагатор,
Ты социал наш демократор.
Привет от преданных друзей.
Гамзей Гамзеевич Гамзей.

(Потом Каменев публично соврал, что редакция сожалеет, стихи появились «по недосмотру».)

Разумеется, не призывал Плеханов бороться с Лениным иначе чем словом. Сторонников старого строя — этих следовало бы высылать на север. Против слухов о погромной агитации в Бессарабии и Киевской губернии они вдвоём с Чхеидзе напечатали воззвание — положить конец гнусной попытке деятелей чёрной сотни! С потенциальными громилами надо поступать по всей строгости закона. Анархическому же сектантству ленинцев надо противопоставить начала научного социализма. Но всё же — противопоставить. А это — никем не делалось. Чернов близоруко упражнялся в снисходительной иронии к «буржуазным страхам» от Ленина.

Только через две недели по приезде к Плеханову явился представитель правительства — министр Некрасов. Но приглашать отнюдь не в правительство, далеко от этого: возглавить комиссию по улучшению материального положения железнодорожных служащих!..

Первые минуты было нестерпимо обидно, такое впечатление, что над ним смеются. Но взял себя в руки и смирился: всё же это есть конкретная забота о положении пролетариата, и даже научный вождь не должен этим пренебрегать, это как бы малая частица того министерства труда, в которое прочила его молва. Смирился — и согласился. И съездил на конференцию железнодорожников, выступил там.

Согласился, потому что решил перенести свою деятельность в Совет рабочих депутатов, вступить в Исполнительный Комитет. Дал знать об этом. Оттуда пожелали формального заявления от группы «Единство», вместе с Дейчем. Подали такое.

Но — чудовищно! Исполнительный Комитет был — дети его, две трети учились по его книгам. И он один мог принести им давний социалистический опыт. Он один мог объяснить им настроения сегодняшних западных социалистов. И вот, голосованием 23 против 22 отказали «Единству», и лишь 27 голосов набралось: пригласить Плеханова лично, но только с совещательным голосом.

Кто б ему сорок лет назад предсказал такое?..

Интриги большевиков? Нет, шире: исполкомовцы не могли ему простить откровенно высказанного «социал-патриота». А *кто*

они сами? *От кого* они входили? От каких-то мифических групп, а то просто сами от себя — Суханов, Стеклов, Кротовский, Лурье, да три десятка таких, от кого? Теснятся у кормила...

Так надо было 40 лет провести в изгнании, чтобы теперь мальчишки отталкивали его? Столько лет томиться в эмиграции, чтоб не иметь сил никак повести события на родине?

В этот раз — не смирился. Обиделся. Отказался.

Нет сил... Недоберёг. Перетратил их когда-то, может быть, и по ложным направлениям? и в ненужных дискуссиях?

Впрочем, и здоровье сильно сдало. Врачи советуют переселяться в Царское Село. И придётся.

А сегодня был — великий праздник, впервые в России открытое Первое мая. Звали Георгия Валентиновича выступить на нескольких митингах — в Мариинском театре, в цирке Чинизелли. А ехать — не мог. Отказали силы у самого порога будущего. На митинг «Единства» поехала Роза, прочесть его обращение. А ещё он написал письмо обещающей молодёжи, артели социалистического студенчества: «Для международного пролетариата очень важно, чтобы к нему примкнуло как можно больше людей высшего образования. Социалистическая революция предполагает долгую просветительскую работу, об этом забывают у нас теперь — и зовут сразу к захвату политической власти...»

Поймут ли? Вникнут ли?

На улице шёл праздник — Георгий Валентинович лежал в постели на спине, смотрел в потолок. Ведь он — был участник того парижского социалистического съезда в 1889, когда и установили праздник 1 мая. А вот когда первый раз на родине открыто... Ну да это нездоровье — наверное же, не надолго.

Порой доносились через форточку оркестры, революционное пение. Этот День — возвышает тружеников над прозой житейской суеты.

Заходили друзья — взволнованные, очарованные, рассказывали. Марсово поле — как людской океан. Тысячи красных знамён, дюжина оркестров там и сям, кто марсельезу, кто оперную музыку. В разрядку расставлены грузовики под красной тканью, и с них митинги. Перемежаются в ораторах — солдатская шинель, рабочий пиджак, крестьянский тулуп, еврейский длинный сюртук, ряса. Говорят, говорят без конца, с крупными жестами. Слушают напряжённо, наивно, не перебивая. Много речей о разделе земли. Но есть и знамёна «долой войну».

— Говорят: на Пороховых Ленин призывал захватывать заводы и фабрики, готовиться к диктатуре пролетариата...

Ах, сумасшедший! Да кто ж его уймёт?

— А у Казанского собора?

— Член Совета Бройдо энергично нападал на правительство: «Если бы мы захотели, то через два часа свергли бы это правительство и взяли власть в свои руки!» — «А вы не боитесь, что ещё через два часа и вас свергнут?» — «Нет, мы — народ, нас свергнуть нельзя!»

У Казанского собора!

И как же через эту сумятицу умов донести: и отечество в опасности, и социализм в опасности. Товарищи! если мы действительно стремимся к свободе — то какие между нами могут быть разногласия?..

НЕ НАД МЕРОЮ ПЛАЧУТ — НАД ПРИГОРШНЕЙ

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ — ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ АПРЕЛЯ

41

Севастопольское чудо! — так уже называли в Петрограде первые успешные революционные недели Колчака. (Более успешные — мартовские, в апреле уже появились тени.) Повсюду в России пошёл развал — а Севастополя как бы не касался!

Это началось с того объединённого откровенного офицерско-матросского собрания, которое толчком изобрёл Колчак, и той ликующе-дружественной мартовской ночи, когда встречали опоздавшего думского делегата Тулякова, а он по приезде держался очень просто и искренно нёс социалистическую галиматью, тут же возник первый революционный комитет во главе с бойким вольноопределяющимся Зороховичем из крепостной дружины (потом оказалось — сыном симферопольского коммерсанта, он весьма успешно проявился и в первой севастопольской делегации в столицу). И Колчак, не без совета подполковника Верховского, понял, что надо действовать быстрее всяких возможных захватчиков снизу: самому же первому создать матросские комитеты на судах, солдатские в командах (две трети от команд, треть от офицеров), — а из них через день соорудился и центральный военный исполнительный комитет, в полном доверии к Колчаку, — и одним из первых решений было: запретить всякую торговлю вином в Севастополе и преследовать скрытую. Вместе с Верховским выработали новые демократические правила судовой жизни, и Колчак приказом придал им силу закона. А гвоздь был: что любые решения комитетов должны утверждаться и центральным комитетом, и Колчаком, а без этого недействительны. И севастопольский Совет принял такой порядок!

Так весь переворот завершился в 3-4 дня, боеспособность флота и крепости не была нарушена ни на час, корабли тут же стали выходить в море и держать блокаду анатолийских берегов, как ес-

ли б революции не было. И севастопольский военный комитет поспешил сам заявить, что Россия может спокойно смотреть на свой южный фланг.

Не меньше умения, чем к матросам, надо было спешить проявить и к офицерам: преодолеть их кастовость, косность. Требовал от них как можно больше идти в матросскую толщу, не чуждаться — и разносил офицеров крепости, что у них не хватает нервов всё время «пребывать с хамами». И вот — вражды между офицерами и матросами не легло, и по всему Севастополю взаимная честь отдавалась даже с изысканной тщательностью, и с предупредительностью к офицерам. Вот в вагоне трамвая солдат закурил иумышленно-нагло пустил дым в лицо отставному генералу, — матрос остановил трамвай звонком кондуктора: «Как смеешь, негодяй, перед заслуженным человеком? Вон из вагона!» Несколько солдат в вагоне запротестовали, но матрос махнул в окно морскому патрулю — и солдату пришлось поспешно убежать.

На улицах города — образцовый порядок, при патрулях. И ни единый красный флаг не был поднят в Севастополе, только перевернули национальные, так что красная полоса стала верхней.

Но всего удивительнее проявились севастопольские рабочие — ещё сознательней команд. Они заявили, что будут поддерживать Колчака и отказываются от 8-часового дня, а будут работать, сколько понадобится для флота. Их отдельный совет не слился с флотским, отношения с адмиралом были наилучшие, а когда в апреле среди матросов повеяло первым заразным ветерком «ликвидировать войну» — из рабочего Совета приходили в команды стыдить и успокаивать.

И как же сложилось всё это чудо? Колчак верно знал, что главной тягой было его личное обаяние во флоте, он был — как флотское знамя или хоругвь. Матросы чувствовали в нём своего прямого вождя и защитника, минуя даже всех офицеров, — и этого не возместишь никакими комитетами и комиссиями. Каждый шаг, движение и фразу перед матросами Колчак производил с уверенностью — и всегда выигрывал. Его и любили — и продолжали бояться. Сказалась и дальность флота от столицы, изолированность от центров бунта, и что Черноморский флот круглогодично бывал в боевом напряжении.

В ответ на немецкие радио и прокламации с аэроплана — Колчак обратился в середине марта к флоту и севастопольцам: «Агенты неприятеля работают изо всех сил, чтобы расстроить удиви-

тельный порядок и спокойствие у нас. Отнеситесь со спокойным презрением к этой работе врага». И, пока столичный Совет торговался об отмене присяги Временному правительству, Колчак построил на Куликовом поле под городом все флотские команды и гарнизон — и с чистой совестью читал присягу вслух сам, а десятки тысяч уже повторяли.

Адмирал и думал так: восстановление прежней династии, конечно, уже невозможно, и трудно представить, чтобы стали выбирать новую, как в Смутное время. Колчак служил не той или иной форме правления, но — родине своей.

Все комитеты были настроены патриотически. Центральным военным руководил лётчик Сафонов (по совпадению — дорогая Колчаку фамилия), рабочим Советом — Васильев, всем Севастопольским — приехавший из ссылки бывший каторжанин Конторович — лет сорока, с полуседой бородой, социал-демократ, а разумный. Перевёл адмирал Совет из скромной приёмной штаба крепости во дворец, только что построенный для командира порта, — и с его балкона Конторович взывал сохранить безкровную революцию в чистоте — и ему отвечали «ура».

Да вот теперь и среди других комитетчиков узнавал Колчак об одном, другом и третьем, что они — эсеры: некоторые только что вступили, а другие так и служили потаённо во флоте. Годами они бунтовали флот, а вот произносили открытые, совсем не подрывные речи (не один адмирал, и многие офицеры с сочувствием слушали), брались держать порядок во флоте. Вот как! — и в эсерах люди. Они же считали Колчака настоящим демократом и охотно согласовывали с ним все распоряжения. На всех их митингах он был всегда желанный оратор. (И знал: при любом митинге поднять боевой сигнал — и все тотчас будут на местах.)

И — горячо, убедительно получалось. А ведь никогда себе не ждал политической деятельности.

И — как же долго и непотребно могло такое отдельное севастопольское Чудо устоять?

Однако въезд в Севастополь из России открыт — и незаметно натягивались сюда какие-то тёмные типы, которых и эсеры считали врагами или агентами немцев. Но не было установленных средств и приёмов обуздать этих приезжих. И стали потягивать невидимые глухие течения — против военного исполнительного комитета. И подспудно потекла пропаганда, что офицеры — империалисты, обслуживают интересы буржуазии, которой только и

нужны Босфор и Дарданеллы. Уже в Балаклаве кто-то говорил, что офицеров, стоящих за войну до победы, надо побросать в бухту. Раздалось одно, другое требование об удалении, перемещении того, другого офицера, иногда и с резонном. Пока удавалось разумно улаживать.

Надеясь обо всём этом ясно и твёрдо объясниться с начальством, Колчак к 10 апреля пошёл в Одессу, где ожидался Гучков, неизменный старый друг флота. Увы, Гучков оказался там не только перегружен революционными парадностями, меж которыми не было времени воткнуть часовой деловой беседы, но добрался до Одессы и сильно простуженным. Повёз Колчака на заседание одесского Совета, где приветствовали «первого адмирала, примкнувшего к народному правительству». (Непенина, самого-то первого, уже не вспоминали.) И Колчак, с приобретенной теперь лёгкостью, подтвердил, что является сознательным сторонником демократического строя, а безболезненный переход к новым формам жизни вызывает веру в дальнейшее спокойное течение.

А поговорить серьёзно — не вышло. Даже о таких приёмах Гучкова, как телеграфное снятие начальника штаба флота Погуляева (за то, что был офицер свиты его величества) — вопреки мнению самого Колчака. (Колчак тогда телеграфировал: мотивировка недостаточна, Гучков настаивал: у петроградского Совета есть документы против Погуляева. Чёрт возьми, у какого-то петроградского совета против черноморского адмирала! — нельзя же так им поддаваться. А пришлось снять.)

Сказал Гучкову в Одессе: очень озабочен пропагандой неизвестных приезжающих лиц, под видом свободы слова. Гучков: у вас до сих пор так хорошо получалось, надеюсь справитесь и теперь. Колчак: но все средства борьбы отняты у меня постановлениями самого же правительства.

Однако Гучков был сильно-сильно болен, плохо воспринимал. Условились, что через неделю Колчак приедет в Петроград.

Неблизок свет — на столько дней отрываться от флота, когда столькое держится на самом Колчаке. Но надо же и решать всё. А тут узнал, что и Алексеев поехал на Северный фронт и, видимо, дальше в Петроград. Тем лучше, все вместе и встретимся. Газеты печатали, что Гучков уже выздоравливает и работает. Перед отъездом Колчак собирал делегатов команд — подбодрить. И в ночь на понедельник выехал из Севастополя, а сегодня в среду, 19-го, рано утром приехал в Петроград. И сразу же узнал, досада, что Гучков

не вовсе выздоровел, с делами справляется замедленно, сможет принять его только во второй половине дня. А Алексеев — да, ожидается завтра утром. Ну, ещё не так плохо.

Но по пути, в Орле, в петроградской газете Колчак прочёл о чудовищном распоряжении морского министра: всем во флоте снять погоны! Как можно было такое отчаянное решение принять, даже не посоветовавшись с Командующим флотом? Даже в ровное мирное время это было бы большое сотрясение (и при перемене формы всегда давался спокойный год для донашивания прежней), а сейчас, когда так неустойчиво держатся весы, — как же можно с размаху шлёпать такую гирию? И в самом беспомощном положении Колчак это встретил — в поезде. Разволновался — хоть возвращайся с пути. Но и пригонит в Севастополь уже поздно. Да и будь он на месте — ведь отменить этого нельзя, а только лучше приспособляться. Жалкая роль. И — что теперь в Севастополе от этого нового удара? А — в сухопутных частях флота? — даже и не сказано, не продумано.

А проехав Москву, прочёл в свежей газете ещё новое: что адмирал Колчак едет в Петроград, так как назначен командовать Балтийским флотом! Да что ж это делается? И — не верил, и поверил, и последнюю ночь по нервности спать не мог.

А приехал, сразу в Адмиралтейство, — и ничего подобного, утка. А приказ о снятии погонов? — его вырвал из Гучкова адмирал Максимов, отчаявшись остановить срывание офицерских погонов в Балтийском. (В министерстве в такой панике, что готовы хоть на штатское платье перейти.) Да так ли борются с опасностью? И, спасая своё, — раздёргать чужое? Максимова хорошо знал Колчак по Балтийскому: неумный, морально нечистоплотный, если не сказать грязная личность. И вот, в карикатурной форме, он как бы повторил путь Колчака: с начальника минной дивизии — в Командующие флотом, но при бунте. И оказывается, сегодня он тоже ждался к Гучкову, во второй половине дня. Ещё не хватало — совместно с ним совещаться.

Избежать. Просить Гучкова хоть на час раньше.

Гучков болен — и первые полдня провисали зря. Это нарушало и другие планы Колчака; он надеялся в этот приезд найти денёк промелькнуть ещё и в Ревель — к Анне Васильевне (она-то и была в девичестве Сафонова, а теперь — чужая жена), — но вот никак, наверно, не выкроить. Да застал в Адмиралтействе и тщательную регистрацию прибытия-убытия всех морских офице-

ров (видно — оттого что тайком бегут с кораблей). И — тоже неудобно...

После дневного завтрака Колчак из Адмиралтейства перешёл в довмин. И Гучков принимал его — лёжа в постели... Лицо обрякшее, старое, кожа с желтизной, и рукопожатие совсем слабое. Плохое начало.

Должен был Колчак докладывать о радостном состоянии своего флота? Или прежде высказать возмущение приказом о снятии погонов? Началось не с того. Слабым, медленным и мрачным голосом Гучков выразил ему, что Балтийский флот — под чёрными тучами, ждут повторения убийств, офицеры не находят себе места, во многом виноват адмирал Максимов, усвоивший самые скверные демагогические приёмы, — и Гучков сейчас велел ему остаться в Гельсингфорсе, а с докладом сегодня приезжал его начальник штаба и привёз новые матросские требования: чтобы суда управлялись не командирами, а комитетами; чтобы все командиры были выборные; и ещё другое в этом роде. И Гучков не видит другого выхода, как назначить командовать Балтийским флотом — Колчака.

Вот оно, нет дыма без огня.

И раздвоились и шатнулись чувства Колчака. Раздвоились — потому что он и вырос в Балтийском, и рос вместе с ним, сгорающе нетерпеливым возродителем. Душа Колчака ещё оставалась тут — но и как теперь оторваться от Черноморского?

Шатнулись — потому что: чем хуже в Балтийском — тем разительней, но и хрупче в Черноморском. Не мираж ли это? — может ли держаться? Если и армия не держится — то флоту ещё труднее выдержать удары революции, он — уязвимый организм, от дурного поведения одного матроса может погибнуть сразу целый корабль.

Ответил: я готов. Но боюсь, что в Балтийском ничего не изменю. А Черноморский — совсем не так благополучен, как кажется. Я не уверен, что и мой престиж сдержит. Кончится и там, как в Балтийском.

И так некстати — министр измучен, болен, а как же и не сказать? Разлагает и флоты и армию — ваша система. Ваши приказы, Александр Иванович. Вот — и приказ о снятии погонов.

Не с такой энергией это надо было выразить! Но тот — болен. И старый покровитель флота.

Гучков — лежал.

О переназначении — ещё подумает.

И в таком ли положении огорчать его тревожностями? Дезертирства у нас — ни единого случая, правда грозно умножились просьбы об увольнении в отпуск, чуть ли не массами хотят в отпуск. Боевая работа флота не прерывается ни на день. Стрельбы, тренировки, обучение команд. Миноносцы и подводные лодки несут дозорную службу. Успешно треплем турок. То налетают наши гидропланы на Босфор, то посылаем миноносец, и он захватывает шхуну. За последние недели наши лёгкие суда совершили ряд блестящих набегов на турецкое побережье. У Босфора наша подводная лодка потопила пароход с военными припасами, две груженные шхуны и одну барку. Разрушили портовые сооружения в Карасунде. «Бреслау» и не вылезает из Босфора, а «Гебен» всё лечится.

А всё это к тому, и мысль та, что: надо же брать Босфор! Если раньше десант был и важен и эффектен, то теперь он даже — повелителен: успешная операция на Босфор скрепит Черноморский флот, удержит от развала и сухопутную армию. Да скажем же Алексею: если турки будут знать, что мы неспособны наступать на Чёрном море, — они перебросят войска в Галицию, против него же. И нельзя откладывать решения: для операции подходят только июнь-июль. А на подготовку транспортов — ещё два месяца от получения приказа, так — немедленно, уже край!

А между тем: в марте Гучков распорядился не оборудовать транспорты под 2-ю и 3-ю десантную дивизии: они заняты перевозкой руды и угля. Но Колчак тогда же встречно телеграфировал, что для этого румыны могут дать на Чёрное море свою бездействующую в Килийском рукаве Дуная речную флотилию, так выиграем транспорты на две дивизии, но румыны не хотят дать. А пока с этими шквалыгами идёт торговля — Колчак получил директиву Ставки: поддержать флотом операции Румынского фронта в нижнем Дунае и у Добруджи: не справившись ни с чем на сухопутьи, они будут, видите, развивать великую операцию на Браилов. Как же можно расходовать золото по пятакам? что за бездарность, нет полёта мысли, нет цельного чувства русской славы! Для большой русской победы только одно решение: брать Константинополь! Гучков — ещё усталее, с вовсе потухшими глазами:

— Александр Васильич, операция на Босфор устарела уже морально. Революционная Россия не желает завоёвывать Константинополя.

— Да не завоёвывать! Но отнять же его у немцев! Для чего ж сохранился Черноморский флот?!

Всё тщетно. Гучков потерял напор.

Подносили ему, они тут вот какой ерундой занимались: переименование черноморских кораблей, невозможно оставлять императорские. В морском министерстве выработали: «Александр III» — «Свободная Россия», «Императрица Екатерина» — «Воля». «Цесаревича» — в «Гражданина», а «Пантелеймона» — обратно в «Потёмкина», «Кагул» — в «Очакова», как был при Шмидте.

Колчак никогда, ни в тяжкие дни в Ледовитом океане, ни в трудные часы Порт-Артура, когда сам от болезни едва на ногах, не применял к себе никаких послаблений, не прощал себе ни малейшего шаткá духа.

Но — и другим тоже.

И — Гучкову теперь. Он не смел так опускаться.

И — чего теперь ждать для Босфора от Алексеева? Или вот, допускается доложить о проекте завтра на заседании правительства. Так если Гучков оброхлился — что там с остальными?

Самый яркий шаг России в эту войну упускали бездарно — сперва при царе, потом в революцию. Все они, все они были не в темпе века — дремали в духе Десятилетия.

Прощай, Великая Россия!

(А то: и правда не выдержит Черноморский? Рухнет вослед за Балтийским?..)

Как побитый, перемолотый брёл Колчак в гостиницу «Бель-Вю» по Невскому, раскраснённому флагами вчерашней тут всеобщей манифестации. (А как прошло в Севастополе?)

И вот ведь что получалось: адмиралу флота приходилось ехать на приём не к министрам — а к социалистам, просить поддержки у бывших гнанных революционеров, вот времена! Но необычность времени ведёт и к необычности ходов. Говорят, Плеханов — самый знаменитый из всех русских социалистов и вместе с тем разумный русский патриот, необычное сочетание! Он в Петрограде. Поехать к нему. И просить прислать в Севастополь нескольких сильных уговористых агитаторов — чтобы пересилить этих тёмных пришлых типов. А у Керенского, завтра на правительстве, попросить таких же несколько эсеров. Введём их в цент-

ральный военный комитет, справимся и без Временного правительства.

Пошёл до Караванной, в гостиницу. Опять пропадали вечерние часы и ночь — и не поехать в Ревель.

Или — поехать?.. Наплевать на неудобно, на слухи?.. Но завтра среди дня соберётся правительство, не успеть?

С чем считаться? Не посчитался, что сам женат, и сын шести лет. (А женился на Софье Фёдоровне — много оглядывался? Куда-то всё страшно спешил. Был женихом перед первой экспедицией с Толлем, не успел. И женился наскоро перед Порт-Артуром и через несколько дней уехал туда. Как во сне. И вернулся — только из плена, больным.)

Не посчитался, что и Аня — замужем, и её сыну год. Не посчитался, что она на двадцать лет моложе. Не озирался, как это выглядит. Когда впивается страсть (не только к женщине — к Южному, к Северному полюсу, к Константинополю) и отливается в стрелу решения — уже не знаешь границ возможного, а всё — чтобы выполнить!

Аня Сафонова, дочь знаменитого пианиста и дирижёра, молодая, хороша, весела, была хохотливый центр их морского кружка, эссенского, когда они собирались на суше, — а на суше моряки и собираются веселиться. (В штабе же Эссена вместе с Колчаком служил и муж её, Тимирёв, её троюродный брат.) Летом 15-го жили на смежных дачах на острове под Гельсингфорсом. (Когда подходил к Гельсингфорсу и знал, что увидит её, — он казался лучшим городом в мире...) За ней — все офицеры ухаживали, и тогда ещё поведение Колчака не давало повода думать, что он захвачен глубже. Но всегда не могли наговориться, сидя рядом. «Будет ли ещё так хорошо, как сегодня? Хотя бы не расходиться». А один раз вечером — Гельсингфорс затемнялся, освещался синими лампочками — встретились в дождь на улице, постояли две минуты, разошлись, — но что-то особенное произошло, почувствовал он, хотя не знал что. (Она потом: «вдруг подумала: а вот с *этим* — я бы ничего не боялась; и какие же глупости в голову придут».) А вот — она уже выговаривала ему, что он однажды ухаживал за другой. А вот на вечере в собрании, все дамы были в русских костюмах, он попросил её сняться, подарить ему карточку — и повесил у себя в каюте (она знала), и только её одну — ни жены, и ни единого адмирала.

А в прошлом июле назначение на Черноморский флот застало его в Ревеле — и были сроки малы и сдача минной дивизии, не мог и переехать через залив, — так внезапно приехала в Ревель она (узнала)! И три вечера — с вечера до утра — они встречались. В парке Катриненталья, при летнем морском собрании, гуляли по аллеям, сидели за столом, и никак не могли наговориться. В первый вечер он просил разрешения писать ей. Она разрешила. Он уезжал на юг совсем, война, казалось — уже не встретятся. И во второй вечер она сама первая сказала, что любит его. Он ответил, изменяясь: «Я не сказал вам, что люблю вас». — Она: «Но это я говорю. Я — всегда хочу вас видеть. Я всегда о вас думаю. И вот выходит, что я вас — люблю». И он: «А я вас — больше чем люблю». И — снова по каштановым аллеям Катриненталья, под руку. И снова возвращаясь к залу собрания, где люди. (Её муж — в плавании, а Софья Фёдоровна в Гельсингфорсе.) И — горько. И — сладко. И — ничего больше.

И в первые же дни из Севастополя послал нарочным матроса-великана с тонким письмом к Софье Фёдоровне, с толстым пакетом к Ане. (А все сидели на ступеньках одной террасы и получили рядом.) Таких писем он никогда не писал, неделю подряд — и в Ставке у Государя, и в поезде, и в море, когда сразу же погнался за «Бреслау». Писал ей и о задачах своих, и что нашёл во флоте, и как мечтает её увидеть. И потом — почтовые письма обеим, и оказией через морской штаб, и всегда — одно тонкое и одно толстое. И отвечала Аня, что живёт от письма до письма, как во сне, и не думая ни о чём больше.

Осенью Софья Фёдоровна с сыном Ростиславом переехала в Севастополь. А мужа Анны Васильевны перевели в Ревель, и теперь они там.

Ко дню именин её в феврале он заказал ей в Ревеле по телеграфу корзину ландышей.

И сама Аня — как эти ландыши. Эта нежная её воздушность, её колокольчатый смех — вытягивали нити из сердца.

И — страх, и — страсть: разломать сразу две семьи. Двух сыновей лишить отцов (ибо каждый должен остаться при матери). Лишиться Славушки, а принять её сына.

И — не казалось невозможным!

И — даже на волнах революции.

И для этого — броситься в Ревель сейчас!

Но — его ждал Черноморский флот. На шатком перевесе. Где день без Командующего может стать катастрофой. А завтра утром придет Алексеев. Ещё один бой за Константинополь.

А может быть, увидев этих эфемерных министров, соединённых в заседании, — можно убедить их соединённо? Босфорская стрела, уже отлитая, торчала из груди.

ДОКУМЕНТЫ — 14

19 апреля

ПОСОЛ В БЕРНЕ РОМБЕРГ —
В ГЕРМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

250 русских эмигрантов просят понизить стоимость билета, назначить умеренную общую сумму за весь специальный поезд.

19 апреля

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ — ПОСЛУ РОМБЕРГУ

Просьба установить, какую долю издержек должно будет понести министерство иностранных дел.

42

Да в руки бы не брал Воротынцев этих газет, если бы не теперь, когда они стали наиболее мерзкими, — в них-то и содержались все главные гнусные новости, без которых не шагнёшь. Сегодня не разбираться в политике стало — как брести бы боевым полем, не зная свойств огневого оружия. И на этом незнакомом поле надо было освоиться и действовать.

Одна левая газета хлётко назвала офицеров — «политическими младенцами».

И ведь — верно.

Хотя воистину политические младенцы — это правительственные ораторы да петроградские журналисты: как же они рассчитывают, что «от революции восплает боевой дух»? Сами же разваливают страну — и сами же безумно толкают Армию воевать и дальше.

Вчера опубликовано создание «полковых судов», теперь это они будут решать — наказывать или не наказывать солдата за то, что ушёл с поста, потерял оружие, не выполнил приказа. А вон уже один полк публиковал, чтобы дезертиры, *поступившие на службу в другие части*, хотя бы сообщили в свой полк!..

Да — оставалось ли само в р е м я? — спасти Армию.

Съездить в Минск к Гурко — пока не сложилась командировка, не вышло. Да у него там, вот, неделю бушевал несуразный фронтовой съезд депутатов, и, судя по газетам, Гурко не раз был занят им.

Ещё от ужасного первомартовского дня в Москве появилось у Воротынцева впечатление, что русское офицерство — вдруг переменялось от одного обрубца: как будто мигом утеряли и блеск, и ту буйную лихость, отчаянную самоотверженность, и самые лихие офицеры внезапно превратились в мокрых куриц. Это — и на себе, и на многих, и оно подтверждалось дальше.

Больше всего подкосила офицеров внезапная и не ожидавшаяся ими вражда от солдат. Те прежние безответные и на всё готовые солдаты — как же они переменялись! Эта даже непримиримость, эта даже ненависть к офицерам, которой никогда не знали раньше, — казалась чудовищной: откуда?! Мы воюем третий год рядом, нас уравнивает смерть, — так откуда же? Поздним сознанием осеняло: они видят в нас, и не первый век, — бар! и этого одного уже не могут нам простить никогда. Баре в военной форме — и ещё загоняют продолжать войну. И в офицерских головах, как модно сейчас, неспуста встают исторические картины: как шли по Франции ревушие народные толпы и несли на пиках головы дворян... Как с моста бросали в Рону аристократов... (А — какие тут бары? Дворянство уже десятилетиями отклонялось от военной службы, кроме гвардии, — не столько-то дворян в офицерстве. В Верховном Главнокомандовании, на фронтах, на армиях — почти одни разночинцы, и — ни одной знаменитой дворянской фамилии. Но — не прощалось за прежнее теперь ничто никому.)

А если не солдатская вражда, не всегда вражда, то недоверие — сплошь, и с каждой неделей сильнее. И служба офицера становится сплошное мучение. Уже и офицеры теперь настолько не верят солдатам, что боятся идти с ними в атаку: застрелят.

Воротынцев не упускал случая поговорить с проезжими, приезжими из частей офицерами. Собрать их настроения от обстановки, сменной ко дню ото дня.

И поправилось его впечатление так: нет, не подавлено, не погребло офицерство разом всё, но — *раскололось*. Единого императорского офицерства — вот за эти месяцы больше не стало.

Одни — уже примирились со всем новым положением, готовы к французской республике. На вопрос тёмного солдата: «А как же без царя будем, ваше благородие?» — «Ничего, перемелется — мука будет. Теперь — Временное правительство». Нельзя отрываться от солдат, и, мол, не все революционные действия так плохи. Революция произошла и кончилась, мы, офицеры, не противодействовали ей, — но теперь надо же вернуться к боевой службе! И бросаются в комитеты, спасти армию через них. И отшатываются: погубят они и армию и Россию! «Да ни в каких армиях никогда не было комитетов, что за мурья?» — «Нет, в армии Кромвеля был целый парламент, и тем не менее он громил короля!» (В иных частях ни один офицер не хочет идти в комитет, и бесосвестно выбирают того, кто сейчас в отпуску, ему не отвертеться.) Другие, «старики», безповоротно замкнувшиеся от бушующего кабака: гибнет, так пусть гибнет. И — потерявшие дух, с лихорадочным переходом от скоротечного возбуждения к длительной подавленности. И такие: наш долг — выше обид, выше клевет и оскорблений, за офицером остаётся право быть убитым в бою, и его никто не отнимет. И — туполобые: проявлять прежнюю власть в полной мере, ни в чём не меняться. Костенеют за войну до победы — и попадают в наибольшую ненависть у солдат. (Их — и устраняют первыми, а среди них много верных служаек.) А среди новых прапорщиков есть вознесшиеся недоучки, хамовато-грубые к солдатам, — и их развязность перекладывается наслоем вражды на наши погоны. И ещё — ловкачи и дрянь, кто лезет наверх, лгисто ухаживая за солдатами, сами митингуют, и бывают вреднее комитетчиков-солдат.

Но встретил Воротынцев и таких офицеров, кто не шатался истерически и готов был жизнь положить — да не в строю, а вот — против этой новой гибели. Из десяти офицеров — двое по крайней мере были такие.

Только — г д е ? Только — к а к ?

Два-три таких офицера, на всё готовых, кажется нашлись и среди ставочных, из управления артиллерии и управления инженерных войск. А вообще-то, ставочные теперь видели спасение, вот, в создании Офицерского союза. Три дня назад разослали воззвание о созыве съезда. И в нём униженно оправдывались, почему

офицерский съезд будет отдельно от солдат: не потому, о боже, не потому конечно, что у офицеров свои особые или тайные интересы, а потому, что революционное офицерство не хочет отрывать революционных солдат от их товарищей рабочих, с которыми вместе у них будет свой съезд депутатов, вот скоро. Но голос офицерства, заранее обещают устроители, будет демократическим. (А в Петрограде тоже готовили съезд офицеров, свой, и тоже на начало мая, но там даже не фронтовики будут, а засилие тыла и революционных прапорщиков.)

Понятно, что в Ставке, за письменным столом, не имея своей части, — ещё легче всего. Но был и тут свой «объединённый» (солдатско-офицерский) комитет, в котором, конечно, диктовали писари и ставочная прислуга. Постановил комитет: снять с должности коменданта главной квартиры, генерала, — и Алексеев с Деникиным не могли его отстоять: грозили его иначе арестовать, и сам комендант со страху отпросился с поста. Комитет всё более вмешивался в местные ставочные назначения, внутреннюю службу (отменил противоаэропланные посты — прилетай, немец, и бомби), развешивал по стенам оскорбительные постановления.

Да уже простая охрана не справлялась, часовые штаба не удерживали прущую, любопытную развязную мразь. Уже в самих штабных зданиях стали появляться — комитетские? советские? — военноодетые или штатские рожи, которые безцельно бродили по коридорам, не выказывая внимания чинам Ставки, или, напротив, вламывались даже в служебные комнаты, без спроса садились и предъявляли какие-то абсурдные жалобы, требования или даже проекты, как вести войну. И ведь не выставишь этих наглецов в шею — сразу будешь «контрреволюционер». Месячный арест офицеров из штаба походного атамана многих тут напугал в Ставке.

И такое унылое чувство охватывало офицеров — к самим себе. К своему ничтожеству. К своему падению.

И ещё вчера особенно унижительно попал Воротынцев. Насколько он радовался, что удачно обминул присягу Временному правительству, так и не присягал с тех пор, — настолько вчера его уловили: он проморгал, хоть и читал газеты, что 18 апреля, вторник, рядовой день, — оказывается, он же великий пролетарский международный праздник. Ходили комитетчики по комнатам и кого заставляли даже из штаб-офицеров и даже генералов — выгоняли на демонстрацию. И в нестройной разболтанной колонне манифестантов с красным флагом, с плакатами, офицеры и солда-

ты с оркестром (иногда «интернационал», остальное время марсельеза), — поплелись ставочные начальники как побитые на митинг. К этой же колонне присоединились и могилёвские военнопленные — немцы и австрийцы, братались с русскими солдатами, а может быть, и с офицерами (каково союзным миссиям наблюдать из окон? — а ведь всё ещё не понимают!). Митингом распоряжался подпрапорщик, а речи были — для овечьих ушей. И кувыркались под облаками лётчики в мёртвых петлях — и сбрасывали наземь красные ленты.

И первые минуты, как его поволокли на эту мутную процедуру, Воротынцев испытал унижение, какого не знал никогда. Но вдруг, с каких-то шагов в этом шествии — ощутил как освобождение от собственного тела: жалкая полковничья фигура, поплетшаяся вослед военнопленным, это был будто не он, а сам он — взвесился где-то выше в воздухе, и плыл над этим пьяным шествием, и потом без усилия держался поверх этого балагана, выше себя самого роста на три, — и не брезгливость, и не ненависть испытывал к этим безумцам: это были — глупые, слепые актёры, изневольно игравшие бессмысленную пьесу, за которую и они все будут платить, как и мы все — вместе с Россией. Каким-то безобразием все были окованы, обречены — делать нечто против себя самих: даже не выпрямиться, а жалко выламываться перед тем, как отдать собственную голову.

И так отъёмно раздвоилось его сознание, что он даже потерял: а что это было за шествие? и — где это? и чем же оно кончилось? С горько-тёмной душой он даже не заметил, как и чем это кончилось, — а уже по могилёвской улице шёл на свою квартиру.

Вот ещё, не ко времени была ему сейчас и эта отдельная квартира, и эта семейная жизнь.

Алина встретила:

— Ты уже подумал, кого мы пригласим на твои именины?

Только тут вспомнил: подступает 23-е, Георгия Победоносца.

— Нет, пожалуйста, давай мои именины отменим.

Алина будто только и ждала этих слов, глаза её расширились вдвое, ловя его:

— Вот как? Ты погубил мои прошлые именины — теперь хочешь отменить и свои?

— Ну пойми: на душе тошно. И занят я.

— Но 23-е — воскресенье!

— У меня срочная работа.

— Да? Тебе со мной уже ничего не нужно? Ты предпочитал бы этот день провести с ней?..

Нет.

Уже нет...

Ещё от вагона в киевском поезде странно разбирало в груди: как будто и он своим любовным захлёбным закрутом — как будто и он тоже стал причастен к Перевороту.

И гнал от себя — не уходило.

А уж разломан, а уж безпомощен был — так только и именно от этого.

Чтобы цельным действовать вовне — надо цельным быть в себе. Это всегда так.

Конечно, мало бы с кем сейчас так поговорить, как с Ольдой. Она-то как раз на всё нынешнее обострена.

Но и представить этот разговор: ведь она, поди, будет говорить, как надо восстановить трон? И — кто виноват, что дали ему упасть.

А — уже не время нам раскладывать, кто был прежде виноват, и кто прав, и через кого это прикинуло. Все мы, все мы губили Россию вместе, каждый по-своему.

Что теперь искать, кто погубил? Надо искать, есть ли кому спасать.

И уже — не форму государственного строя спасать, не партию, одну, другую, — а само живое тело России.

Чтоб сохранилось нам — где жить.

Чтоб сами мы — остались.

43

Нет, чувствовала Алина, что душою — он не с ней. Где его прежние знаки внимания? Где заботливое ухаживание? Всё развеялось. Он ни в чём и не старается облегчить жене жизнь.

Да просто: видит ли он её? Чтобы отметил, в какой она блузке или туфлях, — никогда теперь.

Пансион в октябре — пылающая обида! незатягиваемая рана! Ни одного дня с тех пор Алина уже не была здорова.

А после февраля?! — уже нельзя ему верить ни в чём. Изнуряющая мука, что он тайно переписывается с *той*. Да она приедет и в Могилёв — как это узнаешь, проверишь?

Что — в нём переменилось вообще??

Чёрные мысли поднимаются со дна души — и омертвляется всё твоё существо.

Устроила маленькую клумбу цветов перед флигелем, посадила табак, летним вечером будут пахнуть. Но всё из рук валится.

И ничего не читается. Взяла Чехова, водила глазами по строчкам, редко смысл доходил, но тут же и опускался. А через все страницы — чёрными жирными линиями, чёрными строчками — свои мысли.

От своих мыслей — нет спасения. Когда всякие мысли отпускают — и боль отпускает. Но это недолго держится. Если б только избавиться от мыслей. Но не принимать же днём снотворное.

Упущены, упущены эти благие советы: быть для него загадочной, вечно весёлой и лёгкой... Да может ли их осуществить страдающий человек? Перепополняют душу обиды, и легче высказать их, чем таить:

— Нет, ты изменился ко мне именно от твоей первой поездки в Петербург. Так неужели в этом виновата я, а не ты? *До* этого, вспомни, — сколько ты видел во мне, чем любовался и восхищался. А после — всё потускло!

— Но почему тебе надо, чтоб я всё время восхищался?

— Пусть это моя слабость, но я держалась твоим любованием! Вот, смотри, пачка твоих прежних писем, как это напаивало наши отношения, делало их богатыми! Давай их перечитывать вместе! Как ты повторял на все лады: и моя радость, и моя звёздочка, и Полевая Росиночка... Ты несравнима, и равных тебе нет... — Всё говорила наизусть. — Ты поддерживал меня своим поклонением! Какие слова, какие чувства! Где они теперь?

Прожигала его внимательным взглядом. Он смутился, вяло мычал.

— Ну что сейчас именины? Кого-то тут собирать?

— Да! Мне нужно общество, мне нужна осмысленность жизни. Я не могу тут сидеть взаперти, как узница!

— Линочка, мне сейчас очень тяжело, ну пожалуйста, пощади, не надо.

— А *мне*, ты думаешь, легко?? Да мне в тысячу раз тяжелей!

Медленно, с трудом отвечал:

— Если тебе тяжело... если тебе нагоняются мрачные мысли... Ты собери их на том, что вот за войну больше миллиона вообще погибло на фронте. И значит — миллион женщин овдовели.

— То — легче. Погиб — но не разлюбил, не изменил!

— А у тебя только: «мои страдания», «что будет со мной», «так мне хочется!»...

Удивительно, что он в самом деле не понимал!?

— Да! У меня бывают такие безнадежно-мрачные периоды, когда я могу думать только о себе! Когда моя душа так страдает — разве я могу впитывать ещё чьи-то страдания?

Он не понимал, потому что самого его ещё не разрывал Зверь страдания!

— Господи, Алиночка, ну как бы жить и не терзать друг другу сердце?

— Ничего, станешь сочувственней к мукам других!

— А грозит время ещё худшее. Что будет со всеми нами?

Всё одни и те же увёртки.

— Да, и я хочу быть достойна! И наступающего времени, и своего положения! Но для этого я прежде должна выздороветь! А ты мне не помогаешь. Ты — устранишь меня, лишь бы я только тебе не мешала.

— Но ты всё-таки сравни, — потерянно говорил он, — масштабы нашей семейной жизни — и тех событий, которые волочат нас всех за шиворот. И есть долг...

Алина воскликнула торжествующим голосом, потому что в поединке всегда одолевала его легко:

— Не говори мне о долге — ни перед тобой, ни перед Россией! Когда я люблю и меня любят — тогда я и делаю, тогда и признаю долг. А ты для своего долга — ты мной и жертвовал всегда. В нашей с тобой жизни никогда не были раскрыты мои лучшие возможности. В петле твоего долга и удушилась моя личность. Я — погибла! Я — погибла!..

И почувствовала, как снова и гуще одевается во мрак.

Французскому послу Морису Палеологу прислали приглашительный билет на вечер 19-го в Михайловский театр.

За эти революционные недели упало в Петрограде значение обычных театральных спектаклей и обычных концертов высокой музыки: были и пустые места. Но возросла новая форма — «концертов-митингов», где кроме концерта предполагались речи видных деятелей: эти билеты шли нарасхват, а особенно если ожидалось выступление Керенского. Сегодня в Михайловском и был такой концерт-митинг — в пользу освобождённых политических ссыльных, и, очевидно, с участием Керенского, ибо главной устроительницей была его супруга Ольга Львовна.

Вообще, подобные пригласительные присылали теперь чуть не каждый день. И уже оскомину вызывала у французского посла эта бесконечная революционная суматоха русской столицы, как будто забывшей о войне. И не поехал бы он сегодня на этот балаган, если бы — уже девятый день, хотя ещё полускрыто от общества, не перестал Палеолог состоять истинным послом Великой Франции и даже — вполне самостоятельной личностью. Это произошло от приезда в Петроград, десять дней назад, министра снабжения Франции Альбера Тома. За войну он приезжал в Петроград уже второй раз — и, встречая его поздно вечером на Финляндском вокзале с большой свитой офицеров и секретарей, Палеолог никак же не догадался, не ёкнуло его старое сердце, зачем приехал Тома в Россию в этот раз, с какой бумагой. А через сутки он её вручил послу. Она была из министерства иностранных дел: «Положение, которое вы занимали при прежнем императоре, делает для вас затруднительным исполнение ваших обязанностей при нынешнем правительстве. Для нового положения нужен новый человек», — и ему предлагается принудительный отпуск, отъезд во Францию, а тут его заменит Тома. (Через два дня в газетах подали как краткий выезд посла в Париж на совещание.)

Ах, Боже мой! Ах, ветреники дипломатии! «Положение, которое вы занимали при прежнем императоре», — так оно-то и давало возможность долгих интимных бесед с царём, при которых достигалась безоглядная искренняя преданность России союзу с Францией! А теперь, с неблагодарностью, оно же ставится в упрёк? Да сколько лет на одном месте, так узнать эту столицу, и все круги её от придворных и великокняжеских до леволиберальных, и повсюду иметь друзей, и сочувственных или вознаграждаемых осведомителей, так что о каждом политическом веянии узнавать ещё в момент его зарождения, и иметь достаточно сил и такта поучаствовать в смещении Штюмера, — а теперь?.. (Ах, да как же

не придал значения! — ещё в 20-х числах марта появилась в Париже газетная статья: посол Палеолог пользовался таким доверием старого режима, что не может питать доверия к новому...)

Да, ваш верный Палеолог был в добрых отношениях с царём, да, но именно потому сейчас остро видит, как разрушается наш союз с этой страной. Недалёкий социалист Тома обморочен этим революционным воздухом, не перестаёт восхищённо ахать и успокоительно докладывает в Париж, — но Палеолог за полтора месяца революции с ужасом видит, что Россия безвозвратно выпадает из войны и вступает в анархию. Ещё надо прилагать все усилия удержать её в колее, да, но уже надо прозорливо готовиться к худшему. И хотя Палеолог получил прямой запрет обращаться теперь в министерство помимо Тома, но, боясь глупой восторженности этого лба-социалиста, Палеолог дал телеграмму своему начальству: в новой России готовятся неприемлемые требования к союзникам. Принять их — для нас невозможно, и не нужно при вступающей Америке. Надо теперь готовиться к разрыву союза с Россией, и сам разрыв без сантиментов использовать с выгодой — за счёт России же. (Да уже высказывалось во Франции, что по культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия действительно понесла большие людские потери, но это всё — невежественная бессознательная масса, а у французов быются в первых рядах и молодые силы, проявившие себя в искусстве, науке, люди талантливые и утончённые, сливки и цвет человечества, — и с этой точки зрения наши потери неизмеримо чувствительнее русских потерь.) Мы не должны себя чувствовать в долгу у России. Надо перерешить вопрос об обещанных проливах и конспиративно искать мира Франции с Турцией.

Так Палеолог думал за Францию как первый в Петрограде француз, но реально, увы, стал вторым. Вот и сегодня вынужден был на этот глупый концерт сопровождать Тома, который рвался туда: слушать и выступать.

И вот снова — чудесный жёлтый зал (уже пошарпанный от революционной публики) — уголок Франции в России, привычный зал французской драмы. Тот же тёмно-жёлтый бархатный занавес, но уже без государственного герба. Две ангелоподобные балерины у порталов, несущие верхний обрез сцены — и между ними натянут плакат «Да здравствует свободная Россия!». В царской ложе, прямо против сцены, Палеолог и Тома показались к барьеру — за-

аплодировал весь зал, а оркестр, сегодня не в яме, а на сцене, заиграл марсельезу. (В двух парах других лож, у сцены, сидели освобождённые политические, им уже аплодировали раньше.)

Затем стали исполнять 4-ю симфонию Чайковского. Нетерпеливому к митингу залу она явно показалась слишком длинной, начались движения и шумок.

После неё, оркестр ещё сидел, Керенская ввела на сцену Милюкова, которого не приходилось представлять, его портреты знала вся столица, сразу сильная овация. (Всё-таки ещё сохраняла публика патриотическое чувство, если так аплодировали Милюкову.)

Министр иностранных дел произнёс разумную речь, отдавая дань отдельными абзацами Англии, Франции, Италии, Америке, — и после каждого абзаца оркестр исполнял гимн той страны (американский — кажется, впервые в Петрограде), а зал — вставал. (И как бы хотелось верить, что это всё — ещё держится, едино и союзно. Но скорбно знал Палеолог, что всё — разваливается, наступили, быть может, последние недели союза — и его собственные последние дни в Петрограде, где так ему было хорошо.)

Затем оркестр ушёл, пюпитры и стулья сдвинули, у рояля певица спела два романса Кюи, за ней певец — «Гимн свободе» какого-то Пергамента. Затем вышел почти лысый и как бы с раздутой верхней частью черепа — Аджемов, один из кадетских лидеров. Он с неожиданной твёрдостью произнёс вслух, не стесняясь, одиозное имя, которое принято было не называть:

— На пропаганду Ленина-Ульянова не надо обращать внимание. Ведь уже известен ответ германских социалистов: они — не свергают Вильгельма. И было бы нашей изменой павшим — теперь не довести войну до конца, проиграть дело свободы, на которое затрачено столько усилий, также и сидящими в этом зале...

Спел певец два романса Глазунова — его уже совсем неприлично не слушали.

Какой-то железнодорожник, с их съезда. Отложить все требования, а только воевать до победы. Не хотим изменять отечеству и ничего слышать о Ленине.

Поднялись рукоплескания — но и шум. Из бунуара здоровый мужской голос закричал:

— А вот есть письма о братании с немцами, послушайте!

Это был изрядный верзила с шевелюрой Самсона. Не сумняшесь, он тут же полез через барьер бунуара, прыгнул в партер-

ный проход и пошёл на сцену. Довольно-таки был небрежен и расстрёпан.

— Кто такой? Откуда? — кричали ему. — Фамилия?

Уже на сцене, скрестив руки и с вызовом в зал:

— Я вернулся из Сибири. Был на каторге. Я — Бернштейн, Илья.

Возгласы уважения:

— А-а, политический!.. Как раз... Так дать ему слово!

И Ольга Керенская, до того в недоумении, теперь пригласила Самсона говорить. А он безстрашно:

— Нет, я — уголовный! Но! — предупредил грозно, — совесть моя чиста.

Это очень понравилось залу:

— Ура!.. Ура!..

— Пусть говорит!

Тома, узнав от переводчика смысл, схватил Палеолога за руку на барьере, он сиял:

— Какое безпримерное величие души!.. Какая великолепная красота! Это — революция!

И каторжанин начал читать со сцены письмо кому-то с фронта, как немцы братаются с нашими и не хотят воевать. Но, перебивая его, поднялись аплодисменты, и всё громче и громче, зал оборачивался: в царской ложе, рядом с французами, заметили вошедшего Керенского — подтянуто, в рост у барьера, одна рука всунута под борт австрийской курточки.

Все стали кричать, чтоб он шёл на сцену. Он по-военному повернулся, ушёл из ложи — и через минуту был на сцене, рядом с каторжанином.

И стал сразу говорить. Нет, его нисколько не смущают ленинцы. Теперь дело не в словах, дело в делах, а высказываться теперь может всякий. Правительство — ничего не боится!

И вдруг, после такой отчётливой фразы:

— Но правительство готово и уйти, если его не захотят.

Что такое? — куда? зачем? кто не хочет?

Откуда эта мысль? Как странно выразился.

— Мы никогда не употребим силы, чтобы навязывать наши убеждения. Но чтобы мы закрепили завоёванные свободы — надо, чтобы мы не запечатали себя изменой перед мировой демократией, не покрыли себя позором перед нашими союзниками!

Всё. Положительно молодец. Море аплодисментов, нет, столичная публика ещё не потеряна.

Теперь Бернштейн хотел дочитывать своё, но публика уже не желала его слушать. Керенский вступился, чтоб этому тоже дали высказаться. А сам исчез.

Дали. Бернштейн прочёл ещё второе письмо, ему стали свистеть. Тогда он показал публике неприличный жест рукой по локоть и ушёл за сцену.

Тут из зала стал кричать звонко-петушистый военный:

— Я — делегат от Кавказского фронта, от 42 тысяч человек! Когда у вас кончатся праздники?! У нас там воюют!

Зал и его покрыл одушевлёнными аплодисментами.

Со сцены объявили певицу Кузнецову, она вышла в изумительном платье с блёстками, спела романс Рахманинова, потом страстным, хватающим за душу голосом — арию из «Тоски». Эту — хорошо слушали. За нею — виолончелист.

Тем временем в ложу дипломатов пришла сама Керенская — повести на сцену Альбера Тома. Так и было условлено. Но крупноголовый, бородатый и подростково сияющий Тома следовал за ней в большом волнении. Он понимал, что участвует в крупных шагах мировой истории, он сам идёт как история. И вот уже вывели его перед публикой (большое брюшко, не очень прилично социалисту), гром аплодисментов, переводчик переводит, а карандаши корреспондентов строчат по блокнотам наперегонки:

— Гражданки! — (Французская вежливость, тут так и не вспоминают.) — Граждане! Как наши русские товарищи революционеры, и мы пришли на этот праздник с чувством восторга, горячей симпатии и печали. Мы во Франции узнали о первых содроганиях русской свободы — от политических эмигрантов, кого изгнало прежнее правительство. Они нам раскрыли глаза на все страдания и мученичество, которые понадобились для медленного рождения нынешней свободы. Сегодня вечером среди воспоминаний, которые толпятся в моём сердце и в сердцах моих товарищей, ярко выступает погребальное шествие, которое мы совершали вместе в Париже в тот памятный день, когда провожали того, кто был прежде Григорий Гершуни, образу вокруг него длинную цепь дружбы.

Конструкция чувства, мысли и фразы, которую могут оценить только во Франции. Но так убеждало его прямое, здоровое, ещё и очками сверкающее лицо.

— Гражданки! Граждане! Я пришёл к вам с этими воспоминаниями и с радостью, что можно говорить с вами о них открыто, публично. Какая глубокая радость для нас приобщиться к вашему великому революционному движению! Вчера мои друзья и я испытали величайшее волнение, смешиваясь с громадной русской толпой, захваченной новой верой и утверждающей свой идеал и свои революционные надежды.

Позавчера он возлагал цветы на могилы жертв — и произносил речь. Вчера он наблюдал из автомобиля эту торжественную миллионную первомайскую манифестацию — и произносил речь. Революция — это сплошной праздник сердец.

— Граждане! Теперь между нами уже нет места никаким оговоркам в дружеских союзнических чувствах. Французские солдаты, республиканцы ли, социалисты, теперь могут открыто и со свободной душой приветствовать молодую русскую революцию!

Ах, недомышленный крупный ребёнок, неужели же французское правительство доверится ему? Палеолог только кряхтел про себя.

Однако и законы риторики, и суть дела требуют выдвинуть и антитезис:

— Но, граждане, я не хотел бы, чтобы в такую минуту, когда наши сердца могут биться в полном единении, между нами проскользнуло бы недоразумение. Со дня моего приезда сюда я, социалистический министр во французском правительстве, узнал с величайшим изумлением из русских газет, что здесь считают французское правительство капиталистическим, правительством завоеваний и захвата? О, граждане, те, кто распространяют такие мысли, — воистину плохо знают нас.

(Уже в отдельном интервью он объяснял: Франция, разумеется, против захватов. Но Эльзас-Лотарингия должна быть французской. И нельзя же оставить Германии её колонии.)

Синтез:

— Допустим, что прежде французское правительство было в оппозиции к нашей партии. Возможно, и после победы социальная борьба возродится ещё сильнее. Но пока внешний враг не будет побеждён — рабочие и крестьяне Франции будут только до последних сил бороться против него!

Рукоплескания.

— Граждане, ещё одно слово, и я кончу. В самые мрачные минуты войны, когда мы уже знали об исходе несчастной битвы при

Шарлеруа, когда враг был в немногих километрах от Парижа, — во всех французских сердцах билась надежда на помощь, которая придёт с Востока. Ждали поддержки от России, обещанного содействия. И геройский русский солдат между озёрами Восточной Пруссии не уклонился от исполнения своего долга. И, граждане, что ждёт французскую демократию? и всемирную демократию? если завтра сказать рабочим Франции: «вы приветствовали русскую свободу, но она не внесла в борьбу за освобождение всей своей энергии»? Но эту мысль я лично с негодованием отмечаю. Русская свобода должна теперь стать зарёй свободы для всего человечества.

Аглюдисменты.

И вот: всё главное сказано — и принято. Но есть ещё, есть выше — тот воздух Великой Революции, висящий над Петроградом, та сердечная связь, та историческая схожесть между нами, которую теперь не заметит только слепой:

— Как когда-то, во время Великой Французской Революции, наш народ хотел, чтобы новая свобода охватила весь мир, — точно так и теперь. С этой надеждой я вас приветствую здесь. И тем, кто сеет эти истины, — приношу восторг, преданность и любовь от граждан Франции!

45

Какой политический деятель (и к тому ж теоретик) не мечтал выпускать собственную газету? Получить аудиторию по всей стране, на которую никогда бы не хватило ни твоего слабого голоса, ни времени для поездок и выступлений. (Да и в заслоне газетных страниц выглядишь куда грозней и могущественней, ты уже не двуногий человек, ты — целый фронт!) Среди десятка запутанных, искривлённых и недодуманных партийных линий — прорезать своё новое (и единственно правильное, и решающее) слово — и особенно по каждому огневому вопросу современности! и в короткие дни просветить десятки тысяч (сотни тысяч?) читателей.

Относительно войны можно услышать буквально четыре дюжины мнений всех оттенков, всех отклонений и преломлений луча. Но единственный луч, пронизывающий ситуацию к наилучшему решению — как будто не виден ослеплённым! А вот он: отноше-

ние к войне может существовать только одно: прекратить её как можно скорей! Нет, не разрушение боевой мощи нашей армии, демократия даже усиляет её, широко демократизуя! — но не надо употреблять опасного, истрёпанного всеми империалистами слова «оборона». Оно в корне противоречит Циммервальду! И это — непосильное требование к освобождённому народу, программа, рассчитанная на разорение страны. Истинная услуга также и союзникам — предложить мир без аннексий, и германское наступление сразу парализуется. А грозя разделом Австрии и изгнанием турок из Европы — мы лишаем германских социал-демократов возможности бороться за мир подобно нам.

Мы, социалисты, отнюдь не предлагаем развала армии — но прекращения войны в организованных формах. И не предлагаем сепаратного мира: если нам придётся разорвать с империалистическими союзниками, а Германия всё равно не пойдёт на мир — так Россия объявит «сепаратную войну»! Да! Да! Так что нет никакой национальной опасности нам сейчас выступить с платформой мира. Иначе у армии нет сознания, что она проливает кровь в защиту свободы.

Мысли толпятся, мыслей так много, и не всегда успеваешь говорить каждую, особенно если рядом сидят твои товарищи из ИК, и, к сожалению, не вполне единомысленны с тобой, и тоже хотят говорить. И жарко повторяешь эти несомненные доводы про себя — и не всегда точно помнишь, что же именно высказал вслух — вот позавчера, когда Контактную комиссию приглашал к себе Гучков. Кажется, Гиммер сказал так:

— Военный министр рассматривает ситуацию под углом продолжения войны, а мы — под углом скорейшего заключения всеобщего мира. Совет делает всё возможное, чтобы армия сохранила боеспособность, — но он не может принести в жертву интересы революции и демократии! Когда солдаты убедятся, что и правительство наше стремится к миру, а это враг не складывает оружия, — вот тогда армия возродится! И тогда Совет сможет прямо работать над боеспособностью армии. А пока — только широкая демократизация!.. Если армия и разлагается, как вы говорите, то только потому, что недостаточно демократизуют войну — ни администрацию, ни внешнюю политику. — (И, уж раз коснувшись своей больной темы:) — Всё портит министерство иностранных дел: цели войны затемнены. Но, поймите, никакая сила не устоит против мирового рабочего движения данной эпохи!

В этом-то и трагизм России: что мы, рабочий класс и крестьянская беднота, ещё не приготовлены к господству. Преждевременная наша диктатура только возбудила бы сопротивление всех слоев буржуазии — и, ещё при условии незаконченной войны, привела бы к разрухе и крушению революции. Поэтому было бы роковой ошибкой (и этого не понимает Ленин!) немедленно призвать массы к политическому господству. Нет, чтоб довести демократическую революцию до конца, чтоб упрочить за рабоче-крестьянской массой социальные завоевания — Совету остаётся только толкать и толкать буржуазное правительство по пути революции. Толкать — но и, значит... терпеть.

Терпеть правительство — значит терпеть и Милюкова?

А вот это давалось Гиммеру труднее всего. Хотя и понимая пребывающее профессорство Милюкова (хотя и всегда польщённый от личных разговоров с ним), не ощущая в себе над ним интеллектуального превосходства или в силе аргументации (а таких людей немного было в России), лишь пронзительную ясность социалистического сознания в себе, — Гиммер постоянно гвоздился мыслью, что Милюков — это олицетворённый центр русского империализма. И — никогда не верил ни одному его уверенью. И, увы, всегда оказывался прав! То доходили слухи о высказываниях Милюкова в личных беседах, то выныривали, чаще с опозданием, его газетные интервью — и всегда они противоречили тому, с чем Милюков как будто нехотя соглашался или бархатно молчал на Контактной комиссии. То на приёме англо-французских социалистов он разъяснял, что вымученная из него декларация 27 марта — лживая: «Временное правительство сохранило главный смысл и цель войны». То Милюков распоясывался перед журналистами, что «мир без аннексий есть германская формула, которую стараются подsunуть международным социалистам», а надо воевать до ликвидации Европейской Турции, освобождения Армении, присоединения Галиции к Украине, — вот где он выбалтывал то, что истинно думает! Вот где было покушение на революцию и свободу! — Милюков продолжал царскую программу войны, но в ореоле русской революции, которая так высоко стоит в Европе! И революция вынуждена всё ещё терпеть подобного министра! — не только носителя, но, по сути, создателя военной программы самодержавия! Он забывает, что он министр — милостью Совета, и по воле Совета может слететь в любую минуту!

На прошлой неделе Гиммер не выдержал и дал Милюкову на Контактной комиссии острый бой. Вопрос был по видимости мелким (министрам он казался даже ничтожным) — а на самом деле принципиального значения: отказали во въездной визе в Россию Фрицу Платтену. И Гиммер выступил со всей демонстративностью и далеко расширяя вопрос: в защиту всего ленинского проезда через Германию: Ленин — полноправный российский гражданин, которому министерство иностранных дел оказалось бессильно предоставить возможность вернуться на родину, оно и несёт вину! А Платтен оказал услугу не германскому штабу, но лично Ленину. А если Ленин — преступник, то почему он не арестован на границе и сейчас находится на свободе? (Гиммер всё больше восхищался Лениным, и хотелось бы быть в верном союзе с ним. Эмбрионы большевизма неопасны, они могут даже стать гарантией победоносного окончания революции.) Министры, даже Некрасов, изумлялись и отмахивались, а советские молчали, опустив глаза, не хватало у нас социалистической последовательности. И на Контактной Гиммеру пришлось смириться. Но в перерыве подошёл в вестибюле к Милюкову и пригрозил: «Завтра на Исполнительном Комитете сделаю доклад о нашем сегодняшнем заседании. Ваш отказ пропустить Платтена буду трактовать единственно возможным способом: что это нарушение принципа политической свободы в России. Это — прецедент огромного принципиального значения. Не сомневаюсь, что ИК будет остро реагировать». А Милюков с деланой невозмутимостью ещё притворился непонимающим: какое ж это нарушение свободы, когда мы живём в условиях войны — и не пускаем подозрительного иностранца?

Нет, с этой империалистической скалой договориться невозможно, её неизбежно взрывать.

Пригрозил — а на самом деле ещё не было случая, чтобы доклад Контактной комиссии выслушивали на Исполкоме: всегда и без того вопросов много, да и сами члены Контактной не любили рассказывать, сохраняя привилегию тайны за собой.

И к самому Исполкому Гиммер стал охладевать с тех пор, как уже не состоял в его ядре, делающем политику, там взяло верх оппортунистическое крыло, а интернационалистов подавили. В оппозиции уже нельзя быть таким продуктивным. Лучше перекинуться в работу агитации среди масс. Вся душа переметнулась в свою новую газету, и вечера до поздней ночи он предпочтительней проводил теперь там. Ещё, как в виде насмешки, на той неделе

Гиммера избрали в аграрный отдел ИК... — навязалось ему это противное земледелие, потому что за свои экономические статьи он считался крупным аграрником. Последнее, что Гиммер сделал для ИК, — неделю назад, вместе с Богдановым и Венгеровым разубеждали тёмных волынцев, рассеивали ложные слухи о Ленине: какие-то мерзавцы из них намеревались идти и арестовывать Ленина!

Нет, теперь главное — газета! Открыл её Гиммер благодаря имени Максима Горького (деньги его, и кто жертвовал через него) — и сразу принял усилия, чтоб она стала перволинейной, и одновременно — боевой орган рабочего класса, и строго интернационалистская. Само название изобразили такими затейливыми буквами, как ни в одной газете, глаз не оторвёшь: «Новая жизнь» — какие семь круглых хвостов у «ж», «з» и мягкого знака, и во втором «н» перепонка сделана как удар боковой молнии, как знак искровиков. Конечно, не статьи Горького украсят её, тот будет мямлить свою сентиментальщину в каждом номере (между нами говоря, он не на буреvestника вытягивает, а на пингвина), — но, во-первых, сам Гиммер будет успевать в каждый номер писать и за подписью, и без подписи, и «от нашего корреспондента». А вот уже, страстным убеждением и разворотом перспектив, переманил он и почти всю редакцию «Известий» — уже и Гольденберг, и Циперович, да и сам Стеклов, уходя из безнадёжного невыразительного известинского месива, — тоже примкнули. Будут сотрудничать конечно и Лурье, и Урицкий — но и из литературного мира обещают Алексей Толстой, Пришвин, Гnedич, Брик — имена! Ах, это будет блистательная плеяда! (Гиммер — не политическая вобла, он понимает, что значит Литература.) А в комитете по воинским отсрочкам состоялось очень благоприятное решение о льготах для газетных сотрудников: раньше льгота была только для газет, выходявших до войны (чтоб не создавали новые для прятки); а теперь любая нововозникшая газета имеет льготу, если тираж больше 30 тысяч. И это позволило набрать отличный технический штат. По иронии судьбы, печататься будет в самой реакционной типографии, «Нового времени», зато набор — на Петербургской стороне, близ квартиры Гиммера, можно легко дойти и глубокой ночью.

И первый номер газеты (отчасти совпало, отчасти подогнали) — вышел вчера, в день Первомайского праздника, 18 апреля, и размахнулись, для рекламы, для шума, первый номер — 100-ты-

сячный тираж. Сморился Гиммер в ту ночь — и вчера утром на праздник, устроенный под его же руководством, сперва вообще не пошёл. А потом спохватился: ездить по улицам и смотреть, читают ли его газеты.

Божественная поэма! Незабвенная симфония! Такое сплетение эмоций, наверно, никогда не повторится, даже и о газете забыл. Нето ты растворился во всём этом и перестал существовать. Нето ты покорил это всё и разъезжаешь как победитель по собственным владениям. Был — в безмысленном упоении. «Третий Интернационал» на Мариинском дворце! — такого Петербурга ещё не описывала русская литература! Организовать такое — нельзя, это — выше всякой организации! — одухотворённое участие сотен тысяч. И такова была общая атмосфера, что в ней лозунг «война до победного конца» выглядел черносотенным.

А сегодня — ясно, что газеты не вышли, но надо готовить ещё ударный 2-й номер на завтра. И сегодня Гиммер вообще не пошёл в Исполком, а исключительно выпускал свой номер, начиная с решительной передовицы о дальнейших шагах в пользу мира. День и вечер просидел в редакции на Невском, а на ночь собирався в типографию на Петербургскую сторону, но ещё досасывал из грызенной ручки какую-нибудь добавочную заметку — как вдруг... ? Как вдруг — позже ли других редакций, пренебрегая «Новой жизнью», или и другим в это время? — принесли для завтрашнего печатания правительственную ноту союзникам. Спокойный Базаров распечатал, прочёл — и даже руки у него затряслись. А Гиммер — Гиммер взвился! завертелся! заподскакивал! Ах, какая подлость! Ах, какое низкое коварство! Верно он всегда предчувствовал от Милюкова подвох!

Это была та самая нота, которую из Милюкова выдавливали уже две недели — и прениями на Контактной комиссии, и опережающей публикацией Керенского, — та самая, но не та самая, а совсем противоположная! От-кровенный вызов демократии! Пря-мое издевательство над чаяниями и интересами русского народа! Пре-ступный вызов! Яв-ное отступничество от программы мира Совета депутатов! Ог-лушительное доказательство того, как Временное правительство игнорирует постановления революционной демократии! Нота — вся в интересах отечественного империализма и англо-французского капитала! Воскрешены все лживые лозунги, которыми отравлялось сознание масс, — «освободительные» цели войны!.. Да не союзные правительства были на са-

мом деле лучшие адресаты этой ноты, и ни один политический лидер России, как именно и единственно Гиммер, автор Манифеста 14 марта! Да, именно он, зорко-настороженно ловивший Милюкова на каждой его буржуазной подлости уже второй месяц и всегда, всегда ожидавший от него подвоха, — вот и дождался!!

Да если бы правительство послало такую ноту само собою — ну чёрт с вами, продолжайте свой буржуазный путь, — но *в ответ* на требования ИК? в ответ??

Недоразумение? Наивность? Наглая демонстрация? Сознательная провокация народного гнева? И даже гражданской войны? Третирование демократии в невиданно грубых и ничем не прикрытых формах?

Значит, так понять: не подумайте, союзники, что Россия отказывается от завоеваний! — это мы говорили для своих неграмотных. А мы — будем воевать до полной победы вместе с вами, и потребуем санкций, и потребуем гарантий! Уже ломаются в открытую!

Бросили нам перчатку — надо её поднимать.

Да, и вот же ещё! — не каким-нибудь безразличным днём помечена нота, но днём великого праздника всемирного пролетариата! Двойное издевательство!

И вот же ещё поразительно: нота — не размазана, как все жалкие обращения-уговаривания Временного правительства, — а краткими, ясными словами, с большой определённой! Тем наглее вызов демократии!

Что делать?? Принесли слишком поздно (и со вчерашнего дня ведь прятали, ах трусы!), слишком поздно, чтобы теперь сменить передовицу или другую статью на первой странице, всё уже набрано, и уже полночь, и нельзя сорвать свой 2-й номер, тогда не выйдет в утренние часы. (А как же вовремя создана газета! Для этого удара она и создана!) Кинулись с Базаровым мерить, считать, звонить в типографию, вот что: после гиммеровской передовицы (которая теперь звучит голосом обманутого!) ещё можно вверстать постскрипtum, несколько строк, если сейчас передать их по телефону. Но так пылала голова у Гиммера, что он потерял управление собой, даже эти несколько строк не мог написать. Спасибо, Базаров, подхватывая идеи Гиммера, написал: «...воинственные выкрики Милюкова... обязуется свято хранить тайные соглашения Николая II... услуга империалистам стран Согласия, и Габсбургам-Гогенцоллернам... Поборнику интересов международного капитала не место в рядах правительства демократической России. Мы

уверены, что Совет рабочих депутатов не замедлит принять самые энергичные меры к немедленному обезвреживанию Милюкова».

«Уверены» — хотя нисколько не уверены теперь в этом черетельевском ИК.

Гиммер бросился звонить по телефонам, первому Чхеидзе: вот до чего довёл ваш вечный оппортунизм! Соколову! Шехтеру! Стеклову! Керенскому! (Вот до чего вы довели!) Да ему требовалось два-три телефона сразу, чтобы сразу звонить по трём адресам! Маленькая грудь его разрывалась!

А в мозгу вертелось: так-то так, немедленно обезвредить Милюкова, гнать его из правительства: каждый шаг его укрепляет положение Вильгельма! — но не слишком дёрнуть, чтобы не свергнуть и всё Временное правительство! Прежняя гиммеровская идея сохраняется: пусть оно за всё отвечает, а на него только давить и погонять. Нельзя сказать, что русская демократия не доверяет *всему* правительству. Ещё нет необходимости перехода власти в руки пролетариата! Не перевернуться и в другую сторону.

В мозгу — так. А революционное сердце бьётся — скорее звонить большевикам! они, может быть, ещё не знают! Кому звонить? Шляпникову? — он уже отщёпт, не играет роли. Каменеву? — слишком осторожен, и это сейчас не подходит. Красикову! — он горячий, сразу доложит. Молотову? — мямля. Стучке? — глупый. Коллонтайше? — вот это боец, это умница. Да кому-нибудь, но скорей, но несколькими! дёрнуть шнур, а там передадут.

Да Гиммер мечтал бы соединиться с самим Лениным! — но не смел тревожить. Но — не подойдёт к телефону.

Да, Гиммер помнил и свою теорию, и все доводы осторожности, и не пришло время брать власть, — а головокружительно захватывал ленинский непредсказуемый размах! И втайне хотелось — отдаться ему, завертеться в этом вихре, и будь что будет!

Нестерпимо, невыносимо, немыслимо и невозможно, чтобы не твоё мнение собрало большинство, а чьё-нибудь другое! И не из жалкого самолюбия, вовсе нет, а потому что только ты, на этих проблемах сосредоточенный уже десятки лет, видишь и каждую цель отдельно, и всю систему целей вместе. Только у тебя — острое

и даже абсолютное зрение на ситуации! А из ситуации — идея ведущего лозунга. То, что можешь сделать ты, — не может сделать никто, ты сам — как закон природы. И потому — заболеваешь от каждого возражения, всегда неразумного.

Но за эти 15 лет не раз преодолевал Ленин враждебное большинство и в конце концов завоёвывал его себе. Секрет в том, что ты готов идти на раскол, на раскол и на раскол, пока остаться хоть совсем одному. Чтобы вести линию просто одному — нужна величайшая решительность и абсолютная сознательность, это почти никому не доступно. И все видят, что ты ни за что, никогда, ни под каким видом не уступишь, — и это сламывает других. Во всяком случае, тех слабых головами петербургских большевичков, которых Ленин тут застал и которые очень высоко понимали свою подпольную тут работу.

Чем опасней разноречием в мыслях у товарищей — тем быстрее и надёжней спаять их организационно и связать им рты резолюциями. За последние дни, пока снаружи свистела и улюлюкала антиленинская травля, и грозились арестовать, убить, и на улицах рвали «Правду», — Ленин, отбивая внешние атаки (в каждый номер «Правды» успевая писать от четырёх до семи статей, всегда неподписанных, так сильнее выглядит), успевал и строить внутреннюю организацию большевиков. Вот, в несколько заседаний, провели петроградскую городскую конференцию, человек 35, которых приходится считать пока главными, — и неплохо, Ленин победил. (Своих доверенных — Сашу Аксельрода из Азово-Донского банка, Женю Соловей из Сибирского банка, Антона Слуцкого, Коллонтай, Людмилу Сталь разослал по городским районам, чтоб их оттуда выбрали, да супруги Соловьи сами и образовали Рождественский район, а с нами приехавших Зиновьева, Равич, Харитонову и надёжного Сулимова, красинского подручного по взрывчатке, втиснул и в президиум, — и вот приняты все нужные нам резолюции.)

Сперва, не подавленные и его приездом, авторитетом, опытом, славой имени, — здешние петербургские спорили против многих его тезисов. И, мол, не время говорить о перемене программы и названия партии (ну может, и погорячился, подождём), а надо привести к единству понимание момента (вот именно — к единству!). И даже, из дремучих Выборгских, полезли доказывать, что тезисы Ленина имеют только теоретическое значение, а не практическое. (Да только практическое и важно! да без этого, к свиначьей матери, зачем бы их и составлять!) А хитренький

Калинин взялся доказывать, что в тезисах будто и вообще ничего нового нет, всё это было, мол, в их февральском манифесте со Шляпниковым, и по аграрному вопросу они это самое говорили, а только вот новое, что Советы — единственная форма правительства. (Так это и есть главное звено! — прямой путь к пролетарской власти, готовая организационная форма, это и надо было увидеть!) И высунули затверженную шпаргалку, что не закончена буржуазно-демократическая революция и нельзя переходить к пролетарской, мол, пролетариат в России слаб, незначительный класс, не может победить без крестьянства, и не надо нам выстав-лять Парижскую Коммуну, и без надежд на цепь международных революций. (Употребил Ленин среди своих «Парижская Коммуна», напечаталось в «Правде» — стали обвинять, что Ленин напу-гал капиталистов.) И что у нас — вопрос о социализме ещё не сто-ит, захват власти — это уход от массы, бланкизм, и Совет правильно сделал, что отказался от власти, Петроград — не вся Россия, там — другое соотношение сил, пролетариат в России не может взять власть, это вызовет контрреволюцию, и мы ещё не готовы сражаться на улице, и у крестьянства есть страх перед выступле-нием пролетариата, и даже землю брать не надо, неизвестно, как с ней распорядиться.

И всю эту белиберду приходилось выслушивать — у себя, вну-три собственной организации! внутри Кшесинской! — какое же кольцо железной воли ещё надо, чтобы сжать сперва своих, а по-том пролетариат, а потом и все российские массы. Но помогла и предварительная обработка, уже многие говорили и за Ленина. Нынешний Совет выражает не те взгляды, что большинство проле-тариата. Надо стараться развивать дальнейшую революцию, и зе-млю конфисковать. Диктатура пролетариата — возможна (Голо-щёкин, наш давний). Пойдёт ли революция ко второму этапу? не-сомненно пойдёт. (Богдасьев, боевой.) Двоевластие у нас потому, что пролетариат в первую минуту как бы испугался власти. А те-перь трудней, но не надо пугаться: власть должна быть в наших ру-ках. Временное правительство — никому не нужно, надо созда-вать комитеты, которые выразят волю народа. Вон, крестьяне, опережая нас, уже захватывают землю. (Молоденький Эпштейн-Яковлев, тоже будет кадр.) Наша революция открывает эпоху ре-волюций на Западе. (Ну, это Сафаров, с нами приехал.) Россия идёт к вооружённому референдуму, вооружённому плебисциту. (Слуцкий, и формулировка удачная.) Все товарищи до приезда

Ленина бродили в темноте, только и ограничивались подготовкой к Учредительному Собранию парламентским способом. А товарищ Ленин осветил момент. Принять лозунги Ленина и не бояться Коммуны! (Сталь. А Коба Сталин — благоразумно помалкивает, но уже от Каменева откалывается.)

Ещё, ещё и ещё вколачивал им в мозги (чтоб усвоили — надо одно и то же, одно и то же повторять на разные лады). Главная ошибка, которую делают революционеры, — та, что смотрят назад, на старые революции. Сейчас демократия в России империалистична. Но искать правды в Контактной комиссии нет возможности, контролировать без власти нельзя. Сейчас в России, кроме большевиков, — сплошное революционное оборончество. А оно представляет собой интересы мелкой буржуазии, зажиточных крестьян, которые, подобно капиталистам, извлекают прибыли из насилия над слабыми народами. Оборончество есть переход крестьян к мелкобуржуазной тактике, в оборончестве мелкая и крупная буржуазия объединились. А Чхеидзе, Церетели, Либер — хвосты буржуазии, они политически мертвы. Мы всегда были против Чхеидзе, так как он — тонкое прикрытие шовинизма. «Революционная демократия» — никуда не годится, это фраза. (Там, в Таврическом дворце, пришлось, конечно, выразиться о ней иначе.)

Крестьянство. Ждать с аграрным вопросом до Учредительного Собрания — это победа зажиточного крестьянства, склоняющегося к кадетам. Надо соединять требования взять землю сейчас же — с пропагандой создания Совета Батрацких Депутатов. Крестьянам нужны не «права» на землю — им нужны Советы Батрацких Депутатов. Невозможно ограничиться одними Советами Крестьянских Депутатов, необходимо тотчас же создавать отдельные организации батраков и беднейших крестьян. Одна земля не накормит крестьянство, для обработки её нужно будет устроить Коммуну. Коммуна — вполне подходит крестьянству, это значит — полное самоуправление и отсутствие всякого надзора сверху. Да девять десятых крестьянства пойдёт за нами, если мы сумеем объяснить, почему не надо полиции, чиновников и армии!

Гвоздь политической ситуации всегда: уметь разъяснить истину массам. Такой свободы, как в России, сейчас нет нигде в мире, и надо уметь этим пользоваться. (Европа — сплошная военная тюрьма, капитал там правит жестоко.) У нас солдаты вооружены, но дали себя мирно обмануть. Народ отдал власть буржуазии по темноте, косности и привычке терпеть. Только наша партия даёт

лозунги, действительно двигающие революцию вперёд. А двигать революцию вперёд — значит самочинно осуществлять самоуправление. Замена постоянной армии всеобщим вооружением народа — это наша программа-минимум. Армия и народ должны слиться — вот победа свободы. Оружием должны владеть все, в том числе и женщины: поголовная, мужская и женская, милиция, способная отчасти заменить чиновников. И капиталисты должны будут открыть свои сундуки и отдать всё народу. Это живая уловка, будто при революционной армии излишне вооружать пролетариат. Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами (а без этого её не создать), имеет гигантское значение. Революция не может быть гарантирована, если эта мера не станет всеобщей. Выхода кроме социалистической революции — нет. Учредительного Собрания — никто и не собирается созывать, требовать его могут только дурачки-эсеры. Другой власти, чем Советы, — быть не может, и буржуазия этого боится. Надо готовить весь народ ко всевластию и единовластию Советов. Роль Советов — организационное насилие против контрреволюции!

Так — брал слитным напором.

И всё-таки не было уверенности, что на конференции соберётся большинство, — и Ленин сказал Зиновьеву: предложить не выносить пока резолюции об отношении к Временному правительству.

Но оппонент Каменев стал настаивать (уверен же в себе). Пошли обсуждать по пунктам. Да один за другим всё равно пришлось ему принимать без боя: и что правительство классовое, и что перепутано с англо-французским капитализмом, и возвещённую программу выполняет только под давлением пролетариата, и попустительствует буржуазно-помещичьей контрреволюции. (Слабость всякой промежуточной позиции: её очень трудно защищать.) Держал Каменев пространную речь: что мы уклоняемся от прямого ответа, массы не понимают, чего же мы хотим. (Совсем прямой ответ и недопустимо дать прежде времени!) Лозунг свержения Временного правительства сейчас не организует революцию, а дезорганизует. (А мы такого лозунга пока *прямо* и не даём.) А так как Совет связан с правительством — то что ж, свергать и его? Конечно, тут же признавал, надо постепенно учить массы, что дальше в революции им придётся выступить против Временного правительства и брать власть, но нельзя не учитывать колоссальной роли мелкой буржуазии при малочисленном пролетариате...

То есть — перешёл на политику Чхеидзе-Церетели! Внёс поправки в резолюцию: за бдительный контроль над действиями Временного правительства, против лозунга его свержения, — и собрал 6 голосов, а Ленин 20. Полный провал — судьба всех оппортунистов в рабочем движении!

Вчера, на празднование 1 мая, конференцию прерывали. Все товарищи ездили выступать на улицах и заводах. Поехал и Ленин на Пороховые (не очень хотелось: под открытым небом, и 30 тысяч человек). Голоса — не хватало. Смысл речи был взвешенный: готовиться к диктатуре пролетариата, готовиться к введению социализма, но — без прямых лозунгов свержения. И тут — случайно совпало? или нарочно меньшевики так подстроили? — с возражениями выпустили опять-таки бешеного Либера. (Ну, мы этого Либера откатаем в дёгте, будет не рад.) А эсеры выпустили Чернова и Авксентьева. (Чем больше Ленин к ним присматривался — дутые фигуры, труха, никакие не вожди. Говорят, на Совете Чернов вещал: «Каждый день увеличивает нашу силу, нам некуда торопиться». Ну-ну! А в «Деле народа»: «Ленин и не подумал, что...» — Ленин-то обо всём подумал, а вот вы, товарищи эсеры, ещё пока не научились думать.)

А в общем, массовое празднество ещё было не в наших руках. Далеко ещё. (А к особняку — паломничество любопытствующих интеллигентов, даже буржуа с супругами.)

Сегодня продолжали конференцию. Отчёт о положении в Совете, в ИК. Петроградский пролетариат выбирает не тех, кого нужно: вот сидит в Исполкоме Гвоздев. А солдаты представлены элементами националистическими. Чхеидзе ведёт политику умиротворения, что приводит к парализации наших требований. В Исполкоме господствует случайно попавшая интеллигенция, из-за того что не допускают переизбрать их. Ещё стараются главные дела решать в бюро, куда не пускают интернационалистов, чтоб иметь свой перевес. И в такой каше приходится выделять классовую линию из мелкобуржуазного болота.

Но состав большевицкой конференции был подготовлен неплохо. Так — голосовать, голосовать, и вперёд! Петербургские большевики теперь сплочены — а против них и провинциальные не посмеют сильно спорить. Вперёд!

Разошлись. Кончался вечер во дворце Кшесинской. И вдруг!..

И вдруг — стали звонить разные наши из разных мест, сообщая потрясающую новость: в газетные редакции принесена скан-

дальная нота Милюкова союзникам! подтверждает все обязательства России и обещает воевать до конца! В Исполнительном Комитете — паника и растерянность!

Так-и-знал! так-и-ждал Ленин, что Милюков сорвётся! Крохобор, у него не хватает ни фантазии, ни смелости. «Отказаться от захватов» ему бы сейчас — и крепко стало бы правительство внутри, и заставили бы союзников опешить, выиграли бы инициативу перед ними. Но Милюков — не охватывает всей ситуации и всех возможностей. Он подтвердил договоры — и на этом попался!

А вот уже привезли из «Правды» и машинописный текст ноты. Ленин схватил его с нервной радостью, быстро прогрызая глазами. Так! Так! Он даже читал не столько сам текст, а сразу — как на него отозваться, грохнуть резолюцией ЦК. Совершенно подтверждалась правильность позиции нашей партии: Временное правительство — насквозь империалистическое, все его обещания — обман, и не могут быть ничем другим впредь!

Ра-зор-вав-шаяся бомба! И — от отыгранного Милюкова мысль опережает сразу к Исполкому: какое заслуженное банкротство Чхеидзе, Церетели и компании! Политика вождей Совета окончательно разоблачена! А ну, а ну, посмотрим, что они будут делать? Рас-те-ряются, нечего им делать. Проглотить пилюлю? Значит, навсегда отказаться от самостоятельной политической роли, завтра Милюков положит им ноги на стол. Издумывать какую-нибудь гнилуху середину? Вот теперь они наказаны!

Ка-кая находка! Вот её и не хватало! На эту милюковскую ноту теперь как можно мобилизовать массы! Вот для чего и приехал на месяц раньше! Уж если подорвал репутацию поездкой — так теперь и действовать скорей, использовать опережение времени! Эта нота окончательно разрывает всю тучу травли — и из угрожаемого положения мы сразу переходим в контратаку! Спешить ударить! Неповторимый момент для двойного удара: и по правительству! и по Исполкому!

Вечно работающий мозг Ленина никогда не замедлялся ни от какой внешней внезапности: он перерабатывал всякое вторгшееся событие, усваивал его и работал дальше.

Сжигает, сжигает нетерпение: так что? Уже идти на восстание? Од-на-ко: мы ещё не готовы. Военка неравно успела: в немногих полках — крепкие гнёзда, а то — слабы, слабы. Любой риск! — но не ради риска. При купаньях Ленин первый входил в холодную

воду. Но, когда в эмигрантских собраниях пахло начинающейся дракой, — он первый уходил. Идти смело! — но только на то, что необходимо.

Нота — удача, но преждевременная. Такого быстрого хода — не ожидал! Эти полмесяца как ни напряжённо действовал, как ни сколачивал ряды, — а всё равно события опередили. Красная гвардия — нет, ещё не готова у нас.

Слишком быстрая удача.

Но массовые демонстрации — завтра необходимы. Поднять заводы, где мы в большинстве. И пытаться раскачивать солдат тоже.

Сегодня ночью уже не до сна.

Сел в дальний угол, набрасывал резолюцию ЦК бегучим карандашом.

Никакие изменения личного состава правительства, подменяющие борьбу классов... никакие личные перетасовки, отставка Милюкова... Единственное спасение для мелкобуржуазной массы — переход этой массы на сторону пролетариата... Только пролетариат может разорвать путы финансового капитала... Всю государственную власть — в руки пролетариата, совместно с революционными солдатами...

Время от времени звонил из Таврического Зиновьев, передавал, какой там переполох на Исполкоме.

Ленин подходил к трубке — и просто брался за живот: ну, кувырколлегия!.. Каша вместо мыслей! Бездна путаницы!

47

По вечерам теперь Исполком не заседал, а только бюро, и то не всегда поздно, и никогда все 24 человека. Сегодня вечером в ИК оставалась только верхушка, да несколько членов где-то по Таврическому, в своих комиссиях. Вдруг привезли из правительства пакет на имя Церетели. Он тут же вскрыл его, при Чхеидзе, Скобелеве и Дане, и, увидев, что это — нота союзникам, та самая обещанная правительством и вынужденная Советом нота, — стал читать её вслух. За это время вошёл Брамсон, потом Гольденберг, и слушали со середины.

Сперва всё шло нормально, и Церетели, кто вправе был считать эту ноту своим личным достижением, читал с удовольствием,

звонко, красивым голосом. Подтверждалась декларация от 27 марта (вырванная Церетели), которая теперь доводилась до сведения союзников. Опровергались вздорные слухи, что Россия готовит сепаратный мир, подтверждалась верность «тем высоким идеям», которые высказывали государственные деятели Европы и президент Вильсон. (Тут пришлось и покривиться, потому что идеи революционной демократической России были несравненно выше тех всех и именно на них приличнее было бы сослаться.) А дальше уже шла очень замаскированная, сложно составленная фраза: с одной стороны — о самоопределении угнетённых национальностей, что гласили и все социалисты, — и тут же об «освободительном характере войны». И хотя второе, вообще говоря, не противоречило первому, но — в каком смысле? только в социалистическом. А сказано так, как это повторяется каждый день союзниками, то есть что у англо-французских капиталистов — тоже освободительный характер войны?..

Церетели запнулся, задумался, перечитал. Насторожились и другие. Ещё две лёгкие фразы, проникнутое духом освобождённой демократии Временное правительство, — а дальше удар: совершившийся в России переворот не повлёт за собой ослабления её роли в общей союзной борьбе! И, кто ещё не понял: всенародное (в России) стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось!

Не только настрывшая всем «решительная победа», ненавистный лозунг войны до конечной победы, но какая война — не своя собственная, а *мировая*! — и её тоже до решительной победы!? до последней победы английских сипаев в Месопотамии, итальянцев в Каринтии и перехода французами Рейна? И стремление к такой победе от революции ещё *усилилось*?? — вот что резало! Сумасшедшие! Обезумелый Милюков! что они писали??

Церетели остановился не только ошеломлённый, но зажатый душой, но больно пристыженный как соучастник этого позорного документа. Он — громче всех обещал и пленуму Совета, и Всероссийскому Совещению (и на том громил Нахамкиса), и всей России, что с правительством сговорились, оно уже не отклонится от избранного пути, что будет «хорошая нота», — и как же теперь вот этот кошмар объявить революционному народу? Да всех нас и разнесут!

Чхеидзе за столом подхватил голову руками и сидел вылупив глаза.

Все напряглись, исказились, все понимали.

Дочитывал с ещё большей тревогой. А там катило безстыдное — «вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении союзников», — то есть принятые Николаем Вторым!.. И — ещё раз «победоносное окончание войны», и — ещё раз «в согласии с нашими союзниками», и как последние гвозди в крышку гроба — «*гарантии и санкции*», которых нужно добиться демократическим союзникам!

То есть — ничего подобного!! То есть — ничего и близко к тому, о чём уговаривались, в чём весь смысл социалистических идеалов мира, циммервальдского понятия о мире и войне! Просто — как насмешка, как плевок в лицо! Русская демократия, первая в мире, уже возгласила отказ от империалистических целей — и снова на неё нахомучивали их же?

Церетели с растерянностью, со стыдом, но и с румянцем грузинского гнева смотрел на товарищей. Он был мучительно уязвлён: он так заранее детски радовался успеху с этой нотой! И уже Совет обращался к общественному мнению западных стран, чтоб они *тоже* давили на свои правительства, чтоб они имели *такой же* успех над своим империализмом, — и теперь такой позор?

И в виде глумления подавали нам как выполнение наших же требований??

Так остановить!! Остановить ноту!!!

Поздно. Тут догляделись до даты: она *телеграфно* сообщена всем русским послам — 18 апреля — вчера днём — в день 1 мая! — за спиной торжествующего народа! — пока мы все ликовали, а дипломатия гнала свою чёрную депешу.

Но — тогда утром? Почему — утром сегодня они нам не сообщили? — почему только поздно вечером 19-го? Это уже негодяйство! — они подстроили на такой день, когда нет газет и можно затянуть неведение!

Уж и не спрашивай: почему вообще не показали ноты советским заранее?

Окостенелый в той же позе Чхеидзе сумел через сжатые зубы сказать только:

— Милюков — это злой дух революции.

А другие вскрикивали раздражённо, с бранью, с негодованием.

Да! Если бы Милюков специально хотел вызвать разрыв между Советом и правительством — он не мог бы найти лучшего средства.

Это значит — он выкрадывал реванш за своё поражение 27 марта!

Остановить печатание в газетах?? Можно, но бесполезно, это уже ничего не изменит, нота пошла.

Тем временем подошли Либер, Войтинский, неизменный Богданов — и требовали читать для них. Да и для самих себя надо было повторить. Ещё раз прочёл вслух Церетели. Гудение негодования становилось громче. Ещё раз прочёл Богданов. Кричали, и не только левые:

— Провокация!

— Вызов!

И если бы Ираклий Церетели был бы сегодня всё тот же пламенный студент-первокурсник, который с надрывом горла 11 лет назад с думской трибуны бросал вызов Столыпину, — он сейчас не сдержал бы своего гнева, а как вождь ИК и Совета — вызвал бы взрыв бездны, — и с завтрашнего утра закипела бы русская революция, какой ещё не видели. Но после шести лет Александровского централа и пяти лет сибирского поселения — это был уже совсем другой Церетели, не поддачивый слепому гневу. В перечитываниях он сейчас искал не усилить то, что взрывает, а — знаки смягчающие, успокаивающие, даже, может быть, оправдывающие?

И — находил. Да, были там и вполне положительные куски фраз.

Во имя общих интересов революции — надо было держаться умнее этого глупого, злого Милюкова!

И когда все заругались и закипели сильнее прежнего (а Чхеидзе сидел такой же окостенелый, после смерти сына он часто впадал как бы в летаргию, и полчаса мог сидеть, если его не тронут) — Церетели нашёлся отозваться и так:

— Товарищи! Во-первых, не будем всё-таки забывать, что эта нота есть всего лишь приложение к декларации, а та декларация, нами всеми одобренная, тоже теперь пошла к союзникам при ноте и впервые стала дипломатическим фактом. Она во многом нейтрализует и положительно превосходит вредность этой ноты. А во-вторых, давайте хоть разбирать по отдельным выражениям: правительство и не может говорить языком нашего социалистическо-

го Манифеста, у дипломатии свой язык. И если разберём, то и в ноте ряд вопросов подан вполне в мирных тенденциях демократии.

Но мировой социализм — ненавидел тот буржуазный дипломатический лексикон!

Брамсон, такой обычно сдержанный, вежливый, спросил с нервной резкостью: думает ли Церетели, что правительство намеренно редактировало ноту в недопустимых выражениях, чтобы отмежеваться от советской демократии?

Церетели, всё более умеряя себя, ответил, что только один министр может иметь такую цель — Милуков. Большинство же министров, напротив, при всех переговорах обнаруживало желание согласовать свою линию поведения с нашей.

— Чем же тогда можно объяснить такую ноту?

— Я думаю — только поразительным легкомыслием министров.

И правда же: ну чем другим можно было объяснить после тех доброжелательных встреч?

— Но чего стоят такие куклы-министры?

— А что смотрит там Керенский?

— Керенского!!

— Вызвать сюда, наконец, Керенского!! Он — наш член или не член? Чёрт подери, он заместитель Николая Семёновича, а ни разу тут не был!

Уже и без того у нескольких телефонов дворца стояли, сидели, вызывали всех членов ИК на экстренное ночное заседание. Теперь добавился и вызов Керенскому.

Но служащий министерства юстиции ответил, что Керенский заболел и приехать не может. Ну тогда пусть подойдёт к телефону! Нет, он заболел и горлом, и не может говорить даже шёпотом.

Тут сообразили: когда ж он заболел, когда час назад громко выступал на митинге в Михайловском театре?

Да, и сразу после того внезапно заболел. Ему очень плохо.

Врёт, сволочь! Врёт же!

Но не доберёшься!..

Тем временем подъезжали новые члены, и больше всё левые, особенно будоражимые — Кротовский, Лурье, Александрович, и все большевики, это был их праздник, торжество над линией Церетели, — и они упивались, кричали и требовали. Обсуждение приняло самый безтолковый характер, больше всего бесились — как смело правительство не показать ноту заранее?

Наконец в полночь Чхеидзе открыл официальное заседание. По позднему времени собралось меньше половины членов ИК (и преимущественно левые), но и этого было достаточно, все 80-90 и никогда не собирались, а кворум у них считался всего одна треть.

Заседание происходило при растерянности, заминке разумных правых и при неистовом горлодёрстве левых, которые искали на этом случае вообще перекачнуть Исполком на свою сторону опять и взять большинство. Они настояли на созыве экстренного пленума Совета сегодня же! Они справедливо кричали, что Милюков издевается над Советом, что он вернулся к позиции старого царского правительства (и против этого не поспоришь) и должен быть ликвидирован из правительства в 24 часа! Они обвиняли Контактную комиссию, что она не смеет разговаривать с правительством полным голосом, почему она прямо не потребовала, чтоб и наше правительство, и союзники присоединились бы к Манифесту Совета 14 марта?

Тут остроумно нашёлся Скобелев, от кого и ожидать бы нельзя.

— Когда Совет издавал Манифест, он катил по нашей ширококолейной русской дороге. Но когда правительство обращается дипломатически к европейским союзникам — оно должно приспособиться к их узкоколейной дороге. В Англии и Франции невозможно говорить о всеобщем мире так легко, как у нас. Нота Милюкова не дипломатическим языком плоха, а что под его предлогом подменяет наши лозунги лозунгами империализма.

Теперь Церетели сообразил, что надо начинать с телефонного звонка князю Львову, спросить же разъяснений, — но упущено, не телефонировать же после полуночи.

Неистовал безудержный Кротовский: что кончилось время всяких переговоров с цензовой властью! На провокационный вызов правительства мы должны апеллировать к массам! Теперь на сцену должны выступить народные массы — и весь мир увидит волю русской революции!

Да даже меньшевик Богданов, обычно деловой, был вне себя от негодования, кричал неуравновешенно:

— Да! эта нота наносит удар прежде всего нам, большинству Исполнительного Комитета! Переговоры с правительством с глаз у глаз потеряли смысл. Надо обращаться к массам! Только их выступление подействует!

Каменев, сохраняя, однако, завидное спокойствие, академически доказывал, что всегда были правы большевики, и только они.

Нынешние министры — представители буржуазии и никакой другой политики проводить не могут, что и доказывает дипломатическое произведение господина Милюкова. А призвать массы — большевики, конечно, всегда готовы, — не для того, чтобы переубедить буржуазное правительство, это невозможно, но потому что уличные движения — лучшая школа политического перевоспитания масс. (А Зиновьев всё выбегал, наверно звонил в ленинский штаб.)

От эсеров не было Чернова, а только сумасшедший Александрович, которого уже привыкли не слушать. Он кричал: за борт это правительство! Свергать немедленно! Не нужно нам их победы в войне! Наша победа была 27 февраля!

С опозданием, но, к счастью, пришёл — Станкевич. Он уже часто совпадал с Церетели, и сегодня тоже. Что не надо терять голову, декларация всё-таки посылается союзникам, и они поставлены перед фактом нашего отказа от аннексий. Тут — не обман со стороны правительства, а неуместная выходка Милюкова, известного «гения безтактности».

После того как страсти поплескали часа два, стали больше говорить: что же всё же делать, как поступить? Расширяли, что дело — не именно в этой ноте, а мы их плохо контролируем. Обладает такой силой! — и не хотим её применить. Упрекали и так, что «контроль над правительством» вообще отжившая мера, надо как-то иначе.

Упрёки падали всё больше на Контактную комиссию, и Церетели, ставши теперь её душой, отвечал:

— В возбуждённой сегодняшней атмосфере поднять массы против правительства легко. Одни хотят этого — для свержения, другие — для убеждения. Но если мы развяжем народную энергию — удержим ли мы её под контролем? Не начнётся ли всеобщая гражданская война? Да правительство само держится за Совет и будет радо исправить положение без всякого нашего призыва к массам.

Но какое требование предъявить правительству? Церетели терялся, ещё не знал. Он понимал, что нельзя требовать исправления ноты в форме, унижающей правительство: тогда оно уйдёт, и придётся советским брать власть, а они не готовы.

И ещё говорили, и ещё спорили — а стрелки перешли 3 часа ночи. Больше уже и головы не варили, и смысла не было спорить.

Найти решение и согласиться на него — становилось невозможно. Ничего не постановили, отложили, — собраться завтра днём, когда теперь? Часов в 11? в 12?..

48

К четырём часам ночи вернулся Станкевич домой после ночного Исполкома — на столе записка от Наташи (у них теперь часты стали записки, он всё возвращался не вовремя, и дочку Леночку почти не видел): трижды звонил Керенский и просил непременно тотчас звонить ему, в любое время ночи.

Вот как? да он же говорить не может?

Голова — котёл, только спать. Но позвонил. Оттуда вполне живой и нервный голос:

— Владимир Бенедиктович! Вы можете ко мне приехать немедленно? Я высылаю за вами автомобиль.

— Алексан Фёдорыч, помилосердствуйте, я не спал всю ночь, и сегодня будет тяжёлый день, я должен поспать. А скажите по телефону.

— Никак нельзя! — категорический голос. — И невозможно откладывать!..

— Ну, а всё-таки?

— Нет, никак!

Чуть-чуть уже и не поехал. Но уговорил его: на ночном заседании не решено ничего, дневное начнётся не раньше одиннадцати, до того — заеду. И свалился.

К Керенскому он тепло относился: за искренность, живость реакций, простоту в отношениях. А в первомартовские дни неожиданно и восторженно почувствовал в нём того человека, какой бывает в каждой революции только один и чудесно угаданным ключиком умеет всё отомкнуть. Потом стала коробить поза в некоторых его выступлениях или тон о фронте: что, дескать, кто погибал три года на фронте — творили своей смертью победу новой великой демократии, — как это легко кинуть из Петербурга, тут Станкевич стал очень чувствителен. Но всё же это был единственный наш — разумных, умеренных социалистов — человек в центре событий, и ещё пригодится для больших дел, и надо бе-

речь его от всякой компрометации. За последние дни Станкевич заставил «Известия» печатать и речи Керенского, чего они никогда не делали.

Спал 4 часа, а дальше и не спится, облил голову холодной водой и, не позавтракав (и опять не повидав ни жену, ни дочь), поехал на Екатерининскую, в министерство юстиции.

В прихожих комнатах перед кабинетом министра — не слишком убрано, валяются и окурки. Помятые курьеры ещё не унесли свои матрасы: спали у дверей министра? (Что это? Не форма ли ночной охраны министра?) А в кабинете в вазе — большой букет сегодняшней свежести — из роз, тюльпанов, георгинов, и все — красные.

Керенский — в халате, ярком, туркестанском, на правах больного. Видно, спал не много, воспалённые глаза. А движения — как всегда метучие. Заперлись.

И — ни в чём не скрытничал, с полной откровенностью, и эта искренность очень располагала. Он — в капкане! Он — в отчаянном положении! У него просто внимания не хватило уследить за всеми хитро прорытыми выражениями милюковской ноты, да может быть и рассеялся, да может быть и спешил: ему казалось главным, что нота — идёт, а такого подвоха он не ожидал даже от Милюкова.

Хриплый, срывистый голос. Без надобности хватался на столе за газету, за ключи, разрезной нож. Лицо лихорадочное и измождённое.

Не ожидал он вот чего: такого резонанса! Всю ночь — сколько телефонных звонков!! — подходят дежурные чиновники. Какое возмущение со всех сторон! И Милюков же будет козырять, что правительство одобрило! — так всё падёт на Керенского! А ведь он — и заместитель председателя Совета, у него положение совсем между Сциллой и Харибдой! А — что было ночью на Исполнительном Комитете? что? что?

Таким беспомощным не только не видел, но и представить себе его не мог Станкевич. И этот ёжик мальчишеский, трогательный, никогда не дошло до взрослой причёски.

Станкевич рассказал про ночной Исполком. Не повеселел Керенский: вляпался! Можно потерять едва что не голову, а министерский пост погиб! (И что бы стоило на один день раньше заявить особое мнение?!). Сегодня — грянет вся буря, и сегодня он —

никуда, болен! и без горла! Но просит Владимира Бенедиктовича: по возможности уводить прения от того, что министры дали согласие, при чём тут другие министры? это единолично схитрил Миллюков! И — ещё раз сегодня заехать рассказать, потому что тут задохнёшься в неведении!

Очень посочувствовал ему Станкевич. Пообещал — делать, что можно, и ещё заедет к вечеру.

Ехал от него опять в шикарном министерском автомобиле, думал: да, этот кризис несомненно показывает: так, как шло до сих пор, продолжаться не может дальше. Дефект — в самой конструкции нашей революционной власти. Невозможно Исполкому делать собственные дела чужими руками. Или: отдать цензовикам полную власть в правительстве и больше им не мешать. Или: устранить Временное правительство и стать вместо них самим. Или: разделить с ними власть коалиционно, но открыто и полно-властно.

Однако закруженность Исполнительного Комитета такова, что ни один из этих трёх выходов им неприемлем — по какому-нибудь из теоретических вывихов.

А четвёртого выхода — нет.

Ещё неизвестно, как эту всю суматоху используют ленинцы.

49

По пути в Петроград генерал Алексеев побывал на Северном фронте: от поезда ставочным автомобилем объехал несколько корпусных штабов, потом — во Пскове. Своими глазами повидал, что ни подчинения, ни учений в резервах, ни простого порядка. Радко-Дмитриев, ещё недавно так горячо уверявший в победной роли комитетов, теперь докладывал о 43-м корпусе: нет уверенности, что будут сражаться, все ждут немедленного заключения мира, при малейшем натиске противника могут бросить позиции без сопротивления, офицеры же как в плену у своих солдат. И в чём же он видел выход? — послать корпус в резерв и дать ему продолжительный отдых.

Удобный выход, так этого бунтовщики и добиваются. Докомитетились. Этот пылкий Радко, проворонивший гибельный Горлиц-

кий прорыв в 1915, со всей его честной преданностью... Но и Драгомиров, от первого дня предлагавший железно стоять против комитетов, тоже не спас своей 5-й армии.

Да где же им справиться с фронтом в 500 вёрст, если трясло не переставая сам Псков вокруг штаба фронта? Многочисленная псковская гарнизонная нестроёвщина из артиллерийских парков, обозов, пекарен, мастерских, госпиталей, распределительных пунктов — безцельным сбродом шаталась, митинговала с петроградскими делегатами (можно представить, какое тут раздолье шпионам), сгоняла начальников — а рядом с городом уже шевелился и лагерь военнопленных на 20 тысяч.

И Рузский — охвачен был явной немощью, за последнюю опору он держался — за Бонч-Бруевича, умевшего разговаривать с этой суматошной швалью. (Упрекал себя Алексеев, что в марте не устоял и послал ему на подкрепление просимые добавочные дивизии — только быстрее тут разложатся.) Отжатый, конченный генерал, где его апломб, узнать нельзя недавнего честолюбца, в момент государева отречения так высился, а теперь почти откровенно: так вот что имели в виду под революцией? спасибо! знал бы я раньше!..

Да если бы и Алексеев всё это предвидел раньше!.. Одержанье над своим постоянным соперником теперь совсем никак не радовало его.

Да что, если по пути на сам поезд Верховного лезла солдатня, не считаясь ни с какими запретами? — и уже охрана давала залпы в воздух, а те всё равно лепились на буфера и на крыши. Куда ж дальше?

Утром 20 апреля подъезжал Алексеев к Петрограду, впервые в должности Верховного, — и морщился, заранее сжимался, что будет пышная встреча: министры, общественные ораторы, речи, фотографии, корреспонденты. Никак не до этого было сейчас — и не только по стеснительности Михаила Васильевича, а ехал он со слишком серьёзными делами и даже в похоронном настроении. А омерзительней бы всего, если на встрече будет ещё кто от петроградского Совета, видеть не хотел он их поганных морд.

Но, к счастью, встретили совсем обыденно: ни министров, ни от Совета, ни речей, ни даже корреспондентов, ни даже Гучкова, потому ли, что болен, от Гучкова лишь один помощник министра, а второго Алексеев привёз с собой. Встречал — молчаливый Корнилов, почётный караул от Семёновского батальона да оркестр,

заигравший непременно теперь марсельезу, ничего другого в России играть не осталось. Рапортовал полковник-семёновец: что готовы защищать родину и отстаивать свободу до последней капли крови. (Если бы.) На ответные слова Верховного крепко гаркнули «ура». Дальше, правда, обнаружилась на площади и толпа, человек под тысячу. По нынешней моде подхватили генерала на руки и понесли в вокзал назад. (Старым костям мало удобства.) А там, от семёновского батальонного комитета, приветствовал Алексева старший унтер-офицер Скоморохов. Из говорливых, но и речь произнёс патристическую. Довольный этим (и чтобы произвести хорошее впечатление на комитет), Алексеев положил руку ему на погон и произвёл в подпрапорщики. Ещё пара ораторов от толпы — и отпустили. Поехали прямо в довмин. Ближе к серьёзному делу.

А серьёзного — серьёзного вёз Алексеев полную голову. Серьёзнее того, с чем он приехал в Петроград, — и не было сегодня ничего в России. Как спасти Армию и Флот? И: на что же мы теперь ещё можем их направить? От принятого в середине марта решения всё же наступать — не отклонился он, но и не слишком в нём продвинулся. Мечта наступать в мае — лопнула, теперь вопрос: удастся ли в июне?

Да вот, пять дней назад гарнизон Двинска вдруг постановил: считать двоевластие гибельным, продолжать войну до победы, а дезертиров объявить преступниками.

Всё на перевесе. Может быть и вытянем.

А между тем весеннее наступление союзников уже захлебнулось. И — что от них дальше?

Надо выложить правительству всё начистую — и решать чётко и окончательно.

Да прежде всего спросить у них накоротке: *что они делают?* Понимают ли, куда ведут?

50

Фёдор Линде и сам не знал: для чего именно он создан? Его разрывали стихийные порывы — и стягивала логическая цельность. Экспансивность и беззаботность открывали ему просторы — вдумчивость и методичность направляли его создать великую философскую систему. С 7 лет он увлекался Шиллером — и следил за химическими опытами

отца. (Отец его, немец, полуаптекарь, полухимик, изобретал необычайные рецепты, но так и унёс их в могилу, не сумев передать сыну.) И слушал музыку матери-польки. Они жили в полуразрушенной финской усадьбе близ Мустаяк — непродрожные сталистые озёра, мшистый лес и одинокие северные зимы, — объём для мечтаний. Старший из детей, Фёдор был отдан в Петербург, в образцовое немецкое училище Петершуле, уже с 12 лет зачитывался Кантом, а мальчики часто били его за заносчивость. Он и правда мало их замечал, был чужой в училище, да и в Петербурге — и город этот, и всю русскую реальность воспринимая как призрачный чужой сон. Метафизика, теория познания, космогония. Озарённость, умственный восторг. Идеал должен быть ослепительным верхом совершенства. Мальчиком рано овладела жажда власти над умами и глубокая уверенность в своём превосходстве над людьми. Он рано и с энтузиазмом приступил к грандиозному философскому сооружению, которому — с перерывами на революцию Пятого года — отдал 17 лет жизни: пересмотреть всё здание мировой науки и рвать со старой наукой. Он создавал новую систему логики, ибо традиционная логика, как и простая человеческая речь, неспособна передать систему логического мира. Потому в его работе сотни строк состояли из одних математических (и новоизобретенных им) символов, без слов. Он поступил на математический факультет Петербургского университета, уже ожидая, что его идеи не встретят отклика. Так и получилось: его работе не посочувствовал ни один профессор. Перед философским обществом в Петербурге он сумел произнести двухдневный доклад. Но, увы, набрать его работу типографским путём было очень дорого из-за необычной символики. Линде писал Рокфеллеру, он ждал мецената с золотом: ведь меценаты разбрасывают деньги направо и налево, совершенно не понимая смысла.

После смерти отца семья нуждалась, но Фёдор, плохо различая обычную жизнь, ничем не мог помочь ей, кроме фантастических планов, перед исполнением которых сам же тотчас отступал. Мать стала всех содержать тем, что в их усадьбе устроила пансион для скомпрометированных лиц, куда попасть можно было только по рекомендации.

Это вело новых людей в круг зрения Фёдора Линде. Марксизм прельстил его строгостью метода, эмпириомонизм — идейным безпокойством. Однако вызывали удивление фракционные споры социал-демократов. Большевики пришли ему ближе, но он не мог бы стать членом никакой партии, хотя оказался революционер по природе: и мыслитель — но и бунтарь. Не мог, потому что экстаз его тотчас угасал, как только личность его испытывала ограничения. Всякий коллектив — это средность, однообразие оценок, Линде не мог примириться ни с какой организацией, не мог бы стать простым членом её. За ним было право на неукротимую свободу и полную автономию духа. У него был собственный социализм: над всеобщим анархическим началом — абсолютная власть гения. Возможно — регулирование скрещения полов для выращивания особей, способных наконец быть свободными.

Только в экстазе он мог удовлетворить свою страстную нетерпеливость, сочетание аскета и сластолюбца. Пламень темперамента: любовь — так любовь! революция — так революция! Да всю жизнь он стремился к любви, но не умел воплотить её ни в каком конкретном образе. Осуществлённая связь — ведь она уже теряет и красоту и прелесть. Линде же всегда волновала девственность чувства, нераскрытость любви. Он рисовал себе не конкретную женщину, но идею женщины, образ окончательно гармоничный, — и страстно искал встречи с этой недостижимой. Вот стал увлекаться стихами, декламацией, даже танцевал, — но скучал, если встреча с женщиной затягивалась, и рвал знакомство.

Что он верно нашёл в университете — это подступающую революцию. Предлиннейший университетский коридор был революционной жилой. Отсюда шли на демонстрации и в тюрьмы, тут мечтали о баррикадах в Петербурге, а в Пятом году с гонгом революции — формировался «академический легион» для свержения ненавистного самодержавия. Как почувствовать себя на месте в самое роковое мгновение революции? Революции создаются импровизацией. Революция — это взрыв необузданной воли, и воспламенившаяся в нём личность может озарить собою весь свет. Линде увлекала опасность конспиративной обстановки. На тайную сходку в полуподвал на Галерной он явился в костюме кабальеро и увешанный через все плечи и бока разнообразным оружием, готовый тотчас в отчаянную схватку и вести безпредельный огонь.

Увы, революция в Петербурге не состоялась, и Линде тотчас уехал от Манифеста 17 октября. Но тут же за неосторожный выстрел он отсидел полгода в Крестах. Ему было 25 лет — не состоялась ослепительная фантазмагория, предстояли жалкие черепашие шаги размеренной эволюции. В 27 лет, не окончив университета, он был исключён за невзнос платы. И в этом же, 1908, году в материнном пансионе полиция накрыла максималистов-боевиков, остановившихся отдохнуть после на шумевшей удачной экспроприации. Те бежали, отстреливаясь, через Чёрную речку, а Фёдора и его младшего брата посадили за помощь убежавшим. Присудили к ссылке, но заменили на выезд в Европу.

И вот, как новый Чайльд-Гарольд, Линде стал путешествовать по Европе (мать снабжала его презренными деньгами, без которых в Европе не проживёшь). В Швейцарии он проявил попытки альпинизма. В Италии, среди виноградников и масличных рощ, он поселился доканчивать свою работу по логике. Отмечал в письмах тех посетителей, кто удивлялся его уму. Но прозвучала амнистия к 300-летию Романовых, а средств для заграничной жизни уже никак не стало, — и Линде вынужден был вернуться в Россию, где неподвижность мысли и скудость духа.

Бура бы грянула, что ли!
Чаша с краями полна!

Но случилось самое худшее: взрыв варварства в виде европейской войны. Затем Линде мобилизовали и назначили вольноопределяющимся в лейб-гвардии Финляндский запасной батальон. Убийственную тяжесть военной муштры он мог перенести только благодаря неугасимости своего интеллекта.

Однако ещё не прошёл он полного военного обучения, как начались революционные события в Петербурге. 27 февраля с утра он оказался вне своих казарм и как раз случайно в Литейной части — и с огненными глазами и словами бросился «поднимать» преображенцев и литовцев. Потом сплавивал отряды, и носился весь день по городу, сперва пешком, затем на грузовике — и только поздно вечером вернулся в свой батальон, в тот день позорно не примкнувший к восстанию. Но наглядный ореол революционера и его возбуждённые речи сказались на следующее утро — и Линде был выбран от батальона в Совет Солдатских Депутатов, затем, от солдат, временно и в Исполнительный Комитет, и несколько дней он кипел там, поучаствовав и в творении «Приказа №1», и на автомобиле гонял в Кронштадт вдохновенным вестником Петроградского Совета.

Увы, увы, эти пламенные краски и надмирная музыка длились недолго: ото дня ко дню они угасали. Революция теряла свой пафос. Наступили будни, хотя и шумные, многоречивые, — но Линде почувствовал свою от них отчуждённость. Происходило катастрофическое успокоение, революция пошла убогим путём создания органов управления — и Линде тосковал безмерно. Он почувствовал себя лишним в этом формализованном Совете, солдатская среда утомляла его своим однообразием, кажется (он точно не заметил), он перестал быть и членом ИК. С охладелой горечью бродил он и по Таврическому, и по улицам Петербурга — ещё не совсем потеряв надежд на новый фантастический расцвет революции.

А в батальоне не знали, что он уже не член ИК, и Линде сколько угодно уходил из казармы в Таврический. Так и сегодня, к счастью, он рано утром попал туда — узнал о ноте Милюкова, — и нота ужалила его и прозвенела гонгом к новой революции! И общее смятение в советских кругах подтверждало его прозрение. И по святому наитию, импульсом великой Интуиции, которая бывает выше самой стройной Логики (хватило хитрости в этот момент не довериться никому в ИК — они наверняка утопят всякое светлое

дело), — он кинулся в свой Финляндский батальон — и сразу в батальонный комитет, который и нашёл в его обычном состоянии непрерывного заседания. Решали какое-то скучное будничное дело. Кажется, невозврат в батальон отлучившихся солдат, и надо ли их теперь объявить беглецами и приверженцами старого строя или ещё продлить им срок явки, — Линде ворвался, дал знак председателю Дорошевскому, что будет говорить, и не садясь начал речь:

— Товарищи! Растоптаны лучшие надежды революции! Лукавый Милюков обманывает Россию, пользуясь нашей доверчивостью! Миллионы людей-братьев перебиты и искалечены в этой сатанинской бойне, — а они всё хотят «окончательной победы», которой быть не может! и она не принесёт нам никакой пользы! — а для этого лить новые и новые потоки крови. Но хуже того, в этой войне гибнут не только люди, но драгоценная европейская культура. А если она рухнет... — его горло перерывалось, не в силах выразить дальше. — Если рухнет европейская культура, если затмятся вековые идеалы... Эта война не нужна ни одному народу, и пора её кончать! Довольно той крови, которая уже пролилась рекой за золотой сундук капиталистов!

А его — не понимали: о чём он? Они сидели тут — и, оказываясь, до сих пор ничего не знали о ноте Милюкова?? Достал «Новую жизнь» из кармана шинели, прочёл комментарии к ноте и объяснил.

— Вот такова эта честная буржуазия, ничего не продававшая, кроме собственной совести! Милюков и нашей революции не хотел, в феврале он пытался надеть узду на революционную стихию! Милюков всегда признавал трёх врагов: царскую власть, Германию и рабочих. Теперь с царской властью справились — ему осталось сокрушить Германию и рабочих. И для того либералы вступили в союз с чёрной бандой. Когда они начинали эту бойню — у нас не спрашивали согласия. А каждый день этой войны уносит 25 тысяч жизней! Это — самая гнусная из всех войн, известных в истории. Буржуазия хочет принести Россию и Европу в жертву на алтарь империализма. Покажем же буржуазии свою мощь и организованность! Все как один, наш батальон должен выйти с оружием к Мариинскому дворцу, где заседает правительство, — и предъявить им нашу волю! Правительство должно немедленно прекратить войну!!

В комитете заседало десятка полтора. И человека три как будто шевельнулись идти поднимать батальон. Но остальные безчувственно не зажигались, и два офицера среди них, — даже строки гнусной ноты Милюкова не взорвали их сердец! Склонялись: занять выжидательную позицию, пока выяснится, как отнесутся другие батальоны. Как? ещё ожидать? Стал Линде (так и не присев) бичевать, что Финляндский батальон единственный в Петербурге бездействовал в великий день 27 февраля и этим опозорен! И даже ещё более опозорен, что в те дни финляндский подпоручик застрелил рабочего! Да, наконец, вот недавно же на митинге наш батальон принял резолюцию прекратить мировую бойню! заключить мир без захватов! — а тем временем Милюков обманывает нас! — и правительство изменило нам! Немедленно идём с оружием протестовать!

Жалкие рассудочные сердца! — сколько энергии и пламени надо, чтобы вас возжечь на подвиг! Начались — прения! «высказывания» неосмысленных людей! доводы филистерского рассудка... Надо, мол, ещё читать и разбирать ноту... А как же, мол, наша верность союзникам?.. Даже наше нынешнее бездействие на фронте есть предательство... Германия сильнее нас и захватила нашу землю... Мир должен быть заключён так, чтобы Россия получила возможность здорового развития... А враждебная правительству демонстрация подорвёт его авторитет, который и так невысок.

Линде — изводился в этом болотном тесте! Он расхаживал по комнате длинными шагами мимо сидящих, снова произносил монологи, потом уже и садился на стул, — кошмарно было представить, что он их не зажжёт, и упущен будет неповторимый революционный миг! Не всякие нервы могут вынести это черепашье переползание времени — полчаса! ещё полчаса! ещё полчаса! Так всё погибло, и позор навсегда зальёт наши лица??

Но, к счастью, среди этих обывателей в шинелях были и решительные сердца, поддержавшие Линде: надо идти маршем! и раз так зовёт нас Исполнительный Комитет! (Тут сообразил Линде: совсем непреднамеренный ход: он не солгал, что он пришёл от Исполнительного Комитета, но все тут считают его членом! А уж теперь он не проболтается, нет!)

Голосовали. Было поровну — и были воздержавшиеся. Ещё голосовали — перевес в один голос. Постановили разойтись по ротным комитетам и обсуждать и голосовать там.

О, как чуткому сердцу перемучиться ещё эту оттяжку! Да ведь полдня уже проходит, всё погибнет!

Пока догадался подговорить знакомых солдат писать плакаты: «Долой Милюкова!»

Наконец собрали вместе все ротные комитеты, батальонный и офицерский, — и Линде снова держал к ним горячую речь — а потом изнурительно, изнурительно спорили. И снова голосовали.

И — опять победили, с перевесом в 2 голоса. И тут Дорошевский не выдержал, вскочил, приказал: батальону немедленно строиться — и с винтовками! И всем офицерам, и полковнику — тоже идти!

Наконец-то! О победа! О крылья! Раздавались команды по ротам — и батальон выходил строиться: правый фланг у набережной, левый у Большого проспекта.

51

Ещё 4 апреля, на третий день Пасхи, развесил генерал Корнилов снова такое воззвание: в дни нашей великой революции с петроградского артиллерийского склада взято 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов, это — вооружение больше чем корпуса, а Действующая Армия испытывает нужду. Обращаюсь к населению Петрограда с убедительной просьбой возвратить оружие, чтобы нам не посылать в бой безоружных людей, как делало прошлое правительство.

Никто ни черта не вернул.

Несколько раз прощался с пулемётными полками, чтоб они ушли хоть в Ораниенбаум, а там и на фронт: и низкий поклон вам от меня как Командующего и как от русского человека. Вы дали России свободу — теперь вы должны её обезопасить победным концом войны, а до тех пор не класть оружия. Так ли, пулемётчики? — «Точно так!!» Ура на всю площадь и марсельезы. Но на фронт — ни одна рота не пошла. Правда, одна высказалась против Ленина.

Зачем петроградским солдатам идти на фронт? Они получают два с половиной фунта хлеба с приварком и ещё нанимаются подрабатывать кто в милиции, кто дворниками, личными телохранителями, кто стоять за прилавками, кто торговать вразнос, а ещё

же — свободные частые митинги. И даже от этой жизни — дезертируют.

Как с ними разговаривать? — если Командующий Округом приезжает в батальон — и даже не все солдаты изволят выйти из казарм. За всю свою 30-летнюю воинскую службу не испытывал Корнилов ничего подобного. Вот: он отдал приказ о строгих часах увольнения из казарм, и только по увольнительным спискам, — советское Совещание всё это отменило, не спросив! Да даже юнкера, его последняя, как он думал, опора, печатали в советской газетёнке стыдливое опровержение, что нет, военные училища вовсе не ходили на парад к Корнилову: они хотели идти приветствовать Таврический, а собираться на Исаакиевской площади, но она мала, пришлось строиться на Дворцовой, и вот так вышел «парад».

Петроград переполнялся потоком делегаций из Действующей армии — настолько, что уже не хватало ни гостиниц, ни меблированных комнат, и должен был просить Корнилов Главнокомандующих фронтами, по крайней мере, прекратить отпуска офицерам в Петроград. Чего могли эти делегации набраться у петроградского Совета и гарнизона?.. Но и взамен же — и не знаешь, что хуже, — ехали агитаторы от гарнизона пачками на фронт ежедневно, и даже не осведомляли Командующего, не то чтоб разрешение спрашивать. Совет вертел как хотел.

И всё равно печатали так: «всем этим генералам-бюрократам демократизация армии — не по носу табак». И «всеми силами протестовать против приказа Корнилова об отобрании оружия у петроградских рабочих».

Будьте вы неладны.

Ну, не всё так потеряно. Всё ж Корнилов на Дворцовой площади приводил к присяге часть за частью, несмотря на то что Совет присягу «отменил». Всё ж отправил на фронт три тяжёлых дивизии, одну бронированную бригаду и дюжину маршевых рот (каждый раз за то благодаря части в приказе: счастлив был видеть дружные старания, доказали истинное понимание товарищества). Перекрепили к Округу от морского ведомства бунтующий Кронштадт — поехал в их логово. Ничего — парад экипажей перед Морским собором, и даже офицеры (которые не под арестом) с возвращённым оружием, ура, ура, — и матросы понесли Командующего на руках к автомобилю. Ездил раз и на завод, Трубочный: почему плохо работают? Ответ: готовы работать 14 часов в сутки...

Может быть, и можно ещё дело спасти, если правильные меры найти и осуществлять. Догадался производить унтеров в подпрапорщики, по 20 на батальон, — они сразу подтянули порядок, не останавливаясь и по морде приложиться. Стал раздавать в госпиталях Георгиевские кресты — инвалидам, отправляемым домой. Писарям Главного и Генерального штабов, всего их тысячи полторы, слишком закомитетились, не работают, — объявил: родина требует всех здоровых на фронт, буду заменять писарей женщинами! Присмирели.

В Совете придумали ещё такую отговорку: маршевые роты отправлять опасно не только из-за контрреволюции (уж всем видно, что её нет), но: тут, в Петрограде, возможен немецкий десант! Так пусть петроградский гарнизон останется тут до конца войны для защиты столицы. И эта шантрапа будет защищать?.. Они брались решать стратегические вопросы за генералов, так и генералу подали мысль: а что если правда все эти гнилые запасные батальоны, которые всё равно пополнений не посылают, да переформировать в полки нормального состава, объявить им угрозу десанта — и гонять, учить к бою? — отдельный Приморский фронт, с Карельским перешейком и южным берегом Финского залива? Всё-таки же здесь с окрестностями — четверть миллиона запасных. И пулемётные полки. И бронеавтомобили. И половина главного военного снаряжения. Стал готовить такую меру.

А Гучков — запретил: могут быть политические осложнения.

А какие будут осложнения от отмены погон у моряков — этого он не подумал. Как от пожара отгораживаясь, в тот же день вслед должен был Корнилов издать свой приказ (очень странный на вид): что об отмене погон для сухопутных войск он не получал распоряжений (написать «сохраняются» — так не знаешь, может завтра отменят), и поэтому лица, позволяющие себе срывать или срезывать погоны, подлежат задержанию как *провокаторы*. (Этого слова Корнилов и не знал сроду, но сейчас все бранятся этим словом как хуже изменника Родине.)

В минувшее воскресенье Корнилов встречал на Финляндском вокзале партию наших увечных, воротившихся из плена. Заливается кровью сердце — смотреть и слушать, что они перенесли. И — к чему эти все их страдания?.. Или его собственная 48-я дивизия, окружённая и уничтоженная в макензеновском прорыве? — из этих наглых сегодняшних гарнизонных харь кто это помнит?

Ах, жалел он, что вызвали его от корпуса на этот треклятый Петроградский округ. (Уже раз — сорвался и просился у Гучкова: снять с Округа. Не пускает.)

Временное правительство — бабы, не способные ни на что. Измучивало Корнилова, что у министров — всё время какие-то сложные скрытые расчёты, нет простой прямоты — а без прямоты Корнилов не умел обращаться с людьми.

Спасение могло прийти только из глубины армии. И тут решала Ставка. Прежде всего — Верховный Главнокомандующий.

Каков Алексеев? Корнилов видел его лишь на проезде сюда через Ставку, четверть часа. Бойцом — не показался он. А доверие между ними мелькнуло сразу. Да по посту, им занятому, Алексеев один только и мог сейчас изменить ход событий.

И сегодня Корнилов встречал Алексеева на вокзале с большой надеждой. Он — жаждал увидеть сейчас вождя себе. Для решительного Верховного — решительный командующий столичным Округом — находка, сила. И получив бы любое сильное приказание, хоть переарестовать Совет, — выполнить его. (Пытаться выполнить... Корнилова не стесняло, что он в Петрограде — единственный сильный генерал. Стесняло — сколько он наберёт верных юнкеров и лучших команд. Да хоть бы, ну, больше трёх тысяч. Эх, прав был Крымов месяц назад: наверно, тогда и надо было разгонять. Но как было поднять руку помимо правительства?)

Встречал Алексеева с надеждой, но, как всегда, непроницаем для самого допытчивого взгляда. Есть эта непроницаемость, когда глаза твои узкие, скошенные, на смуглом лице не выдаст ни румянец, ни бледность.

Уже по дороге с вокзала на заднем сиденьи автомобиля разговаривали тихо. Потом в довшине, пока Гучков ещё не принял Алексеева.

Корнилов отрывисто бросал, как оно есть. Разложение. Позор. И казаки туда же. А Кронштадт?!

Разговаривать он не мастер, доказывать.

А Алексеев — нет, мирный старичок. И движенья мягкие, округлые. Надо, мол, научиться работать с комитетами.

— Комитеты — хуже Советов, — отрубил Корнилов. — Те хоть штатские, у себя, а эти — военные, у нас внутри. Какая это армия?

И всё равно, мол, отнестись к ним с бóльшим доверием, простить им некоторые крайности.

Нет, *этот* — команды не подаст.
Кто же подаст??

52

Генерал Алексеев ждал с утра большой беседы с Гучковым, ждал от него полного внимания, за чем и ехал, — а поговорили всего десять минут: и болен Гучков, и чем-то занят, и вот сегодня днём на заседании правительства всё изложите — и не надо смягчать, не надо розовых красок, а всё как есть. А после заседания уж мы с вами поговорим.

Обидно, всё не то. При грандиозном развале армии — так о многом было говорить с военным министром с глазу на глаз! При остальных министрах так откровенно не доложишь.

Но вот удача: в Петрограде — Колчак. И на эти свободные часы до Совета министров Алексеев пригласил его к себе. Каким это чудом в Черноморском флоте сохранилось настроение победоносной войны? Хотел Алексеев поучиться у Колчака: как же с этими комитетами работать? Почему ж это удалось одному Колчаку?

Последний раз они виделись зимой в Севастополе, когда Алексеев лечился там и был чуть не при смерти. Но и сегодня соотношение здоровья и болезни между ними сохранялось огромно. Колчак — как железный, всегда готовый к команде, к действию, зоркий, быстрый, никогда не запутанный в побочных. И высокий пост не придал Колчаку повадок барства, лености, что так погубляло многих. Напротив, недостаток его — повышенная пылкость и нервность.

Вот и пожаловал — с открытым пронзительным видом, высоким лбом, пригорбленным, парусным носом. Похудел с зимы.

О комитетах? Докладывал.

Надо было переступить какой-то порог сознания: разрешить совершаться тому, что до сих пор ошибочно казалось нам недопустимым.

Всё складно, Алексеев готов бы этому следовать, но как применить? нигде не получается, везде почему-то сразу разваливается.

Колчак и подробней.

Когда уже получилось — очень заманчиво. Но где же ключ? Алексеев не ухватывал.

Впрочем, и Колчак не сильно хвастался. Честно говоря, в Севастополе совсем не так хорошо. Порядок, может быть, держится на последних остатках благоразумия. Вот — эсеры. Столкновений с ними до сих пор не было, но могут произойти. Память 1905 года встаёт угрожающе. Уже носили по Севастополю гробы тогдашних жертв (или какие-то вместо них). Вот стали требовать в южных газетах, чтоб адмирал Колчак лично искал бы прах казнённого лейтенанта Шмидта и перевозил бы его в Одессу. И уже самочинно ездила делегация матросов на остров Березань, искать место расстрела. И чем эти все тревоги кончатся? В московском «Утре России» напечатали анонимную заметку, будто над лейтенантом Шмидтом при аресте были издевательства, — теперь ведь свобода и каждый может лгать, что хочет, сам скрываясь. И уже свидетели-офицеры за подписями опровергали, — и что ещё будет с этими офицерами? То прибывают из-за границы матросы с бывшего бунтарского «Потёмкина» и, мол, хотят вступить во флот, ценное пополнение. То на «Екатерине» захотели поднять жёлто-голубой флаг: на нём, видите ли, много украинцев. И с такими же знамёнами их собрание в севастопольском цирке: требуют автономии Украины и чуть ли не отдельного украинского флота — и как быть с ними? не в Севастополе же это будет решаться.

А с этим снятием морских погонов? — какое смятение, вот телеграмма из Севастополя. Как быть в сухопутных частях флота? — неясно. Приказали офицерам идти на парад «1 мая» в погонах, потом передумали — без погон, но не могли хорошо сообщить. И одни офицеры, добравшись до своих штабов, спешно сами срывали, а с других на улице срывали солдаты, чего в Севастополе представить было нельзя! — и кричали: «Контрреволюция идёт! Бери их!»

Тут Алексеев мог только покивать: это был грубый ляпсус Гучкова.

Но Колчак-то, главное, не с этим пришёл, он вот с какой идеей: сейчас нам нужна, срочно нужна какая-нибудь крупная победа! Сухопутная армия — не способна.

— А флот — может! Дайте нам взять Босфор!

Но — вздохнуть лишь мог Алексеев. Не только он всегда был против. И не только нет подвижности на эти два месяца подготовки, но даже вот, через два часа, министрам такое вымолвить предположительно — не под силу, горло не возьмёт.

Сегодня днём и должен был заседать Исполнительный Комитет, но какой стоял вопрос: о созыве международной стокгольмской конференции социалистов, в которой ИК брался быть главным инициатором. Соберутся социалисты со всего мира и всем Интернационалом скажут войне — нет! И кончится мировая бойня.

Хотя от тех западных социалистов, которых пока увидели живыми, приехавших в Петроград, — одно разочарование и уныние. Бросились разговаривать с ними как с товарищами, а к концу уже не понимали, чем они отличаются от наших империалистов. «Самоопределение народов» они понимали только тех, которых выгодно освобождать союзникам, но не напротив. «Без аннексий и контрибуций» было им колом в горло — и чтоб увернуться, стали придиричливо требовать, чтобы русские товарищи им подробно разъяснили этот лозунг. Приходили на переговоры с переводчиками, ассистентами, записными книжками, рассаживались — куда твои дипломаты. А наша русская сторона (комиссия — Дан, Нахамкис, Гиммер и Шехтер) растерялась. Дело в том, что ни в Исполкоме, ни в Центральных комитетах партий никто до сих пор серьёзно этой формулы не разрабатывал: что именно считать аннексией, а что нет? Что думает Исполком об Эльзас-Лотарингии? Польше? Армении? В каких пределах и в каком смысле понимать самоопределение? Что считать контрибуцией, а что — возмещением убытков? Наша сторона — не нашла ответов, увиливала. А те: в общем виде — да, согласны, но — конкретно? Потом явился Тома, с ним — атташе из посольства, и допытывались: а может ли русская армия сейчас наступать? а сколько производится снарядов? Невыносимо! Просто сосут кровь из нашей революции! И откуда-то они в этих переговорах поняли, что Совет признал права Франции на Эльзас-Лотарингию, и сразу послали телеграмму в Париж, и там опубликовали во французских газетах. И пришлось новосозданному отделу международных сношений ИК телеграфировать в Европу за подписью Скобелева, опровергать такую басню.

Негодовали на этих социалистов, а потом смягчились: они — жертвы империализма, опутаны его тенетами.

И вот сейчас получилась ироническая аналогия: вместо конференции, как распространять мир на Европу, сошлись обсуждать, как сорвать с собственной шеи аркан миллюковской войны.

Начали топтаться с того же места, на котором засыпали ночью: ничего не решено и ничего не понятно. Членов явилось близко к полному составу, и ко всем непримиримым левым добавился непримиримый Гиммер, втройне навёрстывавший теперь своё ночное отсутствие. Он так построил: тряс резолюцией Всероссийского Сопещения об отношении к Временному правительству: о чём мы спорим? мы прежде всего обязаны исполнять свои резолюции! за три недели уже забыли? Вот написано чёрным по белому, мы голосовали: «отразить попытки царистской и буржуазной контрреволюции», — так это самое мы имеем сейчас! «Решительные шаги к подготовке всеобщего мира без аннексий и контрибуций», — где же они? нам на горло наступают! «Поддерживать правительство, поскольку оно свою внешнюю политику строит на почве отказа от захватных стремлений» — так это разорвано? чего ж мы колеблемся?? Пришёл момент *отпора* буржуазной власти!

А кого возмущало:

— Да ещё говорят не от себя, а о «всенародном стремлении»! Значит — за всех нас?

— «До решительной победы» — это что ж? Ещё десять лет воевать?

Чернов, к вальяжной фигуре которого на Исполкоме ещё не совсем привыкли, будто и возмущался, но умеренным голосом, не теряя достоинства вида:

— Хорошо, не рвать договоров с союзниками, но и не трясти же царскими. Тактично дать понять союзникам, что договора всё равно придётся пересматривать: ведь ни новая Россия, ни Соединённые Штаты не хотят захватов.

Но большинство-то — оппортунистическое, и нашлись, хотя неуверенные, голоса защитников, что всё же в ноте есть и положительные моменты. И всё же — декларация при ноте послана.

Керенского — по-прежнему нельзя было дозваться: болен! Но по Таврическому возник слух, будто Керенский, Некрасов и Терещенко в кабинете министров голосовали *против* ноты — это всё-таки обнадеживало. Тут вспомнили предупреждение Керенского последние дни: если на правительство слишком нажмёте,

то *они уйдут*. И осторожные правые, теперь и Дан, и Гоц, убеждали, что влияние советской демократии — не во всех слоях населения, что мы не имеем подготовленных демократических кадров, и не можем сейчас организовать другое правительство, мы не справимся с экономикой, и нас не признает большинство населения...

— Да никуда они не уйдут! — вырывался Гиммер как укушенный, и даже подпрыгивал на середине комнаты. — Никуда они не уйдут, пока мы их не выгоним! Будут сидеть в креслах и держаться, пока их не выгонит реальная сила! Да ни за что они не уйдут от власти! — они понимают, что этим уже не сорвут революцию, теперь уже их уход не страшен, это не первые дни. Но до последней крайности будут защищать своё классовое дело. Жалкая теория «бережения правительства»! Боясь собственной силы, вы преувеличиваете опасность. А если правительство не может выдержать минимума революции — мир, хлеб и землю, — так и *раздавить его!*

При крохотности его фигуры и срыве голоса на писк это не так уж страшно и звучало.

Кто-то вспомнил:

— И неужели они думают от нас при таких условиях получить заём?!

И забыли даже, что мы заём держим в руках, все рычаги у нас.

Поднялся высокий Церетели, с прошлой ночи грустно-смущённый. Он отвечал на вопрос: как же, как же могло Временное правительство не предупредить о ноте заранее? не показать её Совету? Церетели сообщал, что сегодня с утра разговаривал с членами правительства и те поражены гневом Совета: они даже не представляли, что в ноте есть что-то новое, что надо согласовывать. Они утверждают, что под «победоносным окончанием войны» и понимают установление демократического мира.

Это уже не помещалось ни в какой голове! Министры до такой степени изолгались? ослепли?

Но что ж им ответил Церетели?!

Что для демократических целей войны нельзя использовать общеимпериалистические слова. Что дух мартовского соглашения был не такой. А они настаивают — что не отступили.

Тут ещё доложили: пришла и кого-нибудь просит выйти делегация 3-й армии: пришли протестовать против слухов, вносящих разъединение между правительством и Советом.

Ещё козырь для Церетели и его группы: ну вот видите, товарищи, неудобно вскрывать конфликт. Нельзя терять благоразумия. Лучше мы сегодня же соберёмся в полном составе вместе с правительством и объяснимся, узнаем, какие же причины их побудили...

— Да о чём объясняться?? — снова прорвался едкий Гиммер. — Тут столкнулись классовые интересы, а такое противоречие принципиально непримиримо! Никакие объяснения правительства не изменят объективного положения дел и не отменяют насущных требований революции. Интересы капитала столкнулись с интересами народа. Тут не объясняться надо, а: более сильная сторона должна продиктовать более слабой! И сейчас нам надо обсуждать: что именно продиктовать? А вы хотите подменить революционное дело пустыми разговорами! утопить народное движение в закулисных сделках! Рука народа занесена для богатырского удара! — и он поднял свою ручку в кулаке. Приснули. — Тут предательство революции, а вы ищете толкование отдельных слов, — шахматный ход, применяемый во всех революциях соглашателями.

Он задыхался, даже и он не мог больше. Свернуло его на стул. Да он сегодня превзошёл всех большевиков! Потому что растоптан его февральский замысел: манипулировать безсильным правительством.

А между тем по телефонам Таврического звонили с нескольких заводов, а секретари прибегали сюда докладывать: спрашивают рабочие комитеты: действительно ли нужно идти всем на Мариинскую площадь?

Что такое? откуда ещё это взялось? Остановить! Отменить категорически!

— Это вы? это вы? — на большевиков.

Каменев с великолепным спокойствием: если большинство Исполнительного Комитета решит призвать рабочие массы — большевики тотчас это могут осуществить. Но без Исполнительного Комитета — как же можно?

Однако: и отчего же могло такое возникнуть в разных концах города, на разных заводах, сразу? Кто-то же бегают, поджигает.

Каменев думает: это выросшее сознание масс. Прочли в газетах ноту — и возмутились повсюду. Надо больше верить в массы.

Ну да, выросшее сознание! Если б оно настолько выросло — революции не было бы и забот.

И опять толковали за получасом получас, и ничего же другого не могли решить, как: пока ничего не решать, а встретиться всему полному составу ИК со всем полным правительством.

А — в котором часу? Ведь в 6 часов уже назначен, опубликовали в «Известиях», экстренный пленум всего Совета.

А — зачем теперь Совет? Не говорили прямо вслух, но: зачем теперь этот Совет? Распорядились печатать созыв в ночном перевозбуждении — а для чего теперь он? Сгонять две тысячи человек, произносить речи — а решение есть заранее: ничего пока не решать.

Станкевич отваживался брать руль в свои руки: сделать так, чтоб и Пленум Совета не пропал совсем зря, а прояснял бы сознание депутатов, и весь расхлябанный советский корабль провести твёрдо через эти шквалы. Исполком не понимает, что на Совете даже внушительней можно высказать.

Станкевич подошёл к ошарашенному Чхеидзе, с блуждающим взором и бездействием на председательском стуле, и, наклонясь, стал внушать: поручить ему первое главное выступление на Совете.

Чхеидзе обрадовался. И закивал, затвердил: да, да! Он уже — почти ничего не мог понять в этом сумасшедшем круговращении.

И тут — вбежали, и не тихим докладыванием, а закричали с порога:

— Финляндский полк в полном вооружении пришёл на Маринскую площадь — и с т а л !

Как? что? кто? Кто его вызывал? кто посылал? Революция? Контрреволюция?

— Товарищи, кто его посылал? Кто распорядился?

Никто его не посылал. Никто не распорядился.

И большевики выражали честное удивление — хотя и рады.

Вооружённый народ — вышел сам?!

Арестуют сейчас правительство? Что это будет? Какой скандал!

Звонить! Предупредить! Бежать! Посылать!

Посылать на площадь и отговаривать солдат. Кого? — ну, первого Скобелева конечно, а там другие догонят.

Заседание Исполнительного Комитета развалилось, так и не приняв постановления.

А левое меньшинство — большевики, Кротовский, Александрович, Гиммер, — перемигнувшись, перешли в отдельную комнату.

Народное выступление? Мы — должны быть на высоте и наготове. Если оппортунистический ИК не скажет настоящего слова, то скажем его мы!

Но, по Каменеву, всё — академически неизбежно: классовое буржуазное правительство и не может проводить не антинародную политику. А народную — будем проводить мы, когда будет у нас пролетарская власть. Но тому ещё не пришло время.

И это было, конечно, абсолютно правильно.

Но — чего-то большего хотелось Гиммеру. Просто тезиса, что правительство ведёт политику захватов и народ лишает его своей поддержки, — мало!

Хотелось — революционной бури, изумительной по силе и красоте!!

54

Нелегко было устроить правительство без традиций, без опыта, без аппарата — но Владимир Набоков за минувшие полтора месяца всё же устроил. Не стало прежнего хаоса — заседаний на пустом месте без подготовки. Подобрался секретариат. Наладилось нормальное составление и движение бумаг, проектов решений. Несколько комиссий из учёных законовеев тщательно готовили материалы, выводили заключения, и особенно во всём, что касалось Учредительного Собрания. Пытался Набоков дисциплинировать и самих министров, но тут он не был успешен: не мог добиться определённых часов заседаний, а какой бы час и ни назначили, всегда начиналось с опозданием, не было сбора министров, всегда аккуратны самые серые — Мануйлов, Годнев, Щепкин да сам князь Львов, а другие зачастили быть в разъездах, вместо них приходили заместители. Из заместителей Набоков тоже сформировал для второстепенных вопросов и вермишели работоспособный второй кабинет, во главе с профессором Гриммом. Юридическим совещанием руководил неутомимый, при своей физической хилости, алмазного ума Кокоскин, — и вот на этих днях совещание закончило разработку «перечня важнейших вопросов» к составлению избирательного закона — теперь осталось собрать мнения по вопросам и составлять сам закон.

Немало законов высыпало за это время правительство. Правда, крупных за последний месяц почти не было, только вот позавчера опубликовали постановление о свободе союзов и собраний (но — невиданный демократический размах, действительно уже свобода: только не на рельсовых путях и только не против уголовных законов, а открывается союз произвольно, а закрыть почти невозможно). Может быть, ещё шли

за крупные законы уточнения к запрету продажи крепких напитков и ограничения в продаже денатурата. Или мужественный отказ обнаглевшему финляндскому сенату в расширении его прав. (Потому решились, что Финляндия отказывалась предоставить полные права евреям и тем подорвала свои позиции, иначе отказать им было бы невозможно.) А то тянулась череда уныло ничтожных законов, которые, однако, кроме Временного правительства, кто же мог установить? — создание пенитенциарных курсов для подготовки новых служащих тюремной администрации; коллегиальное управление лазаретами; досрочный выпуск лесоводов из Лесного института; о регулировании производства пшена и гречневой крупы; упорядочение кавказских и крымских курортов к сезону; переименовка города Романова в Мурман; установление всероссийского конкурса на сооружение в Петрограде памятника всем борцам-героям за свободу России... Можно было смеяться или прийти в отчаяние — но кому же это поручить? и всё это тоже немаловажно. Крупным решением было объявление Займа Свободы, сразу после Пасхи, — и сразу же за тем стали волноваться, что он не будет иметь решающего успеха (уклончивость Совета, протесты многих социалистов), и стали готовить реформу (создать ещё одну комиссию) прямого и косвенного обложения: решиться на налог поимущественный? на промышленную сверхприбыль? Тут было сильное противодействие промышленных кругов, а на митингах требовали «ограничить аппетиты промышленников и торговцев!» Так государственный контроль экономики? это — трудней всего и осуществить. Пока, во всяком случае, невозможно было уложиться в бюджет, выработанный старой властью на 1917 год, — предстояло смело раздвинуть права правительства и выработать новый революционный бюджет.

А сколько было загрязших вопросов, на которые не находилось сил и времени сдвинуть: временное земельное устройство; деревне обещали вот-вот заняться снабжением её промышленными продуктами по твёрдым ценам — но никто не имел намерения за это браться, да и невиданное дело, неизвестно с какой стороны.

Князь Львов, Щепкин, Мануйлов, Годнев вообще были бы рады остаться не правительством, а комитетом по подготовке Учредительного Собрания: чего от нас хотят? мы — временные и не можем вести государственного строительства, — да теребила жизнь. Были мучительные вопросы, которые по несколько раз ставились, но не получали решения. Нельзя ли всё-таки ввести временные меры усиленной охраны с правом административных арестов? — но вся печать, включая «Биржевые ведомости» и кадетскую «Речь», была против. А вот — грозит сахарный кризис, — как дожить до нового урожая? А на финской границе усилилась контрабанда, не платят пошлину — и как их заставить? Вдруг на минском фронтовом съезде кто-то протянул резолюцию по уже заглохшему вопросу: ходатайствовать перед Временным правительством об ассигновании 10 миллионов рублей петроградскому Совету рабочих депута-

тов на организацию революционной работы! — за голову взяться! Долго мучились: как быть с заштатным содержанием лиц, покинувших государственную службу в порядке революции? Революционное решение было — ничего им не выплачивать, но это противоречило всем представлениям традиции и порядочности: куда ж этим старикам деваться? Увольняли, естественно, по старой форме, сохраняя чины и пенсии, не свыше 7 000 в год, — но все, и Набоков (жестоко себя ругал), упустили, что нельзя такое печатать в газетах. И — поднялся ужасный, злой шум, хлестали правительство во всей социалистической прессе, — и чтобы как-то его загасить, срочно вырабатывали закон о повышении всех вообще пенсий всем по стране, а скомпрометированных сановников вообще лишить.

Едва ли меньше, чем законов и постановлений, издавало Временное правительство добрых воззваний, одно время чуть не каждый день: там, где не решались издать категорический приказ, — зывали к лучшим чувствам населения: то к полякам, то к Донской области, то ко всему населению — о содействии направлению в войска беглых солдат; и особо и много раз — к самим солдатам; и к рабочим каменноугольных предприятий Донецкого бассейна; и к рабочим металлургических заводов Юга России; и к рабочим, обслуживающим учреждения фронта, дабы не сокращали землекопных работ и ремонта ружей и железных дорог; и вообще ко всему населению — широко подписываться на Заём Свободы; и ещё же ко всему населению — меньше пользоваться телеграфом, ибо он перегружен; и вот три дня как князь Львов разослал циркуляр губернским комиссарам о приостановке насилия в земельном вопросе и о недопустимости лишать кого-либо свободы без распоряжения судебной власти — но тоже не в форме обязательного закона, а чтобы губернские комиссары воззвали к благоразумию населения. Миротворческая настроенность князя Львова, как и общий демократический дух момента, отклонял правительство от дачи жёстких, непоправимых указаний — к расчёту на самодеятельность населения, которое само во всём найдёт наилучшие пути устройства и местной власти, и местной жизни. Ничего ему не запрещать и ни во что не вмешиваться: не соскучилось же оно по самодержавным методам?!

Хотя и сам Набоков был крайний либерал, но не до такой же неразумной степени! Он уже — страдал от этой нерешительности правительства и жаждал повлиять на его укрепление, однако ограничен был сделать это, не входя сам в состав министров, а среди них имея лишь одного неуклонного союзника — Милюкова. Сам на себе Набоков весьма испытывал темп революционного времени — ежедневная лихорадочная работа, безпрестанные телефоны, ежечасные посетители, почти невозможность сосредоточиться, да всё это в потоке взбудораженного нереального сознания, не улегшегося от первых дней марта: и неужели совершили революцию? и как довести до конца войну? и как дотянуть до Учредительного Собрания? Но иные министры как не чувствовали этого темпа.

Больше всего боялись министры всяких конфликтов, и особенно конфликта с Советом. Две предпасхальные недели лились фронтовые делегации, принимаемые в ротонде Мариинского. Эти депутаты заявляли энергичную поддержку правительству, что армия недоумеает двоевластием, нуждается во власти единой, а министры отвечали елейно, что никакого двоевластия нет. А давление Совета не отлегло никогда, постоянно ощущалось всеми министрами, а на ночных заседаниях с Контактной комиссией (где Набоков всегда присутствовал, не имея слова) и проявлялось в лоб. Вытаскивал Нахамкис из кармана какие-то мятые, грязные, может быть поддельные, телеграммы или письма с фронта революционным жаргоном: бонапартизм такого-то генерала, контрреволюционность полковника или старшего врача. На этих заседаниях Набокова оскорбляло всё: и сам факт, что правительство обязано было ночами получать эти инструкции или упрёки, но ещё больше оскорблялся его вкус от невыносимого плебейства этих всех — Нахамкиса, Скобелева, Чхеидзе, Гиммера (только Церетели неожиданно вдунул струйку аристократизма).

Положение Милюкова в правительстве становилось всё более изолированным — а Набоков не имел голоса выступать в его поддержку, лишь мог ободрять в перерывах. Князь Львов перед Керенским даже заискивал униженно, противно было смотреть. Но самым поразительным, и глубоко обидным, становилось даже не одиночество Милюкова, а: как же могла блистательная кадетская партия, цвет мыслящей России и главный оппонент царизма, — после падения его не заполнить собою правительства, не составить сверкающего ряда министров, — были бы тут Маклаков, Кокошкин, сам Набоков не в нынешних правах, да Трубецкой, Винавер, Родичев, во втором ряду Гессен, Нольде, Долгоруков — тот сплошной блеск, которого всегда ждала Россия от будущего свободного правительства, — и где же он? Как получилось, что кадетская партия добровольно уступила правительство какому-то бледному сброду да истерикам, а сама вошла растерянным Мануйловым, не-кадетским Некрасовым? Это была не просто неудача партии, но — обман доверчивой России, её столетних надежд.

Набоков диагностировал, что дурно составленное правительство больно само в себе и в таком виде ему не продержаться. Тут ещё — почти непрерывные болезни Гучкова, — вот сегодня из-за его болезни снова собирались не в Мариинском дворце, а в довьмине.

Собирались с подготовленной повесткой дня, но она оттеснялась приездом генерала Алексеева: предстояло выслушать его подробный доклад и принять решение касательно армии.

Пока съезжались, шли разговоры о новой модной теме: Ленин. Что этот подлец вытворал — невозможно было две недели назад

представить такое: он просто глумился, используя для развала России все свободы, завоёванные без него. Да никакое демократическое западное правительство, уважающее себя, не потерпело бы такого вызова — его надо было несомненно арестовать, это уже были действия за пределами агитации. Но никто, и даже Милюков, такого в правительстве не предлагал: свобода слова была самым сладостным и чувствительным завоеванием революции, невозможно было занять позу малейшего притеснителя её, да ещё вот издав закон о полной свободе собраний и союзов. Министры, во главе со Львовым, все склонялись, что правительство может занять только выжидательную позицию, — инициатива же выступить против Ленина может исходить лишь от самого народа, недовольство Лениным растёт, и некоторые войска даже готовы арестовать его.

Так-то так, по демократическим принципам всё верно, но была бы воля Набокова — он, пожалуй, и сам бы решил послать арестовать Ленина, хотя была бы там у Кшесинской и свалка. Опыт Запада показывает нам, что и демократии должны уметь проявлять решительность.

Милюков пребывал сегодня не только невозмутим, но и торжественно-благодушен: праздновал, что сумел отстоять достойную ноту без уступок и сегодня она повсюду опубликована. Правда, в гиммеровской «Новой жизни» (этот гномик приобрёл себе громовещательную газету) и в эсеровском «Деле народа» уже проскользнул раздражённый комментарий — но без этого и быть не могло. Львов уже знал от Церетели, что Исполком чем-то недоволен, но это всё легко уладится. Шингарёв пришёл, как всегда, перетружен, тяжело озабочен, фигурой был здесь, а мыслями отсутствовал, в своих делах. Да главный вопрос, оттеснённый сегодня Алексеевым, и был: утверждение положения о земельных комитетах, теперь перенесём на завтра, дело действительно срочное, не запылала бы анархией вся деревенская Россия. Терещенко был, как всегда, вертляво самодоволен. Образованием, иностранными языками, лоском, знакомствами (уверял, что дружит с Блоком) он уверенно считал себя принадлежащим к высшему кругу, едва ли не к аристократии, с тем и порхал. Но на отточенный вкус Набокова (и Терещенко это понимал) — со своим недурным английским языком, нахватавшими сведениями и бриллиантовыми запонками — он был просто плебей с миллионами. А Некрасов был самый скрытный, лицемерный в правительстве, вряд ли он и во всей

жизни когда занимался прямым созидательным делом или занимал бы искреннюю идейную позицию, — нет, скорей всегда позицию для интриги.

А вспышкопускатель Керенский всё не ехал, уже один только он задерживал начало заседания, пренебрегая временем коллег, — и наконец сообщили по телефону: заболел, не приедет. Вот как? и не мог предупредить часом раньше? А действительно больной Гучков, в полувоенном френче, двигался, поворачивал голову, говорил — медленно. Военно-морской министр, он был среди них самым вялым сейчас.

Теперь заседание начиналось — и Гучков ввёл генерала Алексеева. Некоторые министры видели его впервые, и Набоков тоже, хотя, конечно, знал его лицо по фотографиям, даже и скромную фигуру. Нет, и со входом Верховного Главнокомандующего дух Марса не вдохнулся в их заседание. И вид его, и движения, и рукопожатие, и голос были — совсем не боевого генерала, скорей военного чиновника, а то даже и не военного: обходительность, сдержанность, глухота фраз.

Его бумаги уже были разложены на небольшом отдельном столике, с которого он и собирался делать доклад. (Внесен был в гучковский просторный кабинет и стол для секретарей, но пока не предполагалось записи, их отпустили. Да не так уж много и записывалось на заседаниях правительства: по предложению Набокова же не протоколировались ни прения, ни голосования министров. А жаль, для истории много терялось. Да в открытых заседаниях редко бывали и интересные прения — всё в закрытых, но там тем более не записывал Набоков почти ничего.)

Алексеев предложил основательный доклад, объявил его план: сперва — боевое и продовольственное снабжение, транспорт, промышленность прифронтовых областей, затем состояние тыловых гарнизонов, людские пополнения, конский состав, затем состояние самой армии, а в конце — стратегические вопросы, по которым и надо принять решения. Видно было, что доклад — часа на полтора, и не меньше того займут прения. Телефон на письменном столе военного министра отключили, а кресло его вынесли из-за того стола, ближе к столику Алексеева, в общий овал, — и Гучков сразу сел, откинулся, не скрывая, что устал.

Некоторые министры уже сразу, видимо, скучали. Да редко кто высыпался и теперь, а уж загружены обязанностями и выступлениями были все, свежего воздуха не глотали.

Однако не успел Алексеев обрисовать боевое снабжение — очевидно, самый радостный пункт его доклада, ко дню революции накоплено было много, и только последние два месяца петроградские заводы сильно недодавали, — вошёл дежурный адъютант, отдал под козырёк и с извинением доложил, что из Мариинского дворца срочно просят к телефону князя Львова или кого-либо из министров.

Князь Львов ласково улыбнулся Набокову: подойти к аппарату. Набоков быстро вышел, не очень скучая по теряемой части доклада. А в приёмной услышал в трубке сильно взволнованный голос своего сотрудника. Тот докладывал, что десять минут назад на Мариинскую площадь вступил со многими красными знамёнами и плакатами — а теперь стал против дворца — Финляндский запасной батальон, человек две тысячи, и солдаты многие — при оружии.

— Открыли враждебные действия? — быстро спрашивал Набоков, тотчас оценив опасность. — Нет. — Запретили вход-выход из дворца? — Нет. — А что на плакатах? — Сейчас прочтёт из окна и доложит.

Ждал. В самом выходе ничего необычного не было, всякая манифестация теперь возможна, но почему вооружённые? Если парад — то на Дворцовой площади, у Корнилова.

Сотрудник докладывал лозунги: «Да здравствует Совет рабочих депутатов», «Долой империалистическую политику», «Долой Милюкова», «Милюкова в отставку» и ещё какие-то, не прочлись.

Поручил ему: читать дальше, наблюдать и докладывать.

Как быть? Нет, это не мирная забава революционных бездельников, это уже скандал и враждебный акт. Доложить Львову на ухо? А что такое Львов? и почему не знать другим? Помешает докладу? Но к каким бы стратегическим вершинам Алексеев ни дошёл, а две тысячи враждебных солдат под стенами правительства — ближе.

Набоков вошёл в заседание, громко просил у Львова и Алексева извинения и стоя доложил происходящее — всё, кроме антимилюковских плакатов, о них смолчал, пожалел Милюкова, не хотел прежде времени ставить его тут под бой министров. А чтобы заменить — добавил от себя «Да здравствует демократическая республика», — и потом оказалось, что был прав.

Министры — как проснулись, оживились, заговорили, не ожидая властного ответа от князя Львова. Гучков нахмурился, сделал

движение встать, идти, — передумал. Да от утайки «долой Милюкова» — демонстрация не представилась такой заострённой, ну подумаешь — империалистическая политика. В общем, был вздох облегчения, что правительство заседает не там, не надо выходить к толпе, а здесь пересидим, будем заниматься. И князь Львов просил Алексеева продолжать.

Но Набоков-то знал истину и уже не надеялся, что это пройдёт так легко мимо. Могло, впрочем, и обойтись, мало ли что взбрендит батальону.

Он вышел в приёмную, позвонил в свой секретариат. Оттуда: ничего нового, стоят. Ещё — «долой завоевания».

Так и есть, от 1-го мая осталось. Может, просто им понравилось гулять позавчера? И день солнечный, хотя прохладный?

Однако самого Милюкова следует предупредить.

Тут по другому телефону вызвали Шингарёва из министерства земледелия, которое тоже на Мариинской площади, Набоков не стал звать, подошёл вместо него. Те же известия.

Тут вызвали сам гучковский штаб — из штаба округа. Доложили примерно то же, генерал Корнилов спрашивает, с ведома ли это военного министра. Полковник пошёл докладывать министру.

Тотчас позвонил телефон снова: из Исполнительного Комитета Церетели просит подойти князя Львова.

Закручивалось, как в романе Достоевского: все приходят сразу и не вовремя, — и Алексеев приехал некстати, и ещё более некстати сегодня вечером приезжает румынский премьер Братиану, возись теперь с ним.

И Командующий Черноморским флотом в Петрограде! — срочно ж надо и с ним...

От Николаевского моста через Благовещенскую площадь и по Конногвардейскому бульвару шёл без музыки, но при офицерах, а у солдат винтовки на ремне, — запасной Финляндский батальон. Столица уж так присмотрелась ко всяким шествиям, а позавчера и весь город был одно сплошное шествие, что прохожие и внимания не обращали, даже и на оружие. И знамёна, плакаты качались над

шествием тоже в порядке вещей, там «Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов», «Долой завоевания» — это никого не удивляло. И только тот онемевал, кто замечал ещё:

«Долой Милюкова!»

В голове колонны такой плакат, а в конце:

«Милюкова в отставку!»

Как — долой Милюкова? Как это может быть? Он же — не старый режим? Что случилось??

И потянулись уязвленные и любопытные по тротуарам за колонной, как увлекаемые ею.

Хотя и солнечно, а никак не жарко. Солдаты ещё в зимних шапках, а жители в пальто, кто и в шубах.

Куда ж они? «Левое плечо вперёд!» Вывернул батальон мимо Исаакиевского собора. Мимо обгорелого пустого германского посольства со свежим лозунгом «Да здравствуют германские рабочие!», мимо министерства земледелия — «правое плечо вперёд!» — вытянулся вдоль всего Мариинского дворца, близко к нему, но не вплоть, — «напра-во!». И замер растянутый батальон перед растянутым лиловатым трёхэтажным дворцом, гнездом правительства, — лицом к нему.

И теперь штыки над плечами объяснились угрожающе.

Но ничего дальше батальон не предпринимал. Вот так и стоял.

Стекалась взволнованная публика. «Что это, граждане? Зачем вы пришли? Чего вы хотите?» — встревоженно спрашивали не у запуганных офицеров, а — у строя, у самих солдат.

И на правом фланге вольноопределяющийся Линде, в мешковатой шинели, громко объяснял:

— Как свободные граждане мы имеем право манифестировать по поводу всякого решения правительства, идущего вразрез с ясно выраженной волей народа. Народ — не хочет завоеваний, и Милюков не имеет права отправлять такую ноту!

И у солдат спрашивали. (А кто спрашивал-то? Сытые, белорылые в котелках да в дорогих шубах, свободная публика, кто не стоит ни в строю, ни у станка, ни мешков не таскает, а середь буднего дня вольны на площади околачиваться. И что это за фасонистая нахлобучка у них на голове, не носят же простую шапку, как мы. Своей одеждой сбивают они и свои вопросы: видно, что зароились в испуге от солдатских штыков. Все они тут заодно вместе с этим и Милюковым.)

Но Линде и сам не мог придумать, что делать дальше. Ни батальонный комитет, да ведь сгolosовали еле-еле, через два голоса. Ни офицеры уж тем более.

Как-то ж думали, что кто-то к ним выйдет, от правительства. Но не выходил никто. За окнами второго этажа мелькали лица, смотрели, удалялись.

Но успокаивала висящая на фасаде дворца от одного колонного выступа к другому — из красной бязи длинная полоса: «Да здравствует Интернационал!» Ветер её пополаскивал.

И полётывали, слётывали на мостовую голуби.

И речи говорить не к кому, и кричать не к кому. С каким запалом повёл Линде батальон, а сейчас растерялся: министры не выходят — что же делать?

Чистая публика жалась: страшно представить, как солдаты сейчас врассыпную — да кинутся во дворец? да всех хватать?

А батальон стоял, стоял молча, и держал свои щиты с надписями — но уже и руки затекали, передавали друг другу, а то и опускали.

В голове Линде сверкали сильные мысли: растянуться да оцепить дворец? перекрыть входы? идти самим внутрь?

Но из батальонного ж комитета возражали, что пришли на манифестацию свободных граждан — неправильно применять насилие.

И чем бы это стояние кончилось? — не пришлось бы ни с чем поворачивать?

Ну, прошлись — и ладно?

Но тут — сзади слева, от Морской улицы, послышался гул — и оттуда повиделась ещё одна длинная солдатская колонна, и тоже вся оштыченная, а на первом щите зоркие и отсюда прочли:

«Долой Милюкова!»

И — ещё оркестр от того полка ударил! Марш!

Ох, сильно подбодрились финляндцы: не мы одни! Знать, верно пришли! Хорошо, согласились.

Теряя стойку, но не рассыпая строя, крутили головы туда, лупились. Послали узнать своего навстречу, воротился чуть раньше тех: — «180-й полк!»

А вот уже — и сам 180-й подошёл за спины финляндцев, стал колонной лицом же ко дворцу. Стих марш.

Ну, теперь попробуй к нам не выдь! Попробуй не поразговаривай!

Финляндцы больше пообернулись. Переголашивали солдаты двух полков. Плакаты у тех были — вроде наших, и такой же как на дворце: «Да здравствует Интернационал!» (И кто он такой, Интернационал?)

И чистая публика гуще натягивалась в обступ и всё тревожней:

— Да что ж вы будете делать?

— А вот... Ждать Временного правительства.

Сами солдаты не знали, а кто как думал.

— А кто вас сюда прислал?

Одни говорят: «Нас вызвали старые солдаты».

Другие: «Так было приказано».

А кем? Не знамо.

— А откуда у вас такие слова написаны?

— Так было приказано.

Постояли-постояли — однако никто не выходит.

И команды ни от кого нет.

Между тем сзади, за «Асторией», — новый гул! И вытягивается на площадь — ещё одна солдатская колонна? Кто такие? Московцы, отчаянные ребята! И на щитах опять: «Долой Милюкова!» (Ну, конченный этот Милюков.) «Долой Милюкова и Гучкова!» (Двоих, значит, по шапке, не одного.) И — как полымем, красными буквами: «До-лой вой-ну!!» Вообще — войну!! Аж дух захватывает.

Минули московцы царский памятник, ближе к дворцу — и стали с загибом.

Всё бодрей подступало солдатам: как по единому приказу законно пришли.

Но из дворца никто важный так и не выходил. А мелькали служащие, рассыльные.

И на площадь за это время кого только не натянулось: и ребяташки малые, и подростки, и студенты, и чиновники, и разные господа с дамами. И там и сям затевались разговоры и споры. И строя прежнего — не стало. Но всё ж колонны не рассыпались.

А тут — повалила с Вознесенского проспекта солдатская колонна, и тоже сюда. Кто такие? Кексгольмцы. Махали им — и те махали. А у них на щитах накручено: «Беспощадная война с кровавым Вильгельмом и мир с революционным народом». — «Вперёд к социализму под знамёнами Циммервальда». (Ещё какой-то немец.) — «Да здравствует скорый справедливый мир без аннексий и контрибуций!»

Но и эти не успели стать — справа сильная музыка, хороший оркестр. (От музыки — все подтягиваются.) И всё не видно их, они по Мойке гнут, а как вывернули: окромя оркестра — всего лишь одна рота, но — чёрная, флотский экипаж.

Мало их, а гордость у них большая, как всегда у моряков, не пошли взад становиться, а тут, впереди вклинились, поперёк. И смолк оркестр.

И покрути, покрути головами — одних солдат на площади уже как бы не за десять тысяч.

Да несколько тысяч по окромке, публика.

И кто ж этим всем командует? Неизвестно. Не выявился.

Перед 180-м — красивый прапорщик с закидистой головой, такой весёлый ходит: «сейчас, — подбодряет, — сейчас».

Но однако же — министры не выходят.

И новые батальоны тоже-ть не подходят, хотя на площади ещё есть место, позадь памятника.

И — чего ж теперь делать?

Да чего делать, загудели: Милюкова этого надо вызвать! Да выкинуть!

56

А дальше — звонки по всем телефонам довина посыпались с ужасающей быстротой: на Мариинскую площадь пришёл ещё один полк! и с такими же лозунгами! Есть и «долой Милюкова и Гучкова»! Грозно стоят, сгущается толпа! Уже больше десятка тысяч!

Первое уличное выступление против Временного правительства! Грозно!

Всё смешалось, заседание Совета министров прервалось. Ходили к разным телефонам, подключили телефон и здесь.

Гучков вызвал генерала Корнилова, тот мгновенно явился. Они вышли в другую комнату.

Про Верховного Главнокомандующего с его разложенными бумагами — совсем забыли, и даже вежливый Львов не вспоминал, что надо же или продолжить, или перенести на другое заседание — хотя сколько же мог теперь генерал Алексеев жить в их суматохе? — его место в Ставке. Для воюющей страны какая пробле-

ма была важней, чем его доклад? Но теперь он только молча по-смаатривал на министров — как на сумасшедших. Он и из Могилёва угадывал, что они беспомощны, но не в такой же мере!

Милюков, который вообще мало краснел и никогда не бледнел, — сейчас был бледен. Тоже и он звонил в своё министерство.

Были министры, кто смотрели на него со злорадством или любопытством.

Первое общее понимание было: что эти войска к Мариинскому дворцу послал Исполнительный Комитет. Князь Львов долго разговаривал с Церетели по телефону, тот уверял, что — нет, нет, не по их приказу.

Потом Львов слабым голосом, его не сразу и услышали, объявил, что Исполнительный Комитет настаивает на совместной встрече, обсуждать ноту Милюкова, не возражают ли господа министры — сегодня в 9 часов вечера в Мариинском?

Да, разногласие вышло за пределы камерного, как ещё виделось утром. Без Исполнительного Комитета самому правительству тут не справиться.

Не очень теперь хотелось ехать в осаждённый Мариинский — но к вечеру, может быть, толпы там разойдутся?..

Вошли Гучков с Корниловым, не сразу заметили и их. Корнилов стоял тёмным неподвижным истуканом, мрачный. А у больного Гучкова складки лица подтянулись и движенья чётче, он будто поздоровел. Остановился в центре комнаты, оглянулся, — кроме министров один Алексеев, — и сказал громко, отрывисто — все сразу заметили, услышали, замолчали.

— Господа! Больше так жить нельзя! Мы ведём себя ничтожно. Мы не можем оставаться куклой на верёвочках. Совет — нас дёргает как хочет. Мы никогда с ними не сговоримся по-хорошему. По данным генерала Корнилова — у нас около трёх с половиной тысяч надёжных крепких войск. В остальном гарнизоне — полтора тысяча, но они все разболтаны, и ни одной крепкой части. Мы их не можем разгромить, но это и не требуется. Мы можем надёжно защитить правительство, и разговаривать с Советом иным тоном.

Он ещё не договаривал, что это будет за тон? и как же сложатся отношения с Советом? Да не думал ли он — применить силу и к Совету?..

(А вообще думал ли он серьёзно то, что говорил? Или ожидал верный отказ?)

— Дадим ли сейчас генералу Корнилову твёрдые инструкции? А генерал Алексеев сделает соответственный вывод для Ставки.

Министры молчали.

Растерянно.

А Милоков сидел твёрдый, надутый.

Отполированный Терещенко, стоявший на ногах, нервно перешёл — как переходят артисты на сцене, обратить на себя внимание перед репликой. А одет он был и всегда не меньше чем для сцены. После Гучкова и в отсутствие Керенского он был тут самый решительный. В полной тишине сказал, не Гучкову специально:

— Если прольётся кровь — я вынужден буду уйти из правительства.

И это был — его недавний чуть ли не соучастник по заговору? Хорош гусь!

И кажется — все тут думали так?

Кроме Милокова? С напряжением, сильно надутый, он выговорил:

— Если мы не примем этой меры, то, может быть, через короткое время будем все, *in corpore*, сидеть в крепости. Если мы не готовы к этому — то какую вообще ценность имеет наша точка зрения?

Но и Терещенку подхлестнуло, и он ответил гордо, из той же декламационной позы:

— Нет! Даже если вооружённые люди войдут в эту залу — мы не должны применять военной силы для нашей защиты! Нам предлагают дружеские переговоры — и ничего не может быть лучше.

И Некрасов поднялся, в гневе:

— Да мы готовы скорей пожертвовать своими жизнями, чем пролить хоть каплю крови!

Ах, они, может быть, и все были бы непрочь, если б кто-нибудь другой устроил им прочную власть? Но чтоб не им принимать решение и не на них легла ответственность!

А князь Львов самым тишайшим голосом, настолько хорошо было слышно, и с одной из самых очаровательных своих улыбок:

— Ах, Александр Иванович, ну зачем такой драматизм? Зачем обострять отношения? Из Совета говорили со мной сейчас с полным пониманием. Этот милейший князь Церетели, да и другие... Вот мы соберёмся вечером и совместно, дружественно найдём взаимоприемлемое решение. Всё — образуется...

Солнце уже изрядно сдало от полудня.

От позавчерашнего праздника стояла на Мариинской площади вышка тесовая, перевитая красными лентами, — речи держать. Не успели её убрать, теперь пригодилась. На неё и полезли орать. А солдаты поворачивались, строи загибались.

Вожак Финляндского, вольнопёр, — первый. Диковатый, долговязый, без шапки, руками длинными размахался и весь взахлёб:

— Капиталисты не считают нашей крови! Несколько десятков миллионов людей оторваны от великого дела жизни и посланы убивать друг друга! Зарывшись в землю, под дождём и снегом, в грязи, изнуряемые болезнями, пожираемые паразитами... Разрушаются тысячи деревень, десятки городов, плодородный слой земли уничтожается фугасами, вся земля осквернена гниением трупов. Третий год мы живём в кровавом кошмаре! А между тем есть люди, кто не сидят в окопах, но безумно наживаются. И вот это их интересам служит господин Милюков, который хочет продлить эту проклятую войну до бесконечности...

Потом вылез студент, волосы развихрились, а голос несильный, ветер относит:

— ...нет и не может быть большего преступления, чем искусственное затягивание войны!.. Заключение мира отвечает интересам мировой демократии...

За ним — дюжий матрос, голос сильнящий:

— Разве для того мы гнили в тюрьмах годами, чтоб отдавать свои завоевания буржуазии?.. Я — только что из Гельсингфорса. Вчера у нас там был съезд матросов, и я от него. Предлагаем: осудить министра иностранных дел за его ноту — и чтоб убирался в отставку!

Гудит по площади:

— Давай! Давай сюда етого Милюкова!

А с боку вдруг насунулся — автомобиль с красным флагом. И из него двое побежали сразу на вышку, как на каланчу при пожаре. И белобрысый толстощёкий, с размахом вольным:

— Товарищи! Приветствие организованной революционной армии, пришедшей на площадь выразить свои чувства! Я, член Исполнительного Комитета Скобелев, от имени Совета рабочих и солдатских депутатов благодарю войска, готовые своими штыка-

ми поддержать слово Совета! А Совет неусыпно стоит на страже интересов демократии. Исполнительный Комитет всю ночь обсуждал вопрос о ноте и продолжает обсуждать сейчас...

Покричали ему — мол, спасибо. И «ура» тоже.

— А пока революционная армия должна спокойно выждать решение своих представителей — а мы учтём те настроения и чувства, какие вы выражаете тут, на площади. К Временному правительству, вышедшему из недр революции, надо отнестись тоже с уважением. Оно — не «милостью Божьей», а — волей народа! Сейчас — мы призываем вас воздержаться от разрозненных выступлений, а ждать нашего призыва. А Исполнительный Комитет — сам окажет воздействие на правительство!

На вышке быстро переменялся этот белообрый на второго, чёрного, волосы длинные, чуть не как у бабы. А голос — послабей, а ветер крепчает, так и не всё доносится:

— Товарищи! Я — член Исполнительного Комитета Гоц! Я приветствую... революционные сознательные... В настоящий момент мы ещё не можем отказать в доверии Временному правительству... Но русская демократия не желает аннексий... Но русская армия всегда должна быть наготове защищать свободу и решительно отразить все попытки извне и изнутри... А главный наш враг — внутренний, и имя ему — раздоры и разногласия. И нельзя их допускать, товарищи! Ура!..

На «ура» его голос уже совсем истощал, но ближние охотно подхватили, чтоб не было раздоров, а дальше подхватили от ближних одно «ура» и понесли.

И те двое слезли, однако вылез прапорщик с закинутой головой, из вожаков 180-го, кто их привёл. Снял фуражку, прямое гордеватое лицо. И — звонко, уверенно, кулаком под свои слова помахивая:

— ...Империалистическая, захватно-грабительская нота Временного правительства... Союз с английскими и французскими банкирами священен? — а кто заключил этот союз? Царь, Распутин и царская шайка! Солдаты! Вы защищали до сих пор тёмные договоры царя, которые прятали от вас как позорную болезнь. Милюков, Гучков, Терещенко, Коновалов, капиталисты — нуждаются в новых рынках сбыта. Если нужно уложить ещё десяток миллионов русских мужиков для ограбления малых народов — то наших министров это не остановит. Воюйте потому, что мы хотим грабить! Эта милюковская нота — есть провокация и отрывка старо-

го режима. Она поможет Вильгельму: раз русские хотят воевать до конца — так и немцам остаётся только до конца! А зачем солдату война? Ему достаются только увечья, смерть, а для семей голод.

— Так что? — крикнули ему снизу. — Бросать фронт, что ли?

Прапорщик Ленартович не дал перебить:

— Мы не говорим: кончать войну на любых условиях немедленно. Мы требуем: отказа от завоеваний! Начать мирные переговоры!

Но не успел тот прапорщик кончить — перед дворец на вскатную дорожку подъехал ещё один большой открытый автомобиль — а в нём генерал с двумя адъютантами. И генерал поднялся выходить — сразу его узнали, все батальоны уже в лицо знали: Командующий Округом генерал Корнилов.

Вышел из машины легко, быстро, глянул строго на строй финляндцев перед собой — и солдаты безо всяких команд заворочались, заворочались, куда поначалу лицом стояли, — и выравнивались: всё ж таки Командующего уважить надо. А там по строям раздались и свои команды, винтовки к ноге, равняйся, пристукнули сотни прикладов о плитчатые камешки. И никто уже прапорщика с вышки не слушал, он постоял — и спустился. 180-й полк тоже выравнивался, сам по себе.

А генерал Корнилов начал обход от флотского экипажа, и вдоль фронта финляндцев, и вдоль 180-го, и московцев, и до конца. Смуглый, подвижно-сухой. Оружие золотое. Проходил — зорко поглядывал сощуренными глазами, укорного замечания ни одного не издал, а только местами приветствовал — и дружно кричали ему «ура».

А потом поднялся и на ту вышку, и сильный ветер отпахивал полы его шинели, красной подкладкой наружу. Не кричал, а хорошо было слышно, густо:

— Прошло то время, братцы, когда вы не могли и словом обмолвиться о том, что у вас в интересе. Ныне вы — вооружённый народ. В этом ваша сила. Но в этом и слабость. Сила: что всякое ваше требование вы можете поддержать штыками. А слабость: вы слабей дисциплинированы, чем кадровые войска. И я призываю вас к строгой дисциплине, которая создаст вам единство. Скажу о себе. Вот я сын сибирского казака и бурятки. Родился я в бедной семье и в военное обучение пошёл с тринадцати лет.

Площадь зашла в «ура».

— И 35 лет я на воинской службе, и всегда был от политики в стороне. Будьте и вы. Наше с вами дело — солдатское. Спокойствие и порядок. Только тогда мы сможем служить родине. Как лицо, стоящее во главе петроградского гарнизона, я считаю своим долгом довести до сведения Временного правительства о ваших пожеланиях. Сегодня вы показали свою силу — а теперь прошу вас разойтись по казармам.

И под долгое, то слитное, то разрывистое «ура» — сошёл с вышки. Стал рядом со своим автомобилем на покато́м подъёме к дворцу.

И заиграл марсельезу оркестр флотского экипажа, и заиграл марсельезу оркестр 180-го — и нашлись везде, кому командовать, снова взяли винтовки на ремень, разворачивались — и пошли в разные стороны.

Кто — прямо в казармы. А кто — по Морской да на Невский, охота теперь по главным улицам пройтись. Пусть народ на нас посмотрит, какие мы молодцы.

Линде — бежал за своим батальоном, кричал, отговаривал уходить.

58

И остался бы в эти часы генерал Алексеев совсем без дел, если бы не насочилось к довмину корреспондентов: другие поспешили на Мариинскую площадь, а эти сюда: Верховный в столице — небывалость. Гучков разрешил Алексееву дать пресс-конференцию, отвели им комнату.

Первый вопрос, конечно, касается последнего, что набурлило: как относится генерал к самовольному выходу войск?

А зачем ему в это мешаться? Он видел, в какой растерянности министры. Кося через очки:

— Я слишком оторван от жизни, живу в Могилёве. Ничего определённого сказать не могу.

Хотя и слепому видно. А вот:

— Все события последних месяцев армия переживает болезненно. Трезвый голос печати должен прийти на помощь армии. Твердить, что России нужна победа. Тут ещё пропаганда ленинско-

го толка — опасная игра на человеческих страстях. Надо бы её прекратить.

Да они рады бы помочь, да они думали то же самое. Но их травили как буржуазную печать — и найдись, что ответить. Объявляли им рабоче-крестьянские бойкоты.

— Конечно, Бог нам даст — (только на Бога и надежда) — пережить этот тяжёлый период, и мы выполним обязанности перед союзниками и придём к победе. У русского народа здравый ум, честное хорошее сердце...

Каково положение на фронтах? особенно — на Северном?

В марте, поднимая тревогу, что немец идёт на Петроград, действовали более верно. Но сейчас Гучков и другие министры просили: непременно успокоить.

— Петроград может быть спокоен за свою участь. У нас достаточно сил. О столице заботятся. Настроение в Петрограде близко к панике, но оно ни на чём не основано.

Шевельнулось сказать посмелей:

— Если мы и боимся за Петроград, то только в том отношении, что отсюда не всегда идёт здоровый дух. Заявления, что война окончена, вселяют в армии безпокойство.

Вопрос (на поддержку генералу): братание?

— Да, к сожалению. Но это позорное явление постепенно ликвидируется. Противник возлагает большие, но ложные надежды, что революция и пропаганда разложат нашу армию сами собой.

А можно ли ожидать в ближайшее время генеральных сражений?

— Да. Этим летом развернётся генеральное сражение и на Западе, и на Востоке. Вообще, 1917 год — решающий год в Мировой войне, ибо народы так устали, что вряд ли смогут проявить способность к борьбе больше 4—6 месяцев.

Верят ли в победу союзники?

— Они непоколебимы. А у нас... — вздохнул, — у нас, к сожалению, мечты не о победе, а об установлении тихой мирной жизни. Даже вступление в войну Соединённых Штатов у нас не произвело впечатления.

Есть ли в армии ячейки или гнёзда, на которые могла бы опереться контрреволюция?

— Нет! От генерала до солдата все преданы новому строю. Надо было видеть, — пригласилось невольно, — тот искренний порыв, каким был встречен переворот в армии... В общем, мы пережива-

ем сейчас чудесное, но больное время. Будем надеяться, что этот временный кошмар исчезнет.

А может быть, нужно было говорить всё — не так? ударить в набат: разваливают Армию до конца?!

Боялся дать знать немцам.

Боялся столкновения с Советом. И подорвать министров...

59

(Петроградские улицы перед вечером 20 апреля)

* * *

Со середины дня по Петрограду потекли слухи, что восстали полки, заблокировали Мариинский дворец и арестовали Временное правительство.

— Да что ж мы бездействуем, господа? Надо — вызволять правительство?!

А — как?..

* * *

Стал оживляться Невский. Там и сям собирались возбуждённые группы. Единомышленные, в них не спорят, а все возмущаются. Поднимаются и ораторы на случайных возвышениях:

— Да что ж это делается, господа? Да это же — не царское, это — наше революционное правительство!

Летучие митинги переливаются один в другой. Надо — идти?.. А куда мы пойдём? И что из этого будет?

Идти? Тогда надо и — нести. А — что? Красные флаги, их ещё много везде осталось. И плакаты, их тоже осталось от 1 мая. Хотя они — не о том.

Всё же стали — идти... Сперва неуверенно.

Но к ним примыкают.

* * *

Но и так: идёт по Невскому беспорядочная толпа 16—17-летних и несут «Долой Милюкова». Военный врач спрашивает одного:

— А как быть с Временным правительством?

— Пускай сидит.

* * *

Всё более заливаются Невский манифестациями, сочувственными Милюкову и Временному правительству. Уже — многосотенные, жители центра. И идут — через Фонтанку, через Мойку — на Мариинскую. Вызывать!

Уличное движение замедлилось, но трамваи пролетают.

* * *

На углу Морской пересечение: с Мариинской площади уходил 180-й полк, а от Мойки подошла манифестация штатских — котелки, студенческие фуражки, шляпки. Из солдатского строя закричали:

— Долой!

Но невыеские манифестанты не спустили плаката: «Да здравствует Временное правительство!» Тогда солдаты из строя кинулись на этих чистюль с кулаками, огрели кой-кого, а плакат изорвали штыками. Те и публика с тротуара кричали:

— Насилие! Произвол!

А солдаты:

— Долой провокацию!

Но — подхватились, и к своему строю, драка не развязалась. А публика — собралась гуще, негодовали. Высокий офицер выразил общее *недоумение*, что солдаты позволили себе такой поступок по отношению к гражданам, так же свободно, как они сами, выражающим своё мнение.

* * *

После конца заводской дневной смены стали появляться рабочие демонстрации и в центре города. Шли в рабочей одежде, несли редко красные флаги да оставшиеся плакаты: «Стать под знамёна Циммервальда», «Всеобщее страхование жизни за счёт государства». Несколько сот с революционными песнями прошли до Знаменской площади, но там не задержались, ушли по Лиговке.

И ещё вослед — толпа работниц, четыреста-пятьсот, среди них и подростки, с «Долой Милюкова» и пением «Отречёмся от старого мира» быстро-быстро шли по Невскому к Знаменской, будто им надо только отбыть проходку.

А им навстречу — «Полное доверие Милюкову!», и солдаты есть в том шествии. Проминули друг друга безболезненно.

* * *

В начале Невского остановили автомобиль адмирала Весёлкина как якобы переодетого Милюкова, потребовали разоружить и арестовать. Но подоспели матросы, что знают этого адмирала. Всех повели в морской штаб для проверки.

* * *

Противоположные шествия обмениваются резкими репликами, но без потасовки. Прошли по Невскому и опоздавшие какие-то небольшие отряды Измайловского и Петроградского батальонов. «Опубликовать договоры с союзниками».

Из окон Невского и с балконов энергичными взмахами приветствуют правительственные демонстрации.

* * *

По всему Невскому на каждом перекрестке вырастают толпы, нетерпеливо слушают ораторов, кричат одобрительное или «долой». А где — образуется уличный председатель и даёт слово по очереди. Горячо жестикулируют, наступают друг на друга. Вот дама спорит с гвардейским солдатом. Рабочий в чёрном пальто:

— Милюкова надо подсократить.

Барышня в высоких шнурованных ботинках ахает.

Студент с фонарного столба:

— Милюков говорит — воевать до победного конца, — значит будем воевать без конца.

Господин в котелке, спиной к афишной тумбе:

— У нас же неспособны критически вникать в доводы. Успех у того, кто предлагает самое приятное. Что они предлагают? — по-

жалейте врага, который сильнее нас и захватил наших пятнадцать губерний!..

Полковник фронтовой со ступенек:

— Мы не скрываем, мы устали, оторвались от наших семей, живём почти в невыносимых условиях. Но армия решительно протестует против позорного мира!

С «ура» его подхватили на руки и понесли по Невскому.

На проспекте там и сям — иностранцы, с любопытством наблюдают.

* * *

— Так нельзя! Сегодня кричат «долой Милюкова», а завтра крикнут «долой Керенского»?

Долговязый солдат:

— Да ничего вы не понимаете.

— А кто понимает?..

Соседний господин:

— Россия всё должна испытать на своей шкуре.

* * *

От высоких ступеней городской думы, где призывали к доверию, несколько студентов и офицеров крикнули: «Идёмте к министерству иностранных дел!» Наскоро написали на красных флагах мелом: «Да здравствует Временное правительство!», «Долой Ленина!» — и пошли. По пути к ним присоединялись, и уже под арку Главного Штаба вышло на Дворцовую площадь тысяч до пяти, впереди — однорукий офицер.

Вправо. Остановились, держа флаги. Ждали — не выйдет ли Милюков. На балкон вышел его заместитель Нератов:

— Русская свобода всегда была дорога Милюкову, и никогда он её не предаст!

— Верим! Верим! Да здравствует Милюков!

Овация.

Отсюда решили идти к Мариинскому дворцу, может повидать Милюкова там.

У «Астории» встретились с враждебной манифестацией, кое-кто схватился. Но разняли милиционеры, спрыгнувшие с грузовика.

* * *

А какие рабочие манифестации поплелись по привычке к Таврическому дворцу — там никого не заставляли.

Потом вышел Либер с пылкой речью:

— Самообладание, товарищи! Свержение правительства сейчас крайне нецелесообразно!

* * *

В толпах только и слышны — то «ура», то «долой».

— Керенского! Пойдём за Керенским! Как он скажет?

Но — нет его нигде, и не слышно.

Студент института гражданских инженеров бежит по мостовой вскачь и кулаком описывает круги:

— Долой Ленина! Да здравствует Временное правительство! Да здравствует свобода!

* * *

С клодтовских коней студенты убеждают проходящие манифестации:

— Не надо! Расходитесь! Вот-вот начинается общее заседание правительства, там всё и решится! Завтра узнаем!

60

Если считать от бессонной ночи и утренней переполошной встречи с Керенским, и потом нарастающих переполохов дня — Станкевич сегодня действовал достаточно, и был доволен. Главное: в последние часы он как бы взял военную власть в Таврическом: собрал свою Исполнительную солдатскую комиссию (ведь он — и был теперь вождь петроградской солдатни), быстро провёл постановление — и растелефонировали по всем воинским частям: всем вернуться в казармы, и ни одной части не выходить из казарм без распоряжения ИК. И так — он обрубил начинавшийся солдатский бунт, повторение Февраля. Конечно, тысячи солдат и сейчас на улице, и вон шумят под просторными окнами Морского корпу-

са, разлившись уже по всей полосе от здания и до невского берега, — но ни одна часть, и вооружённая, — не выйдет. Решил брать в руки руль — и взял.

Морской корпус уже привык к грузной толкучке в нём Совета и установленным скамьям (а модель фрегата и статую Петра I вынесли) — как будто в этом обширном зале никогда и не строили опрятных морских кадетиков. Теперь собирались две тысячи в чёрных нечистых куртках и в расхлябанных солдатских шинелях. Об этом внеочередном заседании Совета сегодня с утра напечатали жирно крупно в «Известиях», и депутаты же сами видели-слышали, что где творится в столице, — и собирались с новоусвоенным чувством хозяев её, и страны, и своей судьбы: как мы сами сейчас постановим, так и будет, внушили за эти два месяца им.

А члены-то Исполкома знали, что Совет собран по перебулгачке, зря, уже и отменить нельзя, и решать на нём нечего.

Чхеидзе от этого испытывал стыд, и растягивал вступительную речь, замазывал, что зря их всех собрали. Начал со всей истории: как ждали следующего высказывания правительства об аннексиях и контрибуциях, чтобы решить поддержку или неподдержку займа. И вот — правительство опубликовало документ, которого мы ждали.

За окнами — ещё закатное солнце.

В зале — тишина. Давая отдохнуть Чхеидзе, Богданов своей привычной лужёной глоткой прочёл ноту. Снова поднялся Чхеидзе, безконечно утомлённый.

И вот. Исполнительный Комитет заседал всю ночь, но не мог вынести определённого решения. Сошлись, что под «до решительной победы» понимай что угодно, а отказ от аннексий и контрибуций затушёван.

«Аннексии и контрибуции» стали таким повторяемым сочетанием, что никто из ораторов их не объясняет (да и поперву не толковали), но что-то в них очень мерзкое, как какие-то червяки или пауки, толпа должна понимать.

И вот, сегодня днём опять заседал Исполнительный Комитет, и опять не могли принять решения. И мы собрали Совет, чтобы выработать общую линию поведения демократии. Мы хотим, чтобы Временное правительство без неясностей отказалось от захватов. Нам известно, что правительство тоже сознаёт всю серьёзность и остроту собственного положения. Мы от них потребуем посылки новой ноты союзникам, с ясным истолкованием. И вот, сознавая

ответственность момента, мы решили создать Совет и выслушать ваше решение. Но давайте не принимать никакого опрометчивого решения, не взвесив хорошо обстановки. И мы просим вас уполномочить Исполнительный Комитет для ведения переговоров. Они назначены на 9 часов вечера.

— Где?

— В Мариинском дворце.

Резкие голоса:

— Пусть идут они сюда, а не мы к ним!

— Что они, нас боятся, что ли?

Шум. Чхеидзе смущён:

— Результаты наших переговоров будут сообщены всем вам во всей полноте. Завтра. Поддержите нас сейчас, а окончательное решение мы примем завтра. Ввиду остроты положения Исполнительный Комитет хочет быть в контакте с вами и предлагает вам собраться снова завтра.

— Почему завтра??

— Почему не сегодня решать? Мы все здесь!

Сбитый этими выкриками или заплутавшись неясной мыслью, Чхеидзе, вместо того чтоб кончить дежурное вступление и сесть, зачем-то понёс в сторону:

— ...А теперь мы обратимся к нашим товарищам, социалистам Англии и Франции, и спросим, примут ли они решительные шаги, чтобы заставить и свои правительства отказаться от аннексий и контрибуций.

Но дёрнули его сзади за пиджак — он дальше не развивал тему, сел.

Кажется, он всё объяснил, решать пока ничего нельзя, и можно бы дальше не обсуждать, разойтись? — не тут-то было. У Богданова уже был список желающих ораторов около полусотни.

Но первым — с утра был записан Станкевич.

Стройный, худой, строгий сощуренный поручик (неузнаваемо овоененный приват-доцент) — вышел к трибуне, на ещё одну решительную схватку. Не только придать какой-то же смысл этому пустому заседанию, не только не дать толпе разбуяниться, но ещё публично потеснить эсеров и эсдеков, выбрыкивающих против абсолютно ясной необходимости коалиционного правительства. Кажется, Станкевич хорошо придумал, как эту речь сказать.

Вышел, чуть потрогав двумя пальцами маленькие усики, как это и делают офицеры (выступление офицера в Совете редкость,

отметно). Постоял, дождавшись полной тишины. И — звучно, властно:

— Между правительством и Советом ещё вчера было единение — но ему нанесен удар. Временное правительство отошло от пути, по которому идёт революционный народ. В ноте мы читаем старые слова о победоносном конце. Некоторые члены Временного правительства не так понимают свои задачи, как нужно, и между ними самими существует взаимное непонимание. — (Обещанная помощь Керенскому.) — Мы имеем сведения, что для правительства наше порицание оказалось неожиданным. Оно думало, что этой нотой пойдёт навстречу демократии...

Шиканье и свистки. (Большевики.) Надо быть готовым, но и балансировать осторожней.

— ...однако ошиблось. Создалось обоюдное непонимание. Но надо думать: что теперь делать? какой выход? Можно бы просто свергнуть правительство и арестовать.

Бурные аплодисменты. (Большевики.) Переклонил в другую сторону? Но тут-то — самый эффектный, задуманный ораторский поворот. От роскоши зала, ещё не ободранного наверху, остались большие настенные круглые часы, и на ходу.

— ...но это был бы вывод примитивной логики, и я отношу ваши аплодисменты к тому, что это рассуждение — примитивное. Такие меры для нас неприменимы. Наша сила — велика и без этого. И это не то старое правительство, которое цеплялось за власть пулемётами. Вот, посмотрите! — взнесенная тонкая указательная рука. И все повернулись туда. — Сейчас без пяти минут семь. И если мы захотим — мы сейчас отсюда позвоним по телефону, и в пять минут восьмого Временное правительство перестанет существовать!!

Поразил. И вертятся головы в поворотах от часов на оратора и снова на часы. Неистовые рукоплескания. (Как гордо народу сознать себя властным!) Однако ледяным отрубистым голосом возвращает их оратор:

— Но зачем это нам? Скороспелое решение только усложнит дело. Против кого нам применять силу? в кого стрелять? Ведь вся сила — это вы! И масса, которая стоит за вами. Помимо насилия есть разные выходы. Мы ни на минуту не поколеблемся выразить недоверие Временному правительству, если оно не удовлетворит наших требований. Но предостерегаю вас от поспешных решений. Момент слишком важный, чтобы поддаться чувству.

В зале — большое впечатление. Затихли.

Да если бы, если бы! всегда успевать ознакомить массу с положением внутренним, международным, истинными задачами войны, если бы всё основательно рассказать народу! — а в чём же народовластие? как мы его мыслим? Мы говорим «демократия» — а понимаем: власть образованных, как ты и я, и никто из нас не имеет в виду подчиниться власти черноремытых людей.

— Решать вопрос о смещении правительства может быть труднее, чем вам кажется. Когда так обострился продовольственный вопрос, транспорт, финансы, быть может, нам нужно, чтобы правительство осталось. В такой момент бремя власти — не радует, оно тяжело, и брать власть в свои руки — преждевременно и опасно. В первые дни революции мы же не взвалили её на себя. Так идите спокойно за своими вождями. Они не призывают вас немедленно захватывать власть — значит, у них есть серьёзные основания.

Ворчание, ропот большевиков. Но зал — и сильно убеждён.

— Кроме того, есть и такой выход: мы знаем отдельных представителей Временного правительства, мешающих единению с демократией, и могли бы удалить одного или несколько.

— Всех долой!! — ревут из кучки большевиков близ кафедры.

Но Станкевич властно поднимает руку к спокойствию — и зал снова с ним. Теперь — сказать всему Совету то, что рикошетом придёт и социалистам в президиуме:

— Демократия крепнет, и мы уже чувствуем, что скоро будем готовы разделить власть, взять себе часть министерских постов. И это — признак нашей зрелости.

После таких двух речей — президиум не мог выпустить никого, кроме как большевика, они рвались на трибуну. Но что это? Где все их известные вожди? Ни самоуверенного Каменева, ни пламенной Коллонтай, ни напористого Шляпникова. Выпускают какого-то Фёдорова, молодого, с усиками, вид рабочего, но смыслёно-поворотливый. Хотя и неизвестный, а всё лупит точно, по большевицкой грамоте:

— С какой этой наглостью вздумало буржуазное правительство выполнять старые договора Николая с союзниками? Правительство капиталистов не хочет и не может закончить войны и никогда не откажется от аннексий! Не надо тешить себя иллюзиями, будто возможно какое-то соглашение с этим правительством! До тех пор, пока демократия не возьмёт власть в свои руки, — она не

добьётся осуществления своих требований. Нота Милюкова — вызов всей русской демократии, удар в спину всему международному пролетариату. Настал момент сказать нашей империалистической буржуазии: прочь с дороги! Или мы, или вы!

Аплодисменты, к большевикам и часть зала, ведь каждой речью их поворачивают.

— Рабочие, солдаты и батраки — (от приезда Ленина пошли у них вместо крестьян только батраки) — должны подсчитать свои силы — и *свергнуть* Временное правительство! Захватить власть, хотя бы это и повело к гражданской войне! Наш лозунг — Интернационал!

Большевики дружно, горячо кричат в поддержку, и немало их тут, но зал всё же не кричит. Оратор ещё дерзей:

— Нечего бояться! Гражданская война и без того уже наступила! И только через неё народ добьётся освобождения!

Новые и очень страшные слова. Враждебные возгласы ему во множестве.

А когда снаружи рывкнут «ура» или «долой Милюкова» — то и внутри слышно. А видно, кто сидит ближе к окнам, — на предсумеречной набережной: всё гуще толпа, от самой стены корпуса до гранитного края берега и во всю длину здания, — тысяча не одна, флаги и плакаты, и кричат, и машут кулаками, и тоже там свои ораторы с возвышений. Может, они — и все за большевиков? Тут и сам Совет поостерегись.

И выходит на трибуну — красивый обихоженный мужчина в цвете лет, этакой русацкой наружности, с густыми русыми волосами, русой бородкой — за две недели уже его знают в лицо: это Чернов, ему гулко аплодируют все здесь эсеры. А он начинает говорить с таким вкусом, неторопливостью, любовью к речи, будто это не речь, а еда у хорошего стола, и успокаивающе передаётся слушателям:

— Товарищи! Положение столь серьёзно и запутанно, что первое слово, с которым я к вам обращаюсь, это — спокойствие, полное решимости. И — вдумчивость. И — мудрая предусмотрительность. Меньше нервности, товарищи, больше трезвого обсуждения дел. Сейчас положение серьёзней, чем было в февральские дни. Тогда мы — (он, правда, был в Европе) — совместно свергли самодержавие, которое уже сгнило, так что мы не дрожали каждую минуту за успех, и положение было такое ясное: с одной сто-

роны — правительство, с другой стороны — весь народ. А теперь — началась усобица между победителями, и нет ничего опасней для революции. Положение неясное, реакция притаилась, но её змеиное шипение мы все слышим, — а если вспыхнет гражданская война? Контрреволюция не умерла, она ждёт гражданской войны, чтобы вылезти на нас во всеоружии. Нам надо проникнуться серьёзностью момента и помнить всю чреватость последствий. И поэтому я не стану предлагать собранию скороспелых решений, но скажу: завтра мы увидим, что нам делать. Мы имеем право быть терпеливы, ибо мы сильны.

Но не знал бы тот Виктора Михайловича Чернова, кто бы подумал, что вот он уже и высказался. Это он только вступление делал, а вся речь впереди. И пошёл, и повёл, и повёл.

— Конечно, правительство должно отказаться от всяких аннексий и довести до сведения всего мира. Мы знаем, что и демократия других стран будет действовать в том же направлении, — (голос: «Мы не видим этого!»), — в том же направлении, а мы покажем им своим примером. Или Временное правительство выполнит наше требование отказаться от завоеваний, или вернёт власть тем инстанциям, от которых получило её, Совету рабочих и солдатских депутатов и Комитету Государственной Думы. — (Громкие рукоплескания, но не всего зала.) — Борьба может быть очень трудной и роковой, но мы не должны торопиться захватывать власть, пока нет условий, гарантирующих удержание её. Не ставьте русскую революцию в положение беременной женщины, разрешающейся выкидышем только из-за быстрого бега. Каждый день увеличивает нашу силу, нам некуда торопиться.

Большевики роптали. Но Чернов — чемпион невозмутимости:

— Демократия не возьмёт власти в свои руки до тех пор, пока осознает свою силу. А когда уже возьмёт — то с тем, чтобы больше не выпускать её из своих рук. И — к этому ведёт нас история! И то правительство — уже будет действительно исполнять национальную задачу. И — я призываю вас к спокойствию, которое не может быть истолковано как признак слабости, а напротив: как результат уверенности в своих силах.

И ещё дальше — ободрительный обзор. Будущего нам нечего бояться. Если в начале революции была рознь между Петроградом и фронтом — то теперь единение с фронтом всё тесней. И каждый день уничтожает разницу в настроении Петрограда и провинции.

— Вооружитесь терпением, товарищи! Не терпением рабской России, а терпением людей, создающих новую жизнь! Власть — вы получите, но не захватом, а рассчитанными шагами.

Чернов даже очень способствовал задаче президиума — как-нибудь протянуть эти часы пустого Совета. И мог бы ещё долго говорить, но очень уж напирал список. Стали давать ораторам не больше пяти минут.

Ещё же один боевой большевик, с неподходящей фамилией Плаксин: Совету рабочих депутатов немедленно брать власть! (И регот большевиков с мест.)

В ответ уговаривает эсер Каплан: не диким криком толпы выражать свою волю, а организацией! От нашего сегодняшнего тут решения (верил ли он, что тут решается?) зависит судьба российского пролетариата, а может быть, пролетариата всего мира. Пусть Исполнительный Комитет встретится с Временным правительством, пусть они вынесут продуманное решение!

И меньшевик Гольцман: нота — провокационная выходка, но мы верим Исполнительному Комитету!

И — внеочередный балтийский матрос, не снимая чепчика с ленточками:

— Я к вам — представитель войск, восставших против Временного правительства! Мы требуем отставки Милюкова! Или наше министерство, или гражданская война!!

И прочёл кой-как сбитые фразы резолюции, будто бы принятой войсками на Марининской площади. Не понимаешь, что такой резолюции не было, — а в зале начинается раскачка, размах, не предвиденный президиумом: этот Совет, пожалуй, непрошено начнёт решать? Невообразимый шум, разноречивый рёв.

— Назовите ваше имя! Кто вы такой?

Не объясняет.

Но Станкевич предвидел, и, подготовленный им, выступает солдат из Исполнительной комиссии:

— Хорошо, мы свергнем правительство, а кто заменит его? Мы? Так у нас руки дрожат, и ещё как задрожат. Нет, не надо нам строить карточных домиков, которые сдунуть будет ещё легче, чем Николая II. Не надо нам азартной игры.

И аплодируют ему шумно, опять зал повернулся. Успех.

Но сейчас же полез анархист:

— Немедленный захват власти! Немедленная социальная революция! Есть исторические примеры! Нельзя ждать ни минуты!

И опять большевик:

— Сегодня мы ещё можем бороться с Милюковыми, а завтра их силы могут вырасти!

Тут, как бочку масла на взволнованное море, выпустили от Исполкома Бройдо. Если мы возьмём власть в свои руки, не внесём ли мы раскол в демократию? Ведь с нами — не весь народ, часть народа против нас, а другие слои сейчас с нами, но отвернутся от нас, если мы восстанем? И это неправда, будто сегодня воинские части хотели занять дворец и арестовать правительство. Не было такого. А если б это случилось — это было бы преступлением против демократии.

Чхеидзе, который уже и с Исполкомом не справляется, не то что с двухтысячным Советом (а ещё вызывали его и наружу, к толпе на набережной), пытается наставить ослабшим голосом: Исполнительный Комитет должен теперь ехать на совещание с правительством. Ещё записано сорок человек — но мы не можем уже обсуждать. А вы сейчас разойдитесь по городу — повлияйте на революционные массы, пусть будут готовы к борьбе, если она понадобится. Но пусть будут уверены, что Исполком предпримет всё. А завтра мы соберёмся, обсудим.

Президиум потянулся уходить, а закрыть собрание предоставили Скобелеву. У него глотка сильная, но большевики громче:

— Продолжать собрание!

— Предлагаем избрать председателем товарища Ленина!

Которого тут и нет, — но новый взрыв рёва!

Скобелев:

— Призывать к гражданской войне — преступление против свободы народа. Собрание объявляю закрытым до завтра.

Крики:

— Нет! Продолжать!

А ещё ж и с набережной гул, и там не расходятся!!

Собрание распадается на множество мелких митингов. Большевики высказывают на возвышение. Сейчас соединят и продолжат Совет?

Как же это легко поджигается!

Высказывает всё тот же Каплан:

— И что? Это будет обман России! Вы тут вынесете решение — а Россия будет думать: решил Совет рабочих депутатов?

Кто из зала — потянулись, потянулись на выход, не хотят без президиума.

Кто: — Наш долг идти на улицу, к революционному народу!
Большевики неистовствуют:
— Идите торговаться!
— Лакействуйте!
— Сговаривайтесь с Милюковым, как обмануть народ!
Кто вываливал вон, кто плачивался в кучки, кипеть.
Всё смешалось.

61

Войска с Мариинской площади ушли, но площадь нисколько не успокоилась, напротив. Остались тут все взбудораженные, кто набрались при войсках, и начатый митинг с первомайской трибуны перед дворцом уже не утихал: всё время густилось несколько сотен слушателей вокруг — и на помосте сменялись ораторы самые пёстрые, держась для верности за рейку, прибитую как перила. И в тон тому, как больше всего спорили о войне, — кружились в вечеряющем солнце перед дворцом голуби, голуби, всё менее находя себе тут покоя и свободного места на мостовой, тревожно воркотали, усеивали края гипсовых ваз при крыльце, ущерблённых февральской стрельбой.

Солдаты, которые порознь, не во власти своих вожаков и плакатов, — сплошь разумно рассуждали: «Конечно, войну никак бросать нельзя, мы всегда за победу».

Но за эти часы не только по соседству — весь город уже знал о войсковом выходе на площадь, и с разных концов вливались сюда люди стайками. Ушли полки — но тут возмещались петроградским жителем всех возрастов и одежд, — и уже снова площадь заливали тысячи, из края в край ничего не слышно, и там и сям образовывались свои группки и возвышались свои ораторы — кто на выкаченной бочке, принесенном табурете, кто на козлах пролётки терпеливого извозчика, а кто половчей — и взлезая по фонарным столбам.

И от кучки до кучки и дальше по площади, за спиной облежённо-грациозного Николая I, прокатывались только «ура» и «долой», «ура» и «долой» — а сами страстные доводы гасли там накоротке.

Это был незапамятно небывалый самочинный народный мирный сбор: в февральские морозы больше бегали, глядели, поджига-

ли и тушили, или тащили людей, вещи. Сегодня не было у толпы ни дирижёра, ни вожака, ни возглавителя — но один-то возглавитель мысленно реял постоянно перед всеми жителями революционной России: конечно Керенский! Вот ему бы тут сейчас появиться с увлекательным словом! И вот за ним бы сейчас все повалили согласным валом!

И из ближней ко дворцу толпы составили делегацию из офицера, студента, двух штатских: идти во дворец, узнать, где Керенский, телефонировать ему, звать его срочно! Даже удивительно было, что он до сих пор не появился сам.

Сменилось на трибуне ещё два оратора, и спорили внизу по соседству, в толпе. Да из военных никто не высказывался против войны, а только против министерских тайн и за ясность целей, зато уж штатские и дамы все были за войну до решительного победного конца. Уж таков становился на площади состав толпы, что и спора настоящего не было, а всё больше за правительство. И очень жалели Милюкова, подвергшегося такой несправедливой атаке.

Вернулась депутация из дворца, и офицер, поднявшись на помост, объявил: Керенский — тяжело заболел, лежит в постели, на митинг приехать не может. Но просит граждан сохранять спокойствие и верить, что Временное правительство стоит на страже свободы. Наш дорогой министр передаёт всем собравшимся — привет!

Большое разочарование, хотя и доля очарования от дорогого министра.

За эти часы уже не первая депутация ходила от толпы во дворец — звать выйти Милюкова, или князя Львова, или кого-либо, кого-либо из министров. И как досадно: вопреки всеобщему представлению, что Мариинский дворец — резиденция правительства, — за весь день ни один министр в нём не появился.

Около шести часов вечера с Морской вышла новая солдатская колонна, без музыки и без оружия. Нестройно пели марсельезу, перестали. Это оказался опоздавший к сбору батальонов — Павловский. Он шёл почти без единого офицера и довольно расхлябанно. Впереди несли «Долой захватную политику Милюкова!», «Да здравствует мир без аннексий и контрибуций!».

Пришёл — а ему на площади уже и места нет, так залито. Всё же нашёл, стал боком ко дворцу. И настолько не было вида военного строя, что публика легко к нему притискивалась и спрашивала:

зачем пришли? и почему им нота Милюкова не нравится? и неужели они хотят отдать Россию немцам? Павловцы отвечали нескладно. Отдать немцам? — никак, никто не хочет. Чего в этой ноте? — ни один разумно не ответил. А что такое «аннексии»? — ни единый не знал.

А с трибуны не успевали выступать. Взобрался маленький, лет сорока, почти горбатый, Алексинский, бывший член 2-й Государственной Думы, и больше к павловцам:

— Я только что прибыл из Франции. Я видел ту радость, которая охватила французскую демократию в дни нашего переворота. Рабочие говорили: «Теперь мы спокойны, ваше дело в верных руках». А если б они увидели сегодняшнюю картину на этой площади? Такого удара от русской демократии они не могли ждать. Как же могут русские солдаты идти под такими лозунгами? Позор и тем, кто приходил, и ещё больше тем, кто их приводил! Но я надеюсь, что этот тяжёлый кошмар скоро рассеется. Надо думать не только о себе, но и о судьбах мира. Ваши сердца от революции должны стать гранитными! Я призываю вас к национальной чести! Вот вы поёте марсельзу — а какое право вы имеете её петь, если пойдёте против Франции?

Гражданская толпа всё время шумно одобряла Алексинского. А выступил большевик, что нельзя Алексинскому доверять, он печатается в буржуазных газетах, — не имел успеха, согнали его свистом.

Хмуро, диковато постоял Павловский батальон меньше часа, видно, что опоздал к именинам, — и сконфуженные вожаки увели его той же дорогой, без марсельзы.

На площади передавали, что из Демидова переулка подходил ещё и отряд Егерского батальона — но какие-то юнкера с винтовками перегородили переулок и не пустили их.

Вылез выступать офицер:

— Сила штыков — на стороне революционной армии! Мы все — на стороне Совета рабочих депутатов. И пусть объявят тайные договоры, заключённые Николаем Кровавым!

Офицер! — и не поперхнётся. Свистом и криками согнали его.

А взобрался инвалид — и сердечно призывал к защите родины. И ему сильно рукоплескали, кричали «ура».

Ни одной воинской колонны больше не осталось, а солдат в толпе было много, но все — за родину.

Всё это было так необычно в России: никем не собранная многотысячная толпа, свободная трибуна и полная воля говорить что хочешь, в любую сторону.

Но больше того: здесь, сейчас, к людям вернулась привычка февральских дней: незнакомые легко разговаривали как самые знакомые, горячо друг ко другу, и как же понимая друг друга:

— Свободу слова они поняли как свободу натравливания!

— Какая-то духовная эпидемия! Самодовольные фанатики бросают в массу ядовитые семена — а ведь это пахнет междуусобицей!

— Возгласили и дали свободу каждому, и каждый упивается — и возникло равнодушие к судьбе Целого, к родине!

— Ах, господа, это всё идёт ещё от Александра Третьего, это он виновник всех наших несчастий. Он всегда всему давал задний ход, и так пошло на 35 лет. Нам никогда не давали организовать народ, и поэтому, как только рухнула полиция, — мы стоим перед анархией.

А между тем солнце, полого забирая к северу, закатывалось, кончался и долгий северный вечер, хоть весенний, но прохладный. Ветер стихал.

А министров не могли ни увидеть, ни дозваться, — где же они? Дружелюбная толпа ждала объединения, возглавления — а не было его.

Тут показалась новая манифестация, мимо Исаакия и сюда. Приблизилась, на плакатах разобрали: против Временного правительства, и мир без аннексий, и даже «через Циммервальд к социализму», — и Марининская площадь встретила их враждебными возгласами.

Это оказались василеостровские рабочие — Симменс-Гальске, Шукерт и Кабельный. Они всё же нашли место, остановились, не опуская своих плакатов. Но с трибуны несло:

— ...хотят омрачить нашу новорожденную свободу безумным своеволием! Это стыд наш и позор — «братание»! С кем братаются? С теми, кто в концентрационных лагерях морит голодом наших солдат? Кто душит нас ядовитыми газами? Кто отрёкся от демократических идеалов? Ну пусть братаются, но помнят, что есть и суд истории!

Поняв, что это всё им не по нюху, вожак василеостровцев повел своих по Морской к Невскому.

И снова — вся разливи́стая площадь была заодно! Чудо какое!
— Довольно мы праздновали, господа, довольно славословили! Два месяца! А теперь нужен переход к власти!

— И к суровой работе!

— В такие моменты достаточно одного мгновения нерешительности, чтобы власть была утеряна навсегда! И лучше — надевать ошибок в действиях, чем воздерживаться от действия!

Да, но — где же, где же были наши министры?? Вот уже и день кончился, сумерки, зажигались фонари — а правительства за весь день так и не было никого во дворце. В этом тоже рисовался грустный символ.

Но нет! — настроение толпы было: не расходиться! Шёл слух, что в 9 часов во дворце будет важное совещание: съедется всё правительство и головка Совета. И такросло не разряженное за полдня напряжение толпы — теперь хотели дожидаться министров! — и выразить им горячую поддержку!

— Если б нашу революцию побеждала бы контрреволюция — это было бы даже не так обидно: ну, не хватило сил, наше несчастье — но не позор! А вот — революция позорно погибает от собственного внутреннего разложения!

— Железную непреклонность проявляют только эти крайние левые. А мы — мы только красиво говорим об идеалах.

— В каждой стране есть граждане и есть обыватели. Но у нас вторых слишком много.

— Простите, что за ироническое отношение к обывателю? Обыватель — это учитель, врач, служащий, бухгалтер, лавочник, да и крестьянин. Это — весь народ.

За дворцом, по ту сторону Мойки, выползала луна, близкая к полной.

Пока — потянулась струя к итальянскому посольству, по соседству, приветствовать союзника. Там — посол вышел на балкон, раскланивался, благодарил.

А на площади толпа — всё росла. И уже так была вся за правительство, что едва кто высказывался против — от взрыва возмущения вблизи замолкал — и убирался вон. К ночи и солдат становилось меньше, а рабочих — просто ни одного. Толпился, волновался и господствовал тут — центральный коренной Петербург. Вся площадь, и дальше николаевского памятника, была в головах, в головах — если не 25 тысяч, то 20.

А на фасаде дворца всё висит, от 1 мая, огромное: «Да здравствует Интернационал!»

Вот — безкрайняя площадь, и всё это — мы, и мы все заодно. И в этом, как будто бесплодном, стоянии час за часом, час за часом, наше тревожное сознание словно ещё проясняется: неповторимый вечер! Это, может быть, поворотный пункт революции! Или власть будет признана — или начнётся анархия по России. Может, эти часы нашего тут стояния — часы великой патриотической драмы. В ком бьётся любовь к России — не уходите! Дождёмся! Повлияем!

Ну, вот они! Вот, наконец! Подъезжают в автомобилях, по охотно освобождаемым проходам, и сами министры! Первый — Владимир Львов! Речь! Хотим речь! Взошёл на ступеньки дворца, дюжий, чернобородый:

— Заверяю вас, что члены Временного правительства, вышедшие из Государственной Думы, будут стойко исполнять волю народа.

Толпа уже накалена, ей только искорку! Хоть и здорового детину — подхватили Львова на руки и с криками «ура» внесли в вестибюль дворца.

Новый рожок через толпу — а это кто? Мотор въезжает на пандус — из дверцы выскакивает быстрый Некрасов (у него появились приёмы Керенского) — и властно, на много рядов слышно:

— Мы пережили сегодня тяжёлый день. Мы слышали призывы к миру «во что бы то ни стало», и это нас больно поразило. Заветная цель Временного правительства именно дать стране мир. Но мир — после победы, а не какой иной. Позвольте нам надеяться, что страна поймёт и поддержит нас. — (Ну конечно! Ну для этого же мы и здесь. «Ура-а-а!») — Временное правительство будет свято исполнять свои обязанности до конца и передаст власть лишь в руки тех, кто будет выражать волю *всего* народа.

Намекнул! Намекнул, что Совету — не уступят! Ах, молодец!

— Ура-а-а-а! — И его тоже подхватили на руки с подъезда в вестибюль.

И тут едва не пропустили на ступеньках Шингарёва, перешедшего через толпу пешком от своего министерства. Потребовали речи и от него. Он выглядел совсем не вдохновлённо, и голос его не был слышен далеко:

— Мы клялись сохранить власть, лишь доведя страну до Учредительного Собрания. Мы присягали охранить народ от внутренних и внешних врагов — и мы не желаем хоть на один час дольше сохранять власть, чем этого хочет народ.

А в этом — уже не было ли ноты слабости? Неужели они могут уступить?

— Граждане! Если вы поддержите Временное правительство — оно исполнит свой долг до конца.

Браво! Мы конечно поддержим! Да здесь вся безкрайняя Россия перед вами, неужели вы не видите? (Потерялась ещё какая-то его странная фраза — «но делать то, что правительство не вправе, — оно не станет».) «Ура-а-а!» Подхватили, понесли и Шингарёва.

Нет! Отечество ещё не на краю гибели!

Тут — с мощным рожком, в крупном открытом автомобиле подъехал от Морской сам гигант Родзянко. Рёв восторга встретил его ещё прежде, чем он выбрался через дверцу.

Но — и неузнаваем же был гигант: уже не высилась так его голова, и плечи не те, и ростом, кажется, уменьшился. И начал почти кряхтя:

— Граждане! Я чувствую всю тяжесть ответственности за создавшееся положение, из которого мы, русские люди, должны найти достойный выход.

Ох, значит, плохо дело?..

— Скажите мне прямо: вы — хотите сепаратного мира?

— Нет! Нет! Да нет же! — понеслись неукротимые крики.

Подбодрился Родзянко.

— Хотите ли вы, чтобы союзники отвернулись от нас? Чтобы малые угнетённые народы проклинали нас?.. Ведь враг попирает нашу священную землю — так почему ж вы хотите, чтобы тыл диктовал свою волю народу!

О Боже, да не мы! — не они и не здесь были те, кто этого хотел! И не о «тыле» шла речь, то был лишь окольный псевдоним Совета, тут так и поняли! И Родзянко увлекался, громчел и даже всё колокольней:

— Ведь мы обязаны быть честными, чтобы быть свободными! Неужели русский народ, освободясь от гнёта, под которым нас всех держал царизм, — думает сохранить свою свободу тем, что нарушит слово чести перед союзниками? Граждане! Я закликаю вас ве-

рить тому правительству, которое поставила Государственная Дума...

Мы и верим! Это — одна наша надежда!

— ...Это — честное правительство. И оно исполнит свой долг до конца. И — да здравствует могучий! свободный!! русский народ!!!

— Ура-а-а-а! — перекатывалось по площади. Но более всего порадовал Родзянку офицер, подскочивший на ступеньки рядом с ним:

— Да здравствует Отец Русской Революции! — звонко вскрикнул. И это был сигнал: подхватывать в двадцать рук и тяжеловесного Отца и нести его в вестибюль.

Да и пора: уже вот подкатывал и мотор с самим наконец Милюковым! — со славным и одиозным героем сегодняшнего дня. Его кинулись нести даже из автомобиля на ступеньки, но он не то чтобы не дался, а так наёжен был — пошёл сам. Он был в фетровой шляпе и позабыл снять её для речи. Он — диковато смотрел, так напряжённо смотрел, как будто и здесь ждал увидеть не сторонников, а врагов. И начал с трудом, как пересохшим горлом:

— Я — видел плакаты. Но я — защищаю интересы народа. И не уйду, пока не выполню долга. Или — погибну.

И безстрашно стоял, доступный растерзанию, мишень, дразнящая плебс, — в мягком пальто, белейшее кашне вокруг шеи, очки, мягкая шляпа.

Но не только не напал ни единый голос, не протянулась ни одна враждебная рука — но овеивали от площади сочувственное тепло и дружественный шелест. И министр — уже наступательней:

— Я — тот Милюков, который 1 ноября разоблачил интригу и измену бывшего царского министра Штюмерера! Я — тот Милюков, который восставал против сепаратного мира! И неужели же я должен стать тем самым изменником русскому делу, каким я клеймил своих врагов?

Ответ толпы — нёсся несомненно. Но ещё, по инерции готовности, подставляя себя под страшный удар:

— Да! Войну — надо победно закончить! Я это повторяю. И пусть мне кричат в лицо «долой Милюкова».

Но никто же тут не кричал такой мерзости, слышалось одно одобрение! И, всё твердея:

— Буду ли я жив? Или буду мёртв? — мне всё равно. Но мне не всё равно, если Россия покроется позором! И если мы станем добычей наших врагов. Старая власть именно потому и рухнула, что нарушала обязательства перед союзниками. Временное правительство и я — не допустим, чтобы Россию могли обвинить в измене. Я — исполню свой долг и добровольно с этого места не уйду. Верите ли вы мне?

— О да, мы вам верим!.. Мы верим!.. Мы верим!.. Да здравствует Милюков!.. Ура-а-а!..

И тут же проворно вскочил офицер, но другой, и пронзительно:

— Господа! Милюков — пожертвовал своим единственным сыном для блага России.

Верно напомнил, не все и знали. Потеряв сына на этой войне, мог Милюков иметь и пристрастие к победе!

— Ура! Ура! Ура-а-а! — подняли, потащили и Милюкова. Тут стали подъезжать в автомобилях, в каждом по несколько, члены Исполнительного Комитета Совета. Не знали их в лицо, нигде не бывало их фотографий — но видно, что не наши министры. Их встречали враждебно-холодным молчанием. Не ждали от них речей и не кидались нести их во дворец. Над дворцом уже высоко висела бледно-желтоватая луна. По чьему-то крику стали оттекать — сходить к английскому посольству.

А в стороне от подъезда стоял французский офицер с двумя соотечественниками, господином и дамой. И сказал им:

— Это правительство оказалось более *временным*, чем мы думали. История повторяется. Вот и у них, как у нас: народ поступал министерству в окно и объявил: «Вы больше не существуете!..»

62

Такой неприятный, совершенно неожиданный конфликт, и в такое нежелательное время!

За минувшие полтора месяца князю Георгию Евгеньевичу приходилось встречаться исключительно с хорошими людьми: были ли это непритязательные мужественные воины из армейских депутатий, или делегация русского театрального общества из Москвы, привезшая новый театральный устав, или еврейская делега-

ция, благодарящая за равноправие, или дружелюбно-предупредительные к новой власти старые чиновники своего же министерства, — и та же атмосфера дружелюбия лилась в неохватном потоке приходящих телеграмм. (И от кого только не было! — из Лозанны от семьи Герценов! ну когда б они о князе Львове знали бы или вспомнили! — а теперь он им отвечал.) Решительно ни разу не встретил князь кого-либо из отвратительных чудовищ царского режима, душивших всю нашу жизнь, и князя Львова тоже. И если где-то на местах необъятной России происходило нетерпеливое политическое творчество, возникали и кипели разнообразные новые комитеты и формы, никто не желал дожидаться, пока лучшие юристы страны разработают им безукоризненные новые правила, и доходило даже до ссор с помещиками и до захвата земель или до весьма дерзких национальных требований откола от России (какие придуманные проблемы, почему ж их не было вчера?), — то всё это было по единственной причине удалённости, по невозможности встретиться со всеми лично и посмотреть друг другу доброжелательно в глаза. Как раз вот на послезавтра князь Львов созывал совещание губернских комиссаров центральных губерний, чтобы преодолеть это непонимание на расстоянии, — а тут вот...

Несмотря на частые сердечные встречи с представителями Совета (которые, в общем, все были неплохие люди, а некоторые и просто замечательные) — очевидно, и тут что-то было недоговорено, что-то недопонято, вот с этой несчастной нотой. Поразительно, что они — тоже сейчас порицали правительство, хотя ведь всё время были с нами в контакте! Так надо встретиться сегодня же! — и в самом расширенном составе — всё полное правительство, это дюжина, и от Исполнительного Комитета придёт человек сорок. Идея: чтобы наших было всё-таки побольше — можно пригласить также и Родзянку со всем его Думским Комитетом? Соберёмся, поговоримся — и снова всё потечёт нормально.

Все эти полтора месяца никто в Мариинском дворце не вспоминал ни о Родзянке, ни о его комитете, ни обо всей Думе, как будто их и вовсе не было, и делать им нечего. А сейчас — они как раз оказались нужными. Да как солидно будут выглядеть на общем заседании, как бы третейскими, и особенно сам Родзянко. И какое впечатление будет через газеты на общество.

Георгий Евгеньевич позвонил Михаилу Владимировичу, тот был очень польщён и конечно согласен.

Заседание назначалось на 9 часов вечера в Мариинском, но раньше времени туда никто не хотел и ехать, через эту толпу; всю организацию вели по телефонам из домина, потом кое-как доканчивали совещание с генералом Алексеевым, потом сговаривались министры, какой линии поведения сегодня вечером держаться. Милюков непреклонно стоял на своей ноте, на каждом слове её, и настаивал и требовал, что и все должны так держаться, потому что приняли её всем составом правительства единогласно. И действительно так, некуда деться. Ах, какая неприятность! Ах, кто бы мог думать, что из этого заварится.

Уверены были, что к вечеру, к темноте, толпа разойдётся, — а как раз наоборот! И пришлось министрам ехать на заседание через эту возбуждённую толпу — правда, оказалось, что у Мариинского дворца толпятся уже только дружественные манифестанты.

К обширному заседанию приготовили зал на половине Государственного Совета, теперь несуществующего, а с непривычки совсем не подумали о процедуре. И возник сложный инцидент. Пресса-то ведь целый день изнывала, металась, наблюдала, мучилась — а теперь корреспонденты всех главных газет двух столиц толпились в Мариинском дворце перед князем Львовым и просили допустить их на совместное заседание, ввиду важности его. Ну что ж, гласность — это родная сестра свободы, тем надёжнее будет осведомлена и вся страна. Львов посоветовался с Терещенко, с Некрасовым, — и пригласили прессу занять места в зале.

Корреспонденты ликующе потянулись туда, с собой ещё повели запасённых стенографисток, и там заняли угол, разложили бумаги, отточенные карандаши, были готовы ранее всех: участники заседания ещё только собирались.

Собирались, и вдруг Скобелев подошёл к князю и, несколько заикаясь, заявил, что Исполнительный Комитет решительно против присутствия прессы! Вот так так! И как же князь не спросил их раньше? — он не предполагал, что они могут быть против гласности. Очень теперь неудобно, очень неудобно, но ничего не оставалось — князь подошёл к столам прессы и объявил им, что вынужден сообщить: Исполнительный Комитет категорически против их присутствия.

Корреспонденты были удивлены — ошеломлены — возмущены — но вынуждены были, что ж? — подчиниться. И потянулись из зала вон и они, и их стенографистки с собранными каранда-

шами. А служителям у дверей было строго велено не пускать их больше.

Но тут же пресса прислала коллективное письменное заявление князю Львову с просьбой: первым пунктом заседания обсудить вопрос о присутствии прессы.

Что ж тут обсуждать, ещё посоветовались с Чхеидзе, — отказ.

Но не успели ещё все собраться и заседание начаться, как от проворных корреспондентов поступило новое заявление, теперь к Чхеидзе:

«Николай Семёнович! Мы, журналисты, с первых дней революции достаточно доказали своё отношение к серьёзным моментам в жизни нашей родины и заслужили право присутствовать в столь историческом заседании. И Временное правительство разрешило нам. К великому удивлению, мы были удалены по требованию Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Мы думаем, что это прискорбная ошибка. Мы свой долг умеем выполнять».

На советской стороне смутились. Посовещались. Подходили опять ко Львову: Временное правительство тоже должно присоединиться к запрету.

— Но мы же нисколько не возражаем, — ласково отвечал им князь.

— Но вы обязаны проявить солидарность с Советом и не перекладывать на нас одиозность. Ситуация слишком ответственна, чтобы мы могли допустить её разбалтывание и извращение в буржуазной прессе.

Теперь совещались министры: не портить отношений, надо уступить?

Скобелев пошёл и объявил журналистам; запрет исходит также и от Временного правительства, так как не всё на этом совещании может стать достоянием гласности.

Журналисты нисколько тем не убедились: но мы вовсе не имеем в виду разглашать секретные данные. Мы согласны сообщать и не всё, мы понимаем! Пусть наши отчёты просматривает и вычёркивает президиум.

Но никому не улыбалось ещё над этим просидеть ночь.

Заседание началось.

А корреспонденты в Квадратном помпейском двухъярусном зале и в комнате для печати томились, томились, томились и посылали записки: если там всё равно присутствует 80 человек — то

гражданская обязанность присутствовать и у журналистов, заслуживших доверие в революционные дни!

Наконец, уже после полуночи, к ним туда вышел суровый Гучков с чёрными подглазными мешками: он берёт лично на себя состоявшееся недопущение прессы: им и Шингарёвым приводились секретные цифры.

63

(Петроградские улицы, к ночи)

* * *

Вечерний Невский, при фонарях и светах витрин. По мостовой в сторону Знаменской валит многосотенная толпа, размахивает шапками, фуражками. Толпа штатская, но немало солдат и офицеров. Плакат: «Доверие Временному правительству!» Их горячо приветствуют с обоих тротуаров.

Задержались извозчики, трамваи.

* * *

Идёт по Невскому человек двести гимназистов. Плакат из шёлка: «Ленина и компанию обратно в Германию!» — переняли у воскресной инвалидной демонстрации. Одобрительные возгласы с тротуаров, смех, аплодисменты.

* * *

«Ленин» и «Милюков» — так и носятся в воздухе два имени. Горячие споры, негодующие вскрики.

Прапорщик, Георгиевский кавалер:

— А — как уход Милюкова скажется на фронте, вы подумали?

— Буржуй ваш Милюков, как и вы все.

Новое слово такое — «буржуй», не знаешь, что и ответить.

— А вы помните, как мы все восторгались им после речи в Государственной Думе?

— Кто — «мы»?

Господин южного типа;

— Чтобы руководить государством, необходим государственный ум и знания. И не злоупотребляйте терпением союзников, посчитайте наши денежные долги им. Они примут суровые меры.

Подъезжает группа верховых казаков :

— Просим разойтись. Именем правительства.

— Это какого правительства? — кричит кожаная куртка.

— Ленинского, — острят из толпы.

Общий смех.

* * *

На Знаменской площади — многотысячная толпа. На военном грузовике — солдаты. Один из них держит речь к спокойствию и порядку. Ему хлопают. Но туда взбирается студент и держит речь против Милюкова и Временного правительства. Толпа не желает слушать, кричит:

— Долой ленинцев, большевиков!

Меняются ораторы и в уножья памятника Александру III:

— Войну ведут капиталисты, только им выгодно! Немедленно опубликовать тайные договора!

— А что немцы забрали — оставить им?

— Пусть там сами жители решают. А на фронте — уже идёт братание с немцами!

— Как же брататься, когда они Вильгельма не сбросили? Значит, с Вильгельмом брататься?..

— Нет! У них братание — уже начало революции!

Инвалид: — Если нужно, то инвалиды-солдаты вместе с инвалидами-офицерами пойдут воевать до конца.

А с Невского втекает большая манифестация Трубочного завода: «Вперёд к свободе под знаменем Циммервальда», «Долой Милюкова!»

Выдвинулись под фонари. Но их встречают недружелюбными криками. И нет им места на площади. Поворачивают по Лиговке.

* * *

К Таврическому вечером подошло несколько манифестаций, с надписями большевистскими. Но дворец даже не светился, и не

выходил к демонстрантам никто. Поговорили свои ораторы — свергать Временное правительство! И ушли за Неву.

И поздно вечером пришли к Таврическому — волынцы, зачинатели революции, — «Да здравствует Временное правительство!» А тут, где раньше и по ночам кипело, — никого. Пошагали волынцы на Мариинскую площадь.

* * *

Сразу за Литейным мостом, на Нижегородской улице, собрался многолюдный митинг — против правительства и против войны. Один оратор назвался — член Совета рабочих депутатов Марголин, долго говорил. Как Временное правительство обмануло, не выполнило обещаний 27 марта. И как вчера в Михайловском театре он своими ушами слышал: выступали Милюков и Керенский, мир будет только с аннексией и контрибуцией. Вдруг сильный голос из толпы:

— Я — заместитель министра Керенского Зарудный. Такого ничего не могло быть, это провокационная ложь. И вы — не Марголин!

Толпа заволновалась. Кинулись на того — а его и след простыл.

* * *

Пересекла Невский, немного прошла по нему манифестация из одних рабочих, и впереди — десятка три-четыре с винтовками на ремне. Публика так и замерла: не солдаты, а рабочие с винтовками! — сильное впечатление. И ведь — по-хорошему теперь не отдадут.

* * *

На Невский с Литейного — шум и крики. При многих тут фонарях вываливает огромная манифестация. И впереди неё — большая группа солдат, и вокруг неё солдатская цепь. Так и гудит в воздухе:

— Да здравствует Временное правительство!

— Долой Ленина!

— Долой ленинцев!

Трамваи остановились, всё движение прекратилось. Ряды, ряды — юнкера, кадетики, интеллигенты, офицеры, женщины:

— Присоединяйтесь, товарищи! За Милюкова!

Авангард свернул на Невский, а конца и у Жуковской не видно.

* * *

На Невском — споры на каждом перекрестке.

— Почему вдруг «мир без контрибуций»? Значит, разорённые народы оставить ограбленными? Значит, немцы останутся при награбленных у нас миллиардах?

— Без аннексий и контрибуций — это значит *мы* отказываемся. А если кто-то с *нас* потребует — вам в голову не приходит?

— Это неприемлемо для чести русского народа!

— На что нам твоя честь? Нам даёшь — мир!

— Заметьте: все крайние течения — это эмигранты-доктринёры.

Но, несмотря на страстность прений, — драки нигде не возникают.

* * *

Где собралась группа интеллигентней — там все за Временное правительство:

— Милюков досконально изучил дипломатию! Он самый компетентный во внешней политике! — чего они хотят?

— Милюков и Гучков были самыми опасными для царизма! И теперь — их за борт?

— Свергать тех, кто всю жизнь боролся против Сухомлиновых и Протопоповых? Кто подготовил переворот? А завтра станут не нужны Чхеидзе и Керенский?

— Да просто сваливают на министерство иностранных дел раздражение, что революция не принесла им немедленного благоденствия.

Обходят и объезжают милиционеры, просят граждан расходиться.

Расходятся. Но через десяток шагов на новом месте сходятся опять.

* * *

С каждым часом на Невском и повсюду в центре города всё многочисленней котелки, «ясные пуговики», дамские шляпки, студенческие фуражки, дружелюбные солдаты — и перевешивает настраивание в пользу правительства и продолжения войны.

Господин в цилиндре:

— Граждане! Неужели теперь, когда мы низвергли старую власть именно во имя победы, — мы будем колебаться идти к этой победе?

Дама с собольей муфтой:

— Не для того мы избавились от режима Николая Второго и Распутина, чтобы теперь устраивать гражданскую войну!

Разъезжают по Невскому легковые автомобили с рабочими:

— Граждане, не волнуйтесь. Совет рабочих депутатов призывает всех к спокойствию и выдержке, он блюдет волю народа. Завтра утром будет опубликовано решение.

Но не редет Невский, а даже, кажется, разыгрывается.

* * *

Проехали медленно на моторе вооружённые милиционеры, просят разойтись и спокойно ждать решения Совета.

В это время с Садовой выехали другие милиционеры, с красным знаменем: «Да здравствует социальная революция!»

Сумятица.

* * *

Около полуночи у Публичной библиотеки — летучий митинг. Незнакомый в циничных выражениях нападал на Временное правительство. Толпа сначала слушала спокойно, потом стала требовать, чтоб он назвал себя.

— Член Совета рабочих депутатов!

— Мандат.

Полез искать по карманам — не нашёл. Поднялся шум. Стали наступать на него с угрозами. Дружки заслонили его, и он скрылся.

* * *

За полночь прошёл слух, что верные правительству царско-сельские полки идут в Петроград.

* * *

По уже пустеющему Невскому проскакали верховые солдаты, пятеро, винтовки накомь за спиной:

— Долой Ленина!.. Не верьте ему!..

64

А с площади перед Мариинским дворцом и после десяти часов вечера, и в одиннадцать, и к полуночи — толпа не только не расходилась, а, кажется, ещё добавлялась. Всех держало сознание, что вот здесь, перед ними, во дворце, сейчас...

И толпа, всё более сдруженная своим стоянием и разговорами по соседству, ждала: быть может, ещё этой ночью здесь нам придётся вмешаться и повлиять? *Что* там делается во дворце? На семь ладов представляли ход и исход этого важнейшего заседания.

— Нам Россия не простит, если не сумеем сберечь её в этом испытании.

— Всё наше спасение — в единении. Жертвовать личным — во имя общего!

— Будем верить!

— Да, кроме веры, у нас других ресурсов не осталось, увы.

— Безкровная революция казалась таким чудом! А вот опять приходится верить только в чудо...

Загадочен виделся свет во многих окнах дворца, мало кто знал внутреннее расположение: где же может сейчас происходить заседание? Что там делают с нашими министрами? Пытаются их согнуть, сломить?

— Нет, господа, в нашей революции есть, есть здоровый государственный инстинкт! Исполнительный Комитет — ведь не вызывает против правительства. Благоразумие — вот уже берёт верх.

— «Власть масс» — это красиво произнести, но это — розовая мечта. Сами массы не могут править собой без направляющего меньшинства с навыками мышления ответственного. Потому и важно, чтобы сейчас интеллигенция не растерялась.

— Да в самые трагические моменты не забывать: свобода в своих излишествах исправляется свободой же!

От времени до времени посылали внутрь лазутчиков: как-нибудь пробраться, что-нибудь узнать или попросить кого женибудь выступить. Но только и узнали, что даже корреспонденты главных газет не допущены в совещание!

Что же, что же там решается?? Сжаты сердца.

Нет, не уйдём. Не расходитесь!

Перед полночью подъехал ко дворцу генерал Корнилов и деловито пошёл внутрь. Его не смели подхватывать на руки и не просили у него речи, но восторженно рукоплескала и кричала ему толпа петербуржан, пока он прошёл внутрь. Генерал-надежда!

Сегодняшний угар — непременно развеется! — в этом упование России.

Что спасёт Россию — неизвестно, но спасёт что-то сильное, яркое, животворящее!

Вскоре затем заметили движение в окнах балкона второго этажа. Возились фигуры у просветной двери, что-то не получалось у них? Потом открыли рядом окно, — и через подоконник в пальто и шляпе пролез — кто же? При фонарях, при оконных и лунных ответах —

Некрасов опять! Соскочив на балкон, снял шляпу и приветственно ею махал, привлекая внимание. Его встретили — раскатистыми по площади рукоплесканиями. И он — вдохновлённо, звонко, с размахиваниями:

— Граждане! Министр иностранных дел Милюков — (вперебив бурнейшие аплодисменты, «ура», «ура!») — сейчас делает доклад по вопросу чрезвычайной государственной важности!

И слова-то какие! У самого голос дрогнул, и толпа замерла, ожидая.

— Он не может выйти к вам сию минуту, но выйдет, как только окончит свой доклад.

«Ура-а-а-а», — слишком даже оглушительное. Милюков — становится символом. Но — и Некрасов же не потерялся:

— Граждане! Кучки людей не могут смутить Временное правительство! Эти кучки пытаются представить себя в виде большого

организованного движения, выдать себя за голос народа — но так и остаются кучками. Ваше присутствие здесь — доказывает, что они — не имеют почвы! Правительство уверено в поддержке народа и выполнит свой долг!

Что поднялось! Какие возгласы и рукоплескания! Мы так и верили! Мы так и надеялись! Дурной исход минует Россию.

Ну, после Некрасова стало толпе веселее ждать: наши министры там не сдаются и даже берут верх!

А минут через двадцать открылась, теперь, видимо, отпертая, высокая остеклённая дверь на балкон — и через неё нормально солидно вышел, без шляпы, седеющий, крепкоголовый, в очках, Миллюков.

Наконец его увидела вся площадь — и те, кто не видел прежде на подъезде, — и одобрителный рёв не имел границ, перекатывался за Мойку, за «Асторию», за Исаакия.

С балконной ли прочной высоты или после своего удачного доклада — казался Миллюков много спокойней и вольней, чем на ступенях три часа назад. И гораздо плавней, академичней, объяснительней произносил речь, даже и шутя:

— Граждане! Когда я сегодня днём узнал про демонстрации с надписью «долой Миллюкова», — признаться вам, я испугался. Но испугался — не за Миллюкова, а за Россию: если таково настроение большинства — то каково же положение в России? Что сказали бы послы наших союзных держав? Они сейчас же послали бы телеграфные извещения своим правительствам, что Россия изменила союзникам и сама себя вычеркнула из их списка.

Высоко держал голову, с нарастающей твёрдостью:

— Временное правительство не может стать на такую точку зрения. Временное правительство и я как министр иностранных дел всячески будем защищать такое положение, когда никто не сможет упрекнуть Россию в измене. Россия никогда не согласится на сепаратный мир, позорный мир! Как я сейчас говорил в заседании, Временное правительство — это оснащённое судно с развесающимися парусами. Судно это может быть выдвинуто вперёд лишь при наличии ветра, ветра доверия, — и вот я надеюсь, что вы нам этот ветер устроите.

Ликующий, обещающий гул по площади.

— Мы ждём вашего доверия, чтобы с ним ринуться в путь. И с опорой на ваше доверие мы — выведем Россию на путь свободы и благополучия!

Рукоплескания, возгласы:
— Да здравствует... Да здравствует...
И ура-а-а-а-а-а-а...
И Милюков с победной важностью удалился.
Там — заседание продолжалось, но уже исход его проявился.
Двадцатипяти тысячная толпа стала уменьшаться. Группы молодёжи перепевали, скандировали:
— Ленина — и компанию — обратно — в Германию!!
И в редееющей толпе чаще и громче раздавалось:
— Долой Ленина!
— Арестуйте Ленина!
И кто бы, правда, за это взялся?

65

Заседание устроили в просторном зале в глубине дворца. Вереница членов Исполкома в затрёпанных пиджаках удивлялась, проходя роскошную Ротонду, потом не менее пышный Квадратный зал, тоже с двухъярусными колоннами, и везде нежнейшие ажурные решётки вперекличку с вязью орнаментов, а полы под ногами почти зеркальные, смотри не поскользнься; и наконец в этот третий зал с кариатидами огромного мраморного камина, а по всем стенам вкруговую росписи каких-то античных историй и всё опять переплетено орнаментом. Чистота и стройность этих залов, залитых электричеством, была, однако, странный мирок, вырванный из огрязнённого суматошного революционного города, и повисала над ним как нереальность: да, сидя тут, правительство может и совсем забыться. Ведь уже столетие в этом дворце медленно вращались жернова русской государственной мысли — а вот не успели за жизнью, заело их.

Всего набралось заседающих человек восемьдесят, и не всем было место за большим столом, в вальяжных креслах Государственного Совета, остальные садились на удобных диванах вкрут стен.

Все, кого возвысила или не слишком снизила революция, вся новая верхушка России, — все были здесь. Министры сидели за одной частью стола, лишь Керенского не было. Чхеидзе, Церетели, Скобелев, головка Исполкома — за другой частью. На одной дол-

гой стороне стола — Родзянко, едва ль не на два места, и Думский Комитет. Худенькому Гиммеру досталось сидеть на дальнем диване и рядом со скучным малоподвижным Сталиным.

Министры приготовились к жёсткой обороне. Ещё днём в доверии сговорились: чтобы не попасть сразу в положение обвиняемых, начать эту встречу не с конфликтной дипломатической ноты, а прежде ввести её в правильные рамки: дать понять представителям Совета всю общую сложность и трудность руководства российским государством. И, открывая заседание, князь Львов объявил, что господа министры в пределах своих ведомств изложат Исполнительному Комитету состояние дел в государстве. Почему?

— Острое положение, создавшееся на почве ноты, есть, господа, только частный случай. За последнее время правительство вообще взято под подозрение, и мы всё чаще чувствуем недоверие со стороны Совета. — Сладковатый мягкий голос Львова выражал незаслуженную обиду. — А между тем правительство не подало к этому повода: Контактная комиссия — необходимая наша опора, и по всем вопросам мы в ней всегда находим общее решение и выполняем его. Формула о поддержке «постольку-поскольку» нас никогда не смущала. Но теперь мы чувствуем, что нас вообще не хотят поддерживать и даже подрывают наш авторитет? Тогда мы не считаем себя вправе нести ответственность, и решили позвать вас объясниться.

Он что-то извратил историю этого заседания: его потребовал ИК!

— Мы должны знать, — со скромностью излагал князь, — годимся ли мы для нашего ответственного поста в данное время. Если нет — то для блага родины мы готовы сложить свои полномочия и уступить другим.

Что-что-что? что он несёт? Ни о чём подобном министры не договаривались! Что он, с ума сошёл? — Милюков был возмущён, но тут вслух не возразишь. Как же можно, почему начинать с капитуляции? Именно сейчас, когда заговорили об отставке отдельных министров, встречно предлагать отставку? Тряпка!

Тем временем вышел к кафедре первый Гучков. Совсем это не был тот на миг поздоровевший воин, который сегодня звал министров к сопротивлению. Он выглядел больным, старым, говорил мрачно, — впрочем, это и шло к его предмету. Говорил пространно, даже о том (излюбленном), как царское правительство вело армию к катастрофе. Сделал общий обзор положения на фронтах и

впечатлений от своих поездок. В начале своего министерствования он был настроен оптимистически. Питал надежды, что русский народ, так мощно справившийся с тяжёлой задачей низвержения старого режима, обнаружит энтузиазм и сокрушит внешнего врага. Что в русской революции произойдёт такой же подъём, как в аналогичные моменты во французской. Но у нас почему-то произошло наоборот. Теперь Гучков лишился оптимизма, фактические данные погасили его. Должен открыто заявить, что положение армии, если брать его в психологическом разрезе, — вызывает самые серьёзные опасения. Он счёл бы себя преступником, если бы сегодня не влил в души присутствующих яд спасительной тревоги. Нет, положение небезнадёжное, но весьма тяжёлое. И меры нужны самые решительные. Народные массы слишком прямолинейно понимают разговоры о мире: что мира можно добиться, немедленно сложив оружие. Сидя в Петрограде, надо иметь смелость представить, что разговоры о всеобщем мире вызвали в окопах дезорганизацию и упадок духа.

Советская часть аудитории была этими выпадами оскорблена, переглядывалась: они снова наступают на всемирную программу мира! (А Гиммер — так просто искручивался от негодования!) Правда, Гучков смягчил в заключительных фразах, что ни он и никто в правительстве не имеет в виду каких-либо завоеваний: даже по одному нашему военному положению эту мысль следует отбросить.

И — ещё министры не кончили? Теперь Шингарёв? Да что они? — улицы кипят, а тут академию разводят!

А вот, мол, продовольственный вопрос — не менее важен, чем состояние армии. Из-за доктринёрских социальных требований крайних элементов, — и тут Шингарёв сильно раздражился, — надежда на урегулирование продовольственного дела всё призрачней. А ленинцы, — перешёл прямо в лоб, — в партийно-фанатическом ослеплении разжигают в крестьянах жажду конфискации земель. Дворец Кшесинской — гнездо отравы. И хлеба — не будет.

Ну, даже если всё так — нельзя допустить такого тона против революционной демократии!

Потом Шингарёв смягчился, успокоил: и на рельсах, и на баржах — уже миллионы пудов хлеба; вот только дожидаться несколько недель первых результатов навигации — и мы доживём до следующего урожая.

Но когда же — злосчастная нота? когда же — Милюков? Сидит среди министров истуканом. А к кафедре лёгкой походкой ферта проходит сахарный миллионер. Впрочем, начинает не с финансов, а прямо с ноты, и довольно вызывающе звучат его слова.

Вчерашняя нота — не более чем перифраза и развитие правительственной декларации 27 марта, выработанной совместно с Советом, — и не понятно, не обосновано то недоверие, какое нота вызвала в советских кругах. Печальная услуга со стороны Совета! Это недоверие может заставить наших союзников порвать с нами все отношения — а мы живём их помощью в средствах на ведение войны. И ответственность за последствия падёт на тех, кто не хотел понять тяжести момента.

Но — к т о же не хотел? Разве ИК — не хотел?! Разве ИК не понимает, что надо как можно мягче славировать из этого грозного конфликта? Вот эта агрессивность министров пугала Церетели. Они были, по существу, правы, — но этот агрессивный тон разозлял левых в ИК и разрушал соглашение, которое надо было любой ценой достичь сегодня здесь.

А в области финансов, — заверял тем временем Терещенко, — ведётся самая нормальная политика, приступлено к выработке нужных законопроектов, но это нельзя сделать быстро. Уже разрабатывается значительное расширение прямых налогов с крупных доходов плюс особый военный сбор с доходов и капиталов. А пока всё это введётся — необходима и ожидается от Совета энергичная поддержка Займа Свободы.

Для советских — самое вязкое место.

И четвёртый министр выходит! — и опять не Милюков, а Некрасов. Но этот — недолго, и не раздражая ничем советских, а бодро: дело грузового транспорта налаживается, и пассажирское движение тоже.

Так понять: если в работе всего правительства есть один светлый сектор, и не вразрез с желаниями Совета, — то это как раз Некрасов, очень приятный министр.

Наконец не выдержал Чхеидзе (от напряжения вторых суток и второй бессонной ночи у него уже отказывала голова) и напомнил: ведь мы собрались обсуждать ноту, нельзя ли выслушать министра иностранных дел? Нота содержит положения, совершенно неприемлемые для Совета рабочих депутатов. Затемняя цели войны, она не говорит об отказе от аннексий и контрибуций.

И тут бы — подняться Милюкову! — а он? не мог подняться? Все смотрели на него, и начинали подозревать, что он такой застывший не в крепости вовсе, а в слабости? Он сбит и подкошен?

Он — не вставал, и, чтобы придать ему толчок, взял слово Церетели. Министр иностранных дел, очевидно, не понял психологии новой революционной России, он действует приёмами старого царского правительства. Да в его ведомстве всё идёт по-старому, и даже нигде не сменены послы. А теперь — неизбежно обратиться к союзникам снова, ещё раз, и выразиться революционно-чётко.

Нечего делать, приходится идти к кафедре Милюкову. Но таким смущённым его ещё не видели, не слышали никогда.

Центральное внимание союзники обратят, естественно, на ту бумагу, от 27 марта, к которой нота — лишь приложение. А тем обращением Совет был доволен. Но на Западе циркулируют слухи, что Россия готовится к сепаратному миру, — и чтобы их рассеять, и были внесены в ноту те формулировки, которые сейчас вызывают ваши возражения. А иначе бы и поняли как подтверждение этих слухов.

Ох, придуманная конструкция — и все это слышат, и сам он это понимает. О сепаратном мире — так и можно было написать совсем прямо.

Но в привычном положении оратора, да когда не перебивают, чего он боялся, Милюков начинает и оправляться. Столь острое реагирование на ноту... Не должно быть искания смысла, которого в ноте нет. И что-то длинно, и всё длинней и закрученней — о каких-то фактах, каких-то данных, которые именно подтверждают... И, в этих околичностях набравшись сил, уже твердо: сегоднешний эпизод произведёт самое тяжёлое впечатление на союзников. Посылать новую ноту? — никак невозможно. Это не только скандально противоречит всем дипломатическим традициям, но и оскорбит союзников, и вызовет у них ещё большую тревогу.

Однако не слишком ли он твёрдо взял? — ведь он в положении обвиняемого. И тогда, чтобы создать с аудиторией доверие и даже интимность, он предлагает: в нарушение всех дипломатических правил огласить сейчас, здесь, он надеется на скромность присутствующих, последнюю тайную дипломатическую бумагу, полученную от союзников. (Как Штюмер — разрушение *деликатнейших* фибр дипломатии?..)

Внимание — сразу выиграл. Но начинает читать, что это? — какой-то малоизвестный второстепенный дипломат сообщает, что французское министерство иностранных дел неодобрительно относится к идее межсоюзнической конференции для пересмотра целей войны.

Ну, неуклюж! Ну, бегемот неуклюжести! — уж лучше б эту возню с бумажкой и не начинал, только себе повредил.

Церетели и Станкевич тревожно переглянулись. Милюков — уж вовсе разрушал всю игру на соглашение.

Церетели склонился к Чхеидзе, они пошептались по-грузински. Милюков тем временем ушёл на место, никому новому слова не давали. Всё замялось.

Князь Львов замер. Можно было ждать полной неумолимости от революционного Исполнительного Комитета — и правительство расплющивалось бы тотчас!

Но нет. Чхеидзе поднялся и устало отвечал с места. По этим данным и фактам Совет согласен пойти навстречу правительству. Исполнительный Комитет считает, что при нынешних обстоятельствах уход Временного правительства недопустим. Да собственно, разногласие и возникло только по внешнеполитическому вопросу. Правительство должно немедленно разъяснить русским гражданам содержание ноты.

И сел. И тут же поднялся и пошёл к кафедре Церетели. Очень мягко говорил. Нота неудовлетворительна не вся полностью, но в отдельных частях. «Война до полной победы» включает в себя и тот смысл, который придавал войне низвергнутый империализм. В разъяснении надо дать такую формулировку, чтоб народ ясно понял, что Временное правительство не придерживается старых шовинистических тенденций. И это разъяснение — должно быть направлено всем союзникам, по тем же адресам.

Да вот, собственно, и произнесен приговор. Весьма милостивый к правительству. И дальше, сколько ни говори, на этом останется. (Ах, как Гиммер презирал, презирал этих соглашателей!)

Тут же Некрасов подошёл мимо кресел к Церетели, нагнулся и тихо предложил: сейчас же им вдвоём и выработать текст этих объяснений. Почему Церетели — понятно, почему Некрасов — непонятно, но все видели, как они вдвоём вышли из зала. (Закулисная подлая сделка! А Сталин, рядом, — хоть бы пошевелинулся.)

А уже шёл первый час ночи, на улицах конечно разошлись, и пощадить бы собравшимся свои немощи, да и тоже — спать?

Однако и министры, и советские смотрят прежде — на кого же? — да на Родзянку. Могучий арбитр, кузнечные лёгкие — сейчас бы ему и свершить и припечатать?

Увы, нет. Даже и не возвышается из кресел котёл его головы с большими ушами, и спина держится не прямо, а сторбилась, и ожидающих взглядов он не встречает, потупился. Да не может быть, чтоб ему нечего было сказать! — да никогда же не закладывало его голос. А вот заложило. Обидой? Сокрушением?

Но — кому-то же из Думского Комитета слово надо дать, зачем же их приглашали? А рядом с Родзянкой так и вьётся струнно, так и выворачивается из кресла и делает знаки князю Львову — молодой, а уже с лысинкой, остроусый Шульгин. Получил слово. И как легко вскочил, и как пошёл не по-полуночному, но в стиле лучших своих восхождений. А ведь выходит Шульгин к кафедре — всегда же с оттенком хоть лёгкого скандала, прорезать общую тягучесть, да резким диссонансом:

— Полный отказ всех союзников от аннексий и контрибуций — это и есть лозунг, самый приемлемый для Германии: тогда ей не надо ничем платить за причинённые разорения, её отпустят из капкана, в который она безумно полезла, она сохранится при довоенной силе, и Австрия, и Турция — в её руках. Это и есть мечта Вильгельма. Пройдёт немного лет, может быть двадцать пять, а то и меньше, — и Германия снова начнёт войну, пойдёт и на Россию. Нет, господа, мы обязаны думать и о будущем, а не только о сегодняшнем моменте.

Но — кому он это говорил? Какая невразумительность: одна Германия у него виновата, одну Германию сокрушить, да печалиться, что она в каком-нибудь 1942 году снова нападёт на Россию? Старый ход мысли, избитый и враждебный демократии.

И — подлинным антиподом к нему выступил жизнелюбец Чернов, с такой победительной уверенностью и раздаривая снисходительные улыбки. Именно всё, что нужно, он и ответил сразу — и о международном братстве трудящихся, и о спайке интернационализма, и о своих собственных западных впечатлениях, более свежих, чем у того же Милюкова, — он не ограничивал себя временем, он любил поговорить, да ещё так поздно приехал в Россию, без него уже сколько наговорено, теперь навёрстывал. И вежливый председатель тем более не ограничивал его. Но с какого-то момента перешёл Чернов и к обвиняемому Милюкову: что надо идти по пути коренной реорганизации дипломатии и её зарубеж-

ного представительства, реакционность которого так гнусно проявилась в задержке революционных реэмигрантов. А нота? Если действительно решили отказаться от аннексий и контрибуций — надо это прямо и категорически сказать. Зачем выражаться так робко? — учил он Милюкова державной гордостью. Россия должна говорить таким же властным голосом, как Америка, а не как бедный родственник. Павел Николаевич? — очень почтенный человек и первоклассный государственный деятель, его участие во Временном правительстве конечно необходимо — но он бы отменно развернул свои таланты на любом другом посту, например министра народного просвещения?

Милюков чуть не охнул вслух, так это было коварно подготовлено, и как бревном саданули в бок.

Теперь ещё же реэмигрант Зурабов — в этих днях поносивший Милюкова в прессе за лицемерие, — вот выходит, а как ударит сейчас он? Милюков даже прижмурился за очками.

Но странно: Зурабов обошёлся без личных выпадов. А — что не смели тут другие социалисты: что если союзники не согласны отказаться вместе с нами от аннексий и контрибуций, — то и мы за их интересы воевать не будем.

Всё-таки и он не посмел назвать откровенно — и всё же так ясно повисло под люстрой Государственного Совета: с е п а р а т н ы й м и р !

И не следующий же будет возражать, ибо это большевик Каменев. Но он излагает лишь теоретические выкладки, почему всякое буржуазное правительство будет вести империалистическую политику. А для демократической политики — необходимо, чтобы власть была в руках соответствующего класса.

Да вы ж и мутите! С советской стороны ему крикнули:

— Так берите власть!

Но Каменев ответил, что большевики в данный момент не стремятся к свержению Временного правительства. И сепаратного мира — тоже не предложил.

Наконец добивается до кафедры ещё один думский красноречивец — Аджемов. И тоже не щадит ночного времени, своего и чужого.

— Самая слабая сторона старого режима была — подозрение его в сепаратном мире. И мы все кричали, что это измена. Так неужели теперь, когда народ восторжествовал, мы (вы!) поставим себя в такое же положение, как царские прислужники? Резким ша-

гом мы поставим союзников под удар улицы, как сейчас очутилось Временное правительство! (Напугал!) Вы говорите, не вызывали этих войск, — но они пришли поддерживать в а с! Вы ставите правительство в условия... покинутой сироты... (Ах, напугал!)

Да не начинает ли за окнами уже бледнеть? Петербургское весеннее небо...

А теперь, последний, — исклоковавшийся Гиммер. Да не очень ему нужно и выступать тут — но и нельзя же упустить случай. Всё это заседание было комедией: оппортунистическое большинство ИК заранее было согласно на гнусный компромисс — и вот, на глазах, они всё предали. Правда, и по теории самого Гиммера Временное правительство пока не следует свергать. Но непримиримое сердце его стучало, он даже досадовал на большевиков, что они тут говорили недостаточно резко, — уж им-то! А что мог Гиммер? Ну разве вот так: из всех докладов министров следует, что во всём разруха, — и как же тогда вы можете мечтать о войне до полной победы?

— И хотя от Исполнительного Комитета вы слышите другие мнения, но я выражаю мнение огромной части народных масс! Народ сказал ясно, он не хочет больше терпеть политику Милюкова, и он не доверяет такому правительству...

Он, кажется, противоречил собственной теории? Его, кажется, всё больше прибавало к ленинскому берегу? Но никто уже ничего этого не замечал, потому что разморились все бесконечно.

Заседание кончилось в половине четвёртого утра. А около трёх часов их тут всех потрянуло — пришли, взволнованные, шептать один, другой, — и все услышали: прибыла военная делегация от царскосельского гарнизона, от четырех его стрелковых полков(!) и ещё разных других частей. Оказывается, весь царскосельский гарнизон с утра на ногах и наконец хочет знать, и требует объяснений!

Страшновато. Когда они начинали это заседание, и длили его — за спинами их на площади густилась толпа, сочувственная правительству, а советским неопасная. Но она — растаяла, и вот в неохранное предутреннее время — Народ стучался прикладом в их дверь. Эти — всякое могут выкинуть. Послали к их делегации кого же? — самых неутомимых и здоровых, Скобелева и Терещенко. И там они объяснили: в ноте ничего страшного не оказалось, только некоторые выражения, вызывающие сомнения, но так принято на языке дипломатических сношений. Однако правитель-

ство — не стремится к аннексиям и контрибуциям. Нет серьёзных причин тревожиться, никакой катастрофы для революции. Рвать с правительством — нет никаких оснований.

Делегация потопталась — и доверчиво удалилась к своему грузовику.

А корреспонденты — о, они никуда не уходили ни один, да газеты ещё не верстались без их сведений, теперь они должны были каждого на выходе поймать и расспросить: и что он думает, и что он сам говорил на заседании, и что говорили другие? — корреспонденты тут же кинулись разрывать Скобелева и Терещенко.

И Терещенко (кое-что зная и предполагая лично для себя, чего не знал и Милюков и от чего испытывал личную заинтересованность в прочной судьбе этой ноты) ответил им уже победно:

— В принятии ноты солидарно всё Временное правительство. Всякое предательство относительно союзников было бы гибелью России.

И ещё подкинули ночную пищу журналистам, продиктовали им заявление Исполнительного Комитета: Совет рабочих и солдатских депутатов не организовывал сегодняшнего выступления войсковых частей против Временного правительства. Это — недоумение, созданное некоторыми несоответственными личностями.

— А какими?..

— Выясняется.

66

К прошлому утру, 20-го, Ленин составил взвешенно-сдержанную резолюцию от имени ЦК партии — и дальше ждал развёртывания событий.

Все социалистические газеты вышли с ударом по ноте Милюкова. Но в Исполкоме недоумки социал-демократии и весь день ни на что не могли решиться. Так!

Заводы поднять с утра не удалось, и до середины дня не бросили работы тоже.

Но совершенно удивительно: стали подниматься полки! Гигантской важности дело! Такой политической восприимчивости от солдатских мелкобуржуазных масс — нет, невозможно было

ожидать! Ленин испытал сильнейшее впечатление! Какой же успех! — гарнизон уже за нас!

Там, на Мариинскую площадь, выходил полк за полком, а здесь, в особняке Кшесинской, Ленин метался в революционном нетерпении. Впервые в жизни дохнуло на него — народное восстание! опережающее! не нами организованное! — и вот уже бурлящее на улицах российской столицы! — уже и начало гражданской войны!? И что решить?? какой лозунг бросить?? Перед всеми вождями всех революций, от Спартака до Коммуны, отвечал Ленин сейчас за то, чтоб не ошибиться и не проиграть.

И трезвость (а может быть, она — всего лишь мещанская премудрость?) говорила: у нас ещё нет организованных сил, Красная гвардия не готова, рабочий класс не вооружён достаточно... А взрывающее нетерпеливое революционное чутьё (абсолютное чутьё!) — рвалось в облака: восставать! Вот тут-то и ударить! В революции удаются именно внезапные удары! Может быть, в эти часы — можно свалить правительство??

И не хватает агитаторов! Послал Сафарова выступать в центре города — его перед Публичной библиотекой задержали, повели в милицию.

Да если б вот, например, сейчас уговорить броневой дивизион тоже выехать на Мариинскую площадь — да и арестовать Временное правительство, да вот и всё! А дальше — внушить нашу пролетарскую волю Совету!

Но броневой дивизион выезжать не хотел без указаний Исполкома.

А между тем — день проходил.

И поднялось — всего лишь четыре полка из двадцати.

А помойные соглашатели из Исполкома уже объявили, что собираются на вечер в Мариинский дворец сговариваться со своими капиталистическими коллегами. Слютяи! Блевотина!

И на этом же архипошлом фразёрстве протянули вечернее заседание Совета, так и не дав ему принять революционного решения.

Не один Ленин кипел — и все ведущие большевики. Мчались со всех сторон столицы, тут устраивали летучие конференции. И кричали:

— Добиваться, чтобы Совет вырвал власть у Временного правительства!

— Замена всего правительства!

Богдатыев примчался из ПК, заседающего непрерывно:

— На заводах идут митинги! Наша практическая директива — «долой Временное правительство!» Сами рабочие так организуются!

Слущкий заминался: уже ли наступило такое время, чтобы свергать правительство?

Аксельрод с невозмутимой челюстью: полный переход власти к Совету.

Сталь, при общем смехе, взывала к товарищам не быть левей самого Ленина.

Ленин рассказывал, посмеивался.

Иногда надо давать стихии катиться самой.

Глаза Коллонтай сияли как звёзды:

— Владимир Ильич, восстаём!!

Она теперь занимается профсоюзной работой у прачек, готовит их на грандиозную забастовку. Ленин ещё отшучивался:

— Александра Михайловна, во всяком случае мы и в социалистическое правительство не войдём. Мы будем критиковать их извне.

Но именно под её влиянием особенно заволновался, и голос его стал хрипл. В конце концов, даже если не удастся (скорей всего не удастся) — но проба сил! но разведка сил противника! В таких попытках массы закаляются! (А разгромят — придётся бежать отсюда?..)

А между тем — уже ночь на носу, и все спрашивают: какие инструкции агитаторам на места? Занимать ли фабрики и заводы? Выходить на улицу вооружёнными?

Да! Все — по заводам и полкам! Учитесь убеждать! Учитесь агитировать! Находите сокрушительные аргументы! Поднимайте как можно больше воинских частей! Завтра всем рабочим отрядам — выходить на улицу с оружием! Объясните: оружие берём — для самообороны, и в случае чего — стрелять! На транспарантах писать не «долой Милюкова», это не имеет ни малейшего смысла, самообман, а — «долой Временное правительство!». Всё правительство — капиталистов, дело в классе, а не в лицах.

Побежали! Поехали! Понеслись!

Что задумано — исполняйся немедленно!

А Ленин ещё нервнее рассказывал всю ночь, по второму этажу.

Какая внезапность размаха!

Одно дело — дать лозунг устно или написать на транспарантах: это — стихия, воля масс. Но — каково решение ЦК?

Ясно, что надо готовить на утро новую резолюцию ЦК. Более наступательную. Но и очень аккуратную. Так, чтобы, по ходу событий, наклонить её хоть туда, хоть сюда. Резолюция ЦК — это официальная позиция партии, этим не шутят.

...Мы — вовсе не грозим гражданской войной. Это — масса солдат и рабочих смещает все власти. В такой момент необходимо *подчиниться воле большинства населения*. А если дело дойдёт до насилия — то ответственность падёт на Временное правительство!.. А чтоб узнать мнение большинства населения — немедленно устроить всенародное голосование по всем районам Петрограда — об их отношении к ноте. И — *о желательности того или иного Временного правительства!*

Коммуна!! Устроить такое голосование — поднимется буря — и сметёт Временное правительство! И будет — Коммуна!

...Везде выступать с пропагандой этих взглядов и стараться организовать планомерное голосование по заводам и полкам...

Не голосование, конечно, кто и как его организует, — а новая гениальная форма восстания: восстание — через голосование!

И ещё такая атакующая мысль:

...Правительство Гучкова-Милюкова потому и старается обострить положение, что знает: рабочая революция в Германии уже *начинается!*

Очень-очень может быть, что уже и начинается! И её азарт — разрывал ленинскую грудь!

Массам надо говорить всю правду:

...Слухами о неотвратимой разрухе Временное правительство запугивает народ, чтоб он оставил власть в его руках... Выхода *нет*, кроме перехода власти к революционному пролетариату!

Сказано прямо! — а и не прямо. Сказал — а не выразился.

...Политика теперешних вождей Совета — глубоко ошибочна. Попытки примирения с Временным правительством — это размножение пустых бумажек. Это — противоречит воле большинства революционных солдат!..

Решился:

...на фронте!

и:

...в Питере.

И для окончательной замазки:

...Перевыбирайте своих делегатов в Совет.

А из Петербургского комитета пригнали гонца: составили листовку, к утру 21-го отпечатаем: «Свергаем Временное правительство!»

Ну что ж, это не ЦК. Пробуйте.

Ход революции завтра сам всё покажет.

67

После несчастных смертей «тигра» Гершуни и Михаила Гоца — хотя и не было в партии эсеров поста председателя и не числилось явного формального лидера, но по всем счетам и вычетам (вычитая слишком уже старую да и юмористическую Бабушку и антрепренёра революции Марка Натансона, не вождя), по всем аспектам получалось, что вождь партии — Виктор Чернов, а кто ж иной? Он и сам не мог бы доказать, как это с течением лет получилось, но получилось. Первый теоретик партии, первый философ, первый писатель. Правда, он не перенял прямой эстафеты от гигантов народовольчества, прямо от желябовской группы, но годами общался с промежуточными полугигантами — Семёном Раппопортом, Рубановичем, Егором Лазаревым. Уровень поколений и не может повторяться буквально. (Что-то есть об этом у Маркса.)

Да и не повторял ли он в своей индивидуальной жизни — великой судьбы русского народа? Вырос — на Волге, стержне русского хребта. Был из неприютной семьи «бегун» — а разве наш народ не бегун? Дед его, из крепостных, решил избавить сына от мужицкой доли: отдал в уездное училище, после чего отец стал младшим помощником писаря уездного казначейства, 40 лет протирал стул и дослужился до уездного казначея, получил орден св. Владимира, с ним личное дворянство и отставного статского советника. Зато вне службы отдавал дань широкой натуре — любил принимать, угощать, преуспевал в преферансе, винте, бильярде, собирал хоры, лицедействовал в любительских спектаклях (был очень влюбчив, в увлечениях склонен к безумствам и, видимо, передал Виктору, как и свою счастливую внешность), церкви не любил, не знал даже «Отче наш» (не много перенял и Виктор), но твёрдо знал: земля вся должна отойти к крестьянам, помещики только балуются на ней. Говорил: «Я — мужик, мужиком и умру». Так чувствовал себя и Виктор. А рано умершая дворянка-мать в глухомани зачитывалась журналами Писарева, Курочкина, имела и номера герценовского «Колокола». Затем поэзия Некрасова и культ Народа отнесли ложное патристическое увлечение (стихи на взятие Плевны, Берлинский трактат как личное оскорбление, вернуть Царьград славянству). В саратовской гимназии Виктор открывал себе Добролюбова, Бокля,

Михайловского, — а между тем по городу ходили легенды о социалистах и нигилистах, бродящих с кинжалами и бомбами по харчевням и базарным площадям, — подымать народ на восстание. Нашлись и в Саратове интеллигенты, передававшие молодёжи ума (Балмашёв-отец, увы запойца, а сынок, будущий террорист, сиживал у Чернова на коленях). В то время молодёжь рано начинала жить политической жизнью — и 30-летние уже считались стариками.

На юридическом факультете Московского университета довелось Чернову проучиться всего один год — и на этом его формальное образование кончилось: арестовали, 9 месяцев продержали в тюрьме, — затем отпустили в родные места по ходатайству писателя Мордовцева, избравшего Чернова своим племянником. В Тамбове Чернов продолжал развивать народнические идеалы и продолжал много заниматься Марксом, заучивал целыми страницами: знать его лучше марксистов, знать наизусть все боевые цитаты, на которые приходится опираться в спорах. (Был даже опыт у него; обосновать народническую программу подбором цитат только из Маркса-Энгельса-Бebelя.) Он всё больше нащупывал такую мысль, будущую основу эсерства: массовое народное движение на тесном союзе крестьянства с городским пролетариатом (пролетариат — как авангард, крестьянство — основные силы), и комбинировать с народовольческим террором, чтоб он был как бы запевкой солистов, — и так массовое движение перелёзет в народное восстание. С либералами сперва «идти врозь, бить вместе» самодержавие, а после победы над самодержавием повернуть фронт против либералов.

А тут — подпал под «коронационный» манифест, стал свободен от надзора. (По удачливому стечению — никогда в жизни больше не попал ни в тюрьму, ни в ссылку, ни под надзор.) И так неудержимо вдруг потянуло за границу! — погрузиться целиком в происходящую там борьбу идей и теорий! впитать в себя последние слова мировой социалистической мысли! — сколько было притягательного, многообещающего. И вот с чем можно было совместить: там, за границей, создавать и печатать литературу для революционной пропаганды в русской деревне! Сказано — сделано. Исхлопотал заграничный паспорт, заделали ему в каблук примерный устав будущего революционного крестьянского братства — и в 1899 через Петербург он поехал в Цюрих, взяв с собой видение назревающей аграрной революции. Познакомился в Женеве с Плехановым — но жестокая словесная схватка, не сошлись. А на следующий год был и в Париже и знакомился с доживающими старыми народовольцами, перенимал их живую традицию. Потом снова Женеве. Михаил Гоц стал лучшим и ближайшим товарищем, даже сказать «брат» — бледно для такой духовной близости. Так, между Женевой и Парижем, потекли года. (Партийных денежных средств всегда хватало, зарабатывать на жизнь не было нужды до войны 1914 года.) Безчисленные бури на собраниях русских колоний. Начал печататься и в России, в «Русском богатстве», на философские темы, хотя ещё и сам испытывал необходимость философски вооружиться. Но главная задача была — заграничная заго-

товка литературы для деревни, для этого создали Аграрно-Социалистическую Лигу. Средства для печатания нашлись, однако: какую именно литературу надо писать? сколько её изготовить? как переправить в Россию? и кто её будет там распространять и объяснять? Собственных отделов и агентов в России Лиге создать так и не пришлось.

Да в 1902 стал задумываться Чернов, не вернуться ли ему в Россию для живого дела? Но Гершуни раскритиковал: «От вас ждут выяснения партийных перспектив, партийной программы, стратегии, тактики. Ведь вы — ученик Михайловского». И он — остался в Европе, заполнять бреши теории, в том числе — и теории террора. (Писать о терроре, не совершая его сам, — тяжёлая, неловкая обязанность для эмигранта.) Да Чернов и был по призванию — писатель, перо его никогда не уставало, и много было написано такого, что никогда и не печаталось. Он был и знаток поэзии, и сам немного поэт (ценители очень хвалили его переводы из Верхарна), да и сатирик (заполнял раешник своей «Революционной России», главного эсеровского органа). Но более всего интересовала его, конечно, европеизация народничества (несколько, увы, провинциального), ввести в него западную социалистическую традицию. Найти теоретические обоснования для союза рабочих и крестьян. Писать инструкции по работе в деревне. А уж «устав крестьянского братства» он теперь усовершенствовал, копируя с сельскохозяйственных рабочих Сицилии.

Тем более что Боевая Организация действовала сама собой, без ЦК. Это было время расцвета эсеровской партии, ряд громовых актов, завершённый двумя блестящими, новой динамитной техники, — разрывы фон Плеве и Сергея Александровича, и авторитет партии стоял небывало высоко и в России, и в Интернационале (получили в нём место). Осенью 1904 Чернов представлял партию на парижской конференции всех левых и левейших партий (только приезд социал-демократов сорвал Ленин), где Чернов увидел и старого знакомого Милокова. (Двадцать лет назад к этому ещё молодому приват-доценту приходил Чернов-студент, ещё не веря в силу собственного пера, просить переработать брошюру Тан-Богораза, для народа. Милоков же когда-то и председательствовал на споре народников и марксистов и казался вполне своим, — как причудливо трансформируются знакомые фигуры на фоне десятилетий!) А в 1905, на Манифесте 17 октября (ловушка? заманивают революционеров, чтобы потом арестовать?), стало ясно, что в эмиграции не усидишь. И хотя братья Гоцы отговаривали, что члены ЦК не имеют права рисковать собою, — Чернов счёл нужным ехать. Неужели революция?!?

Но петербургскую ситуацию оценил как крайне непрочную: правительство сильнее, чем оно думает, а просто растерялось. Если мы возьмёмся его «добивать», то оно перейдёт к мужеству отчаяния и нам придёт плохо. Нет, нужна огромная осторожность в нападении. В Москве пытался предотвратить стачку-восстание, но тщетно. (Эсеры уже упрекали, что они стали осторожнее социал-демократов, поменялись места-

ми.) Увы-увы, ложны оказались иллюзии некоторых эсеров, что проснувшаяся мужицкая душа захвачена революционным движением и вот крестьянство целыми сёлами сразу повалит в Крестьянский Союз, — эсеровские лозунги не затронули наболевших струн крестьянского сердца. И войска — не переходили к восстанию. Старозаветные основы государства российского — не рухнули. И весь состав ЦК эсеров, так и не легализовавшись, уехал за границу.

А дальше — пошло ещё хуже. После всех блистательных успехов террора История повернулась к партии эсеров злою мачехой: откол максималистов, потом ужасающий урок Азефа, организационно-практический крах. Даже ведущими эсерами овладело ощущение моральной катастрофы, вакханалия смятения: хоть всем разбежаться и всё забыть. И даже оказалось, что у вождей — и смены нет.

Эти ужасные годы после 1908 и до 1914 как-то не хочется и вспоминать. Всегда гордились активизмом своей партии — а вот: самой партии — не стало, одни вожди за границей.

С началом войны Чернов, разумеется, отверг патриотизм, остался на позициях интернационалистических — и был из немногих делегатов Циммервальда.

А напрасно падали духом. Прав был Гершуни, когда писал ещё из Шлиссельбурга: России суждено в XX веке быть тем, чем была Франция с конца XVIII, — и при этом минует нас пошлый период мещанского довольства, охвативший мертвящей петлёй европейские страны. И, напротив, как жестоко ошибся Тихомиров, что революция наша будет якобинско-бланкистской, в подпольных рамках заранее сложится предгосударство, своего рода мафия, и цель её будет один захват власти. Повторилась ожидаемая! — и в самых светлых, безкровных формах. И снова вот, второй раз, и снова через Финляндию, возвратился Чернов направлять революцию и восстанавливать расстроенные, ох расстроенные, эсеровские ряды. Естественно это делать через газету, «Дело народа», нужна неустанная теоретическая разработка. Но когорта пишущих как раз сохранилась. А — отстаивать местные организации? проникать в деревню, вотчину эсеров? не отдать социал-демократам и пролетариата? не отдать и армии? — дух захватывает от проблем. А руководства — снова нет, не устояли старые ряды перед временем, ну вот младший Гоц. (Комично распоряжается.) Авксентьев — и в развитии остановился, и сильно сбился на патриотизм. Капризный высокомерный Савинков — и откололся давно, и никогда не был наш. Натансон — застрял в Швейцарии, да он уже слишком и стар. А Бабушка — уж за всеми пределами революционного возраста, и забалтывается сильно. (Отправить бы её опять в Америку, она там хорошо деньги собирает.) Вместо этого приезжаешь и находишь тут тонкую хлестаковскую штучку — Керенского, выдающего себя за старого эсера: оказывается, сердцем он всегда был в наших рядах, только мы его никогда не знали и не видели. Но держит себя так самоуверенно, а ряды эсеров так обновляются сейчас, что новички и впрямь принимают его за ветерана, и он становится

партийно даже опасной фигурой, соглашатель-оборонец, а примаζεται к партии, а дезавуировать его тоже не к пользе партии, колоссален успех его речей. Появление таких фигур — наша плата за слишком удачную, слишком счастливую революцию.

Но какова же ирония истории: самая боевая русская партия, гремевшая *актами* и жертвами, перестоявшая сама 16 лет, да присчитайте сюда ещё 20 лет народовольческой традиции, — в момент, когда разверзся народный океан, вдруг оказывается почти без руководства и наполняется чужими рядами. И одиноко чувствуешь на своих плечах не только судьбу всей партии, но и судьбу всего русского крестьянства.

Заняли на Галерной дом великого князя, свой автомобиль с шофёром. Естественно, Чернов сразу стал заместителем председателя Петроградского Совета и приглашён в Исполнительный Комитет, солнечное сплетение сегодняшней революции. Но после наших славнейших величественных революционных десятилетий — как разочаровывает, что этой величественности не видишь вокруг себя. Исполнительный Комитет! — как это звучит! — тот невидимый народовольческий, перед которым дрожали цари и сановники! А входишь в него и чувствуешь тут себя как спешенный орёл: небоевая серенькая скотинка да полдюжины чудаков, мелкий уровень, мелкие заботы их волнуют, вроде ленинского экстремизма, нашли опасность!

Первое, что сделал, разъяснил в большой статье, с точки зрения истории нашей революции: обыватель — всегда ждёт пришествия антихриста, и вот ныне явился Ленин. Не в силах говорить на уровне идей — говорят о лицах. Поспорили у дворца Кшесинской несколько запальчивых собеседников — в горячечном воображении обывателя уже встаёт фантом гражданской войны. Ленин только может благодарить врагов за эту бесплатную рекламу, его может только радовать ненависть буржуазии, но мы, его идейные противники из социалистического лагеря, не должны раздражаться, чтобы не попасть в одну кучу с буржуазией. А Ленин — просто жертва тех ненормальных политических условий, когда проклятое самодержавие всех загоняло в подполье, и неизвестно было, кто же ведёт за собой большинство партии, каждый претендовал. И множились маленькие муравейники со своими лидерами, и создавались властные характеры с раздутыми претензиями. Ленин — крупная фигура по своим задаткам, но безпощадно из-

мельчѣнная обстоятельствами своего времени. И у него есть импонирующая цельность, он весь как из единого куска гранита, но круглый как бильярдный шар, зацепить его не за что, и он катится с неудержимостью, сам не знает куда. Его ум — однолинейный: не знаю, куда я иду, но я иду решительно. Преданность революционному делу пропитывает всё его существо, человек условно чистый, но он не понимает истинных интересов социализма. От одностороннего волевого устремления у него несколько приглушена моральная чуткость. Он, конечно, просто не подумал, что выхлопотать у Вильгельма право на проезд — недалеко уходит от позора подачи прошения на высочайшее имя. Да и чрезмерным тактом он никогда не отличался, всегда у него виноваты противники, и бей их. У него огромный запас энергии, но доселе он был осуждѣн на измѣльчание в микроскопической кружковой склоке, отсюда его оскорбляющий жаргон, скрипит как железом по стеклу, фехтует тяжеловесной оглоблей, и она своей инерцией господствует над его движениями. Он поддерживает правду, как верѣвка держит повешенного. Но мне смешны страхи, что Ленин разломает новую русскую жизнь, мне смешно, когда Ленин гипнотизирует внимание целых газет. В Ленине просто говорит опьянение воздухом революции и головокружение от высоты, на которую его вознесли события. Не надо пугаться чрезмерностей Ленина — их локализуем мы, социалисты, и тем скорей, чем меньше нам будет мешать гвалт перепуганных заячьих душ. Так не надо разжигать страстей против большевиков, они наши товарищи по подполью. А проще всего было бы — привлечь их в единое социалистическое правительство, от трудовиков до большевиков.

Сейчас, может быть, главная задача: как по всей необъятной России быстро отстроить единообразные Советы крестьянских депутатов — и уверенно опереться на эту третью демократическую силу. Чернов фактически становится теперь вождѣм русского трудового крестьянства.

А в ИК СРСД он нашѣл слишком мало циммервальдского духа — и начал уже давить на группу президиума. Однако сомневался теперь Чернов в своей прежней формуле, что сразу после победы над самодержавием надо открывать фронт против либералов. По приезде из-за границы Чернов в Контактной комиссии был главный инициатор, чтобы Милуков посылал ноту, поддержал бы циммервальдский энтузиазм в Европе. Но сейчас, когда нота была

изгажена Милюковым, — ещё следовало очень подумать, сваливать ли всё целиком Временное правительство.

А Милюкова — конечно убрать, переместить.

Бывший робкий студент смещал своего бывшего уверенного доцента.

ХОРОША У КУРИЦЫ ХОДА, ДА ПЕРЕЛОМЛЕНА НОГА

68

Генерал Алексеев привык подниматься рано поутру. А на чужом месте не спится — так ещё раньше.

В Петербурге же всегда долго спали. А минувшую ночь всю насквозь его хозяин Гучков просидел на заседании, так теперь тем более спал. А с Гучковым-то и надо было больше всего говорить.

Весь вчерашний день проклубился несчастливым сумбуром. И доклад правительству скомкался. Как неудачно приехал. А сегодня, 21 апреля, в пять вечера надо уезжать. Но тут и сегодня никому не до Верховного. Живут своими склоками.

Возвращаться в забытую армию — ничего не решив? И опять — всё решать по телеграфным аппаратам?

Тихо встал Алексеев в отведенной ему небольшой комнатке, помолился на восток. Пошёл в аппаратную к прямому проводу, вызвал Деникина, узнал новости, распорядился.

И всё равно рано. А Гучков ещё и болен, он долго может спать.

Один неполный день оставался Алексееву, но и в него встречал Братиану, румынский премьер. Нанесло же его в Петроград на эти самые дни. Вообще, русскому Верховному Главнокомандующему с

румынским премьером вполне можно было не видаться: есть для того генералы в Яссах, а тут есть Временное правительство. Но вот съехались в один день в Петрограде — и никак нельзя обминуть визита вежливости. Дустрый союзник, несчастье наше и гибель, но неизбежно оказать почтение. И заранее известно, о чём будет разговор. Что Румыния — присоединилась к державам Соглашения (повлиявши два года перед тем), о, совсем же не из корыстных интересов, а для осуществления общечеловеческих идеалов, которым румынский король особенно предан. Но и должны же быть освобождены три с половиной миллиона трансильванских румын, и вообще упразднена дряхлая монархия Австро-Венгрия, анахронизм, её разложением заражена вся Европа. И радость Румынии по поводу государственного переворота в России, сильно способствующего русско-румынскому сближению (спасибо), — но опасаются румынские власти захлёста анархического движения от Румынского фронта, даже вот на днях беспорядки в самих Яссах, самовольно освободили из тюрем революционеров. Так нельзя ли как-нибудь прикрутить Румынский фронт — и одновременно усилить боевую поддержку румынской армии?

Кисло было заранее от этого пустого разговора, ничего он не мог ни изменить, ни поправить. При Государе Алексеев делал всё, что мог, чтобы только Румыния, не дай Бог, не стала нашим союзником. А всё равно стала.

Однако и к Братиану в эти пустые часы ехать рано, тоже поживает. И, томясь, придумал Алексеев: поехать сейчас к Корнилову в штаб Округа. А там уже будет и время — переехать через площадь в Зимний дворец, к Братиану. Предупредил Корнилова по телефону — и к нему.

Никак не удачно было назначение Корнилова на Петроградский округ в такие политические месяцы, всё Родзянко выдумал. Тут нужен был генерал-политик и дипломат, с государственной высотой, а Корнилову это недоступный этаж, он дивизионный генерал и рубака. И даже, кажется, не представляет, какая сложная эта проклятая политика.

Но что хорошо в нём — невозмутим. (Не любил Алексеев нервных генералов.) Или по лицу не прочтёшь, смуглому, азиатскому.

Корнилов считал, что вчера он справился неплохо. Да пожалуй, так и есть. По теперешней обстановке как он мог действовать иначе? Именно он и уговорил полки разойтись по казармам.

Работа для генерала — проводить митинги с подчинёнными частями...

Оказывается, этой ночью, когда Алексеев уже спал, Корнилов ездил туда, во дворец, на совещание.

Для чего?

Вызывал Гучков. Корнилов ехал — думал получить какие-то решительные распоряжения — и действовать. А не получил никаких, или отменились они за полчаса? Зато вместо попался в вестибюле корреспондентам, и пришлось отвечать.

И что ж говорил им?

Что ж остаётся. Сегодняшнее появление воинских частей у Мариинского дворца считаю следствием недоразумения, созданного какими-то безответственными агитаторами. Однако граждане-солдаты в подавляющем большинстве проявили полное понимание интересов государства: оставались спокойно в казармах.

А на площади, в полночь, 25 тысяч народа — режут, приветствуют Командующего округом. И при такой поддержке — ничего не предпринять? Странное правительство.

Да...

Если правительство в таком виде — на что ж надеяться?

Ко всему, о чём вчера докладывал Корнилов Верховному, — ещё ж так называемая «рабочая гвардия». От самых дней революции наворовали оружия со складов, а после того умудрились перебрать оружие из городской милиции. Какой-то Боцвадзе, студент Военно-медицинской Академии, а теперь комиссар Выборгской стороны, один забрал у них чуть не половину винтовок. Как это происходит, непонятно. Округ призывал сдавать оружие — не сдают. Зачем они вооружаются? Ещё одна армия в городе, неизвестно кому подчинённая.

Отважные секущие глаза, отважный лоб. А не дано ему сразиться.

Всё-таки склонялся Корнилов к этому, не им рождённому, шальному проекту... Спасение от разложения, когда нельзя вывести петроградский гарнизон на фронт: попытаться стянуть его, тут на месте, армейской организацией? Объявить повышенную опасность Петрограду от возможного немецкого десанта после прохода льда (и правда, немцам сюда лишь повернуться?..) и что против Северного фронта сосредотачиваются большие силы

(Алексеев вчера объявил газетам как раз наоборот). Может быть, дыша на этот сброд опасностью, за строгими занятиями и можно превратить их в солдат? Вот проект приказа... Хотя Гучков — против...

...Для формирования новой могучей армии... приказываю переформировать запасные части Округа в боевые полки и, не теряя минуты, начать самую интенсивную их подготовку к бою. Этим частям оставаться в Петрограде, но быть готовыми встретить и разбить противника на подступах к столице...

Так, что ли?..

Не большая находка. (И надо же, наконец, однозначно сговориться об опасности для Петрограда.) Но — может быть, может быть... А что тут придумаешь?.. А откуда брать вооружение этим боевым полкам? А боевой офицерский состав?

Ладно, Верховный не возражает против издания такого приказа.

Смотрел Алексеев в широкое окно на пустую Дворцовую площадь. Красные флаги — на Зимнем, на Адмиралтействе.

Жизнь Армии — течёт сама, неизвестно куда.

Семь миллионов сидят в окопах — и никому до них.

69

С мачехой у Коли Станюковича — совсем разладилось. За минувшие недели приглашали её прежние эсеровские друзья то в одну компанию — «на Чернова», то в другой дом — «на Савинкова», — она возвращалась переколыханная впечатлениями и восклицала: «Какие вожди! Какие люди!» И это неожиданно обернулось вчера, на ноту Милюкова отзыв её был эсеровский: «Подлец!»

Но уже до ноты ли было? такое ли разыгралось в городе? Вчера после занятий Коля с двумя Сабуровыми и ещё десятком соучеников — ринулись на улицы, отстаивать правое дело, и носили плакат против Ленина, и просто лезли, с кем бы подраться, но не пришлось. Тем обиднее было, поздно вечером возвращаться домой, слышать слова мачехи. Что ж она, обезумела? валить правительство, едва ставшее? А вот — «как скажет Чернов!» А что будет с фронтом?! Уже криком отвечал Коля: «Это — нам отольётся! Это — от-

цу в спину удар!» Хотя всегда же зарекался — не напрягать с махей отношений.

А сегодня — никто опять не шёл в гимназию, сговаривались по телефонам. Да с вечера во всех домах телефоны были заняты, не прорваться, трещали и трещали звонки, наговаривали слухи, слухи: правительство уже арестовано! — нет, арестован Ленин! — да, пришли войска из Царского Села давить мятеж петроградских! Все плохо спали — а с утра опять схватились за трубки.

Но Коля с друзьями рвались — действовать! бороться!

Какое яркое утро, переливает розовое солнце на шпилях. Всегда на уроках его просиживаем — а тут красота, свобода! и сил сколько!

Ох, будут сегодня дела! Задор: чья возьмёт? Надо, чтоб наша!

На перекрестках Невского возбуждённые группки жителей, вполне приличного вида. На тумбах и на стенах — небывалая вещь — расклеено воззвание кадетского ЦК:

«...Вильгельм занимает наши земли — а нас зовут скорее с ним мириться и пожертвовать нашей дружбой с передовыми демократиями мира? Неужели свободная Россия может изменить благородным народам Запада? Всех, кому дорога Россия, ЦК призывает к твёрдой решительной поддержке Временного... Граждане! Не идите за теми, кто требует отставки... — такие требования ведут к гибели нового строя, притаившаяся реакция ждёт раздора в среде освободившегося народа, чтобы поднять голову...»

Проворный господин в котелке, сбившемся на затылок:

— Вот! У нас — есть вожди, мы не забыты!

У тумбы вступают голоса:

— И чего ж от правительства требуют: почему оно не давит на союзников? А союзники — нам не подчинены, как мы можем принудить Францию отказаться от Эльзаса? А если она не откажется, так что — объявить ей войну? Или — не дадим ей больше займов? Или — не пошлём ей вооружения?

Смех.

— Если мы такие сильные — то почему ж не диктуем мира Германии?

Курсистка, рук не вынимая из пуховой муфточки (прелесть!):

— Да пусть Временное правительство и объявит, что мы отказываемся от Константинополя. Но — не изменять же союзникам!

— Войне ещё куда до конца, а мы ссоримся, на каких условиях заключать мир!

Воззвания на тумбах, «граждане!» — это поднимает дух, но на вкус Коли и друзей — даже и недостаточно: чего-то ещё сильнее хочется! хочется — кутерьмить!

Перешли к другой тумбе. И тут обсуждают, солидные господа:

— Как это так — «долой Милюкова»? Уйдёт Милюков — уйдёт и всё Временное правительство, это же политическая азбука. И наступит полная анархия!

— Убрать Милюкова легко, но возьмутся ли они убрать Грея, Асквита, Вильсона? — ведь там «приказ № 1» не действует. И их «манифест к народам» там не услышали.

— Да кто его вообще услышал? Ну, в Германии его опубликовали, и что? Совет рабочих депутатов думает, что можно сочинить такое воззвание, перед которым союзники не устоят. Придёт прокламация за подписью «Скобелев» — и американцы не вступят в войну?..

И поспорить не с кем, и не на кого мальчикам кидаться.

— Да из-за чего вся буря? что нового в ноте? Что мы и дальше будем выполнять союзные обязательства? — так какие тут могут быть расхождения? Обещали не заключать сепаратного мира — так и не должны! Договоры связывают не режим, а само государство.

Высокая сухая дама:

— Но одним днём таких споров — Россия уже обезчещена! Нельзя же обсуждать такие вопросы перед лицом немцев!

— Господа! Если конфликт между правительством и Советом — это ужасно! Это — невозможно сейчас для России! Согласие между ними — это теперь основа нашей государственной жизни.

— Да кто смеет трогать нынешнее правительство? Оно поставлено — самой революцией! По всенародному указанию!

— Это, наверно, всё Ленин устроил!

— Да что ж его не осадят?

— На самом деле непонятно: что же именно вчера произошло?

Непонятно и мальчикам, хотя допоздна вчера толкались на улицах и вроде всё видели. Что же именно, правда, происходит? Как это начинается, кем это поджигается?

Нет, главное: что делать нам самим? вот сегодня! И как угадать, где будут главные события? куда нам идти?

От получаса к получасу встревоженные группки на Невском стягиваются покрупней, человек по 30-50, маленькие митинги. Кто говорит, того и окружают.

— Мы свергли царское правительство не из-за хлебных хвостов! А из-за того, что оно не могло выиграть войны. А теперь, когда приближается полная победа, — вдруг всё бросай, и мир?

Офицер с резиновой ногой (кольнуло: вот так и отцу оторвёт?):

— Когда нужно последнее напряжение! Когда судьба родины зависит от ещё нескольких, может быть, недель? — и этот отравленный клич: немедленный мир?

Перешли с друзьями к городской думе. Изломы её внешней лестницы так прямо и зовут к митингу. Близ неё собралось уже и до сотни, а со ступенек — пылкий студент, снявши фуражку, открытое светлое лицо, причёска ото лба назад:

— Идите с правительством! Не то мы как народ — кончены! Мы свободу получили настолько без усилий, и так уже быстро к ней привыкли, что это опьяняет. Вот — подайте нам немедленный мир. Подхватили словечко — «отказ от аннексий». Но эта циммервальдская формула сама себя исключает. Если «мир без аннексий» — тогда никакого «самоопределения наций». По самоопределению, турецкая Армения имеет право отойти к нашей, а Галиция — соединиться со всей Украиной. Но тогда это будет «аннексия» от Турции и Австрии! Так что ж, мы должны оставить хищникам все их захваты? «Без аннексий» — это родилось в германской социал-демократии. Там этот лозунг понятен: чтоб не отдать ни одной пяди немецкой территории. А — как восстановить Польшу за счёт одной русской, без германской и австрийской?

Ему одобрительно кричат, кто-то и аплодирует.

К нему туда — подымается чиновник в ведомственной шинели. Всегда послушно-немые исполнители — и те сегодня стали с голосом:

— Что ж, покинуть «малые народы»? всех, кто вверился нам? Не «без аннексий», а надо кончить войну так, чтобы кровопролитие не повторилось больше никогда! Чтобы Германия никогда больше не полезла на нас!

И опять перенимает тот студент, с воодушевлением:

— Как относиться к войне — нам подаёт пример безкорыстная американская демократия! Если б мы теперь вышли из войны — с каким презрением стал бы на нас смотреть свободный американский народ!

Пошли друзья, пошли дальше! Где-то что-то сегодня... — и мы пригодимся!

Терпеть не мог Терещенко смотреть бездейтельно, со стороны, на дело, которое плохо вяжется.

Невинный акт с нотой союзникам — опасно разрастается в государственный конфликт. Правительство и Совет так до конца и не поняли друг друга за всю ночь. Но когда два учреждения не могут стовориться — всё может решить частная встреча реальных деятелей.

И хотя лёг только в 4 часа утра, уже при утреннем свете, Терещенко вскочил в 9, по-молодому свежий, и сразу же понял, что надо спешить встретиться с Церетели. Керенского не было (по дружбе Терещенко знал, что притворно), да ещё не разрешила бы ему гордость переговариваться с Церетели, а Терещенко легко мог продолжить ночную попытку Некрасова, довести документ до конца, текст был тут.

И поспешил позвонить ему, пока тот не окунётся в месиво своего ИК. Застал. Сговорились, что Терещенко тотчас приедет. Министерский автомобиль уже ждал у подъезда.

А жил Церетели сейчас — в холостой квартире Скобелева, довольно богатого наследника (но не в сравнение с Терещенкой, и не по сахару, а по муке, отец его был купцом-мукомолом в Баку), изрядно платившего на революцию, а сейчас в карикатурной степени и поклонника театра. Значит, и он будет рот разевать рядом с их разговором.

Среди комичного и ничтожного сброда Исполнительного Комитета (и нельзя им показать, чего они стоят) возвышалось всё же несколько серьёзных фигур — и вот постоянно внимательный и доброжелательный Церетели, такая же внезапная звезда в Совете, как Терещенко в правительстве. Два месяца назад и в голову бы никому не пришло, что для решения судеб России нужно встретиться им двоим. А вот.

Черноглазый Церетели с длинным худым лицом смотрел сейчас, кажется, с недоверием (после вчерашней терещенковской защиты ноты). Но вот Терещенко уверял, что вся история — чистое недоразумение, ничего плохого не имелось в виду. Церетели кивал. Он тоже очень хотел уладить.

Это нужно было для спасения России, но и, в частности, особенно нужно для самого Терещенки. Во-первых, как для министра

финансов: из-за этой паршивой историйки зависала вся судьба Займа Свободы, а без займа грозили быстро рухнуть все российские финансы. И во-вторых, это пока секрет-секрет, как для лица более чем заинтересованного в ближайших путях российской внешней политики.

Весь выход был в том, чтобы отредактировать нужное «Разъяснение» от имени правительства. Это было бы несложно, если бы Терещенко не опасался, что Милюков упрётся и испортит всю игру.

Больше всего пришлось советским против шерсти «решительная победа»? — так замазать длинной цитатой из декларации 27 марта. Потом надо было что-то измыслить о «санкциях и гарантиях». Придумано было, отчасти ночью с Некрасовым, потом и с Милюковым, что это — совсем не вредные мероприятия, а: международный трибунал, ограничение вооружений. Ещё бы что-нибудь? Ну: «и пр.».

Но что неприличнее всего: это «Разъяснение» теперь рассылать послам союзных держав как дипломатический документ? Это — крайне нетактично, невыносимо!

Дружественно расстались на том, что Терещенко как можно скорее проведёт бумагу через заседание кабинета — и тотчас же пошлют в ИК. А Церетели со Скобелевым поехали на ИК, у них начинало кипеть заведомо раньше правительства.

Но не так просто достанется Терещенке. Милюкова оскорбит прежде всего, что составление согласительного документа прошло без него — и уже поэтому он будет придирается к каждому слову. Он ревнует, что поле внешней политики не отдано ему целиком на откуп. И ревнует, не без оснований, к Терещенке, что его английский да и французский лучше. И потом, как упорный торговец, Милюков больше всего боится продешевить, уступить хоть копейку раньше или на копейку больше, чем это абсолютно неизбежно. На самом деле, у него нет художественного чутья, чувства целого, чувства манёвра, вот капризно не желает считаться, что вырос какой-то Совет. Вся политику он понимает так: упереться и не пускать. А по сути нота его была совершенно верна, и даже, при гибкости, её можно было составить и более преданно к союзникам, но и более требовательно к ним, мы должны с них тоже получить хороший куш, — а вот неумело подана...

Недавно Бьюкенен пригласил сепаратно Керенского и Терещенко, понимая их растущую силу в правительстве, к себе на ланч.

И они легко сошлись в оценке, что от Милюкова ждали не такой высоты, что деятельность его шесть недель разочаровывает — и вряд ли ему удержаться дальше вершителем внешней политики. И всем троим (ещё до скандала с нотой) было понятно, что только Терещенко единственный и сможет заменить Милюкова.

Но сию минуту не так легко было даже собрать правительство: кто ещё спал после этой ужасной ночи (князь Львов только что проснулся); кто, как Шингарёв, уже сидел в министерстве и отказывался ехать на заседание раньше чем в три часа пополудни: ещё не совсем готов его документ о земельных комитетах, подлежащий утверждению сегодня. Князь Львов обещал попытаться собрать — ну, к часу дня.

Нет, с этим рыхлым, дрыхлым правительством можно просто известись! Они не понимают, что значит торопиться.

Тогда Терещенко предложил Львову собрать трёх-четырёх министров, с Милюковым, и решить келейно.

Но с Певческого моста твердо отбил Милюков, что надо отвыкать от закулисных комбинаций, решение правительства возможно только в полном составе.

71

В минувший вторник, назначенный быть Первым мая (промахнулись советские вожди: их европейские учителя, оказываются, и не праздновали), Публичная библиотека, разумеется, работала. Но и из окон, и выходя от времени на Невский, наблюдали это полумиллионное шествие — что-то в нём страшное есть. Страшное — в своей организованности: что в определённый день и час полмиллиона жителей, да даже больше, идут по указанным улицам, в указанном направлении, в предписанных рядах, — ведь это очень неестественно! А пение! — одни и те же песни в сотне разных колонн; а манера! — монотонная, то ли вынужденная, завороженная, — тон какого-то нового язычества.

Один библиотечный остроумец переименовал Козьму Пруткова: — Скажи, если б не было красного цвета — как бы ты отличил друзей народа?

Заведующая выдачей ответила:

— Смешного мало. Вот это и течёт тот самый Ахеронт, который всё грозился поднять Василий Алексеич Маклаков. Мы уже видели в феврале, какой он бывает немирный. Но он тек не против нас, и мы радовались. А если потечёт на нас?

И сбылось просто через день: в четверг он потёк уже на нас. Тех полков на Мариинской площади библиотечные служащие не видели, но к вечеру шествия полились под стенами самой библиотеки — и страшно выглядели: эти резкие, как пощёчины, «Долой Милюкова!», даже «Долой Временное правительство!», особенно когда уже в темноте выдвигались под фонари, и особенно та колонна, где рабочие шли с винтовками. Лица были совсем не сонно-добрые, как на «1-е мая», а откровенно-злые, так зло и оглядывались на публику петербургского центра.

После служебных часов идя домой через Невский, Вера ходила к одной спорящей кучке, к другой (в день революции он просил её: только не задерживаться на Невском...), слушала, и задетая и обрадованная. Задетая обиднейшими подозрениями, которые то ли действительно зрели в головах у этих людей, то ли были им внушены со стороны, а обрадована — сколько и самой простой неинтеллигентной публики, по виду приказчики, торговые сидельцы, мелкие служащие, а главное, простые солдаты, отвечали тем — трезво, ясно, с неиспорченным чувством. «Солдаты — за нас!» — это было вчера вечером открытие не одной Веры, но всего благоприличного Невского проспекта. Какие-то солдаты, выходящие в строю на Мариинскую площадь, были против нас, но вот эти все отдельные, свободные от строя, — все разумно за правительство, за порядок, и, хотя именно им предстояло воевать, они и за разумное окончание войны, не на полдороге и не в развал.

Это было ново — для петербургской улицы и для всякой русской улицы: не созванные кем-то сходки, а стихийные политические споры всех сословий вперемешку, и простонародья. Законанный угрюмый Петербург вдруг превратился в какие-то северные Афины. Внезапно оказалось, что потребность самим обмысливать и обсуждать политику — есть и у русской толпы, да слышались многие меткие замечания, и с сочными народными присказками.

Сама Вера в этих схватках не подала голоса ни разу, но мысленно пыталась отвечать, да, кажется, иногда и понаходчивей, чем те вслух.

Сегодня утром, развернув «Речь», она увидела большое взволнованное воззвание к стране кадетского ЦК, видимо, заседали ночью. ...И как может сегодня Россия требовать от союзников изменения прежних договоров? — это нарушит единение с ними, когда мы более всего нуждаемся в их помощи. Мы так не избавимся от бедствий войны, но только станем одиноко перед величайшими опасностями. Уже ведь видно, что наша революция не вызвала германской, но хищная монархия Гогенцоллернов строит все расчёты на нашем разладе с союзниками. О сепаратном мире мечтал царизм, но не мы с вами?!

И ещё новые, новые повороты аргументов и призывы. Воззвание было передлинено, от этого после прочтения Вера была больше встревожена, чем когда поднялась утром: вожди не были так уверены.

И ещё такая была в сегодняшней «Речи» смутившая Веру статья: ни один сознательно мыслящий гражданин не может стоять одиноко, вне партии; вне партии невозможно совершать политическую работу свободной демократии. Превратим безформенную массу русского общества в стройную организацию политических партий!

Что-то очень опасное произошло — центральная кадетская газета ещё никогда не призывала так. Хотя Вера годами немало сил положила на разнообразную помощь кадетской партии, и вполне сочувствовала её программе, и высоко уважала многих её руководителей, — однако она никогда не испытывала потребности стать и самой членом партии, это была форма сжимающего принуждения. Да в таких категорических фразах, да с расширением на всё русское общество?

На Екатерининской гимназисты раздавали прохожим белые печатные листки, прокламации. Взяла. Крупно:

«Граждане! Россия переживает страшный час!..»

Ну, читать уже в библиотеке. Но вошла — а там, сразу же за входной зеркальной дверью, завешана вся доска объявлений — таким же, только крупным печатным воззванием — уже не от ЦК, а от всей партии Народной Свободы:

Граждане! Россия переживает страшный час! Решается судьба страны, судьба будущих поколений! Народ проявил великую мудрость в доверии Временному правительству. Сплотимся же вокруг него, не дадим разрас-

таться анархии, вслед за которой придёт притаившаяся чёрная сотня... Милюков, появление которого у власти купило доверие к нам наших союзников, объявляется врагом отечества! Но они знают, что уход Милюкова означает уход всего Временного правительства, — куда ж они ведут Россию?

Мы стоим на краю пропасти. Граждане, выходите на улицу! проявляйте свою волю, участвуйте в митингах, выражайте одобрение правительству! Спасайте страну от анархии!

А ощущение: как будто от той беды — лишь хрупкая перегородочка...

По всей библиотеке перебрасывалось волнение. Настроение было: *идти!* Почему, в самом деле, мы всегда безконтрольно отдаём *им* улицу? Почему мы вот здесь, у себя, говорим свободно, а на улице стесняемся? А на улицах всё и решается! Вчера уже ходили другие — а что же мы?

Переговаривались в коридорах, на лестницах, передавая друг другу нарастающее:

— Правда! Надо не отделяться ироническими шуточками, а идти на Невский! И вслух говорить против анархической пропаганды!

— А то мы только поддакиваем тем, кто делает...

— Если имеем убеждения — почему таимся? А если наши убеждения ничтожны — не надо сетовать на развал.

Нашлись добровольцы — снаружи к зданию приставили лестницу — и с садового фасада сняли кем-то накануне вечером подвешенную красную полосу, криво отрезанную и с кривобуквенной надписью: «Да здравствует международная пролетарская солидарность!» Кто-то писал на ватмане: «Доверие Милюкову», «Доверие Временному правительству». В подвале служащие сколачивали под них щиты.

Кто-то внёс снаружи в вестибюль свёрнутое зелёное знамя — кадетское знамя. До сих пор такие красовались только на съезде да в районных комитетах. А теперь вот — на улице?

Показать им, что в столице — не одни горлопаны-ленинцы. А получают отпор — их как бы и не было.

— Только заикнись против них — сейчас же кричат: «Буржуй! убрать его!»

— «Буржуй» — это стало теперь вместо «фараона».

— «Буржуй» — это становится как чёрная кость.

Мирнейшие библиотекари, интеллигентные посетители... «Уличное воздействие» — нам казался шаг, не допустимый для воспитанного человека? Но — пришла пора!

И Вера — была из решительных идти.

Тем временем прочли в «Известиях» заявление Совета, что это не он устраивал вчера выступления против членов правительства: «это — недоразумение, которое было создано некоторыми несоответственными личностями». Ах вот как! А между тем эти личности играют чужими головами.

Кем же тогда? большевиками? Хотя революция и победила, а большевики не раскрылись откровенно, остались со старыми конспиративными приёмами.

Но — как начинают манифестации? Друг друга убедили, всякую работу прекратили, подготовились, оставили двух дежурных, —
— Господа! Выходите! Господа, через главную дверь.

Вышли кучкой на тротуар против Екатерининского сквера. Сперва робкой. Потом больше.

— Господа! На мостовую! Не стесняйтесь.

Как странно: всегда *они* ходили по мостовым, а мы — только смотрели с тротуаров. А вот — сейчас пойдём по мостовой мы!

И значит? — у нас сила?

Взяли, подняли два плаката, одноручный и двуручный. Свой каталогист впереди — поднял зелёное знамя и развернул.

Да! Чтобы проявить свои убеждения не в гостиной, а на улице — нужна, конечно, смелость.

А уже вышли и все свои, с читателями.

И из прохожих примыкали — любопытные? или сочувствующие?

Уже их стало больше сотни.

И два-три весёлых солдата.

— Господа! И солдаты с нами!

По-шли.

А на Невском — уже опять муравейники! Вчерашние. Перегораживая тротуары. И соступая на мостовую.

Повернули налево — мимо Гостиного двора.

Чудовищно странно идти — по мостовой Невского. Извозчики придерживают, объезжают. Трамваи умедряют.

Со всех тротуаров — внимание: и к невиданному зелёному знамени, и к публике такой.

Одобрительные возгласы.

И присоединяются — гимназисты, офицеры. О-о-о, да нас много уже!

Всем — необычно, всем — чудесно.

К Казанскому собору! Там поговорим. Где ж ещё и говорят?

72

(На петроградских улицах, 21 апреля днём)

* * *

И уже по всему Невскому — необычайное лихорадочное оживление. Уже не кучки, а едва ли не толпы чистой городской публики, как никогда не бывает. И солдаты есть. А рабочих не видно. Стеснены все перекрестные трамваи, звонят, медленно едут.

Вышла на улицу — интеллигенция! Ещё не знают, как себя держать, куда идти, — просто показать свою гражданскую убеждённость.

— С нами, товарищи! Кто за доверие — присоединяйтесь!

Молодёжь лезет на стены, снимает красные флаги с домов, их много натыкано, и несут. У кого-то на флагах уже и скороспелые надписи.

На углах расклеены, в витринах выставлены жгучие воззвания партии Народной Свободы: «Выходите на улицу! Проявляйте свою волю!»

* * *

На углу Пушкинской студент кричит возражательно с ящика:

— Нам надоели эти общие места! Народу противна буржуазная казуистика!

Гимназический учитель в форме:

— А при чём тут буржуазия? Не буржуазия ведёт войну, а для жизненных интересов России!

Тот студент:

— Нет оснований доверять Временному правительству!

Матрос с тротуара, густо:

— Вполне доверяем правительству, оно нас не подвело. А кто может сказать, что оно изменило?

Из гула: — Ленин и компания.

Матрос, приступая к студенту:

— А велика наука, вон, быть вагоновожатым? А ну, стань на его место, далеко ли уедешь?

* * *

У Аничкова дворца, к Фонтанке, большая толпа. Между шляпок и котелков — есть и картузы и бабьи платки. Всё сегодня получило горло, перекликается, но обывательские речи смирные, а если резко крикнет, то вот реалист:

— Отказаться от ноты! Потребовать от союзников присоединиться к манифесту Совета!

Дама, сплетя на груди пальцы в лайковых перчатках:

— Но нельзя же заставить союзников пересматривать договоры во время войны!

— Опубликовать тайные договора!

— Это подло! Секретный договор может быть опубликован только с согласия всех сторон.

Студент:

— Да зачем дальше воевать, когда на фронте уже братание идёт?

Представительный рослый господин в хорошем пальто:

— Это возмутительно! Сперва надеялись: немцы свергнут Вильгельма. Не свергают. Теперь — надежда на братание. Да откуда эта мечта, что немцы не пойдут на нас наступать? У нас просто голова кружится.

Та же дама, всё так же с руками на груди:

— Да имейте терпение! Вот, Америка вступила! — теперь война скоро кончится.

Тот господин:

— Как же можем мы сами объявить мир?

Ему курсистка, чёлка из-под меховой шапочки:

— Вы хотите победы? Вам нужно ещё миллионы калек? А нам нужно — братство народов!

Студент — всем сразу, с ледового бугорка:

— Союзники — всё равно захватят! — и хоть с ними потом вой. Нет, кто-то должен благородно отказаться, и с самого начала.

Курсистка, встряхивая чёлкой:

— Мы согласимся защищать свободную Россию, но не алчные аппетиты богачей.

Два солдата прикатили бочку. И раненый солдат, рука на перевязи, взлез на неё:

— Слушайте! Как так всё кинуть? А за что ж мы кровушку лили? А за что ж я три месяца, не зная покою ни днём ни ночью, лежал на лазаретной койке? Наши братья в окопах, а мы тут неужто будем слушать подзужников? А что бы мертвые сказали? Кто затеял эту суматошь? Не мы.

— Ленинцы! — кричат из заднего ряда.

Студент громоздится на снежной куче:

— При чём тут ленинцы? Я вот никакой не ленинец. Но демократия должна сыграть почётную роль посредника мира. Тайные договоры были заключены царским правительством, а демократия не обязана их соблюдать.

Хорошенькая гимназистка язвит:

— Вы потому против войны, что на фронт боитесь?

Плотный седой господин, решительно:

— Всякий последовательный демократ должен быть и борец за полную победу!

Неуёмная та курсистка:

— Ну да! — завоёвывать Константинополь, присоединять Армению, отбирать обратно Польшу, — а нужно ли это народным массам? Мы выиграли уже то, что сбросили царя! И этим помогли всем демократиям мира. Сейчас Германия борется за своё самосохранение — и это даёт ей страшную силу отчаяния! Опасно доводить её так...

Плотный господин не уступает:

— Но народ отверг утопические формы мира и не выпускает винтовки! Пока Германия не откажется от захватов — до тех пор мы будем непоколебимо стоять!

— А — где вы стоите? — ему мастеровой. — Вы — идите убеждайте своими руками, что вы других зовёте?

А на бочку вместо раненого взлез густобородый солдат, без винтовки:

— Не потому немец нас два месяца не трога'т, что рад нашей слободе, — а что мы друг дружку поедом едим. Немец понима'т, что, напри он на нас, — мы б сразу опамятавались, за оружие взяли. Вот он нам покой и даёт, чтоб мы ссорились...

Толпятся, толпятся... Кому верить?

* * *

С Невского на Михайловскую несколько десятков человек бросаются с криками и проклятиями. Бегут, сбивая друг друга с ног, ловят сами не знают кого. Одни: немецкого шпиона заметили! Другие: с бомбами! Третьи: провокатор!

Поймали двух молодых: ленинцы! Повели — в комиссариат. Там — приняли их, а от толпы внутрь не впустили. Постояли — разошлись.

* * *

На Михайловской улице у подъезда «Европейской» гостиницы — тоже большой митинг, всех сортов публика, от офицеров до кухарок. Все — граждане! — Лакей. — Вроде банковского служащего.

Меняются ораторы на ступеньках, и только один крикнул «дойлой Милюкова», ему не дали кончить:

— Гоните его!

А хорошо слушали молодого безбородого солдата:

— Товарищи! Я трижды ранен, больше не хотел идти на войну. Но теперь — пойду. Только трусы требуют конца войны. Здесь — не имеют права говорить против войны, спросите раньше фронт, что он вам скажет?

Спорят везде горячо, но без кулаков. Перевес — везде за Временным правительством, и солдаты все — больше так.

* * *

Большая организованная кадетская манифестация, человек триста, с зелёным и трёхцветными знамёнами вышла из кадетского клуба на Французской набережной, впереди медленно идёт открытый автомобиль, в нём — Винавер, ещё несколько кадетов, во время остановок обращаются с речами к окружающей публике. За ними — грузовик с вольноопределяющимися, и те разбрасывают листовки с кадетским воззванием.

Прошли по Литейному. Потом — по Невскому. А с Морской повернули к Мариинской площади. К их шествию по пути присоединялось много солдат, офицеров, обывателей, к концу стало в шествии несколько тысяч.

На Морской толпа подняла на руки встречного французского офицера и внесла, подала его в автомобиль ЦК. Винавер приветствовал его, толпа кричала: «Вив ля Франс!»

* * *

Но вот валит по Невскому совсем иное шествие: впереди, с четверть колонны, — хмурые рабочие, с винтовками на ремне через плечо. А три четверти — рабочие бабы да подростки. Несут — «Долой Временное правительство». А кричат:

— Долой Милюкова! Не дадим ему пить нашу кровь!

— Пусть умрёт от своей буржуазной жажды!

Им в ответ из встречного шествия:

— Да не Милюков, а Вильгельм пьёт нашу кровь!

А они:

— Да здравствует Ленин!

А им:

— Долой Ленина! Долой немецких шпионов!

Прошли, друг друга не задели.

А что это они — с винтовками? Вон, все солдаты на улицах — без оружия.

* * *

И ещё — подобные же рабочие манифестации приходят или с Литейного моста, или с Троицкого.

Враждебные — иногда минуют друг друга встречно, иногда идут параллельно рядом и перебраниваются.

Озлобление нарастает. Лица воспалённые, искажённые:

— Да здравствует Интернационал!

— Смутьянов — в Германию, они там нужней...

— Долой Милюкова!

— Долой Ленина!

— Долой войну!.. Не надо нам завоеваний!

— Верим только Временному правительству!

Трамваи — всё медленней, стоят в пробках. А извозчикам, экипажам — хоть вовсе с Невского сворачивай.

Митингуют — уже на всех углах, не пройти.

— Вот устроили! Только немцам это и нужно.

— Вильгельм порадуетя...

После бессонной ночи ИК собрался — у всех главарей тяжёлая невыспанная голова и упадок энергии. (Ещё прежде ИК произошло совместное заседание трёх народнических фракций. И эсеры поддержали трудовиков и пешехоновских энесов: что социалистическая демократия ещё не в силах выполнить задачу самостоятельного управления страной и такое правительство подорвало бы кредит России перед буржуазной Европой. Нет, разрывать с кадетами не пришёл час.)

Церетели доложил, что сегодня утром к нему приезжал Терещенко и согласовывали набросанный вчера ночью проект примирительного документа. Вот он. Обещается лёгкий компромисс, затруднений не должно встретиться, в ближайшие часы его утвердят на Совете министров. (Ещё надо обсудить, допустимы ли такие частные контакты Церетели с министрами: не может же он всегда знать и выражать мнение ИК.)

Документ может быть и неплохой, можно бы и утвердить: в конце концов, состоитается всё-таки первый шаг к международному обсуждению отказа от насильственных завоеваний? Это — крупное достижение демократии. (Чернов: «трудовой демократии».) Большевики, конечно, не согласны: это — поражение! Но и многим в ИК не так уж понятно: почему надо быть столь вежливыми с союзниками? почему нельзя на них давить? Во всяком случае, надо ещё раз потребовать от Временного правительства, чтобы ни один крупный политический акт не издавался без предварительного осведомления ИК. И чтобы скорей выгоняли всех царских послов.

Пока ожидать окончательной бумаги от правительства — стали думать, что надо крепче взять в руки петроградский гарнизон, как уже вчера начали, чтоб не повторялось самовольство. Вызвать завтра на бюро ИК представителей всех батальонных комитетов и с ними окончательно крепко установить: чтобы впредь ни одна часть не выходила бы на улицу без прямого постановления ИК.

Чернов посматривал вокруг с усмешкой: 80 из 90 этих членов ИК — революционеры без году неделя, никто их в революции никогда не слышал, не знал, а теперь они хотят всем управлять. Но так как самые шумливые — интернационалисты-циммервальди-

сты, то Чернов удержался против них выступить: уж он-то и есть коренной циммервальдист, вместе с их Лениным.

Но — что? Теперь большевики поднимают вопрос о перевыборах бюро! Неделю назад выбрали — и уже переизбрать? Почему? зачем? Просто — рвутся к власти. Ну нахалы.

При европейской успокоительной широте черновских взглядов — ему так дика эта дёрганая обстановка здесь.

И долго длится шум, неразбериха, вскакивают, трясут друг друга за грудь: переизбирать? не переизбирать? И не заставишь их умолкнуть!.. Только на том и уговорились, что весь вопрос снова будет поставлен на одном из ближайших заседаний.

После этого хватились, что мало удержать петроградский гарнизон, — а все гарнизоны окрестностей? Ораниенбаума, Стрельны, Гатчины, Красного Села, и самый кипучий Кронштадт? Надо составить для них всех удерживающую радио-телефонограмму: не отправлять в столицу войск без письменного приглашения Совета! И — передавать скорей!

А по всей России, местным советам и гарнизонам — тоже ведь надо? Воздержаться от самостоятельных выступлений, спокойно ждать указаний от Петроградского Совета.

Но в девяносто голов не составишь, надо и для этого назначить комиссию. Назначили.

Ещё надо и Линде призвать, отчитать за вчерашний авантюризм.

«Разъяснения» от правительства всё не слали. А тут — зазвонили телефоны. Телефоны — со всех заводских окраин, а сообщение одно: рабочие того, другого, третьего, четвёртого завода бросают работу по распоряжению ИК! — и идут манифестировать в центр!!

— Какое такое распоряжение ИК? — кричит в трубку Скобелев. — Мы такого не давали! Сейчас произведём расследование!

Но — поздно расследовать! Со всех соседних телефонов то же самое: рабочий Питер подымается!

Здорово неуютно стало тут...

Однако за Невской и за Нарвской заставами ещё сохраняется спокойно.

А вот с Выборгской, с Васильевского повалили — да с о р у ж и е м !

С ору-жием?! Да это ж провокация! Кто распоряжается? Товарищи, из членов ИК ведь никто... ?

Где же наша власть??

Опять звонят: с Выборгской стороны и из Новой Деревни — к центру идут большие манифестации с оружием! и требованием отставки правительства!!

А на Невском — демонстрации в пользу правительства.

Что делать? Надо не дать им столкнуться! Надо остановить вы-
боргских рабочих.

Поедет — сам Чхеидзе и Скобелев, их не посмеют не послу-
шать!

Но выскакивает Гиммер на середину комнаты:

— Товарищи! Но право манифестаций есть одно из ныне заво-
ёванных, общегражданских субъективно-публичных прав! Его
нельзя ни отменять, ни ограничивать. Вы не имеете права лишать
массы возможности подать голос! Пусть сперва правительство за-
претит манифестации буржуазии и невской публики!..

Задержал. Дискуссия.

Два раза позвали к телефону и Чернова — с тех заводов, где об-
разовались эсеровские комитеты: как вести себя?

— Пробовать остановить.

— Тогда потеряем авторитет. Они уже подняты и всё равно
идут...

Верно. Если сейчас не согласиться с начавшимся движением —
можно оторваться от масс.

Миг исторического решения вождя!

— Тогда присоединяйтесь и возглавьте, с циммервальдскими
лозунгами.

В конце концов, рабочие выступления говорят о силе и зрело-
сти народного движения. Значит, как же силен в массах дух интер-
национализма?

А с Московской заставы сообщают...

Жуть.

Чхеидзе, Скобелев и Войтинский в открытом автомобиле
встретили голову многотысячной выборгской колонны — на Мар-
совом поле. Впереди каждого завода — вооружённая рабочая ми-
лиция, это кто-то же здорово успел организовать, и плакаты уже
готовы — «Долой войну!» — «Долой Временное правительство!»
«Вся власть Советам!» — «Война войне!».

А в задних рядах — работницы, некоторые — и с чайниками в
руках, как берут их на работу, и теперь с собой.

Все трое исполкомцев поднялись в машине.

Колонна попризадержалась.

Чхеидзе приветствовал их от Исполнительного Комитета. Но: не нужно сейчас неорганизованных выступлений. Им сейчас лучше всего — вернуться на заводы и стать на работу. Правительство уже согласилось разъяснить ноту в желательном смысле, и потому дальнейшие демонстрации безцельны.

И Войтинский, горячо, легко:

— Товарищи! Мы знаем, что вы готовы в любую минуту поддержать нас в борьбе. Без всяких манифестаций мы знаем, что вы — с нами. Из десятков казарм к нам тоже поступили желания демонстрировать. У нас — миллионы штыков! Но пока — это не требуется...

Из вожаков толпы крикнули: рабочие сами знают, что им нужно делать!

И толпа — повалила дальше, к Садовой.

И потерянной головке исполкомцев — что ж оставалось?

Приветствовать?..

74

Юрий Владимирович Ломоносов вчера в Петрограде не был, а по телефонам в Царское Село нёсся ворох непроверенных новостей. Сегодня так и думал, что лекции его не состоятся, но всё равно поехал в город, даже из одного любопытства.

Сперва в институт (с утра извозчики свободно ездили). К лекциям собралась кучка только уже вовсе смирных, — даже и путейцев, этих самых нереволюционных студентов, утащило вихрем! Отменил лекции, поговорил с возбуждёнными профессорами — и пешком на Невский, посмотреть. Сегодня был он, разумеется, не в генеральской путевой форме, а в штатском пальто, фетровой шляпе.

Почитал расклеенные кадетские воззвания. И осмелела интеллигенция, ждать было нельзя, но и трусит. Не прямо своя грудь выставлена, а — «против реакции, притаившейся чёрной сотни», на всякий случай загородиться, обычный приём.

В банк нужно было — так не добратся, да наверно закрыт. От жены было магазинное поручение — ну, куда тут.

По всему Невскому — словесный потоп! Все сословия, униформы и возрасты — в едином перемещении и в сотнях малых митингов. Ещё недавно трудно было представить в русском народе способность к дискуссиям. Разговорились. Откуда это?

Вот — и площадь перед Казанским собором, любимое место петербургских сходок, бушевали тут студенты и сорок лет назад, и в первый год XX века — и куда нас с тех пор занесло! Уж тут-то море людей, от тротуара Невского и в обхват дуговых колоннад собора — да чуть ли не четверть Петербурга здесь? Там и сям возвышаются древки с обвисшими красными флагами. По обе стороны собора, близ Кутузова и близ Барклая, на трибунках меняются голосистые ораторы. Вот от Кутузова:

— Без продолжения войны Германия не пропустит нас в мир справедливости! Нет другого пути в Царство человеческой свободы!

А из толпы с меткой поддёвкой:

— ...и в Константинополь!

Тот не растерялся:

— А что ж? Свобода плаванья через проливы — тоже справедливость! И если Штюмеру и Протопопову не удалось загнать Россию в постыдный тупик сепаратного мира, неужели она сама добровольно забредёт туда?..

Да куда хочешь эту Россию и загонят.

— Это — ложь про сепаратный мир! Кто предлагает?

С разных сторон:

— Ленин!.. Ленин!..

— А что ж, односторонний разрыв договоров — не сепаратный мир?

На трибуну энергично взбирается молокосос-вольноопределяющийся:

— Да как может взбрести победившей революции капитулировать в сепаратном мире? Ни Совет рабочих депутатов и никакие партийные круги не предлагают такого, ложь! Мы готовы с оружием закончить войну во имя молодой свободы.

Свобода — это огонь, а молодая — пламя, не обожгитесь.

— ...Это фальшивый лозунг — «без контрибуций»! Это значит: переложить восстановление разорённых народов — на них самих! Ограбленную Польшу, Курляндию — с немцев на нас? Вы вот

это разъясните нашим рабочим и солдатам! Бремя невыигранной войны сильнее всего и почувствуют бедные классы!

А от Баркляя:

— Вы говорите — к международному братству? Но если германские социал-демократы всю войну твердили, что воюют против русского самодержавия, — то почему нам теперь не воевать против самодержавия Вильгельма? Теперь, когда у нас нет самодержавия, кто ж мешает германским социалистам выполнить свой идеал и выйти из войны? Вы же к ним обращались — чего ж они не перестраивают Германию в рабочую республику? Все циммервальдские фразы — болтовня!

Да никаких бы этих митингов не надо и никого ни в чём убеждать, если бы в правительстве были не растяпы, а решительные люди. Революцию — надо сразу хватать за загривок, и энергию её — направлять правильно. (Ломоносов вытянул на Бубликове пустой номер. Бесконечно обидно, как руки сорвались с крепкого ведения. Такая авантюра, столько риска! а остался кем и был.)

Объявляют: сейчас выступит оратор от Совета рабочих депутатов товарищ Либер.

Да и Совет ваш гроша не стоит.

В штатском. Невысокий, сухощавый. Аккуратная квадратная чёрная борода. И срывистым голосом — сразу в полёт! — видно, привык выступать:

— Буржуазные крикуны бросают по нашему рабочему адресу обвинения, будто мы не защищаем родину? — Чуть не подпрыгивает: — Они спровоцировали эту войну! Они затащили её до бесконечности! А сами, как и до революции, объедаются сластями в кондитерских! Господствующие классы стремятся овладеть новыми рынками для сбыта товаров. И теперь война продолжается во имя идей, объединяющих царя, Милюкова, Бриана и Ллойд Джорджа.

На Милюкова загудели: нет!!

А если — разобраться?

— ...Нота Милюкова — угроза уже вспыхнувшему революционному движению среди народов германской коалиции...

— Где-е-е оно? — кричат ему. — Когда-а оно?..

Либер продолжает страстную речь, вскидывая руку, то и дело поворачиваясь, чтоб охватить все стороны площади, но каждая же что-то и теряет, не слышит. Чу! — громит и Ленина с той же серди-

тостью, что и Милюкова. Всё перепутывается в людских головах: кто же прав остаётся? один Совет?

Да были бы хоть вы в Совете решительные люди. А то ведь тоже — только языками трепать.

А зади, по Невскому, — идут, идут какие-то колонны, гуще. И кричат. Да они — с винтовками? Ого-о-о, дело только начинается.

А от Кутузова:

— Ну да, Сербия и Бельгия напали первыми! Бедняжка Германия только защищается! Это не немцы заняли нашу землю — это мы на немецкой! Стоило сбрасывать власть царя, чтоб отдалась под германское штык-юнкерство.

Прямо же рядом с Юрием Владимировичем притирается солдат замухрыстый, в грязной шинели, слушает и в носу поковыривает. Нарочно не придумаешь.

От Кутузова:

— ...«Война до конца» — не значит истребить Германию и разделить Австро-Венгрию, а — навсегда покончить с политикой захватов, против которой вы и кричите. А что вы скажете, когда Петроград будет взят немцами? Мы зовём не к аннексиям, а к обороне родного очага. Это же немецкие речи, линия Мясоедова, вот что такое Ленин!

И близкая половина площади — кричит и воет в поддержку. И офицер, может быть и петроградский интендантский, победоносно кончает:

— Если мы предадим союзные демократии — предателей не щадят, и мы станем колонией Германии, а японцы и американцы нападут на Амурскую область. Союзники заключат мир за наш счёт, Германия, так и быть, отдаст Эльзас-Лотарингию, а от нас получит — до Днепра. А Турция — возьмёт Крым!

А за спинами, с Невского, — маршируют, и кричат своё, своё. Всё больше валит рабочих, построенных колоннами.

Рвань.

Но с винтовками.

Нет, ясно, что на этом — дело не кончится. Всё это — очень-очень серьёзно. Упустили.

Свойство всех революций: ни одна не останавливается на полдороге, но будет катиться, вперёд ли, назад ли, — до конца, до самой стенки.

И ещё видно будет, куда шагнуть самому Ломоносову.

Хоть носил теперь Кирпичников Георгия на груди, хоть стали они с Мишей Марковым подпрапорщиками — а не добавилось порядка ни в их учебной команде, ни во всём Волынском батальоне. Даже хуже намного стало: отлучаются — с них не спросишь, обучаться не желают — и не потребуешь. И тянет изо всех дыр, фронта не спрашивая: войну кончать! Почему так? — новобранцы сопливые, под снарядами не лежавши — и затеяли войну решать?

Приехал в батальон такой полковник Плетнёв, от военного министра, говорил лекцию. Не дадим протянуть нашу руку в рукопожатие с окровавленной германской! Не слушайте, солдаты, газету «Правду». Помните, что враг у ворот, и будем крепко держаться наших благородных союзников. И пусть весь тыл честно работает, а не слоняется. Верно! Волынцы ему ладошили. А уже через час прибежали поднатчики из Павловского: что, у вас тут натравляли солдат на рабочих? Да кто вам сказал? На другой день в газете «Известия» статья: волынцы слушали погромную лекцию черносотенца! Кто это писал — морду б ему набить, так не подписано. Взяли Марков с Кирпичниковым химический карандаш, бумагу — и тоже писать, советовались с поручиком в батальонном комитете: протестуем против анонимных угроз честным людям! Мы, волынцы, в первых рядах революции доказали... А вокруг нас кишат германские провокаторы и гады...

Рабочие? — они шкуры и оказались: мало того что их на войну не берут, ладно, но они и тут работать не хотят? На что революцию повернули: дай им 8-часовой день! Наши там в сырых окопах под пулями, газами 24 часа, а этим тут нельзя больше восьми, а то им, вишь, некогда политикой заниматься.

Да знал бы Тимофей Кирпичников раньше — ещё он бы им никакой революции не делал, выкусьте!

Такой же и Клим Орлов, даже хуже. Да что, разве знал его Тимофей? — два месяца в учебной команде, подкидывал против начальства, к поре пришёлся. А на фронте и дня не бывал, хотя ряшка бычья — тут, в Питере, всё учётным сидел, неизвестно сколько мин наработал. А как послали его в Совет от Волынского батальона, так он и вовсе заневердался: всегда у него правильно то, как ихняя там головка скажет. Поначалу думал Тимофей — они там в Со-

вете и впрямь рядят, а потом дознался: сгоняют их просто как баранов, голосовать.

Ну ладно, сидел бы там и хлопал ушами, но взял себе Клим голос ото всего Волынского батальона, вместо какого бы настоящего солдата. И ещё приходит, не в своё дело встречается: Ленина, мол, не трогать, он хороший. Да у тебя что, больше всех знатьба? Этого стрекуна нам Вильгельм прислал, всё дело нам рушит, — и хороший? Всё немецкое против нас беспомешно высказывает — и его не тронь?

С Марковым, с Бродниковым, с Иваном Ильиным толковали, кто из волынцев и сам этого плюгавца у Троицкой площади с балкона слушал, а кто пограмотней газеты читал: да ведь это просто враг! да как же такой развал допускать? И чего правительство смотрит? Эх, хилое правительство у нас, братцы.

И в народе шатость.

Приехал Ленин на второй день Пасхи, и за толику дней набурили они с балкона, что к концу Светлой недели Тимофей с ребятами уже и поговаривали: а сходить бы — да взять Ленина, арестовать? Мудрого ничего, пойти человек пятнадцать-двадцать, всем с винтовками заряженными — и хватит? И кончить сразу, пристрелить гадину, — немцев-то и невинных стреляем, а этого чего жалеть? Да и живым его взять не трудней, чем языка на фронте. Неужто целую революцию заварить было легче, чем сейчас этого Ленина поймать?

Так не унялся Клим, а сходил пожалился советской головке, что, мол, тут замышляют. И спохватилась головка, и пожаловали сами в Волынский батальон, и даже к Кирпичникову в казарму, вертлявые, схватчивые, да быстро-быстро суются: мы вот, мол, товарищи Богданов, Суханов, Венгеров, а это у вас дикие представления, как можно арестовывать?

Так, мол, министров же прежних арестовали? Так то — прежних, а наших — никого нельзя, товарищ Ленин глубоко наш, он много за революцию пострадал. А чего ж он через немцев приехал? А у него другого пути не было. А что ж он всё городит как раз то, что немцам и надо? А каждый имеет право высказываться, на то есть свобода слова. Так тогда пусть и сами немцы приезжают высловляются?

Ничего эти трое хорошо не объяснили, много-много слов тараторных. Но — заборонили накрепко: и не трогать товарища Лени-

на, и не помышлять, это будем рассматривать как революционное преступление, и будем судить.

Нисколько не напугался Тимофей ихнего суда (ныне и суды-то никудашные), а раздумались с Мишей: хорошо, ну мы его арестуем, — а дальше к какому начальству его представить? Начальства-то никакого не стало, вот что. Командир батальона теперь — никакое не начальство, его и не слушает никто. К советской головке отвести — они его сразу и отпустят. А правительство — кто оно, где оно, да ещё и временное, да ведь тоже отпустят. Так чего и трудиться?

Раньше у офицера хорошего спросишь — а ныне и офицеры все зазябли.

Ползёт-ползёт всё куда-то под гору, и чего будет! Пройти по Питеру срамно: у булочных али за керосином — хвосты длиннее прежних, и бабы из хвостов как солдат увидят — ругают: «Просрали вы Расею!»

А на той неделе приехали делегаты из фронтового Волынского полка: «Где ваша помощь? Давайте пополнения немедленно!» И заварилась баламутица на целый день и полследующего. «Петроградский гарнизон не должен вознаграждать себя за восстание — тыловой безопасностью и дезертирством». А ему в ответ председатель, ловкач: «Мы вам лучше поможем не подкреплениями, которые быстро растают на фронте, а радикально — кончим войну!»

Кирпичников — сразу хотел *идти*, да от стыда одного, куда глаза девать? за офицеров теперь не спрячешься. Но его не пустили: нужен на обучении. А ефрейтор Ильин — пошёл. Канунников — пошёл. Кое-как две маршевых роты отправили.

А тут, за воскресеньем, ещё во вторник шибко праздновали. В среду ещё недочнулись, а в четверг, вчера, вот заворощь началась на весь город! Тимофей с Мишей, и со своей кучкой, ходили вечером. На каждом углу — речи, только успевай в уши вбирать:

— Коронованные варвары держали нас в темноте и невежестве! Николай Второй спаивал нас 22 года!..

— Мира без силы не добиться! Если враги поймут, что мы обезсилили, — сговорятся и с союзниками и поделят наши земли! И потомство проклянет нас.

— ...Чтоб не разбойники за войну заплатили, а русские мужики?

Вот это — правильно.

— После вашего манифеста — Германия ответила на Стоходе удушливыми газами! Братанье? А почему вы не требуете, чтоб ваши новые германские братья хоть бы уничтожили баллоны с газами?

Так, так.

— ...Не только каждый мыслящий гражданин, но и каждый солдат хочет кончить войну. В атаку — не пойдём!

Ты, сопля, ещё ходил ли в атаку?

— ...А привлечь в армию, кто незаконно прикрывается в тылу...

Вот это правильно. Гудит в голове, сколько слушаешься. И говоруны же, меж тремя соснами семьдесят семь петель напутают.

— А у кого есть сила — пусть сами берут власть и сделают лучше, чем Временное правительство!

— Солдаты в выборе не ошиблись: закалённые революционеры стоят во главе совета депутатов и проведут наш корабль...

— Солдаты! Вы два с половиной года отстаивали родину грудью. И если теперь не вознаградим свои жертвы — как же вспомним наших убитых?

Ох, за сердце.

И на площади ночью кричали: «Арестуйте Ленина!» — только сами никто не шли. Ворочались наши волынцы в казармы уже поздно, толковали: а может всё-таки — кинуться да арестовать? Где бы грузовик захватить? Но опять же: куда его потом везти? Всё равно отпустят. Ну, утро вечера мудреней.

А сегодня утром слышат: на Невском пуще вчерашнего ходят, кричат, спорят. После завтрака отменились в Волынском всякие занятия, повалили ребята опять смотреть-слушать. Обед записывали в расход, вечером съедим, теперь наша власть.

За кого ж тут ходят? Ходят — больше против Ленина, много больше.

От кучки к кучке ходили-слушали. Толкались и по Гостиному Двору — так, товары смотреть, чего не купишь. И большие часы в Гостином показывали три часа, как услышали снаружи сильный шум. Вышли поглядеть — шум с Садовой от Инженерной, — и крик, и оркестр как пьяный, каждый себе чего дерут не поймёшь. А первое, что увидели, — катит по Садовой грузовик с шестью пулемётами во все стороны, однако при пулемётах ни одного солдата, а рабочие. А по этому борту, что к Тимофею с Михаилом, при-

леплена красная полоса, а на ней белыми буквами и потёки от сбежалой краски:

«Сгинь, капитализм! Мы расстреляем тебя из этих пулемётов!»

Ну-ну. Кому ж это они грозят? Не поняли. Но парни у пулемётов и не сидели всерьёз, а только хмурились, как перед дракой. И со всех панелей нагустилась чистая публика — смотреть на это диво. Никто тем парням громко не отозвался, и с панелей тоже никто к ним не сшагнул, в осторожке.

Грузовик с пулемётами не быстро себе, но и быстрее пеша, завернул направо на Невский и таким же порядком покатил — туда, в сторону Главного Штаба. А вослед ему, отставши по Садовой, — вот тут-то и неслись крики и разбродная музыка. До них ещё было саженой полтора, и вот что увиделось: валит чёрная толпа, не меньше тысячи, несут красные флаги и щиты, в одноручье маленькие и двудревковые, надписей издаля не прочтёшь, а впереди — строй рабочих с винтовками, и по бокам колонны — оцепление, тоже с винтовками. И ещё они не подблизились, прочесть нельзя, за кого идут, выругался Кирпичников Маркову, плюнул:

— Вот они где, винтовочки-то казённые! А у нас некомплект, и штаб не даёт. А кроме солдат — никто их не вправе носить.

На тротуарах нарядная публика посылней затревожилась, кто бочком-бочком и прочь, от передряги подальше: кто хорошо одевается, тому беречь себя надо, а никак вот не научит их революция ни одеваться поплотнее, ни в зубы брать папиросы простые. А другие, напротив, по любопытству — ещё к краю, глядят, а наших серых шинелей стало как бы больше видать, и на мостовую сшагивают. Врач военный. Сестра милосердия.

Ближе. Самый большой щит впереди — «Долой Временное правительство!», потом два рабочих друг другу руки жмут — «Да здравствует Интернационал!». Потом — колонной по четыре, уж как там умеют держать — человек двести вооружённых, винтовки на ремне есть наши, есть австрийские, рабочие всех возрастов, а есть и юнцы. И красные повязки у всех на рукавах. За ними — оркестр, не разбери чего поймёшь, только тарелками бьёт свирепо, на каждом шагу. А потом уже — стадком, а в рядах, взявшись за руки, — безоружные рабочие, бабы в платочках и подростки. А боковое оцепление — прёт к самой панели, разгоняет публику, размахивает шашками, револьверами в руках, винтовками, просто отдельными штыками, а один и с кухонным ножом.

Штатская публика сильно напугалась, отвалилась, ноги утягивает. А которая не утекает — так всё одно ни шагом, ни пальцем.

А в колонне — ни одного солдата.

— Что ж это они и с ножиками кухонными? Прямо людей резать?

К подходу шествия ближе стоял бородатый ратник:

— Эй, не ведаете что творите.

А на него матом — и замахнулись.

Идут. А дальше видать — «Долой Милюкова!», «Война войне!» — и чёрное знамя, белыми буквами — «Пулемёт и булат...», на ветру не прочтёшь, а дальше — опять вооружённая колонна человек сто, а потом опять невооружённая толпа под оцеплением — ишь ты, не сами ж расстановились, это кто-то их со смыслом ставил.

Так понятно стало: они идут — Временное правительство скидывать!

И уже близко был самый передний ряд — военный врач и крикни:

— Товарищи солдаты! Кому дорога родина и спасение её от срама — вперёд! Не допустим их! Образуйте цепь!

И вышел на середину мостовой, немолод уже.

И вольноопределяющийся кавалерист с Георгиевским крестом вылетел за ним:

— Сюда! Сюда, ребята!

И сразу — выступили, выступили к ним, человек двадцать-тридцать, солдат разных полков, и офицеров, и юнкеров несколько. И Тимофей с Михаилом конечно. И та сестра милосердия. (Марков — не промах, уже узнал, что Женя её зовут.)

У офицеров, у юнкеров шашки на боку, кортик, — а солдаты все до одного безоружные, тяжела нам винтовка стала.

Но — и ещё подбегали солдаты с разных сторон, издалека, уже нас и с полсотни. Стали поперёк всей мостовой густой цепью. Не пропустим.

Из рабочей колонны слышится:

— Гучкова и Милюкова — в крепость!

— Да здравствует мир и братство народов!

А при солдатах публика панельная осмелела и кричат тем:

— Позор!.. Предатели!.. Изменники!

А из колонны им:

— Буржуи!.. Провокаторы!

С панели:

— Да здравствует Временное правительство!

Боковой рабочий — винтовкой на них как тряхнёт:

— А вот чем ответим вашему правительству! Мы вас всех, буржуев, перестреляем.

А мальчик-рабочий тыкал им, кому придётся, браунингом, прямо в нос.

Одна дама:

— Лодыри! Солдаты на фронте кровь льют, а вы тут бастуете!

Из ряда кинулась работница — и сорвала с неё шляпу. Та завизжала.

Передние рабочие кричат солдатской цепью:

— Пропустите!

— Не пропустим.

— Пропустите! Не то будем стрелять!

— Не пропустим! Спрячьте оружие и разойдитесь!

— Что, вы с буржуями съякшались? Кого защищаете?

— А не для того мы в окопах сидели!..

— И не для того свободу добывали!

Из публики объясняют:

— Мы тоже против Милюкова, но при чём тут Временное правительство?

Чего, в самом деле, они на правительство? Только установили — и сбрасывать?

Оркестр замолчал, а толпа ревёт, в тысячу глоток ревёт, а передние — так и попёрли на солдатскую цепь.

Схватились солдаты друг с дружкой и с офицерами крепко. Из разных полков, несознакомые, и командира нет, — а дружно держат.

А те — уже не режут, а воют, и револьверами и прикладами на нас замахиваются, и обнажёнными саблями (но не бьют).

Ну, только тысячный напор полусотне не удержать.

Смяли нас, прорвали.

И — попёрли своим путём, и тарелки медные опять зашлёпали гораздо, и завывли трубы.

И по Невскому повернули опять направо.

— Э-э-эх, Миша, как же мы зимой не сробели против начальства, не боялись военного суда — а тут против рабочих не сдюжаем? Нашими же винтовочками да против нас же?

С угла Садовой публика совсем схлынула, а на широком Невском, от колонны подальше, — там с панелей кулаками пограживают, кричат им:

— Изменники!.. Провокаторы!.. Ленинцы!..

А те и вовсе не в долгу:

— Буржуи!.. Дармоеды!.. Собаки!.. Хотите воевать — сами идите!

А с панелей на то ничего и не ответят, крыть нечем.

Впереди и с боков кто с оружием, те сильно штыками размахались, — а посередке-то мирно идут, отшагивают положенное, тоже как солдаты, кто просто шапками публике машет — то ли «ура», то ли «долой». Прошли мимо — несладкий взгляд, с утра-то работали, уже и притомились, и лица зануженные, в чёрной пыли либо копоти, и одёжка в грязи да в масле.

Тимофей подошёл к ним ближе:

— Вы кто?

— Мы с Нового Лесснера, с Выборгской стороны.

— А ещё кто идёт?

— А все заводы за нами идут. И буржуи нас не остановят!

А в конце всей колонны — сильно злые бабы и подростки, кулаками трясли, от оркестра дальше, слышно:

— Долой Временное правительство!.. Долой негодяя Милюкова!.. Долой толстопуzych буржуев, кровопийц!..

И обижался Кирпичников на рабочих, что они всё 8-часовой день требуют, а снарядов делать не хотят, — а им тоже несладко, видать, этот Лесснер — небось и есть толстопузый.

А сзади — шёл уже какой-то сброд, оборванцы, уже не рабочие, а должно быть воры, — они ещё громче всех кричали:

— Долой Милюкова!.. Долой Временное правительство! — и уже никакого другого слова. А иногда подскакивали ближе к панели и наворачивали кулаками, кто попадётся из публики, только не солдат.

А потом ещё отдельно нагонял своих молодой рабочий парень лет 18-ти, тоже с винтовкой на ремне. Сестра Женя спросила его:

— А вы с какого завода?

— С Трубочного.

— А куда идёте?

— На общий сбор.

— А зачем?

— Будем Еремеевскую ночь делать.

— А что это значит?

— А бить направо и налево, забирать банки и капиталы. Довольно буржуазничать!

Прошло всё шествие туда, к Казанскому собору, — а тут теперь собирались кучки, и кто улизнул в подворотню, в парадное — тоже выходили из укрытия, и все тут лихостились. Какой-то господин в мягкой серой шляпе, размахивая тросточкой и от крика обливаясь потом, раскраснелый, — звал всех составить колонну в пользу Временного правительства и идти вослед тем разбойникам. И ещё студент-путеец звал. Начало их собираться на мостовой — немного штатских, немного юнкеров, солдат, — а вся публика с панелей только махала платочками, шапками, а примыкать никто не хотел. Закричал на них студент-путеец:

— Эй вы, что топчетесь? Напугались? Присоединяйтесь к нам, за правительство! Не бойтесь, идите скорей!

А другой студент взлез по стене Пассажа и снял большой красный флаг, висевший там с праздника. Флаг этот распластали на панели, один принёс из магазина мела — и стали писать по нему: «Доверие Временному правительству!», — но мел плохо держался, и надпись еле видна, не то что у рабочих, загодя заготовлена, писана кистями. Вынесли флаг перед кучкой — стало к ней ещё добавляться, и несколько солдат. А Кирпичников с Марковым не знали — идти ли, нет? Своих никого близко нет. И обидно, что правительство хотят скидывать, и обидно, что они прорвали нашу цепь, — а как повидали в их серёдке притомлённых, чёрных, да и бабы, а чистая публика вот вся жмётся, так чего её нам защищать? — это которые по ресторанам ночами лопают да в экипажах разъезжают, — они нам не чета, что они нам?

Но тут один раненый офицер крикнул:

— Товарищи солдаты и офицеры! Пойдёмте с ними! Военные должны идти, и впереди!

И сестра Женя тоже:

— Пойдёмте, ребята!

Ну, пошли. Солдат сразу десятков несколько подбавилось, тогда и штатских, осмелели.

А пошли — стыдно смотреть, солдату невзгодно и брести с ними: не строем никаким, а кучей, где плотней, где реже. Знамя впереди, а сзади ещё одно знамя, тоже «доверие», едва прочтёшь. Всего в двух кучах — человек по двести, дважды.

И прошли сколько-то, мимо Гостиного, до городской думы, до башни.

Но рабочие уже порядочно ушли, их сразу не догонишь — говорят, они пошли ко дворцу, где правительство, и мы туда же.

А Кирпичников из первых услышал, что сзади, от по-за Елисеевского магазина, доносится новый сильный гул. Глянули — а там валит чёрная толпа ещё и побольше, тысячи и две. И тоже у них красные флаги, и тоже большой двудревковый щит с белыми буквами, а отсюда не прочтёшь. Одни стали говорить: поддержка нам, подождать. Другие наоборот: скорей пошли, вперёд, они против.

Кирпичникову ясно, что — против. А ого-ого сколько их. Переговаривались военные: нет, пошли — этих встречать, будем опять цепь делать и отговаривать. А кто полегче, гимназисты, уже сбегали в ту сторону и вернулись:

— Против! Против!

И тут эта публика, что собралась вдогонку шествием идти, — так и кинулась врассыпную, и флаг первый, с доверием, ки нули на мостовую. А второй флаг — и не заметил Кирпичников, что с ним, и не заметил, пошло ли сколько-нибудь вдогонку той первой колонне, — уже всё внимание было ко второй, озирались, сколько нас тут, серых шинелей. Офицеры хоть и были, но два-три и обчёлся, и то раненые: офицеры от февральских дней пришибленные, им ничего делать нельзя. А юнкера — есть, и солдат человек тридцать-сорок, опять все сбродных полков, без команды, без старшего, без единого оружия, да гвардейский моряк. Одни военные стягивались поперёк Невского, а Невский куда пошире Садовой, тут трудней задержать. (Трамваи и с той и с другой стороны поостановились.)

Теперь в подходящей сзади колонне уже ясно было крупно видно: «Долой Временное правительство!» Оркестра нет, так слышно крики лучше: «Долой Милюкова!.. Долой Гучкова!.. Долой буржуев!» — свист и ругань. И опять так же: впереди отряд рабочих с винтовками, строй неплохой (и опять красные повязки на руках), по бокам мальчишки трясут открытыми револьверами, штывками, а дальше, сколько глаз хватает, — чёрная колонна, уже разглядывать некогда.

А вне цепи стоял у панели дюжий санитар и крикнул тем:

— Что вы делаете! Вы продаёте Россию! Вы должны слушать правительство и Совет!

А ему револьвером в морду целят:

— Убьём! Иди с нами!

— Да хоть убивайте, с вами не пойду!

— Ну, узнаешь!

Из публики кричали:

— Предатели!.. Ленинцы!.. — но никто с панелей не сошёл.

Рядом с Марковым — солдат автомобильной роты:

— Да братцы, неужели мы, фронтовики, их не остановим? По чьему распоряжению идут? Остановим!

А два офицера сбоку:

— Не надо свалки, товарищи! Пусть себе пройдут, а мы вслед устроим демонстрацию за правительство.

Ну да, в пустой след. Не такие офицеры у нас были на войне.

— Остановись, изменники!

А санитар не унимается:

— По какой причине идёте? Почему не доверяете правительству? Может и мы с вами пойдём?

— Это не вам знать! Знают, кто повыше вас!

— А кого ж вместо Милюкова?

— Не ваше дело, узнаете потом.

— А, так вы не рабочие, а ленинцы! — крикнул санитар. — Долой тогда ваше знамя!

И кинулся к ихнему флагу.

А всё равно уже сошлись, сейчас кому-то подвигаться. Цепь наша редкая, цепи не удержишь — а нападать! И оба волынца, и тот из автомобильной роты — переглянулись и кинулись вперёд! — ломнись, ребята!

Первей всего — винтовки себе вырвать, они ж и держать их не умеют, и стрелять не знают, с какого конца. Кирпичников шеметнулся к усатому дядьке, схватился за дуло и у ложа, крутанул, вырвал — и двинул усатого прикладом в грудь:

— Не ваше имущество! Не воруйте!

И другие серые шинели кинулись, и быстро пошло, не уследить, кто-то древко ломал, кто-то флаг топтал, а рядом — выстрел!

Не усмотрел Тимофей, кто в кого, а только увидел в мёт ока, как русский парень на него револьвер наставляет, — и свободной от винтовки рукой поддал ему под руку! Тот и выстрелил — да в воздух. А Тимофей цап за револьвер — и вырвал.

А тут ещё от рабочих — выстрел! выстрел! — разов шесть-семь, — и упал солдат рядом, семёновец, и поодаль ещё один.

Ах вы, гады, вот как! Вскрапивились солдаты, заревели и кинулись как в атаку, круша, — кого с ног сбили, кому по морде, да прикладом, у кого ещё винтовку вырвали, уже и по две несут — и прут вперёд!

А что в рабочей колонне поднялось!

— Стреляют!.. Убивают! —

там же необстрелянные да бабы — вырвались из цепи, да кто куда — в магазины, в цветочный, в парадные, в подъезды, а кто и с винтовками убегает, да суёт её, швыряет в подвальное окно, мол, я безоружный.

Миша Марков — с двумя винтовками. А винтовки — все заряженные, вот что! Ах вы стервы, говнюки, на кого ж вы пошли!

До этой самой минуты не верили, что рабочие будут стрелять.

Рядом с Тимофеем моряк дослал патрон — Тимофей его за дуло:

— Не, погоди! Разберёмся.

Ещё какая-то сестра милосердия, другая, рвёт ихний потерянный флаг.

Нынче офицеры без шашек, а вот один — с шашкой, и кинулся в гущу, где устояли, — те сорвали с него погоны, шашку отняли, и кровь с лица течёт.

— Ребята, не надо стрелять! Мы вышли безоружные, пусть так и будет.

Свалка кончилась — отдышка. С панелей барышни, дамы, господа — посбегали кто куда. А из той колонны кто не убежал — отступили, опять сомкнулись, штыки выставили, и злобятся — а не стреляют. А два-три легли на мостовую с винтовками, на прицеле.

И повисла во всём квартале брань — «убийцы! ленинцы!» — и женщина ранена, и два солдата.

А семёновец... Семёновец — мёртв.

Где, браток, ты воевал, на каких полях? Здесь ли смерти ждал, в Питере?..

А что им сделаешь? Их много. Вон, сзади ещё отряд надвигается.

Да где ж наша силанька, наш строй, всех мы растеряли, уже не армия.

А кто-то кричит:

— Звоните, вызывайте Преображенский батальон! Он им покажет!

А наш Волынский — и не соберёшь теперь.

А с панели нам:

— Только не стреляйте, а то будут большие жертвы!

— Да мы голыми руками их разоружим, мерзавцы, подлецы!

Панельная публика снова возвращается, и ну поливать их! и ну поливать!

— Убийцы!.. Предатели!.. Немецкие пособники!

Сзади подъехал санитарный автомобиль, подбирает раненых.

Уцелевшая колонна сощерилась в оборону. Но молчит, не отвечает.

Санитар тот им:

— Положите винтовки! И идите спокойно, куда хотите!

Марков:

— Ходите без оружия! Зачем вы с оружием?

Молчат. А — угрозно.

Не, их много больше нас, Миша. Не положат.

Придётся пропускать.

Тут и простая милиция появилась, с белыми повязками. И просят ленинцев, даже умоляют: да вы поверните к Николаевскому вокзалу, ничего и не будет.

Не, не повернут.

А Гостиный Двор — гляди, весь захлопнулся, закрылись лавки.

А рабочие-дружинники стоят с винтовками на изготовку. Сплочены.

Сила — их, придётся пропускать.

С нашей стороны кричали сильнее — а расступались.

*Бушуй же, вихрь народной воли,
Ещё стихийней и грозней —
Не родовые страшны боли
Прекрасных дней!*

(Вас. Немирович-Данченко)

Пока правительство наконец собралось во втором часу дня у Гучкова в довмине — очень уже было тревожно в городе, необычные обильные манифестации и за, и против, враждебно сходящиеся на Невском.

Собрались-то собрались — но ведь без Керенского. И Милюков так был этим недоволен, что едва не стал настаивать — отложить обсуждение на завтра. Ему непременно хотелось разложить ответственность и на Керенского.

И недоволен он был предложенным «Разъяснением», слишком уступительно, извинительно, и почему это вырабатывалось помимо него? Вот — и то слово неудачно поставлено, и это, и требуется теперь обдумывание не в один час. Павел Николаевич должен теперь перетереть все слова. А главное: не может быть и речи утвердить этот документ без включения, что нота была предметом тщательного и продолжительного обсуждения всем составом Временного правительства и принята единогласно, министр иностранных дел не может становиться за всех козлом отпущения.

А Гучков — даже и тут уходил с заседания в свой кабинет: вчерашним порывом он исчерпался повлиять на правительство, а теперь — ждал его Алексеев, остались с ним часы.

Но хорошо хоть не провели манифестации, что правительство в довмине, не валили сюда по Мойке.

Про Керенского не говорили вслух, но министры, кажется, все понимали загадку его отсутствия.

Некрасов заменял Керенского тем, что расхаживал по комнате, выражая крайнее возмущение: что за кровавый раскол? какая безответственность (не называя — чья)! Какое было единство в февральские дни — и как же допустить его потерять? (Но — не кто именно потерял.)

А Милюков всё тянул, тянул, уходил в другую комнату обдумывать, — может быть, рассчитывал, что обойдётся как-нибудь без «Разъяснения»?

А князь Львов нервничал, что ему же надо принимать Братиану, неудобно.

Тем временем заседание министров пошло по рутине, по повестке, по решениям, подготовленным секретариатом.

По министерству внутренних дел докладывал застенчивый Щепкин, что пора наконец законно оформить увольнение прежде отстранённых простым распоряжением — губернаторов, вице-губернаторов, градоначальников и их помощников; признать, что не может быть когда-либо возвращения их к занимавшимся должностям; предложить подать прошения об отставке, установить пенсионное обеспечение их, а кто не получит пенсии — то месячный оклад содержания.

Уже обожглись на этих пенсиях, уже такой скандал получился громкий — безопасней правительству было бы ничего этим не назначать. Но противоречит всем понятиям государственной службы, и что вообще останется от государственного порядка? и какая судьба ждёт служащих сегодняшних?

Затем, всё от Щепкина: во многих городах стихийно возникшие исполнительные комитеты требуют на своё содержание средств казначейства. Всех удовлетворить невозможно, предлагается финансировать лишь тех, кто выполняют свои обязанности по поручению комиссаров правительства, но не на поддержку их агитационно-партийной и общественно-политической работы и не на содержание партийных, классовых и профессиональных организаций.

— И, — предусмотрел Терещенко, — государство не гарантирует займов, уже сделанных этими организациями за минувшие месяцы.

Предусмотрел, потому что он с подобными случаями уже встречался. Да чего ни коснись и куда ни глянь — вся общественная Россия как тысячезевный крокодил — требовала только денег, денег и денег! Откуда их набраться министру финансов, когда вот и Заём Свободы повис и не идёт из-за той же всё ноты.

Да чёрт возьми, да занимая место великого изобретательного Витте, стыдно и не хочется каждую свою проблему вытаскивать на заседание правительства. Столько ли мог бы он тут накидать, сам находясь даже в отчаянии от этих проблем! (Да многие из них уже и обсуждались, бесплодно.)

Сами же в эти недели опрометчиво повысили оклады сельским учителям, железнодорожникам, почтово-телеграфным служащим, а теперь ещё и солдатам, — откуда всё платить? В российском бюджете была незаполнимая брешь с тех самых пор, как царь отменил винную монополию. Не слишком усердно собирали и налоги, не говоря, что подоходный был в России чрезмерно мал, всегда наде-

ялись на иностранные займы. А после революции вместе со всею полицией исчезла и полиция по сбору налогов, так теперь вообще никто не собирает, остаётся посылать призывы к населению. Государственный бюджет на 1917 год Дума до революции не удосужилась утвердить, а теперь нет ни Думы, ни бюджета. Внешняя государственная задолженность — 40 миллиардов рублей, на одни проценты надо в год 2 с половиной миллиарда. Каждый день войны тратим 50 миллионов, и с начала революции каждый же день выпускали 30 миллионов бумажных, до первых дней Займа. И рубль, от революции было даже поднявшийся, теперь на западных биржах падает. Подписку на Заём Свободы начали громовещательно, но, несмотря на честную поддержку московского купечества и повсюду еврейства, — результаты пока скромные. А за успехом займа следят и друзья, и враги, поражение с займом — как поражение в войне. (Ещё и такая неурядица, что к открытию подписки не успели приготовить сами облигации, а даём пока квитанции, а многие так не хотят.) И самое досадное — неподдержка Советом и большинством социалистических газет. Вместо этого преподносят утопические предложения: одноразовый поимущественный налог, граничащий с конфискацией имуществ: прогрессия, а у кого свыше миллиона — отдать 50%, тогда, мол, рабочие поверят, что капиталисты тоже любят родину. Да если провести такую конфискацию (не говоря, что сам же Терещенко не сумасшедший всё отдавать) — будут закрываться предприятия, разстроится хозяйство всей страны, сами же рабочие и пострадают. Увеличить подоходный налог и ограничить военную прибыль — неизбежно, но такие мероприятия не разработаешь и не проведёшь в неделю. Без участия *всего* народа укрепить российские финансы не удастся. Большая надежда была на состоятельное крестьянство, у него накопилось за войну много денег, — но тут нужна помощь демократической агитации. Пока — успели только провести повышение железнодорожных тарифов с грузов и пассажиров.

Честно говоря, министерство финансов оказалось такой морокой и дела так запутаны, что Терещенко рад будет освободиться и занять пост куда более интересный и свободный в движениях.

А между тем заседание шло. Мануйлов, за последние дни, после учительского съезда, где его разносили и он утерял свою прежнюю либеральную славу, обозлившийся и огрызчивый, и в ужасе от призрака анархии, — выносил на обсуждение открытие и фи-

нансирование новых гимназий, прогимназий и реальных училищ, для обучения обоого пола и с преподаванием обоого пола. Ещё: его заместнику Гримму надо было утвердить личное содержание 14 тысяч в год, да по 10 тысяч попечителям учебных округов.

Коновалов просил утвердить кожную монополию: передачу всех кож в распоряжение государства, как это сделано с хлебом, для того создать по всем губерниям комитеты по кожевенным делам, с правом реквизиции кож.

А Зарудный от министерства юстиции просил помилования каким-то троим, осуждённым за грабёж с насилием: ведь теперь дарование помилования от царя перешло тоже к Временному правительству.

Да это всё было только приступ — а вот уже готов был Шингарёв, охмуренный, вспотевший, с красными от бессонницы глазами, — теперь предстоял его часовой доклад об утверждении долгожданного Положения о земельных комитетах и воззвание к населению по этому поводу. И здесь ждала министров ещё худшая детализация — о Главном Земельном комитете, губернских, уездных и волостных, их составе по представительству от партий и организаций, их задачах, их съездах...

А Милюков всё ещё не мог выдать согласия на «Разъяснение».

Как вдруг вызванный Набоков вышел и едва не бегом тотчас ввёл:

— Господа! Генерал Корнилов с экстренным заявлением.

Шашкою на боку, шинелью не снятой, собранный, безшумный, да с хмурым своим азиатским видом — произвёл он ударное впечатление, ещё не раскрыв и рта.

В самом деле, они тут затягивались, проворачивались в своей мотательной рутине — а ведь день был какой! И наверно, неужели, ещё не кончилось?

Князь Львов, и всегда слабым, а тут ещё ослабевшим, предчувствующим голосом, пригласил генерала сесть.

Но генерал не сел, и даже не расслабился в стойке, негнупко, прямой на прямых ногах, без фуражки:

— Князь! Господа министры! Только что на Невском в двух местах произошла стрельба в жителей. Есть убитые. Я прошу чётких указаний: уполномочен ли я использовать воинские части для охраны порядка?

Он ещё не сказал — где стрельба, кто стрелял, сколько жертв, что он понимает под охраной, — но все члены правительства разом подкинули брови, стали клониться назад, назад, кто-то поднял пальцы, кисть, или руку — как от привидения или от чёрта, — и в этой общей несрепетированной мимической сцене генерал уже прочёл ответ.

77

Более досадной поездки в Петроград нельзя было, наверное, и сочинить. И в довершение всех неудач или в едкую насмешку — именно сегодня «Биржевые ведомости» поместили скандальную статью о гибели «Императрицы Марии». Скандальную, потому что усилиями Колчака вся эта надрывная история миновала газеты и, с октября, почти никто никаких подробностей не знал до сих пор.

От гибели Толля в Ледовитом океане, Макарова в Порт-Артуре, от Цусимы — большего горя, чем гибель «Марии», Колчак не переживал в жизни. Он любил этот великолепный дредноут — как живое существо. И похоронил его таким. Все похороны длились — час с небольшим. В чёрном дыму, в языках огня Колчак распоряжался спокойно, после нескольких взрывов приказал открыть кингстоны и затопить — потому что взрыв главного погреба взорвал бы и рядом «Императрицу Екатерину», — а цепь «Марии» к причалу почему-то оказалась приклёпана неверно, и не удавалось быстро освободить её. Омертвелыми ногами опустился с кораблём в воду едва не до подошв. Потопил — и вернулся к себе на «Георгий» в отчаянии: лучше бы рискнул большим взрывом и сам там погиб.

Ещё месяц потом он был способен говорить только о гибели «Марии». Но невыносимо было ему, что, ничего того не чувствуя, поспешат писать, «обличать» журналистские перья — и всё на радость Германии. В те дни Колчак не допустил ни донесений судебных гражданских властей, ни их расследований — и только через трое суток (как теперь верно и печатали) министерство юстиции узнало из шифрованной телеграммы прокурора симферопольского окружного суда. Колчак действовал сам.

К тому времени дредноут служил всего только шесть месяцев. Участвовал в походах, и вдруг открылось, что важные электротех-

нические работы недоделаны, — а таких рабочих не было ни в Крыму, ни в Николаеве (странно), и понадобилось везти 45 человек с Путиловского завода из Петрограда. «Мария» только что вернулась от болгарских берегов — и начались эти работы.

Невместимость всех дел в голову молодого Командующего! Ты занят — самым флотом, боевыми задачами, а ещё же на тебе административные обязанности, к которым ты не готовился никогда, и крепость (с раздутым штатом) на тебе, и город, — и как за всем уследить или даже как успеть проверить и поставить всех тех, кто будет услуживать?.. Эти рабочие жили на берегу и ежедневно на катерах доставлялись на баржу, причаленную к «Марии». Тут у всех у них должен был проверять документы офицер, но, как выяснилось, поручил боцману, а боцман затем матросу, а матрос — никому. А затем и на самой «Марии» уменьшились строгости подхода к бомбовым погребам. И получилось, что непроверенный человек мог бы принести непроверенный свёрток и вбросить его в вентиляционное окошко.

За следующие двое суток арестовал двух инженеров, нескольких рабочих — а двое исчезли. (Могли безпрепятственно уехать, и в Петрограде их тоже не нашли.) Колчак неистовствовал: разгружать Севастополь! выселять лишних жителей, лишние учреждения! (Ещё эти подозрительные греки шныряют всюду около кораблей.) Нужны какие-то новые меры строгости, о которых мы и понятия не имеем. (Да почти никакие и не удались.) Одни члены комиссии были убеждены в злом умысле. Другие высказывали, что это — непредусмотренные процессы в больших массах порохов, которые во время войны вырабатываются поспешно, без достаточного технического контроля.

А Колчака пронизало, что, может быть, он сам к этому отчасти приложился? Были невольные его движения: после закованного Эбергарда — нравиться матросам! чтоб они обожали своего Командующего. Он освободил матросов от посадки на сухопутную гауптвахту: провинившихся сдавать на шлюпки и на корабль. (А там, бывает, и простят.) Разрешил матросам на нескольких улицах Севастополя курить, лишь вынимая папиросу изо рта при отдавании чести офицеру. (А что нелепее этого запрета нижним чинам курить?) В конце лета, едва он принял флот, в праздничный день семеро пьяных матросов устроили на базаре дебош. Полиция и сухопутные патрули арестовали их и повели. Но стали сбегаться матросы, напали на конвой и освободили их. Начальник севасто-

польского жандармского управления полковник Редров доложил в Департамент полиции: крепость на осадном положении, а вот... Оттуда переслали морскому министру, а Григорович — Колчаку. Колчак вспылил, вызвал Редрова к себе, накричал на него и запретил когда-либо ещё заниматься доносами, всё надо решать тут, в Севастополе. Редров снова донёс и об этом разговоре. Департамент полиции запросил объяснений у Григоровича, тот — снова у Колчака, а Колчак приказом по флоту отрешил Редрова и с немедленным выбытием из города. На внутренние дела тут как раз сел Протопопов, он не решился спорить с Колчаком, и отрешенье прошло. (И было замечено матросами.)

А пожалуй, поддался Колчак этому общему настроению — подсвистеть жандарму, направление общества невольно затягивает. Он этим подавил жандармский контроль в Севастополе.

И как раз за месяц до взрыва «Марии»...

Но — и эта же самая слава Колчака у матросов дала построить нынешний заповедный демократический Севастополь.

Только — удержится ли?

Да — держится ли ещё сегодня?

Там, в Севастополе, уже отцвели абрикосы и персики, теперь — розы, миндаль, ароматный воздух, безоблачное небо. Как нет войны и не было революции — бульвары переполнены расфранчённой гуляющей публикой, синематографы, летний театр на Приморском бульваре.

И немисливо позвать туда Аню.

И невозможно достичь её тут.

Тут — из пропащего времени выкроил час съездить к Плеханову (и Родзянко советовал так) — да и тоже неудачно. Сухонький, приятный старичок. Да, когда-то знаменитый революционер, но в 60 лет уже конченный человек. Совсем плох здоровьем, еле сидел, лежать бы ему, уже виделось в нём предсмертное усыхание и пожелтение. Отвечал: «Правительство не управляет событиями. Всё идёт не так, как мы ожидали, и отдельные группы мало что могут сделать. А отказаться от Босфора и Дарданелл — это жить с горлом, зажатым чужими руками». Всё верно. Но, не сказал он прямо, а из разговора понял Колчак: у Плеханова и вовсе не было таких сильных агитаторов, которых послать бы в Севастополь. С ним было таких же несколько отработанных старичков, как он сам. А молодые не пошли за ним.

Не всякому долголетию и позавидуешь. Много лет нужно человеку, но только если они полны силой и способностью действовать. А тянуть десятилетия без того и другого — нет, лучше согреть в борьбе.

А уж в логово Исполнительного Комитета, хотя правительство и гнётся перед ним, Колчак не мог идти унижаться.

Вот он искренно готов служить новому строю — ведь это и есть сегодняшняя родина. Но — кому же служить?..

Вот — бушевал Петроград второй день, расколыханность хмурого города небывалая. Вернулся от Плеханова — узнал, что вооружённые рабочие на углу Садовой полчаса назад стреляли в безоружных солдат. Невозможно?!?

Но вышел на свой третьезатяжный балкон, прямо на Невский у Караванной, — с той стороны Фонтанки переваливало через Аничков мост и проходило вот под ногами ещё новое крупное рабочее шествие, впереди — с винтовками мрачные рабочие, а ещё впереди плакат: «Красная гвардия». Несколько матросов, наверно кронштадтских, а солдат ни одного. И — крики при поднятых кулаках:

— Милюкова в крепость!

— Смерть Гучкову!

— Покажем буржуям нашу силу!

— Бить буржуев!

— Да здравствует Германия!

После этой «Германии» Колчак вот тут, с балкона бы, из пулемёта сам их охотно косанул.

В солнце всё резко видно. Есть красные знамёна, расписанные и сусальным золотом, а одно знамя — чёрное, зловеще. Подошли ближе — на нём череп со скрещенными костями и «Да здравствует Коммуна!».

С тротуаров бранились, но потом — дрогнули, стали разбегаться. Захлопывались ставни магазинов.

И так, разметая Невский, они победно шли — мимо Екатерининского сквера, к Гостиному двору, и дальше, Колчак провожал их зорким взглядом — и там, увидел, у городской думы: блеснула поднятая шашка, а спустя — донесли выстрелы. Да — десятка три!

Сумятица. Разбег. Во все стороны, за углы, сотни людей, свалка, а кто-то остался лежать?

Уверенность Колчака доплеталась: Временное правительство не способно управлять государством.

Нужна диктатура.

Всероссийская.

Да откуда её теперь взять?

78

А голод раздирал Колю среди дня когтями: не позавтракал дома как следует, а потом уже ни домой, ни к друзьям сбегать, и французской булки теперь так просто нигде не купишь. Но погорячило в желудке, пожгло — утихло. И даже весело: так — и надо сегодня. Легко!

В этот многолюдный, многосолнечный день — где только с приятелями не побывали, не потолкались, не поспорили всыть, — а вот к стрельбе на Невский не попали, даже и ко второй. По слуху — кинулись сюда, бежали, насилиу отпыхались.

Дохнуло грозным, какого не было утром.

Весь Невский — кипение. Промелькнули два санитарных автомобиля. Пробежал какой-то студент без пальто и фуражки и кричал-умолял, что нужна ещё карета скорой помощи: в вестибюле Волжско-Камского банка лежат ещё раненые. Начинали идти и трамваи, но с трудом, сильно звоня, потому что возбуждённые кучки собирались и на трамвайных путях. Затолпило извозчиков.

И все друг другу с живостью передавали, кто что видел, кто чего не видел, но верно слышал. Это была «рабочая милиция». Нет, они называли «красная гвардия». Просто — ленинцы. На Михайловской ещё сейчас лежит труп. Это был — завод Парвизайнен. Солдаты голыми руками героически разоружили вооружённую чернь. Всего только пять раненых, но есть и штатские. Нет, человек пятнадцать. Шашкой ранена в голову женщина. Другой студент, истерически рыдая:

— Мало нас фараоны расстреливали! Теперь будем друг друга расстреливать!

— Вооружённые против безоружной толпы! По старому пути идут!

С сигарой в зубах, с менторским видом:

— А почему с ними не расправились судом Линча?

Говорят, пули попадали и в верхние этажи. Но сейчас все балконы переполнены любопытными.

Грузин в тонкорунной завитой козьей папахе:

— Никаких убитых не было.

— Ну как же так, если вот люди видели?!

Говорят: не умея стрелять, сами же своего рабочего подстрелили сзади.

Негодуют:

— Когда в манифестациях самые страшные — Винавер и гимназисты, кто смеет брать в руки оружие?!

— А что ж новая теперешняя милиция — что ж они не останавливают? Куда они попрятались?

А вот солдаты задержали штатского, рабочего вида, — обыскивают, нет ли оружия.

Матрос, сплёвывая:

— Да Петроград полон шпиёнов! Они тут как головастики в луже.

— Обратите внимание: все военные — за Временное правительство!

— Долой Ленина! Это из-за него стреляли! Арестовать его!

Но уже и снова высовываются, шныряют:

— Это тёмные силы стреляли, чтобы поссорить рабочих с солдатами! Это буржуазия подстрекала стрелять в безоружную толпу!

— Вон этих! Долой! Не хотим слушать!

Безногий солдат:

— Вот я готов костылём бить провокаторов!

Ещё матрос:

— Мутят одни смутьяны. Родины они не любят, не слушайте их, гоните прочь!

Говорят: были не только с Выборгской стороны, но ещё с Полюстровской, и с Васильевского острова. Говорят: многие совсем нехотя шли... Женщин спросили: «А почему долой?» — «А мы почему знаем? Мы работали, к нам пришли, сказали — бросайте, идите на Невский! Мы и пошли».

— А по номерам отобранных винтовок — нельзя узнать, кто стрелял?

— Винтовки — все незарегистрированные, расхвачаны в первые дни революции.

У Коли с друзьями просто ноги-руки вытягивает: куда бежать? кого найти? чем помочь?

На верхушке думских ступеней — городской голова с коллегами. Стоят в безсилии — разве они управляют городом? Тут же, против этих ступеней, была и первая стрельба 25 февраля. Тут же и сегодня.

Что будет дальше с правительством? И с нами всеми?

Но стрельба — всех объяла и объединила. Солдат с Георгиевскими крестами объясняет «котелкам» и «шляпкам»:

— Я пять раз ранен врагом и не могу помириться, чтобы здесь, в Питере, стреляли в наших солдат. Власть должна быть крепкой в руках Временного правительства.

А прибыли от дворца Кшесинской свидетели, что ленинцы там открыто раздают пятирублёвки хулиганью и сброду — чтобы только шли по городу, кричали «долой Милюкова», «долой правительство».

Митинги перемешиваются друг с другом, перетекают — уже, кажется, все на улице, никто нигде не работает. Стрельба показала всем, что надо что-то делать.

А вот что! — снимали со стен первомайские флаги, из Гостиного Двора вынесли ведёрки чёрного лака и белой краски, кисти. Распластали флаги и плакаты под аркадами Гостиного, и Коля, лучший в классе шрифтовик, выписывал: «Доверие А. И. Гучкову и П. Н. Милюкову!», а Дима Сабуров попроще: «Долой анархию!» И ещё люди писали: «Сепаратному миру не быть!» — «Долой германский милитаризм!» — «Берегите Временное Правительство!»

Дали подсохнуть, флаги с надписями поднялись — и под них стекались люди. Сговаривались: теперь всем как есть — шагать. Кричали:

— Идите к Казанскому, там назначено!

— Идите на Мариинскую, там назначено!

Со стороны от Знаменской подошла уже состроившаяся манифестация служащих Управления Николаевской железной дороги — и Невский расступался, и кричали им:

— Да здравствует Милюков!

— Долой Ленина, наёмника кайзера!

А те несут: «Арестовать Ленина и его приспешников!» И: «Только согласие Временного правительства с Советом рабочих депутатов спасёт родину».

Да уже не напуганы тут, — все рады, все в победу верят! И постепенно — двинулись. Толпа необозримо росла. Толпяное шествие, и ещё большие толпы с тротуаров, с аплодисментами. И со всех балконов рукоплеск, кричат с энтузиазмом, и «ура».

— Расправьтесь с Лениным, и всё пойдёт как следует!

— В Германию его!

А навстречу шёл, его охотно пропускали, — открытый легковой автомобиль, в нём стоял пригорбый Алексинский, размахивал шляпой — и кричал согласное с толпой, и против Ленина.

Восторг толпы всё рос. Сейчас, кажется, и стрелять бы начали — так просто бы не разогнали.

— Ура-а-а, за нами!

— К Мариинскому!

79

Утренних часа два, после ухода Алексеева, Корнилов спокойно занимался.

Спокойно!.. Спокойно он в этом городе ни одного дня не провёл, от самого назначения. Но — не случилось за два часа ничего нового. И он пока работал за своего отсутствующего начальника штаба (Рубца-Масальского нельзя было дальше держать из-за Совета, и нового ему не давали назначить, какого он хотел).

А как глупо трусит правительство арестовать ленинскую шайку, всех там, у Кшесинской. Да послать ночью пару грузовиков с вооружёнными командами да с парой пулемётов. И всё.

Верные команды у него были. А ещё — надёжны и все училища. Собрать силу он мог. Но правительство — манная каша.

Сидел, занимался. Тут стали докладывать о телефонных звонках из воинских частей. Снова какие-то агитаторы мутят солдат выходить на улицу, идти в центр. И только потому ещё никто не вышел, что вчера вечером Исполнительный Комитет приказал частям оставаться в казармах. Но из заводов рабочие — вываливают. И — вооружённые! И направляются в центр.

Так!

Но и тут бы не поехал ещё в правительство, если б не стрельба и убитые на Невском.

Рванулся к ним на заседание. Отказали. Посоветовали: обратиться в Исполнительный Комитет.

В Исполнительный Комитет? Надо себя презирать, чтобы к ним за помощью. Они-то — и есть главные разлагатели армии.

Да чёрт возьми, Командующий ты или нет? И что тут терять, на этой собачьей службе? Он ещё три недели назад просил Гучкова отчислить его на фронт.

Неужели ждать, когда придут ворованными винтовками махать под эти окна?

Все училища — послушны. Но есть одно, своё родное, Михайловское, кого и вызвать, как не их. Распорядился передать телефонограммой: две училищных батареи с боевым комплектом выслать немедленно на Дворцовую площадь.

Посмотри, городская сволочь, на наши пушки.

Сегодня Корнилов решил действовать, ни на кого уже не оглядываясь. Напомнить, что всё-таки в этой стране и в этом городе есть военная власть.

А по телефонам доносили: рабочие — пошли, впереди — отряды с винтовками. И с Выборгской. И с Васильевского. И от Московской заставы.

Хорошо, хорошо, идите.

Послал распоряжение ещё в Гренадерский батальон (мимо Кшесинской невредно протопать): выслать на Дворцовую площадь крупную роту, с боекомплектom.

Однако пушки что-то не шли (уже и в окно на площадь выглядывал). Так — с горшками на базар ездят. Протелефонировать — почему не идут.

Оттуда — глухой ответ: распоряжение Командующего пришло во время общеюнкерского собрания, в присутствии офицеров и подсобных солдат. Нельзя было исполнить, не объявив на собрании. И началось общее обсуждение — высылать ли батареи.

Это — своё училище!

Узкая шея у Корнилова, и привычная к военному воротнику, а стало жать.

Но начал идти — иди, хуже нет останавливаться.

Наконец — броневики!? (Большая ошибка Хабалова не использовать броневиков в февральские дни.) Распорядился в броневую команду: немедленно выслать на Дворцовую площадь два взвода броневиков.

И уже ничем заниматься не мог, военным шагом ходил по кабинету, и каждый раз у окна: не идут?

Не идут.

А по телефонам доносят в штаб Округа: толпы вооружённых и невооружённых рабочих переходят мосты, идут в центр.

Да это — и похуже февраля?

Но какой генерал что-нибудь значит, если ему не подчиняются?

В бешенстве ходил.

Вот тут — сидел Крымов, и ему говорил. Тогда — ещё не было поздно.

Адъютант: прибыла делегация из Михайловского училища.

— Что-о? Ну, введите.

Два офицера, два юнкера, два солдата училищной obsługi. Без этих солдат сказали бы откровенно? — а тут:

— Мы посланы узнать, действует ли Командующий с согласия Совета рабочих и солдатских депутатов?

Ах так? (Ах, мать вашу...)

Командующий напоминает господам офицерам и господам юнкерам, что в штаб Округа, да ещё в учебное время, они могут прибыть только по вызову. Они не вызваны. Можете идти.

Гренадеры обошлись без депутации, по телефону: роту выслать не можем, на основе вчерашнего приказа Совета не выводить частей из казарм.

Ах вот как повернулся тот приказ? А ведь Корнилов вчера сразу не догадался, думал — к лучшему.

Оставалось метнуться к Гучкову, там и Алексеев, всё военное командование, думайте вы!

Но адъютант просил Корнилова взять трубку, его вызывают.

Не доспросив — схватил, отозвался.

Требовала Корнилова — *власть!* Чхеидзе из Совета рабочих депутатов. Верно ли, что генерал вызвал артиллерию и броневики?

Да провалитесь вы, банда, почему Командующий должен разговаривать с шантрапой? Что за грязная, нечестная служба для воина — начать с ареста царицы, а кончать угодничеством перед этой шайкой?

Так вот, Исполнительный Комитет хочет объяснить генералу Корнилову: вызов воинских частей может сильно осложнить поло-

жение. Мы высылаем к вам делегатов. А пока, для приличия и соблюдения вашего лица, мы предлагаем вам самому отменить все вызовы.

Ну, этого унижения он им никогда не забудет!!

А — правительству?..

ОДНОЙ РУКОЙ УЗЛА НЕ ЗАВЯЖЕШЬ

80

Костя Гримм с Вадимом Андрусовым тоже шли на Мариинскую площадь. Костя говорил:

— И как неблагородны эти нападки на Англию, на Францию! А откуда же мы и получили семена нашей революции? Каков бы был идейный багаж и наших революционеров без культурного наследия Западной Европы? Все наши революционные деятели XIX века, больше ли, меньше, были напитаны западным просвещением. Печальная, но необходимая истина: Россия не является Мессией среди народов, она отсталая европейская страна, но идущая тем же путём. Её судьбы тесно связаны с судьбами остального мира. Никакая действенная инициатива не может принадлежать России. Если в Европе и в Америке после войны не будет социальной революции — то и в России ей не бывать.

Да, конечно это так, — тем более думал и внук Шлимана.

Когда вчера вечером часть Павловского батальона самовольно вышла на Мариинскую площадь, — оба прапорщика, да и почти все офицеры — никто не пошли за их колонной подсеменовывать. Та неповторимая радость слияния со своими солдатами, какую Андрусов и Гримм испытали 28 февраля, ходя по казармам с

криком «Подымайсь на революцию!», — давно в них растаяла, разрушилась, ничего не осталось. Солдат сносило куда-то косо в сторону — в непослушание, под комитеты, и вот против молодого правительства.

Но и какая ж общественная стена поднялась против бунта!

Вот и здесь с каждым четвертьчасом стекалась публика со всех семи втоков на площадь — сперва перед дворец, а потом и позади Николая I. И во всех группах нашлись ораторы — все за правительство, за порядок, за победу в войне, все — разумные люди. И много же набродных солдат — и солдаты же все разумные. «Солдаты — с нами!»

(Если бы...)

Рядом с прапорщиками:

— Да, против мирных лозунгов всё трудней становится спорить. Опора может быть — только на честь, на патриотизм. А у них — расчёт на шкурное чувство.

— Не скажите, — раздумчиво возражал седой господин. — В этом позыве к немедленному миру — не просто шкурность. Тут угадана русская душа. Тут народным сердцам слышится вековая правда.

Костя с Вадимом переглянулись. Неужели так? Если так — то не довоюем, нет.

С трибуны — железнодорожник:

— Петроград много на себя берёт. С ним не согласны и Москва, и фронт, и страна! Я — делегат Юго-Западной дороги. 70 тысяч железнодорожников послали меня сказать: мы готовы недождать! недосыпать! умереть! — но ни за что не согласимся на позорный мир!

«Ура» ему!

Да и студенты — за правительство! (Когда это было в России, чтоб студенты — и за правительство?!)

Офицер:

— У нас, в Кавказской армии, только за последние дни узнали о вредной агитации Ленина тут, и что она делается совершенно свободно. Кавказская армия удивляется, почему эта вредная агитация до сих пор не пресечена. Кавказская армия лучше умрёт, чем допустит позорный мир! Долой Ленина!!

Солдат с жёлтой клочкастой бородой:

— У меня пуля вот: под глазом вошла, около уха вышла. Я бы сам эту войну убил, но дайте разума: как?

Собрались уже тысячи — и росло нетерпение, чтобы вышли, выступили сами министры. Послали депутацию во дворец. Где ж оно, наше правительство? (Гримм — молчал, он — знал где.)

Только на верхнем балконе, спугнутые с мостовой, разгуливали голуби.

И всё так же висело через весь дворец: «Да здравствует Интернационал!» А германское посольство, сзади, с массивными решётками, всё так же глядело пустыми глазницами окон. А «да здравствуют германские рабочие» — кто-то, видимо, ночью снял.

Выступает без переводчика английский морской офицер: войте заодно с союзниками! Германский флот заперт в Кильском канале. С каждым днём мы приближаемся к победе.

Французский лейтенант. Капитан сербской армии. Жена бельгийского офицера:

— Не покидайте нас! Не заключайте сепаратного мира!

Им сильно аплодировали.

А тут подъехали на автомобиле члены Исполнительного Комитета Скобелев и Богданов и, вставая в рост, уговаривали толпу разойтись, не нарушать порядка, это вносит раскол, опасный для революционных стремлений.

Оба прапорщика:

— А мы и не нарушаем. Почему надо расходиться кто за правительство?

Исполнительный Комитет примет меры, чтобы не было эксцессов.

Ну и принимайте.

Уехали.

А толпа на площади множится — уже тысячи, тысячи, и все заодно. И уже тесно становится, много не походишь, кучки сливаются.

Ко дворцу стали подъезжать автомобили. Расступались перед ними, смотрели, спрашивали — кто. Оказались товарищи министров, съезжались на своё совещание. Толпа приветствовала их — но требовала речей.

Выступили — военный, земледелия. Тут подъехал и председатель всех товарищей и сам товарищ министра просвещения профессор Гримм, старший. Он обратился со ступенек:

— Верьте, граждане, что Временное правительство в эти тяжёлые дни не отдаст на растерзание такими усилиями добытую свободу. Тем, что вы, много тысяч, пришли сюда на площадь, вы

показали, как дорога вам родина. Чтобы явно вредная ленинская пропаганда не получила бы распространения — идите к менее сознательным и непросвещённым массам и разъясняйте им, что в свободной стране не может быть места насилию!

Сын слушал с гордостью за отца.

Аплодировали, кричали: «Доверяем! Доверяем!» — но никто никуда не уходил разъяснять, а хотели сами слушать дальше.

И ещё одного задержали, заставили говорить, — товарища министра юстиции адвоката Зарудного, со смоляными бакенбардами:

— Граждане! Мы — не чиновники, мы такие же, как и вы, граждане Великой России. И если мы признаём, что Временное правительство стало на ложный путь, — мы первые об этом скажем, открыто и громогласно...

Господа! Наконец-то у России честное правительство. Наконец-то в России свобода!

— ...К счастью, мы не наблюдаем ложного пути. Но пока разыгрываются страсти — тормозится наша творческая работа. К сожалению, по-видимому, сохранились тёмные силы, которым нужны смуты, и они их вызывают...

Неискоренимая распутинско-протопоповская агентура?

Товарищи министров прошли.

А толпа всё густела, сама не зная, в ожидании чего. Уже забралась и на массивные столбы по обе стороны дворца. И тут

— тут — достиг с краю толпы и огненно передавался дальше ужасающий слух: что на Невском было — кровавое столкновение?..

Да — стреляли! убили!!

Кто? кого? сколько?

Кто — против кого?

Бросаться туда? (Или и самим тут небезопасно?)

А вот и на трибунку поднялся очевидец, типа торгового приказчика, и рассказал: группа рабочих, вооружённых винтовками, стреляла в сторонников правительства.

Толпа загудела в гнев.

Кричали разное, что теперь делать.

Тут с Морской подъехал грузовик, переполненный солдатами. Перед ним расступались, и он въехал в середину. К борту вышел штатский в пальто, с окровавленным рукавом, не перевязывал даже:

— Вот, в меня попали. Стреляли в упор.

Что поднялось!!

— Позор!

— Арестовать их!

С грузовика солдат:

— Это стреляли тёмные силы, и не без немцев. Они только прикрылись рабочей курткой, или шинелью.

Не стало ясней. Матрос гвардейского экипажа:

— Стрелявшие называли себя ленинцами. Соберём депутацию, и пусть с очевидцами пойдут сообщить Временному правительству.

Охотно собрали, и пошёл тот с окровавленным рукавом, и два солдата очевидца.

Вскоре на балкон вышел тот же смоляной Зарудный, спугивая голубей. Оттуда его далеко было слышно, только щуриться на него против солнца.

— ...Мы решили принять самые строгие меры. Немедленно мною будет сформирована специальная следственная комиссия, которая, я уверен, будет санкционирована министром юстиции Керенским. И она немедленно приступит к выяснению виновных. Через несколько минут сюда придут представители следственной власти и прокурорского надзора. Очень прошу прибывающих очевидцев не расходиться и дать показания.

Вся площадь залилась «ура-а-а-а!..».

Нет, мы не уступаем! Мы — русское общество! Насилием — нас не взять!

Правительство не бездействовало! Граждане не были покинуты на произвол. Всех — накажут.

По всей Мариинской площади крики:

— Они начинают гражданскую войну!

— Они её и проповедывали всё время!

— Дайте нам возможность разоружить тёмные силы!

— Мы требуем ареста Ленина!

Забывалось, что не сами же министры тут перед ними.

Зарудный:

— Об этом вашем желании мы сообщим Керенскому.

На помощь ему вышел и Grimm:

— ...Будут приняты самые энергичные меры к борьбе с насильниками... В стране, где отменена смертная казнь, не может иметь место натравливание брата на брата.

Молодчина, отец!

Восплески толпы.

И долго продолжалось, и долго гудело уже перед опустевшим балконом. Придумали сочинять резолюцию, и кто-то собирал мнения, а кто-то записывал, и потом оглашали трижды, в три разных стороны:

— ...Граждане просят правительство стать на защиту закона и личной безопасности граждан...

Понесли во дворец, но чтобы передали непременно лично Керенскому.

А между тем с Морской вливались на площадь целые манифестации. И несли: «Полное доверие гражданину Милюкову!» — «Да здравствует Гучков!».

Да весь Петроград был здесь! Да весь Петроград заодно!

Кто же стреляет?.. Кто же мутит?

Манифестации прибывали — но тут уверяли, что сейчас ещё большее торжество начинается у Казанского собора.

Возбуждённой колонной многие потекли туда.

81

(На петроградских улицах, 21 апреля)

* * *

На приметной внешней каменной лестнице городской думы висит: «Ленина и К° — в Германию!»

Имя Ленина на Невском не сходит с уст. Требовать указа об аресте Ленина!

— Он и приехал вносить смуту в армию!

— Ленинцы протестуют против войны на фронте — а как же они развязывают её внутри страны?

— А вот когда подпишем мир — тогда они и устроят нам настоящую войну!

— Да ничего подобного! Ленинцы вовсе не хотят гражданской войны! И даже взять власть они не хотят: знают, что не справятся.

Старик лет семидесяти:

— У меня четыре сына на фронте, но я считаю: войну довести до победы!

* * *

В открытом легковом автомобиле едут пятеро раненых Георгиевских кавалеров с плакатом: «Доверие Временному правительству!». Их шумно приветствуют.

У Надеждинской они встречают толпу человек 500–600, и есть вооружённые: «Доверие только Совету Рабочих и Солдатских депутатов!»

Из автомобиля кричат тем:

— Эй, тыловые герои! Вы оружие на фронт передайте, оно нужно там! Стыдно тут выходить с оружием!

Та колонна заминается.

* * *

Идут по Невскому рядом две враждебные манифестации. Плакатов друг у друга не рвут, но переругиваются:

— Это буржуазия идёт. Им легко живётся! Поработали б с наше.

— Хóдите «долой правительство» и думаете — приближаете мир? Вы ведёте к гражданской войне!

— А Гучкову и Милюкову — штык в горло!

* * *

«Вся власть Совету!» «Доверие только Совету!»

На углу Литейного и Невского кучка рабочих и солдат набросились на мотор и сорвали плакат: «Полное доверие Временному правительству».

У Фонтанки, напротив, рвут ленинские плакаты и бросают их в воду.

А студент кричит:

— Милюков и Шингарёв — крупнейшие землевладельцы!

* * *

Студент-путеец Балыков подошёл к колонне ленинцев и попросил объяснения, почему они вооружены. Ленинцы набросились на

него, прикладом в голову, и сильно побили, прежде чем солдаты выручили.

К другой колонне ленинцев на Садовой наискось подошёл вольноопределяющийся Гинзбург, тоже из студентов, и строго кричал на них:

— Судьба России не решается на улице! Только по зову депутатов вы можете выйти, иначе вы не граждане! Преступные плакаты должны исчезнуть! На Невский вы попадёте только через мой труп!

На него направили несколько дул, но не выстрелили. Какой-то старый крестьянин обнял Гинзбурга и целовал.

А в хвосте колонны шёл всякий сброд, и растрёпанные бабы в платках. Одну спросили, чего она добивается, ответила:

— Уничтожить старое правительство и Николая Второго.

Над ней смеялись:

— Да старого правительства уже нет давно.

* * *

Толпа тысяч десять — «Временное правительство — залог спасения родины», «Да здравствует гражданин Милюков», «Да здравствуют союзники» — пришла к Казанскому собору. Говорят: тут будут выступать Родзянко и генерал Алексеев.

Море голов. Возвышается на чьих-то руках большой портрет Керенского. Ждут.

Но ни Родзянко, ни Алексеев так и не прибыли. А студент с грузовика:

— Появились люди с керосином, поджигающие родину. А один привёз из Германии целую бочку.

Офицер с красной розой в руках, помахивая ею ко вниманию:

— Сегодня знаменательный день. Снова чувствуется, что русские люди объединяются любовью к родине. Люди, на словах стоящие за свободу, стреляли в волынцев, давших нам свободу. Пусть из нечистых уст не раздаются слова о мире! Свежая и радостная, как этот цветок, душа русского народа... Но невозможен мир без победы.

Инвалид из немецкого плена: о мучениях наших там.

— А ленинцы поехали по Германии, пропитанной русской кровью!

Кричат солдаты снизу:

— Долой Ленина!.. Расстрелять ленинцев!..

Кто-то вроде председателя убеждает, что надо действовать только словами.

— А они стреляют!

Грузовик уехал. Митинг продолжается с трибунок. Штатский интеллигент:

— Я — безпартийный. Сейчас на Марсовом поле я слышал призывы к избиению интеллигенции! И это — идейные борцы? Да разве можете вы не отдать должное Милокову как политическому деятелю? — (Крики: да здравствует Милоков!)

Военный врач:

— Я вернусь на фронт — и как мне нарисовать здешнюю картину? Не нанесите нам предательского удара из тыла! Армия должна знать, что может спокойно стоять к вам спиной. Кучка бездарных людей пытается разъединить даровитую возглавившую нас власть. Временное правительство должно объединиться с Советом на общей платформе любви к родине.

Его качают.

Взошёл депутат от другого митинга, с Мариинской площади. Там Зарудный обещал, что все законные меры к стрелявшим будут приняты. И прокурор уже начал следствие по делу об убийстве...

Туда! Туда! Там — главное. Там — правительство, там будут выступать министры!

Необозримая толпа стала промешиваться, разворачиваться — на Мариинскую!

* * *

Появилось гуще автомобилей — легковых и грузовых. Ездят от квартала к кварталу, останавливаются, и с них — речи.

— Происшедшее показало, что у нас есть элементы, которые добиваются гражданской войны. Но благоразумие удержит наш народ от этих призывов.

Из толпы пронзительно:

— Вы же сами, кадеты, в Пятом году звали народ на захватный путь! Что же вам теперь не нравится?

На площадях, где митинги, дежурят кареты и автомобили Красного Креста. Некоторые и движутся медленно, вместе с демонстрациями.

* * *

К пяти часам дня рабочие колонны прошли и ушли — а Невский залит разношерстной толпой. Настроение самое приподнятое и уверенное: берёт верх — за правительство, за Милюкова!

— Смотрите! Не капитал манифестирует за правительство, а та же демократия!

— Мы шли на каторгу, на виселицы, а теперь мы, разночинная интеллигенция, — «буржуазия»?

— А кто — не «буржуазия»? А крестьяне — не «буржуазия»? Да большинство российского населения! И смешны притязания «пролетариата», каких-нибудь трёх процентов, на какую-то свою диктатуру...

Идёт колонна учащихся младших классов с плакатом: «Да здравствует Временное правительство!» С тротуаров — восторженная встреча, машут платками.

Проезжал Терещенко в открытом автомобиле. Его узнал Невский и шумно приветствовал.

* * *

А со стороны Адмиралтейства всё врываются и катят по Невскому — оливковые военные грузовые автомобили, в победной февральской манере наполненные солдатами и публикой, но без оружия, — и машут толпе шапками, гимназическими картузами, крутыми матросскими шапочками, обнажая короткостриженные головы. Над кабинами развеваются флаги: «За Временное правительство!» — «Работа здесь, победа там!»

Их встречают рёвом, встречно машут платками и шляпами.

С одного грузовика разбрасывается кадетское воззвание. С другого, в напоминание, — листки с речью Вильгельма к его гвардии, зовущие к полному разгрому России, — их расхватывают, читают вслух. Когда грузовики останавливаются для речей — на них ещё пытаются взлезать из толпы.

Машут и раненые из дворца Сергея Александровича и других лазаретов.

Кажется: весь Петроград — за правительство! И — кто же ещё против!

И Коля с двумя друзьями — счастливые, неслись в грузовом кузове.

Вот уже и на трамваях появились углём и мелом надписи: «Долой Ленина!» — «Вильгельм! Забери своего Ленина!». И каждый такой проходящий трамвай Невский осыпает аплодисментами.

* * *

В одном грузовике — солдат с дорогими цветами в руках. Ему аплодирует толпа.

В другом — опять Георгиевские кавалеры. Стоит офицер, снял с груди белоэмалевый крестик на золотой петельке и вытянутой рукой держит перед собой. Из толпы — аплодисменты.

С грузовиков разбрасывают: «Оставьте частные интересы! Соединимся для защиты России!»

Мостовые — это дороги революции. Кто владеют мостовыми — те направляют революцию.

* * *

Потом — слух на Невском: шесть вооружённых автомобилей поехали арестовывать Ленина.

К Троицкому мосту повалили любопытные.

82

Заседание Исполкома растянулось изнурительно долго. Уговоренный текст своего Разъяснения Временное правительство не слало, не слало, не слало, — хотя большинство ИК давно уже было на него согласно, только пришлите.

А между тем заводы, возбуждённые кем-то... Никто тут не смел сказать, что большевиками, — хотя сегодня и главарей их здесь не было. Никто не смел сказать, что — большевиками, потому что это не доказано строго... Но заводы шли и шли вооружёнными колоннами в центр, и поездки Чхеидзе и Скобелева никого ни на волос не остановили. А в центре — всё более распоясывалась обывательская публика в защиту правительства, и легко было ожидать столкновений, — и они произошли, со стрельбой и уби-тыми.

Немного тех убитых — но какой сигнал о неуправляемости событий! А главная опасность: что стреляли вооружённые рабочие в безоружных солдат! Что ж это могло развернуться? Только-только успокоили вражду солдат к рабочим из-за 8-часового дня — а что произойдёт сейчас? Слали несколько членов ИК в несколько мест на Невский успокоителями.

Не называли вслух, но что за тревожная неожиданность: маленькая ленинская группа распоряжалась массами помимо Исполнительного Комитета? И массами — вооружёнными!

Вероятно, кто-нибудь — не Церетели, обезсиливший без Разъяснения Временного правительства, на что он всё поставил; и конечно не дипломат Чернов; и тем более не Гоц, на вторых теперь ролях; и не сдержанный Дан; но может быть, Станкевич или вскипчивый Либер — с минуты на минуту вылепят это большевикам. (Либер — так взверчен против большевиков, что, кажется, разбудил его среди ночи — и он тотчас готов продолжать неистовую речь против Ленина.) Вылепят — и тут произойдёт взрыв? разрыв? раскол Исполнительного Комитета? И гибель вообще всей революции? —

— если бы не вбежали доложить: Михайловское училище получило от генерала Корнилова распоряжение вывести две пушечных батареи на Дворцовую площадь! Но михайловцы не идут без согласия ИК.

Удар в спину?! Ах предатель, генерал Галифе!!

И такое же — с броневиками, которые Корнилов вызвал!

И — грозная тень Контрреволюции, зловещей контрреволюции, всегда губившей все революции, — поднялась над смятённым заседанием. Вот где наша главная опасность всегда — справа! справа! — не надо этого забывать.

Исполком сплотился мгновенно, и с большевиками: нам надо держаться заодно! С Корниловым — не прямо конфронтировать, но поручить Чхеидзе выговорить ему тотчас по телефону, что никакой вызов войск ни для каких целей невозможен. А затем послать к нему и комиссию. (Да приставить же наконец постоянных комиссаров, чтоб такое не повторялось!)

А почему михайловцы и броневики не пошли? Да благодаря счастливому вчерашнему распоряжению солдатской комиссии Станкевича — чтобы полки не ходили самовольно манифестировать против правительства, а на всякий выход из казарм ждали бы распоряжения ИК.

Пригодилось! Спасло! Но теперь именно такое распоряжение надо развить и усилить: чтобы солдаты не вздумали сами выйти расправиться с рабочими!

Горячечно вырабатывали ещё новое воззвание, ко всему населению... Граждане, в минуты, когда решается судьба страны и каждый опрометчивый шаг грозит... Во имя спасения революции... Верьте, что Совет найдёт пути... Сохраняйте спокойствие...

А главное: солдатам — не выходить с оружием из казарм без зова Исполнительного Комитета.

Товарищи! Это не конкретно! А если поддельный телефонный звонок? Или явится кто, как Линде?

Хорошо, так: каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу должно быть сделано на бланке Исполнительного Комитета. И скреплено печатью.

Ерунда! У нас кто хочет может поставить печать на нашем бланке.

Хорошо: и подписано не менее чем двумя членами ИК.

А у нас их — девяносто. Всегда наберётся два таких, которые...

Хорошо, не просто два, но двое из определённых лиц, например следующих семи — ну кто? Чхеидзе, Скобелев, Богданов, Либбер... Ну от солдат Бинасик, от военных Филипповский...

Смеялись: семь диктаторов.

Революции любят откалывать такие номера. Они и в историю потом входят: «Семь диктаторов».

И ещё дополнительно: чтобы каждое распоряжение проверяли по нашему телефону.

А к рабочим? Им так не прикажешь (и большевики не дадут приказать)... Товарищи рабочие и милиционеры! Оружие у вас служит лишь защите революции. В манифестациях и на собраниях оно вам не нужно. Здесь оно становится угрозой делу свободы. Идя на собрание, не берите оружие с собой...

Ну, ещё из литературной части... Никакие насилия граждан друг над другом не могут быть допущены в свободной России... Кто ведёт к смуте, тот враг народа!

Теперь — скорей печатать, размножать, рассылать, сообщать по телефону во все казармы! Расклеивать по городу, как будет готово.

Да что же правительство?! Уже скоро и на Совет нам ехать — а Разъяснения всё нет?

Ну, наконец-то! Ну, наконец же! Измученный Церетели, не находивший себе места, вскрывает пакет и тревожно читает: не обманули? не изменили согласованного?

Ну, грубых изменений нет. Да половина Разъяснения — цитата из Декларации 27 марта, а от «санкций и гарантий» пятятся теперь.

Потвердевшим голосом Церетели читает вслух.

Спорить — уже все устали. И друг друга не переубедишь. Сразу голосовать. Трудовики, народные социалисты, эсеры, меньшевики-оборонцы — 34, за. Большевики, меньшевики-интернационалисты и внефракционные — 19, против.

Принято. Предложить Совету признать Разъяснение правильным и удовлетворительным.

Скорей и ехать на Совет, в Морской корпус.

83

(На петроградских улицах к вечеру 21 апреля)

* * *

На Невском слух: Москва возмущена и грозит принять карательные меры к Питеру, отрезать продовольствие.

И такой слух: Ленин предписал вызвать немедленно в Петроград кронштадтский гарнизон.

И такое известие: Исполнительный Комитет удовлетворился объяснением Временного правительства.

Кричали «ура».

* * *

И от Троицкого моста пришёл слух: с плакатами против Ленина к дому Кшесинской ходили, но дойти не дошли. Уже по дороге их предупреждали, что будут расстреливать, как на Невском, и многие отсеклись. А кто перешёл-таки мост — тех встретили вооружённые, изорвали их плакаты и поколотили.

* * *

У Полицейского моста из автомобиля держит речь Скобелев:

— Исполнительный Комитет не допустит эксцессов. Мы не допустим такие лозунги, как «арестовать шпиона Ленина!». Только старая власть могла опираться на силу штыков. А новая власть будет действовать силой слова и убеждения.

И тут же, при нём, несколько человек не давали проехать легковому автомобилю с лозунгом «доверие Временному правительству». А он как не заметил, не вмешался, поехал дальше.

* * *

А ещё были митинги у всех посольств — французского, итальянского, английского. Бьюкенен несколько раз обращался с балкона к манифестантам: Англия воюет не ради завоеваний, единственная цель Англии — торжество права и справедливости. Поддерживайте Временное правительство!

И тут же, при Бьюкенене, кучка матросов и рабочих — рассеяла, побила манифестантов и порвала их противоленинский плакат.

* * *

С митинга у Казанского собора повезли инвалидов в их госпиталь на Каменноостровском. По разумному совету они перед Троицкой площадью свернули флаг «Да здравствует Временное правительство», чтобы не дразнить ленинцев. Но их всё равно узнали — от «дворца Ленина» в них стали стрелять из винтовок. Люди не пострадали, но грузовик остановился. Подбежали, стали стаскивать инвалидов. Феликса Вольчака без двух ног — избили. А Василия Москаленко без правой ноги — поволокли к Кшесинской. Там, угрожая револьверами, его допрашивали, кто им заплатил за сочувствие Временному правительству, кричали: «Расстреляем!» Отпустили с угрозой: больше не попадаться, иначе лишится и второй ноги. А ещё двух одноногих инвалидов — Василия Романова и Ленарда Дуду, схватили, повезли на Выборгскую сторону, там заперли до ночи. Потом составили протокол и обещали суд через два дня.

* * *

Ушло с Невского много манифестантов с чувством победы — а рабочие продолжали подходить из боковых улиц, и всё на Невский же, только там и можно *доказать*. Все такие же — с плакатами против правительства, — и Невский снова встречал их: «изменники! провокаторы! за немецкие деньги!», а они: «буржуи, провокаторы, в норах сидели, а теперь повылезли!» На углу Пушкинской студенты и гимназисты вырывали флаги, рвали плакаты Бумагопрядильни и Ниточной мануфактуры. А работницы кричали:

— Где же наша свобода? Мы имеем такое же право!

На Знаменской площади грузовики с солдатами, инвалидами, студентами перегородили подход очередной ленинской колонне — и не пропустили вооружённых.

Были и чёрные знамёна анархистов: «Отобрать без выкупа зёмли и заводы». Одну такую колонну смяли у городской думы юнкера-константиновцы.

А на Марсовом поле разгромили грузовик с плакатом доверия правительству.

* * *

Опять сгустилось, к драке. Одного прилично одетого господина в спортивной фуражке и в пенсне за какое-то брошенное слово ударили из колонны по лицу и хотели дальше бить, но солдаты и женщины отстояли.

Сухопарый англичанин, военный, прихрамывая, с палочкой, шёл за колонной и кричал с акцентом: «Провокаторы! Изменники!»

* * *

Уже в поздних сумерках на углу Морской и Невского были выстрелы в воздух, толпа шарахалась. Яростно кричали:

— Прекратите выстрелы! Немецкие деньги!

— Пусть стреляют! Мы умрём за свободу, если нужно!

С темнотой такая нервозность наступила: стучат клапаны неисправного автомобиля — толпа бросается врассыпную, крича о стрельбе.

* * *

От вечерних рабочих манифестаций оседал народ на Невском, ходили, толкались, агитировали солдат. И злобно:

— Всех этих господ буржуев, что зря шляются, — взять да перестрелять.

После восьми и девяти часов вечера ходили по Невскому добровольные большие группы безоружных юнкеров и солдат, успокаивали публику и от имени Совета предлагали очистить Невский, не собираться в большие толпы, не манифестировать ни за ни против и не нервничать. Брались за руки и цепями мягко вытесняли публику с Невского в боковые улицы. Многие сворачивали флаги, убирали плакаты и расходились.

Вечер установился ясный, прохладный. Проступали звёзды, а вот восходила и луна.

84

После приезда Ленина — среди петербургских большевиков положение отчаянно сложное. Программу Ленина принимает меньшинство, и неохотно, а кто и принимает лозунги, не хотят подчиниться власти эмигрантов — «мы, питерцы», были тут на местах, на постах. Нашей эмигрантской стороны мало. Но изумлялась Коллонтай, что при этом невыгодном соотношении и ещё не направляя уверенно ЦК — Ленин осмелился и победно провёл в эти дни городскую конференцию партии. Больше того: на послезавтра отважился назначить уже и всероссийскую конференцию (скорей утвердить ЦК и захватить аппарат!). Коллонтай там будет опять от Петрограда, Шая Голощёкин как бы от БЦК, кой-кто верный успел смотаться на места и вернуться с делегатством, как Клим Ворошилов в Луганск, да вот Сима Гопнер застряла в Екатеринославе, а Макс Савельев потерпел поражение в Киеве от Пятакова и Боши (но Ленин всё равно решил его в конференцию посадить).

Александра Михайловна восхищалась рискованной и блистательной тактикой Ленина, особенно в сравнении с исполкомской и правительственной: две недели назад совершенно одинокий,

оттолкнутый, осмеянный, — он вот уже начинал вести за собой партию.

И вместе с необыкновенным моментом истории Александра Михайловна сама в себе чувствовала редкий расцвет, здоровье, мобилизацию душевных сил, политического соображения (да почти же равняясь с Лениным! достойный его партнёр и в эпатажном выступлении в Таврическом) и жажду публичных выступлений — и полную же личную свободу в 45 лет (уже без Сани Шляпникова), сорок лет бабий век, но в сорок пять ягодка опять, некоторые товарищи с трудом соблюдают с тобой партийное хладнокровие.

Что Саня хорошо успел в марте — это вооружить рабочую гвардию. (А потом попал под трамвай, но, к счастью, не тяжело.) В последнюю дань ему послезавтра Коллонтай читает в университете лекцию: «Самооборона рабочего класса».

Пока что — эта самооборона уже началась на улицах. Но — недостаточно для победы, а вызвала отпорный гнев, берегись! И сегодня Александре Михайловне от Ленина — срочнейшее задание: спасти положение!! Идти на пленум Совета и там возглавить большевиков: Каменев — слишком академичен, он не боец, оттеснить и его, и группу питерских, Фёдорова, и быть главным оратором от нас. Вчера большой Совет показал, что он — огромная сила, и сегодня вся ситуация заостряется в нём. Хотя мы там — в углу меньшинстве, но надо сделать невероятное усилие и повести за собой Совет. Категорически отбить все обвинения в стрельбе! Конечно, Исполком — безнадёжные оппортунисты, нам их пока не взять, но для масс и нет ИК, никто не разбирается, есть Совет. Взять его — и вся сила у нас. Вы прирождённый боец, и вы обаятельны, если не вы повернёте Совет, то и никто. Тактику — вы сообразите на месте. А если не удаётся — то надо просто сорвать собрание, не дать им нас заголосовать.

Послали своих захватывать скамейки ещё с пяти часов дня — чтобы большевикам сидеть вместе: так — дружней, плотней, шумней, быстро передавать решения, мгновенно реагировать. Меньшинство, если оно сплочено, — разрезает большинство, проходит через него насквозь.

К назначенным шести часам и Коллонтай пришла туда, села (под жакетку надела алую блузку, сверкают отвороты). А президиума — всё нет (и Каменева с ними). Значит, Исполком весь

день торгуется с буржуазным правительством, жалкие робкие куклы.

Фёдоров недоволен, что отставлен, и другие питерские повара чивают. Но уже они Лениным укрошены.

Больше половины зала — в солдатских шинелях. Плохо, серое крестьянство задавливает рабочий класс.

Но и: мужскую толпу она не может не победить.

Нетерпеливо вертелась: когда же? Скорей бы! На больших часах зала уже семь — а головки всё нет, всё торгуются.

А на набережной, под окнами Морского корпуса, волнуется толпа, сошлось сюда несколько заводских колонн. (Это — мы поработали.) Всё те же грозные лозунги. Членам ИК придётся через это гудение пробираться да какие-то и объяснения снаружи дать. Всё — подействует на нервы, всё — надо использовать.

А две тысячи депутатов — хозяев России! — не кричали, не вызывали, не топали ногами — покорно переполняли зал, ждали своё возглавление. Масса...

Не сказать этого нигде вслух, но к классовой теории, но к диктатуре пролетариата надо сделать поправочку на яркие личности. Без группы ярких личностей никакая диктатура пролетариата ничего не потянет. И тревожный момент, что сейчас в головке большевиков ярких личностей — два с половиной и обчёлся. Остальные здесь в Петрограде — все серяги, нет лица.

Ну, разумеется, вот приедет Троцкий, это — пламя, это характер! Но если он к нам примкнёт. Ну, разумеется, Парвус, — но он уже германский. Ну, пожалуй, Бухарин да Радек, когда доедут. Ну, вот Раковский уже в Одессе. Ну, может быть, толк выйдет из Ногина. А больше ведь никого, всё исполнители, жуть! Маловато для России?..

Но вот — и головка ИК. Сюда пробирается Каменев, сейчас расскажет. А в президиум заходят неразлучные длинный Церетели и маленький Чхеидзе, прямо Пат и Паташон, молоканский лоб Скобелев и вся, вся соглашательская сволочь. Лица довольные. (Каменев сообщает: лакейский торг, Церетели сторговался с ними ещё утром, не знаю, почему не слали своей поправки весь день. Хотят заморочить Совет «большой победой» над правительством, а сами — лизать ему пятки.)

Начали — в двадцать минут восьмого.

Начал — Чхеидзе, слабым голосом, волоча уже непосильную председательскую должность. При встрече с министрами оказа-

лось, что Временное правительство вкладывает в свою ноту то же содержание, как и мы в декларацию 14 марта.

Какой цинизм!..

Вот, получено необходимое разъяснение, его объявит товарищ Церетели.

И — поднимается социалистический князь. Как быстро он возвысился в главу всего Совета, едва воротясь из Сибири. Он — опасен: тем, что приятен наружностью, голосом, и говорит и мыслит ясно, и впечатление искреннее. (Он искренен и есть, он — искренно заблудился.) Но — и не слишком опасен, Ленин не считает его вождём: нет в нём борцовской хватки. Если схватиться насмерть — он не устоит.

А сейчас он вот как: вопрос о мире должен быть поставлен в международном масштабе, его не решить силами одной русской демократии. (Это мы знаем, и согласны.) Мы рассчитывали, что наш отказ от аннексий вызовет встречное движение мировой демократии. Когда была обнародована нота Временного правительства, мы с тревогой прочли формулу «борьба до решительной победы» — известную формулу империалистической политики, которая означает войну до безконечности. Но каждая неясность — удар по демократии. Временное правительство ответило нам, что дело только в неудачной формулировке. (Ах, шкуры цензовые!) Тогда мы потребовали издать разъяснение, чтобы поставить все точки над «и». (И что поняли, князь, депутаты в этом «и», и сколько точек?) И вот сегодня правительство прислало нам разъяснение, которое будет передано и послам держав.

Уклончивый лепет перепуганного правительства, отписались ничтожной бумажкой. Тут бы и пугать их дальше, но Церетели, конечно, спешит объявить «разъяснение» успехом Совета.

И вот, мол, конфликт, который *мог бы произойти*, устранён. (А — про наши колонны? молчит, отметим.) Таким образом, правительство не порвало с демократией, оно доказало, что заслуживает нашей поддержки. Если бы Временное правительство действовало под влиянием буржуазии — тогда мы должны были бы взять власть в свои руки, хотя мы сейчас к этому ещё не созрели. Нет больше поводов подозревать правительство, оно с народом. Вот — Разъяснение. Это начало международного обсуждения отказа от насильственных захватов. Когда и другие государства пойдут по нашему пути, то мы и приблизимся к миру. Временное правительство будет продолжать оставаться у власти,

а мы, поддерживая его, будем действовать заражающе на пролетариат других стран. (Какая чушь! Сколько таких утончённых буржуазных подголосков пришлось выслушивать в Европе — а вот они уже и у нас есть.) И вот, для нашего собрания — резолюция, читает. (Та же уклончивость, выложенная другими фразами. Потерпев позорное поражение — изображают победой.) Горячо приветствуем митинги и демонстрации пролетариата (которые сами же останавливали из всех сил). Западные правительства теперь поставлены в необходимость высказаться перед лицом своих демократий... (Лови ветер!) И в конце, от себя: это — наше великое завоевание, поздравляет Совет с победой.

И — какая овация! какая овация! Бедные обмороченные массы... Да, бой сегодня будет отчаянный.

А президиум — явно трусит.

Вторым оратором — соглашатели выпускают Станкевича. Кажется, у них это уже съезженная пара. Станкевич — не гонится очаровать слушателя, но — военный вид, но — строгие простые фразы, в каком-то отношении он даже опасней.

Он, видите ли, и вчера говорил, что это всё — недоразумение. Инцидент исчерпан, но он показал, что мы неустойчивы: из-за того что правительство не нашло подходящих слов, у нас пропало два драгоценных рабочих дня. Мы, члены ИК, думали, что рабочие считаются со своими органами, а полки и рабочие выступили помимо нас. (Ага! довольно жалкая позиция! — и чем дальше, тем больше сорвётся.) Но мы сможем повести вас к победе, когда вся демократия будет согласована и сплочена, — поэтому слушайте нас. Лозунг «долой Временное правительство» возник без нашего разрешения. (Но — не говорит *от кого!*) Применить силу можно, но когда есть организация. (Вот это верно.) И как мы можем свергать Временное правительство, если мы — только Петроград? Но нам нужна более твёрдая власть, да, и лозунг завтрашнего дня: социалистам войти в министерство. (Начиная с Мильерана, этой дорожкой вы все и кончаете, ничего умней не придумаете.)

Тут выскочил эсер Шапиро, довольно лихой, и говорил не в масть президиуму. Если бы правительство было наше, оно б уже 14 марта обратилось к иностранным державам с нашим Манифестом. А раз не сделали — значит не наши. Хотя и выдвинуты революцией — а цензовые. Правительство ведёт дело к контрреволюции, Гучков уволил только 60 генералов, а их полторы тысячи.

И Чернов призывал к спокойствию. (В пику и Чернову, молодец.) Но если мы окажемся в хвосте — нас многие покинут. Необходимы революционные действия — и их нельзя откладывать! Вот, например, фронт решил перевести Николая II в крепость, он был преступным царём, а почему сидит во дворце? Народ требует знать, для чего он воюет, кто настоящий враг? (Да молодцы такие эсеры, надо у них поддерживать крайних. А то сегодня в эсеры записывается уже каждый извозчик.) Большинство знает, что эта война — для промышленников, а Германия России не враг. Мы должны сделать перетасовку, особенно Милюкова и Гучкова, чем скорей уйдут — тем лучше!

Видимо, в президиуме произошло недоразумение, перегибались и шушукались. Наверно, Шапиро записался фуксом, думали, что он от всей эсеровской фракции. Теперь выпустили — точно от фракции. Этот — уже приглаженный: хотя партия эсеров и стоит за революционные методы, но головы у населения должны оставаться на плечах. Спокойствие — прежде всего, захват власти сейчас преждевременен. Совет должен войти в сношения с социалистами других стран, чтоб и они там тоже отказались от аннексий и контрибуций.

Ну, очередь большевиков. Коллонтай решила: пусть сперва выступит Каменев, подшептала ему последние импульсы, и не оправдываться в стрельбе, ни слова о ней, может так и замнётся. А сама намечала, в громовое развитие, выступить позже, под конец — важней.

Каменев начинает правильно, но в слишком спокойном тоне, так не захватить массу:

— Я думаю, что нота и всё, что разыгралось вокруг, не может быть исчерпано изданием новой бумажки, которой хотят усыпить бдительность революционеров. Правительство бросило вызов демократии, и я хочу знать: как оно осмелилось это сделать?

Всё — верно, но нет огня, порыва, а без огня не побеждают и верные мысли. Зал — не захвачен, нет, переливчатый голос Церетели и командная точность Станкевича убеждали их больше, чем сибаритская манера Льва Борисовича:

— Проявилась классовая психология правительства, но ответственность падает и на нас, раз мы позволили такую ноту опубликовать. Какой эффект это произвело за границей? Мы здесь говорим: «можем правительство свергнуть по телефону»? Но вы упиваетесь своей силой, а ничего не предпринимаете. А что, если Вре-

менное правительство заявит: мы будем исполнять царистские договоры? Успокаиваться на объяснительной бумажке — это признак нашей слабости, это значит — проигрывать революцию. Нет никаких данных доверять Временному правительству, его надо свергнуть, но это невозможно, пока его защищает ИК.

Так-то так, но вяло, кабинетно, только профанировал великую мысль. Нет, из Льва Борисовича бойца не будет никогда, он — эстет, аналит. Острую большевицкую тактику он принимает неохотно, как будто сам стыдится непримиримости своей позиции.

— Спасти русскую революцию может только то правительство, которое способно сейчас дать мир, — и, предвидя возгласы и обычные обвинения большевикам: — Понятно, что не сепаратный, нет. Только тогда мы покончим с войной, когда зажжём мировую революцию.

А дальше — от фракции меньшевиков, этого хоть и не слушай: что может быть в мире бледней и бездарней меньшевизма?

Они, конечно, присоединяются к резолюции ИК. Политика большевиков, конечно, гибельна. Захватить власть легко, но трудно удержать её в руках. (О, дайте, дайте нам власть! мы вам покажем, как её удержать!) При тяжёлом наследии царизма, если пасует Временное правительство — то разве мы бы справились лучше? Пролетариат не может сейчас брать власть, чтобы завтра не провалиться. Мы сейчас не можем решать социальные задачи. Нам надо лучше сорганизоваться, чтобы показать себя на Учредительном Собрании...

Бездари! Только на это и хватает вашего засушенного доктринёрского умишки. Да посмотрите в окно, как бушует набережная! Наши массы! Наши плакаты качаются — читайте, пока ещё не погас закат.

(Уже выходил Чхеидзе туда, их успокаивать, поднимали его на крышу автомобиля, а он благодарил рабочих за их пролетарскую бдительность и уговаривал ждать терпеливо до завтра, пока опубликуется в газетах Разъяснение, — жалкий старый шут; подошёл свежий большевик, тут пересказал через ряд.)

И ещё один меньшевик. Испытывает, заячья душа, глубокое восхищение перед тем, как Исполнительный Комитет сумел выйти из безвыходного положения.

Само собой, после каждого соглашательского выступления дружно-слитный сектор большевиков поднимал такой топот, шум

и свист, что заглушал всё собрание. И каждый оратор уже заранее поглядывал в их сторону с опаской.

Но вот выходит русобородый красавчик Чернов. С этим следует осторожней, чтобы не конфликтовать со всей партией эсеров. Коллонтай дала знак своим — пока не шуметь.

А Чернов — не оценил молчания большевиков и стал с издёвкой разбирать выступление Каменева. Нам надо было показать, что революционная демократия сильна, что мы можем давить на правительство, — и мы показали. (Мы, а не вы!) Если мы дальше не можем терпеть правительства — то что ж мы тогда можем? А что нам делать, если правительство подаст в отставку? (Сектор большевиков дружно расхохотался и чуть сбил оратора.) Сегодня товарищ Каменев предлагает свергнуть Временное правительство, но три дня назад он же говорил (а потому что всё пытается спорить с Лениным, и вот отдаёт козыри), что лозунг свержения Временного правительства может затормозить ту длительную работу, в которой заключается основная задача его же партии. Чего же именно хочет товарищ Каменев?

И зал, в отместку большевикам, бурно аплодирует. Коллонтай сжала губы — подошло ей взорваться и всё исправить.

— Предлагаю свергнуть Временное правительство, товарищ Каменев не предложил никаких положительных мероприятий. Он предлагает составить правительство другим, а сам он будет только критиковать. Страна, говорит, накануне гибели, но сам он не хочет идти ни по какой дороге, — он Иван Царевич на распутьи трёх дорог.

Смех и аплодисменты. Давно кончились регламентные 10 минут, и 20 минут, но никто и не тянется останавливать Чернова. А он — любит поговорить, ох и любит же, медленно-медленно перебрать по всем мелким косточкам. А для революционного вождя — это совсем не плюс, он никогда не удержится в темпе событий, и тем более не возглавит их.

— Но, товарищи, минута ответственная, и если вы пока не чувствуете себя в силе взять власть, то не берите!

Мудрость филистера. А зал — в одобрительных возгласах. Убедили бедняг слабоголовых.

— Пока у нас раздоры и коренные расхождения — я не советую вам захватывать власть, чтобы завтра её упустить, и предупреждаю об опасности таких лозунгов.

Вот тут-то ты и недоумок. Так рассуждая, ты никогда власти и не возьмёшь. Уже переняла Коллонтай, восхищённо переняла метучую тактику Ленина: брать власть — всегда! стремиться взять — во всякий данный момент! брать власть и тогда, когда это кажется совершенно невозможным!

Тем нестерпимее ждать, что следующая — ты. Первый опыт, первое такое крупное выступление, — сконцентрироваться! Не дать ослабиться ни одному нерву. О стрельбе никто ни слова, — тем более мы в атаку! Кажется, уже кончил, уже выложил всё? Нет, не унимается.

Ещё, и ещё: как для партии эсеров интересы крестьянства выше всего, и как... И разве, положи руку на сердце...

Наконец, и никем не останавливаемый, — иссяк. И неизбалованная толпа аплодирует ему. (Разумеется, большевик — ни один.) И тут — Чхеидзе выкидывает предательский номер: предлагает — прекратить прения! Полчаса сносил невыносимую болтовню — а теперь прекратить прения?!

Сколько есть ножек у скамей, сколько топота у ног, сколько есть воздуха в глотках — ураган негодования большевического сектора! И пронзительный свист разбойничий. Ка-ак? Не-е-ет!! Большинству можно, а меньшинству нельзя?! Позо-ор!! Диктаторская власть!! Провокаторы!! Долой их!!

— Уходим! Уходим!

Кто скидывал куртку — надевает. Уходим! Позор! Провокаторы! Диктаторы! Подавляют свободу мнений!

Какая радость во всякой схватке!

Мы — меньше четверти зала, а подняли шум за четыре таких зала.

И президиум уступает, и Коллонтай всходит на трибуну. (И солдаты разинули рот на красавицу!)

Упущено? невозможно? А — повернуть зал! Вскинув прекрасное лицо, откинув кудри, со всею звонкостью красивого голоса:

— Я призываю Совет рабочих и солдатских депутатов — к непримиримой борьбе против Временного правительства! Оно идёт рука об руку с английской и французской буржуазией!

Резкий голос, по нервам:

— Зато не с германской...

Вперёд! своё: — Попытки примирения с Временным правительством, размножение бумажек — пустая оттяжка! И грозит на-

шему Совету расхождением с волей революционных солдат на фронте! и в Питере! и с нашими зарубежными братьями!

Каждая фраза — как лозунг! как выстрел! призыв к опоминанию! Должны ж они быть подвластны чувствам! — и чувству любования неотразимым оратором, и великому чувству Интернационала:

— Берегитесь! Не принимайте компромиссной резолюции! Хотя её защищают популярные люди — но она ложна! Подумайте о Карле Либкнехте в германской тюрьме! Вы протянули народам руку мира — а сами сохраняете империалистическое правительство? Мы должны готовиться к моменту, когда власть перейдёт к нам, к Совету рабочих и солдатских депутатов! И только тогда мы получим мир!

А — слушают! Это — смело, это прямо, это не увёртки соглашателей.

Слушать-то слушают, но и гудят по залу. Вдруг ощущение, что твоё обаяние истекло без полного эффекта.

Так о-ше-ло-мить потоком предложений: немедленно устроить всенародное голосование по всем районам Петрограда и окрестностей! — как относятся к ноте? какую партию поддерживают? какого хотят правительства? На заводах! в полках! на улицах! — всюду устраивать мирные дискуссии и митинги! Полная свобода обсуждений! (И — засумбуришь столицу на несколько дней.)

Видела краем глаза: к президиуму пробиваются Войтинский и Дан. Не придали значения (слова не отнимут). Потом — потеряла их, ушли ей за спину, и не видела, как они поднялись и шептались с Чхеидзе и Церетели, — и вдруг Чхеидзе набрал голоса перебить Коллонтай, и голос был так необычно болен, как будто сына он потерял не месяц назад, а сию минуту:

— Товарищи! Срочное трагическое донесение. Соблюдайте спокойствие.

Ах, перебил. И этому тону — она растерялась возразить. В зале сразу — гробовая тишина. А Войтинский (цепляет сердце, что вместе с Саней был в аварии) тут же подхватил от стола президиума: вот, они ездил сейчас в типографию «Известий». И чему свидетели сами: на углу Садовой и Невского стрельба пачками! На толпу безоружных солдат и горожан набросилась другая толпа, вооружённых, и открыла беспорядочную стрельбу. Все бросились

врассыпную, падали на землю, сразу никого. Осталось два убитых солдата, несколько раненых, а вооружённые ушли откуда пришли, по Садовой.

— Кто они? кто они? — голоса из зала резкие. (Упало сердце Коллонтай: опять наши, шляпниковская гвардия. Как несчастно! Теперь — мы горим.)

Но Войтинский — всё же для каждого социалиста есть рубеж социалистической совести:

— Я знаю, кто они, из какого места. Но пока считаю преждевременным называть.

— Это большевики! — орут из зала.

— Долой мерзавца! — хором кричат наши сразу же, не подведут. — Оскорбляет целую партию! — А кто и кинулся пробиваться на голос, морду набить.

Во всём зале — перекаты криков, ругательств, кажется — перестрелка начнётся вот сейчас тут. Чхеидзе без перерыву звонит в колокольчик, но только по соседству его и слышно.

Что теперь? Как исправить? Зал враждебно буйствует. Сами же мы и испортили, левая рука не знает, что правая. И наши активные силы — там, на улицах, а здесь не хватает нас.

И Коллонтай не находилась. Да что можно через этот грохот?

Долго крутилась буря в высоком зале. И уже не колокольчиком, но поднятыми руками нескольких из президиума воззвали послушать — Дана.

Плотный, холодный, круглолицый (из самых безнадёжных и наглых соглашателей), озабоченно и неприветливо (его манера, отчего никогда не будет вождем масс) продолжил информацию. После суматохи около пострадавших снова собралась толпа. И раздаются нарекания на рабочих. Раненые солдаты окружены солдатами, которые говорят против рабочих, что это рабочие стреляли. Это очень опасно. Надо принять все меры против контрреволюции. (Всё же — и он не смеет выговорить, что стреляла — рабочая гвардия. Рубеж совести. Ещё не так плохо.) И раздаются нарекания — на сам Совет! Необходимо что-то, как-то...

И опять, опять закрутились вихри по залу, не давая никого слушать.

Что делать Александре Коллонтай? Выступление сорвано. Тихо элиминироваться (но не тупя глаз, алые отвороты!), спускаться к

своим, искать решение там. Небывалый случай! — большевик, не dokonчив речи, добровольно уходит...

В президиуме совещаются, совещаются, пишут что-то. Потом встаёт в рост высокий Церетели и поднимает руку. Стоит так. Удивительное у него влияние: вот смолкли, его — готовы слушать.

А он — не сам говорит, он умирил зал для Чхеидзе. А Чхеидзе дал слово Скобелеву. А Скобелев выступил на опустевшую трибуну и стал читать проект постановления, декретным голосом:

— ...Прекратить манифестации, демонстрации и митинги на улицах в течение двух дней. Считать изменником делу революции всякого, кто будет звать к вооружённой демонстрации, кто позволит выстрелы на улицах...

Поворачивают Совет против большевиков! Молненное кручение: как остановить? что противопоставить?

Скобелев от себя:

— Те, которые открыли стрельбу, — изменники, враги народной свободы. Они — тёмная сила, с которой надо бороться всеми... — запнулся, — законными мерами.

А-а-а!.. ну, тут мы вас...

— ...Пытаются вызвать гражданскую войну, которая может погубить все завоевания народа.

И Дан, на правах свидетеля, добавляя в паузу:

— Не хочется верить, чтобы рабочие могли стрелять в солдат. Тут работала чья-то провокаторская рука. Тут дело контрреволюции, а потому нужны решительные меры.

Так! Коллонтай озарилась — и с места, во весь голос:

— Объявить изменниками тех, кто травит товарища Ленина!!

Скобелев замямлил:

— Такой резолюции принять нельзя, но мы — против всякого возбуждения страстей. Поручить Исполнительному Комитету прекратить вообще всякую травлю.

Прорываются из зала ещё предложения:

— Закрыть все буржуазные газеты на несколько дней! Не дать им агитировать!

— Осудить политику Ленина!

Могучий рык наших. Отвергнуто.

В этом шуме — проводят голосование за свою соглашательскую резолюцию о ноте и собирают нужное им большинство.

Заголосовали-таки нас. Скандал.

Сектор большевиков стучит скамьями и топочет ногами: дайте огласить нашу, большевицкую резолюцию!

Не дают.

Президиум настаивает сквозь гул и беспорядок: всем членам Совета теперь разойтись для энергичнейшего воздействия на товарищей, для прекращения кровопролития. Оружие — всем оставлять в казармах и на заводах. Сейчас расходиться по улицам вместе по два, солдат и рабочий, чтобы видели, что мы друг другу не враги. И объяснять смысл постановления Совета.

А мы — остаёмся здесь! (Команда.) Мы — наступаем!

Чхеидзе складывает руки над головой почти молитвенно. Не слышно, но можно догадаться: только не допустить розни между рабочими и солдатами! Тогда — мы погибли.

Большевики собрали глотки воедино:

— Никуда не уходим! Продолжаем собрание! Объявить председателем — товарища Ленина!

85

Топчась в большой толпе, особенно позади, медленно что доведешь. Толклись, толклись на Марининской тысячи уже в сумерках и даже при фонарях, и тут узналось: наши министры соберутся в доме военного министра, на Мойке.

И начался медленный отток и круговое завихрение — и потекла часть толпы туда. На углу Гороховой толпилась своя большая сплотка с флагами, ожидая, что вот-вот тут будет проезжать Милюков.

И воодушевление одних заставило их стоять и дальше. А воодушевление других — течь к довшину.

А противников, а врагов, а ленинцев — уже никого тут не оставалось, даже отдельных агитаторов. Везде — победившее здравомыслие.

Долились до довшина, а тут уже дотолпу нет. Стали звать, вызывать, просить, — из двери вышел на тротуар, в сопровождении двух адъютантов и в кителе без погонов, — всей России так известный, приземистый, даже квадратноватый Гучков. Поднялось громкое «ура». Значит, не обойтись без речи.

Голос его не был сильным сейчас, но у набережной Мойки и глубина небольшая, и кто протиснулся к дому, тем слышно. Просил военный министр и дальше поддерживать Временное правительство. И дать отпор тем, кто хочет добавить к ужасам трёхлетней войны ещё и ужасы внутренней. Приложить все усилия, чтобы самим не пролить драгоценной русской крови, и так уже сколько её пролито германцами.

Ближние слышали, и кричали «ура», и, подхватив министра на руки, внесли его внутрь. Но те, кто стояли на Мойке в стороне, — стали просить, кричать, чтобы министр вышел на балкон и сказал ещё оттуда.

И он — появился там, и сказал строже:

— Дорогие друзья! Новый ужас братоубийства устроила кучка людей, которым не дорого будущее России, и даже уверен я, что эти люди оплачиваются немецкими деньгами. И тёмная, невежественная толпа пошла за ними. Никогда Россия за всю историю не переживала такого ужасного момента, может быть и в Смутное время. Да будут эти люди прокляты! Я призываю вас к объединению. Поклянёмся, что мы не дадим растоптать свою свободу. — (Из толпы: «Клянёмся! Клянёмся!») — Поклянёмся, что мы поддержим наших братьев, которые страдают в окопах. Я верю, что замешательство пройдёт, да оно уже и кончилось, — и Россия снова возвеличится!

— Так! Так! Ура! Клянёмся! — одобрительно и долго кричали ему, когда он уже и ушёл, — и кричали против Ленина. А за Лени- на тут никто и не заступался.

А после Гучкова вышел на балкон подбинтованный солдат со свеженьким Георгием на груди. Толпа навестилилась. Он объявил, неробко:

— Я состою в автомобильной роте. Когда я сегодня днём увидел шайку бандитов-ленинцев, которые мешают течению жизни, и их флаги «долой войну», и сами кричат «долой войну», — а по- моему, «долой войну» — это «долой Россию». И я с товарищами солдатами стал протестовать, и древки у них вырывать, ломать. И в нас стреляли, и меня ранили. И вот только что министр Гучков наградил меня Георгиевским крестом.

В толпе поднялось ликование.

— Как фамилия?

— Моя? Гилевич!

— Да здравствует Гилевич! Спасибо Гилевичу!

А тут стали съезжаться и министры, правильный был прогноз. Первый — князь Львов, и его встретили оглушительными криками доверия. И он в ответ говорил перед дверью, но таким слабым голосом, что остальным потом передавали по рядам.

Что он благодарит за поддержку. Что без этой поддержки правительство не могло бы жить. И вы все хорошо делаете, что боретесь против анархии, — но боритесь только словом, только словом. А уж свободу охранит Временное правительство, которое готово и умереть за всех вас. Чувство чести русского народа поможет ему найти путь к правильной жизни и устоять против кучки смутьянов.

Не успели отпустить князя с благодарностями, как в огромном автомобиле подъехал толстенный Коновалов. Кричали «ура», получили речь и с него:

— Граждане! Наша основная задача быть на высоте требований, которые нам ставит история. Несколько месяцев назад русский народ был рабом. А теперь он свободен, и воля его будет выражена на Учредительном Собрании.

Ура-а-а! Тут перехватили Терещенку, с белоснежной грудью и чёрной бабочкой:

— Доверие, которое мы встречаем у населения Петрограда, и поддержка, которую в эту тяжёлую минуту нам оказывает Совет рабочих депутатов...

Ура-а-а-а! А вот и Некрасов. Бойко, звонко:

— Граждане и солдаты! Приношу вам глубокую благодарность за доверие. Мы относим его не к себе, а к той здоровой идее государственности великого русского народа, которая возьмёт верх над анахией.

Так дождались и героя дня — Милюкова. Он остановил свой мотор поодаль и хотел пройти скромно мимо, но не тут-то было. Потребовали речи, да с балкона. И вот — его достойная фигура с седой головой в очках выступила на балконе. Ещё и луна освещивала туда сквозь деревья. И полилась как будто специально подготовленная речь:

— Граждане, в вашем приветстве я нахожу новые силы для своей ответственной работы. Скажите мне, в чём я заблуждался, — и я искренно покаюсь вам в своём заблуждении. Ошибался ли я, когда говорил, что Россия не заключит сепаратного мира? — («Нет,

нет!») — Ошибался ли я, когда говорил союзникам, что Россия требует освобождения угнетённых национальностей? — («Нет, нет!») — Имел ли я право сказать, не желая аннексий, что мы не дадим врагу отрезать у нас родную землю? — («Да! Да!») — Согласны ли вы, что нужно добиться, чтоб эта война была последней войной? — («Да! Согласны!») — Если вы согласны — то вот это и было в нашей ноте, которую приняло единогласно всё Временное правительство! Граждане! Я — первый слуга народа, и первый охотно подчинюсь его воле. И если бы воля его была иной — я счёл бы долгом сложить с себя бремя власти. Когда из тёмных углов выходит измена — свободная воля русского народа нам особенно дорога. Мы опираемся не на силу штыков, а на ваше доверие. Но если вы сегодня пришли сюда эту власть защитить, то я могу сказать вам: да, русские граждане, вы заслужили свободу, вами завоёванную, если умеете так её отстаивать! Мы ещё с вами встретимся в хорошие, светлые дни нашей победы над врагами! Я не посмел бы вам этого сказать, если бы не знал, что это и будет так!

Долго гудела овация в воздухе, Милюков раскланивался. Наконец ушёл внутрь, должно было засесть правительство.

И те, кто знали, что Керенский, по несчастью, в самые эти роковые дни как раз и заболел, — понимали, что больше уже ждать некого, и начали оттекать. А те, кто не знали, — справедливо ждали Керенского.

И — надежда их не обманула, вот что! Да! Вдруг раздался резкий автомобильный рожок со стороны Невского — толпа готовно раздвинулась — и при фонарях набережной увидела своего любимца.

Что поднялось! Какие вóсплески! Славили! просили речь!

Но Керенский — бледный, тонкий и, видно, еле на ногах, всё так же одна рука подвязана у бедняги, направо и налево показывал свободной рукой на своё горло, что говорить он — увы, не может.

И адъютант объявил, что гражданин министр Керенский вчера был очень серьёзно болен и совсем не выходил, а сейчас больной приехал на экстренное заседание, но врачи запретили ему говорить.

Увы, увы. С криками «да здравствует Керенский!», «да здравствует Временное правительство!» — толпа стала расходиться.

Керенского — внутри не ждали. Покошились, переглянулись.

Члены правительства начинали заседание смущённо, придавая лишней неискренней бодрости поглядываниям друг на друга.

Дела их чётко вёл Набоков, строго озабоченный. Были вопросы очередные, с подготовленными заключениями. Были вопросы внеочередные. А можно было обсуждать события сегодняшнего дня.

А можно и не обсуждать. За весь этот день (как и за вчерашний) правительство никак не вмешалось в беспорядки на улицах, предоставляя расхлёбывать их Исполнительному Комитету. Ничего не сделало даже для своего сохранения. А — как само потечёт.

И теперь они поглядывали друг на друга, с трудом скрывая своё изумление, что они благополучно пережили эти два дня, и вот — целы. И вот — заседают.

И анархия подавлена.

Милоков наливался победой. Надо сейчас постановить, что ни один министр не имеет даже права — уйти с поста по политическим соображениям.

А Гучков мрачно опустил голову подбородком на грудь. Ему было стыдно этих двух дней. Себя в них.

И потрясён был неудачей Корнилова. И не помог ему ничем.

Но об этом всём — этим министрам он говорить ничего не мог больше.

86

Хотя «красная гвардия» так и не выиграла Невского за целый день, а даже всё более проигрывала его от дневной стрельбы, — но, по большевицкой (и межрайонской) воле, какие заводы слушались их — те должны были своё промаршировать по главному проспекту, хоть и в сумерки, чтобы не дать буржуазии покойно ликовать.

И так они проходили все вечерние часы, и всегда по этому плану — с вооружённой колонной впереди, а то и сзади. Осмелевшая многолюдная нельская публика уже не так пугалась винтовок, а всё же остерегалась. Но даже и после дневной стрельбы нигде не появилось в отпор вооружённых солдат. А рабочая милиция, красногвардейцы, хоть и бодрились своей заряженной винтовкой за плечом, но не было у них ни солдатской уверенности с ней обращаться.

ся, иные ещё и не стреляли ни по разу никогда, ни — развязности всамделишно стрелять в живых людей. Шли-то они с винтовками, но сами побаивались их.

Так, обоюдно, обходилось без свалок весь вечер, хотя перебранка металась самая резкая:

- Ленинцы!.. Долой Ленина!..
- Долой буржуев!.. Да здравствует Ленин!
- За немецкие деньги!
- Зажрались нашим потом!
- Смерть буржуазии!

А уже потрудились и успокаивающие безоружные солдатские патрули, и возвратившиеся городские милиционеры, унимали, отводили публику, уже на Невском становилось куда пореже. К десяти часам казалось: больше никого и не будет, всё кончилось. И жители центра ещё толпились — довозмутиться и доторжествовать.

Но тут появилась на Невском, со стороны Адмиралтейства, ещё длинная колонна, к фонарям да при луне хорошо видная. Так же вперемежку вооружённые и невооружённые, да от разных заводов, отвечали:

- Мы с Нобеля. Гуляем.
- Тут ото всех районов, междурайонцы.

Были и с Айваза, с Экваля. Несли: «Долой Милюковых и Гучковых!», «Вооружайся, весь рабочий народ!», «Война войне!».

В передней вооружённой группе шло человек семьдесят-восемьдесят, с винтовками, вынутыми револьверами, обнажёнными саблями. В этот раз среди них было и немного вооружённых солдат.

Так же по всему проспекту поднялась перебранка с публикой — «долой ленинцев!», «долой буржуазную травлю», несколько раз из колонны крикнули вялое «ура», кто затевал революционную песню, но уже видно было, что опоздали, устали, не те дневные первые, хоть и сабли наголо.

Перед Садовой им преградила путь цепь успокаивающих солдат под командой юнкера инженерного училища, и от имени Совета просили сохранять порядок, свёртывать плакаты против правительства и войны и расходиться. Из передних ответили, что они уже и поворачивают, идут по Садовой к себе на мост и домой.

- Мы сохраним порядок, но если нас тронут — откроем огонь.

Тогда солдаты стали шпалерами, очищая проход, и манифестация повернула по Садовой.

А оттуда навстречу втесался трамвайный вагон. От рабочих на него кричали:

— Не пускайте вагона! В нём все буржуи сидят! Пусть вылазят!

Вагоновожатый хотел медленно ехать и в окно своё уговаривал пропустить его — но перепуганная публика в панике стала выскакивать из вагона.

И так колонна рабочих прошла в заворот трети на две, но растянулась: передние подходили уже к Инженерной, а хвост только поворачивал с Невского. А тут, на углу, собралось много публики и солдаты — они кричали, теснились к колонне ближе, и стали вырывать последний плакат. «Хвост» был слабоват, а панельной публики много.

— Товарищи, не позволяйте! Буржуазия хочет отнять!

— Наше знамя отымают! Отомстим!

Тогда от этого хвоста несколько рабочих побежали догонять своих, чтоб вернуться на выручку. Вослед побежал и инженерный юнкер и уговаривал ушедших не возвращаться всем, а только дать малую подмогу, и сейчас он со своими солдатами выручит весь хвост.

Но — уже нельзя было отговорить! От главного шествия побежали вооружённые назад, снимая винтовки. Впереди их бежал молодой, лет тридцати, с тёмными усами, с красной повязкой на рукаве, но даже не рабочий, не в кепке, а в мягкой чёрной шляпе с полями и довольно интеллигентным лицом, он запомнился свидетелям. И, когда увидел, что солдатская ручная цепь мешает им бежать назад, — поднял руку с револьвером и дал выстрел как сигнал.

И бегущие рабочие защёлкали затворами, дали нестройный ружейный залп — по солдатам! И вообще — вдоль Садовой, в сторону Невского, в кого попало!

И из уговаривающей цепи один солдат в автомобильной форме, Гаркуля, упал мёртвым, и кто-то рядом ранен, — и около них тотчас появилась медицинская сестра, да та самая Женя Шеляховская, что и днём попала в свалку и стрельбу на этом самом перекрестке.

И от стрельбы — никто уже не дрался за плакат, а все бросили его, — началась паника во всей массе людей — и невской публики, и рабочих, всё перемешалось — одни кинулись в кофейную и в синема «Мажестик», другие падали на тротуары и мостовые, третьи бессмысленно поднимали руки вверх, кто убегал подальше к Гос-

тиному Двору, кто хлынул к завороту Публичной библиотеки, и с ними вместе вооружённые рабочие, и оттуда тоже стреляли наугад, сами не зная в кого и зачем, от одной непривычки к оружию.

Это были уже не залпы, не исполнение команд — беспорядочная неутихающая стрельба, выстрелов сорок. Как раз сюда, в эту пятиминутную панику, под обстрел, попал и глава городской милиции общественный градоначальник Юревич, и метался со своим адъютантом. Сюда же едва не попали, проезжая в автомобиле, — члены Исполнительного Комитета Дан, Стеклов и Войтинский.

Трамвайный вагон удирал от стрельбы через Невский, к Пажескому корпусу.

Так стреляли, пока рабочие поняли, что стреляют они одни, больше никто. После того стали уходить.

Поле сражения осталось за рабочими, но они сами спешили убираться — и так беспорядочно, что уже не только по Садовой, а и по Невскому к Знаменской, кто куда попал.

Думали — будут хватать виновных? Некому.

Женя Шеляховская задержала пустой проходящий автомобиль французского министра Тома — и повезла одного раненого солдата в Николаевское училище, где он служил.

Минут через двадцать подъехали и ещё автомобили Красного Креста, подбирали раненых. Их было шестеро, из них четверо солдат, одному пуля в голову. Убитых солдат было трое — ещё измайловец, и ещё приехавший с фронта делегат. И один убитый рабочий, но выстрелом сзади — своими. Трупы убитых занесли в «Мажестик».

Медленно возвращалась на перекресток разбежавшаяся публика, с негодующим рёвом и плачем женщин. Офицеры друг друга убеждали гневно:

— Что же мы смотрим? Надо же с ленинцами бороться!

Кучки собирались где светлее, у фонарей:

— Это чёрт знает что! Кто смеет стрелять?

— Как можно стрелять в братьев?

— Как можно стрелять теперь, когда свобода?!

— Зачем они травят наше солдатское сердце?

— Образуйте их! Скажите, что это недопустимо!

Долго волновались.

Спустя час стали ходить патрули от имени Совета рабочих депутатов и энергично требовали: расходиться всем. Всякие демонстрации на два дня запрещены.

Публика подчинялась.

Ещё ночью, но уже по раннему белому свету, по улицам развешивались воззвания Совета.

И городской думы: «...мирное и организованное участие в политической жизни родины...»

Поздно ночью по городу разнёсся слух, что Ленин — покинул Петроград.

ПОШЛО ВРОЗЬ ДА ВКОСЬ, ХОТЬ БРОСЬ

87

Вдрызг изгажено! — на захват центра не хватило сил.

Но кажется, кажется — выбираемся.

Вчера, когда бушевал весь город, — около особняка Кшесинской было весь день спокойно. Но к шести вечера привалила огромная, правда безоружная, толпа, может быть 10 тысяч? — солдаты, обыватели, интеллигенты, вперемешку, знамёна красные, а лозунги — доверия правительству и против нас, и кричали, вот рядом: «Арестовать шпиона Ленина!» Момент был страшноватый, считался Ленин реально, не придётся ли поплатиться за пролетарское дело. Но тут от Троицкого моста подошли на выручку и наши, вооружённые, и стали рвать тем транспаранты, знамёна и разгоняли прикладами. (Ленин заранее строго распорядился: вблизи особняка никому не стрелять, исключая последней крайности. Хотя и нарушили.) И — погнали тех. Но по Каменноостровскому в это время проходила какая-то вооружённая часть — и те кинулись

просить у них защиты. И снова был реально очень опасный момент: не придётся ли спешно покидать дом Кшесинской, пока открыт ещё Кронверкский в одну сторону, архиглупо рисковать жизнью в самом начале борьбы. Но нет, пересидели: та воинская часть заколебалась, помог наш новый хороший молодой прапорщик, и обошлось без стрельбы.

Поодаль, на Троицкой площади, начали сколачивать трибуну, слух, что будет выступать Алексинский и ещё кто-то из смердящих социал-патриотов. Но скомандовали нашим не ломать, да и те не появились.

Был и слух, что Корнилов послал сюда тысячу гренадеров на умирение. Но — не пришли.

Ещё ж эта гнусная провокация на телефонной станции вчера: будто сами барышни отсоединили телефоны Кшесинской, подлый мешанский способ травли, и прервали всю нашу связь, оставили без связи в самый опасный момент! И так — всю ночь, немота телефонов, осада! Но Ленин приказал не реагировать, подождать, разрядятся события.

Опасно критической могла быть ночь — и Ленин, не спя (а голова — болит, болит, порошки не помогают), ходя, ходя и строя планы, зарекался: никогда больше не повторить такого вчерашнего мальчишеского промаха, авантюристов останавливать вовремя. Но прошла и ночь спокойно. Наши построили активную оборону: вооружённые рабочие патрули стояли в разных местах, и ходили по площади, по Каменноостровскому, и убеждали собиравшиеся там группы расходиться.

А манёвр формировался в голове такой: сегодня, 22-го апреля, с утра, независимо от мер правительства, Корнилова, шагов Совета и ожидаемого воя прессы — утром же поскорее разослать во все редакции нашу новую, третью резолюцию ЦК, этим парализовать нашу вчерашнюю вторую (она в сегодняшней «Правде», скандал!) — и так перехватить развитие всех страстей. В кризисе играют полчаса, а иногда и минуты. Изменения ситуации надо сообщать стремительно, и незаметно успевать переступить или повернуть фронт. И так, с утра же, показав одному Зиновьеву, не дождавшись других, поспешил разослать гонцами в газеты новую — третью — резолюцию ЦК (помеченную: 22-го *утром*), хотя напечатать её только завтра. Но пусть все знают сегодня.

Вот. Безусловно соблюдаем постановление ИК о двухдневном запрете митингов! (Соотношение сил с буржуазной массой сейчас

таково, что нам это выгодно.) Лозунг «долой Временное правительство» потому не верен сейчас, что, без прочного большинства народа на стороне революционного пролетариата, он — или фраза, или объективно сводится к попыткам авантюристического характера. (В порядке отмежевания так и назовём.)

Не произошло тут эксцессов и с утра. У памятника «Стерегающему» собралась было толпа человек двести, думали — идут сюда громить (а обыватели думали — это ленинцы собираются), — оказалось же: даёт представление какой-то китаец.

Подходили к особняку любопытствующие, сами напуганные, — но инцидентов не произошло. И распорядился Ленин: с балкона сегодня речей не говорить.

Теперь, убедясь, что разрядилось, — послали на телефонную станцию Богдатыева и ещё двоих, устроить скандалчик. Богдатыев умеет держаться. Предъявили им там удостоверение от ЦК и грозно потребовали назвать телефонисток, примем решительные меры против таких забастовок. Управляющий телефонной станцией сразу струхнул: администрация ничего не знает, это собственный почин телефонисток. — Назовите виновных! — Сейчас выяснить невозможно, ознакомьтесь с техникой их работы. Пошли наши в аппаратную — эти шлюхи подняли шум и свист: «Вон отсюда! Долой ленинцев! Гнать их в шею!» И вдруг, провокаторски кем-то вызванный, на телефонную станцию прибыл наряд в 50 солдат, а их офицер: «Кого тут арестовать?» И хотели арестовать группу Богдатыева, нахальство! Но начальник станции заверил, что ничего не надо, уладят сами. Солдаты ушли, Богдатыев пошёл в городскую управу, и те нахлобучили телефонисток: исполнять служебные обязанности без политических предубеждений!

Принесли все утренние газеты. И они ясно показали, что правительство ничего предпринять не в состоянии. Вся буржуазная пресса, конечно, струсила: никто не посмел обвинить в стрельбе — ленинцев, все возмущались, кричали, но неизвестно против кого. (Понимают, что и их сотрудникам можно морду набить. Да перестанут наборщики их набирать.) И Корнилов, вчера остановленный Советом, не проявлялся.

А «Рабочая газета», а «Дело народа» (при умелости — их тоже можно использовать) проявили очень положительный гнев, но всё — против правительства и против кадетов, всколыхнувших погромные настроения. Меньшевицкий ОК опубликовал постановление о кризисе — большевиков тем более не назвал. И «Известия»

напечатали аршинно, сами себя пугая: «Провокаторские выстрелы» — но благоразумно не выставляя обвинений никому конкретно: «Будет тщательно расследоваться при участии ИК».

Так что самый острый момент прошёл.

Острый момент прошёл — а кризис, может быть, и не кончился. В завтрашней «Правде» напечатать так: подавляющее большинство рабочих манифестантов понимало и несло «долгой Временное правительство» исключительно в том смысле, что когда рабочие завоюют в народе большинство. Не давайте же сбить себя одиночкам, склонным торопиться и раньше прочного сплочения большинства восклицаящим «долгой Временное правительство». Мы вовсе не бланкисты, мы не сторонники заговора! Что может быть нелепее сказки, будто мы «разжигали» гражданскую войну, когда мы самым точным и формальным образом объявили, что центром тяжести считаем терпеливое *разъяснение*? До тех пор, пока капиталисты не перешли к насилию над Советами, — до тех пор наша партия будет проповедовать отказ от насилия в о о б щ е !

А тем временем вожди этого Совета ведут себя с поганым ту-поумием. Они виноваты даже не в том, что не взяли власти, но в том, что теперь ломают комедию, будто они «победили правительство». Они, по сути, поддерживали империалистическую ноту, а сегодня, скоты, в награду кадетам, ещё проголосуют и за заём, — уж это будет полная и безусловная измена социализму! Коллонтай с возмущением рассказывала о вчерашнем подломе советском спектакле, которого ей не удалось повернуть. (И о Чернове, оценила его по речи: какой он мямля. Это и прекрасно! Сильный вождь эсеров был бы нам в мелкобуржуазной стране гораздо опасней любого меньшевицкого. Пустопорожний Чернов, у него всегда одна беллетристика, никогда он ничего не сделал и не сделает. Кажется, оба они с Лениным всю жизнь были только эмигрантскими журналистами? только писали? Но как по-разному: Ленин через писания физически организовал партию.)

Да, вчера к ночи были часы, когда казалось, что мы проиграли. Но уже сегодня надо признать, что это не так. Мы не могли победить, потому что не успели мобилизоваться. Переоценили успех 20 апреля — и 21-го недостаточно организовали демонстрации. Чего-то мы ещё, значит, не умеем. За Невской, за Нарвской заставой никого не подняли. Из Кронштадта с опозданием прибыло всего 150 штыков, этим дела не сделаешь, пригодились только агитаторами

по казармам. А чего стоит этот позорный эпизод, у Екатерининского канала, когда рабочие отдавали винтовки солдатам! Тем более сказалась мелкобуржуазная сущность солдат, опрометчиво было понадеяться, что они способны на революционную волну. (И сколько от них угроз Ленину!) А трагическое опоздание гельсингфорсского Совета! — только сегодня его телеграмма в Петроградский Совет, что по первому требованию готовы свергать Временное правительство. Знать бы это на день раньше! Большая, большая ошибка, что у нас в эти дни не было спевки с гельсингфорским Советом!

В Петрограде мы не выиграли, да. Но и не проиграли. Напротив, в эти дни мы узнали свою силу. И способность передвигать массы. На Совете теперь кричат, что «большевики не в состоянии взять власть в свои руки». Да почти и в состоянии! Вот таких союзников, как Кронштадт, как Гельсингфорс...

Организация, организация и ещё раз организация пролетариата! И в первую очередь — Красная гвардия! — в эти дни она оказалась не готова, прошляпили! Форсировать! (На городской конференции не обсудили её — а на всероссийскую и не вынесем: не болтать надо, а дело делать скорей.)

И вот открылся наш серьёзнейший просчёт: мы совершенно упустили пропаганду и агитацию среди городской прислуги и городских чернорабочих — а именно на них в значительной степени вчера опёрлась буржуазия. Отнять у неё прислугу! — лозунг момента. Обратить особое внимание на домашнюю прислугу!

Запрещены уличные демонстрации — но всюду принимать и рассылать резолюции, благоприятные для нас! Усилить войну резолюций!

Весь вопрос сегодняшнего кризиса — что соглашение Совета с Временным правительством оказалось пустой бумажкой. Вожди Совета пошли на компромисс, сдав целиком все свои позиции. «Заткнуть» этот кризис новой декларацией можно, но ничего, кроме вреда, не получится. Все силы — делу воспитания, просвещения и сплочения отсталых на каждом заводе и в каждом квартале! Повторение подобных кризисов — неизбежно. (Скоро, скоро повторим.) Признают ли широкие массы «инцидент исчерпанным» — покажет будущее. Урок ясен, товарищи рабочие! — за первым из кризисов последуют другие! Наша задача — не принимать участия в игре двоевластия. Выхода нет, кроме всемирной рабочей революции! Всемирная рабочая революция явно нарастает у нас,

у немцев и в ряде других стран! Пролетариат открывает путь в светлое будущее для всех трудящихся!

Но теперь на конференции не исключена атака от левых большевиков. Предусмотреть и это. Товарищи, у некоторых может явиться мысль, не отреклись ли мы от себя: ведь мы пропагандировали превращение империалистической войны в гражданскую — а теперь говорим: разъяснение массам? А потому, товарищи, что сейчас — переходный период, вооружённая сила у солдат, а Милюков и Гучков ещё не применили насилия. И вот — мирная, терпеливая классовая пропаганда. Теперь всякая другая борьба вредна, кроме политического просвещения и воспитания. Кричать сейчас о насилии — бессмыслица. Наша задача сейчас — не ниспровержение Временного правительства, оно держится доверием мелкой буржуазии и части рабочих масс, — а организация и тщательное разъяснение классовых задач. Если мы будем говорить о гражданской войне прежде, чем люди поймут её необходимость, — то мы впадём в бланкизм. Мы — за гражданскую войну, конечно! В этом — гвоздь! Но только тогда, когда она ведётся сознательным классом. А пока — мы отказываемся от этого лозунга.

Но только — пока.

Аргументы созревали в голове раньше, чем появлялся случай публично их произнести.

Но это лучше, чем когда, не сказанные вовремя, мучительно догорают потом в груди.

ДОКУМЕНТЫ — 15

22 апреля

ГЕРМАНСКИЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ В БЕРНЕ — В М.И.Д., БЕРЛИН

Эмигрантский комитет в Цюрихе просит гарантию, что в течение месяца будет отправлен и ещё поезд со 150–200 эмигрантами. Такая гарантия облегчила бы подбор для ближайшего поезда особо подходящих эмигрантов, с тем чтобы других убедить поехать позже.

Надёжное доверенное лицо (социалист) усиленно советует разрешить важнейшим эмигрантам проезд через Германию до возвращения Гримма, который мог бы помешать отъезду. В своё время Гримм из страха перед Антантой пытался задержать отъезд ленинской группы. Может быть, можно задержать Гримма в Стокгольме?..

Будущий историк, берущий одни внешние факты, только разведёт руками: после изумительного хода первого периода российской революции, единственного в истории, когда порывом всенародного энтузиазма было предотвращено крушение государственного аппарата, — откуда взялся этот смерч 20-21 апреля? Но станет всё понятно, если осветить светом психологического анализа. Некие лица с ограниченным *mentalité*, неблагополучным по части логики, а то даже и по части элементарной житейской морали, не подходящие к фактам с критериями добросовестности и правдивости, — бросали лозунги, не продуманные до конца, но соблазнительные тем, что в них чуется смутная надежда на конец бойни, вроде отказа от аннексий и контрибуций — двусмысленный фетиш демократической веры, или дешёвая фразеология о том, что война ведётся капиталистами. И случилось то, что легко было предвидеть: эти демагоги привлекли симпатии тёмных масс, всех утомлённых и разочарованных, — и травля «империалистов» дала свои результаты в виде двух дней безвластия в столице. Естественно, что ленинцы сразу использовали эту ситуацию. Но крики об «империалистической политике Милюкова» считали для себя обязательными и все социалисты Совета, эти оборонцы, перелицованные из пораженцев: для поддержания своего престижа в массах они должны непрерывно вести «борьбу» с «буржуазным» правительством. А в широких слоях нет понимания государственного механизма и международных отношений. Это облегчает подрывную пропаганду и отягощает положение правительства. (Подумали бы: а какое впечатление это произведёт на наших союзников? А радость наших врагов? — Гинденбург и с первых дней возвещал свои надежды на нашу революцию.)

И призрак анархии зареял над Петроградом, вот до чего!

Но эти же дни безвластия и показали, что травля беспочвенна, что моральная основа Временного правительства гранитно зиждется на доверии населения, по крайней мере петербургского. Весь Петроград вышел на улицу, чтобы громко и торжественно заявить, что он — верит Временному правительству! Тут никого не «снимали», как это на заводах, но каждый выходил по собственному убеждению — положить конец отвратительной свистопляске. Кровавое безчинство ленинцев переполнило чашу народно-

го терпения — и нанесло обратный непоправимый удар антинациональной предательской пропаганде. Призрак междуусобной войны — рассеялся, масса неожиданно показала своё государственное чутьё, — и от дней безвластия открылся путь к светлому будущему.

Какая убедительная, неопровержимая, грудь наполняющая победа!

В подобных испытаниях политический деятель должен быть прежде всего — мужчиной, готовым выйти под общественный огонь. И Павел Николаевич — был им все эти дни. Ещё при составлении ноты — он был каменно твёрд с Керенским, заставил его согласиться с текстом, и никто в правительстве не сумел дальше спорить. И Павел Николаевич торжествовал уже весь день 19 апреля, когда нота, ещё не объявленная в русских газетах, уже неотвратно рассылалась по дипломатическим каналам: то было достойное настояние на своём. (Тот день был подпорчен только неприятным эпизодом, что на углу Бассейной и Литейного задержали его автомобиль: почему-то показался милиции подозрительным номерной знак, будто бы из «чёрных автомобилей». И Павла Николаевича, и шофёра арестовали и повели в подрайонный комиссариат. Унизительно, что не знали министра иностранных дел в лицо, да ещё в нескольких шагах от его собственного дома! — вот уж старая полиция не допустила бы такого хамства. Предлагал захватить для удостоверения в «Речь», тут близко, — нет, только в комиссариат. Правда, там узнали, освободили, извинялись.) В тот же вечер Милюкова восторженно принимали в Михайловском театре. И ещё половину дня 20 апреля Павел Николаевич торжествовал свою победу, не подозревая, что враги замыслили поднять против него Ахеронт.

Ахеронт!! — прежде грозно поднимаемый против обветшалых чучел старого режима, теперь поднимали против кого же? против революционного министра?? Ну, дожили.

Надо признаться, Павел Николаевич настолько не ожидал такого масштаба негодования, что в первые часы был без шуток ошеломлён: вдруг загорелись под ним — и именно под ним одним почему-то! — всегда сочувственные петербургские мостовые. С непримиримостью, ненавистью, яростью выставляли — что же? Долой именно и только Милюкова!

Какое трагическое непонимание от соотечественников! — впрочем, удел всех великих деятелей, начиная от Сократа. Тол-

па не выносит людей с высокими принципиальными убеждениями.

Двадцать лет дожидаться этого поста, а едва начавши славное поприще — уходить?

Да что гневаться на бессмысленную толпу: её подучили, ей сунули в руки эти мерзкие плакаты. Но поражала незаслуженная ненависть от социалистов, для которых Милюков столько сделал в прежние годы, так защищал их от царизма. И самую же эту ноту социалисты требовали, хотели, по их настоянию и написал, — и за неё накинудись? И теперь слышать все рекриминации — именно от социалистического крыла? Яростно колола только что появившаяся гиммеровская «Новая жизнь»: «Милюков-дарданелльский бросил вызов всей демократии и всему народу!» Неуютно почувствуешь себя, когда на тебя лично натравляют «весь народ». А черновское «Дело народа» шло дальше, уже эскизно рисовало правительство «от трудовиков до большевиков», а Чернов, со своей сладенькой улыбочкой и кривляньем, на ночном заседании в Мариинском дворце уже предлагал Милюкову перейти на министерство просвещения. Да даже и благоразумный, умеренный трудовицкий «День» обвинял Милюкова в двусмысленности фраз ноты. (О, конечно, она там есть, вы ещё не всё раскусили. Но счастье, что кинулись все на ноту, а интервью с «Манчестер гардиан» как не заметили, психология толпы, куда кинется первый, — а интервью было гораздо острей и опасней, его так легко не защитишь.) Да нота была бы неуязвима, если б не послушался Тома, не вписал бы эти его «санкции и гарантии», в них-то вся и беда.

Но пусть помрачатся хоть все головы — а моя да останется непомрачённой! Для чего же была и совершена революция, если не для успешного окончания войны? Славную революцию теперь портили тем, что ей якобы противоречит война! Теперь, когда американцы вводят небывалую у них воинскую повинность, за год будет призвано 2 миллиона, — и теперь уступить? Да и что за наивность: кто во всём мире поверит, что воюющая держава отказывается от компенсационных приобретений? Нельзя же выставлять себя дурачками тоже. Шла бы война обычным путём, не появись эти циммервальдисты — ничего б и не было. Даже у Набокова аберрация, сказал в эти дни: усталость от войны — одна из причин революции, и она может сейчас сказаться роково. Да нет же, не она причина, басни! И не надо прислушиваться к шкурным на-

строениям. На самом деле: только благодаря идущей войне и держится единство страны.

Но с циммервальдистами бороться что ни день, то трудней: из горного швейцарского аула они удивительно цепко перенеслись в Россию, и уже налезли к Гучкову в армию, и уже в собственном милюковском ведомстве их не остановишь: открыли при Совете как бы своё министерство иностранных дел, презентацию революционной России перед Западом, и за казённый же счёт шлют за границу телеграммы опровержений, курьеров, копошатся в Стокгольме. Этот «отдел международных сношений ИК» становится уже поперёк горла, просто оскорбление министру иностранных дел.

Но чему угодно можно было бы твердо противостоять, если бы Временное правительство держалось спаянно и мужественно. Однако, кроме Милюкова, не осталось надёжного министра: и подло дали создаться ядовитой легенде, что правительство ни при чём, а это Милюков, *bete noire**, проводит свою самостоятельную упорную политику — и все демонстрации полились лично против Милюкова.

Но тут-то, когда весь удар сосредоточился на Милюкове, его собственный характер — несокрушимый характер тургеневского Базарова, любимого героя, — ещё более утвердился: обломаете ваши зубы! Бушевал Ахеронт — а в пасть ему, со ступенек дворца, с балкона дворца Милюков отбивал неустрашимо: «Видя эти плакаты, я не боялся за Милюкова, я боялся за Россию!» Застывшая воля! Шли толпы — Милюков и вправду был готов: пусть его линчуют, он не отступит от того, что считает верным. Конечно, в этой твёрдости его поддерживало и ощущение западных союзников, и чести перед ними. (Хотя Бьюкенен стал вести себя двусмысленно. Верен Палеолог, но у него своя трагедия, его отзывают.)

И вот — устоял. После такой бури — и всего лишь такие скромные понадобились разъяснения, вполне незначительные. И всё — сошло.

Принимал сегодня японского посла и сказал ему: эти волнения были апогеем затруднений, теперь пойдёт всё лучше. Увидел Альбера Тома и (хоть он во многом виноват и неискренна его роль с Советом) сказал ему торжественно:

* пугало (франц.)

— *J'ai trop vaincu!* Я — слишком победил!

Какая победа! И кадетская партия, и правительство от этого кризиса только укрепились. И правильно было сейчас: дать продолжение боя!

Но — кто это понимал? Даже кадетский ЦК не понял. Ведь его вчерашнее обращение к массам вызвало такое народное движение! сломило силу ленинских отрядов! На сегодня надо было это движение развивать, чтобы добить врага! — и готовилось сильное новое обращение ЦК, долженствовавшее сегодня появиться в «Речи», уже ночью набранное, — но с вечера этот призыв Исполнительного Комитета не демонстрировать, а всем набрать воды в рот — и кадетские цекисты заколебались, и Милюков всей силой убеждения не мог придать им смелости: рассудили, что не следует сердить Совет. И — вынули боевое обращение из «Речи», заменили успокоительной передовицей.

Робкие души, так не делается история!

Умилил Павла Николаевича один из районных кадетских активов: «Ваше участие в правительстве служит гарантией вступления России в крут культурных наций. Ваш вынужденный уход послужил бы доказательством отсутствия в народе национального самосознания». И немало других подобных резолюций.

Но уж совсем не понимало ситуации оробевшее правительство: что в Петрограде его сторонников больше, чем противников, что оно — владеет положением. Не понимали своего торжества, что уже и Заём поддержан Исполнительным Комитетом, и сегодня проголосует Совет. Напротив, в сегодняшнем заседании Милюков застал правительство в паническом настроении, что надо искать коалицию с социалистами, а сами не справимся.

Собрались в Мариинском, без Гучкова. (И без толп на площади.) Заседания, собственно, почти и не было, мелкие вопросы, наблюдательная комиссия над Трубецким бастионом, а просто сидели и пересуживали впечатления. И Милюков, переполненный победой, произнёс им одну из своих лучших речей, увы, никем не записанную. Он пытался передать им своё мужество, своё сознание: не поддаваться этой кличке «буржуазное правительство», — мы правительство всенародное и готовим страну к Учредительному Собранию, вы же видели поддержку народа, как же может закрасться капитулянтская мысль, *ab initio vitiosa**, —

* от начала порочная (лат.)

вступать в коалицию с социалистами? Зачем, когда мы победили?

Князь Львов озабоченно спешил к себе в министерство — вернуться на совещание губернских комиссаров, тем и прикрылся. И замученный Шингарёв тоже искал, как вернуться к текущей работе. Терещенко и Некрасов выглядели, как всегда, блудливо интригански. Керенский продолжал изображать, что голос к нему ещё не вполне вернулся, — и только носом покручивал на речь Милокова, уже видимо задумав какую-то пакость.

И когда доложили, что в вестибюль пришли фронтовые делегации, дожидавшиеся эти бурные дни, — Девятая армия, 1-я гвардейская дивизия и Оренбургская казачья, то Милоков вышел к ним самый энергичный и уверенный:

— Вы видели тут манифестации заблудшихся людей против народного правительства. Старый режим в таких случаях применял силу кулака — мы никогда её не применим... Под «победным концом» мы разумеем не порабощение других народов, а: пресечь в будущем всякую возможность возникновения таких войн, обезвредить народ-хищник и сделать его членом мирной семьи народов.

89

В политическом, как и личном, поведении Шульгина были неизживаемые черты импрессионизма, он знал. Он узревал решения и вёл себя скорее как художник. В первомартовские дни, поучаствовав в обоих отречениях, красиво было не вступать в драчку за министерский портфель. Гордо отойти в сторону. Да не бросить и свой «Киевлянин», не отойти от своего Юго-Западного края: Киев и вокруг Киева казались Шульгину сердцем России, где ещё, может быть, прочнее всего отстоится наше будущее.

А политическим деятелям нельзя ни на неделю впадать в дрему или в иллюзии: они сразу теряют управление событиями. Такой промах допустил и весь Комитет Государственной Думы после двух царских отречений: понадеялись, что события получили сильный импульс и теперь течение революции пойдёт само как надо. Но только самоупоённый Родзянко старался и до сегодняшнего дня не замечать, что из этого проистекло. Ото всего Таврического дворца

остались Думскому Комитету библиотека Думы да маленькая комнатка рядом с ней, — во всё остальное разлились советские. Громко составленный в дни Революции из 12 видных членов, Комитет тут же потерял шестёрку их на формировании Временного правительства, для комплекта заменил их другой шестёркой, но из них только Маклаков и Ефремов были фигуры видные, а четверо — статисты. Да и Маклаков на заседаниях бывал редко. Манкировали и другие. Комитет как будто не был отменён, но и вовне не проявлял себя ничем. На его заседаниях обсуждалось то, что знали малые дети на улицах. Да ещё по городу были развешаны на трамваях призывы к пожертвованиям «жертвам революции» (сегодня уже не вполне было понятно, кого на самом деле нужно под этим подразумевать) — так и то подписано: «Комитет, состоящий при Государственной Думе», это уже не мы, это кто-то другой. Ну, ещё, конечно, Комитет горячо поддержал Заём Свободы, с первого дня. Ну, ещё продолжали поступать в Комитет со всей страны бесчисленные приветствия. Да ещё прямо было поручено Комитету от правительства — собрать из думцев совет по церковным делам, чтобы авторитетом Думы помочь Владимиру Львову произвести перемещения в правящей церковной власти.

А думских делегатов на фронты теперь посылали с инструкцией: действовать в полном единомыслии с едущими представителями Совета рабочих депутатов. (И те всю поездку держали думцев как под конвоем.)

Недаром проныра-хитрец Некрасов, так ещё недавно всеми интригами добивавшийся стать товарищем председателя Думы, теперь прислал письмо, что слагает с себя это звание. (Не хочет быть смешным.) А Маклаков — явно тосковал, как мог сторонился, искал себе отдельного амплуа, заседал в комиссии по рассмотрению уголовного уложения (когда уголовников толпами выпускали просто на улицы: грабь дальше!), то ездил в Москву с выступлениями.

А Родзянко жадно ловил всякую ещё сохранившуюся, его выделяющую почесть: катил на минский съезд трубно славить завоеванную свободу; вот сегодня *принимал* у себя Братиану (для чего просил Исполнительный Комитет на несколько часов очистить ему его бывший пышный кабинет). Так и качалась его жизнь: искренно умилялся (для газеты) глубокой вере князя Львова в великое сердце русского народа, первоисточник правды, истины и сво-

боды, — а как доходило до практического, получить поезд или охрану, — то обращался не в правительство, а в Исполнительный Комитет. Совсем он стал мешок, рыхл, опущен.

Были думцы, кто возмущался бездействием Родзянки, что он за весь март и апрель не хотел и не умел добиться созыва думской сессии — в прежнее время самого желанного, громкого акта, за который шло столько боёв с царём. Родзянко, сам томясь, отговаривался, что в условиях анархии созыв Думы невозможен, будет открытое столкновение с Советом при невыгодных для нас условиях. До того пали — ходило выражение, что созыв сессии Думы — это «гальванизация политического трупа».

Шульгин всё более чувствовал себя в Думском Комитете — одиноким, потерянным. И униженным. Была боль для него проходить по Таврическому дворцу, по этим заплёванным полам, которые не отмыть до конца веков, по опустевшему министерскому павильону, теперь понесшему вечную печать тюрьмы, а особенно — заходить в думский зал, знавший десять лет конституционной России, столько блистательных риторических сражений, а теперь, не говоря уже о выданном царском портрете, следах погашенных окурков на белых стенах, — кафедра выступающего и вышка президиума покрыты идиотской красной бязью, во время советских сборищ — висит слитная туча махорочного дыма и нестройно кричат с мест, отзываясь на корявые речи простаков или на извивистые упражнения ведущих «революционных демократов».

И с ужасом спрашивал он себя: да в чьих же руках Россия?? Кошмарно было бы, если бы в руках вот этого табачного мычащего сборища: как красиво ни поджигай идеи свободы, но не способно большинство вести само себя. Но и — не это сборище вело, на самом деле всем крутили хваткие наглецы из Исполнительного Комитета. Их внутренней механики Шульгин не знал, да и знать не хотел, а перед ним всегда выдвигалась самая там крупная мясницкая фигура Нахамкиса. (И он дал волю своей едкости, в апреле в «Киевлянине» тиснул о нём статью, которая, кажется, ужалила: Исполком пожаловался... Родзянке.)

Ах, куда ушли эти недели марта и апреля! Вся Дума дореволюционная (с её Прогрессивным блоком, и с Шульгиным в том блоке) не туда тянула. И вся Дума отрешённая и их пустой Комитет ничего не понимали, два месяца боролись с мифом контррево-

люции — и вступали в позорный компромисс с социальными подонками.

Но в молодом ещё возрасте, но полному ума и сил — как отказать направлять события?..

А события сами прикатили в бездейственный угол. Как раз с 20 апреля была наконец назначена дезинфекция всего Таврического, убить семинедельную накопившуюся гадость, предстояло и Совету стесниться, прикрывать по очереди по полдворца, — и именно в этот день члены Думского Комитета с утра прочли разумную милюковскую ноту и торжествовали, что, кажется, правительство заговорило языком твёрдой власти, правительство достойно становится на ноги, — и вслед же за тем достигли страшные слухи: восставшие полки взяли штурмом Мариинский дворец!.. всё Временное правительство арестовано!!.. И в сам Таврический, мешая всякой дезинфекции, попёрли одиночные рабоче-солдатские, или чёрт их не разберёт, депутаты, и читали ноту с той самой кафедры, с которой Милюков полгода назад так самоуверенно произносил свою «штормовую» первоноябрьскую речь под рукоплескания сюртучно-галстучных чистеньких думцев, — а теперь мурлы из кресел орали: «Долой Милюкова! в отставку!»

Думский Комитет собрался в комнатке при библиотеке и заседал, заседал, но больше регистрировал противоречивые слухи, а решить ничего не мог. Родзянко всё звонил и звонил князю Львову, но с того конца не несло к нему ни подбодрения, ни указания. Наконец — назначили вечернее совместное совещание. В кои-то веки, в тяжёлую минуту, пришлось им позвать и забытый Думский Комитет!

И Шульгин — устремился в эту щель. Высказать хоть этим, если не донесётся до всей России.

Но — никого не подвинул. И — никуда не донеслось.

А между тем события разворачивались вчера — многотысячно. Рабочие трижды стреляли в солдат! Что стоило теперь поднять солдат и снести гидру? Ничего похожего! Не прореяли над толпой решительные министры, все где-то прятались, и так пропустили часы, когда могли смять не только Ленина, но, пожалуй, окоротить и Совет. Кадеты остались кадетами, шипучка выходила на воздух бесполезно. И трусливая же городская дума, так пронзительно кричавшая против старого правительства 25 февраля при первых трупах у своих ступеней, — теперь, при трупах у этих же

ступеней, не искала прижигать виновника, но выступала с «успокоительным» обращением к гражданам: «несогласие во взглядах выливается в столкновения, выгодные только контрреволюции»... Пинай её, мёртвую, не опасно.

Так отбивал метроном революции. Часы для ареста Ленина были упущены — а трусливые души правительства с радостью приняли обманное уличное успокоение от Исполнительного Комитета, напуганного выступлением здраворассудочной массы. Надели революционный намордник на сознательную часть населения: раз вас оказалось больше, чем нас, и раз вы не обморочены нашим красным бредом, — так извольте замолчать! Разгонять по домам стали тогда, когда взяли верх благоразумные.

И кадеты, упустившие вчерашний неповторимый день, теперь торжествовали победу, так и не поняв, что это был их проигранный день.

На том и прошёл первый возвратный пароксизм революции. По опыту французских — они должны были теперь повторяться — и становиться острее.

А в сегодняшних газетах печатали, правда ли, нет, что солдаты были убиты разрывными пулями, которые не употребляются в русской армии, — так откуда они?

Ответа не доискивались. Прокурор Переверзев, вчера громко объявивший следствие, уже сегодня изворачивался: «Пока ещё трудно говорить о виновниках происшедшего кровопролития. В одном месте стрельба вооружённых рабочих началась только после того, как *кто-то* выстрелил в воздух».

Самое подлое было в сегодняшних всех газетах, что никто так и не назвал стрельбу — ленинской, а только радовались «такту» Исполнительного Комитета, и что, «к счастью», толпа не пошла на особняк Кшесинской.

Но ещё подлей, что все социалистические газеты теперь высмеивали и проклинали кадетов за их единственный смелый и правильный шаг — за вчерашнее воззвание к гражданам выходить манифестировать в пользу правительства. Вчера проявленный поразительный патриотизм солдат, студентов, интеллигентской публики и простых петроградских обывателей социалисты поносили как выступление *культурной черни*, *культурного охлоса*, оказывается, именно кадеты и разжигали анархию и гражданскую войну — а вовсе не ленинцы!

Вот безстыдство! Оскорбишься за кадетов и вчуже. Ленинцы на виду у всех разлагали армию и Россию, вели пропаганду предательства — Исполнительный Комитет не смел их одёрнуть. Выступил наконец возмущённый обыватель — так во всём виноват обыватель, а не поджигатель Ленин! Это кадетская партия «организовала эксцессы», это она «защитница контрреволюционных слоёв», — все социалисты перехватили интонации большевиков.

Не кадетскую вовсе партию хотелось теперь защитить Шульгину, — весь его политический путь они были всего лишь пикировочные собеседники слева, и у них были свои отличные говоруны, отговорятся. Но — распахнулось ему за эти два смутных дня, что конфликт не только не улажен, — а правительство подкошено, шатается на краю гибели, а другого правительства, увы, увы, теперь в России нет. И остаётся — поддерживать *это*, чтоб не было ещё хуже.

И то, что давно уже было ясно каждому здравому уму, теперь с настоящей экстренностью Шульгин представил собравшемуся Думскому Комитету, не давая ему успокоиться и снова задремать.

Временное правительство висит в воздухе: никого над ним, никого под ним, висит в пустоте, в положении захватчика власти или даже самозванца. Не может оно существовать дальше без совещательного органа, где бы оно обменивалось с представителями разных политических течений. Нормальный такой орган — парламент. Но Дума от самой революции не заседает — и такой трибуны не стало. Совет рабочих депутатов? — но он представляет только низовой Петроград, не отражает настроения всей страны (вся остальная страна — «буржуазия», и нигде не представлена), да подробности их заседаний не доходят до читателей, а заседания никем не выбранного Исполнительного Комитета и вовсе скрыты. И представители Временного правительства тоже не выступают в Совете, это не их аудитория. А существовал бы сейчас совещательный орган — и не создавалось бы недоразумений и столкновений, как в эти дни, правительство имело бы общественную опору. Созывать это подобие парламента можно было бы хотя бы в тех случаях, когда Временное правительство захотело бы выступить с объяснениями и выслушать мнения политических течений... (Какое унижение для прежней гордой Думы! попробовало бы царское правительство нас не созвать!) Составить можно было бы так: поровну членов от Думы и от Исполнительного Комитета. И допуще-

ны должны быть представители печати, чтобы отчёты (как и в Государственной Думе, о тоска!) могли бы публиковаться.

Заинтересовались. Обсуждали. Возражения были, что создание такого псевдопарламента вызовет в стране впечатление: Учредительное Собрание соберётся нескоро. (Оно — и не скоро.) И: засыпят Временное правительство запросами — ещё более затруднит его положение. (А как барахталось царское? — мы же не беспокоились.)

Нашлись, посмелей, и сторонники у Шульгина: не должна Государственная Дума вовсе молчать, да ещё при таких событиях. Для правильной формулировки российского общественного мнения необходимо высказываться не одному же Совету рабочих депутатов!

(Да Временное правительство должно бы схватиться за такой проект! Ведь мы же спасём их от Совета! ведь им же сейчас невозможно жить!)

Оживились — и, пока до дела, собрали сегодня частное совещание членов Думы. Кто соберётся...

Но это, конечно, совсем не то.

Правительство — на предложение Шульгина не реагировало. Исполнительный Комитет, разумеется, игнорировал.

А тут подпирал Винавер: хлопотал устроить чествование его излюбленной 1-й Думы, созыву которой 27 апреля исполнится круглых 11 лет. (Это поднимало немалую задачу: очистить, почистить Белый зал? — опять-таки с разрешения Исполнительного Комитета...)

То был — неделовой заменитель, уводящий в сторону от шульгинского замысла. Но — может быть? может быть, и это путь? чем чёрт не шутит?

Львов — и этот проект стал оттягивать.

А уже заблистала перед Шульгиным его предстоящая речь. Заволновался.

Подкосился авторитет Стеклова — и пошёл, пошёл под откос. Уже ему поручали самое ничтожное: поехать расследовать взрыв на Пороховом заводе; или открыть солдатский клуб за Нарвской

заставой; или на концерт-митинг в Михайловский театр, просто обманув, что Чхеидзе и Скобелев тоже будут там, а их не было, и торчал ничтожно, как дурак. И тут же Дан вошёл в редакцию «Известий», и связали руки: не выражать отдельных партийных оттенков, — а что и было до сих пор в «Известиях», как не его собственная линия, резкие заголовки, резкие удары? — всегда можно почерк узнать без подписи. Он потерял и членство в Контактной комиссии, и не выбран в бюро ИК, — но это оттеснение ещё можно было исправить, если бы не ужаснейший провал с фамилией: какая-то досужая сволочь, перебирая архивы правительственной канцелярии, обнаружила-таки его прошение на высочайшее имя о смене фамилии Овсий Моисеевич Нахамкис — на Юрий Михайлович Стеклов. И не погасил, и не принёс самому Стеклову, а стал показывать, и это утекло в буржуазную прессу, и теперь везде муссируется. А обращение к царю с какой-либо просьбой, «припадаю к стопам», издавна считалось не только среди революционеров, но и в обществе — самым последним наипозорнейшим делом, хуже подлога, воровства и совращения малолетних. Такое открытие — кончало всякую политическую карьеру, обычно после такого никто уже не поднимался.

Революция — сложнее, чем шахматы, тут нет для каждой фигуры определённых возможных ходов, из которых и следует выбирать. Тут — их такое неопределённое множество, и самых неожиданных, и у самых разных фигур, что надо иметь действительно гениальную интуицию, чтобы каждый день усматривать, вытягивать эти возможности и назначать лучшие ходы. И вот у Ленина (в своё время в эмиграции недооценил его Стеклов) эта интуиция определённо есть. Вот он приехал, опоздав на революцию на месяц, все места заняты, все программы в действии, — он объявляет свою оглушивающую, до крайности всем неприемлемую, все отшатываются, — а через две с половиной недели выводит на улицу рабочий Петроград против правительства, да, по сути, и против Совета. (Сегодня, 22-го, на совещании батальонных комитетов гарнизона два представителя броневоего дивизиона безтактно проговорились и выдали: в эти дни к ним обращались с требованиями дать броневики для ареста Временного правительства и для стрельбы на улицах! И бронедивизион — *просит простить за кровь, пролитую на Невском.*

Безтактно, потому что не был секрет, что бронедивизион прежде стоял у Кшесинской и не потерял связи с большевиками.

Но, к счастью, идейная близость к позиции большевиков помогала Стеклову делать по отношению к ним все эти месяцы правильные шаги. Не только он всегда голосовал заодно с ними, но в «Известиях» высказывался всегда благоприятно для них, вовремя сопровождал одобрительной статьёй быстрое создание большевиками рабочей милиции, сочувственно и другие шаги. Имел ошибку сперва сказать, что Ленин потерял контакт с русской действительностью, и выступить против при его первом появлении в Таврическом, — ну, когда и все же против него выступали, но на другой же день (уж не помня Ленину обиды, как тот обзывал «социал-лакеем») — не чинясь покрыл свою ошибку статьёй в «Известиях», сочувственной к ленинскому переезду, защищал его от травли безчестных и отвратительных тёмных сил и даже — хотя орган Совета — отказался напечатать постановление солдатской Исполнительной комиссии против Ленина, для него опасное. И по той же причине — вообще промолчал в «Известиях» о манифестации инвалидов. О, он много мог принести Ленину, во многом подкрепить его. День ото дня — Ленин явнее выступал против самого Совета, — а вот орган Совета защищал не Совет, а Ленина. Поражённый его острой, быстрой, сильной хваткой, Стеков всячески показывал себя союзником ему. Уже горела под Стековым платформа «Известий», а он продолжал давать там статьи совершенно в ленинском духе и даже передовицу в поддержку Ленина, в день его трудного выступления снова в Таврическом. Прежде чем уйти из «Известий» — так ещё хлопнуть дверью! Всё равно: с торжествующими предателями, черетелевским большинством, Стеков порвал уже безповоротно.

Кризис 20–21 апреля дал Стеклову возможность в двух газетах широко излить желчь на Милюкова — на его гнусную империалистическую сущность (и очевидный сговор с приезжавшим в роковые дни генералом Алексеевым, ворон ворона призвал на добычу); и на буржуазное лицемерие проправительственных (ловко срежиссированных) манифестантов, скрывавших от солдат свою жажду Константинополя и Армении. Выступал и перед толпой у Морского корпуса: «Через каких-нибудь две-три недели мы могли бы заключить мир с Германией — и этого испугались такие разбогатевшие капиталисты, как Милюков». И прикрывал Ленина: «Происки чёрной сотни, вчера уже пробовавшей производить дебоши на улицах... Мы предупреждаем этих нетерпимых в свободном государстве людей!...»

Хотя: до конца шагнуть к Ленину — значит подчиниться удушающей ленинской дисциплине.

Впрочем, оставалась у Стеклова ещё одна опора — международная: его имя по социалистическим каналам известно было в Стокгольме. И когда из Стокгольма приехал Колышко (был когда-то секретарём Витте, был известным журналистом, теперь жена его немка в Стокгольме, и там у него контакты с ответственными немцами и с кругом Парвуса), — приехал Колышко и от немцев привёз двум самым видным социалистам России — Керенскому и Стеклову — проект перемирия с Германией!

Ничего себе документ! Не мог Стеклов унизиться узнавать у Керенского, как поступил с документом тот, но скорей всего никак, потому что, став министром, он загряз в оборончестве. И вот история вкладывала Стеклову — самому сделать грандиозный исторический шаг, который решит судьбу Европы. И тут же уезжающему снова Колышке он поручил передать своё согласие: пусть присылают немецких социал-демократов для переговоров с нами прямо на двинском фронте.

Но пока это ещё работает через Стокгольм и Копенгаген — слишком кружной путь. Надо — прямой и быстрее. А тут как раз приехал с Северного фронта один знакомый, часто ездит сюда, вполне надёжный унтер, рижский конторщик и знает немецкий. И научил его Стеклов: идти в братание и добиваться вызова немецкого офицера не меньше как из полкового штаба, и чтоб он передал вверх по команде: что в Исполнительном Комитете есть первый заместитель Чхеидзе, видная фигура Стеклов, очень влиятельный и готовый к переговорам о мире, можно будет обсудить и уступки территории, и уплату за избыток наших военнопленных. Стеклов готов в любую минуту приехать на фронт, разговаривать с немецкими парламентариями, а без него переговоры не состоятся. И: если будет запрос — немедленно вызывайте меня из Петрограда!

Подарить России немедленный мир! — вот это был шаг ему по плечу. И Россия бы этого не забыла.

И — Интернационал.

А без того — он скользил всё вниз и вниз, и скоро не на чем будет удержаться.

Он не имел ещё решения и последней крайности прямо идти на поклон в особняк Кшесинской — но уже смирился, что, наверно, придётся так.

НА КОЛЕСЕ СИДИШЬ — ПОД КОЛЕСО ГЛЯДИ

91

Ещё во вторник, в день нового «первого мая», была в Москве ужасающая погода — с утра тёмно-пасмурно, снежная крупа, весь день холодно, свинцовое небо, то вихри мокрого снега, то мелкий холодный дождь, то вроде града, — и гнетущая тоска подавила Ксенью, ещё от этих колонн и рядов марширующих с их старанием показаться весёлыми. Да тоска — своя у сердца: вот такая — четвёртая весна в Москве, и ничто не сбылось, и ещё только один последний годик — и возвращаться в кубанскую глушь, ни с чем. Такая потерянная горькая. Ускальзывает жизнь. (А в Ростове у Жени — уже второй ребёнок! и — сын!!)

Но с четверга пахнуло тепло — а на участке голицынских курсов в Петровско-Разумовской Академии поля не ждут, и от 4-го курса уже требуется много навыков, да сколько учебного времени пропало от революции. И каждый день с утра ехали туда, «паровичком», маленьким поездочком.

Да с агрономической-то участью Ксенья примирилась и находила немало радости понимать и направлять жизнь растений. И отец — ждал этой её помощи.

Так и сегодня в субботу, ещё теплей, весь день Ксенья с другими курсистками усердно работала там на участке. И пока гнулась — не замечала, а возвращалась домой в седьмом часу вечера — такая ломота в спине, ноги отваливаются, прямо сейчас растянуться в постели — и ни движения!

Но — телефонный звонок: внезапно собирается у подруги вечеринка, приезжай, да поскорей.

— Ой, не могу, ноги не идут. Не приеду.

Села доужинать. И вдруг внутри потянуло: да как же так не поехать? да что ей тут в четырёх стенах?

И тут же сама отзвонила:

— Еду! Лечу!

И что же с ногами? — они как и не устали. И что же со спиной? — равна и молода. Зажётся внутри огонёк — и всё излечилось вмиг. Надела кремовую блузку с напускными рукавами и шоколадную свободную юбку-клёш, только этой зимой появились, далеко не у всех есть.

Теперь гнать ещё в третий конец, к Чистым прудам. Нашёлся извозчик.

Послереволюционная Москва — уже без разгула кафешантан-ных огней, без громкого смеха из автомобилей, из саней, оголтелого гона с бубенцами, открытого кутежа, как последний год, — поприпугалась публика и подобралась. Зато жди любого нахрапа: сегодня среди дня в Петровско-Разумовское приехал автомобиль Красного Креста, шофёр и рядом с ним — пьяный, внутри несколько женщин, и громко бранятся; студенты подскочили, потребовали документы — пьяный выставил на них револьвер.

На вечеринку опоздала, уже все собрались, курсистки и студенты, больше дюжины, почти все знакомые, студенты не все в форме, после революции стали её игнорировать. Опоздала, уже громкий свободный гам и смех, — а вот и незнакомый: молодой офицер с обильными русыми волосами, лицо задумчивое и светится — но не от возбуждения, а ровный какой-то изнутри свет, — так и вздрогнула от одного взгляда, ещё прежде чем их познакомили: подпоручик Лаженицын, в отпуску (прежде учился в университете, вот, с Борисом), — так и вздрогнула внутри от этого светлого взгляда, не к ней даже обращённого, только уже потом — к ней.

А когда познакомили, то в его чуть печальных глазах — как бы повернулось несколькими гранями — удивление.

И с этой минуты — фонтан ликования забил в ксеньиной груди! От первой внимательной встречи их глаз, от этого изменения поворота в его глазах. Да что случилось? Что-то случилось! (Даже: ой-ой-ой, как бы не то самое, что и должно было, должно было когда-то случиться!)

И только потом заметила на нём ещё и Георгиевский крест.

Была общая оживлённая болтовня, разговоры на все темы в перебивах, переходах, к скромному ужину из бутербродов на чёрном хлебе не спешили, а пить хмельного и вовсе не предстояло, — и в

этих переходах подпоручик улучил сесть рядом с Ксеньей, и она потеряла летучесть, подвижность, так и осталась на этом стуле, так и осталась, и никуда не шла, куда звали.

В компании было барышень семь — а он не отходил от неё.

Под общий шум разговаривали — и очень нестеснённо. Да прежде всего открылось, что они — близкие земляки: он — не вдали от станции Нагутской, и мимо Кубанской сколько ездил, — а наш дом из поезда видно, когда проезжаешь, короткий миг. Земляки — и значит, степняки. (И значит — мужики...) И сразу: её кубанская печенежская глушь — не стала постыдной, непоминаемой. Ставропольская степь — вдруг щедро соединила их, отделяя от московской компании, Саня стал рассказывать, как работал в хозяйстве у отца, и Ксения постеснялась, что сама-то не работает, на всём готовом, — но вот будет, будет работать! И агрономию — он очень одобрил. А из оброненных фраз поняв их богатый быт — тоже принял неосудительно.

И как-то сразу так много и чётко вмещалось в голову — Ксения всё слышала до слова, и понимала до подробности, и отвечала разумно, правильно, — а в груди её бил и бил тот открывшийся фонтан радости! буйной радости! И — почему? Простой разговор, простое рукопожатие знакомства (а рука всё чувствует, как будто так и осталась вложенной в его руку!), — ещё ничего не случилось, но счастье уже в том, что встретились, — и этого не отменить! не отменить!!

А самое удивительное, что при этой случайности встречи Ксения чувствовала себя такой свободной, как никогда! Ощущение — простой, не пугающей, а как бы давно знакомой близости с ним. Дивное состояние!

И вдруг: страх за него, что он сейчас как-нибудь не так себя проявит? и всё разрушит?

Но: нет! нет! С каждой его фразой — нет! этого не может произойти!

Подумать! — и год перед войной учились тут оба в Москве — и не встретились.

И что-то о фронте. Голос глуховатый. Рассказывает неторопливо. Пшеничные усы, небольшие. Губы совсем не жёсткие. Мягкие пшеничные волосы — богатые волосы! — укладисто лежат над высоким чистым лбом.

Так забылись, отделились от компании — уже стали их показывать шутками. И правда: Ксения не всех могла бы перечесать,

кто сейчас тут был, — она не успела даже вместить! Увы, надо было оторваться.

Но и на расстоянии, что бы ни делалось — игра в шарады, игра с беготнёй и пересаживанием со стула на стул, чай с бутербродами, парные танцы под пианино, — Ксенья всё время видела, ощущала его издали. И знала верно, что и он занят только ею, так же не вглядевшись сколько надо в остальных.

Танцевать он не стал, сослался, что на фронте отвык, — но такая взрывчатая, отчаянная весёлость всё больше наполняла Ксенью, что она придумала, объявила: сейчас будет танцевать соло! — хотя без костюма.

Похлопали, расселись. Со студентом у пианино поискали чардаш, нашли. И Ксенья пошла-пошла-пошла в танце! — да Боже мой, танец — это лучшая мысль! из прямых выражений красоты! (А Саня стоит у косяка двери и глядит неотрывно.) И как легко! Танец — известный тебе, отлично разученный, те же движения и всплески рук, ног, только слишком просторна юбка-клёш, и тот же жаркий ритм, как всегда, — но нет, это особенный, единственный в жизни танец! Уже уловила она в нём медлительность, оглядчивость — но этим танцем всё взрывала и приводила в кружение. Пусть, пусть ему передастся! И даже в бешеных движениях, на мелькú, успевала видеть, как он выдвинулся.

Навстречу Будущему!

Нашему?..

Вот уж не вспомнила, какая была наработанная и как ноги не тащили к вечеру. Вот счастье, что рванулась на вечеринку!

И — времени не замечала весь вечер, откуда одиннадцать часов? — уже расходились.

Не усумнилась: он конечно будет её провожать.

И конечно провожал.

Вечеринка покрутилась как сон: всех ли заметила? со всеми ли попрощалась?

Поехали на извозчике — по Покровке, через Варваринскую площадь, по Москворецкой, Софийской набережным, — и все эти места теперь будут их первые общие московские места. И при поворотах извозчика полная луна с большой высоты щедро светила им то слева, то приветственно спереди, то снова слева, иногда скрываясь за близкими высокими зданиями, а то через реку напротив, — и всё это осталось как единое плавное счастливое проплывание под луной, при первеньких листочках на деревьях, —

и всё время хорошо было видно его лицо — эта особая чистота выражения, и в медленной речи настойчивое струение к чистому, совсем нет в нём грубости.

И при всей перебудораженности Ксения отчётливо понимала их разговор (хоть весь теперь повторить, фразу за фразой) — и ещё успевала почувствовать неожиданное и забытое освобождение: какая ты есть, со всей твоей кубанской простотой, та и хороша, ни в чём не надо ни малой роли и притворства.

Не холодно и ночью, лужицы не замерзают.

Сошли с извозчика у ворот, постояли в лунной полутени — он сейчас же предложил встретиться завтра, и конечно Ксения согласилась, даже не вспоминая, что там у неё завтра.

И — руку её двумя своими как бы с выражением и с задержкою сжал.

Ей уже и к хозяевам нельзя было позднее, чтобы не сердились.

Сперва у зеркала: какая я сегодня была? каким он видел моё лицо? глаза? вот так и сияли?

Но — какая радость! невесомость! И на что в комнате ни взглянь — как сияет.

Единственный недостаток: Исаакий Филиппович, это совсем не красиво.

Но — и Томчак не находка.

Он — православный, и серьёзно. (И — будем, конечно, венчаться.)

Сколько читано любовных историй! И сколько бывает жестоких ошибок, случайностей, непониманий, через которые не объясниться? Вот Гамсун: у него любовь — всегда нервная, мучительная, всегда — борьба мужчины с женщиной, преследование и добывание, один стремится к другому, а тот прочь, но если второй обернётся взаимно — первый тотчас охладевает. Как будто: счастливой взаимной любви на земле вообще не бывает?

Но это — не так! Это было бы невозможно и чудовищно! Ксения всем нутром предчувствовала иную любовь: полюбив, не бороться.

Впрочем и у Гамсуна: «любовь — это золотое свечение крови». Да!!

Радость! Радость! Радость!

СОДЕРЖАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ	11
---------------------------	----

ВСТУПЛЕНИЕ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ МАРТА — ОДИННАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ

Документы — 1	13
Секретарь Георга V — министру иностранных дел Бальфуру.	

Документы — 2	13
Посол Бьюкенен — министру Бальфуру.	

Глава 1	13
Война и социал-демократы в сибирской ссылке. — Ираклий Церетели. — Возврат в Петроград. — Церетели в ИК совершает поворот платформы. — В Контактной комиссии давят на Милюкова. — Смерть сына Чхеидзе. — Декларация Временного правительства 27 марта.	

Документы — 3	23
Обращение Временного правительства о дезертирстве.	

Глава 2	24
Вера Воротынцева на Пасху. — На кадетском съезде. — Кн. Евгений Трубецкой в Публичной библиотеке.	

Документы — 4	32
Воззвание Временного правительства к солдатам о железных дорогах.	

Глава 3	33
Каким секретом берётся власть? — Не взялась. Другие вожди в ИК отгоняют Стеклова. — Начало Всероссийского Сопешания Советов. — Доклад о Временном правительстве как таран и манёвр. — Заранее гнёт жалкая резолюция. — Раскачка прений. — Пересоставляют резолюцию. — Приезд Глеханова.	

Глава 4	48
Князь Павел Долгоруков. Поездка по фронтовым полкам.	
Документы — 5	52
Воззвание Гучкова о дезертирстве.	
Глава 5	52
Станкевич. Проблемы созыва Учредительного Собрания. — Обстановка на Советании Советов. Мельканье вопросов. — Прения о войне. — Как ведутся «Известия». — Группа Ленина на заседании ИК. Спор о проезде через Германию. — Трения ИК с правительством. Буря в ИК. — Доклад Станкевича по «Известиям».	
Документы — 6	62
Приказ Гучкова против ареста офицеров.	
Глава 6	62
Победа февральской идеи Гиммера. — Циммервальдисты терпят поражение в ИК. — Гиммер на Советании Советов. — Крах Плеханова. — Встреча Ленина на Финляндском вокзале. — Его речь в первый вечер у Кшесинской. — Его речь на «объединительном» заседании с.-д. — Встреча Чернова и других. — Перенести усилия в «Новую жизнь». — Не курица в супе, но духовная свобода!	
Глава 7	75
Саша Ленартович выбрал партию. — В чём он не согласен с Каменевым. — Встреча Ленина. — Сашины впечатления от его первой речи. — Дисциплина митингов у особняка Кшесинской.	
Глава 8 (Фрагменты народопрравства — Петроград)	84

ДВЕНАДЦАТОЕ — ВОСЕМНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ

Глава 9' (Пресса о Ленине, 4–16 апреля)	94
Глава 10	100
Воротынцев в Ставке. — Не видят, не видят, насколько худо. — У армии нет вождя. — Идея офицерского съезда. — Солдатское движение за спасение Армии. — Сдача крестов. — За правительство и против Совета. — А власть упустила. — Алина переехала в Могилёв.	
Глава 11	107
Гессен и Гредескул в оценке событий. — О Ленине? — Дерзость юных гимназистов.	
Глава 12	112
Революционная незаменимость Керенского. — Визит в Царское Село. Неожиданные впечатления от государя. — Помиловал генерала Ива-	

нова. — Выпад «Известий». Триумф Керенского в Совете. — И снова в Царском. Разлучение царской четы. — Молниеносно: Кронштадт, встреча Бабушки, Совещание Советов. — За премьер-министра. — Делегации, делегации. — Дела по минюсту. — Неприятности. — В Ревеле с Бабушкой. — С западными социалистами в Петрограде. — Порыв к внешней политике. Милюков отвратителен. — Сцена гнева. — Оперевание ноты союзникам. — Заботы 12 апреля. — Объясниться бы с Лениным самому? — Соединил царскую чету.

Глава 13 (Фрагменты народоправства — фронт)132

Документы — 7138

Посол Палеолог — во французское министерство иностранных дел.

Глава 14139

Гучков снова болен. — Его поездка на Юг и в Минск. — Обнадеживающие резолюции воинских частей. — И подшибающие. — Военный министр в унижении и безсилии.

Глава 15147

Первые шаги Ленина в Петрограде. — Как отвечать социал-патриотам. — Прямые опасности. — Неудача в Измайловском батальоне. — Привести к единству свою партийную команду. — Рассчитывать верно, по кому бить. — Как правильно говорить о войне и мире. — Ленин в шторме. Чувство темпа. — И дрянная глупость с гимназистами.

Глава 16 (Фрагменты народоправства — провинция)161

Глава 17166

Военные игры Юрика Харитонова. — А на войну не попасть. — Развал школьных занятий. — Наводнение Дона. — Случай в купальне. — Наводнение ширится до катастрофы.

Глава 18172

Алина в Могилёве. — Тактика и тоска.

Глава 19" (по буржуазным газетам, до 14 апреля)176

Документы — 8187

Постановление Временного правительства о защите посевов.

Глава 20188

Милюков стал мишенью левых. — Ленин провалился. А меньшевики путают. — Альбер Тома поддакивает Совету. — Вынужден на компромисс: не нота союзникам, а обращение к гражданам России. — Выторговля текста. — Укоры послов. — Опрометчивое заявление президента Вильсона о проливах. — Керенский и ИК лезут делать политику. — Унижение правительства в день похорон жертв. — Фальшивка Керенского: готовится нота!

Документы — 9	201
Французский министр Тома из Петрограда — во французское министерство иностранных дел.	
Документы — 10	202
Германский статс-секретарь Циммерман — послу в Берне Ромбергу.	
Глава 21	202
Заботы ИК. — Опасность выборов отдельного гарнизонного бюро. — В ИК уже 90 человек. — Текучка Исполкома в отсутствие головки. — Сорвать отдельный Военный съезд! — Не дать арестовать Ленина. — Борьба вокруг выбора бюро ИК. — Скандал вокруг Стеклова.	
Глава 22 (Фрагменты народоправства — деревня)	209
Глава 23	217
Как бы ладить с Алиной. — Воротынцев над ставочными документами провоеванных лет. — Как выйти из войны теперь? — Союз военных?	
Глава 24	225
Меры генерала Гурко в Особой армии. — Принимать Западный фронт. — Катастрофа на Стоходе. — Проект генерала Горбатовского. — Гучков в Минске. — Гурко ищет способы, как управить фронт. — Открытие минского съезда. — И как он покатился. — Бунт на съезде Красного Креста.	
Глава 25	235
Ликоня.	
Глава 26 (Фрагменты народоправства — Москва)	236
Глава 27	239
Демонстрация инвалидов войны. — В Таврическом. — Разгон увечных.	
Глава 28	245
Генерал Алексеев утверждён Верховным. — А управление потеряно. — Стыдно перед союзниками. — Проект Военного съезда. — Алексеев подписывает Положение о комитетах. — Проект армейских комиссаров.	
Глава 29	253
Клим Орлов в Совете рабочих депутатов. — Прения там. — Волинцы хотят арестовать Ленина. Остановить!	
Глава 30 " (по социалистическим газетам, до 17 апреля)	262
Глава 31	269
Чернега вернулся в батарею с минского съезда.	

Документы — 11	275
Шлиссельбургская автономия.	
Глава 32	275
Сложности хлебной монополии. — Речи, речи Шингарёва. — Упускается Посев! — Земельный передел? — а земли для передела нет, просчитались. — Комитеты, комитеты. — Шингарёв провожает семью в деревню.	
Глава 33	282
Травля Ленина оказалась серьёзной. — Неизбежно отвечать на постановление Исполнительной комиссии. — Речь Ленина в Таврическом на солдатском Совете. — Речь Либера.	
Документы — 12	292
Германский посол в Берне Ромберг — рейхсканцлеру Бетману-Гольвегу.	
Глава 34	293
Дела Гучкова по флоту. — И армейские. — Враждебность с Советом. — Совещание с их головкой. Безнадёжность. — Заседание министров. — Приняли милюковскую ноту.	
Глава 35 (Фрагменты народоправства — железные дороги)	303
Документы — 13	307
Обмен телеграммами между германской Ставкой и военным атташе в Берне.	
Глава 36	307
Милюков на пустых заседаниях правительства. — Требования окраин, начался развал страны. — Имперское наследие на плечах Милюкова. — Требуют ноту союзникам. — Милюков составляет. — Министры обсуждают и принимают. — «Первое мая» в Петрограде. — Поездка Милюкова по городу.	
Глава 37	321
Как Вяземские добрались до Грязей. — А в Лотарёве спокойно. — Но что в Усмани и что вокруг! — Князь Борис на крестьянских сходах. Крестьяне пришли поздравлять с 1 мая. — Что ждёт тут дальше?	
Глава 38	331
Головоломки министра юстиции. — Как Керенский ускользнул из кронштадтского инцидента с Переверзевым. — Трудности Чрезвычайной Следственной Комиссии. — Как содержатся сановники в Петропавловской крепости. — Керенский в дни праздника.	
Глава 39	342
Андозерская наблюдает революцию. — Нет, Ленин не смешон. — На первомайской демонстрации.	

Глава 40	345
Плеханов. Революционерство с молодости. — Тяготы эмиграции. — Позиция защиты родины. — Возвращение в Россию. — Речи его на Со- вещании Советов. — «Единство» против Ленина. — А в правительство не зовут... — И Исполнительный Комитет отказался принять.	

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ — ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ АПРЕЛЯ

Глава 41	356
Севастопольское Чудо. — Рейс Колчака в Одессу. — Поездка в Пет- роград. — У Гучкова. — В Ревель? — Анна Сафонова.	
Документы — 14	366
Обмен телеграммами между германским министерством ино- странных дел и послом в Берне.	
Глава 42	366
Политические младенцы? — Как расслоилось русское офицерст- во. — Обстановка в Ставке. Воротынцев в первомайском шествии. — Дома. Именины?	
Глава 43	371
Алина в ревности и обиде.	
Глава 44	373
Тайное смещение посла Палеолога. — «Концерт-митинг» в Михай- ловском театре. — Речь Альбера Тома.	
Глава 45	380
Программа Гиммера, как единственно правильно решить вопрос войны. — Недоверие к Милюкову и стычка с ним в Контактной комис- сии. — Увлечение Гиммера газетой «Новая жизнь». — Его гнев от ноты Милюкова.	
Глава 46	387
Ленин подчиняет свою городскую партконференцию. — Радость его над милюковской нотой. — Но рано, к восстанию не готовы.	
Глава 47	394
В Исполкоме читают ноту. — Суматоха.	
Глава 48	401
Станкевич рано утром у Керенского.	
Глава 49	403
Генерал Алексеев на Северном фронте. — Приезд в Петроград.	

Глава 50	405
Молодость Фёдора Линде. — Линде убеждает комитет Финляндского батальона: выступить.	
Глава 51	411
Гарнизонные дела генерала Корнилова. — Встреча с генералом Алексеевым.	
Глава 52	415
Алексеев принимает Колчака.	
Глава 53	417
Исполком в нерешительности. — Известие о Финляндском батальоне.	
Глава 54	422
Текущие дела Временного правительства. — Заседание с генералом Алексеевым. — Тревога о выходе полков.	
Глава 55	429
Полки на Мариинской площади.	
Глава 56	433
Временное правительство отвергает предложение Гучкова — Корнилова призвать верные войска.	
Глава 57	436
Речи перед полками на Мариинской площади. Генерал Корнилов успокоил.	
Глава 58	439
Пресс-конференция генерала Алексеева.	
Глава 59 (Петроградские улицы перед вечером 20 апреля)	441
Глава 60	445
Никчемный сбор Совета. — Речь Станкевича. — Большевик зовёт к свержению правительства. — Чернов пытается успокоить. — В прениях взрыв. Совет выходит из-под власти ИК.	
Глава 61	454
Вечером перед Мариинским дворцом. — Подъезжают и держат речи министры.	
Глава 62	462
Как князь Львов собирал вечернее совещание. — Инцидент с корреспондентами.	
Глава 63 (Петроградские улицы, к ночи)	466

Глава 64	471
Ночью перед Мариинским дворцом.	
Глава 65	474
Ночное объединённое заседание Временного правительства, Исполнительного Комитета и Думского.	
Глава 66	483
Расчёты Ленина. — Идти на восстание?	
Глава 67	487
Прошлая жизнь В. М. Чернова. — Нынешнее положение партии эсеров. — Статья Чернова о Ленине.	
Глава 68	493
Алексеев рано утром у генерала Корнилова.	
Глава 69	496
Коля Станюкович с друзьями на утреннем Невском.	
Глава 70	500
Терещенко всё улаживает с Церетели.	
Глава 71	502
Вот это и течёт Ахеронт? — Два ночных воззвания кадетской партии. — Публичная библиотека решается идти.	
Глава 72 (На петроградских улицах, 21 апреля днём)	507
Глава 73	512
Паника в ИК: подымается рабочий Питер! — Головка ИК на Марсовом поле.	
Глава 74	515
Инженер Ломоносов на площади Казанского собора.	
Глава 75	519
В учебной команде волынцев. — Кирпичников с друзьями хотели арестовать Ленина. — Бродили по улицам. — Схватка с рабочими и стрельба на Невском.	
Глава 76	532
Милюков тормозит «Разъяснение». — Текущие дела Временного правительства. — Взрыв Корнилова: охранять порядок?!	
Глава 77	536
Газетная статья о гибели «Императрицы Марии». — Как это было. — Вина и Колчака? — Колчак у Плеханова. — Новое рабочее шествие и вторая стрельба на Невском.	

Глава 78	540
Коля на Невском. — Публика центра сплачивается. Восторг.	
Глава 79	543
Батареи Михайловского училища отказались явиться по вызову генерала Корнилова.	
Глава 80	546
Андрусов и Гримм на Марининской площади после полудня. — Речи товарищей министров. — Слух о стрельбе на Невском. — Начинается немедленное расследование!	
Глава 81 (На петроградских улицах, 21 апреля)	551
Глава 82	556
Исполнительный Комитет в ожидании и безсилии. — Тень Контрреволюции? — «Семь диктаторов» по выводу войск из казарм. — Пришло Разъяснение правительства, ИК согласен.	
Глава 83 (На петроградских улицах, к вечеру 21 апреля)	559
Глава 84	562
Ленин посылает Коллонтай на пленум Совета спасти положение. — Президиум рад Разъяснению и молчит о стрельбе. — Ход речей. — Речь Коллонтай. — Сообщение о новой стрельбе. — Но большевики не названы! — И снова в атаку.	
Глава 85	574
Толпа перед довином. Съезд министров. — Министры меж собой: всё минуло благополучно?	
Глава 86	578
Ночная стрельба на углу Невского и Садовой.	
Глава 87	582
Ленин: пережили вечер, ночь, кажется, выбираемся. — Срочная утренняя резолюция ЦК. «Долой Временное правительство» — авантюризм. — Наказать телефонисток центральной станции. — Утренние газеты: буржуазные трусили, советские благоразумны. — А большевики — не сторонники заговора и насилия! — Оценить свои ошибки. — Гражданскую войну пока отложим.	
Документы — 15	587
Из германской дипломатической переписки о новом транспорте революционных эмигрантов.	
Глава 88	588
Милюков: слишком победил! — Не погубил революцию. И устоял. — А кадетский ЦК отступил. — В правительстве Милюков — опять один.	

Глава 89	593
Думский Комитет оттеснён и забыт. — Шульгин томится бездействием. — Кадеты не осознали своего поражения. — Социалистические газеты лгут об уличных событиях. — Шульгин побуждает Думский Комитет к устройству псевдопарламента. — Проект Винавера о чествовании 1-й Думы.	
Глава 90	599
Авторитет Стеклова всё падает. — Путь Стеклова к Ленину. — Завязка сепаратных переговоров с Германией.	
Глава 91	603
Ксенья и Саня. Встреча.	

Литературно-художественное издание

Александр Исаевич Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ 15

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Повествование в отмеренных сроках

Узел IV. Апрель Семнадцатого
КНИГА 1

Редактор
Наталья Рагозина

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Верстка
Валерий Калныньш

Подписано в печать 25.06.2010.
Формат 60х90/16.
Бумага писчая. Усл. печ. л. 39,0.
Тираж 3000 экз. Заказ № 440.

«Время»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5488
<http://books.vremya.ru>
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru

Солженицын А. И.

С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 15. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках. — Узел IV: Апрель Семнадцатого.

Книга 1. — М.: Время, 2010. — 624 с.

ISBN 978-5-9691-0569-0

Пасха 1917 года. — Встреча Ленина на Финляндском вокзале. — «Севастопольское чудо» Колчака. — Успех публичных речей Керенского. — Множество эпизодов «народоправства» в армии и в тылу. — 20 апреля Ленин организует первую большевицкую пробу сил. Стрельба на улицах по безоружным. Лозунги: «Долой Миллюкова!», «Долой Временное правительство!» С утра 21 апреля — порыв безоружных добровольцев из интеллигенции выходить на улицы, защищать власть «от красной гвардии»; те — стреляют. Раненые, убитые, шумные споры и драки на улицах. Тревожные переговоры членов Исполнительного Комитета и Временного правительства — как погасить конфликт, но он не утихает весь день. — Непредвиденное сопротивление большевикам петроградской образованной публики — переменяло планы Ленина: гражданскую войну пока отложим!

ISBN 978-5-9691-0569-0



9 785969 105690

